# ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

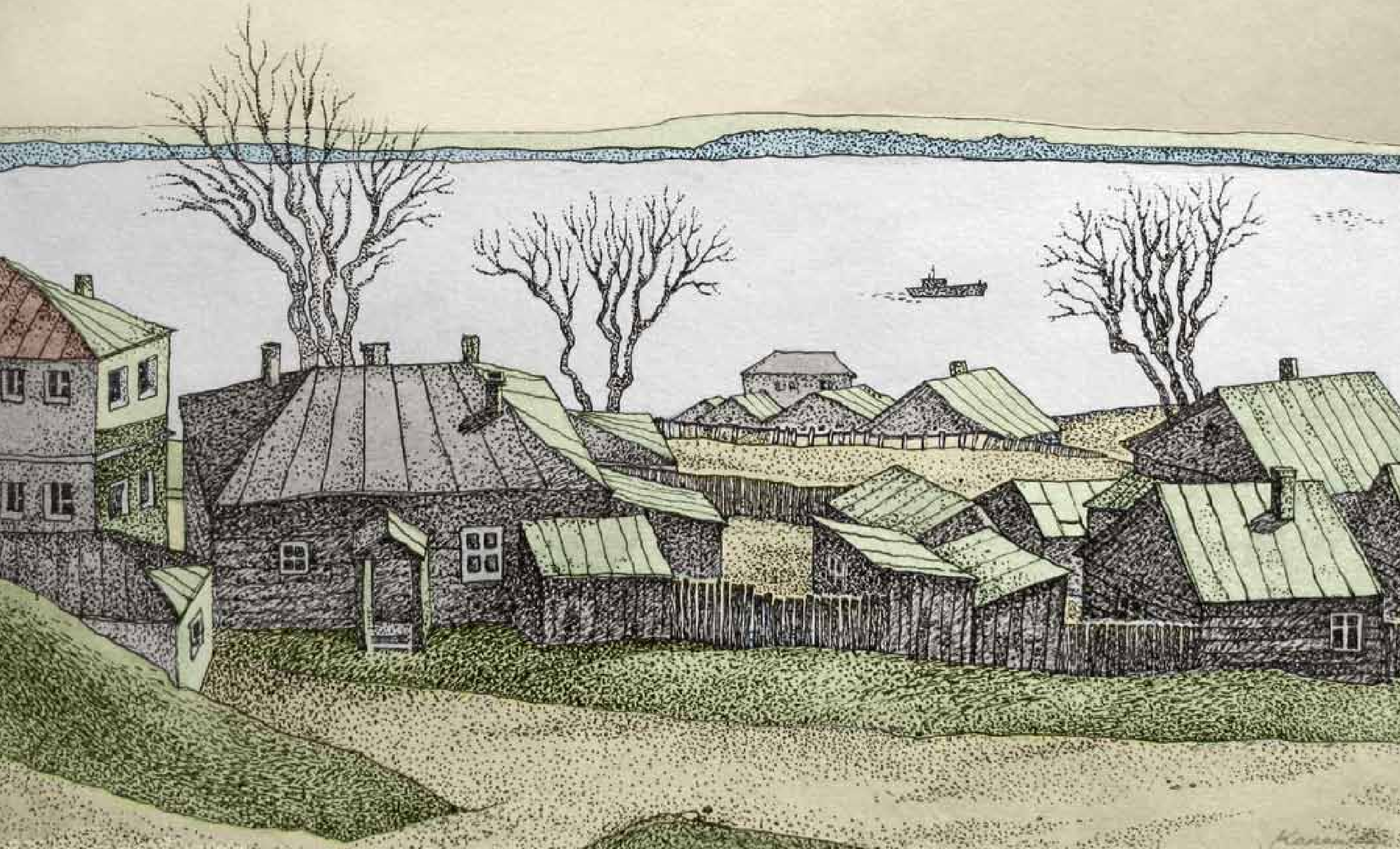
№ 2 2010

Роман Солнцев
**Привычное место**

Михаил Грозовский
**Под знаком Солнца и Луны**

Валентин Курбатов
**Ты, Матёра, родима матушка…**

Леонид Потехин
**Деревня Ольховка**



Главный редактор

Марина Саввиных

Заместители главного редактора

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Сергей Кузнечихин

Ответственный секретарь

Михаил Стрельцов

Редакционная коллегия

Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Михаил Гундарин
Барнаул
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Валентин Курбатов
Псков
Александр Лейфер
Омск
Евгений Мамонтов
Владивосток
Марина Переяслова
Москва
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Илья Фоняков
Санкт-Петербург
Вероника Шелленберг
Омск

Секретарь

Наталья Слинкова

Дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

Корректоры

Екатерина Волкова
Александр Мазур

На обложке использована картина Татьяны Колгановой. (illustrators.ru/user/4408/portfolio)

Издательский совет

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска
В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея
М. С. Невмержицкая
директор Красноярского библиотечного коллектора
Т. Л. Савельева
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В создании журнала принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором его с 1993 по 2007 гг. был Роман Солнцев. Впервые журнал был зарегистрирован как частное издание в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации в 1993 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное Сообщество Писательских Союзов.

# ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 2 (76) | март–апрель | 2010


«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».

Е. А. Баратынский

## В номере


### ДиН память

Роман Солнцев
2 **Привычное место**

Николай Шатров
17 **Запоздалое признание**

### ДиН публицистика

Валентин Курбатов
21 **Ты, Матёра, родима матушка…**

### ДиН мемуары

Наталия Слюсарева
34 **Мой отец — генерал**

### ДиН стихи

Пётр Коваленко
72 **Солдатский хлеб**

Иван Соснин
73 **Я девять дней, как жив…**

Сергей Аторин
113 **По трудной дороге**

Иван Клиновой
199 **Автор завтра**

Елена Пестерева
202 **Ивовое наречье**

Александр Бояркин
203 **Там тайга обнимается с небом**

Михаил Грозовский
204 **Под знаком Солнца и Луны**

Сергей Кузнечихин
206 **Дополнительное время**

Вячеслав Тюрин
209 **И можно было сесть на подоконник**

### ДиН перевод

Шейла Голбург Джонсон
200 **Костяная флейта**

### ДиН поэма

Елена Крюкова
114 **Коммуналка**

### *Страницы Международного сообщества писательских союзов*

Николай Беседин
74 **Тягловая сила**

Шербото Токомбаев
82 **Возраст любви**

Матвей Чойбонов
106 **Из тьмы священного сосуда**

Раиса Дидигова
108 **Прикосновение**

Елизавета Полеес
110 **Только свет…**

Мария Малиновская
111 **Ода перу**

Ольга Переверзева
112 **Звенят стеклянные ветра**

### ДиН дебют

Халид Мамедов
107 **Безумная уверенность, звезда…**

### ДиН повесть

Леонид Потехин
134 **Деревня Ольховка**

### ДиН притча

Андрей Белозёров
192 **Колобок и Перчатка**

### ДиН критика

Елизавета Александрова
194 **Вакцина взросления**

### ДиН диалог

Юрий Беликов, Евгения Чапаева
214 **Ностальгия по Чапаю, или Чудотворец в папахе**

### ДиН юбилей

Нина Веселова
195 **На чудо уповаю**

Владимир Селянинов
227 **Холодный свет Луны**

### ДиН антология

Александр Пушкин
109 **Огнь поэзии погас…**

Евгений Баратынский
133 **Над умолкшей Аонидой…**

Владимир Раевский
191 **Песнь**

Михаил Исаковский
237 **Крутится, вертится шар голубой**

### Венок Шопену

105 Анна Ахматова
Игорь Северянин

241 Афанасий Фет
Ульяна Лазаревская

245 Виктор Боков
Василий Фёдоров

### *Библиотека современного рассказа*

Артур Матвеев
220 **Реализм**

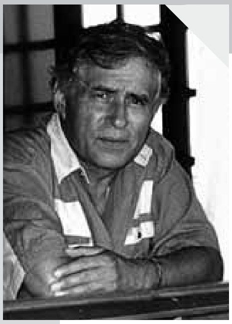
Александр Линёв
238 **Полынья**

Виктор Власов
242 **Дорога в школу**

### ДиН дети

246 **Синяя тетрадь**

249 **Авторы**



Роман Солнцев

# Привычное место

**1.**

Я постарел: пропускаю на перекрёстке ещё не тронувшийся перед жёлтым светофором транспорт. А раньше в два прыжка перемахивал улицу…

Стал раздражительным: выключаю телевизор, как только там появятся современные политики, что те, что эти. Хоть бы на диету сели. Впрочем, хорошо, что все они щекастые и наглые… а то ведь, если похудеют и скромно опустят глазки, кто-то и доверится сластолюбивым циникам.

Ко всему прочему, я остался одинок: от друзей ничего нового уже не услышишь, а у жены своя теперь страсть — полуторагодовалый внук Иван. Живое солнышко на полу.

После работы медленно бреду по городу, иногда остановлюсь перед голым топольком. Скоро на грязноватых прутьях появятся тяжёлые клейкие почки, от них удивительно запахнет… и повторится листва, шумная жизнь повторится.

В парке вечерами уже играет оркестр, шуршат шаги, и, слыша дивный звук валторны, я представляю вибрацию меди под воздействием биений воздуха внутри инструмента. Нет тайн. Всё известно.

Но вчера в полдень пошёл за письмами на почту по теневой стороне улицы, пряча лицо от бешеного апрельского солнца, и вдруг ступил ботинками на ледяной панцирь, который здесь сохранился с ночи… ноги мои поехали — и я, не удержав равновесие, рухнул, постаравшись при этом приземлиться на правую руку. И прямо-таки услышал хруст…

Наверное, вывих, подумал я, хрящики хрустнули. Кисть была неестественным образом выгнута. Хрипя от боли, поднялся и попробовал сам, резко потянув её левой рукой, поставить на место. Но то ли сил не хватило, то ли смалодушничал… Когда же доплёлся до дому, и жена уговорила поехать в больницу скорой помощи, и мне там сделали рентгеновский снимок, то выяснилось: у меня закрытый перелом. Более того — с раздроблением какой-то косточки на сгибе кисти…

Такой перелом на языке медиков называется довольно смешно — «привычное место». Видимо, в девяти случаях из десяти человек, падая, выбрасывает под себя именно правую ладонь…

Мне сделали укол, кисть выгнули (такой она была при ударе) и наложили гипс. Снова повели под рентген: кажется, косточки стоят правильно, должны срастись… И на попутной «скорой» меня и жену отправили домой.

Теперь, получив бюллетень, я был приговорён минимум две недели слоняться по квартире. А что тут можно делать? Все книги перечитаны. Самые любимые, которые я прежде пролистывал в дни болезни, помню, пожалуй, наизусть — и «Робинзона Крузо», и сказы Бажова, и «Остров сокровищ», и «Мастера и Маргариту»… Остаётся смотреть в мерцающее окно цивилизации, называемое телевизором.

О, давно я не занимался этим делом! Бедные критики, хлеб коих — отслеживание и оценка всякого рода телепередач! На трёх каналах шли игры: толпа взрослых восторженных людей угадывала слова, получала призы. Через каждые десять минут вспыхивала реклама: жующие красотки рекламировали «Стиморол» и «Орбит» без сахара или, крутясь в тесных джинсах перед объективом, хвалили всевозможные женские тампоны… Впрочем, на одном из телеканалов, шестом, сиял белый свет — видимо, там отдыхали, готовились к новой агрессии крови и рекламы.

И вдруг… Что это? На втором, российском, появилась картинка — за столом сидят с унылым видом несколько человек: дама и мужчины. По свету и по общему невнятному плану сразу видно — включилась местная телекомпания. И к тому же некоторые из этих господ мне смутно знакомы… Ба, да я же помню их ещё по *тем* годам. Вот этот бравый старичок с подбородком, похожим на стакан, говорят, ныне президент строительной фирмы… не он ли был у нас первым секретарём обкома? Рядом — молодой человечек с чёрным от злобы лицом, со всклокоченными волосами, в очках, недавний запойный пьяница, вылечился под гипнозом и вернулся в компартию, издаёт газету. Я его знаю, он пробивался несколько раз в депутаты — во всероссийские, областные, городские, его фотографиями были уклеены все столбы и стены, но не пробился, стал посмешищем, но вот снова добивается людского внимания… А это кто же? Такой скромный, смирный, скуластый, как котик, затянут в костюм-тройку, маленькие красные ручки на стол положил. Тоже ведь мелькал в обкоме или исполкоме, отвечал за сельское хозяйство…

— Что происходит? — спросил я у жены, кивая на непрошеных гостей нашей квартиры.

— А не знаешь? Нынче ж нового губернатора выбирают.

— А прежний где? В тюрьму посадили?

— Срок вышел.

— А. Ну-ну, — нянча руку, я сел поближе и принялся слушать претендентов.

Супротив полузнакомых мне земляков ёрзает на стуле худющий, как ощипанный гусь,

в обтёрханном костюме директор завода… бывшего ракетного, что ли… Как-то возникал он на экранах в связи со слухами о причастности к теневому бизнесу… кажется, спирт у самого себя воровал… помню, смешно оправдывался. Мол, с детства не пьёт ничего, кроме молока… И рядом с ним толстяк на двух стульях развалился, всё проверяет машинально, застёгнуты ли пуговки ниже живота… Этого я вижу в первый раз.

Я сразу понял, что сутулая болтливая девица, которая ведёт передачу, явно симпатизирует скромному, смирному, в костюме-тройке. Чаще всего обращается именно к нему:

— Алексей Иваныч!.. А вот как вы считаете?..

На что Алексей Иванович, только что похожий на обомшелый пенёк, мгновенно расцветает на глазах, как школьница на уроке, которой задали понятный вопрос, и отвечает. Отвечает негромким, но вдруг скрежещущим, страшноватым голосом — будто механическим. Напрягая плечи и растягивая губы. Впрочем, стоит телевизионной камере чуть тронуться, поворачиваясь к другим участникам передачи, как Алексей Иванович тут же успокаивается и как бы уменьшается в размере, затихает, едва нахмурив соломенные бровки.

И вот ему — конечно же, первому — дали слово для монолога. Алексей Иваныч засиял глазами, сжал-разжал кулачки и начал простецки, как человек плоть от плоти трудового народа:

— Чё делать-то будем? Гибнет область… про Россию не говорю… про неё, может, скажут люди повыше меня… вот Иван Фёдорович… — кивнул он на бывшего секретаря обкома. — Ему бы в Госдуму… а мы уж тут в грязце покопаемся…

И похвалил, и оттолкнул. И дальше своим невероятным для невысокого человека жестяным голосом:

— Я-то в отличие от многих тут… в селе родился… В селе у нас самый генофонд. Ведь чё нам нужно, наконец? Наконец нужна честная власть… как стёклышко, прозрачная… вот как очки у нашего молодого журналиста. Он у нас молодец, только вот жизненный багаж маловат… ну так ещё всё впереди!

И чем далее говорил Алексей Иванович, тем больше как бы льстил своим оппонентам за столом и одновременно умудрялся поднимать себя выше их показной скромностью, что ли… Но голос, голос! Я помню, во время одной из поездок в Приангарье встречал бывшего зэка. Даже когда он говорил отвернувшись, голос его доставал любого, как достаёт звук старой жести, когда её режут.

— Вот письма мне идут: «Вернитесь, Алексей Иваныч, во власть». — Он высыпал на стол из портфеля десяток мятых конвертов. — Что мне им сказать, нашим русским людям? Я-то готов, да не я же решаю… вы-то и решите, мои дорогие.

Передача шла в живом эфире. И были звонки, как я понимал, заранее подготовленные. И всё больше их было обращено к Алексею Иванычу.

— …Я ветеран труда, при обмене квартиры у нас забрали телефон, которым мы пользовались тридцать лет, а новый так и не поставили… Требуют стопроцентную оплату с больных стариков.

— Беру на контроль это дело, — проскрежетал, раздвинув плечи, Алексей Иваныч. — Думаю, решим вопрос.

— …Когда построили нашу гэс, обещали: будет самая дешёвая электроэнергия. А стала она дорогая. И продукция нашего завода из-за этого неконкурентоспособная…

— Я думаю, это мы поправим. Безобразие.

— …Мы пенсионеры, а нас ограбили. Все наши вклады в 1992 году пропали… Как быть?

— Я подсчитал, дореформенный рубль на сегодняшний день стоит как минимум тысячу новых рублей. Если я стану губернатором, в Совете Федерации первый вопрос, который я подниму — это немедленно, в течение недели, восстановить вклады населения, учитывая вот такое соотношение! — Алексей Иваныч уже размерами сравнялся с толстяком, сидящим напротив. Рот растянут, на щеках прорезались жёсткие ефрейторские складки.

— …Нам три месяца не платят зарплату, а директор отгрохал новый особняк за городом… Можете ли помочь?

— Немедленно! — скрежетал кандидат в губернаторы. — У таких директоров уши надо отрывать и ещё кое-что… Я разберусь.

Напуганно я смотрел на этого Алексея Иваныча. Он напоминал танк, поначалу небольшой, но меняющий размеры во время боя, голос его гремел — человек ни разу не запнулся, не смутился.

И все бы для него ничего, если бы не грянул в эфире неожиданный с хрипотцой голос:

— А вот скажите, господин Туев… у вас-то, поди, «Мерседес» или «Волга», коттедж в пять этажей? Вы же раньше во власти сидели?..

Громко озвученный вопрос смутил фаворита лишь на секунду. Слегка покраснев, и больше руками, а не лицом (но и это — как бы от благородного гнева!), Алексей Иваныч отвечал тем же спокойным, скрежещущим голосом (я вспомнил! точно так ест черепаха капусту):

— Во-первых, я — не господин Туев… был товарищ и остался товарищ для народа! Во-вторых, раньше власть не воровала. Чё не имею, то не имею… Ни машины у меня, ни дачи. Квартира — да, есть. Жить-то где-то надо?..

— Спасибо, — ответил неизвестный человек, и Алексей Иваныч, помедлив, перевёл дух. Впрочем, я заметил, двое-трое за столом переглянулись. Но передача продолжалась, телевизионная девица повернула телекамеру к другому претенденту…

«Позвольте, как же так? — задумался я, всматриваясь в скуластое, как кулак, личико златоуста, застёгнутого в тройку. — Как же нет у него дачи?!»

Будучи доктором наук, я получил года полтора назад в садово-огородном товариществе «Солнышко» свои шесть соток. И слышал я, слышал, что на верхотуре, за сосновой грядой, в поле воздвигают огромные из алого кирпича коттеджи. Мои «деревянные» соседи поминали не раз эту фамилию — Туев. Понятное дело, рифмуя с другим, громким русским словом. Вряд ли однофамилец — туда, на поляну, пустили только больших начальников: из мвд, из прокуратуры, из мэрии… среди них, конечно, и бывшие…

Почему-то обидно мне стало — что они нас все за дураков считают? Надеются, что никому в голову не придёт поверить? Мол, у каждого свои заботы… до того ли?
— Идём ужинать, — позвала жена. — Чего задумался? Левой рукой сможешь? Или тебе помочь?
— Подожди. — От нашего дома до огородов пешком час. Делать мне всё равно нечего. Почему бы не сходить? Вечера сейчас долгие, светлые…
— Ты куда?
— Погуляю. — С тяжёлой в гипсе рукой кое-как накинул на плечи куртку, сунул за пазуху рубашки томик Чейза и вышел из дома.

**2.**

Снег на огороде уже истаял, только под штакетником серел узкий бугор, как стадо придавленных машиной гусей. Избушка моя была цела, слава богу, — каждый раз идёшь и боишься, что сгорела. Или залётные бомжи подпалили, не найдя в ней водки и еды, или проводку замкнуло… Я уж и сам не рад, что прошлой осенью согласился провести электричество. Оно здесь неустойчивое, случаются рывки напряжения — у многих вышли из строя подсоединённые к сети (хоть и выключенные) телевизоры. А у кого-то, говорят, крысы перегрызли изоляцию кабеля в стене — и случилось короткое замыкание, дом сгорел…

Куда веселее жизнь у богатых, с их краснокирпичными хоромами. Хоть молния попади — ничего не будет такому дому. Вот за оврагом уже показались маковки коттеджей — сверкающие на закате алюминиевые крыши. А кое у кого и немецкая черепица или имитация её — малинового цвета жесть, тоже симпатично.

Но жизнь в таких дворцах весёлая, только если хозяин жив. А поскольку половина этих строений принадлежит воротилам теневой экономики, а сказать прямее — ворам в законе, вот эти, например, три красных корабля без окон пустуют уже второй год. Застрелили, застрелили бритых хозяев, весёлых парней с золотыми крестами навыпуск — одного, по слухам, прямо в центре города, возле главпочтамта, двух других — в собственном подъезде… Жёны без них сюда въезжать боятся, да и дома не готовы — надо же внутри деревянные панели ставить, трубы вести для обогрева (от собственного в подвале котла), паркет стелить, окна стеклить…

Куда легче мне — вот мой деревянный домик, покрытый шифером, обитый жёлтой вагонной рейкой. Одна радость — при строительстве брус клали не на землю, я исхитрился купить в округе и приволочь на свой участок десяток расколотых, а потому дешёвых бетонных балок. Теперь у меня под каменным основанием — погреб, туда ведёт с противоположной от крыльца стороны отдельная железная дверка. Так что если и подпалят домишко, останутся в сохранности в глубине земли картофель и капуста в банках.

Ко мне в назревающих сумерках бросились с весёлым лаем собаки соседей, и первым — приблудный молодой пёсик по кличке Алкаш: глаза сверкают, как у цыгана, хвост ходит, как «дворник» на стекле машины. За ним следует брыластый, внешне угрюмый Зверь, некогда, наверно, вполне хорошая охотничья собака. А поодаль крутится ещё и Машка, мохнатая сучка, время от времени валясь на землю, виясь и кусая себя то за хвост, то за заднюю ногу. Она трусовата, редко подойдёт, молча смотрит: а вдруг и ей что-то перепадёт. Ах, жаль, не подумал я сегодня про них… надо было взять что-нибудь с собой. Впрочем, хлеба эти псы не едят — избаловали их современные крезы остатками своих пиршеств.

Не заходя в свой домик, я обогнул огород с поваленным за зиму куском штакетника, подошёл к обитым белой жестью двум вагончикам, поставленным встык, где живут сторожа: Василий, Зуб и Борода. Впрочем, это те же бомжи, бродяги, только осевшие здесь, они «кантуются» на стройке круглый год: зимой пьют, спят, а весной выходят помогать по мелочи, сгружают с машин привезённые хозяевами будущих дач кирпичи, доски, а потом сами воруют то, что выгружали, — надо ж на бутылку выручить…

У меня с ними старая договорённость: они приглядывают за моей халупой, а я им ношу читать иностранные детективы, иной раз и материалы, привезённые из моих сибирских экспедиций, — частушки, охотничьи байки, сказки малых народностей. Я, кажется, забыл представиться — я филолог, доктор наук. По этой причине с судорогой выбрасываю вон остросюжетные поделки, сочинённые на русском языке, — примитивный, бедный, унижающий Пушкина и Астафьева слог! — а вот Чейза или Шелдона читаю порою и сам. Вполне допускаю, что на английском это звучит неплохо. И со спокойной совестью отдаю лакированные томики своим «лесным братьям» (кто из нас в юности не мечтал стать геологом или даже просто отшельником?). Так что меня здесь крепко уважают.

Сегодня на первом вагончике висел замок, но и в «штабном» (где есть телевизор и где обычно пьют) было тихо, не доносилось ни песен, ни криков — верно, вся компания поехала на ворованном каком-нибудь тракторе за водкой или побрела через сосновую гряду в гости, в строительный посёлок тех самых начальников. Там, говорят, бывают девушки…

Впрочем, дверь была открыта, в печке дотлевали, шаяли угли, на топчане храпел босыми ногами ко входу один из хозяев — Василий, парень лет тридцати. Я подумал, что он пьян, решил не беспокоить, но Василий, уловив движение света в дверях, дёрнулся:
— Кто?!.
— Это я, я, Николай Петрович.
— Петрович?.. А чё у тебя рука перевязана?
— Сломал.
— А… — Он сел, почесал ногтями всклокоченные волосы. — Я однажды ногу сломал… с крыши снег кидали, свалился… Скучное дело — ходишь, а нога как в гробу. — Он зевнул и вопросительно посмотрел на меня.

Он из сторожей самый серьёзный, лицом смугл, как южанин, а глаза синие, настойчивые. Украинских или казацких кровей. На шее багровый след

от ножа (так уверяет Василий). Я достал из-за пазухи сверкающий томик иноземного классика.
— Вот спасибо!..— Он вынул из-под грязной, как асфальт, подушки точно такую же книжку и протянул мне.— Давно не приходил. А я уж стал второй раз перечитывать… Лихо пишет.

Я огляделся, не зная, здесь начать разговор или в свои стены пригласить? В углу, как поверженный орган, стояли рядами пустые бутылки разного калибра, резко пахло квашеной капустой, носками, подгорелой ватой, окурками.
— В твой хауз никто не лазил. Садись, чего ты, Петрович?..— Я подсел рядом на топчан.— А частушек нет?
— Частушек?..— Я мысленно полистал странички прошлогоднего отчёта моих студентов, ездивших на Ангару.— Да вроде все звонкие тебе читал. Ну, разве что…

Ой, подружка дорогая…
Скажу по секрету:
Сколько мяса я ни ела—
лучше хрена нету…

Василий аж взвизгнул и зажмурился от наслаждения.
— Ой, Петрович, какая у тебя интересная работа! Не забыть бы… дай запишу.— Он огрызком карандаша на краю валявшейся на полу газеты что-то накарябал.— Парни обрадуются.
— А где они?
— Да пошли забор ставить одному миллионеру…
— Не Туеву?
— Не. У него ещё до забора далеко. Надо же на кране подъезжать… на машинах…
— Это который Алексей Иваныч?
— Ну.
— Пойдём глянем…— Я поднялся, морщась и нянча руку, чтобы Василий отвлёкся на мою боль и не искал особенного смысла в моих словах.
— А эту площадку не я охраняю. Чего тебе— досок на дрова? Я тебе и тут дам, сам занесу.

Я пробормотал:
— Хотел просто глянуть… Говорят, в три этажа… с арками…
— Да уж, рукой не повалишь…— Василий закурил.— Даже из «эр-ге» не возьмёшь…— Он часто поминал в разговорах то «бе-те-эры», то «эр-ге», а то и американские «Зингеры», намекая, видимо, что в отличие от других бичей, тянувших срок в зоне, он-то побывал в боях.— Я читать буду.
— А может, покажешь? Который это дом?

Василий вдруг настороженно поднял на меня синие неподвижные глаза. Конечно, дошло до бродяги— неспроста я спрашиваю.
— Петрович, я не хочу палкой по голове получить… а то и пулю впотьмах… Ну их на!..
— Какая палка, какая пуля?!
— Вот тут, к дому моего хозяина,— он кивнул на недостроенный скромный коттедж с картонками в прогалах окон,— подъехали на днях на «джипе» обритые… мешков пять цемента накидали в багажник. Я вышел: «Вы чё, парни? Вам Витька разрешил?»— «Разрешил, разрешил…» А один сзади как трахнет резиновой дубинкой… у них и дубинки милицейские. И уехали. Я подумал: говорить Витьке, нет… решил промолчать. Ещё начнёт выяснять, кто такие, а те будут отнекиваться… мне достанется от Витьки за то, что недосмотрел, а те просто убьют при случае. Я читать буду.

Я пожал плечами и вышел. Уже стемнело, собаки лаяли куда-то в сторону соснового лесочка. Мне туда и предстояло идти.
— Его дом с башенкой… из белого кирпича,— прокричал из вагончика Василий.— Два этажа и башенка… ну вроде кукиша.

Я был несколько озадачен тем, что Василий трусил. За поглядки же денег не берут, что тут опасного? В лесу между белесыми сугробами, ещё не растаявшими здесь, дорога чернела, как траншея,— я брёл наугад и несколько раз зачерпнул ботинками воды.

Но вот и посветлело— на красном знамени заката коттеджи бывших руководителей партии. Да, замечательные здесь дома… кое у кого уже свет горит в окнах… пахнет дымком бань, а то и финских саун… смолистым деревом калёным несёт… музыка играет… звенят цепями псы…

Где же хоромы запакованного в тройку человечка с жестяным голосом— Туева? Ага, вот дворец в два этажа, белесая башенка вознеслась к небу, уже обозначившему звёзды… У подножия мерцают обёрнутые прозрачной плёнкой, ещё нетронутые кубы кирпича. Замер, как огромная цапля, кран. Слава богу, не слышно собаки…

В стороне, за кустами я заметил длинный вагончик, такой же, как у Василия с друзьями, в окошке играло голубое марево работающего телевизора. Я постучался в дверь.
— Кто?!— точно как Василий, спросили изнутри.
— Соседи,— ответил я, надеясь, что человека с загипсованной рукой не тронут, даже если будут раздражены моим визитом.

Дверь распахнулась— на пороге стоял голый по пояс здоровяк с усами. Он смеялся— видимо, только что смотрел весёлую передачу. Кивнул, приглашая к разговору.
— Алексей Иваныч просил вечерком подойти… по делу.
— Алексей Иваныч? Сегодня его не будет. Он завтра…— Сторож оглянулся на экран телевизора.— Он же по субботам.
— А, выходит, я спутал…— Я уже хотел пойти прочь, я получил, что хотел, но, заметив, что усатый снова уставился на меня, будто припоминает, видел он меня раньше или нет (а он ведь мог меня и видеть в посёлке), я исказил лицо, нянча руку.
— Что с хваталкой?
— Да вот сломал… Ну, пока.— Напрягшись, ожидая чуть ли не удара в спину, тем не менее как можно медленней я потащился через бор к дороге. Нет, сторож не окликнул меня, не догнал.

Я брёл домой и ругал себя: «Ну и что такого ты выведал? Ну, это коттедж Туева. Ну, скажешь ты людям, что Туев, тот самый, который баллотируется в губернаторы, врёт… ну и что?! Люди только руками замашут: «Все они врут!» Наверняка у него и машина есть. И что тут такого? Плюнь, старина. Не трать время. Есть ещё хорошие книги, которые ты не читал или читал, пугаясь, урывками

когда-то, лет тридцать назад. Например, Солженицына полистай… или Набоковым насладись..»

Жена дома, конечно, беспокоилась — сама открыла дверь, едва заслышав, как на этаже остановился лифт:

— Ты где был, Коля?!. Ой, грязный… ты что, упал? Ты с кем-то пил?

— Нет. Но сейчас бы выпил. Знаешь частушку?..

— Да ну тебя с твоими частушками. Студентов разлагаете…

— Есть и без мата, тонкие. Вот, например, шедевр. Почти моцартовская лёгкость.

Поживу, повеселюся,
В жопу жить переселюся,
Вставлю раму и стекло,
Будет сухо и тепло.

— Да что с тобой? — Увидев, как я швырнул на диван томик Чейза: догадалась. — На дачу ходил? Ну как там? Мог бы картошки принести заодно…

— Завтра.

Назавтра я действительно принёс сумку картошки из своего погреба, но к строящемуся дворцу Туева больше не ходил — ну его к чёрту. Всё равно его не выберут губернатором — мелковат. Там среди кандидатов есть такие волкодавы… Один толстый, помнится, сидел, развалясь, шевеля пальцами на мошне, — вот кто людям нравится. Сила в нём чувствуется. Умение и помолчать. А этот всё обещает, скрипя голосом, словно у него душа болит. А наверняка только зубы болят. Или геморрой замучил от сидения на месте.

А вот у меня рука болит. Рука — это великая, необходимейшая штука. Писать-то ничего не могу. Только читать.

И я пару недель читал хорошую литературу — то стихи Бунина, то рассказы Набокова. Но не газеты. К чёрту всю вашу современную лживую дребедень…

### 3.

Хоть у меня слегка асимметричное лицо, и нос длинный, и очки с квадратной чёрной оправой на носу, и мои студенты упорно называют меня Мефистофелем, я человек добрый. И никому никогда не желал зла.

Но когда вчера вечером случайно услышал по телевизору, что во второй тур вышел вместе с кем-то Туев, тот самый, у меня в глазах потемнело. И я не мог ночь спать.

Да как такое могло случиться?! По нему же видно с первого раза, что, раздуваясь, как медуза, он всё врёт, врёт! Как его могли пропустить в решающий тур?! Кто у него противник?

Утром включил новости: вот горе, последним соперником у Туева оказывался старичок с подбородком вроде стакана, бывший первый секретарь. Все демократы и либералы вылетели из игры?! Что же вы, балаболы? А из этих кто лучше? Наверное, всё же старик, а?.. Этот хоть откровенно говорил: «Да, я был секретарь обкома, верил в идеалы социализма (правда, уже не коммунизма), да и сейчас верю… но я умею работать с людьми…» При всей моей нелюбви к партийцам я понимал: дурак не смог бы организовать строительную фирму… А у этого старика за его сутулой спиной — огромная строительная фирма «Феникс» (оставим в стороне сарказм по поводу названия).

Показали кусочек из очередного их состязания. Туев к сегодняшним дням уже раздулся до размеров канцлера Коля из ФРГ (может, бронежилет надел?), голос его скрежетал теперь как трактор, идущий по гальке и щебню, с наслаждением и ненавистью. На любой вопрос отвечал мгновенно, без запинки, подхватывая ещё и не произнесённую до конца фразу, точно заранее знал её (возможно, и знал?). И уже не стеснялся в своей торопливости. Как гриппозная лихорадка, его подгоняло ощущение: ещё немного — и вот она, власть!

Растянув губы и играя желваками, цитировал стихи Маяковского и всевозможные цифры. Он всё помнил: в каких районах какие удои, каким был урожай в прошлом году, а каким — до развала СССР, называл фамилии и бывших руководителей хозяйств, и нынешних, и прежних агрономов, и теперешних… было непонятно, как человек может столько помнить… видно, готовился, как в бой, на смерть. И было ясно всем, в том числе и старичку напротив с его менее яркой памятью, — скорее всего, Алексей Иваныч и победит. Туев. Народный кандидат, как было напечатано на показанной листовке.

Сегодня он приехал на телестудию в скромном сереньком костюмчике, был без галстука, в украинской вышитой по вороту рубашке. И несколько раз повторил, уже не боясь показаться смешным, что всё детство ел одну картошку, пил разведённое родниковой водою молоко — не хватало на всю семью («Нас, едоков-то, было семеро!») …что страдания простого народа ему близки, как крест на груди.

Его бледнолицый старый соперник смотрел на него странным взглядом — то ли восхищаясь, то ли с оттенком страха. И было непонятно: неужто он, строитель, да и просто внимательный человек, не ведает, что у Туева как минимум есть дача, вот она, строится в садово-огородном товариществе «Солнышко»?! Может, «фениксовские» люди и строят? Но старик не напомнил о громкой лжи Туева. Ворон ворону глаз не выклюет, или просто порядочный человек?

Но ведь этот Туев уже набрал 32 процента голосов, а старик — всего 25… Ещё немного — и Туев может стать губернатором нашей огромной, измученной бедностью и бездорожьем области! Вот этот скромный пока молчит, только шарики ходят под щеками, тихий, с красными ручками на столе, может стать на пять лет нашим Отцом родным — его так уже назвали, говорят, местные казаки и даже саблю с буркой подарили!

— Ну нет!.. — я стукнул загипсованной рукой по столу и взвыл от боли. — Нет!.. — Повторяю, хоть я и добрый человек, но меня этот танк достал. Я же помню: он не моргнув глазом соврал перед всем народом. Ну, сказал бы: да, строю за городом… Но он соврал. Значит, понимал: народу это понравится. И если сейчас его развенчать, народу не понравится.

Я снял трубку и позвонил бывшему своему студенту Диме, на телевидение. Он там подвизается в качестве руководителя одной из программ с названием «Глаза в глаза».

— Мне бы срочно Саврасова. Дима, ты? Есть дело, приезжай ко мне с утра.

Дима явился в восемь ноль-ноль (так рано?!) с телекамерой в кофре, и мы на его служебной «Ниве» покатили в строящийся дачный посёлок. По дороге, крича и протирая со сна глаза, я ему рассказал про Туева.

— Наверно, уже смеёшься надо мной?.. но видишь, Дима, у меня рука плохо заживает… пью лекарства, живу, как при солнечном затмении… и вот, вдруг захотелось отомстить… хотя бы одному мерзавцу… жестоко! И боль отойдёт. И он, глядишь, не победит! Ведь лжец! А, Дима?!

Дима, курчавый парень с лобастым лицом Бетховена, жевал жвачку и улыбался. Карие его глаза в раздумье ходили вправо-влево, перескакивая с дороги на облака, на вершины деревьев.

— Мы его разденем,— хмыкнул он.— Как королеву красоты на подиуме. Но вы не с того конца начали…— И он резко развернул машину, едва не слетев в кювет, и мы поехали обратно в город.— Я всё беру на себя. А вам, Николай Петрович, советую воспользоваться фантастическим случаем и сыграть до конца…

— Что ты имеешь в виду?

— Потом.— Он захохотал, видимо, придумав некий эффектный кадр.— Потом, двенадцатый том… Вот вы, доктор наук, профессор… сколько получаете в месяц?

— Я?..— «Ниву» трясло, было больно руке, и я раздражённо буркнул:— Какая разница?! Главное, платили бы вовремя… а то с Нового года…

— Ну, «лимон» получаете? Старыми? Нет?.. И машины у вас нет, так? И дачку вашу я видел, сарай на бетонных ногах. А он, этот Туев, если хотите знать, член совета директоров трёх заводов, Госэнерго и чего-то ещё… всяких акций у него мешок.

— И что?!

— Прежде всего мы убедимся, что он при всём своём цинизме и равнодушии к людям, конечно, умный человек. Видите ли, ни дачи у него, ни машины… Бедненький. Приехали!

Машина рывком встала возле мэрии нашего города. Даже не запирая «Ниву» (программу «Глаза в глаза» побаивались в городе все), Дима, таща обнажённую телекамеру, а за ним и я, вошли в здание, и милиционер возле лестницы с красной дорожкой даже не спросил, к кому мы идём.

Мы буквально взбежали на третий этаж. Дима тут всё знал, сразу свернул налево.

— Здрасьте, я — Саврасов,— объявил Дима в приёмной с портретом Президента на стене и аквариумом с красными рыбками у входа.— Областное телевидение.

Секретарша, долговязая женщина с красной розочкой рта, вскочила из-за столика и, старательно улыбаясь Диме, ответила:

— Мэр в Москве. За него — первый зам, Никита Михайлович.— И она показала глазами на дверь в противоположном конце холла.

Было ясно, что она рада, что шефа нет и можно телевизионщика сплавить к другому начальнику, тем более что, судя по воинственному виду Димы, вопрос будет обсуждаться весьма щекотливый.

Мы направились к заместителю. Пока шли до двери мимо фикусов и кактусов, девица, видимо, уже позвонила Никите Михайловичу, и он встретил нас буквально за порогом. Это был массивный, угрюмый, как медведь, мужчина с золотыми перстнями на пальцах.

— Дмитрий Иваныч?— Представьте себе, он знал, какое у Димы отчество.— Есть проблемы?

— Кто даёт разрешение на строительство коттеджей в товариществе «Солнышко»?— выпалил в лоб Саврасов и слегка отступил в сторону как бы для того, чтобы лучше видеть всего собеседника.

Мужчина умел держать удар: он не удивился вопросу, кивнул, закашлялся, достал голубенький платок, медленно вытянул губы, будто уже готов ответить, но надо ещё губы вытереть. Думал. И наконец очень тихо, словно бы доверительно, словно бы это была великая тайна:

— Стратегически вопрос решает, конечно, мэрия… где, какие товарищества… Но конкретные участки распределяет управление по земельным делам. Позвать?

— У Туева есть участок?

— У какого Туева?— спросил заместитель мэра, прекрасно, конечно, понимая у какого, но соображая, как лучше ответить.— У спортсмена? Так он не Туев, Дмитрий Иваныч,— Чуев!

— Нет, у Туева, у Алексея Иваныча,— едва улыбнулся Дима, и только сейчас я понял, почему он стоит, отступив в сторону,— камеру-то, опущенную к полу, он держит за ручку, приподняв кверху объективом, и крохотная красная лампочка сбоку горит — камера работает, пишет!— У кандидата в губернаторы есть?

— Нет, нет!..— вдруг испуганно ответил мужчина.— Однажды он хотел попросить землю, да передумал.

— А что так?!— допытывался мой бывший студент.— Сейчас же всем дают.

— Да говорит, у его мамы, в районе… а он, знаете, из Старо-Партизанского родом?.. у них огород. Как захочет покопаться в почве, так едет к ней.

— А кому принадлежит коттедж, который строится в «Солнышке» возле соснового леса?

— Ну, там много чего строится,— вдруг закаменел лицом хозяин кабинета. Он уже увидел камеру.— Я-то здесь недавно, всего год. Позвать Кирюшина? Он должен быть в курсе…— Никита Михайлович крупными шагами прошагал к столу, набрал номер и, не снимая трубки, буркнул в микрофон, торчащий над аппаратурой:

— Сан Саныч… я. Ну-ка зайди… тут телевидение.

— А что им?— быстро прощебетал невидимый Сан Саныч.

— Спрашивают про коттеджи возле Красного леса…— Хозяин кабинета отключил линию, махнул рукой, не глядя в глаза, на мягкие кожаные кресла. Мы с Димой переглянулись — у строительных участков уже есть свои, весьма красивые названия.

В дверь вбежал сухонький чиновник, похожий на кузнечика, подмышкой зажаты в прозрачных папках бумаги:
— Здрассьте, сдрассьте, господа… Вы про те строения?—Он положил на приставной столик папки, выстрелил пальцами над ними, как картёжник.— Трудно сказать. Внаглую лезет теневой капитал… построят без спросу—а их кокнут. Ведь не снести потом… А давать землю мы им не давали. Вот,—он стремительно вынул нарисованную на принтере схему.—Видите, участки номер двадцать, двадцать один… они ничьи!
— Но как же ничьи?!—хмыкнул Дима, давно уже направив снизу на Кирюшина телекамеру.—А строители говорят: Туеву строим… и сторож там живёт, говорит, по субботам Алексей Иваныч приезжает?
— Ну, может, он и приезжает… воздухом подышать!—стремительно заговорил чиновник, стреляя пальцами и собирая их под ладонь.—А эти строители, бомжи эти… они могут и про вас сказать, что вам строят.. а может, строят какому-нибудь Синему или Графу…—Кирюшин повернулся к Никите Михайловичу.—Надо бы милиции нашей там поработать. Ага, Никита Михайлович?

Хозяин кабинета не отвечал, глядя на него отчуждённо, как бы отстранясь, явно отдавая его нам на съедение.
— Разве неправда, Никита Михайлович?—простонал чиновник.
— Хорошо,—заключил мой бывший студент.—Вы можете сейчас дать справку, что этот участок… ну, который как бы туевский…
— Двадцатый?—понятливо спросил, всё ещё хлопоча руками над столом, Кирюшин.
— Да, двадцатый. Что он никому не принадлежит.
— Справку?..—до Кирюшина только сейчас дошла суть просьбы. На него жалко было глядеть. Он покраснел, оглянулся на Никиту Михайловича, но понял, что помощи ему не будет.—Но ведь я могу чего-то не знать?.. Может, сам шеф в рабочем порядке кому-то пообещал… вот приедет—и уточним.
— Но пока-то, на сей момент, земля не отписана никому?—настаивал Саврасов, подняв на плечо телекамеру и снимая уже напрямую чиновника.— Пока что официально участок ничей?
— Формально… да…—пролепетал Кирюшин.
— Справку можете дать?
— Ну чего ты мнёшься, будто в чём-то виноват?..— прогудел раздражённо заместитель мэра.—Ты же говоришь правду?! Вот и дай им, раз просят…

Кирюшин молча, враз намокшими глазками смотрел на заместителя мэра. И трудно было угадать, какой шёл между ними сейчас неслышный разговор.
— Иди, иди, пиши, ставь печать… Мы люди маленькие, действуем по закону. Пока земля ничья, она ничья… А я пока кофейком угощу.

Кирюшин выбежал, жестикулируя, как бы повторяя про себя все сказанные им самим слова—то ли сказал, так ли. А заместитель мэра тем временем нажал на кнопку, и секретарша с красной розочкой губ внесла поднос с двумя чашками и конфетами в вазе.
— Я сам не буду, давление…—пояснил человек-медведь.—Аппаратуру-то выключите, пожалейте аккумулятор. Я ничего добавить больше не смогу, говорю вам—человек новый. А может, и ненадолго сюда пришёл.

Слова эти им были сказаны неспроста. Наверное, как и везде, в мэрии шла своя подковёрная борьба, и кто знает, не послужит ли таинственный случай со строительством дворца для Туева на не оформленной в собственность земле ещё одним полешком в огонь, который всегда горит под очередным мэром города.

Но Диму Саврасова в настоящую минуту эта борьба мало интересовала. Я помню его по институту: если он вцепится в одну тему, как бульдог, то, пока её не размочалит до полной ясности, не отступится. Так было, помню, с охотничьими приметами ангарчан.

Дима глянул на часы, подсел к столу, я—тоже, но у меня правая рука в гипсе, а левая дрожит, и вообще мне не до кофе. Саврасов же спокойно выпил чашку с чёрной жидкостью и сидел, отдуваясь. Наконец в кабинет вернулся совершено поникший Кирюшин. Он протянул Диме листочек бумаги. Дима глянул на текст, кивнул, и чиновник-кузнечик выбежал вон.
— Спасибо,—сказал мой бывший студент. Мы с ним поднялись и пошли прочь по красным коврам.

Дима, как я понимаю, ликовал, губы его дёргались, весело змеились, но он сдерживал себя. И лишь когда мы выскочили из здания на площадь, Саврасов расхохотался.

Мы прошли мимо чёрных лакированных «Волг» и зеркальных «Тойот» к замаранной грязью зелёной «Ниве» телестудии.
—Теперь—туда!..—Мотор машины взревел, и мы покатили за город.—А теперь вот что. Вы, мой дорогой учитель, просто обязаны использовать сей фантастический, невероятный случай. Поскольку земля ничья, а Туев явно врал, что у него нет дачи, вы становитесь на законных основаниях владельцем прекрасного дворца и земли. А если где-то найдём ещё его машину, то и машины.—И, не давая мне возразить, Дима заорал:—И попробуй Туев скажи, что это всё—его!
— Ты… ты с ума сошёл!..—у меня голос даже пресёкся.
— Это он сошёл с ума. И пока не миновал срок голосования, я думаю, надо везде заявить, что земля и коттедж ваши! И он не посмеет возразить, не будь я Дмитрий Саврасов. Слишком многое для него поставлено на карту!
— Да бросьте шутить, Саврасов!..—застонал я.— Мне ещё не хватало на старости лет влезать в авантюры. Я вас попросил только развенчать, а вы…
— А мы и развенчаем!—рычал Дима, крутя баранку.—Я даже подозреваю, он сам вас упросит сказать, что всё—ваше! Под дулом телекамеры, конечно. Даже счастлив будет это сделать. Этот клоп… он же нашу с вами кровь пил всю жизнь… а сейчас—хватит! Баста!
— Нет!—схватил я его за руку на руле, и мы чуть не влетели в кусты.—Отвезите меня домой! Вы не

понимаете, как всё это серьёзно… Там охранник… он вооружён…
— А вот с охранником говорить буду я,—Дима вынул из ниши под панелью диктофон, сунул в левый нагрудный карман джинсовой рубашки.—Я выйду первым, а вы останетесь в машине. Только нажмёте вот на эту кнопку и будете держать меня в кадре. Сможете левой рукой? Звук я запишу там… Мы снимем отличный фильм. Ну, Николай Петрович, не хотите—хоть подыграйте! Ну, для меня!.. А, Николай Петрович?—Он вильнул рулём—мы едва не задавили собаку.—Ах, как бы нам ещё самого Туева сюда заполучить? Чтобы подъехал… чтобы как рояль в кустах—всё сразу?—Он притормозил, открыл узкий ящичек между сиденьями, снял телефонную трубку:—Алё?!. Таня? Слушай, сделаем так…—Он говорил, как я понял, со своей студией. Ну, выдумщик, ну, дурила! Вечно такой! Помню, разыграл в Эвенкии местных жителей… В Эконду как раз привезли на самолёте водку, и к местному сельпо аккуратно выстроилось всё население фактории. Дима разлохматил волосы, заорал, что сообщили по радио: ожидается падение метеорита… через несколько минут треснет небо и огненный шар прокатится по тайге… Все эвенки легли в снег, закрыв уши. Дима спокойно купил ящик водки, вскинул на плечо и ушёл… Вот и сейчас он, блестя узкими карими глазами, что-то рычал интригующее в трубку. И положив её в гнездо, выпятив могучий подбородок, захохотал, как, наверное, хохотал Бетховен, только что закончивший пятую симфонию.—Так, Николай Петрович. Так! Они его сейчас найдут и отправят немедленно к даче.
— А он не поедет.
— Они скажут: горит какая-то дача у Красного леса. Или она каменная? Значит, треснула… И будь я идиот, если он тут же не подскочит! Он же советское быдло, трусливое, только наглее нас. Сейчас… сейчас, Николай Петрович! Я для вас устрою гениальный спектакль. А вы снимете, хорошо?..

## 4.

Возле коттеджа суетились люди. Автокран подавал с гружёной машины длинную плиту, которая, видимо, предназначалась для балкона на плече второго этажа, под башенкой. Прямо скажем, при ясном свете дня архитектура дворца выглядела довольно странной. Смесь старонемецкого замка с вокзальным буфетом.

Наша «Нива», пройдя по дуге через цветущие кусты вербы, подрулила к вагончику сторожа. Чтобы строители не успели обратить на меня с камерой внимание, Дима вылез из машины и сильно хлопнул дверцей, замахал руками:
— Ну и где его тут «Тойота» или «Форд»?

Неловко обняв загипсованной и здоровой рукой телевизионную камеру, я приник к отводному глазку, стараясь, чтобы Дима был в кадре. Отсюда, конечно, техника не запишет звук. Дима сам зафиксирует его в непосредственной близости—недаром сделал вид, что почесал через рубашку грудь, это он включил диктофон.

Из вагончика показался жующий охранник. Усы его дёргались в разные стороны. Сегодня он был в сером свитерке, в милицейских синих брюках, в незашнурованных ботинках.
— Кого тебе?
— Говорил, что-то там у него заедает… японская техника, она ведь тоже…
— Ничего тут ни у кого не заедает…—отвечал сторож, подозрительно оглядывая гостя.—Ты, наверно, спутал адрес.
— Да? Алексей Иваныч сказал: конфиденциальный разговор. А он не тот, кто слово «прецедент» произносит, как «прецендент». Может, заменить кого хочет… Может, ты пьёшь тут, ворон считаешь?
— Я пью?!—вдруг обиделся сторож.—Да я вообще не пью… так, иногда за компанию… Если ты про четверг… я вот у них был… пять минут всего…
— Точно, точно!—выступил из-за урчащего автокрана мой знакомый бомж Сашка по кличке Зуб—у него, хоть он и юн, как школьник, ни одного зуба спереди. Страшно, когда смеётся.—У нас он сидел… даже не сидел, постоял и вернулся.
— А вы Туеву когда дом закончите? Всё резину тянете? Он обижался на вас за столом… Говорил, воруют.
— А ты кто такой?..—оттолкнув Сашку-Зуба, вперёд шагнул основательный, крепкий мужичок—под стать самому Диме—в желтоватой штормовке, в сапогах.—А не пошёл ты на хер?!
— На хер? Вязать мохер?—подхватил весело Саврасов.—Мон шер, не хотите ли вместе со мной чесать мохер?..—Он притворился пьяноватым, но, боюсь, поздно.

Человек в штормовке вскинул седоватую голову—заметил нашу «Ниву» и, как я понял по выражению его лица, увидел в сумерках машины и отсверкивающее стекло объектива.
— А это ещё кто там?! А ну отсюда!..
— Да?—Дима сделал значительный жест рукой, полез в правый карман рубашки и вынул «корочки» тележурналиста. Открыл, показал, сложил, аккуратно спрятал. И, обернувшись, махнул мне рукой: вылезай, да с камерой, с камерой.

Я старый человек, бояться мне уже поздно чего-либо, но всё же вышел я из машины с неприятным ощущением на языке—словно предстояло лягушку глотать. Очень мне не нравились милицейские штаны сторожа, да и трое молчаливых строителей—у одного в руке топорик, у другого длинная выдерга, у третьего палка. В эти минуты моя неприязнь к Туеву как-то потускнела, ушла в прошлое, чёрт с ним с Туевым, подумал я. Уехать бы нам отсюда подобру-поздорову.
— Так это Николай Петрович!..—вдруг радостно заорал беззубый Сашка и запрыгал перед дружками.—Он знаете какой весёлый! Петрович, спой частушку! Это учёный, учёный …—Зуб был как всегда пьян, ватная фуфайка нараспашку, на босых ногах тапки, он мычал от нехватки слов, заливисто смеялся чёрным ртом, стараясь втолковать строителям, что я не опасен.

Но его трезвые товарищи отчуждённо молчали, стоя полукругом. И сторож наконец меня, кажется, узнал.
— Стой там,—сказал жёстко Дима.—И снимай. Я, господа, представляю здесь студию «Глаза

в глаза». Наверное, слышали… Вопрос: вы знаете, кому строите дачу, точнее — коттедж?

Строители молчали. Водители грузовика и автокрана вылезли было из кабин, но снова вернулись на место.

— Не знаете. И это правильно. Вот у меня справка из мэрии, получена сегодня…— Он развернул её и подержал несколько секунд перед седым мужичком в штормовке.— Вы тут главный, самый умный? Смотрите. Двадцатый участок… а это — двадцатый участок!..— не принадлежит никому. На кого же вы горбатитесь?

— Ты бы, парень, не дурачился, а то худо тебе будет,— процедил сторож.

— Помолчи, дурак!..— оборвал его бригадир. И, улыбнувшись, спросил у Димы:— Ну и какое тебе дело? Мы пролетариат, нам платят — мы строим. Зовут его, кажется, Егор Егорыч. Или Сергей Сергеич?

— Но земля-то ничья. Стало быть, строительство незаконно?

— Стало быть, так,— смиренно согласился строитель.— Но мы-то при чём?! Пошли, парни, перекусим, пока они тут что-то ещё снимают…

Грузовик взвыл и уехал, хлопая неподнятыми бортами. Наверно, левачит здесь парень, испугался. Водитель автокрана выключил движок. Стало тихо.

Дима мне кивнул — я погасил камеру. Дима сел на зыбкую гору досок и закурил.

— Ну, что ж, подождём Иваныча. А пока я вам стихи народные почитаю… Хотите послушать?— И зычным баритоном, напоминающим государственный голос Левитана, начал:— Молитва сибиряка.

Благослови, господь, мои страданья
И дай утеху мне и сладость упованья!
И дай мне силу воли и терпенье,
Дай зреть моих ошибок исправленье!

Рабочие остановились поодаль и, позёвывая, тоже примостились — кто на валяющемся брусе, кто на пластмассовом ящичке из-под бутылок. Бригадир закурил, невзрачноликий юноша, нёсший палку, достал из кармана конфету, а третий, с выдергой, так и сидел с ней, с тяжёлой, изогнутой на концах, ковыряя землю возле ног.

Пошли мне дух трудолюбия и чести,
Дух покоя, мира, совести душевной!
Да бежит от меня дух коварной лести
С его соблазнами и участью плечевной!

— Вам, наверно, интересней байки народные, меткие выражения?..— Дима кивнул в мою сторону.— Мы с нашим профессором много собрали интересного, только нынче это никому не надо. «Золото веско, а кверху тянет». «В Сибири сто рублей — не деньги, сто вёрст — не расстояние, человека убить — дальше Сибири не быть!» Ничего?

— А вот у нас в деревне,— с переменившимся вдруг, ожившим лицом отозвался тот, что сидел с выдергой,— говорили: нам что человека убить, что чеснок посадить.

— Очень интересно!— кивнул Дима.— Это у нас записано. А вот такой текст: «У него правды, как у змей ног, не найдёшь». А хотите загадку? Два убегают, два догоняют, а отдыхают вместе. Что?

Бригадир пожал плечом, парень с выдергой наморщил грязный лоб, а третий, с невзрачным лицом, весь будто из похмельного тумана, нерешительно пробормотал:

— Что ли, зэки с ментами?

— Ну ты даёшь!— расхохотался Дима. Я с удивлением наблюдал, как он завладел вниманием совершенно случайных людей и уже не торопится далее, спокойно затягивается сигаретой. Сашка-Зуб, оказавшийся между рабочими и Димой, крутился туда-сюда, радостно сверкал глазами, как бы гордясь нами, как бы демонстрируя нас своим корешам. Только сторож скрылся в вагончике, но дверь оставил открытой — наверняка слушал странных, явившихся непонятно зачем гостей.— Не угадали? Да четыре колеса у телеги!

— Верно,— осклабился парень с выдергой.

— Петрович!..— не выдержал от волнения Зуб, открыв чёрную пасть.— А частушки он знает?

— И частушки мы знаем!— продолжал Дима.— И сказки. И приметы. «Кто на кошку наступил — жениться захотел». Интересно, ага?.. Или как прежде в Сибири говорили? Человек чихнёт — ему: «Салфет вашей милости!» А тот, кто чихал, в ответ: «Красота вашей милости!» А сейчас один другому готов голову оторвать просто так, а другой — ноги ему отвернуть. А вот на Ангаре есть мудрая сказочка…

Сам посветлев лицом, Дима рассказывал про старика и старуху (ведь помнит наши записи!), а я сидел и слушал птиц. Даже перезимовавшие синицы весною диковинно свистят:

— Ти-иу-у…— В конце завиток мелодии — как у лопнувшей серебряной струны… А эти «свирри-свирри» чьи? Чей этот еле слышный поднебесный свист? Точно же, свиристели с хохолками на старой черёмухе, против света и не увидишь сразу… похожи на комки живого пепла… всё сгорело, только музыка осталась.

— Тук-тук!..— работает метроном. А это высоко-высоко, на ободранной уже берёзе стучит желна, дятел в красной шапочке — этакий кардинал Ришелье леса… Господи, сколько уже птиц прилетело!

В небе кружит покрикивая, посвистывая — так тонко ржёт жеребёнок — чёрный коршун. А кто же это носатенький в кустах, вокруг клюва огненное пятно? Щегол, и ты здесь?! А в стороне — слышу — где раменье, дерутся дрозды… А подалее, в глубине тайги, небось уже и глухарь токует, ходит меж деревьев, чертит раскинувшимися крыльями круги на жёстком синем снегу… Весна, весна! Пробуждение страсти в этих тельцах крохотных…

Скворцов и горихвосток ещё не видно. В мае. Но что-то яркоцветное вспыхнуло… трясогузка? Брюшко жёлтое… какая же ты маленькая! Самоуверенный серый дрозд напугал тебя — пролетел рядом, крутя крыльями, как вертолёт лопастями…

На буграх кое-где уже травка зелёная, длинная обнажилась, снега почти не остаётся в чаще… скоро на яру, над водой, мохнатые прострелы выскочат… Боже, чем мы тут с Димой занимаемся? Истинная, замечательная жизнь проходит мимо нас.

Я стоял, держа в руках, вернее на одной левой, но придавливая и гипсовой дланью, тяжёлую

японскую камеру, великолепное устройство из стекла, пластика и металла. И вдруг посмотрел на окружающее как бы и её светящимся фиолетовым, запоминающим навсегда оком. И обыденный мир вокруг мне показался на мгновение ярким, как в детстве, необыкновенным. Это как если новую рубашку наденешь или отец часы подарил — всё меняется кругом… Что нам ложь некоего Туева, его каменные хоромы? «Циви-циви, милые мои… тиу-ти-иу…»

Интересно, а как сейчас у меня на огороде?

— Я на минуту,— буркнул я бывшему своему студенту и, приложив отводной объектив к глазу, медленно, наугад, страшно шатаясь (или это лес вокруг шатается в линзе?) побрёл в сторону деревянных дач. Вот и штакетник мой, выломанный мальчишками на углу огорода. Вот и снег, ещё оставшийся в тени, но уже съёжившийся, серо-чёрный. Отстранившись от камеры, я глянул вниз подслеповатыми от сияния глазами: рыжие семена берёз на снегу… сажа…

Но сугроб, съедаемый мощным жаром весны и ветром, хотел жить! Он простирал к небу белые отростки, хрустальные ладони, ледяные губы… Господи, чем я занимаюсь в последние дни? На что трачу остаток жизни? Мы все: и президенты, и воры в законе, и фарисеи от политики — уйдём, а земля всё так же будет возрождаться год от года, век от века, если, конечно, мы не уничтожим её своей химией, ревностью к новым поколениям, ненавистью… Но пока мы живы, надо бы радоваться и творить только добро…

И вдруг этот узкий сугроб в тени деревянного заборчика, этот сугроб потаённый, шуршащий и уменьшающийся на глазах, обрёл великий смысл под огненным небом. Мне показалось: некая пугающая связь установилась между ним и моей жизнью… Мне показалось: он растает — и я исчезну. Не схожу ли с ума? Не накрыть ли мешками снег, чтобы он дольше здесь пролежал?

Выключив камеру, я запрокинул голову. Зажмурившись то ли от слёз, то ли от солнца, я медленно вернулся в Красный лес, на поляну, где Дима Саврасов, восседая на пахнущих мёдом досках, рассказывал рабочим мужичкам одну из жутковатых историй, записанных нами лет пять назад у старух в Мотыгино. Вернее сказать, это песня:

Я стояла, примечала, как река быстро течёт…
Река быстра, вода чиста, как у милова слеза.
Не прогневайся, друг милой, что я буду говорить:
«Ты родителев боишься, ты не хошь меня любить.
Я не вовсе девка глупа, не совсем я сирота.
Есь отец и есь мати, есь и два брата-сокола.
Два вороные коня, два вороненькие…
Два черкацкия седла, два булатные ножа.
Уж я етими ножами буду милёнка терзать —
Ты рассукин сын, мошенник! На дорожке догоню!
На дорожке догоню, твоё тело испорю.
С твово бела тела пирожков я напечу!
С твоей алой крови я наливочку сварю!
Из твоих костей-суставов кроваточку сделаю!..»

Потягиваясь, Дима встал на досках и сверху сказал слушателям:

— Во как раньше любили, какие страсти были! — Глянул на часы.— Так, нету Иваныча. Сами к нему проедем в штаб.— И небрежно объявил, увидев выглянувшего из вагончика сторожа: — Мы тут проверяли вас на вшивость. Он будет доволен.

Лицо охранника радостно расцвело, все веснушки мгновенно проступили, как загораются люстры театра по окончании спектакля. Но тут же недоверие затмило его лицо, и он пробормотал:

— Я ничего не знаю.— И хотел было снова уйти.

— Стоп! — Дима властным окриком остановил сторожа.— По той причине, что участок отныне отдан Николаю Петровичу, вот этому, дом принадлежит ему. Передашь, если мы случайно с Туевым сегодня не увидимся? Запомнил?

— А платить он же будет? — ухмыльнулся Зуб, который всё стоял неподалёку, бомж несчастный.— Петрович, а мне зажилили червонец, а я доски эти складывал. Знаешь, какие тяжёлые.

Дима не отвлекался, смотрел на сторожа в милицейских штанах.

— Платить за всё будет Туев. А дом и земля подарены Николаю Петровичу. Потому что он, Николай Петрович, одним своим словом обеспечит победу Туеву на выборах. Как — это его проблемы.

Рабочие хмуро издалека слушали разговор. Они уже пообедали, бросили комки недоеденного хлеба птицам на тропинку, возле золотых, как бы дымящихся верб.

— Ну их в манду,— сказал старший в жёлтой штормовке.— То ли правда на выдержку пытают, то ли из милиции. Но мы люди маленькие, пошли вкалывать.

— За рассказ спасибо,— сказал невзрачный парнишка, давно уже отбросивший в сторону палку.— Во была жизнь!..— Он вздохнул и побрёл за бригадиром.

Парень с выдергой, расслабленно глядя на мокрую землю, заключил:

— Жалко, Андропов не дожил… он бы навёл порядок… и чуркам бы власть не отдал в русских городах…

Вечерело. По лесу шли красивые девочки с огромными овчарками. Старик проплёлся с мешком за спиной — там звякали бутылки. По небу проплыл, треща лопастями, как огромный дрозд, зелёный вертолёт. Туева не было. И, наверное, уже не будет.

— Поехали…— кивнул Дима.

И когда мы уже катили по шоссе в гору, в город, он сказал:

— Ему, конечно, доложат. Да я думаю, и по звонку со студии он догадался… и был бы дурак, если бы тут появился. Но возможен шантаж со стороны его людей… Если что — сразу мне звоните. А завтра мы что-нибудь придумаем.

— Не надо!..— простонал я.— Я ничего больше не хочу!.. Я тебя умоляю, Дима,— забыли. Ну их всех к чёртовой матери!…

Саврасов пожал плечами, молча довёз меня до дому и уехал.

И снова жена сама открыла мне дверь, услышав, как лифт остановился на нашем этаже. Я через порог закричал:

— А если хулиганы? Почему отпираешь?
— Я же тебя увидела в окно сверху.
— Больше не отпирай. Слышишь?..

И тут же позвонил телефон. Он у нас стоит в прихожей. Жена сняла трубку:

— Алло?..— послушала и протянула мне.— Говорит, передай мужу.

Начинается.

— Алло?— напряжённым голосом отозвался я.— Что вам угодно?

— Мне угодно…— в трубке зашелестел сиплый мужской голос,— если ты такой шибко умный… если не хочешь, чтобы тебе шею свернули, как цыплёнку… Володьку больше не трогай…— Какого-то «Володьку» приплели. Это, наверное, чтобы зашифровать угрозу, если я умудрюсь записать разговор на магнитофон. Но у меня нет магнитофона.— Ты понял? Нет, ты понял?!. Ну и что, что он твою Таньку повёз в Канск… дело молодое… Он, может, на ней женится…

Постепенно до меня дошло, что всё же звонят не мне. Я положил трубку.

— Что?!— встревоженно спросила жена.— Стал прямо белый.

— Да нет… ошиблись…— Надо бы куда-то деться от её вопрошающих глаз. Постоял перед туалетом, зашёл в ванную.— Я голову вымою. В лесу так хорошо…

— Давай я тебе помогу… как ты с одной рукой?

— Ах, да.

Жена помогла мне снять рубашку, майку, я нагнулся над ванной, и она начала мне мылить волосы и полоскать под горячей острой струёй. И снова я будто в детство вернулся— точно так же мама меня, помнится, мыла, трепала по башке, шутливо за ухо дёргала… Попросить Галю, чтобы и она меня за ухо дёрнула? Подумает, совсем спятил. Господи, как быстро жизнь уходит… Ночью обещают плюс девять. К утру узкий фиолетовый сугроб на моём огороде исчезнет…

Надо садиться за статью— о меняющемся говоре ангарцев. Утром у меня нет лекции, вот и примусь за работу…

**5.**

Но на рассвете в квартиру ворвался мой лохматый Бетховен, совершенно не имеющий музыкального слуха,— Дима Саврасов. С порога диковато пропел:

— Он сказа-ал: «Пое-ехали!..»— Что-то ему вспомнилась песня про Гагарина.— «Вы знаете, каким он парнем был?». Это я про Туева.— И уже полушёпотом.— Сейчас едем в логово врага. Я уже позвонил. Он ждёт. Я сказал: мы хотим поговорить о будущем нашей области.

С его помощью, с трудом, я натянул глаженую рубашку, вдел левую руку в рукав куртки, правая под полою повисла на марлевой перевязи.

— Главное— улыбаться и молчать. Когда человек не говорит, значительно улыбается, собеседнику страшно. Я-то про него узнал всё! Старую дачу на полустанке Таёжный они переписали на тётю, другую— на Бирюсе— продали. Имеется две машины: «Volvo» записана на жену, южнокорейская «Sonata»— на шестнадцатилетнего сына. Но даже если!.. Он уже понял, что мы его поймали. Не кретин же! Едем!

«Зачем мне всё это?..»— морщась от боли в руке, думал я, садясь рядом с Димой в его пропылённую «Ниву». Но он так яростно убеждал, он кричал по дороге:

— Чёрт возьми, вы можете не брать этот дом!.. Так отдайте его своему институту… там можно проводить семинары. А?

И в самом деле, подумал я. В лесу, на воздухе, говорить о здоровье нации, о духовности куда более пристало, чем в бетонном каземате с тусклыми старыми окнами, где белая краска на рамах горбами и облупилась, как береста на весенних берёзах. А то, что я услышал про две машины Туева и про две… даже три дачи, вновь тоской и ненавистью переполнило душу. Вот они, политики, воры эпохи! Как это у Даля? «Доворуешься до кобылы». «Люди воруют, да нам не велят». Точно!

— Вы слышите, шеф?..— донеслось до меня.

Вдруг я обиделся, в ответ яростно замычал:

— Не смейте меня так называть! Это они— шефы! Профи! Мафи!

— Николай Петрович, да что с вами? Подъезжаем. По опросам социологов он в этом туре может победить… Значит, любая неприятность ему сейчас— нож к горлу!

— Накажем,— пробормотал я.— Только не гони так.

Штаб Туева располагался в здании банка «Сибирский дом». На входе нас оглядели с головы до ног нарочито вялые парни в широких пиджаках, вопросительно кивнули на телекамеру. Дима показал им «корочки», и мы поднялись на второй этаж, в приёмную.

За столом сидела круглолицая девушка с туманными глазками, с пышной белой косой на спине,— прямо-таки Алёнушка с картины Васнецова. Перед ней на стекле истекал ароматом букет кремовых роз, на стульях вдоль стены лежали кожаные папки, папахи, сабли. Пахло ваксой.

— У него казаки…— прошептала секретарша.— Сейчас заседание закончится— и Алексей Иваныч вас примет. Кофе? Коньячку?

— Выпьем после победы…— туманно отозвался Дима, поправляя на коленях камеру и незаметно включив её,— лампочка сбоку затлела, как спелая брусничина.

Дверь распахнулась, и оттуда вышли, молодцевато поправляя широкие ремни, обхлопывая груди с крестами и прочими старинным орденами, человек семь местных ряженых. За ними в проёме двери показался неспешный, коренастый, с тонкой улыбочкой Туев.

Увидев Саврасова (кто же Саврасова в городе не знает?!), он начальственно повёл рукою, чтобы мы проходили.

Кабинет у претендента был просторный, светлый, на стене висела полутораметровая карта нашей области с флажочками на иглах, красными и белыми. Как на фронте. Дима небрежно опустил камеру на край стола и отвернулся от неё— мол, пусть пока отдыхает. Но вряд ли Туева можно был провести таким простым манёвром…

— Садитесь, земляки,— предложил он негромким, но чётким, уже снящимся мне во снах скрипучим голосом. Мы продолжали стоять. Он начал говорить, не дожидаясь вопросов, расхаживая перед нами, как маленький Сталин.— Чё делать-то будем? Коммунистов поддерживать или народную силу? Я тоже был в партии, хотя никогда не страдал глупостью объяснять всё Марксом-Энгельсом. Но и светлые идеи демократии наши реформаторы подзагубили. Заставь дурака богу молиться…
— Мы не по тому поводу пришли, Алексей Иваныч.
— Я знаю,— кивнул он.— Но я должен объяснить вам свои взгляды… Хотя… можно и с другого конца… сядем вон там.— Он показал на кресла в дальнем углу кабинета, где стоял круглый столик-зеркало с минеральной водой и бокалами.— Машинку-то свою выключите.

Дима погасил телекамеру, мы с ним прошли и сели.
— А эту можно включить.— Туев нажал кнопку, и возле столика с шелестом закрутились лопасти вентилятора.— Жарко, пейте. Вода у нас своя, из здоровых сибирских недр. Водку-то ещё рано.. надо выиграть… Вы, кстати, за меня?— Как бы небрежно осведомился он.
— Конечно,— засмеялся Дима, наливая и выпивая стакан хрустальной, в пузырьках жидкости.— Иначе мы бы пошли с нашими наблюдениями к вашему сопернику.
— Кстати, тоже патриот, неплохой человек,— не останавливался Туев, как бы не понимая, зачем и с чем мы явились. Но он всё понимал, и мы понимали, что он понимает. Я сидел, убаюканный его неостановимым жестяным голосом, если можно быть убаюканным подобным голосом,— так скрежещет море по гальке или ест робот жесть килограммами, метрами. Алексей Иванович ходил перед нами, маячил, затянутый в тройку, в багровый галстук, крепкий, скуластый, шарики гуляют под щеками.— Но он старше меня лет на двадцать… а ведь работа губернатора— это не в домино играть, верно?— Он на секунду остановился, выжидающе глядя на Диму.

Тот мгновенно развернул и молча сунул ему под нос справку, полученную нами в мэрии.

Туев глянул, кивнул и продолжал:
— Меня поддерживает молодёжь… студенты… они понимают, что рынок предполагает талант и риск… я эти десять лет безвременья готовил себя всерьёз… Поверите, Николай Петрович?.. прочитал всего Бердяева, Соловьёва, Ильина… Стыдно, что раньше не знал… Как сказано у Николая-то Александровича: «Если труд должен быть освобождён, то это не значит, что он должен быть оботворён, превращён в идола. Человеческая жизнь есть не только труд, но и созерцание…»— Он что, этот Туев, готовился ко встрече и со мной, специально листал час назад Бердяева или действительно глубже и умней, чем кажется?— Тут и Достоевского можно вспомнить с его великой мыслью: красота спасёт мир.

Но, глядя на Туева, вспомнив про его три дачи и две машины, я подумал о нашей тётке Рае, которая в деревне живёт на одной картошке и свёкле. Мы посылали ей деньги, отрывая от своей и без того крохотной зарплаты,— накопила, отнесла в детдом в районном центре. Она бездетная: один сын умер маленьким, а другого в расцвете сил пьяного, задавили в соломе трактором…

И ещё про сына своего я подумал:— бросил любимую теоретическую физику, изобретает охранные устройства для учреждений и вроде бы даже стал за это деньги получать… но недавно один банк обокрали, и теперь с Константина банкиры требуют заплатить хотя бы процент украденного— а это миллионы…

Сын судится с ними… адвокаты тоже не работают бесплатно… у невестки с сердцем плохо… ребёнок растёт болезненным, плачет… А у нас, у дедушки-бабушки, не плачено с Нового года за квартиру…

И сама жена моя года четыре уже толком не отдыхала летом, стала как седой одуванчик… Мы не ездим никуда… слава богу, хоть шесть соток дали… можно на скамейке посидеть меж двумя заборами…

Нет, нет, этого скрипучего щелкунчика надо давить, душить. И гнать из власти. Власть для таких— привычное место. Мы вот руки, ноги, даже, наверное, шеи ломаем по классификации врачей в «привычном месте», а они рвутся во власть, чтобы сесть там, устроиться на своём «привычном месте» и кровь из нас сосать через позолоченную соломинку…
— И ещё неизвестно, кто сейчас лучше для народа,— словно сквозь сжатые зубы, весь гудя от нетерпения, изрекал Туев.— Мы, несколько раз разочаровавшиеся во власти и всё-таки сохранившие веру в народ, в его здравый смысл, или мастодонты от КПСС, которые одним лишь могут похвалиться— что не меняли своих взглядов. Но не Пушкин ли… или Лермонтов, Николай Петрович?— Это он опять ко мне?!— Кто-то из них говорил: не настолько я глуп, чтобы за всю жизнь не поменять своих убеждений.
— Пушкин,— промычал я автоматически. И, уничтоженный своей вдруг явившейся суетливостью, снова засомневался. Да стоит ли нам останавливать этого заряженного, как шаровая молния, человека? Он всё равно пройдёт. Да и чем лучше тот? Господи, какое несчастье для России— вожди. У меня руку неожиданно пробило судорогой— я едва не потерял сознание. Наверное, дёрнулся в раздражении, что-то в ней пошевелил. С мольбою я глянул на своего бывшего студента— надо уходить.
— Так,— оборвал Саврасов наконец хозяина кабинета.— Всё ясно.— Сунул в карман бумагу.— Если коротко… одиночными патронами…
— Минуту!— Туев сел рядом с нами, спиной к камере, и включил вентилятор ещё пуще. Воздух заворчал перед нами.— Слушаю.
— По жеребьёвке в последний день слово имеет ваш оппонент…
— Это на госканале!— кивнул Туев.— Но есть ещё и частные студии…— Он намекает, что сумеет за деньги выйти на экраны буквально через минуту после выступления своего оппонента и дезавуировать любые его выдумки.

— Именно, — с улыбкой подтвердил Дима. Что означало: Дима также может через частный телеканал добавить оглушительного компромата.

Туев на секунду задумался, держа перед вентилятором растопыренную мокрую — я это заметил — ладонь.

— Давайте так, — проскрипел он наконец. — К тем делам я не имею никакого отношения. Сейчас нет порядка, почему и идём во власть. Бог знает, кто и где что творит… — «Строит», хотел бы он сказать, но слова этого не произнёс. — Если всё так, как вы говорите, после победы помогу оформить на вас. В конце концов, криминальные хлопцы наши же с вами деньги использовали… почему не передать хорошим людям.

— Его студентам, — подсказал Дима.

— Я люблю молодёжь! — закивал Туев, вставая.

— А если не победите?.. — остановил его Дима. — Ну, если?! Разве ваши только что произнесённые слова не останутся справедливыми и в этом случае? У вас авторитет. При любом результате вас послушают. Лучше бы уж до пятницы всё и сделать.

На секунду лицо Туева затмилось — так по озерцу проходит тень тучи. Он стоял над нами, покачиваясь.

— Но могу ли я быть уверен, что вы поддержите не коммуниста?

— Абсолютно, — отвечал Дима, также вставая и проходя к телевизионной машинке. — Но вы должны сказать это мне в камеру… не в ту, которая с решёткой, а сюда…

— Ваши шуточки, — кисло улыбнулся Туев, глядя на меня. Уж не ждал ли он от меня помощи? Знает, конечно, слабинку несчастных русских интеллигентов — мы все милосердны в последний момент.

Я уже рот открыл, но Саврасов перебил меня, диктуя:

— Что такой-то и такой-то участок не ваш… и конечно, вы поможете оформить… Клянусь мамой — эта плёнка останется просто как залог. Я её потом вам отдам.

Туев, глядя на меня, молчал. Я больше не мог выдержать этого двухслойного разговора.

— Постою на улице. — И вышел прочь.

В приёмной Алексея Иваныча сидели измученные пожилые женщины с прошениями в руках, по полу катался бородатый калека на дощечке с колёсиками и, короткими костылями в тёмных руках. Увидев меня, беловолосая секретарша вздохнула.

— Там ещё надолго?

— Не знаю. До свидания.

На улице тёплый ветер гнал мусор — афиши, полупрозрачные пакеты. Вокруг банка млели на солнце лиловые роскошные иномарки, в них слышалась музыка. За тёмными стёклами смутно угадывались водители и ещё какие-то люди. Наверно, охранники.

Мимо шли, крутя бёдрами, две юные красотки в коротких белых юбочках, ели мороженое на палочках. У одной из машин приоткрылась дверка — и мигом обе девочки с хохотом были затянуты внутрь. Они и не сопротивлялись.

«Ненавижу!..» — хотелось крикнуть, но умом я понимал: все страны прошли через эту полосу дикого капитализма, бесстыдную власть денег. Рано или поздно всё же что-то утрамбуется.

— Утрамбуется на твоей могиле, — сказал я сам себе язвительно.

Наконец показался с невозмутимой мордой мой Саврасов — несёт, как чемодан с золотом, телекамеру.

Я вопросительно глянул на Диму. У меня кружилась голова, от боли в руке и в сердце будто снова попал в день солнечного затмения.

— Всё о'кей, — буркнул мой бывший студент, открывая кабину. — Он мне даже баксы за помощь предложил… пять тысяч. Говорит, сейчас все так делают. Только чтобы я точно молчал, плёнку не крутил. Но я отказался… я и так держу слово…

Правду ли говорил Дима, не знаю. Мы сели в раскалённую на свету «Ниву». Мотор взвыл.

— А сейчас едем к его сопернику. Чтобы до конца железно всё обставить.

— Н-нет, — вырвалось у меня. — Домой!.. Я больше никуда не поеду.

— Эх вы, милый, добрый русский человечище, как говаривал Ленин в очерке Горького!.. — Саврасов ощерил тёмные зубы курильщика. — Ну, хорошо. А хотите — в лес? Дом-то теперь точно ваш. Посидите там.

— Я в свой хочу…

— Ну, в ваш. — Он повернул машину за город.

Через полчаса я стоял в халупе из бруса и смотрел через мутное окно вниз, на голый чёрный огород. Вдали, в правом углу, под штакетником, кажется, ещё синел горб снега, а может, мне просто казалось.

Вообще в последнее время мне иной раз бог знает что кажется. Вдруг на улице в толпе вижу свою жену — но молодую, какой она была лет двадцать пять назад. Или и вовсе смешно — на экране телевизора среди жителей, например, Барселоны вижу себя. Ну, совершенно похож… только исхудал, что-то кричит… Не грозный ли знак — смотрю на себя уже со стороны? Не смерть ли ходит вокруг?

А насчёт сугроба… не бойся и пойди посмотри.

Над огородом змеился жаркий воздух. Конечно, на земле в тени и клочка снега не осталось. Испарился, взлетел, весь ушёл в облака…

— Петрович!.. — позвали меня из-за ограды. Радостный такой мальчишеский голос. Это Зуб. Рядом с ним стояли угрюмый Борода и Василий, они пьяны. Борода, приложив руку к уху, отдавал мне честь. — Это правду сказал Дмитрий Иваныч, что тот дом вам подарили?

— Правду.

— А этот отдадите нам? — хихикнул Борода и стыдливо закусил зубами клок рыжей растительности.

— Отдам.

Три бомжа перемахнули через штакетник так ловко, что я, вспомнив срезанные в прошлом году стрелки зелёного лука на грядке, понял: это, верно, они и лазили. Хоть и мои друзья. Но ведь и закусить зелёненьким хочется…

— Уважь, Петрович, выпей с нами.

Я уважил и выпил из облупленной железной кружки.

И очнулся поздно вечером на тахте. Небо светилось за окном, как «движущийся атом» (Тютчев? Заболоцкий?). Рядом на стуле сидела некая женщина и в ужасе смотрела на меня. Это была моя жена. Галочка.

— Я так испугалась. Тебе нельзя пить.

Уже в сумерках мы побрели домой — она поддерживала меня за локоть, как старика. Хотя мне пока ещё и пятидесяти нет. Но если в России живут до 57, а в Японии — до ста, то по-японски мне уже 89.

**6.**

И обрушился безумный, душный, прощальный апрельский снег в пятницу. Он шёл и таял… над страной плыл пар…

В субботу мы с женой шелушили на верандочке бобы для посадки вместе с картофелем в лунки. На южной стороне моего участка в тени штакетника ещё раз возникший нежный белый сугроб, похожий на женскую грудь, сиял надеждой на продолжение моей жизни.

Смотреть чужой новый дом мы, конечно, не ходили.

Правая рука в гипсе болела меньше, но страшно чесалась. Наверное, на неделе снимут этот «гроб», говоря словами Василия, одного из местных сторожей. Всё-таки жизнь была прекрасна.

Оказывается, наш внучек Иван уже заговорил. Заговорило мокрое солнышко на полу.

— Не может быть! — не поверил я жене. — Дети начинают говорить после двух. — И повторил по-ангарски: — Не могёт быть!

— А вот правда. Он мне вчера сказал: «Баба».

— А это он не «баба» сказал.

— А что он сказал? — оживилась Галя, подозревая подвох в моём упрямстве.

— А он сказал: «Ба!.. ба!..» — удивляясь миру. Наверняка он это имел в виду. А говорить он начнёт всерьёз со слова «дед». Вот увидишь!

Галя с улыбкой погладила мне седой ёршик и, забросив в печурку сухие скорлупки от бобов, попросила:

— Расскажи какую-нибудь народную притчу… ты их много знаешь.

Я приложил закованную в белый камень руку к груди, как делал когда-то в студенчестве.

— Письмо жане. Дорогая Дарья Ягоровна, я жив, здоров, чаго и табе жалаю. Я таперича не то, что давеча. У мене таперича ахвицерская кров тяче. И ты таперича не посто баба, а ахвицерская жана, а потому не дозволяй сабя Дашкой крикать. Пущай табя каждой Дарьей Ягоровной зоветь, как всех антилегентных зовуть. Посылаю табе пятьсот рублев денег. Купи сабе антрижерку с трюмой и часы с кукушкой. Свинью в хату не пускай. Найди сабе бабку, домработницей зовуть, пущай табе похлёбку варить. Справь сабе юбку с прорезой сзади и к низу, штыбы хвичура была видна какая.

— Ну, хватит! — рассмеялась жена.

— На польто на ворот навесь никакую нинаесть шкуру и зови мантой. Купи сабе розового мазила, что губы мажуть, сходи к соседу Хведору, что у пруда живеть, пушай он табе волосы в гнедой цвет выкрасит. Косы не заплетай, а носи причёску як у гнедового воронка хвист да матри, не ослушайся, не то развод, я ведь таперича не то, что давеча. Ещё пудри харю, не жалей, будь антилегентной бабой, сходи к Петру-сапожнику, пущай он табе на тухли каблуки прибьёт, ходи задом виляй. Гармошку мою продай, купи пианину и поставь в угол, там, где телок стоял…

— Ну, хватит, хватит! — смеялась жена, роняя на пол ошкурки бобов и сами зёрна, чёрные, будто лакированные.

В воскресенье были выборы губернатора — мы их проигнорировали. Галя мыла окна и пол на даче, я вытаскивал из погреба картошку на посадку — мы её рассыплем на газеты, пора проращивать.

А в понедельник с утра по радио и телевидению объявили: Туев выиграл. Может, вправду отдаст моим студентам для семинаров дворец с башней из «слоновой кости»? Мы бы наверху Пушкина и Блока читали:

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне…

Или Гумилёва:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай, далёко, далёко, у озера Чад
Изысканный бродит жираф…

Мы будем читать, а в наши окна, пролетая, будут заглядывать иволги с золотыми от света крыльями и зелёные синицы, пасмурные коршуны и яростные весёлые молнии…

Сразу после новостей в квартиру ввалился Дима со включённой телекамерой:

— Смотреть сюда! Исторический момент! Едем принимать!.. И вы, Галина Николаевна, с нами.

— А что принимать? — она ведь ничего пока и не знала. Если только бомжи ей не рассказали, когда она в поисках мужа пришла на огороды.

— Ни слова раньше времени! — попросил я.

— «Ни слова, о друг мой, ни вздоха!.. Мы будем с тобой молчаливы!..» — пропел хрипло Саврасов, нетерпеливо снимая на плёнку нас, наши стены, нашего кота на полу, сверкнувшего жёлтыми очами на незнакомого шумного человека.

Мы взяли с собой канистру с питьевой водой, прихватили бутылку молдавского красного вина, закуски, и Дима бешено погнал на «Ниве» в лес.

— А старик-то, коммуняка, мне тогда объяснил, как они с Туевым всех остальных одолели, вдвоём остались!.. — кричал Дима, повернув ко мне кудлатую голову. Я сидел на заднем сиденье, жена — рядом с Димой. — Не бойся, я всё вижу… Соперников средней руки купили, пообещали взять в аппарат администрации. Но был там, оказывается, неплохой паренёк, «яблоковец»… Так они его перед первым туром голосования в пятницу и завалили… через одного претендента, толстячка… Толстячок в голубом эфире поведал с печалью, что молодой человек был хозяином известной пирамиды «ААА», где и украл миллиарды народных денег… Как вы понимаете, всю субботу народ обсуждал,

колготился… а в воскресенье, естественно, парня прокатили… Сейчас он в суд подаёт, но поезд-то ушёл… Парень и в самом деле числился одним из учредителей, но это было в первые месяцы, когда ещё никаких денег не было… Во как у нас откусывают голову!—Саврасов хохотнул.—А насчёт второго, вчерашнего голосования говорит: мы с Туёвым… он его Туёвым называет, извините, Галина Николаевна, за некое неблагозвучие… мы, говорит, условились: я с ним так, для порядка, борюсь. Конечно, если сейчас я сниму свою кандидатуру, то выборы будут признаны недействительными… и кто знает, не победит ли на новых выборах тот самый парень…

—Ах, надо было его уговорить так и сделать!—вырвалось у меня.

—А дворец поэзии и здоровья?—спросил Саврасов.—Я же их последние три дня держал обоих, как под выстрелом… они мне только в аппарат и говорили… меня не проведёшь.—Мой бывший студент кивнул:—Красота?!

Мы уже подъезжали к лесу, к поистине Красному лесу—утреннее солнце как бы раскалило сосны, их латунные стволы.

—Так вот. Я, говорит, стар, а Туев молод… Но всё равно же он—мой, коммунист, пусть руководит, а я у него в советниках пребуду. Да чёрт с ними, верно?!—И Саврасов снова захохотал. И вдруг осёкся, даже привстал на сиденье.—Господа, что это?!

Перед нами красовалась ограда из фигурного железа, прочно впечатанная в серый бетонный фундамент. Чёрные прутья изображали из себя стрелы и розы.

Ограда отделила строящийся коттедж с башенкой от окружающего бора, прихватив, конечно, внутрь и несколько разлапистых ярких сосен. Когда успели?!

Ворота были заперты. По двору прохаживался знакомый нам охранник с усами, закрученными вверх, как у Чапаева, в полной милицейской форме, в начищенных ботинках.

—Привет!..—окликнул его Дима, вытаскивая за собой из машины сверкающую телекамеру.—Ждёте нас?

—Вы в гости?—вежливо спросил охранник.—Алексей Иваныч мне ничего не сказал. Жена и его дети приехали, чай пьют. А он улетел в Москву.

—Позвольте…—впервые в моём присутствии растерялся Дима Саврасов.—Как в Москву?

—В столицу государства,—подтвердил милиционер.—По-моему, к Президенту.

—Но как же?..—Дима потряс камерой, потом, вспомнив, вынул из кармана справку.—Вот же… в связи с этим…

Милиционер подошёл к забору и через изогнутые железные прутья глянул на бумажку.

—Старая.

—Что? Уже новую выписали?—воскликнул Дима.

—Печать,—кивнул сторож.—Без птички. А без птички недействительная.

Мы с Димой уставились на листок. Текст на оттиске печати гласил: «Городской исполнительный комитет». А внутри круга с буковками располагался герб с колосьями. Ещё тот, РСФСР-овский.

Я засмеялся, словно мне пальцем в живот сунули. Ну, какие же они все молодцы! С первой минуты, начиная с мэрии, мы попали в хорошо налаженный театр. И Туев подыграл с наисерьёзнейшим видом. А уж справочку на свою землю небось задним числом сегодня и оформил, взяв в руки бразды правления.

Дима заорал:

—Гады! Разве так можно?! Так и жить не захочешь!.. Он же мне тут надиктовал, можно сказать, завещание у карты родной области!.. Вот, можешь в глазок посмотреть!

Милиционер с каменным лицом снял с рукава пушинку и пошёл далее вокруг дома.

—Да я сегодня по всем каналам прокручу!.. Да я!.. Он, можно сказать, гимн молодёжи пропел! Говорил, здесь будет сибирский лицей искусств! На золотой дощечке слова Пушкина напишем: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Обещал микроавтобус «Ниссан»!..

Дима трясся от смеха, словно рыдал, и телекамера с красным огоньком сбоку стукала его по коленке. Тут и до моей жены дошло, что нас обманули. И она тоже неуверенно засмеялась. И мы захохотали втроём, как сумасшедшие.

И захрюкал наконец и сам сторож. Снял фуражку и вытер лоб. И рабочие, выглянув из-за горы досок, из-за автокрана, заухмылялись. И мои бродяги, Василий, Зуб и Борода, выйдя из лесу, завизжали—кто сверкая жёлтыми зубами, кто пугая чёрным ртом.

Ехала и остановилась красивая иномарка с тремя антеннами, в ней сидели красивые, гладкие люди, и поверх опущенного тёмного стекла высунулась девочка с красной ниткой вокруг головы, с крохотной телекамерой «Sony» в руках:

—О, что случилось? Ой, можете повторить?.. А то все угрюмы… а вы так хорошо смеялись… Ой, ну пожалуйста!..

Мы продолжали хохотать, как послушные артисты, глядя ей в мерцающий объектив. Нам это было не трудно.

Только невесть откуда взявшийся узколобый дымчатый пёс вдруг зарычал и гавкнул на нас—и мы пошли вон.

Рукопись любезно предоставлена Г. Н. Романовой

Николай Шатров

# Запоздалое признание

Николай Владимирович Шатров (1929–1977)—замечательный русский поэт. Один из немногих самых значительных русских поэтов XX века. Его творческое наследие огромно—более трёх тысяч стихотворений и поэм. До сих пор не издана и десятая часть сделанного Шатровым. Выходившие с помощью друзей три книги не дают должного представления о масштабе шатровской поэзии. Судьба его была сложной. Его не печатали. Известен был он лишь в кругу друзей и знатоков поэзии. Стихи Шатрова распространялись в самиздате. Шатров был человеком огромных знаний. Обладал даром целительства.

По отцовской линии (фамилия его отца—Михин, а Шатров—материнская фамилия, мать—актриса) он из древнего княжеского рода, Рюрикович, более близкий по времени его родственник—Иван Калита. Жил Шатров на Урале, в Казахстане, в прочих краях, позже—в Москве. В молодости Шатров был человеком общительным. Он дружил с Пастернаком, очень высоко ценившим его стихи, с пианистом Софроницким, с другими серьёзными людьми. В более зрелые годы Шатров жил замкнуто. Много работал. Издавать Шатрова надо хотя бы сейчас. Это благородное и достойное деяние.

*Владимир Алейников*

Райская песнь, адская плеснь,
Сердца биенье…
Юность—болезнь, старость—болезнь,
Смерть—исцеленье!

Скоро умру… Не ко двору
Веку пришёлся.
Жить на юру… Святость в миру.
Жребий тяжёл сей!..

Что же грехи? Были тихи
Речи и встречи…
Били стихи… Ветер стихий!
Ангел—предтеча…

Как тебя звать? И отпевать
Ночь приглашаю.
Не на кровать, в зеркала гладь!!!
Только душа я!

Опыт полезен. Случай небесен…
Все на колени!
Детство—болезнь. Взрослость—болезнь.
Смерть—исцеленье.

**Молитва**

Помоги мне, Господи, дай силы,
Укрепи мой слишком слабый дух,
Чтобы от рожденья до могилы
Светоч веры в сердце не потух.

Ниспошли на душу озаренье.
Часто я любовью был томим,
Часто женщину, венец творенья,
Называл я именем Твоим.

Но каким бы тяжким грех тот ни был,
Не студи крови бездумный пыл.
Ты ведь знаешь: я стремился к небу—
На земле богатства не копил.

Разреши мне быть самим собою,
Песни немудрёные слагать,
В час тяжёлый говорить с Тобою…
Ниспошли мне эту благодать.

В дни печали, в горестные годы
Озари надеждой неземной.
Веянье покоя и свободы
Да пребудет вечно надо мной.

В остальном—Твоя да будет воля.
Не перечa слову Твоему,
Всё, что ниспошлёшь ты мне на долю,
Всё, Господь, без ропота приму.

А когда освобожусь от тела,
Помяни во царствии Твоём
Сердце, что всегда добра хотело,
Душу, не отравленную злом.

**Гордыня**

Ты думаешь, моя душа,
Что это сладостно—любить?
Что сладко, чувства отреша,
Себя для вечности забыть?

Ты думаешь, что так легко
Прах отрясти с усталых ног?
Бог—это очень далеко…
А дьявол—шаг через порог.

Я тоже знаю бренность чувств,
Сжигавших с двух сторон свечу…
И если вниз порой качусь,
То потому, что так хочу.

Меня молиться не учи:
Я сам святой на свой манер—
Неугасающей свечи
Недосягаемый пример!

Лишь грешное люби. Невинность безнадежна.
На небесах она, за радуги мостом.
А нам одно дано—ловить тот отблеск снежный
На рдеющих щеках истомы всех истом.

Уже стучится Норд в заплаканные окна.
Дай удержать тебя, осенняя краса!
Я твой последний дом, в ладонях крыши мокну.
Побудь со мной ещё… хотя бы полчаса.

Бог требует к себе божественную влагу
Исхлёстанных и кровь теряющих рябин…
Не умирай ещё!—Единственное благо:
На траурной земле лишь грешное люби!

## Проблеск

За всё в этом мире расплата!
Я тайну открою, послушай…
О, если б проникнуть могла ты
В чужую бездонную душу.

Лицо как послушная скрипка…
Лицо не имеет значенья.
Ты думаешь—это улыбка,
А это гримаса мученья…

И ум равнозначен безумью,
А истина смешана с ложью,
И зло, и добро в своей сумме
Глаголят о сущности Божьей.

Но в чём настоящая тайна,
Поверить в которую жутко?
Всё это открыто случайно
И кажется дьявольской шуткой.

## Запоздалое признание

Где всё, чем сердце было полно:
Дразнящий взгляд из-под руки,
Пшеницы золотые волны,
Пушок девической щеки?

Но не узнал лицо судьбы я,
И замечтались ни о ком
Глаза, лениво голубые,
За розовеющим платком.

Моё потерянное поле
Теперь предстало мне на миг,
И холодок знакомой боли
Наполнил душу, как родник…

Я пью мои воспоминанья,
А жажда день от дня сильней,
И запоздалое признанье
Сопряжено навеки с ней.

Развейте пепел—это тело,
Огонь душе не повредит,
Да и она сгореть хотела:
Сегодня быть не духом—стыд.

## Дух огня

Если сам ты раздуешь огонь
И не будет свидетеля рядом,
Подними пред глазами ладонь,
Чтоб не встретиться с пламенным взглядом.

Но раздвинь свои пальцы чуть-чуть,
Словно прорези шлема скафандра,
И увидишь, не смея дохнуть,
Как танцует в огне саламандра.

## Благодать

Дух растворяется, тело томится.
Я, человек, между ними двумя,
Висну, парю, наподобие птицы,
К звёздам незримым глаза устремя.

Мало мне Неба, насквозь голубого,
И там, внизу, слишком много Земли.
Слух напряжён в ожидании Слова—
Бога, который вблизи и вдали.

Я не хочу своей собственной воли,
Сердце очищено свет Твой принять.
Понял теперь: нет блаженства без боли.
Это сознанье и есть благодать.

Я мудрости не накопил,
И, несмотря на горький опыт,
Какой-то азиатский пыл
Ронял меня в глазах Европы.

Пронзительно раскосых рифм
Разрез лукавый и ленивый…
При жизни я ломился в миф,
Непритязательный на диво.

О, кто загадку разрешит?
Как не заметили поэта?
Так некогда Гарун-Рашид
Бродил в толпе переодетый!

Дух отлетел от песнопенья,
И стих предстал набором слов.
Фальшивое сердцебиенье
Не кружит срубленных голов.

Гильотинированы звуки,
Их интонация мертва.
И в деревянном перестуке
Глухие рифмы—как дрова.

Кто из кремня добудет искру,
Разорванную свяжет нить,
Опустится на землю к риску
Глаголом трупы оживить?

Какой Христос, какой Мессия,
Отринув страх, покроет стыд,
Развяжет твой язык, Россия,
Казнённых позвонки срастит?

Наверстать упущенное хочется,
Что в реальной жизни не изжил,
Потому к неточной рифме творчества
Надо изо всех тянуться жил.

Где-то там смеются и целуются,
Проживают считанные дни…
Я иду с возлюбленной по улице…
Это счастье, Боже, сохрани!

Горницу, как душу, вымыл дочиста.
Милая, входите, мы одни.
Так прекрасно с Вами одиночество!
Это счастье, Боже, сохрани!

Вся жизнь накопленьем была,
И этого будто бы мало:
Как в ткань проникает игла,
Судьба моя мной вышивала.

Поэт—очарованный вор
Сокровищ, свалившихся даром…
Всё ткётся с изнанки ковёр
Каким-то блаженным кошмаром.

Проходит жизнь, и—ни просвета,
Ни проблеска в моей судьбе.
О, что мне сделать? Посоветуй:
Я верю только лишь тебе…

Зачем ты отпустила душу
На странствия в чужом краю,
Где море затопило сушу,
Как горе Родину мою?..

## Воспоминание о снеге

Не белый, а мокрый сначала,
Не лёгкий, а липкий налёт,
В котором былое звучало
И дней настоящих оплот.

Штрихи без значенья и смысла
Черкнувший размытой строкой,
Всё тот же—над Сеной, и Вислой,
И Летой—поэтов рекой.

Не белый, а бледный изгнанник
Из Рая за радостный грех,
Ребёнок без мамок и нянек,
Оборвыш, обуза для всех.

Устало бредущий по небу
На поиски ласковых туч
С горбушкой унылого хлеба,
Упавший, как солнечный луч…

Бродяжка, тебя я согрею…
Ты грязное сбросишь бельё.
Ну, на руки… Прыгай скорее
За пазуху, сердце моё.

Ангел, воплощённый человеком,
По земле так трудно я хожу,
Точно по открытому ножу,
Помогаю и горам, и рекам,

Ветром вею, птицами пою,
Говорю иными голосами…
Люди ничего не видят сами,
Приневоленные к бытию.

Скоро ли наступит тишина
При конце работы, я не знаю.
Боже мой! Ты слышишь, плачет в Рае
Та душа, что мною стать должна.

О, подруга, равная во всём!
На стреле пера, белее снега,
В муке, ощущаемой как нега,
Мы, сменяясь, крест земной несём.

Да, жизнь жестоко хороша.
Она даётся не напрасно,
И в муке каждая душа
Так обжигающе прекрасна.

Пусть счастье бурей пронеслось,
Ты сердцем на него не сетуй
И претвори блаженство слёз
В блаженство горести воспетой.

## Ученику

Не жди пощады от метели,
Беспечно не шути с огнём.
О, как бы властно ни хотели,
Мы эти силы не согнём.

Страшись играющего рока,
Оберегай своё жильё.
Судьба приходит раньше срока
И мстит не верящим в неё.

Ещё послушайся совета:
Любым желанием греши,
Но следуй внутреннему свету—
Святому голосу души.

И если ветер вдохновенья
Коснётся сердца твоего,
И если каждое мгновенье
Ты будешь чувствовать его,

Тогда… тогда я умолкаю,
Благословляя на полёт:
Судьба такая, жизнь такая—
Отчёта людям не даёт.

## Поэзия

Не древним образом народа
Она душе моей близка,
А—как грядущая свобода
Искусства, мысли, языка.

## Сонет смирения

Унизиться не трусь: ведь ниже всех Земля.
Да, да, сама Земля — и почва, и планета.
Равняйся на неё, её смиренней нету,
Вмещающей в себя червя и короля.

Почаще вспоминай: живёшь ты только для
Пресуществления божественного света;
Незримый ореол вокруг чела поэта
Венчает каждый плуг, труд песней окрыля.

Таким, каков ты есть, являйся перед всеми
С улыбкой — отблеском небесного луча.
С Господней помощью легка любая ноша…

В чистейшей кротости взошло спасенья семя.
Не нам судить людей: кто свят, а кто святоша;
Но рубище твоё — навыворот парча.

## Видение

И в пасмурные дни, и в сумрачные ночи
Стоят передо мной таинственные очи,
К груди неведомой тоску мою несут,
Томят надеждою и сердце мне сосут…

Я знаю: ни за что не сбросить наважденья,
Я ведаю: на то мне послано виденье,
Чтоб мукой огненной вся жизнь моя была,
И Муза странная даров не отняла.

---

Переименуйте «Правду» в «Истину» —
Будет та же самая газета.
Мы живём в стране такой таинственной,
Что не рассказать и по секрету.

Тут поэты пишут заявления,
А прозаики строчат доносы…
И одни непризнанные гении
Задают дурацкие вопросы.

## Убеждённый сонет

Приятно думать, что над нами, там,
Есть кто-то всеблагой и вездесущий,
Который может отослать к чертям
Иль в рай впустить под облачные кущи.

Приятно ездить ко святым отцам,
Гадающим не на кофейной гуще…
Но слаще, если убедишься сам:
Да, что-то есть за смертью стерегущей.

Ты слышишь шорох? Чья-то здесь душа
Незримая витает над тобою…
Вглядись во тьму с минуту, не дыша…

О, ты узнаешь платье голубое
Той девушки, что рано умерла…
Она пришла… она не солгала…

---

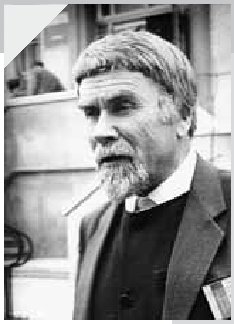
Просунь свою голову в песню,
Которую я сочинил;
Повисни, умри и воскресни —
Всё это не стоит чернил!

Стихи! Не уставший сплетать их,
Дождусь ли счастливого дня?..
Читатель, читатель, читатель,
Ты должен быть лучше меня!

## Памяти Рильке

Поцелуи — птицы неволи,
Отзвук песенки безыскусной.
Целовал тебя ветер в поле…
О, как грустно! Боже, как грустно!

Это может во сне присниться,
Но до снов никому нет дела.
Посмотри, за окном — Жар-птица…
Словно молодость пролетела.



Валентин Курбатов

# Ты, Матёра, родима матушка…

Летом прошлого года, в начале июля, по инициативе иркутского издателя Геннадия Константиновича Сапронова на «Метеоре» и на катерах прошла по Ангаре экспедиция, целью которой было, если воспользоваться художественным образом, проститься с очередной Матёрой, обречённой на затопление при вводе в действие Богучанской ГЭС.

Результатом экспедиции должна была стать книга, даже скорее альбом с лоциями, фотографиями, текстами и фильмом. Издатель пригласил для работы съёмочную группу студии «Остров» во главе с Сергеем Мирошниченко, Валентина Распутина, фотохудожника Анатолия Бызова и художника книги Сергея Элояна.

А я оказался в экспедиции потому, что за несколько дней до неё мы провели с Геннадием очередные писательские встречи «Этим летом в Иркутске» и он пригласил в поездку и меня, считая, что «лишнее перо» не помешает. Нечего говорить, что я был счастлив.

Окончание экспедиции стало трагическим. Геннадий Сапронов по возвращении в Иркутск умер, как сказали бы в старину, «от разрыва сердца». Все мы, давно дружившие с ним, много работавшие вместе, сердечно привязанные друг к другу, счастливые согласием и единством, были почти физически ранены этой смертью. И работа остановилась от боли.

Перед лицом смерти многое теряет значение. Но вот прошло полгода, сердце немного притерпелось, и я решился открыть дневник, который вёл в той поездке. Его публицистическая значимость невелика. Мне странно было притворяться специалистом и судить об увиденном с серьёзностью и глубиной исторического свидетельства. Рядом работал Распутин, снимали высокие профессионалы. Я писал скорее простую хронику виденного, как писал бы на моём месте любой человек, кому выпала радость разделить интересную рабочую поездку с достойными людьми. Что виделось, что задевало внимание, о том и писал. И сейчас я не буду задним числом углублять написанное, собирать документы, глядеть подшивки газет, приводить цифры и суждения учёных. Надеюсь, что Валентин Григорьевич продолжит работу, что съёмочная группа смонтирует материал. А я показываю только несколько любительских фотографий экспедиции, что видит нечаянный и благодарный свидетель.

И лучше всё так дневником и оставить, чтобы не искушаться достраивать выводы, которые должны были быть сделаны читателем и зрителем, когда работа всех была бы сведена под одной крышей. Со смертью издателя надежда осуществить замысел пошатнулась. Строительное начальство ГЭС, с беспокойством следившее за экспедицией, вздохнуло свободнее. А мне вот почему-то не хочется, чтобы оно поверило, что миру не до них, что у него хватит других забот и новое море разольётся под одни духовые оркестры новой победы.

Молчать тут всё равно, что поддакивать неправому делу. Да и просто хочется оставить эти дни печали и света, чтобы Геннадий Константинович знал, что экспедиция длится и дело своё делает.

И потом, когда явится фильм и выйдет работа Распутина, будет лучше видна «технология» рождения книги. Ведь тут книга строилась каждым днём, самим течением жизни. Тут они были в каком-то ежеминутном согласии и оглядке. Книга жилась, и люди, деревни, леса, небеса становились её страницами.

Это был черновой, предварительный устный выпуск, и временами было видно, как сама жизнь ищет быть отражённой, ищет воплощения и слова, потому что понимает свою ускользающую подвижность и хочет остаться, как всё живое.

Теперь я думаю, что в дневниках есть некоторое «невольничество». Их пишем не мы, а сама жизнь, а мы только инструмент.

В одном деревенском храме я видел однажды на паперти странные изображения: всевидящее око (ну, это традиция), а вот дальше — всеслышащее ухо и всепишущая рука. Это могло стать геральдическим знаком литературы, её гербом, чтобы она лучше слышала, что она часть великой Книги, что она всегда Библия — слово непрерывного свидетельства о длящемся движении мира.

Разве что начну не сразу с причала, а чуть пораньше, потому что иркутские дни были светлы и в них мелькало то, что косвенно уже связывалось с экспедицией — как будто душа сама заботилась о правильном предисловии. Как во всякий приезд заглянул я в храм Крестовоздвиженья. Нищие дети и старухи перед входом издалека выцеливают тебя и весело вскидываются, так что ты уже видишь их ликование: «О, жертва». Подаю и прошу организовать «семейный подряд», потому что тут — «династия»: бабка с дочерью и внучатами.

Только крякаю с непривычки: свечи от 50 рублей (при наших, псковских, пяти и пятнадцати) — купечество, Сибирь!

Зато Евангелие молодой дьякон читает лицом к народу. В остальном как везде. Подкрепился молитвой, попросил благословения нашему делу у Иркутских святителей и пошёл глядеть старые

дома, чудное дерево Иркутска, пока всё не пожгли умные искатели мест для офисов в центре.

Дома ушли в землю, в «культурный слой» по самые подоконники. Но как прекрасны пропорции окон! Не наши «европейские» подслеповатые, берегущие тепло. А каждое торжественно и аристократично — дров зимой не считает: протопи-ка. А уж резьба!

И всё чаще провалы пожаров и на их месте торопливая колониальная мерзость. Не зря именно у иркутянки Марины Акимовой нашёл потом строки

«…Вот пассионарий
Поджёг коммерческий ларёк,
Чтобы рядом выстроить солярий».

Только «пассионарий» не ларёк, а старый дом чудного света, занимающий необходимое ему, «пассионарию», место, сжёг. Хочется залезть во всякое разбитое окно погибающего дома и поглядеть, что там — везде там мнятся сокровища, равные чуду резьбы и красоте окон.

Днём виделись с В. Г. Распутиным.

Он мне в первый день:
— Валентин (ко мне), ты ещё не инвалид?
— Тьфу на тебя!
— А я инвалид второй группы.
— Все мы, — говорю, — инвалиды умственного труда.
— Да нет, — говорит, — правда.
— По зрению? — спрашивает Гена.
— По всему. Зрение тут самое не главное. Не помню ничего. А лекарства сначала 3500, через месяц — 4500, сейчас 5 тыщ — я и отказался. Но тут и взвыл. Оказалось, надо. Так и держат — на крючке. Всего боюсь. Поверишь, Валентин, полтора месяца не прочитал ни одной строчки, не написал ни одного письма. Живу внуком. Закричит, мать не знает, как управиться, устанет, зовёт меня — я с ним разговариваю, он смотрит, стихает, потом улыбается — и я улыбаюсь: старый и малый. Вот на экспедицию и надеюсь, что соберусь сердцем.

Хожу днями вдоль Ангары, пытаясь фотографировать водосбор, клевер — всё чудо цвета. И опять отступаюсь, не умея снять жарков, передать их горячего света в темноте зелени и свете берёз. Бедный фотоаппарат бессилен. И больше уже не пытаюсь, как когда-то у Виктора Петровича, когда увидел их впервые, перевести их в слово.

Вечером говорили с Валентином и о Викторе Петровиче. Я объясняю, почему отказался писать о нём в серии ЖЗЛ. Не подыму — столько в нём сошлось: зло и свет, счастье и честолюбие, детство и ожесточение. Валентин хвалит Носова: надо было жить, как Носов — вот цельность: что дальше, то чище и светлее. Я ему: вот и с тебя только икону писать. А там, у Астафьева-то — жизнь, там клубок, там человек, и если его так прочитать (как человека, во всей греховности и свете, то всякий, глядя на эту страшную полноту и бесстрашие, что-то начнёт понимать и в себе — что можно, что нельзя. Что мы воспитаны старым механизмом литературы и «подчищенным» характером, а вот теперь человек выказал себя без оглядки (только что вышла у Сапронова смутившая многих обширная переписка Астафьева «Нет мне ответа…») и его надо увидеть во всей «высказанности» — и понять, и простить. Или не простить, но знать за собой право этого непрощения и обязанность преодолеть это в себе и в нём, благодаря его за ужас примера, словно тот в жертву себя принёс, чтобы ты мог глядеть на него «сверху», не боялся быть человеком, чтобы потом ты боялся быть им, потому что там бездна, для «выравнивания» или «засыпания» которой приходил Христос.

Но — пора и на причал, а то так в Иркутске и останешься.

### 30 июня

В 11 машина на пристань, а там — через полчаса посреди нашей погрузки, губернатор:
— Приехал представиться. Только и надо представляться президенту и Распутину.

Он едва вошёл в должность и, может быть, потому легко обещает Валентину исполнения нескольких его просьб, связанных с Союзом писателей. Тут же выказывает осведомлённость в Донцовых и Марининых, называет Валентина «совестью России», говорит о книгах, об издателях. Видно, что предмет знает. Валентин, кажется, доволен.

В 12 отошли. Когда город ушёл из виду парадом храмов, Знаменским монастырём, родным деревом окраин, скоро и устали от утреннего беспокойства, от погрузочных хлопот. Пошарили глазами по почти потерянным берегам и уж было задремали. Но к Валентину подошёл начальник пароходства Сергей Владимирович Ерощенко («Метеор», на котором мы идём, принадлежит его ведомству) и им было о чём поговорить: Валентин прожил на «Метеорах», когда у него был домишко в порту Байкал, целую жизнь. Когда они наговорились, я тащу Сергея Владимировича в свой угол и твержу ему о новом туризме, о «заполнении» берегов историей. О том, что нечего возить нас «всухомятку» — пусть каждый «гуляка праздный» соберёт исторический материал о реке, о берегах, о небе и земле, чтобы пароходы шли не с шашлыками и песнями, а с «возом истории». Чтобы мы показывали друг другу каждый поворот, как основу нашего духа, и человек возвращался потрясённый чудом своей земли («а я-то, дурак!») и начинал жить и глядеть на привычную реку с восторгом. Говорю-то об Ангаре, а думаю о Волге, о Енисее, о родной псковской Великой.

Добрый Сергей Владимирович ухватывается: «О, это бы надо сказать губернатору. Но докричись-ка до них». И тут же рассказывает грустную историю, что они хотят поднять один из исторических пароходов со дна Братского моря и сделать на нём музей пароходства. Но пока судно лежит на дне, оно никому не нужно, а как только поднимут, налетит хищное воронье налогов и лжевладельцев. И никакого музея не выйдет. «Вот пока и обставляемся правовой базой, чтобы ещё до подъёма обезопасить себя».

А там за разговором приходим понемногу в распутинскую районную Усть-Уду. Глава района обнимается с Валентином. Накрапывает дождь, и мы

летим в церковь. Глава прямо в автобусе чертит для нас справку: число жителей, школы, библиотеки, рождаемость («В этом году похуже», на что я ему: «Ну вот, мы приехали, авось показатели повысятся». «Дай Бог! Дай Бог!» — смеётся).

Проводим молебен с усть-удинским иереем отцом Владимиром, саянским отцом Игорем и нашим, ещё недавно саянским, а теперь иркутским отцом Алексеем. Храм был ставлен заботами Валентина Григорьевича, который несколько лет подряд поднимал народ, собирал деньги, не давал покоя. Уже никаких в храме бахил, которые надо было надевать при входе с улицы ещё в прошлом году. Никаких белых ковров на полу — храм обживается, и уже много баб (мужики всё ещё стесняются церкви). За обедом матушка отца Алексея Ирина заступится передо мной за бахилы, за которые я корил их год назад: вон у вас сколько храмов в Пскове. А тут ребята каждое брёвнышко руками вынянчили и каждую дощечку в лицо знают. И знают, как это даётся и чего стоит, и прихожане это знают и готовы не снимать бахилы никогда, потому что они — знак смирения и понимания настоящей цены труда.

— Сдаюсь, — говорю, — пошёл за бахилами.

Выходим. Дождик расходится. В музее смотрим на молодого Валентина, на его школьные фотографии, на родных, на отметки, на прототипов его повестей и рассказов, на «аллею одноклассников», где пока всего два дерева.

Долго, пышно обедаем с самогонкой и чудесами омуля, карпов, сазана, щуки, сомов во всех видах. И перед самой темнотой доходим на уже обжитом «Метеоре» до родной Валентиновой Аталанки. Киношники идут нас провожать и жадно снимают в сумерках наступление грозы, закат, заставляют Валентина пройти «ещё раз» (дубль два), и он опять покорно идёт по грязи. Встретил нас двоюродный брат Валентина Сергей, который живёт в его избе, и сразу показал нам избу любимой Валентиновой героини, тётки Улиты. Изба скоро вспыхнула окнами:

— Кто-то живёт, кто — не знаю, — тётка Улита была бездетна жила с племянницами.

И тут же из темноты вылетела девчонка и шмыг! К Улите.

— Ну вот, — говорю, — и племянница вернулась.

Сергей глядит вдаль улицы:

— Тут Пинигины ещё держатся, там — Слобожанины, а дальше — никого, пустые избы.

Ну и ладно, по чашке чаю и спать. День был долог. Я у переборки под окном, Валентин — у стены во вторую половину, где он жил прежде (а здесь жила тётка с детьми). Спит тихо, как идёт, на цыпочках. И тьма скоро покрывает деревню. Ночью встаю — ни звезды. Осталось в деревне 270 человек. А Сергей говорил, что когда учились, было 1200, 1300 и у них в 5-м классе было два параллельных.

**1 июля**

Встали в 8, а к 9-ти — к школе, на крещение. Грязь. Коровы выходят сами — никто не выгоняет — и оглядываются: куда бы пойти. Мужики курят. Пошли, — говорю, — креститься.

— Денег нет.

— Даром окрестим.

В школе, тоже построенной хлопотами Валентина три года назад, уже собираются молодые матери с детьми. Одна ещё вчера на приглашение прийти и не забыть юбку и платок кричит, прижимая к себе дочку: «А у меня нет ни юбки, ни платка. В штанах всю жизнь».

Вот и тут некоторые без юбок и платков. Отец Алексей непреклонен, требует. Народ прибывает, и скоро отец Владимир начинает «катехизацию» — дети пищат, переминаются, матери одёргивают и следят: попробуй тут объясни про крест как символ воскресения, про смерть как условие жизни и что значит «водою и духом». А уж скоро ко мне подходит отец Алексей: «Почитайте часы, начнём Литургию, пока отцы заканчивают крещение». Начинаем первую в истории этой верхней Аталанки (нижняя — Великая Валентинова Матёра — лежит под водой) Литургию. Валентин стоит как вкопанный. Возвращаются отцы и дослуживают втроём. Причащают детей — крик и сопротивление. Управились, и я обнимаю Валентина:

— Вот у тебя и первая литургия, которой могло и не быть, если бы не твоя школа.

Отец Алексей, волнуясь, говорит в проповеди о силе общего дела, о незримой церкви. И я вдруг тоже остро думаю, что от школы-то жители могут и поразбежаться (все 267), а вот от церкви (даже пока незримой) уйти будет труднее.

Идём на корабль обедать. И вдруг вижу: отец Владимир несёт кадило, а дьякон отца Алексия — купель, недавно стоявшую в спортзале, и они, оборотясь спиной к нашему «Метеору», прямо на берегу под двумя соснами начинают крещение ещё одной отставшей души. Бежит туда оператор, бегу сам, становясь рядом с Серёжей Элояном. Солнце играет в купели, сосны шумят, галдят дети на берегу, взрослые на «Метеоре» собираются запеть, птицы орут — жизнь! Язычество, Русь изначальная.

Идём на кладбище для панихиды на могилах отца и брата Валентина Григорьевича. Потом служим литию и на могиле тётки Улиты.

Валентин кладёт ей пряничек: тётка любила гостинцы. И идём к могиле деда (ведёт уже Сергей). И опять меня поражает на могиле Никиты Григорьича тяжёлая сварная звезда в основании и лёгкий крест в пирамидке (странный и живой символ единства этих знаков в русском сердце). Опять пешком на корабль. И там уже отходит буксир «Акиба» и на нём уходят отец Алексий с хором, отцы Владимир и Игорь, оставляя новую паству. Мирошниченко просит Валентина показать место Матёры и, покружив над нею, опускаем в воду цветы, опускают дети, которые были сегодня крещены и взяты «прокатиться». Они ещё не думают о долгой связи с незримой деревней, и ещё не скоро почувствуют тонкую нить разрыва, и пока просто счастливы.

Возвращаемся, деревня пуста, лошади ходят по улице сами по себе, коровы лежат в грязи перед домом Распутина. Мирошниченко с операторами Юрой и Славой и дочерью Ангелиной

снимают Валентина. А я вдруг почему-то думаю, что с каждой гэс затапливаются не одни земля и деревни, а словарь, родная речь, память, история, которые дороже земли.

Вечером, при садящемся солнце, при спящем безмятежном молодце на скамейке у тётки Улиты так отрадно слушать тихий разговор Валентина с Сергеем и женой дядьки Романа о родне, о внуках, о рыжиках, больных ногах, о здоровье… Всё вечное, живое.

Вечером искупался напротив нашего проулка. Девчонки гуляют по берегу, препираясь:
— А я говорю, Иван Купала 7-го июля
— А я говорю — уже был.
— А я говорю, 7-го июля.
— А я говорю — уже был, и я тебе свидетеля приведу.
— И я тебе свидетеля приведу.

А я, свидетель-то, иду потихоньку и не разрешаю их спора. Жена дядьки Романа смеётся:
— Раньше компании-то были вон какие: человек по 20–30 в гости ходили. А сейчас соседка собирается: «Пойду, говорит, в компанию, — И кто да кто? — Наташа, я, да ещё одна Наташка».
— И всё?
— А чё?
— А мы бывало по 20–30.
— И чем же угощали?
— А, находили. С аванса купишь, с получки подсобёрёшь да и с картошкой, с салом. Праздник был. И заранее чувствуешь, что праздник. А сегодня каждый день праздник. И у кого меньше денег — у тех и праздников больше. Ой, да ну…

**2 июля 2009**

Купаюсь в тумане, Роман приносит на дорогу рыжиков, Сергей провожает нас с Валентином. На нашей улице коровы рекой. Сергей:
— Как медведь стал однажды драть, так за увал не ходят и держатся ближе. Иногда и вовсе с улицы не уходят.

Смотрю у двух изб старые, крепкие, хорошо и ладно вырезанные столбы для забора — такие основательные, что сразу и видно, что ещё те, снизу, из прежней деревни, когда жили надолго вперёд. Когда и столб делали нарядным, чтобы душу держал. А уж нынешние всё наспех: срезал наискосок, вроде как отметился по «красоте» и хватит — какое украшение. Подходим к пристани под рассказ Сергея, что здесь на берегу был огорожен сосновый парк, было красиво и здесь хорошо гулялось, а теперь сосны пилят, шишку собирают, сдают куда-то на семена, лесников было четыре, сейчас ни одного.

А уж на причале местные учительницы с листочками. Это они собираются пропеть Валентину усть-илимскую песню «Край Распутина, белых берёз». И поют нестройно, но старательно: «где с Матёрой прощались до слёз…» Мы подхватываем, но стыдимся своей дружбы с Валентином, не можем спеть так серьёзно и сворачиваем на иронию. Медленно отходим под восходящий туман. Земляки Валентиновы машут, машут, пока мы не уходим за поворот реки. И я гляжу, гляжу и… И знаю, что в последний раз, но не чувствую этого драматизма — вон место, где купался утром, вон на взгорье Валентинова изба, вон изба тётки Улиты…

Скоро является за поворотом и с виду не очень жилая, редкая в избах деревня Карда, и оттуда уже бежит к воде собака и за ней три мужика. Может, это и есть всё население. Скорее в лодку и к нам. Я бегу собрать им «тормозок» (бутылку, хлеб, сырок) и прошу Валентина передать мужикам. Он передаёт. Мужики принимают: «От кого? Как зовут?»

Гена, показывая: «Вот от него. Распутин это». «А-а, ну спасибо, мужик». Не знают! Не слыхали. Да ведь это и естественно на их заимках. До книжек ли им тут.

А уж оттуда идём в Подволочную — село побольше и покрепче Карды. На взгорке руина дизельной станции, ставленной с размахом, — огромные окна. Столица! Архитектура! Так, что мы принимаем её и за школу, и за дк, пока рядом не оказывается крепкий разговорчивый мужик, объяснивший всё и про дизель, и про школу. А уж бегут отовсюду ребятишки и сразу старательно с причала — удочки в воду, словно за тем и бежали, словно так с утра и рыбачили, а видно, что на крючках-то ничего…

Тянутся женщины с детьми и без. Событие. «Метеор». Чужие люди. «Наш» мужик скоро сетует на «братков», которые забрали весь лес и теперь все они, как в Аталанке, работают вахтой на дальних делянках чужих земель, чтобы не валить лес под боком. У самого у него пятеро детей, все взрослые и все всё умеют.
— С 15 лет — девка в бухгалтерию, парни в лес. Мы бы тут одни всё удержали. Но с арендой мне не справиться. Купить не дадут, я уж пытался: счёт 49 на 51, немного мне и не хватило-то — они не сильно и напрягались, чтобы не дать.

Он (зовут Владимир Александрович) техник-технолог. Смешно рассказывает, что вятский, что после армии приехал сюда, потому что ему сказали, что здесь прежде чем пить, надо из посуды рыбу вытряхнуть. Приехал. «Первый раз вижу Братское море, еду сюда из Иркутска на катере, команда пьяная, девушка едет ещё какой-то народ. Капитан говорит девушке: „Ты рули“ — а мне: „А ты показывай, как и куда“. И она, и я первый раз. Познакомились и вот она с той поры так и рулит, а я с той поры так и показываю».

Но до того, как он утешил этим рассказом, мы пошли по селу под жалобы баб, что школу вот-вот переведут в начальные и детей постарше надо будет возить в Аносово (а интернатские дети скоро отрываются от родной деревни и от земли). Что свету нет, телефоны не работают, рожать и болеть с октября по декабрь нельзя — никаких дорог.

Полы в школе провалились, потолки чуть живы, видно, что зимой отовсюду дует. И стоит школа прекрасно, а глядеть больно. Зашли в библиотеку (школьную) — всё есть: и классика своя и мировая, и Набоков и Булгаков (оказывается, в 9-м классе надо читать «Собачье сердце») и Замятин, и Петрушевская. А там, на полке стоит и Пелевин («Жизнь насекомых» и «Омон Ра»). Библиотекарь говорит, что формирует районо, а какие-то книги привозят разные начальники. Прибежали

дети, пошли сниматься с Валентином, побежали искать его книги, чтобы подписать. А я уж так осердился на эти беды, и безысходность, и терпение, что начал звать деревенских мужиков к топору и вилам — к их смущению. И тут же, когда Владимир Александрович пожаловался, что селу 300 лет и они готовятся отметить и поют, но у них (у него) уж и баян плохой, и нет в клубе ничего, я перевалил на идущего с нами Сергея Геннадьевича Ступина («А вот, — говорю, — начальник из областной культуры, пользуйтесь случаем. Тем более вот и кино, видите, снимают — не отвертится». И он скоро обещал и, уверен, что может, много-то у них и не прибавится, но уж баян точно будет. Всё польза от нашего плавания.

А уж Владимир Александрович рассказывал, как вычислил нас:

— Я тут рыбачил с сыном на той стороне, слышу, «Метеор» (мы уж его звук знаем), километров за 20 услышал и, когда затихло, понял, что вы в Карде и едете к нам, и р-р-раз в лодку, и вот минут за 5 до вас сюда подошёл. Думал, может, батюшка отец Владимир из Усть-Уды. Он всегда мне посоветует. Батюшки — они как-то знают, что надо. В деле нашем не понимают, а совет всё равно выйдет правильный. А крестили у нас детей тоже в школе. Из Братска батюшка приезжал.

Мне остаётся только засмеяться — значит, пора поднимать кресты над школами и здесь, и в Аталанке, чтобы дети могли показать, где они крестились.

Спросил я Владимира Александровича, сколько думают продержаться по сёлам так-то.

— А лет сто! А потом дети подтянутся и новый лес пойдёт.

И вся моя тоска на минуту отступила. Хотя и тут бабы сразу пошли клянчить свет, магазины, больницу; качели некому сварить для детской площадки.

— А мужики-то, — говорю, — у вас есть или один Валентин Григорьевич на все деревни — срубить не могут качели-то? Непременно сварные подавай — в лесу-то.

Ну, в общем, тут тебе и земля, и небо, тут и гибель, и надежда, хотя Валентин от усталости всё поворачивает к гибели…

А потом уж сквозь дрёму и рваные разговоры тянемся к Братску и скоро швартуемся в нём. Цветы, хлеб-соль. Гостиница «Тайга», чудный после «метеоровых» ночей номер. Всё завтра, завтра…

**3 июля**

С утра холодно и ничего не сулит тепла. Но пока едем до посёлка Падун (до ГЭС), стремительно теплеет. Дорога прекрасна! Ехал бы и ехал. Начальник культуры Татьяна Ивановна едва успевает показывать, что справа, что слева, но мне интересен только полёт и свет дороги. «Нет-нет, — кому-то докладывает Татьяна Ивановна, — едем! Вот-вот!»

Приезжаем на ГЭС. Ужас, величие и красота плотины с цитатой Ленина о «плюс электрификации». Встречает директор ГЭС Виктор Васильевич Рудых. Гена торопится с самого начала разговора сказать о недавней новости по радио, что на какой-то реке из-за ГЭС (прослушал начало) упал уровень на 90 сантиметров, и обнажилось дно и погибли рыбы. И нельзя ли было это предусмотреть? Директор снисходительно улыбается: «Вы не представляете, что такое 90 сантиметров, и Ваши коллеги не представляют — мы знаем, спросите у нас».

Лицо хорошее, но на вопросы Валентина слишком часто звучит: «Что Вы у меня спрашиваете? Я — наёмный работник. Как начальник я делаю свою работу хорошо».

Я не выдерживаю, завожусь и влетаю в беседу:

— А частная-то, человеческая совесть что говорит?

— Она говорит утром, когда я гляжусь в зеркало, что я понимаю Вас, но при этом она мне шепчет: молоток, старик! Ты прав перед собой и державой. Держись давай! Я ведь из Заярска. Мы с Валентином Григорьевичем — земляки и соседи. Мой дом топили, когда мне было 11–12 лет, и я всё помню. Но я понимал, как права моя страна и как хорошо, что она этим занята. И стал энергетиком. Выучился и ни разу не пожалел о том, что нагородил.

И победно смотрит на меня. Я сразу вспоминаю распутинского Андрея из «Прощания с Матёрой», который рвётся на стройку: «Электричество, бабушка, требуется, электричество… Наша Матёра на электричество пойдёт, тоже пользу будет людям приносить»

А что возражать? Валентин вон целой повестью возражал, сердце могло разорваться. А вот не разорвалось. Это слово «наёмный» не раз повторяемое, всё меня задевает, словно он и сам себя отстраняет и глядит со стороны, и нас учит так глядеть. Я всё пытаюсь своротить его на разговор о цивилизационных сдвигах — не мы ли авторы-то этих «сдвигов» и не нам ли исправлять (тем более он начал с «платы за цивилизацию, которую мы отказываемся платить»). Он упорно отклоняется и показывает куда-то вверх при слове «власть», которая всё определяет за него. И видно, что это не отговорка и не шутка, а усталость от нас, наседающих не первый год. Пытается всё переложить на нас. (Мы-то наёмные, а вы — вот и помогайте). Разговор всё тревожнее и жёстче, но от него отскакивает, потому что он со своей-то точки зрения совершенно прав: «вызовы цивилизации», «надо быть на уровне, иначе нас сожрут», «другого пути нет». На мою попытку перевернуть вектор и уйти из цивилизации в культуру, хоть не в отвлечённом смысле, а по-человечески, перед жизнью-то, хоть в ночном-то сознании, только улыбается, и я бессильно смолкаю.

— Река должна работать. И Богучанская ГЭС будет именно потому, что у реки есть резерв, и он должен быть использован, чтобы нам не жечь уголь и не стоять под угрозой Чернобыля.

Гена:

— Но тогда и все реки так? И Лена, и Обь?

Директор:

— Да, если мы выбрали этот путь развития. Китайцы в 12 местах перекрывают сейчас свои реки и свозят оттуда народ без церемоний. Разве поумнее, чем мы. На вызовы времени и мировой экономики нельзя не отвечать. И мы сейчас на лучшем пути. И будем всё сильнее.

Так мы и говорим до конца на разных языках. Потом пишем с Валентином в книге почётных посетителей приблизительно одно: о восхищении станцией и печали о том, какую она требует плату. И я ещё надеюсь на союз и объятия цивилизации и культуры, а Валя твёрдо: «Никогда они не обнимутся». Ну, значит, так и будем ходить в партизанах.

А станция, конечно, прекрасна внутри и снаружи и не зря первая по России по мощности, но вот только, поди, строивший её великий Иван Иванович Наймушин никогда не звал себя наёмником.

По той же прекрасной солнечной дороге катим в «Ангарскую деревню» (музей) к медведям Маше и Мише, к эвенским чумам и символам в деревянных стрелах и палочках—ушёл на тин кулги (дневной переход), «ушёл далеко». Или «приду скоро», а как далеко ушёл и вчера ли написал про «приду скоро»—Бог весть. Шаманские пути в деревянных щуках, телятах, оленях, верхних людях с лицами острова Пасхи. Потом едем в русскую часть, к острогу, где Аввакум бил мышей скуфьёй (то ли мыши тогда были тщедушны, то ли скуфья у протопопа от пота была каменной), к храму архангела Михаила.

Потом—в улицу старых домов с их сибирской размашистостью и силой, красотой расписных переборок и кроватей, их полатей и лавок, их дворов и амбаров—всё строено навсегда, на долгую (вечную) жизнь, не предполагая, что матушка-цивилизация пустит эту жизнь на дно. Делаем кукол из тряпок, любуемся коваными медведями и бурундуками, Георгиями Победоносцами и аистами. Картинно обедаем. Хозяева всё о героизме Братска, гордости и победе, а меня тянет сказать поперёк, что героизм—это насилие, что нормальная жизнь не предполагает героизма, если в ней всё продумано верно. Значит, чего-то недосмотрели.

А день хорош, а Ангара, а поле, а лес! И опять—в город—чудный, советский, прекрасный. Не зря Братск всё рвётся в соперники Иркутску и ищет отдельного статуса. Он действительно совершенно отличен лицом от старых городов, и эта «отличка» ему к лицу. Вечером—замечательный театр и скверный спектакль «Последний срок». Валентин сопит и в конце не сдерживается и говорит труппе и режиссёру на «классе поклонов», что писал не это и что ему эти пляски тяжелы. Я как-то загораживаю неловкость похвалой его слову, его великим старухам, но и сам сворачиваю к тому, что «ночью старуха умерла». Последняя старуха, которая могла «сыграть» себя. Теперь старух, которые подняли бы эту роль, нет. А с нею умерла и та Россия, которую Валентин знал и хранил. Встретили хорошо, но директор и режиссёр с труппой тотчас разбежались, хотя программа обещала продолжение встречи за кулисами.

**4 июля**

С утра обежал центр Братска—простор, воля. Вот уж подлинно город раскинулся так раскинулся. Сибирь большая—места не жалко. Обнялись с приехавшими красноярцами: ректором Педагогического университета имени В. П. Астафьева Николаем Ивановичем Дроздовым и проректором Владимиром Ивановичем Макуловым, которые разделят с нами второй этап экспедиции, и—с Богом в Усть-Илимск по долгой дороге в тяжёлых для взгляда подпруженных заболоченных реках, утыканных вершинами затопленных лесов: «7-я речка», «Чёрная речка». Завернули на обед в деревню. У «Закусочной» ждала учительница литературы: «Ой! Валентин Григорьич! Ой!»—и видно было, как растерянно счастлива и не знает, что и сказать. Тут уж Валентин сам пришёл на помощь, заговорив о школе, о перспективах. Она: «Недавно было 400 учеников, сейчас и ста не осталось. Что будем делать—не знаю».

И пошло прежнее горькое, что мужики на вахтах—бабы и дети без мужей и отцов. Половина села без ребят. А ни ягод, ни грибов собрать и куда-то сдать или здесь продать при дороге магазинам нельзя—это не наши грибы и ягоды. Себе собери, а продать не смей. Николай Иванович Дроздов говорит, что, кажется, только в Тюмени губернатор распорядился позволить населению собирать дикорос и управляться с ним по своему разумению. Подошли два парня. Видя, что Валентина снимают, спрашивают: кто это? Я называю, как Гена, полностью имя, отчество, фамилию. А кто это? Объясняю и это.

— А-а!

И один:

— Не взять ли автограф: вот у меня в паспорте чистая страница.

Не знаю, решился ли? Да и Валентин стал ли бы на паспорте-то.

И уж после обеда, летим без остановки под пение едущего с нами в передней машине начальника Братского департамента культуры Игоря Кравцова (нам подарили по диску) до самого Усть-Илимска. Поёт чудесно, чисто и просто, как певали в комсомольские здешние святые годы. И всё родное, старое, советское: и «Главное, ребята», и «Не кочегары мы, не плотники». И мы с Геной скоро подпеваем, а потом и «перепеваем», входя в концертный азарт с присвистыванием в самых удалых местах, с танцами на месте. А на проигрышах с дружным «Переживаем!» и мы переживаем содержание песни всем лицом и телом. Валентин смеётся: «Уймитесь!»

Ну и, конечно, перед городом хлеб-соль, народный ансамбль, и мы с Валентином пляшем с местными фольклорными красавицами (честное слово, и Валентин пляшет—есть фотографии, не отвертится!). А там сразу же на плотину—нижний и верхний бьефы. И опять директор ГЭС, Андрей Анатольевич Вотенев, весел и бодр, и всё у него прекрасно, и он молод и тоже ни в чём не виноват. При въезде на верхний бьеф выпускники в своих обычных ночных прощаниях исчертили стены своими приветами и признаниями и только одна надпись ранила: «Помолитесь о нас, мы едем в Афган». Мы зачем-то снимаем её и едем в музей. Опять нас встречают полевыми цветами, и мы чувствуем себя идиотами: герои, что ли. Но в самом музее чудо как хорошо! И рассказчик (Наталья Михайловна) такой нежный и славный, и

экспозиции «Тунгусский взрыв» и «Бабушкин чердак», где каждая вещь висит как в конструкции Эль Лисицкого или Пита Мондриана, неожиданно столичны. И все здесь, говорят, уже эти экспозиции полюбили.

А в экспозиции, посвящённой строительству ГЭС, среди старых фотографий вдруг царапнет листовка 1974 года, как цитата из «Матёры»: «Партия готова к наполнению ложа водохранилища. Но ещё есть жители, которых просят немедленно, до такого-то числа переехать и перевести материальные ценности». Призыв с тайной угрозой, что «кто не спрятался, мы не виноваты». Ощущение горькое и неожиданно современное и ранящее. И это выговаривается на нашей встрече с «общественностью» и у меня, и у Валентина, и у старого строителя ГЭС, и у экологов. Но Татьяна Геннадьевна из усть-илимской культуры вдруг говорит, что при тяжести разговора счастлива и чувствует прилив сил и энергии, потому что не одна в печали. Подходят женщины из «группы 185» (отметка прежнего советского затопления) и просят сказать *там*, что они готовы предложить национальную идею — воскрешение на удержанных территориях прежних острогов и опорных пунктов державы с заселением их мастерами старых ремесленных технологий. Только бы не топили выше.

Милые! Это то же, про что я давно твержу в Пскове, когда говорю, что пришла пора, как после войны, определить пятнадцать старых русских городов для первоочередного исторического сохранения, чтобы мы опять узнали своё национальное сердце и знали, вокруг чего собраться из нынешнего духовного разорения. «Мы готовы предложить и сами технологии. У нас есть и комитет, где есть батюшка, отец Александр». И сколько таких святых по всей России, готовых предложить «технологии»! Да кому до них дело — у нас «вызовы цивилизации», мы живём на мировых ветрах — отойдите, вы заслоняете нам мировые перспективы.

Является бурятская девушка с бурятским приветствием и тунгусским языком и берёзкой, чтобы мы повязали ленточки сбывающихся желаний. Я, повязывая, с улыбкой выговариваю желание, чтобы все тунгусские девушки стали православными и ленточки проросли крестами на груди. А потом нас везут в новый храм Всех святых, в России просиявших, к отцу Александру:

Храм высок и прекрасен, иконы по стенам писаны хорошим иркутским мастером с высоких образцов Рублёва и Дионисия, а алтарь даже через край изящен. Зато фрески свободны и смелы — кисти и манеры вроде Григория Круга (да и смелее, смелее!) — и покой и свет иконостаса резко взрывается мятежом фресок — Святая Русь встречается с нынешней художественной Россией. Тревожно только общее впечатление, как во многих нынешних храмах, что эстетика перевешивает этику.

А вот обнаружилось и зачем мы снимали надпись «Помолитесь за нас. Мы едем в Афган» — батюшка-то, отец Александр, оказывается, афганец и в одном из тяжёлых боёв после гибели товарища поклялся, что если выберется, посвятит себя Богу. Вот и выбрался! Умён, глубок, точен. И тоже сразу о национальной идее при храмовом единстве: «Только слово «храм» не скажу, а то обвинят в миссионерстве, а вот о духовном единстве говорить пора». Поднимаемся на колокольню, и он умело звонит, и колокола держат звук положенную минуту. И его не смущает, что время неурочное и что православные сбегутся на его трезвон. Тоже знак ещё вполне светского, комсомольского города, где все поймут, что раз час неурочный, значит, у батюшки гости и он «хвалится колоколами».

**5 июля**

Погрузка на КС (катер скоростной?). Прощаемся с братчанами и усть-илимцами. И долго, искренне и, как при всяком прощании, чуть грустно машем с воды, торопясь одеваться под ледяной ветер с Ангары. И скоро уже останавливаемся у Шаман-камня где жёны встречали мужей, обнимая и проливая слёзы, потому что возвращались не все. Плещем несколько капель за борт — *им* (невернувшимся) в Ангару и, не чокаясь, поминаем. Говорят, нарушил это правило только А.И. Солженицын, когда команда катера, встретив его, по возвращении пристала сюда, как со всяким гостем: «У вас — традиция, — сказал гений, — а у меня — принципы: до обеда не брать в рот спиртного». Боюсь, что речники его сразу не полюбили, хотя «принципы» привыкли уважать.

Катим мимо старого села Нево в Кеуль, о котором пеклись вчера, поминая отметку 185. Из-за мыса выходят слепые осины этого уже умершего 20 лет назад села, потому что затопление готовят с той поры. А уж на берегу поют:

— Чарочка моя серебряная! Кому чару пить? Кому здраву быть?

И опять бедный Валентин (мы уж знаем, что «здраву быть» ему) выходит, слушает рапорт председателя сельсовета:

— Село Кеуль, 1400 жителей, есть школа-десятилетка, есть ДК и т. д.

Доклад как доклад, как в старые годы. Но тут же и «доклад» уже совершенно нынешний:

— Работы нет, мужики кто на вахте, кто бежит, уже уехало около 300 человек, пока даже не названы места-реципиенты (во как! и терминология готова): кому из нас в Усть-Илимск, кому в Иркутск, кому в Красноярск. Провели опрос. Больше всего хотят в Усть-Илимск — это наше, это близко. Часть — в Иркутск к детям. Хотя новый Кеуль — вот он, его уже перенесли 20 лет назад. И — сохрани Бог — его оставят. А он уж, новый-то, лишний — работы нет, всё равно всё умрёт. Лучше уж скорее съезжать отсюда. А эти, которые про отметку 185, хорошо устроились в Усть-Илимске. Им не переезжать и не погибать. А мы — останься мы тут, скажи нам завтра: живите тут, топить не будем, никуда переезжать не надо — мы взвоем! У нас ни полей — заросли лопухом, ни пашни — уже сосняк по 20 метров, ни фирм — все вывезены частниками. Хорошо сейчас кризис — приостановились, а то каждый день новая машина. Разрезают целый комбайн — и в металлолом, который на этот час дороже комбайна. И так всё: коровники, избы — ведь у вас (это он Валентину) — в Тальцах,

в музее-то на Байкале, церковь наша, вот с этого места взята, и школа у вас наша — затопить не затопили, а вот ни церкви, ни школы.

Мирошниченко идёт снимать Валентина, а председатель, пока старухи красиво показывают Валентину натруженные руки (уж играют немного, видали в кино, как надо руки показывать), всё развивает и развивает тему. «Я уж десять лет председатель, и моё дело — услышать этих людей и только не допустить обмана, что вот-де перевезут, а сами бросят и кладбище (видите, вон баба оградку красит — она что, не знает, что всё это под воду уйдёт?), и эту бабу, и школу. А агитаторам что? Пусть доживают тут, как в Матёре, — как хотят. А они уж будут далеко».

Идём огородами, поскотинами — лопухи до небес, луга пустые и сорные. И потом на пристани, где приготовили «самопляс» (так здесь зовут самогон) и рыбники, старухи, сидевшие рядом с Валентином, говорят, что, конечно, хотелось бы дожить тут, привыкли (их уже один раз перевозили из Сизова на Илиме), но чуть чё — у них уже есть квартиры в Усть-Илимске. Ребятам только работать негде.

— Так они и все, — с горечью шепчет председатель, — одна только баба в соседней деревне, почтальонша, встала в проёме, когда пожегщики пришли (а они из рыбинспекции навербованы, им что, у них давно все враги, придут, бросят спичку, поглядят и пошли — что сгорит, то и ладно), одна только и сказала: «Не дам! Уж тогда и меня вместе с избой!» Ушли. Вот изба (а ей 300 лет) и стоит — авось и ещё постоит.

Возвращаемся на берег мимо бабы, которая красит оградку на кладбище, которое через год уйдёт на дно.

— Да уж сколько уходит. А чё ржаветь-то? Родные всё-таки. И уйдёт, так нарядно. А перевезти родных всё равно никто не даст — дорого!

И пока мы плывём, Валя всё глядит и глядит на берега, и Макулов всё славит реку, на которую действительно нельзя наглядеться. И Николай Иванович всё пытается рассказать и о том повороте, и об этом. И никак не поверишь, что этих берегов и этих деревень уже не будет. Но председатель готов, но жители готовы, уверенные, что в городе работа есть всегда, и, кажется, угощают нас на пристани для того, чтобы мы ускорили этот переезд. И старухи пошучивают и успокаивают нас, что у них есть квартиры и это они «так» вздыхают.

Останавливаемся в брошенной, пустой уже Едорме, хоть и не планировали. И только сошли — мужик с узким лицом:

— Поди, к Фроське пойдёте? Ну, ну. Щас начнёт заливать, как работала от зари до зари, а сама и часу не рабатывала. Токо языком. Мужик содержал. Может, токо счетоводом, чтобы рук не трудить.

А уж Ефросинья Ивановна Седых (1932 г.р.) выплывает из ворот. И пошла, и пошла — и про затопление, и про то, что работала всю жизнь, а пенсия — стыдно сказать, и про то, что у неё 4 класса, но она всё смотрит и читает, а уж Валентина Григорьевича — особенно. И скоро поёт и старые песни, и частушки. И пляшет, и сыпет тонкостями, уча меня говорить не «тако», а «такое». И доводит меня этой «тонкостью» до того, что уж на берегу, перед прощанием, когда она глядит на мою фуражку с надписью «капитан» и спрашивает, капитан ли я, то я тотчас уверяю её, что капитан и уж скоко лет («Сколько», — поправляет она)

— А Логинов? — спрашивает она.

— А что Логинов?

— Ну, он же у нас тут командовал?

— Хватит, — говорю, — покомандовал!

— А живой он?

— А каку, — говорю, — ему холеру сделается? («Какую», — поправляет Ефросинья Ивановна)

— Я радио слушаю, газеты читаю, всегда была первая — и в счетоводах, и потом. Что-то не слышала, чтобы Логинова сняли.

В. Г. смеется и не опровергает меня. Отходим. И скоро уж граница красноярских вод, и можно переводить часы на час вперёд.

Часа два ходу по чудным лесам, синему небу, облакам, мысам. (Макулов: «Смотрите, какие леса! Ведь ничего не свезено, не убрано, а это за год не уберёшь. Видите, вон просеки, затянутые 20-летним подростом? Это то, что готовилось к затоплению и ещё свозилось 20 лет назад. Тогда ещё стыдились и прибирали»).

Добрались до какой-то базы (бывшей зоны), где нас уже ждали с лесной гостиницей, ухой, шашлыками, тайменем (показали голову — совершенный телёнок!), самогонкой на кедре. А мошка стеной, но при закате уходит и её сменяет комар.

### 6 июля

Утро синее, комары эскадрильей, ржавые трелёвочные трактора, лесовозы, бочки где попало, разбитые дороги, пилёный лес по обочинам, трава до окон. У забора банки, кучи перьев от потрошёных куриц — всё тут, на виду, ничего за спиной. Леспромхоз. Кажется, всё бросается там, где застала усталость, где мужик махнул рукой: А-а, пошло оно всё! И бросил, что нёс или вёз, прямо под ноги. Едем в Паново на час — полтора. Неожиданно оказывается далеко. И уходит полдня.

А деревня как всё тут — не наглядишься. И уже привычная смерть через дом, где или чудо ставней с рисунком «ангарской волны», или резной конёк, или полотенце музейной красоты. Да и все-то дома, будь они у нас, стали бы украшением европейских «Тальцов» и «Ангарских деревень». Все бы по музеям разошлись. Бежит по улице мужик с бумажками:

— Во, блин, забегался. За это бы время уже путик прошёл и пару соболей взял. Хотя кому это, блин, теперь надо? Соболь выходит хорошо если в 800 рублей при сдаче. Бензину больше изведёшь до зимовья. И уж никто, блин, из мужиков не ходит. Получают безработные и гуляют, блин…

Едем в Дом культуры, а там уж старухи смеются: нальёте, дак споём. И скоро действительно поют: «Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним. Но налетели злые черти, село родное подожгли». А конец-то у песни прямо из распутинского «Пожара»: «Горит, горит село родное, горит вся Родина моя» И поёт-то четвёрка

старух, но звону на всё село—так зычно, так раздольно, страстно (ни одно слово не верно, а других не найду). И потом, перебивая друг друга: как жили, как маялись, и матерят власть до самого Кремля. Особенно Анна—широкая, толстая в двух платках—весело матерится, когда про «нынешнюю молодёжь» и про «переезды»

—Поди-ко, ещё и не тронемся никуда. Чё уж—сто лет разговору! Поизвели мужиков, а мы уж бабы отсюда в ящиках поедем. А ведь тоже молодые были, жить хотели, играли, радовались. Когда и спать успевали? А уж заработки какие были… Я уж бабой была, и мне, когда пятого родила, дали 110 рублей, и я шла и плакала от гордости. Маме принесла, и она: "Ой, Нюрка, какие деньги!» Тоже не видала таких сумм—детям чё-то справить можно. Я их 8 вырастила, и уж 15 внуков, и 7 правнуков. И ни разу в больницах не была. Рожала, где попало. И ничего (Валентин: «Да вам правление памятник должно поставить уже за то, что в больнице не были»). Жить хочу долго. Подымать всех надо. Зовут Анна Алексеевна Усольцева.

А до этой встречи мы были ещё в крепкой избе (такая ладная, живи—не хочу—вот и заглянули). Там мужик Викентий читал свои нескладные стихи про то, как переезжающим дают квартиры да всё директорам да начальникам, а вот в деревне и героиня есть старая, а ей никто—так это, оказалось, как раз про неё, про Анну Алексеевну. А она вон всё равно и поёт, и пляшет, и плачет, и матерится. И держит жизнь.

Приходит другая старуха:

—У меня доклад!

—Ну, давай докладай!

И она тоже читает своё стихотворение про переселение и про печаль прощания:

> Ну, а мне охота в Кодино
> Переселют ли когда?
> Вон какие уж года.

Подъезжает мотоцикл, подвозит коляску полевых цветов.

—Завтра Иван Купала. Будем венки пускать, купаться. Надо жить.

—А в церкви-то,—спрашиваю,—когда были?

Анна:—А никогда.

—А вон,—говорю,—как про сто десять-то рублей, так в слёзы и креститься, благодарить кого-то, не начальство ведь крестом-то?

—Не начальство. Бог-то в сердце есть или нет?

Возвращаемся. Идём в Кежму. Там уже готовятся к празднику «Прощание с селом» через две недели: награды, речи, кино, концерты. Валентин говорит, что надо бы не праздник, а тризну, а начальник сельсовета:

—Да мы что, не понимаем, что ли, просто не знали, как назвать. Не каждый день такие события. Собирались батюшку позвать, отпеть деревню, да уж как-то больно тяжело заживо-то.

Поглядели старую пожарную каланчу—памятник, а не каланча, храм купеческого барокко, стадион на месте кладбища, памятник красным партизанам, сражавшимся против Колчака. И—к народу в дк. Там чеканка, где космос и плотина, как символ прогресса (ах, этот символ—вот теперь и отзывается!). И опять народный крик. Распутин рассказывает, как топили их, как увозили сначала колхозников и они вроде уж и готовы были, а всё рано как машина тронулась—в крик и плач. И кто-то уж бросает свой узел из машины: «Не поеду!» Но куда денешься. «А вас тут рассуют по разным городам и вы сразу и забудете село среди чужих-то людей. Были бы рядом, так помнили бы, а когда чужие, быстро память рассеивается».

И бабы жалуются, что уж и туда писали, и сюда, и во всякие собрания, и в права человека. «Нету у нас правов!» «Вам,—говорят,—квартиры дают, которые нынче стоят столько, сколько ни ваши дома, ни земля, ни сами вы не стоите, а вы ещё кобенитесь». И мы бы хотели в Сосновоборск, в Минусинск, а нас в Кодино, где квартиры дешёвые, да это Кодино вот-вот само затопят.

Остаёмся ночевать здесь. Я иду по Советской улице, которую должны затопить при всех отметках, и опять не надивлюсь красоте резьбы, тонкости узоров веранд, крепости ворот. Матицы при сорванных крышах рассчитаны ещё лет на 200 и их даже и сжечь будет нелегко. Играют девочка Лиза и мальчик Никита, весело бегут мимо зияющих окон и ещё не знают, что у них не будет этого детства и сияющее их счастье утонет через год-другой и, слава Богу, останется хоть на нашей плёнке! Вечер, баня, тишина, усталость сердца.

Рядом с нашей избой брошенный барак вроде моего детского «Дома холостых» в астафьевском Чусовом, куда я приехал в 47-м году. Потянуло заглянуть. Стены-то—прямо учебник истории. Рядом с Шишкиным («Корабельная роща») и приклеенным к репродукции выгоревшим образком мученицы Варвары и Богородицы с младенцем—нечаянная молитва об уходящем лесе и уходящей жизни и бодрый плакат с Крымом и красным флагом. И рядом—Почаевская икона Б. М. и жёлтая выгоревшая карта мира, где Советский Союз ещё 6-я часть мира. Нарочно соединяй—выйдет неправда, а жизнь—вон она какой художник.

Смерть учит привыканию. Всё становится символом—в соседней комнате стены оклеены газетами «Труд» и «Советская Россия», где в названиях «Стратегия крутого перелома» и весёлый Горбачёв, где «Крест на совести», где гагаринское «Поехали!» как нечаянная перекличка с распутинской Дарьей и Матёрой с её «пое-хала…» (о родной уходящей деревне), где ликование и жизнь перетекли в прощание и плач. День так тяжёл, что даже торопишь вечер и сон. Забыться, не помнить, заспать…

**7 июля**

Рождество Иоанна Предтечи. Кежма уходит, уходит, и уж не удержать слёз. Ты, деревня моя, родима матушка, на кого ж мы тебя оставляем? Только обвыть, как Варвара бабку Анну из «Последнего срока». А срок—последний. Прощай, матушка! Пошли потихоньку в Недокурово, хотели поглядеть Новое Недокурово, но остановились в старом с Владимиром Ивановичем, председателем сельсовета, послушали с печалью, что деревня-то

старая, пашня была, крестьянствовали, даже колхоз завели, но с 1954 года задумались о леспромхозе, свезли три зоны дешёвой (дармовой) рабочей тюремной силы и пошло́: село выросло с вольными до 1200 человек, школа, клуб, а потом лес истощился. Зоны закрыли. Завели речь о ГЭС, вольные разъехались, лесозаготовки стали вахтовыми, и деревня умерла. И на Новое Недокурово надежд никаких, хотя его не потопят. Оно выше отметки 208 и даже 213. «Но я,—говорит, Владимир Иванович,—ещё молодой, крепкий, весёлый человек помру здесь, рядом с отцом—кому я где-то нужен? Пусть моя черёмуха постоит. Вы видели, что черёмухи у брошенных изб умирают первыми? Им ничего не мешает, и берёзы вон стоят, а черёмухи засыхают. Вон поглядите». И действительно у каждой оставленной избы сухой или сохнущий остов. А вчера черёмуху заварили в бане—амаретто и всё! Горький миндаль. Красота!

Мошка стеной. Я отхожу—стоит у своих ворот старая тётка в китайском халате—интересно: новые люди в деревне

—Ну,—говорю,—тонете? А у вас, похоже, ещё и корова есть?

—Две,—говорит,—и два бычка.

—А кто держит?

—А мы со стариком и держим. Стари-и-ик!

Выходит из хлева старик с выжженным на солнце и ветре деревенским лицом, с беззубым ртом, которого стесняется, представляется: Леонид Васильевич.

—А вы?—это я к тётке.

—Евгения Николаевна.

И пошла показывать избу, из которой прямо с порога даже не выход, а вылет к Ангаре, к лодке, солнцу. Заходите, заходите!

И уже тащит рыбу, сметану, пироги, капусту. И—совсем весело:

—А по рюмочке?

—Ну,—говорим,—без этого грех.

И уж она несёт самогонку:

—Эх, не наварила картошки в мундирах—как бы она сейчас пошла!

Оказалось, приехала к своему мужу, поселенцу: срок здесь сидел, вышел в вольные, позвал. Бросила Украину, приехала. Бил нещадно. Выла ночами.

—Чё-то сделал—его снова взяли. Он бежал. Нашли в Новосибирске, где ломанул (что значит жить с «профессионалом»—так и говорит: «ломанул») магазин, добавили ещё восемь лет! А этот,—смеётся, показывая на старика,—не дремал. У него баба умерла. Высмотрел меня. Прихожу раз домой, а у него уж всё от меня к себе перетащено. И вот 25 лет живём.

И глядит на него счастливо.

—Было пять коров, столько же бычков. Он всё накашивал один.

А у него шерстяные ниточки на обеих руках. Зачем?—спрашиваю.

—А без них руки израбатываются. Придёшь—чашку с чаем не поднять. А с ними хоть сколько работай—ничего.

Я тут же умничаю, что овечка шерстью своей держит, как родного, за заботу о ней. Он:

—Может и так.

В красном углу Никола опирается на мышь («год Мыши»), а та—на открытку со святой Пасхой.

И идёт смешной, радостный разговор, по которому видно, как они любят друг друга, как подхватывают всякое слово и в горькой шутке не теряют света. Загораживаются шуткой от жизни.

—Нас не возьмёшь! Дали нам в Минусинске однокомнатную квартиру. Значит, коров и бычков в этом году на мясо. И не заплачем. И избу, если Владимир Иванович разрешит, сами запалим. Поплачем, конечно, а что сделаешь? Куда это всё с собой—лодки, трактор, коров? А не тони—так бы и жили, не тужили.

И подливают, и подкладывают: «Ешьте. Ещё поставим. Мы привыкли на людях. Друзья всегда есть». И всё с переглядкой друг на друга.

И я почему-то вспоминаю астафьевский рассказ «Ясным ли днём»—как Митрофан Иванович в конце огорошил свою Паню: «Говорил ли я тебе, что люблю-то тебя?» Нарочно рассказываю, чтобы они догадались. И они догадались и на моё воспоминание неожиданно оба благодарно вспыхивают. И видно, как хорошо Валентину, который говорит им благодарные слова и говорит, что на них стоит Россия, которую топят—а она живёт, топят—а она стоит, страдает—а смеётся. И обнимает их. Серёжа Мирошниченко спросил: как ей здесь после Украины?

—А хорошо! Где бы я ещё нашла такого доброго, работящего, хорошего мужика.

И он смеётся: «А-а, призналась! А я ещё не поспел. Не подошло ещё!»—так они и объясняются в любви-то.

Вот теперь и Недокуру надо «обвывать». Уходим, и к нам сбегаются лёгкие летучие лодки-«илимки», плывущие по траве и цветам в ожидании воды, чтобы вспомнить свою юность и всплыть для последнего похода—остроносые, как ласточки, и лёгкие, как они.

Потом был ещё ледник высоко на скале, напоминая, что он-то вечен, а мы ребята временные. И неолитическая стоянка на Усть-Кове с раскопами 200 тысяч лет (стоянка—федеральный памятник), с начальническим хамством, успокаивающим, что на дне стоянка сохранится лучше до поры, пока русло вернётся за ненадобностью этого вида энергии.

Николай Иванович, проведший здесь полжизни, говорил о стоянке с нежностью и печалью. И лицо его было прекрасно. И когда вспоминал, как ребята-студенты, прощаясь по окончании сезона с Ковой и стоянкой, плакали, сам прячет глаза. И глядит, глядит на уходящую стоянку, которая, пока мы карабкались к ней, казалась недосягаемо высокой, а вот и она обречена на затопление. Это какова же, значит, высота затопления? Уйдут в воду многокилометровые острова, как «лосята» в Усть-Илимске, которые были покосами, пашнями. Уйдёт тайга и наши неолитические «пращуры».

Сплавляемся без мотора, пока Мирошниченко пишет монолог Распутина. Потом Серёжа долго хвалит Валентина за чистоту памяти и ясность

мысли, рассказывает, как Валентин, написав «Живи и помни», метался по друзьям, желая немедленно выпить, хотя уж давно не пил, и друзья отказывались, зная его и принимая его просьбу за шутку. И он ушёл в тайгу и шёл, шёл, выхаживая восторг и счастье, как Виктор Петрович после черновика «Пастушки» спохватился, что не ел два дня, и кинулся растапливать печку с криком: «Гр-роми захватчиков, ребята!»

Долгий вечер в недалёком от стоянки Болтурино. Костёр на берегу, купальские венки девчонок, и хороводы, и бултыханье в воде (совершенные русалки—ныряют в холодную Ангару—только «селёдочный хвостик» мелькает). И сон в избе доброго знакомого Николая Ивановича.

Москва запретила руководству Богучанской ГЭС встречу с Распутиным—можно даже представить, в каких выражениях.

**8 июля**

Утром иду на пристань. Там уже «живут». Гена вылезает из воды. Серёжа Элоян держит привычно виноватое лицо. И я сползаю с трапа (отпусти поручень и унесёт Ангара—девка боевая). Потом иду прощаться с селом, со вчерашним костром, который ещё тлеет. Лодки стоят все с моторами, никто их с лодки не снимает—не украдут. Какая-то семья грузится в лодку, видно, идут на зимовье.

Подходят наши. Вспоминают, что за завтраком Николай Иванович рассказал, как однажды из этой вот Болтуринской колонии к ним на Усть-Кову явились зэки, взявшие лагерь. Они знали, что музыка будет играть недолго и хотели «пожить». Знали, что рядом работают археологи. Явились к Николаю Ивановичу: «Давай водки и девок. Другой раз объяснять не будем, гражданин начальник». И как Николай Иванович сплавил ребят на лодке без мотора (за девчонками уже следили), втишком, чтобы никто не узнал. Ребята ушли, и Николай Иванович пустился тянуть время. Но и бандиты знали, что время не резиновое, и готовы были броситься. Но, видно, лодка ребят куда-то поспела, и Николай Иванович увидел каких-то людей в телогрейках (будто выросли из-под земли): «Где те?» Он показал одними глазами (убьют не те, так эти), и эти, в телогрейках (оказывается, охрана) мгновенно и страшно без всякого оружия и как-то молча умело избили зэков цепями так, что те зверино орали, скрутили и вперёд. Николай Иванович в тот день поседел, девчонки плакали в крик. Вон она, значит, какая здесь—археология…

Отходим, снимаем плоты, которые вяжут «вольные» и «осýжденные (все здесь произносят это слово с профессиональным ударением тюремного начальства). И идём на Кодинск.

По берегам высоко поваленный лес, просто поваленный без обработки и без попытки вывезти, как после взрыва. За несколько километров до строящейся Богучанской ГЭС следы прежней «зачистки»—высокая граница коренного леса и молодая стена двадцатилетнего подроста, который и сам теперь лес. Его надо будет теперь сводить заново. Выходит из-за поворота насыпная часть ГЭС—диабазовая стена, взятая карьерным способом от скал левого берега, а там выходит и бетонная, ещё вся в движении, ещё не дошедшая до верхнего бьефа.

Опять хлеб-соль ложного гостеприимства. Теперь уже без начальства. Величавая панорама большой стройки. Муравейник народа внизу и «божьи коровки» БелАЗов. И уже отсюда перепад реки в несколько метров ещё до основного подпора виден сразу.

В Кодинск, где живут гидростроители! Он в стороне от стройки. Новенький обычный рабочий городок, украшенный только тем, что ещё тайга кругом. Но уже начальник хвалится двумя девятиэтажками, которые будут сданы через полгода для 400 семей из затопляемых районов, а нет ещё и первого этажа. Показывает первые «домики на земле»—обитые сайдингом особнячки на две-четыре семьи с носовым платком земли под окном. Едем к храму Покрова, где отец Лазарь (игумен) уже устрояет женскую обитель. Батюшка весел, картинен, раёшно-радостен, шпарит чуть не стихами: «Братья и сестры, мир вам! Благословение во Христе преподам. Я уж и в Самаре служил, и на Афоне, везде душе хорошо и жаловаться грех, а вот тут—лучше всех. Строю и радуюсь—беседка вон! Отчего у неё шапка такая затейная? А оттого, что у тунгусов шапки такие и нам бы хотелось сохранить память. А колокол вот этот из Кежмы (и звонит задорно и картинно, не считаясь со временем дня) А в храм-то пойдём! Видели, свет какой! Тут зажгу, там зажгу, а там паникадила. А свод, свод-то! На хорах поют, а звук сюда, в храм идёт. А вот крестильню пока не построил—сам архитектор и строитель. А это вот Святитель Николай—на крыше нашёл в Елабуге. Тёмный был, а вон уже сколько проявилось у нас. Ну, и сам маленько подмазал—может, грех? Он бы, Николай-то, и сам это сделал». И смеётся. И благословляет. А Распутина тоже не знает. И это ему не мешает.

Потом была встреча в ДК. Больше женщины—газетные и учительные. По очереди пустились пересказывать Валины повести. А на сетования его сопротивляются. Им тут хорошо. Что вы нам про разных бессовестных людей? Здесь собрались не такие. Особенно налегала, что не такие и что и язык, и душу берегут, редакторша районки. Хорошо подготовили общественность те, кто не пожелал встречи. «Ездят тут—писатели…» Я сбежал…

**9 июля**

14 часов едем на машине. Из них четыре—по страшной пыли гравийной разбитой дороги, где в метре ничего за другой машиной не видать. Прекрасными ангарскими соснами, промельками кедрачей, разговорами Николай Иваныча с Аней из киногруппы о том, как готовить шишку. Я посмеиваюсь: «Хороший разговор для ректора и помрежа».
— Ты, девка, как шишку варишь?
— Дак, парень, пока молочна.

(Как, бывало, Миша Тарковский с Серёжей Лузаном—прозаик и поэт в Красноярском Союзе

писателей — о способе удаления мездры у соболя). В Канске нас ждёт педагогический колледж такой красоты и достатка (с компьютерами, свободным интернетом, картинной галереей, виртуальной библиотекой, городками и лаптой во дворе), что делается как-то горько за своих детей, за свою школу, за Кежму и Недокуру, Едорму и Паново, которым сходить со свету в каком-то параллельном, не пересекающемся с этим мире. И Бог весть почему кажется, что ребята из таких колледжей ничего затопить не могут. Не должны. Что не этому их тут учат. Или наоборот — сделают это с лёгкостью, чтобы везде только ноутбуки и виртуальные библиотеки. Но Александр Иванович (директор) так открыто радостен и горд, что опять выбираешь надежду. Рассказывает, как у них выступал Виктор Петрович и, когда его представляли учителям, через десять минут похвал сказал: «Ща, бля, зазнаюсь…». И всё сразу пошло весело и вообще. И уезжать не хотелось.

Валентин по дороге вспоминает, как в первый раз привёз в Иркутск бабушку и та, ошарашенная количеством снующих по улицам людей, сказала: «Это скоко же надо земли, чтобы всех их похоронить!». А матушка, которую он повёл из гордости с друзьями в ресторан — и наел с ними на 50 рублей, вместо того чтобы гордиться сыном, горько вздохнула: «Ты пошто такой-то? Могли и дома поись».

Исподволь подкралась лесостепь с дивными далями, синевой гор, колками лохматых, вольных, по-бабьи расхристанных берёз. Миновали под Генин комментарий родное село его жены Лены (в девичестве Индюковой). «Эх, Гена, какую фамилию проморгал! Был бы „Издатель Индюков“ — какой подарок для дизайнера это двойное „И“ в марке издательства!». Гена смеётся радостнее всех.

Добрались, хоть и не чаяли, до дальних районов Красноярска, где сплошь таджики и азербайджанцы, уже требующие мечети и преподавания родных языков. А там дальше и Базаиха, и Столбы, и Слизнево, и Овсянка и Мана, и Дивногорск. И Василий Михайлович Обыденко! Привозит нас на горнолыжную базу над городом, откуда — и город, и скалы, и красный и российский флаги на скалах. Через час подъезжают на автобусе наши — белые от пыли и серые от усталости. И ужин уже скор и труден.

**10 июля**

Рвём ромашки, клеверы, кашки для Виктора Петровича и едем на кладбище. Серёжа как всегда пытает перед камерой: «Что бы Вы сказали Виктору Петровичу?»

Я говорю об ужасе смерти, о том, что легко о ней думать в церкви, а вот так, перед могилой, когда ещё вчера говорил и смеялся, а сегодня где — поневоле онемеешь. И что какая-то особенная печаль в том, что друзья становятся мемориальными досками, пароходами и улицами, что в этом есть какое-то особенное отстранение, как ссылка из жизни в историю. Валентин говорит, что не чувствует смерти Виктора Петровича и думает, что тот сейчас работает, что на минуту вышел, а возьмёшь книжку — и снова войдёт. Гена вспоминает последние дни, когда Виктор Петрович поднимался с ним по ступенькам и говорил: «Готовься, будем работать! Надо жить!»

Едем в Овсянку. Церковь закрыта. Идём к бабушке Катерине Петровне, и дедушке Илье Евграфовичу, и к маме Лидии Ильиничне. Вот уже без Виктора Петровича и некому присмотреть за могилой — хвоя, какие-то проволоки. Убираем — и к дому. Там двородные сёстры Виктора Петровича, Галя и Капа, — теперь музейщицы. Обнимаемся счастливо — уже родные. И дом родной. Разве на стене избы явилось Museum Haus и ещё какая-то иностранщина, которая вызвала бы смех и матерщину Виктора Петровича: «Ну, бля, зазнаюсь!»

Опять вспоминаем под камеру разные разности, а уж у порога диретккор Красноряского краевого музея Валентина Михайловна Ярошевская: «Чувствую, что двух Валентинов мало!»

Я бегу на берег, а там — к библиотеке. Гляжу, каковы рябины, которые сажали Виктор Петрович с Ельциным. Викторпетровичеву сначала съели козы (Ельцинскую не тронули — боялись), а потом просто со зла сломали мужики, так что девчонкам пришлось посадить новую, — болеет. «Такие были перед музеем гладиолусы, — говорит библиотекарь Анна Козынцева, — а наехали три машины каких-то бандитов и всё повырывали, даже не увезли с собой, а просто бросили тут же. Сторожиха видела, но попробуй выйди! Значит, Виктор Петрович всё пока живой и всё поперёк горла».

Является начальник пароходства во всей адмиральской красоте. На рейде качается речной теплоход «Чайка». Енисей слепит под солнцем и кажется туманным. Проход от Викторпетровичева переулка почти затянут крапивой — через год не продерёшься, да, впрочем, через год-два и самой Овсянки не узнаешь. «Толстые» подавили её.

Отправляемся лодками на «Чайку», где уже сервирован в кают-компании стол в хрусталях и водке. Флот всё принимает со старинным щегольством. Гляжу с верхней палубы на Овсянку, на стоящую на причале Анну Козынцеву и прячу глаза — грустно, прощально — и машу, машу Анне, пока она не растает в свете и солнце. Приведётся ли побывать здесь ещё раз?

В Красноярске Николая Иванович Дроздов жалует Распутину мантию профессора, и Валентин неуклюже обряжается ею: «Знаю, что недостоин, но когда что-то предлагают, на всякий случай беру. Ордена, звания. Вдруг что переменится, — скажу: вон у меня ордена, я всё делал правильно, а тот, кто давал, а сам пропал из истории, — неправильно». И замечательно закончил свою печальную речь: «Я совсем было перестал верить в себя и в человека. Но за эту поездку как-то очень окреп и понял, что нас хоронить рано, что, может, Богучанскую ГЭС уже не остановишь, но остальные мы не дадим. Тут уж или мы, или они. Тут край последний».

Ребята из отряда сопротивления проектируемой Могутинской ГЭС подарили ему майку «Ангара: может, хватит?» И он приравнял её к профессорской мантии.

И мы поехали к Марии Семёновне Астафьевой. Она оказалась, слава Богу, крепка и радостна: «Вот всё говорил, что приедешь, сядем на кухне и проговорим неделю, а сам и пяти минут со мной не посидел. Ну, дак ведь чё. На чё во мне глядеть и кого слушать? Старость не облагораживает человека».

И радовалась Валентину, Гене, Серёже Мирошниченко, которого помнила по съёмкам его давнего фильма про Виктора Петровича, когда в Овсянке Серёжа подошёл к забору и заглянул во двор, а Виктор Петрович ему, длинному, сурово: «Ты, парень, с забора-то слезь!» — «А я и не залезал! Я тут стою».

Виктор Петрович выглянул: и правда, стоит. «Ну, тогда заходи».

А Марья Семёновна, словно и всю дорогу с нами плыла, вдруг заговорила о реках, о том, что нельзя загораживать реки: они от этого уже не батюшки и не матушки, а болота. Ну вот что было бы с прекрасным голубым Дунаем, написал ли бы Штраус свой вальс и заплакал ли бы над ним Витя.

Как это замечательно верно! Вот ведь ещё и поэтому реки — реки жизни, что они прекрасны, что на них рождаются стихи, песни, проза, которые не родятся на искусственных берегах среди искусственного языка. Может, мы потому и теряем великую литературу, что теряем великие реки, сердце и свет этих рек, их дух и нерв.

И уходить уже было страшно. Как её тут оставить одну с её разговором, памятью, нетерпением. Чувствуешь себя предателем. Но она и тут молодец — сослалась на то, что хватила с нами рюмку коньяку и теперь ей надо полежать.

А мы ещё успевали взглянуть на Енисей на тёплом закате (Базаиху уже не узнать — коттеджи, проданные земли, чужбина, даже по сравнению с моим приездом в 1980-м году). Жизнь, жизнь, куда ты торопишься…

…Мы разъезжались в разное время, и как всегда в конце всё немного смешалось. Мы как-то не успели напоследок обняться. Но ведь мы и прощались ненадолго, уверенные, что завтра… Но жизнь оказалась безжалостнее. Мы ещё дома и вещей не распаковали, когда пришла весть, что Гены Сапронова больше нет.

Мир торопился своей цивилизационной дорогой, отвечая на вызовы, сделанные самому себе, как постороннему, а то и как прямому врагу. Культура с её человеческой осторожностью и памятью о прошедшем мешала своей душевной мерой такому передовому делу, как прогресс. «Наёмные работники» торопливого мира отодвигали наследованную божественную жизнь, которая меряется не годами, не набором удобств и не безумием соревнования технологий.

На наших глазах закатывалась (закатывается) огромная жизнь, прямо принятая от сибирских первопроходцев, от тех, кто освоил и населил эту землю, от тех, чьи имена разошлись по картам и историям, и тех, безымянных простых, как сама жизнь, как почва, кто сам был землёй и небом.

Мы, может быть, будем очень передовыми и хорошо продадим энергию Ангары, а там и других своих рек, раз мир уверился, что они для того и текут, чтобы давать энергию.

Но мы не прибавим миру важнейшего — лица и света, которые единственно определяют отличия народов в Господнем саду культур. Не прибавим слова и песни, красоты и тайны, величия и любви.

На тетрадке дневника, который вёл в нашей экспедиции Валентин Григорьевич Распутин, я подсмотрел уже определённое им в те дни название для своей работы — «Прощание с Россией».

Неужели? Или всё-таки мы, или они?

Наталия Слюсарева

# Мой отец — генерал

Окончание. Начало в № 1 (2010)



## Глава XVI

*Флейта*

Многое дано лётчику-штурмовику. В его распоряжении — надёжный бронированный самолёт с мощным двигателем и совершенным вооружением из подвешенных бомб, пушек, пулемётов. Не дано только одного — времени на раздумье. В полёте, особенно над целью, в воздушном бою, при вынужденной посадке, каждая секунда на счету. И здесь упустить время — значит не выполнить боевого задания, а то и погибнуть вместе с самолётом. Экипаж Ил-2 состоит из двух человек — лётчика в передней кабине и воздушного стрелка. Ведя огонь из крупнокалиберного пулемёта, стрелок становится щитом экипажа. Ни один вражеский истребитель не осмелится приблизиться к штурмовику, пока жив стрелок.

Перед подходом к цели командир группы даёт команду на перестройку «в круг». Как правило, группа состоит из шести-восьми Ил-2, что даёт возможность штурмовикам замкнуть полностью «вертушку». Первым атакует цель ведущий. Следующие за ним штурмовики последовательно переходят в пикирование и с высоты 500–600 метров штурмуют объект противника. Атакуют в течение двадцати минут, делая от шести до восьми заходов. Кабина невелика. Свободного места очень мало. Большие перегрузки, невозможность распрямиться, размяться, вытянуть ноги — всё сильно утомляет. При вводе в пике происходит своего рода невесомость: лётчик отделяется от сидения самолёта. При выводе создаются перегрузки, которые многократно увеличиваются, если резко выводить самолёт из пикирования. Всё тело наливается тяжестью, тебя прижимает к сидению, в глазах темнеет, закрываются веки. На большой скорости, при резком выводе самолёт приседает к земле, делая просадку, и если высота не велика, то может произойти удар об землю. Всё это должен знать лётчик-штурмовик, ни на секунду не имея права поддаться панике, страху.

Действовать необходимо в соответствии с обстановкой, невзирая на плотный зенитный огонь и атаку вражеских истребителей. Надо признать, что входить в зону сплошного зенитного огня — вещь довольно неприятная. Вокруг рвутся снаряды различных калибров, образуя большие чёрные шапки разрывов, но штурмовик Ил-2 исключительно живуч. Случалось, в особо жарких схватках наши самолёты получали до сотни и больше пробоин, а экипаж оставался невредим. Не зря его прозвали «летающим танком».

После отработки цели, расхода боеприпасов и бомб ведущий отходит на низкой высоте в направлении своего аэродрома. За ним, держась плотным строем, следует вся группа. Вот уже прошли линию фронта. Вдали обозначились контуры нашего аэродрома. На душе становится как будто спокойнее. При подходе командир даёт сигнал перестроиться в круг по одному и сам заходит на посадку с хода. Самолёт постепенно снижается и на расстоянии двух-трёх метров переходит к горизонтальному полёту. Лётчик подбирает ручку, переводя машину в трёхточечное положение, сам при этом глядит вперёд по движению своего самолёта, одновременно удерживая прямолинейный ход. Штурмовик мягко касается посадочной полосы. Небольшой пробег, и он рулит на стоянку, где его встречают авиатехник и моторист — те, кто готовил в бой эту грозную машину.

Авиационный штурмовой полк, эскадрилья, группа — сплочённая большая семья, имеющая свой особый, только штурмовикам присущий настрой. Это угадываешь сразу, как только попадаешь в полк штурмовиков. Настрой этот, как правило, исходит от «главы семьи» — командира. Здесь очень многое зависит от ведущего группы штурмовиков, от того, как он сумеет поставить себя на земле, в воздухе, особенно при перелёте линии фронта, в зоне вражеского огня. Командир должен обладать мужеством, умением воевать, лётным мастерством, трезвым расчётом. Такой командир будет иметь большой авторитет у подчинённых, и все его распоряжения будут выполняться немедленно и с отличной оценкой.

Сам я лично никогда не верил чудесам, но я верю в силу воли человека, в его настойчивость в достижении цели. В моей жизни случались очень тяжёлые ситуации, когда казалось, что нет никакого выхода из создавшегося положения — пуля в лоб — и весь конец. Но в такой обстановке я опирался прежде всего на мобилизацию всего организма, в первую очередь мышления. Всё в моём существе было напряжено, вплоть до кончиков пальцев рук и ног. «Думай! Думай! Принимай решение! Мы все: твоя кровь, мысль, сила, сердце — готовы выполнить всё, что ты решил». Если же мышление не мобилизовано, воля расслаблена, рефлексы

притуплены, реакция заторможена, тогда гибель такому существу.

Лётный состав всего штурмового полка беззаветно верит своему ведущему — будь то тренировочный полёт, боевой вылет или воздушный бой с вражескими истребителями. Лётчики, техники, мотористы и весь личный состав сознательно, а порой и подсознательно перенимают его характер, привычки, походку и даже разговорную речь…

Летом 1944 года мы вышли на подступы к Львову. Штаб фронта вёл подготовку по проведению Львовско-Сандомирской наступательной операции, поставив задачу разгромить немецкие войска на львовском, лава-русском направлениях и выйти на рубеж Грубешов — Гомашуев — Яворов — Николаев — Галич.

Фронтовая авиация 2-й воздушной Армии полностью переключилась на поддержку наземных войск. То был, по всей вероятности, единственный пример, когда стратегическое наступление на четырёхсоткилометровой полосе осуществлялось силами одного фронта.

Никогда ещё наша Воздушная армия не была столь полнокровной. В неё входило девять авиационных корпусов, три дивизии и четыре отдельных полка, насчитывающих более 3000 боевых самолётов, базирующихся на 98 действующих аэродромах. Инженерные батальоны работали на строительстве ложных аэродромов, и к началу операции их уже насчитывалось 33, в том числе 9 ночных. На этих аэродромах авиационная техника и макеты самолётов были расставлены по капонирам. С них периодически взлетали боевые самолёты, ночью загорались стартовые огни. По специально разработанному графику район ложного сосредоточения прикрывался истребителями, часто завязывались воздушные бои. Немецкая разведка так и не смогла установить нашего подлинного базирования. За первую половину июля фашистская авиация 87% налётов совершила на ложные аэродромы и только 13% — на действующие.

По замыслу командующего 2-й ВА генерала Красовского С. А. для поддержки и прикрытия армий, наступающих на рава-русском направлении, выделялось 4 авиационных корпуса. Одних только боевых самолётов насчитывалось более 1200. Для взаимодействия с наступающими войсками была создана оперативная группа, старшим которой назначили меня.

Ставка Верховного главнокомандующего постоянно усиливала 1-й Украинский фронт новыми соединениями из своего резерва. За неделю до начала операции к нам прибыло несколько авиакорпусов и полевое управление 8-й ВА во главе с генералом Самохиным. Ему было предложено принять командование Северной авиационной группой. Генерал Самохин долго колебался, попросил время на обдумывание, а потом заявил, что ни он, ни его штаб не смогут выполнить данную боевую задачу, так как из-за недостатка времени не в состоянии ознакомиться с передаваемыми частями и изучить предстоящий район боевых действий. Тогда Степан Акимович Красовский вызвал меня, своего заместителя, и приказал вступить в командование.

1944 г. Западная Украина, село Три дуба.
Слева от Слюсарева С. В. — его ординарец Яков Куцевалов

Ответив по военному: «Есть вступить в командование Северной авиационной группой!» — я попросил, чтобы армейский, оперативный и разведывательный узел связи подчинялись мне. Штаб нашей воздушной армии помог мне тщательно спланировать боевые действия авиационных соединений на первые дни наступления.

Район нашего базирования на Западной Украине одновременно являлся центром Бендеровской ОУН — Организации украинских националистов. Бендеровцы были опасны, так что приходилось всё время быть начеку. Для постоя я выбрал двор в середине села, которое называлось Три Дуба. Мужчин не было, в селе оставались только женщины и маленькие дети не старше десяти лет. У хозяйки было две дочери. Старшую, семнадцатилетнюю, звали Оксана. Красавица: миндалевидный разрез тёмных глаз, нежная, чуть смугловатая кожа, яркиие припухшие губы. Волосы — цвета спелой пшеницы. Её улыбка была чарующей и немного смягчала её высокомерие. До войны она работала учительницей в своём селе. Мой ординарец Яша Куцевалов, честный и преданный товарищ, сам из-под Полтавы, приглянулся моей хозяйке, хохлушке, и она согласилась пустить нас к себе. Со мной размещался ещё один ординарец и трое посменно меняющихся часовых.

Бендеровцы, прятавшиеся в ближних лесах, были настроены резко против советских воинов, особенно офицерского состава. Неоднократно отмечались случаи нападения. Однажды во время очередного полёта над лесом я услышал хлопки, напоминающие звуки выстреливающей пробки от шампанского, но не обратил на это особого внимания. Позже авиамеханик доложил, что насчитал

на броне моего самолёта до двадцати пяти пробоин от автомата — оружия бендеровцев.

Наступило утро генерального наступления — 13 июля 1944 года. Лётчики, авиатехники, оружейники и весь личный состав лётных частей ещё до рассвета прибыли на аэродромы. От шума и рокота запускаемых моторов из близлежащих рощ и леса поднялись стаи грачей, своим криком как бы приветствуя наступающий знаменательный день. Во всех частях до вылета перед развёрнутыми боевыми знамёнами проходили митинги. Выступавшие на них прославленные лётчики, техники, мотористы выражали единственное желание — побыстрее очистить русскую землю от фашистских захватчиков. Но вот по аэродрому, по громкоговорителю, раздалась зычная команда: «Под знамя смирно! Знаменосцы — на старт! Экипажи по самолётам — ша-гом марш!»

Точно в назначенное время до отказа нагруженные боеприпасами штурмовики и бомбардировщики выстроились на старте. От струй воздуха, рассекаемых винтами самолётов, затрепетали гвардейские знамёна. На востоке медленно разгоралась утренняя заря. В лучах восходящего солнца ещё ярче вспыхнули багровым отсветом полотнища боевых знамён. И каждый, кто уходил в бой, обязательно бросал взгляд на святой стяг, зовущий только к победам.

Бомбардировщики, штурмовики, истребители парами, звеньями отрывались от земли и, собираясь в группы и эскадрильи, скрывались в голубом небе. Авиационная подготовка началась с массированного удара более 3000 самолётов по первой и второй полосе обороны противника. Погода благоприятствовала нашему наступлению. Стоял ясный, солнечный день, но непрерывный поток краснозвёздных самолётов в воздухе, казалось, закрыл солнце. Могучий гул от работающих моторов перекатывался многократным эхом в горах Западной Украины.

Командующий танковой армией генерал Рыбалко и командующий 3-й Гвардейской армией генерал Гордов заявили, что за всю войну они в первый раз видят такую мощь авиации. Бойцы переднего края были потрясены увиденной картиной. Выбираясь из траншей и окопов, стоя во весь рост, бросая вверх свои пилотки, они кричали мощное «ура» советским лётчикам.

В то памятное утро, когда пришёл приказ о начале нашего долгожданного наступления, я на рассвете тринадцатого июля вылетел на По-2 на ГКП 3-й Гвардейской армии. При взлёте я увидел — а площадка, с которой я стартовал, находилась прямо под окном моей комнаты… — я увидел, как из окна вылетает моя любимая собака Флейта (а я всю жизнь думала, что это — Зорка) и мчится вслед улетающему самолёту. Вылетал я срочно. Дома никого не было. Запер собаку, закрыл все окна в комнате. Хотел как лучше. Думал, она останется в квартире до моего возвращения. Но любовь собаки к человеку всего сильней!!!

Флейта с разбегу пробила две рамы со стёклами и выскочила вслед за мной, изранив всю себя до крови. Вот это преданность. Да!

Когда через несколько дней я вернулся с задания, то узнал, что моей собаки нет, и никто из моей охраны — ни адъютант, ни ординарец (чёрт бы их побрал!) не знали, куда она пропала и что с ней…

Но тогда, в сорок четвёртом, когда я разыскивал свою любимую собаку породы сеттер-лаверак, то попросил Оксану: может, она мне поможет найти мою Флейту? Та с радостью откликнулась на мою просьбу и через три дня сказала, что — «нет, из бендеровцев никто не брал, а украл вашу собаку ваш же большой начальник». Тогда я этому не поверил (и очень зря)…

А украл её советский генерал-майор, трус и вор Самохин (чтоб ему сдохнуть!). Узнал я об этом от его бывшего начальника оперативного отдела, забыл его фамилию. И когда спустя пятнадцать лет, случайно встретив Самохина в бильярдной санатория Фабрициуса в Сочи, я при людях выложил ему свою обиду и досаду, он всё время молчал, а на следующий день быстро собрался и уехал домой… (Так вот о какой драке в бильярдной вспоминала иногда мама).

В весенних боях 1945 года над территорией Германии мой 2-й Штурмовой полк и 2-й Истребительный, которым командовал мой друг Алексей Благовещенский, часто базировались вместе на одном аэродроме. Завершалась Висло-Одерская операция. Стремительное наступление танковых армий требовало, чтобы авиация не отставала от передовых частей, а для этого нужна была готовая аэродромная сеть. В тот день я и Алексей находились на КП танковых частей, ведущих сражение за город Ельс. Аэродром противника, располагавшийся восточнее города, находился уже в руках нашей мотопехоты. Советские танкисты захватили его внезапно под вечер, и немцы не смогли толком ни взлететь с него, ни разрушить. Их самолёты в исправном состоянии были рассредоточены по окраине аэродрома и на опушке примыкающего леса.

Договорившись с командиром танкового батальона о том, что они организуют оборону и не станут портить лётного поля, мы с генералом Благовещенским поехали осмотреть местность, где могли бы разместиться наши эскадрильи. На рассвете на двух виллисах стали объезжать окраины лётного поля. В северной части аэродрома просматривалась полянка, скрытая рощей, на которой стояло много «Мессершмиттов» и «Фокке-Вульфов». В первой машине за рулём сидел Алексей, справа — его шофёр. Некоторое время я сидел рядом с Благовещенским, а потом пересел в свою машину. Со мной находился адъютант Женя Данилевский. Вдруг вижу, как идущий впереди виллис поднялся в воздух на высоту пять метров и перевернулся колёсами вверх. Вырвался огонь и одновременно в клубах дыма раздался взрыв противотанковой мины. Из-под машины послышались стоны. Тут только я заметил, что мы находимся на минном поле. Рядом с колёсами нашего автомобиля — бугорки ещё свежей земли с закопанными минами. Осматриваясь по сторонам и осторожно перемещаясь по следам, мы с Данилевским подобрались к перевёрнутой машине. Шофёр был

мёртв. Кое-как приподняв виллис, сумели вытащить из-под него Алексея. Уложили его на бурку, которую мне подарили казачки после освобождения Кубани, и очень медленно, чтобы не подорваться, оттащили в безопасное место. По радио я вызвал санитарный самолёт По-2 и отправил Алёшу в прифронтовой госпиталь, а оттуда в Москву. Он долго пробыл в госпитале. Выписался после окончания войны. Увиделись мы с ним уже после Победы. Я подарил ему бурку, на которой тащил его по аэродромному полю в апреле сорок пятого года.

Много историй записано в летопись нашего корпуса. 17 апреля 1945 г. в 16:30 группа из шести истребителей вылетела на сопровождение шести штурмовиков в район Мюнхаузен. На маршруте к цели четыре «фоккера» пытались внезапно атаковать, но были замечены. Завязался бой на виражах. Вскоре с тыла подошло ещё два «Фокке-Вульфа». Наши истребители внезапно и резко отвернули, и «фоккера» проскочили вниз. Тогда лейтенант Ларичев полупереворотом устремился за ведомым пары «Фокке-Вульфов» и, зайдя в хвост, сбил его. На высоте 1500 метров внезапно появились ещё четыре немецких истребителя и четыре — на бреющем полёте. Они пытались атаковать штурмовиков снизу сзади. Но капитан Путько переворотом сверху спереди дал по «фоккеру» короткую очередь, в результате которой самолёт резко развернулся влево и упал на аэродром Нойхаузен.

Два лётчика-истребителя 5-го Гвардейского истребительного авиационного полка, старший лейтенант Баевский с ведомым лейтенантом Калкиным, на Ла-5 вылетели за линию фронта на «свободную охоту». Погода выдалась исключительно сложная: низкая облачность, дождь, плохая видимость. Едва пересекли линию фронта — лётчики заметили фашистский самолёт FB-189 — «раму» или «костыль», как его называли. Старший лейтенант Баевский немедленно атаковал самолёт противника, а Калкин прикрывал своего ведущего. С первой же атаки «рама» была подожжена и рухнула на землю, но и самолёт Баевского оказался подбит. Не теряя самообладания, лётчик произвёл посадку на горящем самолёте на фюзеляж. Ведомый Калкин не оставил командира в беде. Сделав круг, он на пересечённой местности мастерски посадил свой самолёт рядом с самолётом Баевского, вытащил раненого, с обгоревшими руками и лицом, товарища из кабины и помог тому влезть в люк боковой части фюзеляжа. Фашисты уже бежали со всех сторон к месту посадки наших истребителей. Буквально на глазах у немцев Калкин вскочил в кабину своего самолёта, дал полный газ и в весьма сложных условиях взлетел. Трудно представить, какая была радость в полку, когда после приземления на своём аэродроме из кабины самолёта вышел герой, лейтенант Калкин, а из люка самолёта с помощью подбежавших товарищей был извлечён почти потерявший сознание его командир — старший лейтенант Баевский.

2 мая 1945 года я, в составе большой группы офицеров, представителей всех частей корпуса, был в поверженном Берлине. Нашему торжеству, радости и гордости за великую Победу и славу нашей могучей Родины не было предела. Оставив свои подписи на стенах рейхстага, мощным «ура» и торжественным салютом чествовали мы всех воинов, разгромивших гитлеровских захватчиков в их собственном логове.

На обратном пути мы заехали в лес между Берлином и Коттбусом, где громили отходившую группировку фашистов. Жуткое зрелище представилось нам. На большом пространстве почти на каждом шагу лежали трупы немецких солдат, лошадей, стояли сожжённые машины, танки, перевёрнутые орудия. Видно было, что окружённые в лесу немцы метались в предсмертной агонии.

**Из приказа Верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-Морскому Флоту**
*командующему войсками 1-го Белорусского фронта*
**Маршалу Советского Союза Жукову**
*Начальнику штаба фронта*
**Генерал-полковнику Малинину**

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию группы немецких войск, окружённой юго-восточнее *Берлина.*

За время боёв, с 21 апреля по 2 мая, в этом районе наши войска захватили в плен более 120 000 немецких солдат и офицеров.

В боях при ликвидации группы немецких войск юго-восточнее *Берлина* отличились войска… генерал-майора авиации *Слюсарева*, Генерал-майора авиации *Осадчего*. Генерал-майора авиации *Курочкина.*

За отличные боевые действия *объявляю благодарность* руководимым Вами войскам, принимавшим участие в боях по окружению и ликвидации группы немецких войск юго-восточнее *Берлина.* Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза
*И. Сталин*
2 мая 1945 г. № 357

**Из приказа Верховного главнокомандующего**
*Командующему войсками 1-го Украинского фронта*
**Маршалу Советского Союза Коневу**

Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боёв сломили сопротивление противника и сегодня, 8 мая, овладели гор. *Дрезден* — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии.

В боях за овладение гор. *Дрезден* отличились войска… генерал-майора авиации *Слюсарева*… полковника *Коломейцева*, генерал-майора авиации *Курочкина*…

За отличные боевые действия *объявляю благодарность* руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за овладение *Дрезденом.*

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам.

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза
*И. Сталин*
8 мая 1945 г. № 366

**Из приказа Верховного главнокомандующего**
*Командующему войсками 1-го Украинского фронта*
**Маршалу Советского Союза Коневу**
*Начальнику штаба фронта*
**Генералу армии Петрову**

Войска 1-го Украинского фронта, в результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты сломили сопротивление противника и сегодня, 9 мая, в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии — гор. *Прагу*.

В боях за освобождение *Праги* отличились войска… генерал-майора авиации *Слюсарева*…

За отличные боевые действия *объявляю благодарность* руководимым Вами войскам, участвующим в боях за освобождение *Праги*. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и Чехословацкой Республики!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный главнокомандующий
Маршал Советского Союза
*И. Сталин*
9 мая 1945 г. № 368

## Глава XVII
## *Старший авиационный начальник Ляодунского полуострова*

2-й Гвардейский краснознамённый штурмовой авиационный корпус, которым я командовал после капитуляции фашистской Германии и освобождения Праги, базировался на аэродромах Венгрии, в районе озера Балатон. Наступил долгожданный мир в Европе, но не на Дальнем Востоке. У наших границ с Маньчжурией была сосредоточена отборная Квантунская армия в 1 200 000 солдат и офицеров, 1200 танков, 5360 орудий и около 2000 самолётов. Тут же располагались войска марионеточного правительства Маньчжоу-Го и монгольского князя Де-Вана.

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии. В ночь на 9 августа советские вооружённые силы развернули боевые действия на территории Маньчжурии силами трёх фронтов.

О том, что начались боевые действия на Дальнем Востоке, мы узнали из сообщений Совинформбюро. На следующий день я подал рапорт о направлении в действующую армию Забайкальского фронта. Просьба моя была удовлетворена. Пришёл вызов в Москву. Перед вылетом я попрощался с личным составом корпуса, с которым участвовал в заключительных наступательных операциях 1-го Украинского фронта: Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и последней — Пражской.

С. В. Слюсарев, 1945 г.

Главнокомандующий ВВС, маршал А. А. Новиков принял меня тепло. В ходе беседы он подтвердил, что против направления меня в действующую армию на Дальний Восток не возражает, и предложил должность командира 7 БАК. Одновременно напомнил, что в ближайшее время боевые действия в Маньчжурии, вероятно, закончатся, так как Квантунская армия почти разгромлена нашими войсками. Прежде чем вылететь на место назначения, мне надо было освоить бомбардировщик Ту-2. Наступила осень. Погода в Подмосковье, как назло, не благоприятствовала тому, чтобы в короткие сроки закончить программу обучения. Прилетел я в Мукден уже к «шапочному разбору». Так жаль…

После окончания войны с Японией советские войска оставались на территории Северо-Восточного Китая до середины апреля 1946 года. В то время я занимал должность старшего авиационного начальника Ляодунского полуострова, размещаясь в г. Дальнем, в двадцати километрах от Порт-Артура. В соответствии с конвенцией 1898 года между Россией и Китаем, город Далянь был отдан в аренду России на двадцать пять лет. После этого он стал называться по-русски, Дальним. Это была самая дальняя военно-морская база России. В начале двадцатого века Дальний перешёл к немцам, а затем его оккупировали японцы. И лишь после разгрома японских милитаристов там снова появились советские корабли. По договору от 14 августа 1945 года порт Дальний стал свободным портом, а крепость Порт-Артур превращалась в военно-морскую базу, совместно используемую СССР и Китаем.

На полуострове наших вооружённых сил находилось более чем достаточно: 39-я Армия, усиленная танковыми соединениями, военно-морская база с флотом, 5 авиационных дивизий: 2 бомбардировочные, 2 истребительные и одна штурмовая. Всего на четырёх аэродромах — Хошегавр, Саншелепу, Цзинсян и Порт-Артур — базировалось 700 самолётов.

Штаб 7-го Бомбардировочного авиационного корпуса располагался в курортном местечке Хошегавр западнее г. Дальнего. До войны здесь собиралась вся японская знать. Городок утопал в роскошных парках и садах. На берегу Жёлтого моря постоянно функционировало несколько санаториев, шикарных отелей, частных пансионов. В трёхэтажной вилле, которую мне передали, до меня жил японский банкир. Когда мы въехали, впечатление было такое, что никто не покидал дом, а хозяин — где-то поблизости, в саду. Везде идеальная чистота, порядок: вся мебель, хозяйственная утварь, даже продукты — всё на своих местах. Готовил еду для нас славный китайский повар Ван Чи. Мы попросту звали его дядей Ваней, он же следил и за садом. Часто уходили с дядей Ваней на катере ночью на рыбную ловлю.

Рядом со столовой находилась домашняя молельня с алтарём, на котором восседал Будда. Перед входом в виллу росла сакура — дикая вишня. Сакура — священная принадлежность дома каждого японца. Расцветает сакура буйно, за ночь деревце покрывается бело-розовыми соцветьями. Опадая, лепестки не увядают, а продолжают жить вокруг ствола. Японцы поклоняются прекрасному. Но по характеру они, скорее, похожи на гибкий бамбук.

Очень интересно у них проходят встречи и прощания со знакомыми или родственниками. Японская вежливость — своего рода экзотическая учтивость. Первое время чудно было наблюдать. Заприметив издали знакомого, японец немедленно замирает на месте. Затем сгибается в медленном поклоне, ладони его вытянутых рук скользят вниз до колен. Застыв в такой позе, он продолжает наблюдать. Выпрямиться первым — невежливо. В течение неопределённого времени обоим приходиться зорко следить за собой, в крайнем случае, они начинают пятиться назад, пока не потеряют друг друга из вида.

В поведении японцев превалирует долг чести — «гири», что означает «делать вопреки своему желанию». Кто не соблюдает общепризнанных обычаев, тому грозит отчуждение. Вот почему в Японии в таком почёте кодекс самураев. На моих глазах над аэродромом в Мукдене звено японских бомбардировщиков из трёх самолётов клином взмыло вверх на большой скорости и, сделав мёртвую петлю, не выводя самолёты из пике, врезались все три с экипажами в землю. Воздушное харакири. Японский долг чести.

После разгрома Квантунской армии многие японцы из высшей знати были не согласны с решением императора и правительства о безоговорочной капитуляции, естественно, особенно остро это переживала самурайская каста. Некоторые из фанатиков делали себе харакири в Токио, перед дворцом императора. Но это не характерно для всей японской армии: солдаты, офицеры и даже генералы охотно складывали своё оружие и большими группами сдавались в плен Советской армии. Здесь, на Дальнем Востоке, был арестован махровый белогвардеец Семёнов. В Мукдене был пленён также и император марионеточного государства Маньчжоу-Го, последний император Китая — Пу И.

— Когда наш самолёт сел на аэродроме, — рассказывал прямой участник этого события в августе 1945 года, генерал А. Д. Притула, — никто из нас не знал, что здесь, в Мукдене, находится Пу И. Он, по всей видимости, готовился перелететь в Японию. Во всяком случае, на аэродроме мы увидели готовый к отлёту самолёт. Нас это заинтересовало. В это время к самолёту направился стройный, довольно ещё молодой человек в военной форме. Мы остановили его. Из расспросов выяснили, что это и есть император. Принимаю решение его захватить, благо наш самолёт также на ходу. Начинаю вести с Пу И разговор через переводчицу, незаметно оттесняя его к нашей машине. Подведя его таким образом к Ли-2, вежливо обезоруживаем его, сажаем внутрь и под охраной отправляем в Читу. Всё было проведено настолько стремительно, что охрана Пу И узнала о случившемся лишь после того, как наш самолёт взмыл в воздух.

После вывода наших войск весной 1946 года из Маньчжурии на территории полуострова стала назревать напряжённая обстановка. В пятнадцати километрах севернее г. Цзинсян произошла стычка с гоминдановцами с открытием пулемётного и оружейного огня. Воинская группа пыталась вклиниться в наш передний край. Постоянно засылалась агентура, завербованная из местного населения. В расположении воинских гарнизонов появились ночные воры и бандиты. Связь с Родиной осуществлялась только по воздуху, транспортными самолётами Ли-2. Расстояние до баз 9-й Воздушной армии преодолевалось примерно за пять часов. Несмотря на договор, чанкайшисты обстреливали наши самолёты, и, чтобы избежать провокаций, приходилось уходить далеко в море.

Тревожно прозвучало с постов нашей противовоздушной обороны сообщение о том, что 50 американских самолётов идут в сторону Порт-Артура. Вскоре они появились над городом, и некоторые из них прошли на бреющем полёте. По приказу в воздух поднялись наши истребители. Один из наших лётчиков так прижал к воде американского пилота, что непрошенному гостю небо над Порт-Артуром показалось «в овчинку». Генерал Людников срочно запросил по радио наших бывших союзников:

— Чем объяснить действия американской авиации?

Последовал ответ:

— Авиация Соединённых Штатов Америки приветствует русских в Порт-Артуре.

Мы категорически потребовали, чтобы подобные «приветствия» не повторялись.

К концу 1945 года в г. Дальнем проживало около 600 000 японцев. По решению советского правительства их должны были переправить на японских

судах на Родину. Эвакуация затянулась. Японцы, подвергаясь притеснениям со стороны китайских властей, вынуждены были искать защиту у советского военного командования.

Однажды к нам в военную комендатуру обратился заместитель начальника школы «лётчиков-самураев» полковник Танака. Он неплохо владел русским языком. Полковник просил, чтобы мы взяли личный состав его школы под свою опеку. Пленных японцев — офицеров и солдат вместе с семьями — насчитывалось около восьмидесяти человек. Продовольственный паёк выдавался только военнопленным, которые использовались нами на строительстве запасных аэродромов. Чтобы прокормить своих жён и детей, они создали у себя нечто вроде коммуны. Как только мужья уходили на работу, их жёны и дети собирали во время отлива на берегу дары моря или поднимались в горы за съедобными травами и кореньями. Жили они все вместе в одной большой палатке. Как-то мой начальник тыла полковник Михайлов доложил, что исчез пленный японский солдат и уже третий день, как его нет. Я обязан был расследовать этот случай и направился туда, где размещались пленные. Войдя в палатку, я застал в ней только женщин с детьми. При моём появлении женщины тотчас встали на колени и опустили головы до земли. По правую руку в том же положении стояли дети. Я остановился и спросил:

— В чём дело?

Полковник Танака объяснил, что это традиция гостеприимства и пусть меня не смущает данная церемония. Во время нашего разговора я заметил, как один мальчуган трёх лет поднял голову от земли и повернулся, чтобы взглянуть на меня. Его мать, не поднимаясь, своей рукой нагнула его голову вниз и легонько стукнула об землю. Я поспешил выйти. Полковник Танака сообщил, что пленный солдат отыскался и он просит меня остаться и присутствовать при разборе этого печального недоразумения. Недалеко от палатки уже выстроили всех пленных. При моём появлении была дана команда «смирно!». Полковник вызвал вперёд провинившегося солдата, как выяснилось, убежавшего в «самоволку» к своей невесте. Солдат, выйдя из строя, повернулся к нему лицом и опустился на колени. После краткого обращения к команде полковник Танака приказал виновному подойти к нему и, взяв его левую руку, с размаху сломал кисть его руки о своё колено. Это оказалось для меня столь неожиданным, что некоторое время я не мог прийти в себя от столь варварского метода наказания. Я немедленно отстранил полковника Танаку от командования группой пленных, отправив его к прокурору 39-й Армии. Что касается семей, я приказал разместить всех по домам с выдачей продовольствия до эвакуации их на родину в Японию.

Наша армия за счёт своих запасов и сокращения норм довольствия делилась с жителями Порт-Артура, Дальнего, Цзинсяна. Мы помогали организовывать сельскохозяйственные артели, рыболовецкие хозяйства. Все излишки земель отдавали для посевов, часто устраивая совместные субботники для обработки почвы. Рыбакам был целиком передан мелко-тоннажный трофейный флот, с разрешением ловить рыбу в нейтральных водах под наблюдением пограничников. Все фруктовые частные сады также передали городским жителям.

Наша бескорыстная помощь вызывала у китайского народа глубокое чувство уважения и благодарности к советскому народу. Каждый китаец, китаянка, пожилой, молодой и даже ребёнок при встрече с советским человеком, будь то гражданский или военный, останавливался, снимал головной убор, низко кланялся и произносил: «Здрастуй, товарися капитана»! — и долго ещё потом, смотря вслед, непрерывно кивал головой…

## Глава XVII

*Великий драп*

— Уставай-да, Ванька! Уставай-да, шайтан-собака!

Это кричит помощник хозяина, прозванный нами «Малюта Скуратов». Он всегда будит нас чуть свет. Спим мы во дворе, на соломе, под стеной дома. Путая русскую ругань с татарской, он хлещет нас кнутом. Мы вскакиваем, сонные, оглашенные, не понимая, в чём дело. Он же, хохоча, как сатана, натравливает на нас собак, которые, несмотря на то, что мы их подкармливали, всё равно не считали нас за своих и кидались.

Уже две недели, как мы в татарском ауле. От бывшей артели «Не унывай» остались только я и мой друг Володя Круглов, которого я прозвал «пользительный» за то, что он во всём искал пользу. Чтобы он ни делал, чтобы ни ел, чтобы ни видел, он всегда читал нравоучение о пользе того или иного действия, явления или кушанья. Нам повезло: нас нанял богатый татарин за два пуда ячменной муки на каждого. Я не понял, почему мой друг Володька так ратовал за ячменную муку, возможно, он перепутал её с овсяной. Я предложил было пшеничную, но он наотрез отказался. Неудобно было в присутствии татар переругиваться с ним, и я согласился на «пользительную» ячменную муку.

Наш новый хозяин Мухамед-ага был богатым и образованным человеком. Он владел большим количеством рогатого скота, имел два табуна лошадей, в каждом ауле — по два-три каменных дома. Его пятеро жён размещались по разным аулам. Когда наступала пятница, хозяин надевал хорошую черкеску, новые сапоги, каракулевую папаху. Под присмотром первой жены, помогавшей ему наряжаться, вешал на себя серебряную шашку, кинжал и на вороном коне отправлялся объезжать остальных жён. Я с карабином на другой лошади ехал в трёх шагах позади него в качестве оруженосца. На выезд мне выдавали старую одежду, и надо признать, что я становился в ней похож на татарина.

Для старшей жены был выстроен большой дом, но она жила в землянке, где охраняла продукты и молодняк — телят, овечек. В трёхэтажном «дворце» обитала молоденькая татарочка лет двенадцати-четырнадцати, наверное, будущая жена хозяина.

Она часто показывалась на балконе, а когда мы обедали или ужинали, всегда следила за нами и если мы её замечали, то приветливо улыбалась. Как-то, в свободную минутку я вырезал из дерева куклу и петрушку, причём петрушка при нажиме кувыркался на перекладинке, и, когда рядом не было хозяина, закинул их ей на балкон. Она так им обрадовалась, что, в свою очередь, когда никого не было поблизости, бросала нам вниз яблоки, груши и даже куски сахара.

Кормили нас плохо. Пресная кукурузная лепёшка, кусочек брынзы в семьдесят грамм — весь наш дневной рацион. Мы его ели, как тот грузин, у которого имелся лаваш и маленький кусочек сыра. Положив сыр внутрь скрученного в трубку лаваша, он по мере того, как съедал хлеб, всё глубже проталкивал пальцем сыр, и так пообедав, ещё долго ковырял в зубах, довольный, что оказалось так много сыра.

Да, очень скоро мы заскучали от такой еды. Я как-то намекнул нашему «Малюте», что неплохо было бы улучшить питание, но он так на нас глянул, что у нас дух захватило. Тогда я решил действовать через женское сердце. У старшей *ханум* имелся медный ведёрный самовар, но такой запущенный, грязный, что вся медь покрылась копотью и сажей. Вдобавок и кран у него подтекал. Выпросив у хозяйки самовар, я первым делом притёр кран, затем набил мелкого кирпича, собрал золу и песок и так отдраил его, что тот засиял на солнышке. После захода солнца вернулся хозяин. Во дворе на ковре первая жена разложила угощения. Посередине *достархана* (скатерть для гостей), свистя и пыхтя, сиял «его сиятельство самовар». В тот вечер хозяева долго восседали на подухах, калякая за самоваром. На следующее утро посыпались дары: мне хозяйка выдала старые опорки, остатки вчерашнего чая, брынзу.

Но, как сказано в суре Корана «воистину, неудаче способствует удача, а неудача — удаче». На нас сразу обрушились несчастья. Нашему злейшему врагу «Малюте Скуратову», видно, не понравилось, что хозяйка хорошо к нам отнеслась. Он начал наговаривать на нас хозяевам. Ночью спускал с цепи самую злую собаку, и стоило нам пошевелиться, как она с лаем бросалась на нас. Однажды я услышал, как он заверял своего приятеля, что русским гяурам не убежать из аула: его собаки растерзают «неверных» при попытке к бегству.

Приближался месяц поста — *рамадан*. Вот уже несколько дней, как наш хозяин Мухамед-ага срочно уехал по своим делам в Азербайджан, когда вернётся — неизвестно. Защиты ждать неоткуда. Всё громче призывает Муэдзин с минарета мечети правоверных на молитву. Его надрывный голос сливается с собачьим воем. Мы просыпаемся от ужаса, и в наши души проникает скользкий страх. Мы решаем немедленно бежать. Великий драп намечен нами на рассвет пятницы, на часы, когда Мустафа обычно идёт в мечеть читать *хутбу* (проповедь). За день до этого, на наше счастье, на свалку выбросили дохлую лошадь. Часть её мяса мы использовали для задабривания «пятой собачьей колонны».

Накануне «святого дня» *ханум* поручила мне убрать в землянке, что дало возможность сделать запасы на двоих. Совесть моя была чиста, так как мы проработали уже месяц, а расчёт не брали. А нам полагалось четыре пуда муки, пусть даже и ячменной. Это — восемьдесят пять килограммов хлеба, и если одному человеку съедать по фунту в день, то можно прожить, не умирая с голода, почти три месяца. И такое добро, заработанное тяжким трудом и политое потом, мы бросали ради спасения наших жизней. Мы поставили перед собой цель — уйти из зоны смерти и страха, уйти, не приняв бой, ради того, чтобы жить дальше и окрепнуть для будущих побед. Надо сказать, что запасы *ханум-апа* нисколько не пострадали. Мы отобрали несколько больших кусков брынзы, взяли немного кукурузной муки, лепёшек, соли, лука и спрятали всё это в скирде сена.

На рассвете, после призыва Муэдзина: «правоверные, спешите на молитву» — когда вся община и их сипах (полководец) Мустафа «Скуратов» в зелёной чалме ушли в мечеть, мы, разбросав по двору мясо от дохлой лошади, бросились под гору к реке. Словно пустые бочки, катились мы со всё возрастающей скоростью сквозь чертополох, бурьян кубарем, не чувствуя боли и не зная, где земля, где небо. Нам казалось, что за нами мчится многолюдная погоня. Слышался отрывистый нарастающий лай, топот верховых лошадей, татарские выкрики, выстрелы. Не оглядываясь назад, потеряв друг друга из вида, спасались мы, кто как мог, пока не уткнулись с ходу в реку. Замерев по колено в воде, затаив дыхание, прислушивался я к окружающим звукам. Кто-то рядом булькал и стонал. Слава богу, то оказался мой друг «пользительный». Выбравшись на противоположный берег, ориентируясь на рассвет, мы зашагали на восток и к вечеру благополучно добрались до нашей милой мельницы.

Мельник взял меня в помощники, и началось моё царское житьё. Мельница работала круглосуточно. Народ всё время подходил: русские, украинцы, грузины, татары. За помол без очереди, особенно ночью, мне перепадало много всего: молоко, яйца, иногда и мясо. Хозяин даже выдал мне ружьё для охраны мельницы — одноствольную берданочку, с которой я охотился на зайцев, куропаток, перепёлок. Когда нужно было остановить водяное колесо для ремонта или смазки, в карманах колеса и в жёлобе всегда обнаруживалась свежая рыба. Были и рыболовные снасти.

Проработал я на мельнице до осени. Хозяин Сидор Иванович был мною доволен, думал даже взять меня зятем для своей младшей дочки. «Вот подрастёшь, войдёшь в дом, и будет в нашем доме два Сидора», — поговаривал он. Но тут я подхватил лихорадку. Доморощенное лечение не помогало. Лихорадка меня трясла по-страшному. Точно через день в определённое время меня начинало трясти. Сперва наступала мелкая дрожь, которая зарождалась внутри, потом начинало дрожать всё тело, так что, казалось, отлетят все члены: руки, ноги и голова; кожа превращалась в гусиную. Приступ длился часов пять-шесть. На меня набрасывали

несколько одеял, пальто, рогожек, но я всё никак не мог согреться. При этом температура поднималась до сорока градусов. Через неделю, забыв все свои обещания, хозяин нанял другого работника. Истратив все деньги на лечение без результата, я решил возвратиться в Тифлис, к мачехе.

Выбрав день, когда, по моим расчётам, приступа не должно было быть, я отправился пешком на станцию. Подошёл поезд. Вместе с другими мешочниками я еле-еле зацепился за подножку вагона, держась за поручни. Состав тронулся, но кондуктор так и не открыл дверь. Поезд набирал скорость. Я еле держался, особенно на внешних разворотах. Вскоре я почувствовал, как начали слабеть мои руки, пот выступил на лбу, закружилась голова. Мне казалось, что прошла целая вечность и что поезд идёт уже не вперёд, а назад. Внезапно я понял, что у меня сейчас начнётся приступ лихорадки. Я не выдержал и крикнул:

— Ребята, падаю, поддержите меня!

Ноги у меня подкосились, я обмяк, как мешок, но тут кто-то вовремя ухватил меня за ворот рубашки. К счастью, поезд стал замедлять ход и подошёл к станции. Дальше я ничего не помню. Когда я пришёл в себя, то увидел, что лежу на траве, на подстилке, накрытый одеялом. Рядом горит костёр, у которого сидят женщина и старый мужчина. Над костром висит котелок, в котелке кипит вода.

Мой спаситель оказался курдом. Именно он подобрал меня, беспамятного, в кустах, приютил, лечил и ухаживал за мною. Кто бы мог подумать, что у этого курда такое благородное сердце? Помню, ещё с детских лет мне внушали, что все курды — воры, разбойники и бандиты, ими пугали маленьких детей. В Тифлисе тогда проживало очень много курдов. В основном они выполняли самые грязные работы: таскали тяжёлые грузы, чистили канализацию, убирали дворы. Их жёны с детьми выпрашивали милостыню. Так вот, этот курд целую неделю по своей доброй воле возился со мною. Он чем-то поил меня, каким-то отваром из лечебных трав. Напиток оказался сильно горьким, и я боялся его пить. Тогда он первый начал пить, показывая, что это не отрава, а лекарство. Вскоре я почувствовал себя гораздо лучше. У меня была красивая полотняная рубашка, вышитая голубыми васильками. По рассказам сестёр, её вышивала мама, когда я ещё не родился. Эту святыню я берёг пуще глаз, однако пришлось с ней расстаться. На вырученные деньги я купил билет до Тифлиса, а остальные хотел отдать моему второму отцу — курду. Ему было, наверное, лет около семидесяти, и, кроме лохмотьев и старого одеяла, на нём ничего не было. Но он наотрез отказался от моих денег, лично посадил меня в вагон и ещё на дорогу дал с собой хлеба и сыра.

Добрался я до дому благополучно. Думал, что малярия больше не будет меня трепать, но она вернулась снова. Помню одну знахарку, которая делала мне шептание, давала пить настой на сырых желтках и красном вине. Но стоило мне поесть дыню, как лихорадка возвращалась. В то время в Тифлисе работала американская помощь бедным. Я пошёл к ним. Мне сделали в спину шестнадцать уколов хинина. Процедура оказалась очень болезненной, особенно когда раствор хинина под давлением впрыскивали в мышцу. Зато я выздоравливал…

## Глава XIX

*На свидание с отцом*

В самый серединный день лета — 15 августа, под созвездием Льва, покровительствующего касте воинов, накануне Дня авиации, 18 августа, (сколько праздников сразу) в г. Дальнем, он же Дайрен, он же Даолянь, у старшего авиационного начальника Ляодунского полуострова родились две девочки.

Накануне ночью мама почувствовала первые схватки. Отца не было. Он находился в отъезде, вернее в отлёте. Мама разбудила адъютанта отца Женю Данилевского, и они на виллисе отправились искать врача. У ворот частной клиники на настойчивый ночной звонок вышла японка, посмотрела на мамин живот, закивала головой и жестом пригласила следовать за ней. Профессор, старичок-японец, так умело командовал: «Мадама, мадама — потужка, потужка» что к утру на свет появилась двойня. Первой сразу дали имя — Наташа, имя, которое всегда нравилось маме, а сестра ещё долго оставалась просто беленькой девочкой, и только спустя месяц ей присвоили Елену Прекрасную или Ленку-дуру.

Отец, несмотря на то, что у него уже было два сына, в лучших традициях рода Слюсаревых ждал мальчика. Услышав, однако, по ВЧ, что у него — девочки-двойняшки, радостно изумился и крепко обрадовался.

Подхватив первый попавшийся под руку самолёт, несмотря на запрет ввиду сложных метеорологических условий — разразилась гроза — взмыл в небо.

— И вот, — как вспоминала часто мама, — он входит ко мне в палату с огромным арбузом. А вы уже лежите, завёрнутые во всё беленькое, рядом на кровати, сами беленькие и чистенькие. И я ему говорю: «Серёжа, ты только посмотри, какие они — красивые и хорошенькие!». А он отвечает: «Ах, если бы ты только видела, Томочка, какая ты сейчас прекрасная!». И, отложив арбуз в сторону, счастливый, кинулся меня целовать.

Через пару недель мы уже отправились в свой первый полёт. Меня мама держала на руках, Лену — кто-то из родни, кажется, мамин брат, Юра. Когда после посадки все спустились по трапу на землю, мама, забеспокоившись, что Лена долго молчит и не попискивает, взяла её из рук брата и обнаружила, что тот всю дорогу держал её вверх ногами. Сестра посинела и чуть было не задохнулась.

В другой раз мы летели на служебном самолёте отца. Ровный полёт, обычный маршрут. Отец уснул на боковой скамье. Мы — кульками у мамы на руках. Только в самолёте холодно. Через какое-то время мама почувствовала, что с самолётом что-то не так — проще, он падает. Под нами — Тихий океан, Жёлтое море, бездна воды. Мама растолкала отца:

— Серёжа?!.

Интересно, что мама никогда не называла отца данным ему от рождения именем — Исидор. Скорее всего, оно ей не нравилось. Она звала его Серёжа. Это имя существовало для неё в нескольких вариантах, в зависимости от обстоятельств. В лучезарно-счастливых — Серёженька, в экстремальных со знаком минус — «Сергей! хватит, перестань!», пожалуй, чаще всего — Серёжа. Но и просто Серёжа её голосом звучало нежно и очень тепло.

— Серёжа?!.

Отец рванулся в кабину, матюкнулся, где-то поддал ногой, рука автоматом прошлась по шлангам подачи горючего. И точно, отошёл контакт. Мотор перестал чихать, выправился, за ним и самолёт выпрямился и пошёл набирать высоту. На всё ушли доли секунд.

В тех же ляодунских местах случилась ещё встреча с опасностью. Это было на загородной вилле, где квартировала наша семья. Глубокой ночью раздался стук в дверь или звонок. Мама в лёгком халатике со счастливо-радостным выражением лица распахнула дверь. Отец был в командировке, но он же мог неожиданно приехать? Вместо мужа перед ней стоял высокий чужой мужчина. Мама не успела испугаться: «Ой, а я думала, это — Серёжа» — извиняясь, что обозналась, она ласково улыбнулась незнакомцу. В эту минуту внезапно проснувшаяся годовалая Алёна сползла с кроватки, прошлёпала в коридор и, протянув ручки, «чтобы на ручки», несколько раз пропищала: «Ма-ма, ма-ма». Мама подхватила её, нежно целуя, прижала к себе и ещё ближе придвинулась к мужчине. Он тяжело дышал. Наконец, совсем низко опустив голову, чтобы не видно было лица, сипло произнёс:

— К вам не приходили собирать подписи в помощь голодающим? — И не дождавшись ответа, тут же глухим голосом, не глядя больше на маму, а только в пол:

— Никому дверь не открывайте, — спиной отпрянул в ночную мглу.

Рано утром отец всё-таки вернулся раньше положенного срока домой, к всеобщей радости. А через час приехал его адъютант Женя Данилевский и предупредил, что прошлой ночью из местного централа сбежало несколько опасных рецидивистов и чтобы мама никому дверь не открывала. А мама промолчала, и отцу никогда про этот случай не рассказывала, чтобы он не ругался и не расстраивался, раз всё уже произошло.

После того как мы съехали, новый хозяин обнаружил за статуей Будды, в нише замаскированный потайной погреб со знатной коллекцией старинных вин и коньяков. Вот тут я представляю, как отец кусал себе локти. Сколько ненакрытых столов, несобравшихся друзей, упущенных моментов шутливо пригрозить маме: «Мне сверху видно всё — ты так и знай!», неподнятых тостов под эти рейнские, французские, шартрезы и бурбоны в тёмных, не просвечивающих бутылках с окаменевшими печатями и залитыми густым сургучом пробками. Пару таких бутылок я наблюдала у нас дома на протяжении нескольких лет. Командир

Чита, 1947 г.

корпуса таки поделился с отцом. На заморских этикетках расписались самые близкие друзья, присутствовавшие на первом дне рождения двойняшек и скрепившие подписью обещание открыть эти бутылки на наше совершеннолетие. Мне кажется, они достойно продержались около десяти лет, но на одиннадцатый год, вероятно, в один из особенных дней, отец плюнул, открыл сервант, поковырял кортиком тяжёлый сургуч и, взглянув на дюжину дорогих ему имён, «приземлился за столом» ведущим без группы. И правильно сделал.

Память почти ничего не сохранила из того, что происходило в первые годы, хотя, кажется… какие-то деревья, сад, крутящийся стол на одной ноге. Всё, что знаю о себе, — зарисовки маминых воспоминаний. Каждые пять минут я снимала трубку игрушечного телефона и провозглашала, абсолютно уверенная, что меня слышит отец: «Алё! Папа! Приезай домой обедать!!! Алё! Папа! Приезай…»

Отец целиком и полностью, с большой, постоянной памятью навсегда, вошёл в мою жизнь позже. Он спикировал из конверта сложенным вдвое листом бумаги, на котором, широко раскинувшись, пучилась брусчаткой, изумительно прорисованная мостовая, замок с башенками и подвесным раскачивающимся мостом. История, с которой я осознала, что у меня есть отец, который любит меня, думает обо мне и шлёт в подарок этот чудесный рисунок, была посвящена трём поросятам. Тяжёлый готический замок, подъёмный мост на массивных бронзовых цепях не соответствовали легкомысленным персонажам, но всё искупалось той страстью и щедростью, с какой нажимали на быстро ломающиеся грифельные носики итальянских братьев Сакко и Ванцетти.

Серия рисунков с продолжениями вкладывалась в каждое письмо, предназначенное нашей маме — любимой Томочке и любимым доченьками — Леночке и Наташеньке. Письма из Китая шли долго, но я не помню, как ждала, ждала мама. Я вспоминаю — и это — первая реальность, связанная с отцом, — как держу в руках поистине нечто драматическое — мостовая, по которой стремительно мчится самый настоящий серый волк с разинутой алой пастью и развевающимся длиннее

положенного и в силу этого нашедшим себе приют на следующей странице хвостом. Волк вылетал на страницу с такой бешеной скоростью, что сила инерции должна была — и это ясно всем — вынести его с поворота прямо ко мне на кровать. Его же путь лежал много правее — в распахнутые ворота высокого замка. И вот своим левым скошенным глазом волк явно просит меня о помощи. Каким-то самой мне неведомым образом моё долгое разглядывание помогает серому, не вылетая за границы письма, совершить сногсшибательный поворот и скрыться за грозными башнями замка, взятого, вероятно, напрокат для трёх поросят у маркиза де Карабаса. Что и говорить? Я просиживала над рисунком часами.

Однажды мама радостно заявила, что поросят больше не будет, но зато будет сам папа, который нас любит, ждёт и к которому мы поедем на поезде. Поезд до Читы шёл больше двух недель. В просторном международном вагоне лакированного дерева кроме нас ехал ещё батюшка с большим золотым крестом. Наверное, высокий церковный чин, потому что на каждой станции делегации на вышитых полотенцах преподносили ему корзины со снедью. Двум сестрёнкам он подарил мелкие восковые цветочки с кулича и часто сиживал в нашем купе. Я не одобряла долгого сидения патриарха. Внутренне я чувствовала, что и папа этого бы не одобрил. В знак протеста мы с сестрой обосновываемся в коридоре. Запомнились бьющиеся на ветру белые занавески и мы, соревнующиеся, кто лучше «заспивает» любимую песню. Я пою о краснодонцах. «Кто там улицей крадётся, кто в глухую ночь не спит? На ветру листовка вьётся, биржа чёрная горит…». Алёна затягивает жалобную балладу о раненом пограничнике. Потом снова я — о славных товарищах в маленьком городе N. «Третьего стали допрашивать, третий язык развязал: „Не о чем нам разговаривать“, — он на прощанье сказал».

Так и доехали. На перроне нас встречал отец. Это была вспышка. Мой шпионский сверх зоркий фотоаппарат тотчас выдал моментальный снимок — высокий, усатый. Герой. Время от времени я поднимаю на него глаза, чтобы убедиться, что он никуда не делся. Мне кажется, я была смущена его откровенной красотой. Я робко посматриваю на него со стороны, восхищаясь его мягкой фетровой шляпой, светлым пальто, чёрными усами. Таким выглядел русский советник Сидоров, отвечавший за противовоздушную оборону Шанхая. Это было моё первое любовное свидание. У меня захватывало дух при мысли, что это — мой отец. Он был лучше плюшевого мишки, слаще сливочной помадки, занимательнее Буратино. Первое время, пока я не привыкла к нему, меня охватывала робость, но я быстро привыкла к нему. И какое наслаждение мне доставляло знать, что он абсолютно мой. С каким восторгом я пользовалась им, забираясь на него, как на дерево, размещаясь у него на коленях, чтобы поскакать по «горкам», разваливаясь на груди, или, наоборот, цеплялась сзади за плечи, чтобы он поносил на закорках этот тяжёлый горшочек.

Чита, 1947 г.

Мы живём в просторном двухэтажном доме, почти дворце, где столько всего интересного. На полу — огромные фаянсовые чаны, в которых лениво плавают алые, чёрные рыбки с хвостами, как лепестки у пионов. По вечерам мы заводим патефон. У мамы чудесно звонкий голос. Она любит петь и делает это весело, как героиня фильмов «Цирк», «Весна», «Волга-Волга»… «Ну, Дуня, спой! Пой, Дуня!». Мама всегда просыпается в хорошем настроении и начинает напевать что-то из оперетт. Отец даже записал её голос на гибкий резиновый диск. Носитель маминого голоса был стар, заносчив и предпочитал, чтобы его вообще не трогали. Когда чёрный блин торжественно подносили к сковородке патефона, чтобы надеть дырочкой на кнопочку посередине, он ещё долго думал, стоит ли ему вообще идти нам навстречу. И только после того, как боковая ручка проворачивала очередную порцию фарша, он срывался бешено вращаться. Стальная короткая иголочка, оставаясь неподвижной, умудрялась перебираться по высоким волнам, наподобие балерины, приминающей воланы своей муаровой пачки. С трети маршрута, когда мы уже теряли надежду услышать хоть что-нибудь, кроме шипения, неожиданно особо детским речитативом (все уверяли, что это мамин голос) раздавался стих, неизменно озадачивавший мою молодую душу:

Ну, старая, гадай! Тоска мне сердце гложет!
Весёлой болтовнёй меня развесели,
Авось твой разговор убить часы поможет…
……………………………………………
Ну, полно же, не плачь! Гадай иль говори,
Пусть голос твой звучит мне песней похоронной,
Но только, старая, мне в сердце не смотри
И не рассказывай о даме о червонной!

Пластинок было много. В очередь за мамой шёл Вертинский. На круглой этикетке симпатичная белая собака с чёрными ушами, присев, внимательно прислушивалась к хозяйскому голосу — «Master's voice». Особо полюбившиеся вещи мы гоняли по много раз, очевидно, доводя патефон до головокружения. Но ухожу я спать только после того, как мне поставят мою любимую песню про меня же:

Собирался народ у старинных ворот.
Чехи слушали песню. Шли гвардейцы в поход.
Про страну большую нашу, да про девушку Наташу,
Да про город краснозвёздный — про тебя, Москва.

## Глава XX

*Там, за горой Каф…*

Я безвыездно находился на Ляодунском полуострове. В конце 1947 года меня перевели в Забайкальский военный округ в г. Читу на должность командующего 12-й Воздушной армией, где я прослужил до марта 1950 г. и вновь был направлен в Китай для организации противовоздушной обороны города Шанхая и всей провинции Цзянсу.

С начала марта 1950 года авиация Чан Кайши, ведя воздушную разведку г. Шанхая, начала наносить бомбардировочные удары по важнейшим объектам города. В Шанхае стали закрываться предприятия, фабрики, магазины. Поднялись цены на продукты питания, усилилась спекуляция. Летом 1950 года началась Корейская война. Американская авиация стала вторгаться в воздушное пространство КНР. В сентябре американское командование предприняло отчаянную попытку спасения Южной Кореи в связи с успешным продвижением войск Северной Кореи на юг страны. Под прикрытием 500 самолётов, десант в 50 тысяч человек высадился в Южной Корее. 230 кораблей флота США, их союзников, свыше 400 самолётов и около 7000 тысяч человек сосредоточилось у западных берегов Кореи. Часть северокорейских сил оказалась в полном окружении.

Китайское правительство неоднократно предупреждало США, что китайский народ не может оставаться равнодушным к обстановке, создавшейся в результате вторжения в Корею «войск ООН». Игнорируя предупреждения, американцы продолжали расширять военные операции в Корее. В десятую годовщину образования КНР — 1 октября 1950 г.

Сталин направил срочную шифровальную телеграмму Мао Цзэдуну и Чжоу Эньлаю, в которой в исключительно корректной форме советовал КНР оказать военную помощь КНДР.

«Я думаю, что если Вы по нынешней обстановке считаете возможным оказать корейцам помощь войсками, — писал он, — то следовало бы немедленно двинуть к 38-й параллели хотя бы пять-шесть дивизий с тем, чтобы дать корейским товарищам возможность организовать под прикрытием Ваших войск войсковые резервы севернее 38-й параллели. Китайские дивизии могли бы фигурировать как добровольные. Конечно, с китайским командованием во главе. Я ничего не сообщал и не думаю сообщать об этом корейским товарищам, но я не сомневаюсь, что они будут рады, когда узнают об этом. Сталин». *(Попов И. М. К вопросу о вступлении Китая в войну в Корее 1950–1953 г. М., 2001.)*

Решение Пекина о участии в войне в Корее было принято после жёстких и продолжительных дискуссий в высшем китайском руководстве. Разрушенное хозяйство, устаревшее вооружение — всё говорило против выступления Китая в войне. С другой стороны, возрастала угроза развязывания войны США против Китая. После недельной дискуссии было принято решение о необходимости направить китайских добровольцев в Корею. Дружба «социалистических братьев», сплотившихся перед лицом мирового империализма, была такой крепкой, а помощь, оказываемая Советским Союзом Китаю, достигала такого размаха, что сомневаться в искренности и нерушимости этих отношений не приходилось.

Ночью мне по аппарату ВЧ позвонил начальник главного штаба ВВС — маршал авиации Руденко и приказал быть готовым вылететь в Пекин для выполнения Правительственного задания. Перед нашей группой поставили задачу не допустить пиратских налётов гоминдановской авиации на территорию КНР, в самые краткие сроки организовать ПВО Китая.

Прибыв в столицу — г. Пекин, мы в тот же день встретились с членами правительства — Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чжоу Эньлаем. В самые сжатые сроки в Китай была отправлена совершенная боевая авиационная и радиолокационная техника. С аэродрома Дальний истребительный полк полковника Макарова на самолётах Ла-11 в количестве 45 истребителей, перелетев залив Бохай, произвёл посадку в Циндао. По тому же маршруту бомбардировочный смешанный полк полковника Семёнова перелетел в Шанхай. Из Москвы железнодорожным транспортом шёл отлично подготовленный истребительный реактивный полк полковника Пашкова. Аэродромная сеть районов Шанхая и Сюйчжоу срочно расширялась. Характер аэродромного строительства поразил нас своей допотопностью. На аэродромах круглосуточно работало до сорока тысяч китайских кули. Техника состояла из коромысла, плетёных корзин и кетменя.

Решено было организовать непрерывное патрулирование над районами аэродромов со сменой экипажей в воздухе. Созданная нашими радиолокационными, прожекторными и ЗА — зенитно-артиллерийскими специалистами зона ПВО района г. Шанхая, включала в себя надёжное радиолокационное поле обнаружения воздушных целей в глубину на 300 км, световое поле в радиусе 80 км и ЗА-прикрытие — 50 км. Главный командный пункт управления ПВО Шанхая находился на юго-восточной окраине города, где была хорошо налажена система телефонной связи. Радиолокационные станции работали круглосуточно. Уже в первые дни наши лётчики сбили до десятка самолётов чанкайшистов. Авиация противника перестала днём появляться над городом, что несколько разрядило обстановку среди населения Шанхая. Паника прекратилась.

Корейская война активно велась всеми родами войск в течение года. Летом 1951 года боевые действия сухопутных войск прекратились. Однако примерно в течение двух лет до заключения перемирия 27 июля 1953 г. продолжалось противоборство нашей и американской группировок. Оно осуществлялось по неписаным, но строго соблюдаемым правилам. Наши лётчики не залетали за демаркационную линию, чтобы не оказаться сбитыми над чужой территории и не попасть в плен. Американцы грозились первого же попавшего к ним русского лётчика отвезти в ООН как вещественное доказательство нашего вмешательства.

По этой причине вдоль границы было негласно отведено воздушное пространство, так называемая аллея истребителей, где и происходили воздушные бои.

64 ИАК (истребительный авиационный корпус), которым я командовал, сменив на этом посту генерал-майора Г. А. Лобова в конце августа 1951 года, несмотря на то, что назывался истребительным, имел в своём составе зенитно-артиллерийские дивизии, авиатехнические дивизии, зенитно-прожекторный полк. В задачу 64 ИАК входило прикрытие с воздуха промышленных и административных объектов в районах Мукден, Аньдун (аэродром Мяо-гоу), Цзиань, обеспечение сохранности железнодорожных мостов и электростанции на реке Ялуцзян в районе Аньдуня. Всего корпус выполнил 63 тысячи боевых вылетов, лётчики провели 1683 воздушных боя, сбили 1067 американских самолётов. Наши потери составили 335 самолётов и более 200 погибших лётчиков. Активные действия продолжались до 27 июля 1953 года. Я продолжил командование до середины мая 1955 года. Всего за период этой войны 22 наших лётчика получили звания героев Советского Союза. У американцев, конечно, была своя статистика сбитых самолётов, по которой они сбили наших в 10 раз больше, чем потеряли своих. Статистика — явно нахальная. Абсолютно точные цифры мы вряд ли уже узнаем.

На территории Кореи в специальном лагере держали военнопленных американцев, было их около тысячи. Условия у них были приличные. Их хорошо кормили, меняя даже по желанию меню. Они свободно переписывались со своими родными, все как один с нетерпением ждали перемирия. На первых допросах рассказывали невероятные истории. Как выяснилось, ЦРУ обучало лётчиков, направлявшихся в Корею, как вести себя в плену, а именно: создать фабулу невероятного, чтобы ввести в заблуждение контрразведку. Я помню такие допросы о вымышленных посадочных площадках на территории Монголии. Всё для того, чтобы ввести нервозность в отношения между Китаем, Кореей и МНР.

Как-то на рассвете над аэродромом появился двухмоторный бомбардировщик Б-26. Заметив, что в воздухе патрулируют наши истребители, он повернул обратно и стал уходить на предельной скорости. Его догнали, атаковали и сбили. Бомбардировщик упал на берегу Жёлтого моря. На следующий день, примерно к 12 часам дня появился другой разведчик Б-26. Его подожгли с первой же атаки. Мы слегка испугались, так как горящий самолёт начал планировать на группу наших МиГ-15, стоявших скученно на границе аэродрома. Потом, видимо, гоминдановский пилот пришёл в себя, отвернул машину от полосы и сел на фюзеляж в метрах трёхстах от аэродрома. Экипаж в составе трёх человек направился в сторону леса, но вскоре был схвачен. На допросе пленные показали, что базируются в составе двух бомбардировочных полков на острове Тайвань. При авиационных частях находятся американские советники и лётчики-инструкторы. Настроение у солдат и офицеров неважное. Каждый день ждут вторжения войск КНР на остров.

В майскую тёмную ночь были зафиксированы две воздушные цели, идущие курсом на Шанхай. В воздух по тревоге подняли восемь ночных истребителей МиГ-15. Планом ночной обороны было предусмотрено не включать прожектора, пока самолёты противника не войдут в световое поле. Когда цели вышли на необходимую глубину, с КП дали команду включить прожектора. Лучи моментально осветили два четырёхмоторных бомбардировщика, а из ближайшей зоны перехвата устремились в атаку наши МиГ-15.

Командир эскадрильи Илья Шинкаренко, сближаясь с самолётом противника, открыл огонь из 37 мм пушки и пулемётов, но сам при этом налез на цель из-за разности скоростей. Быстро сообразив выпустить шасси и закрылки, он уравновесил дистанцию и второй очередью почти в упор расстрелял бомбардировщик, который тут же на глазах, взорвавшись в воздухе, развалился на несколько частей.

## Глава XXI
### *Цзинбао*

В Китае я тоже познакомилась с «цзинбао» — (воздушной тревогой). Запомнились — одна ночная и одна дневная. Как-то за полночь завыла сирена. Зажёгся свет, потом разом погас во всём доме. Нас с Алёной выхватили из постелей и начали спешно облекать в жёлтые жакетики и зелёные брюки. Отец в темноте наткнулся на фарфоровую вазу — красивую, красную с белой хризантемой, стоявшую на резном столике, и разбил её. Прокомментировав это событие крепким кавалерийским выражением, пошумев и поссорившись с мамой, он наконец вывел нас на крыльцо. В темноте по пути в бомбоубежище, глядя под ноги, вспоминаю мокрых лягушек, прыгающих по дороге, и нас, перескакивающих через лужи и лягушек. КП — под землёй. Спускаемся вниз. В небольшой комнате военные за аппаратами связи, телефонами. Один — перед экраном. По зелёному полю радиусом кружит светлый луч. Я замираю рядом. Потом провал. Просыпаюсь уже утром, дома, на своей кровати.

Дневное «цзинбао» застало нас, когда мы с Леной играли во дворе. Мама что-то отглаживала на веранде. Неожиданно разом, все китайцы из нашего дома повыскакивали во двор. Сгрудившись, они застрекотали на своём канареечном языке и начали тыкать палочками своих пальцев куда-то вверх. В воздухе происходило нечто необычайное. Казалось, совсем близко от нашей ограды и довольно низко в небе метались два самолётика, как две осы — кто кого ужалит. Пули дождиком сыпались прямо на нашу клумбу. Быстро выскочив, мама забрала нас домой, не позволив толком ничего рассмотреть. По пугливости, хотя и не хочется в этом признаваться, я шла впереди своей двойняшки. Я тотчас полезла под кровать. «Подкровать» — место, куда я обычно попадаю во время грозы и прочего остального

страшного. Мама и Лена продолжали смотреть в окно. Любопытство победило. Справившись со страхом, я присоединилась к ним. В небе появился дымок. Чёрный дымок от одного падающего самолёта. Мне даже показалось, что я слышала крики лётчика, его перебранку, наподобие наших семейных, с американским врагом. Китайцы ещё не скоро возвратились в дом, долго и по-особому горестно покачивая головами, как их божки. В тот день американский пилот сбил китайского героя. Отец вспоминал, что обучение китайских лётчиков лётному мастерству—дело трудное. При показе, как обращаться с пулемётом, некоторые из них тотчас выпрыгивали из самолёта на парашюте—«под кровать». Парой подобных случаев, происшедших у него на глазах, отец был просто поражён.

В свободные от военных действий часы я люблю рассматривать китайских фарфоровых божков. Какие они всё-таки славные, в складочках, наверное, сладкоежки. Улыбаются. Сидят на корточках, довольные, брюшками в десять колбасок. Я вообще на всё люблю смотреть подолгу. Наш повар за это зовёт меня «профессор», а Лену—«купеза», что значит купчиха. Хотя она ничего не продаёт и не меняет, а если я с ней начинаю меняться картинками либо лоскутками, то обмен всегда происходит в мою пользу. От пребывания в Аньдуне и близкого соседства с желтолицыми братьями я переняла надолго ещё привычку тыкать во всё указательным пальцем и лёгкую кишечную инфекцию.

Лучшими из лучших событий жизни нами безоговорочно признавались дни рождения. У нас с сестрой—один на двоих. В Китае они проходили особенным образом. В тот день, вернувшись с работы пораньше, папа (ну, конечно он, кто ещё?) объявил, что нам на день рождения кто-то (не сомневаюсь, главный смеющийся божок) прислал подарки, закопав их на зелёной полянке. Пора ехать на поиски, за нами пришла машина. Радостно перещипываясь, мы карабкаемся на высокую ступеньку виллиса. А вот и сопка. Я уже веду поиски. Это легко, как искать грибы. Пока мы ничего не находим. Отец как-то подсказывает, незаметно подводит к кусту. И вот, у меня в руках мягкий петрушка, на голове—колпачок с бубенчиками. Лена нашла куклу. Потом я—зайца. Потом я снова—упитанного кота из настоящей шёрстки с зелёными пуговичными—непременно их поковырять—глазами и ушками с кисточками. Праздник продолжается целый день. В сумерках по тропинке к дому потянулись делегации китайцев не с пустыми руками. Кланяясь, они сначала проходят в кабинет отца, а следом с поклоном и поздравлениями—к нам, ставя перед каждой по чемодану. Отщёлкивать замки и откидывать крышку, казалось, огромного чемодана—уже событие. Из чемодана с почтением изымаются лакированные круглые шкатулки одна в одной, бамбуковые зонтики и веера, маленькие рикши с запряжёнными в них обезьянками, игрушечный гарнитур мебели из чёрного дерева, инкрустированный перламутром секретер, из которого, с серебряными ключиками для замочков,—настоящий шедевр. И последнее чудо: из одного из чемоданов враскоряк выбирается огромный целлулоидный пупс-негритёнок, нам с «купезой»—по пояс. Поделить его оказалось невозможно. Он был ничей. Оттого-то, вероятно, уже в Москве его легко передарили в другую семью, где был маленький ребёнок.

Подарки от отца перепадали не только нам. Мы клубим по просёлочной дороге. Внимание отца привлекает одноэтажное строение. Притормаживаем. Снаружи—обыкновенный сарай. Внутри—доска и столики наподобие парт. Это—школа. Нам интересно. Мы с Леной усаживаемся на скамейки, в это время отец что-то пишет на доске. У него, как всегда, моментально родилась идея праздника. На этот раз он решил устроить его для местных *филиппков*. Шофёра быстро отослали домой, и вскоре он вернулся, нагруженный яблоками и шоколадом. На каждый столик отец выложил по кучке гостинцев. Мы с сестрой сидим спокойно, мы не ревнуем. Было бы несправедливо, если бы всё доставалось только нам одним. Пора на выход. Школьная доска провожает нас белеющей надписью на славянском языке. Не ошибусь, если предположу, что то был привет из страны Ленина и Сталина. Производить неожиданный эффект и удивлять было потребностью его сердца.

## Глава XXII
*Bell'arte*

Отец хороводился со всеми музами. Сидор Васильевич замечательно рисовал, танцевал, пел. Грузинские выходы—отдельный полёт. Очень тонко вёл даму в танце. Разумеется, это он научил меня танцевать в паре с шести лет. Импровизировал на пианино, показывал фокусы, пел. Голос, правда, был не самый сильный, но если хором заводилась песня номер раз в нашей семье:

> Сегодня вечером, вечером, вечером,
> Когда пилотам, прямо скажем, делать нечего…

где каждый «вечер» крепко припечатывался к столу его кулаком, то исполнял он её с такой душой, что и голос откуда-то объявлялся. Далее шли по восходящей его любимые арии: «Ты взойди, взойди, моя заря», «О, дайте, дайте мне свободу!». Отдельно, задушевно и только на грузинском языке выпевался «Сулико». И вливая прямо-таки неизбывную тоску, он завершал свой репертуар длинной балладой о Байкале и каторжнике:

> Эй! Баргузин, пошевеливай ва-ал!!!
> Мо-лодцу пл-ыть не-да-ле-че-е-е !!!

Под особое настроение отец часами просиживал за нашим инструментом, за которым мы с сестрой в свою очередь томились над этюдами Гедике. Бранденбургско-Слюсаревские концерты начинались серией гулко-звучных аккордов, бравшихся с чувством и достаточно громко поочерёдно по крайним сторонам клавиатуры, практически за её пределами. Бам!—Динь! Бам!—Динь! Бам! Бам! Бам! Так что выходившие на следующее утро

на площадку соседки за кефиром и творожком (тогда по домам разносили молочные продукты) почтительно осведомлялись у мамы:

— К вам, Тамара Петровна, композитор приехал?

Причём, он даже не догадывался о том, что после ми идёт фа, не говоря уже о том, что где-то гуляет ре диез. Другое дело я. Я уже знала гаммы. Но перечислить их от «до» до «до» так и осталось моей вершиной. Занятно проходили экзамены в музыкальную школу. Мы жили тогда в Свердловске и ходили в первый класс. Детям из семьи, как наша, было положено по статусу музыкальное образование.

Приодев меня с Леной на соответствующий праздничный манер и заплетя каждой по четыре косички — «двое сбоку — ваших нет», мама отвела нас на экзамен. Развернув меня спиной к инструменту, чтобы я ничего не видела, а только слышала, вслед за отзвучавшим аккордом комиссия приветливо поинтересовалась: какое количество звуков я могу назвать. После моего быстрого ответа они выдали такое изумлённое «О!», что я тотчас поняла, что не попала. Определённо я услышала, что этих самых звуков клацнуло больше, чем один, и, как те аборигены, у которых после «одного» идёт «много», бодро ответила: «десять». В итоге меня приняли и Алёну тоже. Я и сейчас могу сыграть для вас по нотам: «О, соле мио»!

Сольфеджио я посетила три или четыре раза. Как-то, на одном из уроков учительница неосторожно предложила мне спеть с листа короткую музыкальную фразу. О чём я думала, упёршись взглядом в притихшие чёрненькие кружочки, приклеенные к ножкам с завитушкой и болтающиеся на разных проводах? Я бы ещё смогла представить, что их можно рассматривать, но чтобы петь! Нет. Это было равносильно тому, как если бы вдруг запела тарелка с вермишелью. Не дождавшись моего выступления, учительница прошла дальше. Но безысходность — не моё кредо. Я моментально сделала соответствующий вывод, что на такие вещи, как сольфеджио, лучше вообще никогда не ходить. Я не могла связать изображение со звуком. Просто у меня не было абсолютно никакого слуха в отличие от моего отца.

Из фокусов предпочтение отдавалось жонглированию. Отец жонглировал одновременно тремя предметами. Обычно это были апельсины, мандарины или яблоки. Иногда, они действительно каждый в свой черёд, стартуя с его рук, возвращались назад, но уже на третий подброс все валились кто куда, закатываясь под диваны и, как нарочно, в самые труднодоступные места. Их искали, возвращали фокуснику, и ещё пару раз у него выходило ладно, но потом он частил, и остальное всё шло с «промазом». В программу домашних концертов входил ещё один непростой фокус, когда он пытался установить столовый нож вертикально концом лезвия на своём языке, не знаю для чего, но мама быстро пресекала этот фокус.

Его танцевальный репертуар был представлен двумя номерами: зажигательной осетинской лезгинкой — исполнялась к концу застолья, на самом пике всех чувств — и чистой классикой. Причём, в лезгинке он вылетал, как сокол, на освобождённую середину комнаты, похватав со стола ножи, приподняв плечи, чтобы воображаемая бурка не соскользнула, и в бешеном темпе носился кругами с криками «асса!», красиво подгибая колени и вытягивая носок. Сносимая волной восторга, я тотчас воссоединялась с ним, подпрыгивая сзади на уровне его подколенной ямки и путаясь под ногами. Второй номер был лирический. Я бы сказала, исключительно лирический. То был знаменитый фрагмент из бессмертного балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» — танец маленьких лебедей. Чтобы подчеркнуть, что их группа, отец расставлял руки, забрасывая их на плечи воображаемых кахетинских абреков, отчаянно вытягивал носок и в сопровождении «умпа-па, умпа-па, умпа-па» трепетал поднятой ногой. Балет он любил страшно. В Москве мы часто ходили в Большой театр. Отцу нравилось богатое убранство театра — красное с золотом, напоминающее, возможно, его родной храм на Норийском подъёме. Ему нравилось обилие празднично одетых людей, обилие красивых женщин. И, несмотря на то, что вместо «бис» он кричал «ура» и мог отбивать ритм увертюры «севильского» по коленке соседки, он глубоко проживал и переживал искусство.

Где-то в 50-е годы на очередном спектакле в Большом театре они с мамой увидели в ложе для гостей кумира всей Европы тех лет, великолепного Жерара Филиппа с женой. Когда в антракте весь театр ринулся к французскому актёру за автографом, генерал Слюсарев единственный подрулил к жене Жерара Анн Филипп и поцеловал у неё ручку. Мама всегда ревновала его к балеринам.

Отец хорошо рисовал. Он постоянно что-то зарисовывал. Думаю, что он пробовал и масло. У нас в доме стоял мольберт с засохшими тюбиками красок. Но, вероятно, в собственных работах его не всё устраивало. Он находил художников из ближнего окружения, в основном талантливых рядовых и заказывал им картины на любимые темы. Из предпочитаемых тем выделялись пейзажи, охотничьи сцены или голая женщина. Причём картина с обнажённым женским телом не должна была быть миниатюрой. С появлением подобных полотен в доме отец тут же вступал в непримиримые противоречия с мамой. Оба сражались pro и contro до конца. Как сейчас, вижу мощную белую коленку закинутой ноги Вирсавии, сидящей рядом с такой же голой, но уже тёмно-коричневого цвета рабыней. То, чем она сидела, было щедро скрыто драпировкой, что, видимо, также не устраивало чем-то отца. Останавливаясь порой перед картиной, отец задумчиво растянуто произносил «…да». Вирсавия всё-таки продержалась у нас пару месяцев, несмотря на гневные взгляды, которые бросала мама в сторону живописи и её свирепые замечания, что растут дети.

Разорвавшейся бомбой стало появление у нас нового шедевра. Прогибаясь под тяжестью, внушительное нечто осторожно внесли трое солдат и водрузили на освобождённый для этого кусок стены. Когда сняли наброшенную ткань, то оторопела не только вся европейская, но и азиатская часть дома

представленная: шофёром, поваром, переводчиком. Широкой купеческой спиной к нам, невозмутимо глядя на себя в маленькое зеркальце, лежала огромная голая-преголая тётя. Много позже я идентифицировала этот шедевр с полотном Веласкеса «Венера с зеркалом». Но наша тётища Венерища была куда мощнее. При непосредственном руководстве и по указанию генерала её тыловая часть была неумеренно увеличена, я бы даже сказала упышнена. И если бы в это место втыкать вилку и употреблять, как торт, то пиршество продлилось бы не меньше недели. Отец выглядел очень довольным. Остановившись перед картиной, он произнёс такое сочное утверждающее «да!», что стало ясно: на сей раз всё, как надо. Повизгивая от гнева, бабой Бабарихой носилась вокруг него мама. Кондотьер в позе варяжского гостя, со скрещёнными руками, стоя перед картиной, защищал свои владения. Мама кричала: «Убери сейчас же эту гадость, либо она, либо я». Всё—напрасно. Отца устраивали обе. Он завтракал. Уходил на службу. Возвращался. Закуривая папиросу и, ласково поглядывая на Венеру, отдавал какие-то распоряжения по телефону. Мама с виду затаилась, но не собиралась сдавать своих позиций.

Как-то днём она приблизилась к холсту с полным ведром голубой краски и кисточкой. Спустя полчаса, снуя туда-сюда по дому по своим делам, я заметила, что с картиной произошли изменения, как выразились бы в аптеке, несовместимые с жизнью. Красавица всё так же смотрела на себя в зеркальце, но уже в голубых трусах. Это были обыкновенные советские трусы в три слоя, закрывшие всю филейную часть. Теперь настал час ора отца. Отец бесновался сутки. Выплеснув весь гнев, он утих, но каждый раз, проходя мимо картины, плевался и со словами: «Вот дура! Куриловская порода»!—сжимал кулаки. Он даже тёр разбавителем по трусам, но вместе с ними стирал и то, что они так ценили вдвоём с дядей Яшей, единственное требование которого к своей будущей невесте выражалось в том, чтобы ж… у неё была в девять кулаков. А один кулак дяди Яши… да.

Отец не мог больше видеть «веласкенку». Для него это была своего рода измена, как если бы с его подружкой переспал некий хлюст, в оплату оставив бельё. Через пару дней он сам своими руками снёс картину бог знает куда. Обиженная красавица на прощанье пообещала, что к нам больше ни ногой, ни попой. Обещанье сдержала. Эра голых закончилась. В квартире ожили копия бающих «охотников» Перова и пейзажи на тему левитанской осени. К лёгкому «ню» можно было бы отнести пару фарфоровых, саксонских тарелок с купающимися нимфами, но это была, в сущности, уже такая мелочь и мелкота, что мама, будучи по-своему к ним привязана, спокойно протирала их тряпкой, но уважать не могла.

Вытащивший меня из чёрного омута «ничто» цветной рисунок отца из жизни трёх поросят накрепко привязал меня к изображению. Я научилась смотреть, и большая память на всю жизнь больше не оставляла меня. Мне повезло, что она стала раскрываться в Китае—стране удивительных ремёсел, отчаянных красок, великих запахов. Память распускалась, как большой белый лотос, раскрывающийся на глазах влажно-глянцевой красотой. Лотос был большим, не потому что я была маленькая, он и сейчас для меня огромен, этот цветок, состоящий не из обычных лепестков и тычинок, а из лепестков. Я ела их, как капусту. Мне хотелось уничтожить цветок. Зачем? В ответ на его демонстрацию, так я утверждала себя. Это было моё частное объявление—«я есть».

Я перебираюсь на кухню. На полу в связках лежат ещё тёплые, и это очень важно, что тёплые, почти живые тушки фазанов с длиннющими хвостами-сабельками, жёлтые утки с недержащейся шеей. Как ни поверни, головка всё равно ткнётся в грудку. Я устраиваюсь поудобнее на корточках и запускаю свои вымазанные красками и цветными карандашами руки под перья, ещё глубже, ещё. Я отбираю у уток их отлетающие жизни. Мне их ничуть не жалко. Они летали, чтобы попасться папе на глаза, точнее на мушку его ружья. Он любит охоты. Я сама ходила с ним на охоту.

Сначала мы шли среди сопок по траве, неожиданно отец страшно быстро вскинул вверх всё ружьё, оно ещё содрогнулось. Раздался гром и молния, и мне показалось, что прошло много времени, прежде чем откуда-то сверху почти нам под ноги шлёпнулся серенький, невзрачный мешочек. Пират не дал мне рассмотреть скрюченные лапки, остренький клювик, затянутые белёсой противностью глазки. Кажется, этот мешочек папа нарёк бекасом.

Я сижу на кухне, уже затекли коленки, но оторвать меня невозможно. Для всех я выискиваю дробинки. Я сама придумала себе это занятие. Я знаю, что сегодня вечером эти жалкие тушки, похожие на мышат, преобразятся в гордых упитанных птиц. Все будут обращаться к ним как к паштетам. Их перья будут красиво оторочены жёлтым сливочным маслом, рубиново-клюквенные круглые глазки будут сверкать, а белый ажурный бумажный хохолок,—покачиваясь, приветствовать входящих гостей. Их особенный вкус будет отмечен, а когда собравшиеся узнают, что это папа лично их приготовил, то восторгу и похвалам не будет конца. И нехорошо, если гостям попадутся дробинки. Вот какая у меня служба. Вот почему я здесь. И буду сидеть ещё очень долго, утопив крепкие пальчики в самой глубине фазаньей души.

## Глава XXIII

*Утка по-пекински*

Признаться, таких красивых мест и такой экзотики, особенно на юге Китая, в провинциях Гуанси, Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, мне не приходилось встречать. На что ни посмотришь—чудная красота. Непрерывно меняются краски окружающей природы. Вечнозелёные массивы не знают времени года. Лиственные деревья—одни справляют осень, другие—зиму, а большая часть—в весеннем наряде. А что можно сравнить со сказочной красотой прелестного Ханьчжоу, с озером Сиху, этого, в самом деле, «рая на земле»? Или взять

архитектуру древнего Пекина с его цветущими миндальными рощами, пагодами с изогнутыми крышами, с подвешенными к ним серебряными колокольчиками, при лёгком дуновении разносящими мелодические звуки небесной музыки. Или парк Ихэюань, расположенный на западной окраине Пекина, построенный императрицей Цы Си на деньги, собранные со всего Китая и предназначенные для строительства военно-морского флота. Иероглифы, начертанные на древних сосудах из бронзы, рассказывают о непревзойдённых мастерах. Райские птицы, поющие на цветущей ветке миндаля, выполненные разноцветными нитями по шёлку, покоряют всех, кто их видел.

В произведениях китайских умельцев заложены бесконечная любовь ко всему, что окружает человека, — это и горы, и реки, и медлительные буйволы, и крабы на дне моря, и лотосы на озёрах, и рощи бамбука, кузнечики, сверчки и стрекозы …

В 50-е годы в Пекине я побывал в гостях у знаменитого художника Ци Байши, ему в то время исполнилось уже девяносто лет. Как-то осенним воскресным утром я с женой и дочками навестил домик удивительного долгожителя, посвятившего всю свою жизнь любимому ремеслу художника. Меня поразили его глаза — ласковые и добрые, которые просвечивали тебя насквозь, его тонкие длинные заострённые пальцы. В его руках с изящной лёгкостью — а он рисовал в нашем присутствии — зарождались удивительные по своей красоте линии, переходящие в образы извивающихся рыб, то быстрых и стремительных в своих рывках, то неподвижных — на дне. Под лёгкими ударами кисти возникал на глазах мчащийся во весь опор молоденький жеребёнок с развевающимися на ветру хвостом и гривой. Казалось, будто слышишь его игривое ржание, зовущее мать. А какие чудные цветы — хризантемы, георгины, ирисы, мимозы, глицинии, японские магнолии. Сидящие в листве или летящие птицы с белыми брюшками и блестящей голубой грудкой. Всё писалось на листах белой бумаги в две-три краски китайской тушью и потом развешивалось по стенам его небольшой комнаты. Он показал свои работы, две из них подарил нам на память. Картины, в длину больше метра, а в ширину около 40 сантиметров, свёрнуты в свитки. Их легко хранить и переносить. Наступило время прощания. Он просил нас непременно навестить его, когда в следующий раз мы будем в Пекине. Мы, в свою очередь, пригласили его в Советский Союз, как-то оба забыв, что ему уже за девяносто лет. Мы вышли на улицу в сумерках. Пекин обволакивала перламутровая дымка. Говорить не хотелось, перед глазами ещё долго проплывали живописные пейзажи чудного художника.

История пекинской утки относится к маньчжурской династии Цин. В свою третью командировку в Китай в 1950 г. я был приглашён тогдашним премьером Государственного Совета КНР Чжоу Эньлаем на пекинскую утку. Ресторан «Пекинская утка», которому в том году как раз исполнялось шестьсот лет, находился в самом центре Пекина, в старинной его части. Обычное закрытое четырёхэтажное здание с внутренним двориком, вход в который через калитку с улицы. Нам пришлось оставить свой «Форд» за несколько метров. Как только мы вошли во внутренний двор, служитель в чёрном халате дал знак всем присутствующим, в том числе и хозяину, что появились новые гости. Весть о нашем прибытии подхватилась всем обслуживающим персоналом и перекатом повторилась во дворе, на террасах и в залах. Вход устроен так, что посетители обязательно проходят коридором через кухню, где на длинных жердях висят потрошёные нежно-кремовые утки, особой пекинской породы, весом в 3–4 килограмма каждая, смахивающие более на поросят, нежели на своих собратьев — уток. После того как гость выберет понравившуюся ему утку, ей на шею надевают брелок с фамилией заказчика. Помощник повара, выбегая во двор, торжественно демонстрирует её гостям: «Смотрите, какую жирную большую утку выбрал гость! Мы сейчас начнём её готовить». Все охотно слушают, кивают и хвалят знатных гостей. Потрошат птицу через гузку, вытаскивая все внутренности, а потом затыкают отверстие специальной затычкой из пальмового дерева. Через горло вливают воду и помещают в вертикальную печь, где горят пальмовые дрова.

Ресторан «Пекинская утка» своими балконами и террасами выходит во внутренний двор. На балконах, отгороженных друг от друга деревянной перегородкой, стоят столы на восемь — двенадцать человек. Всё, что делается внизу: кто входит, уходит и кто заказал какую утку — за всем можно наблюдать с балкона. Нам предложили самое почётное место на третьем этаже. Пока утка готовилась — а это не менее двух часов, к столу подали печёнку и пупочки. Из выпивки мы заказали коньяк высшей марки и шанхайское пиво. Китайцы пили подогретую рисовую водку. В нашей компании был Чжоу Эньлай, начальник генштаба, личный переводчик Мао Цзэдуна, я, наш военный атташе и командующий ВВС Китая. За разговорами не заметили, как прошло два часа. Вдруг поднялся сильный шум. На манер, как раньше наши часовые перекликались ночью: «Слушай, слушай!» — начиная от кухни по коридору, во дворе, на первом, втором этажах и выше нарастающим гулом приближался крик. Как объяснил переводчик, так дают всем знать, что заказанная таким-то утка готова. «Смотрите, какая она аппетитная и прекрасная»!

Под перекатывающееся многоголосье долгожданное блюдо наконец добралось до нашего третьего этажа и было торжественно водружено на стол. Рядом поставили столик для разделки. Мы долго любовались кулинарным чудом. Пекинская утка, надо сказать, действительно смотрелась знатно — вся поджаристая, золотистая корочка отсвечивала янтарём, как полированный ноготок красавицы. А какой шёл аромат — всех восточных пряностей разом. После церемонии любования и выпитого в её честь шанхайского пива старший повар ножом, острым, как бритва, начал срезать с неё тончайшие хрустящие корочки и по сигналу хозяина подносить самому почётному гостю, которым оказался я. И пока я не снял пробу,

и не воздал хвалу в честь великих мастеров кулинаров и не наградил подарком повара, о чём мне заранее подсказал переводчик (спасибо ему), никто не прикоснулся к своей порции. Разделка продолжалась около часа, а возможно, и больше. Вслед за кожицей шло нежнейшие филе из грудки, крылышек, ножек и так до самого копчика. Под каждую порцию произносился тост. Копчик подносился отдельно с обязательным ответным словом с долей юмора. Когда разделка завершилась, повар унёс скелет утки на кухню. Продолжая вести беседу, я уже собрался встать и поблагодарить гостеприимных хозяев за обильное угощение, как вновь появился повар с большой чашей бульона, сваренного из костей кремовой красавицы и заправленного китайской капустой. Я был сыт, но меня попросили только попробовать. Я попробовал и попросил ещё добавки, настолько это было вкусно. После двух пиал горячего бульона мой хмель, как пробка, вылетел из головы. Я почувствовал себя необыкновенно бодрым, и стало даже немного жаль, что всё уже кончилось…

Мама часто не выходила в столовую, потому что её тошнило от всех китайских запахов, и особенно от масла, на котором готовил для нас личный повар Мао Цзэдуна. В Китае была такая долгая еда — наверное, носили перемены из ста блюд, — что мне случалось по нескольку раз сползать под стол в поисках разнообразия. Тем временем отец ловко вырезал для меня из апельсина корзиночку-гондолку, наполняя её партией оранжевых братцев-полумесяцев. Размещаясь, дольки теснили друг друга, как парашютисты-десантники перед прыжком. Прямые стрелки зелёного лука он отправлял в рот, чтобы, распушив их внутри языком, вынуть пучком распускающегося салюта, яблоки нарезал звёздами. Похваливая еду, он передавал мне на пробу кусочки жареного бамбука, одновременно приговаривая присказку, вероятно, из своего детства: «Эх, сладки гусиные лапки, а ты их едал? Нет, не едал, мой батя видал, как барин едал».

После обеда привозили фильмы. Солдат долго хлопотал над установкой, заряжая её большой бобиной. Я и Лена, оттесняя друг друга, таскали стулья, устраивая их поближе к белой простыне экрана. Вначале — треск, какие-то белые росчерки, кляксы. Наконец перекошенная лента устанавливается в положенных рамках, и сразу — музыка и всё цветное. Вот оно — счастье. Надпись славянской вязью — «Сказка про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку». Не было случая, чтобы после окончания просмотра мы не выпросили повторить всё по второму, а то и по третьему разу. Из любимых мультиков почётное место занимал «Аленький цветочек». Интересно, что заколдованное чудище меня совершенно не волновало, зачем и как оно лежит на пригорке и ждёт припоздавшуюся Настеньку. Все мои симпатии предназначались, конечно же, батюшке, так ответственно разыскивающему по всему белому свету аленький цветочек. Очень славно смотрелся замечательный грузинский мультфильм про непослушного бобрёнка Чуку, не слушавшего взрослых и попавшего в беду. Из жизни леса — про быструю куницу? опасную для бельчат. Из взрослых фильмов — «Охотники за каучуком». Под холодящий перестук тяжёлых барабанов местное африканское племя, выкрикивая на все голоса: «Донолондос идёт! Донолондос идёт!» — проводило зачистку джунглей.

Не знаю, отрицательный или положительный персонаж был тот самый Донолондос, но эффект своим появлением производил огромный. Больше из этого фильма ничего не помню, но зато до дыр и по кадрам — свою первую любовь — Серёжу Гурзо в фильмах «Застава в горах» и «Смелые люди». Какая всё-таки клуша эта жена начальника заставы. Не хотела поливать цветы. Впрочем, я бы тоже не стала возиться с горшками. Другое дело вскочить на Орлика и в один скок перемахнуть через ручей. О, сладкое кино.

Вообще? я долгое время оставалась таким звёрёнышем, вырывающимся из чьих-то взрослых рук — крепким, весёлым, но порой и опасным. Конечно, больше всего доставалось моей двойняшке Лене. Однажды я загнала её шваброй под кровать и продержала там довольно долгое время. Возвратившуюся маму встретил из-под кровати неутешный рёв. Меня в наказание лишили новой книжки и права фотографироваться. Что было даже очень хорошо. Фотографировать нас поминутно было семейной страстью. Помню, как я отбрыкивалась от наведённого фотоаппарата. В первом классе я укусила сестру за спину за то, что она попросила у меня синий карандаш. Она говорит, что это был просто зверский укус в позвоночник. В другой раз мама застала меня на улице перед нашим подъездом, сидящей в сугробе снега.

— Доченька, что ты тут делаешь? — осведомилась мама.

— Я ушла из дома навсегда!

— Но почему? (Вытаскивая меня из сугроба).

— Потому что там — противная Ленка.

Тучи рассеивались быстро. Ненависть отпускала, и опять можно возиться, хохотать. Хохотали мы, как сумасшедшие. Мама даже серьёзно подумывала над тем, чтобы показать нас врачу. Через определённое время Ленка становилась опять невыносимой и закусить ей плечо было просто необходимо. Когда к противности примешивалась ревность, переживания становились ещё острее. Как-то соседский мальчик по площадке передал сестре самую настоящую записку, в которой было выведено печатными буквами: «Лена, я тыбя лублу». Помню, что записка эта мне ужасно чем-то не понравилась. Это был реванш за прошлый сезон, когда я на даче, пятилетняя барышня, стоя у забора, ворковала о чём-то с чужим мальчиком. На что Елена, сверля нас глазами и терпя какое-то время, в конце концов не выдержав, закричала: «Натаска, дула! Заклой калитку, стобы мухи во двол не летели!»

Но не всё всегда обстояло так страшно весело, когда, сильно закрутившись вокруг себя, хохоча, падаешь на упругий диван. На таком медленном отрезке пути к… «уже такая большая девочка» случались разочарования, слёзы — и из-за него, главного мужчины в нашей семье.

Мне была обещана скрипка не только мамой, но и папой, настоящая, в чёрном футляре с бархатной красной подкладкой, если я напишу строчку ровных палочек в тетради для прописей. Мне очень хотелось скрипку. Боюсь, что из-за её особенной красоты, которую не сумею объяснить и сегодня. Я усердствовала, высунув кончик языка, представляя, как стану водить смычком на зависть сестре на очередном домашнем концерте. В конце концов я написала не одну строчку, я исписала несколько тетрадей, но своего инструмента так и не дождалась. На моё недоуменное «где же скрипка?»—меня снова отсылали к палочкам, якобы они не идеально ровные. Действительно, на странице две или три из них обязательно накренялись, а то и заваливались одна на другую. Всегда можно обнаружить изъян в таком ремесле, как чистописание. Я трудилась, как китайский кули, совершенствуя палочки. У меня выработалась твёрдая рука, за которую впоследствии в школе меня всегда отбирали в команду рисовать стенгазету, но в том далёком детстве моей мечте не суждено было сбыться. «Странно,—делилась я с мишкой, выправляя ему перед сном на подушке его отлежавшую лапу,—папа ведь обещал?.»

Другое событие, драматическое, потрясшее мою душу, сильнее, чем Эрос потрясёт дубы, также произошло в Китае. В один прекрасный (в кавычках) день самые большие часы в нашей гостиной с длинными цепями и тусклыми цилиндрами отказались говорить своё громкое: «Бом! Бом!». И?! Обвинили в этом почему-то меня. Наверное, мой цветущий вид убедил всех, что я в состоянии вынести самую тяжёлую каторгу. Меня поставили на табурет и учинили самый настоящий маленький сталинский суд. И председателем суда был папа! Он требовал от подозреваемой окончательного признания своей вины. Как и большинство подозреваемых, я покрылась красными пятнами. Я смотрела на напольные часы почти с ненавистью. В одночасье они стали моими главными врагами. Присяжные заседатели, мама и Лена, уговаривали меня признаться. Все хотели, чтобы я призналась и как можно скорее. И—меня простят. Убеждённость той стороны в моей вине была настолько сильной, что на какую-то долю секунды я сама засомневалась: а может, я действительно каким-то неведомым для себя образом навредила тем гадким часам, перекрутив их стрелки-усы во все стороны. Суд вершился. Председатель требовал строгого наказания. Я ревела на табурете, не признавая вины. В то время я ещё не знала сложного выражения «презумпция невиновности». Заседание зашло в тупик. Меня отпустили, наверное, на поруки. Мама сняла меня с табурета, так как пришёл час обеда… «Но, папа? Папа? Как он мог?» С этим надо было как-то жить. И любившая скорость во всём и знавшая сердцем, что папу разлюбить невозможно, я остановилась на том, что «любовь всё прощает», но пьесу «Без вины виноватая» запомнила навсегда.

Китайским шёлком струились дни. Мы подрастали, наступала пора «серьёзно», с маминых слов, думать о школе. Моя сестра Лена уже освоила в букваре букву Л. Дух первенства и старшинства подстёгивал. Подхватив плюшевого друга за заднюю лапу, с букварём под мышкой я удаляюсь вместе с ним в кружевную беседку складывать слоги, а затем и слова на букву Л и, может, до прогулки ещё добраться и до буквы Н. Мы с мишкой стараемся. И вот я уже читаю свою первую книжку-раскладушку: «…яйцо в траве находят редко, раз есть яйцо, нужна наседка. Наседка в страхе чуть жива. Я—не цыплёнок, я—сова».

В конце лета тем же зелёным вагоном мы возвращаемся в Москву. Страшно вымолвить, мы везём с собой контрабанду: дюжину голубеньких, жёлтеньких попугайчиков из Китая. Ценящий более всего для себя и других свободу, папа тотчас выпускает их в купе на полёты. Для своей посадочной полосы птахи тут же наметили верхнюю жёрдочку на окне с занавесками, на которой и перемещались большей частью, перелетая иногда на верхнюю полку и даже опускаясь на папину голову. Пообедав, накрошив кругом пшённых крупинок, попугайчики проходили клювиком по длинным пёрышкам. И, конечно, тренькали свои звонкие песенки. Наблюдать за ними было очень интересно.

Перед таможней попугайчиков попрятали под сиденья. Папа сказал, что попугайчики должны молчать. Если их, не дай бог, услышат, то тотчас конфискуют. Объясняю для мишки: «Унесут за тёмные леса, за высокие горы от нас навсегда». Когда поезд встал на границе для проверки документов и багажа, сердце моё забилось в оглушительной тишине. Про себя я умоляла попугайчиков молчать и не чирикать свои глупости. И они молчали и вместе с нами благополучно пересекли границу нашей необъятной страны. И снова сидели на занавесках и чистили свои, как мне представлялось, и так не чумазые пёрышки. У папы почему-то всегда получалось всё именно так, как он этого хотел.

В последние дни перед школой мы в уютных двориках Хорошёвки на газонах и в клумбах зарывали «секреты». Набирались осколышки цветных стёкол, из них, а также из лепестков цветов и травинок на дно неглубокой ямки выкладывался узор. Сверху всё это плотно прикрывалось куском стекла, присыпалось землёй, а для памяти втыкалась веточка или другой опознавательный знак. Часто мальчишки их разоряли. Нам никогда не удавалось выгуляться вполне. Не проходило и получаса, как мама призывала нас домой. Дома нас переодевали в чистые платьица, перечёсывали, меняли атласные бантики, башмачки, нагружали носовыми платочками и выпускали снова. И так по пять раз на день. Вскоре нас с сестрой задразнили. Помню, что я наотрез отказалась переодеваться. То был первый бунт, и пошла полоса—всё поперёк. Специально ходила Стёпкой-растрёпкой. Такое сильное открылось во мне сопротивление всему маминому, женскому,—причёсанному, отглаженному, с крылышками и вышивкой.

В школе мои первые ручки для письма—деревянные со стальными перьями—были не просто обкусаны по краям, а съедены на две трети. Кляксы

в тетрадях разливались глубиной с Байкал и шириной в Тихий океан. Смятая коричневая атласная верёвочка в узлах болталась в конце расплетённой косы. Уже в пионерах на шее криво висел красный галстук, разодранный на полоски, мятый, в чернилах и без краёв, а потом совсем исчез.

## Глава XXIV
*Ёлки*

О, Господи-и! Когда же закончится этот невозможный урок? Хорошо, что он—последний. Ну ничего, скоро вообще Новый год, привезут ёлку. И школе этой перепадёт. Дня через два-три отец отдаст приказ доставить в актовый зал самую высокую красавицу из лесного бора. Отец в уральских лесах—главный. Той же машиной другое, поменьше, но тоже под потолок, прекрасно-пахучее дерево выгрузят у нас дома.

Я уже привыкла на уроках улетать мыслями подальше от коричневой доски с указкой, длинным носом принюхивающейся к аппетитному беленькому кусочку мела. Подальше, подальше. Так, по какому маршруту сегодня стартуем? Ну конечно, на Новый год.

Прежде всего следует ещё раз провести осмотр игрушек, что хранятся на нашем чердаке. Первое. Картонный кот в сапогах, склеенный из двух трафаретных половинок и раскрашенный: сапоги—красной краской, шляпа—серебряной, с зелёной лентой вокруг, очень симпатичный. Удалого кота повесим на виду. Могучий гриб на толстой ножке под коричневой шляпкой не потеряется и так. Гирлянды бумажных флажков пойдут на нижние ветви. Блестящий паяц из замороженной ваты—в центре. Из того же снежного вещества клоун лапками в разные стороны—посередине. Шишки—повыше к верхушке, поближе к звезде. Бусы распутает Елена. Старую, облезшую морковь спрятать сзади. Ещё один кот в сапогах, этот ботфортом крепится на прищепке им хорошо закрыть просвет между веток. Шары пусть крутятся в штопоре, где хотят. Ой, как же я забыла о китайских восковых масках? Краски на них так и горят. Глаза выпученные. Борода и усы из шёлка. Всё же кто это такие? Пока не догадалась. В Китае ёлка была не такая высокая, как здесь, но зато в её основании, в царстве колючих иголок, разместился самый настоящий дворец, который папа сооружал всю ночь накануне. В ночь перед Новым годом (что за глупость болеть на Новый год) из-за высокой температуры я никак не могла заснуть и долго наблюдала в дверную щель детской, как отец вырезал окна в картонных стенах дворца, расставляя игрушечную мебель в его внутренних комнатках. Да, уральские ели—совсем другие. В их ветвях, если захочет, сможет спрятаться настоящая рысь. Вчера во дворе девочки рассказывали, как на одну женщину сзади, на воротник, прыгнула рысь и перекусила ей шею. Неожиданный резкий звонок прерывает моё барражирование. Ура! Можно выбираться из-за парты.

Придерживая рукой через карман школьного фартука оторвавшуюся от лифчика резинку вместе с чулком и потому неуклюже заваливаясь влево, спускаюсь с лестницы. Ну вот, опять! Около раздевалки—нянька с ворохом тёплой одежды на руках. Ненавижу. Мама специально послала её с тем, чтобы нас утеплять. Это всё Китай с его двухсторонним воспалением лёгких у меня и у Ленки. А мы всего-то играли в геологов и скалолазов, закапываясь и катаясь по краям небольшой песчаной ямы около дома. Ну и плакала тогда мама. Папа подарил ей, чтобы не ревела, три нитки белеющего жемчуга, смахивающего на мои молочные зубы. Только если папа откроет дверь, можно расстаться с зубом-жемчужиной, привязанным за верёвочку к дверной ручке.

Глупая мама боится с тех пор простуд, а нам отдувайся. Сейчас нянька натянет на наши школьные формы шерстяные кофты, сверху платок, на сползший чулок—лохматые рейтузы, в рукавах свисают варежки на атласных ленточках. Поверх шубы обвяжет вязаной шалью. Это даже и не шаль, а огромное полотнище—транспарант. Сначала—туго на голову, чтобы закрыть лоб, потом перехватит под подбородком крест-накрест и завяжет всё это под мышками. Ещё специально грубо подтянет верх на рот и нос. Остаются только щёлочки для глаз, чтобы смотреть, как в амбразуру. Наконец совершенными кубышками выбираемся на крыльцо школы. Скорее в сторону, подальше от насмешливых взглядов и хихиканий противных одноклассников. Все противные—школа, учителя, класс, Ленка. Всё, завтра ноги моей не будет в этой школе, средней, для мальчиков и девочек.

На крыльце—солнце наияркайшее. С крыш—сосульки тяжёлыми опрокинутыми коронами. Вот где царство для лизания. Первым делом, освобождаясь от варежек позади няньки, ухитряюсь отодрать мокрой красной рукой толстый кусок сосульки от края водосточной трубы. Пару раз лизнуть—непременно. Чем дальше от школы, тем настроение всё лучше и лучше. Шаг переходит на подпрыгивание. Быстрей, быстрей.

Новый год уже на носу. Дома должны уже быть припрятаны подарки от так называемого Деда Мороза. Сегодня представляется как раз удобный случай их отыскать. Вечером мама и папа уходят в театр. После их ухода мы с сестрой сразу и возьмёмся. А пока дел и так хватает. После обеда бегом в нашу детскую. Первое задание—забраться на гардероб и оттуда прыгнуть на кровать. Залезть наверх просто: подставить стул, с него—на низкий комод, а оттуда—на крышу гардероба. Глянуть вниз—боязно, но так и должно дух захватывать. На свою кровать прыгать просто, она—сразу под гардеробом. Кровать сестры—на противоположной стороне. На неё—далековато, но зато интереснее. Прыг, прыг… после двадцати раз надоедает. С прыжками на сегодня достаточно. Теперь переходим в кавалерию. Оседлать на кровати подушку. Передний угол—грива скакуна. Задний угол—хвост. Движение—качалка: вперёд-назад, вперёд-назад. «Мы красные кавалеристы, и про нас…» Проскакали вёрст сорок, но азарта не хватает. Подушки мягкие и ленивые. Интереснее будет оседлать Ленку. Правда, на ней далеко не ускачешь.

Что и говорить, я — тяжеловата. Я даже о-го-го какая тяжёлая. Ладно, пускай она на мне едет. Кавалерист-девица забирается мне на спину. Я стараюсь. Прыг-скок, галопом по коридору — туда и обратно. Вдруг, неожиданно, всадница с истошным визгом «мышь!» заваливается на бок, но слезть совсем не может, в чём-то запуталась. Мы валимся в коридоре обе.

— Ленка! Дура! Слезай!

— Не могу.

— Слезай, тебе говорят!

— Не могу.

Смех. Грохот. Кажется, у меня что-то мокрое вокруг шеи, не хватало, чтобы она описалась!..

— Какая мышь? Где мышь? Ты, что, дура, с ума сошла?

— Да мне показалось.

— Показалось. Показалось. Сейчас мама придёт.

Осторожно заглядываю в мамину спальню. Как она там вообще? Мама, перед зеркалом, напевая, что-то неспешно перебирает в своей трёхэтажной перламутровой китайской шкатулке. Что ей? Зачем? Что может ещё украсить её немыслимую красоту? Папа ещё не вернулся с работы. Скорей всего, он подъедет на большой чёрной служебной машине, и они сразу поедут в театр. Спев с чувством несколько раз «Голубку», мама переходит на «Гуцулку Ксению».

Гуцулка Ксения, я тебе на трембите
Лишь одной в целом свете расскажу про любовь.
Только лето наступило — полюбил другую милый,
А с гуцулкой синеокой распростился навсегда.
Гуцулка Ксения, я тебе на трембите
Лишь одной в целом свете…

Время ещё есть. Буду пока читать. Книжка захватывающая. Называется «Листы каменной книги». После «Принца и нищего» по любви, пожалуй, на втором месте. Герой, почти Маугли, из древнего племени, всё умеет делать сам: шить одежду из шкур бизонов, готовить еду, охотиться — а ещё борется против маленького, злого местного колдуна. Очень интересно. Кое-что надо будет особенно продумать. Значит так, если я окажусь среди бизонов, то из их костей можно будет сделать иголку и рыболовный крючок.

Смеркается. Входит мама с напутствием перед театром. Боже, как она прекрасна! На ней — переливающееся, обтягивающее серо-жемчужное платье. От груди до бедра серебряным шнуром выложен умопомрачительный крендель-вензель. Это платье ещё из Китая. Я знаю. Оттуда же и два дивных халата. Один — совершенно белый. Другой — абсолютно чёрный, из блестящего шёлка, с ослепительными вышивками из жизни упитанных драконов немыслимой яркости и красоты. А ещё, ещё: Ну, вот это уж непременно! Как только они с папой уйдут в театр, перед поиском подарков надо будет примерить одно мамино вечернее платье. Моё любимое. Отчаянно чёрное из хрумчатого тяжёлого на ощупь шёлка. В тканях я разбираюсь ещё с Китая.

Когда мама жила в Аньдуне вместе с нами заграничной жизнью, в распорядок её дня входило посещение ателье. Случалось, что мы оставались ждать её в машине. Через пару минут вокруг авто скапливалась большая группа любопытствующих. Все в одинаковых тёмно-синих штанах и ватных кофтах, они залепляли стёкла нашей «Победы», как пчёлы соты.

Надо отметить, что взирал на нас китайский народец совершенно бесстрастно, как если бы они наблюдали за ночной жизнью тушканчиков или мышей-полёвок. Они не переговаривались, ничего не обсуждали. Их любопытство было тихим. Тишина пугала. Потихоньку всхлипывая, мы начинали размазывать слёзы от круглых глаз к таким же круглым щекам. Чтобы не оставлять нас в машине на просмотр товарищам с узкими глазами, было решено, что мы будем ждать маму в ателье, в холле. Портной с ворохом платьев направляется к примерочной. Высокий китаец с длинным метром вокруг шеи подолгу не выпускал маму из кабинки. Наверное, он был в неё влюблён, хи-хи, что и неудивительно. Даже если сам папа часто прерывал собрания в честь Вооружённых сил, чтобы не оставлять её долго одну. Мы сидели в зрительном зале, а он в президиуме. Выступая, он смотрел только на маму и часто сворачивал текст, чтобы не оставлять свою Томочку лишний раз на погляд братьям по оружию и партнёрам по бильярду.

Симпатичный портной раскладывал перед нами на низком столике гору лоскутков. Это — для нас, для наших кукол. Чтобы неспешно и с толком ими любоваться, вначале их надо поделить по-честному. Делёж начинался на счёт три. Раз. Два… уже к этому моменту, прицелившись глазом, я выбирала лоскуток поближе к сестре, на который надо броситься через секунду. Три! Животом, головой, руками я бросаюсь на высмотренную цель. Всё. Никакие переигрыши не принимаются. Две трети сокровищ — мои. Теперь можно предаться созерцанию. О, какие сокровища эти лоскутки, эти тёмно-фиолетовые панбархатные островки с фрагментами бархатистых хризантем, тяжёлые, вышитые бисером воротнички и манжеты, скользкий креп-сатин и нежно-шершавый креп-жоржет, невесомые, нежнейших цветов батистовые, шёлковые лепестки…

Мамино главное австрийско-германское платье в пол, в придачу — великолепный веер из длинных чёрных страусовых перьев. Да, это вам не мятый форменный фартук в чернильных заливах. Вся корсетная часть платья — от волнистой линии на груди до талии — вышита блестящим стеклярусом. Верх, матово просвечивая, закрывает чёрный полупрозрачный гипюр. Юбка невероятным кроем при каждом шаге открывает всё новые фалды. В руках — ленивые перья. Полуприкрыв ими лукавую улыбку, можно бросать томные взгляды в сторону мальчика, старательно орудующего костяной иголкой над оторвавшейся резинкой. Я долго фланирую в мечтаниях по квартире, оттаптывая высокими каблуками нежный подол. Что-то где-то уже надорвалось. Время летит незаметно. Лена, скучая, тянет искать подарки.

Ладно, снимаю платье. Подарки какого-то там Деда Мороза. Где они? Вперёд! В мамину спальню.

Окидываю взглядом диспозицию. Широкая постель. С тёмной полосой на бронзовом изголовье — отметина после пожара. Так, под матрасами — нет. В тумбочках — нет. В гардеробе — нет. Интересно. Так, так. А на гардеробе? Высоковат, однако.

— Лен, помогай! Подвигай тумбочку, на неё — стул. Поддерживай крепче пирамиду, чтобы не развалилась. Эх, высоковато.

Из последних сил подтягиваюсь. Отлично. Удалось, я — наверху. Вот они — подарки двумя горками, всё одинаковое, чтобы не ссориться: пижамы, цветные карандаши, альбомы для рисования. Сбрасываю всё сестре, чтобы быстрее посмотрела. Сама сижу на гардеробе. Настроение как-то сразу упало. Почему-то грустно. И Новый год больше не интересен. Неожиданно громкий звонок в дверь. Неужели родители вернулись так быстро?

— Давай подарки наверх, скорей. Убирай стул.

Я в спешке лечу с гардероба на семейную кровать. Что-то подвернула, где-то ушибла. Ладно, потом. Грусть и разочарование не оставляют. Пора идти спать.

Только бы завтра с утра загудела сирена. Это значит, что по прогнозу — сильные морозы и в школу можно не идти. Не помню, как сестра, но я никогда не делала домашние задания. Никогда. Стоило нас определить в школу, как отец тут же получал очередное назначение и мы переезжали на новое место. «По горам, по долам, по морям, по волнам». Новое место, новый гарнизон, новый аэродром, новая школа.

Первого сентября в первый класс мы торжественно поднялись на крыльцо московской школы, но в том же году зимовали на Кольском полуострове, в Кандалакше. Ездили с отцом на охоту на больших птиц и на озеро, где на коротенькую палочку, макая её в круглую лужу, я неожиданно для себя вытянула какую-то рыбу, наверное, щуку из «Емелиной» сказки. Потом за тем же ведущим перелетели в Свердловск, в котором сменили две школы. Оттуда — снова в Москву. Отец учился в академии, а мы, разместившись на постой в гостинице Советской армии, что напротив Уголка Дурова, ходили в школу за углом. Когда перешли в четвёртый класс, жили уже в монинском подмосковном гарнизоне авиаторов. Школы, классы нужны для того, чтобы из них уходить, переезжая на новые места, — так, вероятно, записалось в моём подсознании. Зачем же тогда домашние задания?

Я также хорошо знала, что если завтра не услышу сирену, то в школу всё равно не пойду. Среди ночи меня неожиданно будит медвежий рёв: «Эй, баргузин, пошевеливай ва-ал!!!» Я не успеваю особенно опешить, быстро смекнув, что это отец, как обычно, привёз актёров после спектакля к нам отужинать. Ну и голосина! С восхищением в адрес столь могучего баса, засыпаю снова.

В Свердловске в те годы существовал замечательный театр оперетты. Каждое воскресенье на утренние представления, чаще с мамой, ибо отец был занят и по выходным, мы отправлялись в оперетту. По нескольку раз смотрели одни и те же спектакли, но это не надоедало. Наоборот, радость увеличивалась — и оттого, что знаешь, кто следующим выпорхнет из-за кулис, и что можешь повторять за героями полюбившиеся куплеты. Ну кто мог сравниться с обаятельным одесситом Яшкой Буксиром из «Белой акации»? Почти стиляга, в башмаках на толстой подошве, с ярким платком на шее, из-за которого его, наверное, не взяли в состав престижной китобойной флотилии «Слава», он был невероятно обаятельным. И хотя его не следовало любить за тунеядство, но, по-моряцки сказать, тысяча чертей, он-то как раз и нравился, как никто другой. По секрету сказать, даже больше капитана флотилии. Когда, сложив ноги крестом в «яблочке», Яшка, покачиваясь, направлялся охмурять одесских красавиц, моё сердце в третьем ряду останавливалось:

— Ветер тучи, ветер тучи нагоняет.
— Ну так что же?
— Значит, дождь пойдёт сейчас.
— Да, возможно, значит, многое бывает
По причине, не зависящей от нас.
— Кое-что, конечно, хоть совсем немного,
Ведь с тех пор, как существует белый свет,
Всё зависит полностью от Бога,
Несмотря на то, что Бога нет…

Утром просыпаюсь от яркого света солнца. Есть ещё время поваляться в постели. Случались же в жизни порой такие замечательные дни, когда легко, почти без труда добывалось разрешение не идти в школу. Наша делегация уже у дверей родительской спальни. Приоткрыв робко дверь, я чуть впереди, сбоку Лена — мы устремляли на маму и папу такой нежно-просительный взгляд, какой мог быть только у нищенки Беранже — «Так дайте ж милостыню ей» — что с ходу получали громкое, само собой разумеющееся разрешение отца «сегодня остаться дома». А слово отца — закон. Мгновенно сменив слабую умильность на крепкий задор, мы с размаху бросались на постель. Прежде всего как не отблагодарить, как не поцеловать родного папочку за великое разрешение. Я крепко-крепко несколько раз целую его — то в жёсткую, то в гладкую щёку, в зависимости от того побрился ли он уже сегодня своей опасной бритвой. Теперь можно перелезть животом на длинные отцовы ноги, с колен на ступни, чтобы он покрутил нашими упитанными тельцами наподобие того, как бурый мишка вращает валиком в цирке… «Охохошеньки-хо-хо». Да, бывали же когда-то такие рассчастливые дни. Но сегодня отец ушёл на службу очень рано, пока мы ещё спали. Солнце светит по-праздничному, и никаких признаков сирены. Чтобы заранее избежать криков и скандала, прохожу весь обряд умывания и завтрака. Никто, даже сестра, пока ещё не догадывается, что я никуда не иду. Как быстро летит время. Скоро на выход. Наша группа в сопровождении домработницы с одеждой на руках перемещается в коридор. Ленка возится с рукавицами и шарфом. Пора.

— Наташа, одевайся! — Это уже ко мне.

Девушка торопливо теребит мою шубу, чтобы поскорее напялить всё на меня и спровадить из дома. Ей ещё мыть посуду, натирать мастикой полы. Я молчу и не двигаюсь.

— Господи, одевайся поскорее.

Я молчу.

— Господи, одевайся, поскорее. Кому говорят.

Наконец она слышит моё низкое «не буду».

— Что «не буду»?

— Одеваться.

— Почему?

— Не хочу.

— О Боже. — Нянька вдвоём с домработницей впихивают меня в шубу, нахлобучивают шапку и завязывают поверх шарфом. Тут дискантом ввинчивается Елена:

— А Наташка — дура. Одевайся. Ты что? В школу опоздаем. — Сестра переходит на крик. — Одевайся! Мама! Она не идёт в школу.

Кажется, я уже реву. В коридоре появляется мама.

— Как, опять? Наташенька, почему? Что случилось? Ты что, двойку получила? Вот Наташа (домработница) вас проводит и объяснит учительнице, что ты была больна и не выучила уроки. Давайте идите поскорее, а то опоздаете.

Алёна, совсем красная от жары и от злости, оттягивает на себе шарф.

— Опоздали же уже. Ты что, не понимаешь?

Мама старается силой вытолкнуть меня за дверь. Я ожесточённо упираюсь. Меня подталкивают сзади к двери. В ответ на этот приём я плюхаюсь животом на красную ковровую дорожку, украшение нашего длинного коридора, и намертво вцепляюсь руками в её края. Мама, обладающая природной смекалкой, тут же организует бригаду по выдворению меня в школу. Она, нянька и домработница, ухватившись вместе за передний край дорожки, отчаянно тянут меня к выходу. Их план — вытащить меня вместе с ковровой дорожкой на лестничную площадку. Удалось ли им это? Пошла ли я в тот раз в школу? Или, отчаявшись сражаться со мной, мама отпустила меня к моим «Листам каменной книги»? Сейчас уже не помню. Кажется, я почувствовала вкус к посещениям прямоугольных комнат с партами где-то в конце шестого класса. Как-то, выйдя в коридор на переменку, я неожиданно ясно увидела стройного мальчика, повернувшего ко мне своё лицо. И мне захотелось увидеть его и на следующий день.

## Глава XXV

*Гарнизон*

В 1957 году отца позвал за собой в Монинскую краснознамённую военно-воздушную академию Степан Акимович Красовский, его побратим по оружию. Гарнизон — чистый, просторный, нам нравится. На аэродромном поле много маслят, в местном лесу — фиалок. Мы перебираемся в новый финский домик со своим участком. Шум ветра в вершинах сосен — особая колыбельная, как хорошо под неё засыпать, зная, что всё обязательно будет, всё — произойдёт. Монино встретило наш клан Домом офицеров, кладбищем и катком, на котором в сумерках становилось боязно кататься, так как одной своей стороной он упирался в высокую стену тёмного ельника.

Отец, в свою очередь, удивил подмосковный гарнизон беседкой, выкрасив её на китайский манер. Каждый дециметр на балясинах беседки он записал образцами орнаментов памятных ему восточных провинций. Переливаясь всеми цветами радуги, у нас на участке водрузился шанхайско-шамаханский дворец. У калитки собирались самодеятельные экскурсии.

Как непросто сидеть с мамой на веранде. Всё-то она на нас смотрит с намерением что-то в нас улучшить. Просто ужас, сколько раз можно трогать нас руками, а ещё эти бесконечные поцелуи. Скорей бы пришёл папа и мы бы прошлись до ужина к Дому офицеров. Все самые уставшие и грустные полковники преображаются, когда встречаются с нами на кленовых аллеях гарнизона. Они моментально подтягиваются, на их лицах расцветают улыбки, а удаляясь при прощании, оборачиваются и приветливо машут нам вслед рукой. Интересно, что такого необыкновенного и волшебного отец им говорит. Я придвигаюсь поближе послушать. «Э, генацвале, дорогой! Не грусти! Заходи к нам через час, когда стемнеет. Вино будет! Шашлык будет! Всё будет, кацо!»

В Доме офицеров по вечерам крутили кино, и два раза в неделю я отправлялась туда с папкой для нот на уроки музыки. Урок только начался. «Неаполитанский танец Чайковского» в моём тренькающем исполнении внезапно прерывается холодящим звоном медных тарелок и редкими гулкими ударами в барабан. Это — похороны. Окна нашего класса как раз выходят на дорогу, ведущую к гарнизонному кладбищу. Хоронят здесь часто. Но сегодня на дороге — нечто сверхобычное. Не одна машина с гробом, а целых три, одна в хвост другой, медленно поворачивают от ДКА в сторону леса. Училки-музычки из соседних классов, сгрудившись у нашего окна, вслух обсуждают событие, приведшее к столь трагическому исходу. Накануне трое солдат отравились метиловым спиртом. Сначала все они ослепли, а потом умерли. Я внимательно прислушиваюсь. Надо будет запомнить это название — «метиловый спирт» — и никогда его не покупать. Наконец грустная процессия скрывается из вида. Можно продолжать урок, но похоронный марш великого польского композитора придавил моих весёленьких итальянцев и, поперхнувшись кастаньетами, они умолкли навсегда.

— Наташа, когда же ты выучишь эту вещь? Дома надо заниматься.

Я заодно с учительницей, меня тоже устраивает «дома». Дома, рядом с весёлой беседкой, я напрасно стараюсь притормозить нашу сибирскую лайку Линду с хвостом-бубликом, прихватывая её за спину. Глупая она, мотается по двору и никак не даёт себя погладить. Отец с полным ведром воды устремляется к низенькому саженцу. Деревце объявляется райским. И через пару сезонов мы уже лакомимся вареньем из маленьких китайских яблочек, действительно райским на вкус.

То, что он — наследник пары каштанов, некоторым образом сказывалось. Отец любил землю, любил в ней копаться. Она тянула его к себе. Много позже, без надела, в Москве, каждую весну им торжественно высаживались в двух узких балконных ящиках то вьющаяся лоза дикого винограда, то тифлисские травки: тархун, цицмата — то розы, грунт для которых, морские камушки, он привозил с сочинских или феодосийских пляжей. Сразу после освобождения Крыма местная власть на горячей волне благодарности предлагала ему отстроить дачу с бельведером в красивейшем уголке Тавриды, где он сам выберет по душе. А позже начальник Феодосийского Охо, соратник и военный дружок, обещал помощь в строительстве дома в Коктебеле совсем за никакие деньги.

Но на всю недвижимость он неизменно отмахивал рукой, потому что, где же у неё, недвижимости-голубки, хвост и крылья? И как его дача будет планировать на закате? Кто-нибудь может ему объяснить? Ну, по крайней мере, хотя бы у неё были шасси, чтобы повыруливать по участку. А раз нет, то и говорить нечего. И поехали, милый друг, первый секретарь, лучше прямо сейчас в лес, в поле, на озеро, погулять, «серых уток пострелять, руку правую потешить», и лучше всего на бомбардировщике.

С отцом связано всё, что вверх. Он отрывает меня от земли, подбрасывает, сажает на плечи и несёт в потоке марширующих праздничных колонн. Ещё выше, над моей головой, пляшет воздушный шарик и красный флажок. «Впереди бежит дорога. Приключений очень много. Это очень хорошо, даже очень хорошо!» На всю жизнь от отца перешло ко мне удовольствие от чувства движения и чувства свободы. Передвигались мы большей частью всё-таки на машинах. Часто на самолётах, много пешком, иногда даже на катерах и кораблях. Я рано получила права. В свои неполные три года я уже сидела за рулём. Моя первая педальная трофейная красавица, жёлтая с синим, глядит на меня с цветной увеличенной фотографии. Если бы не снимок, я бы и не знала, что у меня был свой автомобиль. Я — за рулём. На заднем сидении — Леночка. О, моя милая сестричка! Неужели я была до такой степени несправедлива, что ни разу не пустила тебя на переднее место. Но пора трогаться в путь. Ножки, обутые в крошечные сандалики, в белых носочках, крепко упёршись в педали, поочерёдно толкают их вперёд-назад, вперёд-назад. Кажется, поехали. Ура! Мы едем! «Мы едем, едем, едем в далёкие края, весёлые соседи, хорошие друзья. Тра-та-та. Тра-та-та» Мы наезжаем на клумбу и опрокидываемся.

Хорошо на виллисах объезжать пологие китайские сопки.

Замечательно подпрыгивать на газиках по уральским лесным дорогам на вылазки по грибы. Чудесно ночью крымским серпантином спускаться с высокого перевала. Совсем отлично в чёрной блестящей «Волге», которую отец доверху набил моими восторженными одноклассниками, в большой праздник подъезжать к Центральному телеграфу, чтобы поглядеть на первые движущиеся иллюминационные картинки, а оттуда — под гирлянды Арбата. Мне представляется, что и читать я научилась из окошка «Победы», складывая в слоги, а потом в слова крупные буквы с вывесок магазинов.

От монинского гарнизона до Москвы — расстояние в тридцать семь километров. По этому маршруту можно расслабиться и помечтать. Я устраиваюсь поудобнее на заднем сидении, носом в окошко, ещё вся ужмусь, чтобы напоминало узкий, уютный трамвай. За сорок минут нужно успеть промечтать всё по порядку. Отец с его привычкой к небесным скоростям безмятежно гонит почти по пустой трассе. Скорость приличная, но никто из нашей семьи не тревожится, даже если ведущий — под лёгким градусом. Тьфу-тьфу он ещё ни разу не был в аварии, да и поломок почти нет. Однажды, правда, у нас увели нашу «Волгу», но и то на третий день обнаружили в соседнем переулке. Мальчишки брали покататься. Причём, когда отец утром вышел из подъезда на проспект, где он обычно её оставлял на ночь, и в то утро не увидел машину, то первым делом он почему-то присел на корточки и стал рассматривать следы от шин. Может быть, он подумал, что так он сумеет её разглядеть. Смешная история. Нет, никто из нас не боится ездить с отцом. Наоборот, это самые безопасные минуты нашей жизни. Мы — как у Христа за пазухой. Кто, как не мы, хорошо знает, что он — в фаворитах у покровителей всех земных, морских и воздушных дорог. Максимум того, что нас может ожидать, так это свисток постового за превышение скорости. Но как только блюститель порядка по удостоверению и звезде сообразит, кто перед ним, в следующий момент, откозыряв, с напутствием: «Осторожнее, товарищ генерал» — отступает в сторону, и мы очень быстро, надо признать, набираем прежнюю скорость.

Знакомый пейзаж мелькает за окном. Города-спутники наступают на Подмосковье. Что ж это я, вот уже проехали бывшее имение Салтычихи, а ещё ничего не продумано. Мне уже двенадцать лет, пора серьёзно подумать о будущем. Во-первых, когда я наконец стану жить самостоятельно, то расставлю мебель совсем не так глупо, как она устроилась в нашей квартире. Как может пианино стоять по правой стороне, так близко к окну? А ковёр вообще давно пора снять со стены. Какое мещанство. Неважно, что мама отчаянно любит Лермонтова и в его честь устроила дагестанский уголок. Нет, нет всем барокко и рококо. Наверное, у меня будет двое детей. Жаль, правда, что Марио Ланца, сыгравший и спевший великого Карузо, так рано умер. Придётся искать другого отца детям, но всё равно кровати встанут рядом, хотя можно и одну на другую, как я отметила недавно в одном польском журнале. Однако как быстро сегодня мы домчались до поворота на Сухаревскую площадь, мы почти дома.

Вместе со спокойными, гармоничными движениями вдоль дороги, по пути, по шёрстке, по судьбе порой закручивались грозные, опасные вихри поперёк. Дальний Восток. Солнечный, ветреный день в Дальнем. Сюда, по дороге из Китая

на родину, нас завезли родители на пару недель, показать нам места, где мы родились. Безбрежный сияющий синий простор. Много воздуха и много ветра. Я и Лена резвимся внутри низкой надувной лодки, а отец, плывя сбоку, катает нас, то отсылая вертлявую лоханку на волну, то закручивая её винтом вокруг собственной оси. Компания веселится вовсю. Незаметно мы отдаляемся от берега. Внезапный порыв ветра и неожиданная сила потянули нас в открытое море. Отлив. Неизвестно откуда взявшаяся великая волна с белым петушиным гребнем высоко встала перед нами. Дутое упругое корытце, привыкшее перебираться поверху, пока ещё справляется со своей задачей, но отца накрывает с головой. Он отфыркивается и из-под волны мощным посылом руки направляет лодку к берегу. Нам с Леной весело от этой игры, но уже как-то и не особенно. Внезапно я вижу, что отец перестал смеяться, и замечаю, с какой силой он толкает наше судёнышко против ветра. Отец старается изо всех сил. Но и озорной ветер ловко крутит нами. Лодку сносит в море. Мы с сестрой притихли, вцепившись в мокрые резиновые борта. Сильные порывистые волны, задумавшие разлучить наш экипаж, стремятся оттащить отца, но неизменно в два-три взмаха он настигает нас и оказывается рядом. Я смотрю только на него, на его мокрое лицо. Он вертит головой, увёртываясь от брызг и пены. Его пристальный взгляд устремлён на берег. Он страшно напряжён. Ему во что бы то ни стало надо очутиться там с нами в самое ближайшее время, и никаких других вариантов. Аллюр три креста! Мне кажется, я вижу, как из его глаз льётся мощный световой поток в направлении земли. Как будто из себя он натягивает прочнейший стальной канат и, накрепко захлестнув его морским узлом за невидимую мачту на пристани, подтягивает нас по нему к берегу ещё и ещё. Нет, он никогда не прекратит толкать лодку. Никогда. Он работает всё лучше, всё чётче и упорнее и, кажется, ветер это тоже понимает и нехотя уступает, первым бросая играть в надоевшую игру. Не знаю, как долго всё это длилось, наконец пара мощных посылов, и мы пересекаем точку возврата. Ещё одно усилие, и отец нащупывает дно. Дрожащими руками он вытаскивает наш «Варяг» на песчаный пляжик. Он тяжело дышит. Обессилевший, он рухнет на песок всего на несколько минут, потому что потом, выпустив воздух из верной резины и свернув лодку в чёрную трубу, он поведёт нас к маме, которой не было на берегу и которая ждёт нас дома к обеду.

Но, конечно, мама была намного смелее отца. Это мама, минуя все препоны, ворвалась после представления в гримёрную к знаменитому Мессингу с вопросом: «Останусь ли я с этим мужчиной»? Уставший, с полотенцем на шее предсказатель, взглянув на неё, успел только сказать «да» и хотел ещё что-то добавить, но её уже и след простыл.

Это она, узнав от близких подруг, что у отца в гарнизоне есть любовница Люся, официантка из офицерской столовой, примчалась на электричке из Москвы и, пока он был на работе, даже не заходя в дом, переколотила кирпичами все окна в его квартире на третьем этаже и балконную дверь вдребезги. Зимой. Выстудила же все комнаты. Вот сумасшедшая!

Она же, натянув на отца парадный мундир с орденами, повезла его в роддом для того, чтобы он постоял рядом, в то время как она объясняла главврачу, что я перенашиваю ребёнка, как это опасно и что давно пора принимать меры. Уровень наград, вероятно, подействовал, ибо мне устроили такое, что, спустя сутки, очнувшись матерью в палате на восьмерых, я, оглохшей дурочкой, питаясь тишиной и отсутствием боли, со сломанной раскладушки блаженно блуждала взглядом по запёкшимся губам отрожавших товарок, в продолжение всей ночи пересказывающих друг другу, как и что это было.

Только мама смогла совершить обмен Подмосковья на столицу, чтобы детям было где учиться.

И это она уже после смерти отца отвергла предложение руки и сердца давнего друга семьи, генерала в отставке, тайно влюблённого в неё, читавшего лекции в ДОСААФ и выпрыгнувшего в свои неполные восемьдесят лет с парашютом на Северном полюсе.

## Глава XXVI

*«За здравие Мэри!»*

Парадный мундир ярко-синего цвета с золотым поясом и золотыми пуговицами. Ещё вечером накануне мама отгладила его через марлю. Осталось пройтись по орденам зубным порошком. Склонившись над мундиром, отец чертыхается. Он вынужден менять дислокацию, чтобы прикрыть маленькие отверстия, очередной акт маминого вандализма. В период обострения наших отношений с Китаем она выбросила в мусоропровод добрую жменю высших китайских наград. На истошный крик отца:

— Зачем ты это сделала, б?!. — всегда звучал один и тот же, воистину достойный Сократа ответ:

— Они тебе, Серёжа, не нужны.

Вообще, избавляться от всего, что её окружало, было прямо-таки основной страстью хранительницы нашего очага. Её вдохновлял вселенский минимализм. К изделиям китайских ремесленников она относилась с особой непримиримостью. Поскорее — с рук долой. «Столовое серебро — это не модно», — объявляла мама, снося его в скупку. Выйдя из скупки, она охотно посещала парикмахерскую или покупала свой любимый торт «Идеал», действительно вкусный торт, ленинградской кондитерской фабрики. Отец, наоборот, собирал, возрождал, разводил всяческую живность. Розы и лимоны, загадочно изогнутые корни из леса, коллекции мхов и морской гальки — всё находило приют в его кабинетах, углах, на его подоконниках. И только вся эта жизнь успевала выбросить первый бледный росток, пустить тонкий корешок, зацепиться усиком за жёрдочку, как тотчас возникала мама с идеей фикс генеральной уборки, и в прямом смысле начинала разбрасывать камни.

Я думаю, она не один раз подбиралась и к его главным орденам, но они навечно приросли

к мундиру. Косая планка с орденами Ленина и Красного Знамени, широкий благодушный орден Кутузова, стремительный, с золотыми лучами орден Суворова, тяжеловатый, с булавой — Богдана Хмельницкого, простая звезда Героя.

Время не стоит на месте. Пора. Мама в коридоре терпеливо держит на руках тяжёлую генеральскую шинель. Вот отец подбросит шинель на плечи, застегнёт её на все пуговицы, выгнет грудь дугой и, высоко задрав отменно начищенный, блестящий сапог, шагнёт из нашей квартиры прямо на Красную площадь, чтобы через час пройти во главе второй колонны родной Военно-воздушной краснознамённой академии прямо по диагонали нашего телевизора.

Тем временем нас призывает предпраздничная суета. На балконе в больших изогнутых фарфоровых блюдах стынет залитым катком холодец. Массивные вилки и ножи ждут, когда их наконец перетрут специальной пастой, чтобы они просветлели. «Наполеоновские» коржи, крошась и хрустя, обламываются в наших руках, и мы сражаемся, чтобы сохранить их целостность и округлость. Оставаясь бдеть и кухарничать, время от времени мы перекликаемся, осведомляясь друг у друга только по одному поводу:

— Ну что, «наши» прошли?

Кто-то всегда остаётся на дозоре поближе к голубому экрану.

— Нет, «Фрунзенская» идёт.

И внезапно ворвавшимся сквозняком, налетая друг на друга, как раз в тот момент, когда переносится нужный стул из кухни в гостиную и загораживает всем дорогу, мы застывали, разинув рты, как те бандерлоги, перед единственно истинным изображением и на единственно ласкающее слух приветствие:

— Здравствуйте, товарищи лётчики!

— Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза!

— Поздравляю Вас с праздником Победы, Первого Мая, Седьмого ноября!!!

— *Ур-ра!!!*

Вторым моментом «фигура, замри» был проход отца. Как начальник командного факультета, он шёл сразу за знаменосцем, впереди своей колонны. Иногда его показывали почти целую минуту, что страшно долго. Развернув голову в сторону кремлёвской кладки, аршинным шагом, выбрасывая ногу выше неба, он перемещался по Боровицкому холму. Привлекали наше благосклонное внимание ещё только моряки. Они нравились нам белыми бескозырками и чётким перебором чёрных клише.

Возвращался отец всегда чрезвычайно довольный, с радостным отсветом на лице ладно сработанного дела. «Да всядем, братие, на свои брзыя комони, да позрим синего Дону!» Сняв кортик с золотым поясом и аккуратно отправив в гардероб парадный мундир, он тотчас включался в преображение стола. Скучные колбасы его не интересовали. Он растирал соус цинской династии, украшая блюда сложными орнаментами, узорами из каперсов и брусники, бумажными хризантемами, черносливом, орехами, зеленью. Грузинско-китайский стол сиял. И если бы в тот вечер император Поднебесной Пу И был зван к нам на огонёк, то, несомненно, в знак восхищения он подарил бы главному повару золотую канарейку. Но Пу И в те годы, кажется, парился на нарах в Забайкальском округе. Совсем пухо тебе, бедняга Пу И.

— Ну! За Русь святую! — Этим неизменным кратким тостом ведущий эскадрильи выруливал на старт, высоко держа бокал в правой руке. Можно было бы признать, что Сидор Васильевич вдохновенно несёт околесицу, если бы в конце всё не приводилось к нужному знаменателю. Витийство его было чистой импровизацией. Поплутав вволю по вершинам снежных Кавказских гор, опустившись в холодные зелёные глубины морских вод, он мастерски шёл на посадку, привязывая тост к личным качествам своих друзей, за чьё здоровье и держалась пламенная речь. Во весь вечер никому, кроме себя, слова не давал, безоговорочно назначая только себя тамадой, да гости бы и удивились, если бы было иначе.

Бывало, что кто-либо из новичков, вдохновлённый сладкими речами рапсода, желающий и себе хоть немного от славы тамады, подскакивал и кукарекал, чтобы и ему дали слово. Но преображённый хозяин ровным словом ничего не слышал. Мама теребила его за руку:

— Серёжа, не видишь? Иван Семёнович тоже хочет сказать.

Всё напрасно. Отца несло ввысь. Пока его поднимало на своих крыльях вдохновение, он развивал и развивал тему. И даже нарочно заводил тост в острое пике и в штопор. Все уже были уверены, что он разобьётся и не вывернет. Но неизменно и постоянно на последних метрах и секундах, на взявшейся неизвестно откуда новой логике, он воспарял над землёй и плавно вёл строй своих рассуждений на посадку. «Ничего не скажешь, искусство. Ну, Сидор Васильевич!» Застолье искренне восхищалось и громко аплодировало. Через минуту-другую отец просил снова наполнить бокалы, чтобы ринуться в неизвестное. Великая пустота обнимала его, и он бросался в неё снова и снова, чтобы выиграть и этот бой.

У него был свой короткий промежуточный тост, как запасной аэродром, которым он пользовался между вылетами на истинные маршруты.

— Ну, тогда, — говорил он просто, — за здравие Мэри! За взятие Дарданелл!

С кем бы я ни шла по улице, я всегда вначале перебегу на левую сторону. Привычка с детства, чтобы отцу было удобнее отдавать честь. А делает он это часто — чётким, заученным движением вскидывая ладонь ребром вверх. Наверное, он откозырял сегодня не менее тысячи раз, но он никогда не раздражается и не жалуется. Не чувствует он разве никакой усталости? Как будто у него одновременно две руки: одна вечным указателем смотрит вниз, на посадочную полосу, а другая всегда устремлена вертикально в небо, на взлёт.

Сегодня мы отпросились у мамы в парк ЦДСА. Это совсем близко от нашего дома. В тенистом

углу парка меня ждут качели-лодочки, и, скорее всего, мы ещё возьмём лодку напрокат с настоящими вёслами и я смогу погрести. Я знаю, что папа ни в чём не может мне отказать. У него широкий шаг, и я стараюсь не отставать. Ток. Ток. Правая рука генерала игрушечным механическим паяцем без устали взлетает на свой турникет…

Прошли годы. Много лет. Теперь мне не надо занимать никакой позиции. Напевая «Всё выше, и выше, и выше», я держусь середины тротуара. Навстречу двое солдат. Один из них, ссутулившись, наискось перерезает мне путь. Руки утопил в карманы, наверное, бедняга совсем промёрз. Он что-то невнятно шепчет. Я ничего не разберу.

— Что? Что? — участливо переспрашиваю я. — Не понимаю.

Солдат тихо курлычет своё, только что не по-китайски.

— Что? Ку-ить? А, курить, — меня осеняет. Но я сама не курю. Солдатик не отходит, заискивающе глядя на меня снизу вверх.

Наконец до меня, недогадливой, доходит, что надо же дать денег на «покурить». Я даю ему какие-то рубли.

В другой раз повторилась примерно та же сцена, только вместо «покурить» просипело «покушать». Пересыпая в карман горку мелочи, которую я ему наскребла, я отметила про себя, что зольдат гляделся совершенно счастливым и радостно улыбался.

Что же это за сволочи командиры, что не дают своим солдатам есть. Разве таким должен смотреться русский солдат?

Моё представление о служивом — совсем другое. Мой — ясный солдат, только что сваривший кашу из топора и бодро вышагивающий по лесной дороге: ать-два, ать-два. За поворотом на карауле — другой, стойкий, оловянный, на одной ноге. В памяти перелистываются страницы сражений. Редут, на котором в живых остались трое, Раевский с двумя сыновьями-подростками, перед которыми расступается французская армия. Горстка старой гвардии в ответ на предложение Веллингтона сдаться за секунду до выпущенных в них ядер запускает во врага — merdue. И с того же Ватерлоо — бегущие с поля боя французские солдаты, огибающие стоящего у них на пути маршала, со словами: «Да, здравствует маршал Ней!». Пусть даже так, но солдатика, счастливого оттого, что ему подают милостыню, я плохо себе представляю. О, бедная Русская армия! Не провиантом оскудела ты…

А вот впереди, кажется, ещё один «аника» свесив голову на пуговицы. «Ну, что ты глядишь, как разочарованная свинья в лужу?» — ткнул бы ему ротмистр Дрозд из повести Куприна, понимавший толк в таких делах.

Ах, в конце концов. Мне-то что за дело? Я вообще женщина, хотя, с другой стороны, если подумать, — и дочь старшего авиационного начальника Ляодунского полуострова.

Минувшей осенью в Крыму, на горе Клементьева, в поисках нужной точки для снятия панорамы неожиданно обнаружила старый дзот на склоне оврага. Гильзы — в круг, и чёрные тряпочки, вполне возможно — ленточки с бескозырки. Грунтовая дорога, по которой проехали ещё пару километров, обрывалась над пропастью. На краю обрыва — смотровая площадка; её украшала, если так можно выразиться, покосившаяся, в трещинах и в облупившейся голубой краске, арка. По фасаду — стёртые буквы сложились в поэтическую надпись — *«Звездопад воспоминаний»*.

— А это что такое? — поинтересовались мы у шофёра, местного.

— Это ещё со времён Королёва, первые космонавты поставили здесь эту арку в память о запусках своих летательных аппаратов.

Первые космонавты. Они все учились у отца на факультете. Но что с того? Даже Гагарина никто не вспоминает сегодня. Он забыт или почти забыт. А он бывал у нас дома в гостях — и на память, перед уходом (отец не хотел обычного автографа) вдохновлённый красотой китайских иероглифов на шёлке, он попросил Юру расписаться на скатерти. И тот написал ему целое письмо.

Всего этого уже нет. Скатерть затерялась, пропала. О чём говорить, когда я сама из тех же — «руссишь швайн», не помнящих родства, спихнувшая отца на тёмный, сырой чердак. Спасибо соседям с верхнего этажа!

Я припоминаю, как пару лет назад на отдыхе, на испанской Майорке, меня слегка обескуражил восхищённый рассказ экскурсовода, который на все лады расхваливал тамошнего губернатора, правившего ими в семнадцатом веке. Заслуга последнего состояла в том, что, во-первых, он был богатым человеком и, во-вторых, никогда не счищал с себя птичий помёт, полагая, что это приносит ему удачу. Обгаженного губернатора Майорки чтят до сих пор все жители острова.

Майорка — зелёный остров в Средиземном море. Отец заходил на этот остров и был на приёме у местного губернатора.

## Глава XXVII

*Уроки плаванья*

В нашей семье все любили море большой любовью. Насторожённей всего к воде относилась мама. Она плавала по-собачьи вдоль берега и всегда недолго. Мы же были обучены отцом бесстрашно плыть поперёк моря вперёд, к буйку. Отец, привязав верёвку к двум спасательным кругам, внутри каждого — по пловчихе, с пирса мутит верёвкой море. Вместо чертей — скользкие, сопле-видные медузы, от которых мы с сестрой шарахаемся. Наши первые заплывы с сочинского санаторного пляжа. Впрочем, в Сочи мы отдыхали один раз. Мамина старокрымская родня обосновалась в Феодосии. Каждое лето, когда поспевает черешня, мы едем поездом Москва — Феодосия на море, на лучшее, ласковое Чёрное море. Утром — море. В обед — камбала, только что трепещущая, с рынка. После обеда — ленивое валяние на кроватях с рассматриванием сползающих стрекозьих белёсых сегментов загара. В восемь вечера, в летнем открытом кинотеатре, на облупленных

синих скамейках, синими глазами — в рычащего золотого голденмайеровского льва, после которого сразу — цветной «Великий Карузо» с Марио Ланца, «Граф Монте-Кристо» с Жаном Маре, а то и «Великолепная семёрка» со всеми семерыми… А, каково? Да, ещё ночью спим во дворе, под всеми звёздами сразу.

В Феодосийском округе есть заповедные пляжи: «Золотой», «Коктебельский». На них выезжаем, как на пикник, на целый день, на машинах, с надувными матрасами, варёными яйцами, помидорами, украинской копчёной колбасой, арбузом. О Боже, помидоры совсем горячие. На «Золотом» пляже море отчаянной синевы, мелкое, со стелющимися водорослями. Песка слишком много. В нём навсегда исчезают мамины золотые часы, а вот яичная скорлупа, наоборот, вся наружу. «Коктебельский» пляж — просто дикий. Никого. Возвращаемся под вечер. Мы с Еленой, напрыгавшись в воду, оттоптав отцу голову и отлягав его по плечам, зарядились бешеной энергией. Мы с ней просто невменяемые…

Когда для отца закрылось небо, для него открылось море. А что? Это — голубое, и то — голубое. Небо — бездонное, и море — безбрежное. Стихия. Переливается волнами, светом, вихрями.

Он сам рассказывал, как разъезжал по разным мореходствам, от Одессы до Севастополя, мечтая поступить на китобойную флотилию «Слава», но не вписался в сезон. К тому же, никто не хотел брать на борт шестидесятилетнего новичка. Чтобы отделаться от настырного генерала, однажды ему сказали: «Возьмём, но только простым матросом». К всеобщему удивлению, отец согласился, не став распространяться о своих заслугах, туманно указав в анкете: «бывший военнослужащий». Отец пошёл матросом с радостью и через некоторое время уже огибал Южную Африку на борту рыболовецкой базы.

Да, он уже ходит в кругосветное, о чём нам рассказывают короткие телеграммы с борта траулера «Ветер», с обязательным указанием долготы и широты. На шестой рейс, года через полтора, он — первый помощник капитана. Его спишут на берег совсем года через три, придравшись к тому, что у него всегда было — к здоровью, и к тому, чего у него никогда не было — к возрасту. А пока, в короткий отпуск, мореход возвращается домой, загоревший, подтянутый и отчаянно помолодевший. В рубашке цвета хаки, итальянского кроя, с погонами, он смотрится круче не виданного нами, но знаемого из югославских журналов о кино Джеймса Бонда. Когда впереди своего выводка он вдохновенно устремляется в свой любимый дегустационный павильон на ВДНХ, его никто не может догнать.

— Серёжа, ну куда ты так летишь? Мы же не успеваем за тобой, — привычный мамин рефрен.

Из рейса отец привозит домой чемодан вкуснейших плиток шоколада с орехами фирмы «Нескафе», растворимый кофе фирмы «Нескафе», колготки и цветные открытки с Канарских и других тропических островов, на большинстве которых он уже побывал. Он берёт чайную ложку растворимого кофе, добавляет немного воды, растирает с сахаром и, залив крутым кипятком, демонстрирует вкусный пенящийся напиток, прообраз капучино.

Кажется, летом 1967 года мы на несколько дней заехали в Севастополь. В Камышовой бухте на рейде стоит ТР «Ветер» — судно отца. Чтобы доставить нас на борт, присылают катер. С раскачивающегося на волнах катера я неловко лезу по какому-то сверхвертикальному трапу, придерживая сзади рукой рвущуюся вверх юбку. На корабле всё узкое. Чтобы пропустить идущего навстречу, прижимаюсь спиной к перегородкам кают. С палубы можно смотреть на погрузочные работы в порту.

Нас приглашает в свою каюту гостеприимный капитан. На столе — бутылки с иностранными этикетками — джин, ром. Вносят красного краба чудовищных размеров — размером с полстола. Потом опять с сестрой прогуливаемся по верхней палубе, переглядываемся с командой. В это время мама принимает жалобы от соседа отца по кубрику. Оставшись наедине, жена возмущённо выговаривает мужу:

— Ну к чему ты развёл здесь эти горшки с кактусами? При качке земля из горшков летит на ваши койки. Из шкур акул накроил галстуков и сушишь их у себя в кубрике. Ты что, Сергей, не чувствуешь, как воняет от твоих галстуков?

Вечером мы съезжаем на берег. Отец злится. Он возвращается в пустой кубрик — ни галстуков, ни земли. Его немного жаль. На пристани я нюхаю клешню от краба, сувенир на память с нашего траулера. Краб воняет.

«Дельфин имеет ещё преимущество в движении: комбинирование ударов корпуса и хвостового плавника создаёт волновой пропеллер…» Я верчу в руках записную книжку отца. Это — его морской блокнот, почти судовой журнал. Он весь заполнен рисунками зарубежных портов, береговых линий, списками кораблей, наблюдениями за дельфинами, акулами — словом, важной морской информацией.

«Судно — плавающее сооружение. Корпус судна ограничен днищем, бортами и палубами. Носовая настройка — бак. Кормовая — ют».

«Тому, кто по несчастью оказался среди волн, следует плыть, уповая на помощь дельфинов или богов». Платон.

«Одиссей носил пряжку на плаще в виде дельфина в знак спасения сына Телемаха».

«Маркиз де ла Пуан, француз, герой Советского Союза, сбивший в составе эскадрильи «Нормандия-Неман» шестнадцать самолётов противника, после войны построил на берегу Средиземного моря крупнейший океанариум».

Моё внимание привлекает ещё смешная аббревиатура — начальник «югрыбхолодфлота» и текст обращения к генсеку шестидесятых.

«Генеральному секретарю ЦК КПСС
*Леониду Ильичу Брежневу*

Заявление

Я, Слюсарев Сидор Васильевич, генерал-лейтенант авиации в запасе, с 1966 года работаю матросом 1 класса на траулере «Ветер», обращаюсь к Вам

с просьбой. Прошу Вас послать меня добровольцем во Вьетнам, о чём я заявил на митинге на корабле. В 1937 году будучи волонтёром в Китае я воевал с японцами, за что получил Героя Советского Союза. В 1945 году после окончания Великой Отечественной войны добровольно участвовал в войне с Японией. В 1950 году, находясь в правительственной командировке по организации обороны Шанхая, лично встречался с Мао Цзэдуном. После окончания Академии Генерального Штаба в 1952 году, как старший начальник наших войск, воевал в Корее, принимая непосредственное участие в воздушных боях с американскими лётчиками. Впоследствии был начальником Уральской армии ПВО. С 1957 года — начальник командного факультета Краснознамённой военно-воздушной академии. С 1964 года — в запасе.

Учитывая вышеизложенное, мог бы быть полезен при организации противовоздушной обороны Демократической Республики Вьетнам (ДРВ).

Матрос 1 класса —
*Сидор Слюсарев*».

Надо отдать должное, что благоразумный Леонид Ильич никак не отреагировал на заявление заместителя командующего ВВС Юго-Западного фронта, обеспечивающего в 1943 году прикрытие операций на «Малой Земле»…

Учиться плавать я начал сам, лет с восьми, когда мы жили ещё в Тифлисе. Взрослые мальчики брали меня с собой на реку Куру, чтобы я охранял их одежду, пока они купались. Для меня они надували пузырь из подштанников, на который я ложился и так колотил по воде руками и ногами. В конце лета я уже мог немного проплыть.

От реки Йори был отведён канал для полива бахчей и мельницы. Повыше мельницы находилась запруда для регулирования стока воды. Здесь я и проводил свои тренировки. Однажды я решил рискнуть — переплыть пруд — и допустил оплошность. Не зная, какая глубина у противоположного берега, я преждевременно опустил ноги, но дна не достал. Как снова принять горизонтальное положение, я не знал и, естественно, стал захлёбываться. Сколько так барахтался — не помню. Помню, что когда опускался и доставал дно ногами, то, отталкиваясь от него, подымался вверх, хватал воздух и с зажатым ртом снова уходил под воду. Наверное, я дёргался, как поплавок, очень долго. Но всё же как-то выбрался на берег. И тут же потерял сознание. Придя в себя, я почувствовал большую слабость: дрожали ноги, меня рвало водой. Несмотря на то, что было очень жарко, я дрожал, как осенний лист, и весь был покрыт холодным потом. Наконец, успокоившись и согревшись, с трудом, на дрожащих ногах вернулся на мельницу. Но судьбе суждено было ещё раз испытать меня на воде.

Не прошло и недели с того злополучного водяного кросса, как на нашу мельницу приехала грузинская семья. Отец, мать и их сын лет семи. Так вот, этот «патара-бичо» (маленький мальчик), гоняясь за бабочками, подошёл к запруде, и не успел я опомниться, как он, оступившись, упал в воду и начал тонуть. Берег в этом месте был крутой и глубина порядочная. Не знаю, что меня подтолкнуло, но я сразу прыгнул вслед за ним, конечно, на живот. Он был очень худой лёгкий, и уже захлебнулся. Я схватил его за волосы и так тянул, пока не задел животом дно. На берегу, зная на своём опыте, что нужно делать, я приподнял его за ноги вверх. Через некоторое время из него полилась вода. Я очень испугался, как и в тот раз, когда тонул сам. А он, выпучив на меня глаза, бодро так мне и говорит:

— Видел, как я хорошо плавал! Вот только много воды напился. Хочешь, я снова поплыву, только рот закрою?

Глаза у меня полезли на лоб. Схватил я этого «бичо» под мышку и потащил его к отцу. Мать и отец руки-ноги мне целовали, благодарили, а их сын Вано-джан всё время звал меня идти опять купаться, хотел ещё раз показать, как он может плавать. Я смолол им зерно вне очереди и только тогда успокоился, когда они уехали в свою деревню.

После сезонной работы на молотилке некий Шабунин Александр Ефимович, хозяин жестяной мастерской с Эриванской улицы, взял меня к себе в мастерскую учеником, где я проработал два года, до 1925. Мы ладили вёдра, бачки, рукомойники, чайники и прочую жестяную премудрость. Работали с соляной кислотой и с расплавленным свинцом по десять — двенадцать часов, без всякой доплаты за вредность и сверхурочные.

Однажды Шабунин объявил, что вынужден закрыть свою мастерскую. Он мне так и сказал:

— Я разорился, всё идёт крахом, как хочешь, а денег у меня нет.

Я знал, что он говорит правду, и попросил его, чтобы он помог определить меня на работу на завод «Арсенал». Мысль эта ему приглянулась, и он наказал мне прийти завтра пораньше за ответом. Рано утром я уже ждал хозяина. Он встретил меня словами:

— Ну, радуйся, всё устроил. Начальником жестяно-штамповального цеха работает мой хороший друг. Через три дня тебе выпишут пропуск на «Арсенал», там ты должен будешь сдать экзамен на подмастерье. За шесть часов необходимо изготовить из жести железнодорожный фонарь. Сможешь сделать — примут на завод, если нет, то я не виноват, а посему становись у верстака и начинай тренироваться.

Я, конечно, не знал, что это за фонарь, как его кроить и делать. Все три дня были посвящены работе. К концу третьего дня фонарь был мною кое-как освоен. В основном там было много пайки из почти пятидесяти полосок и вогнутых деталей. В назначенный день я пришёл на «Арсенал». Получив задание, я сначала нервничал, но потом успокоился и дело пошло неплохо. За час до конца смены я закончил свой фонарь и сдал мастеру. Мастер сказал, чтобы я пришёл за результатом через пять дней. Эти несколько дней показались мне чуть ли не годами. В голову лезли нелепые мысли, по ночам снились кошмарные сны. Я даже похудел, наверное, на пять килограмм.

Но наконец за все мои мучения был принят на работу помощником мастера четвёртого разряда. Здесь же я вступил в комсомол и профсоюз.

Как члену профсоюза мне поручили помочь актёрскому коллективу выступить в рабочем клубе «Арсенала». Играли оперу «Наталка-полтавка» на украинском языке. В мою задачу входило распространение билетов. Я организовал пару троек из безработных и мы по вечерам, надев на рукава красные повязки, под видом инспекции посещали нэповские мастерские и магазины. Пока напуганный директор магазина соображал, что к чему, мы вручали ему не менее двух билетов, и он от радости, что так легко отделался, платил полную сумму, а то и переплачивал. Актёрский коллектив также был доволен, получая свой гонорар. В целях поощрения меня отправили делегатом на первый съезд профсоюзов, где я впервые выступил с речью с высокой трибуны.

На заседание мандатной комиссии на аэродром «Навтлуг» я примчался прямо с завода «Арсенал», где работал слесарем. По существу, то был не аэродром, а небольшая площадка размером 200 × 500 метров. По её краю размещались три деревянных ангара, в которых стояли иностранные самолёты типа «Форман». Пока я добирался на велосипеде до станции «Навтлуг», что от завода порядочно — километров около десяти, мандатная комиссия закончила свою работу. Рассмотрев моё заявление заочно, комиссия постановила: отправить Слюсарева С. В. кандидатом в военную теоретическую школу лётчиков. Когда я подъехал, мне выдали документы на проезд от Тифлиса через Москву в Ленинград. Меня это так поразило, что всю дорогу домой, до станции Тифлис, я летел, как угорелый, по шпалам железной дороги. Сумасшедшая радость, что наконец-то исполнилось моё желание — поступить в лётную школу, да ещё в славный революционный город Ленинград, заполнила всё моё существо, и от избытка счастья я выделывал всевозможные трюки на своём довольно уже поношенном велосипеде.

Год учёбы в Ленинграде пролетел незаметно. Грустно было на душе, когда мы, курсанты-выпускники, разъезжались по новым местам. Я и ещё несколько ребят выбрали себе лётную школу под Севастополем — Качинскую, которая приняла очередной, тринадцатый выпуск.

Наш первый аэродром находился метрах в 600 от берега моря. Взлетать приходилось с запада и первый разворот производить над морской акваторией. Существовало предвзятое мнение — поменьше находиться над морем. Это объяснялось ненадёжностью наших старых самолётов, неоднократно ремонтированных моторов «либерти», которые очень часто давали сбой, особенно на взлёте. Погода в Крыму стояла чудесная. Метеорологические условия позволяли летать ежедневно.

Крымская земля. Влажный горячий ветер дует с моря. Только в тени под обрывом можно ещё дышать.

— Ну-ну, — приветствует меня, спускаясь по лестнице, мой верный друг Лёша Щербаков. — Почему спрятался в тени? Пошли тогда уж в море.

Я продолжаю лежать, глядя на невысокие камни, о которые непрерывно бьются прибрежные волны. Потом неохотно поднимаюсь, и мы идём по узкой песчаной отмели. Из-под камней выскакивают маленькие ловкие крабы, и боком-боком бегут к воде. После купания, которое особенно не охлаждает, снова ложимся на горячий песок. Не хочется думать ни о чём. Одно только беспощадное солнце непрерывно льётся сквозь крепко сжатые веки. Мы с Алексеем быстро перебираемся в тень под стену обрыва, подальше от наката волн. Я ложусь так, чтобы ноги оставить на солнце. Ревматизм — памятка с полуподвального детства. Под ритмичный рокот волн меня разморило вконец, нет даже сил приоткрыть глаза, не то чтобы встать. А всё-таки хорошо жить на свете. Над тобой — обширная синева неба. Горячий ветер массирует тело накатом шершавого воздуха. Высоко, высоко в небе парит медленными кругами орёл, превращаясь в далёкую чёрную точку.

Так проходит наш послеобеденный отдых. С утра — полёты, после обеда — отдых на море, благо оно здесь близко. Загораем, купаемся, снова валяемся на горячем песке. Под водой гоняемся друг за другом, стараясь схватить кого-либо за ногу. Это называется у нас — «вести воздушный бой». Неожиданно появляется дневальный и объявляет о построении на ужин. Бывает, что ради моря поступаемся и ужином. Тогда можно пролежать на песке до темноты, когда наступающая ночь оденется бесчисленными, яркими, как свечи, звёздами, и сразу наступит прохлада, идущая тем же ветром с моря.

Ранним утром, ещё до восхода солнца, инструкторы поднимаются с площадки возле ангаров и разлетаются по аэродромам, где будут проходить учебные полёты. Первый полёт в сорок минут предназначается для личной тренировки. Земля ещё окутана плотной предутренней дымкой, а мы резвимся в синем небе на своих самолётах в восходящих лучах солнца. К этому времени из-за гор поднимается солнце. Да, нет ничего прекраснее, чем видеть, как зарождается день. Целых четыре года я встречал восход солнца в воздухе. Курсанты распределены. Личный состав эскадрильи построен. Дана последняя команда: «По самолётам!» Каждый экипаж направляется к машине. Подхожу и я к своей красавице — СБ «Катюше» и перед тем, как надеть парашют и сесть в кабину, ласково глажу её по фюзеляжу, приговаривая: «Здравствуй, дорогая Катюша. Как настроение? Как сегодня в полёте будем себя вести?» И мне кажется, что она вся подобралась, а после моих ласковых слов будет предана мне на всю мою лётную жизнь и послушна в учебном и боевом полёте.

## Глава XXVIII

*Старик и море*

Наконец мы отходим. У бака пыхтит один буксир, другой — у кормы. Смеркается. Нас провожают гудки судов, стоящих у причала Камышовой бухты, да чайки. Чайки почти не делают никаких

движений крыльями и всё же держатся над нами за счёт встречного ветра и восходящего потока воздуха от бортов нашего траулера. Слегка качает. По-прежнему ветер в пять баллов. Вдали забелели барашки…

Уже издали, километров за двести до Средиземного моря, чувствуешь его особый запах. Это — запах хвои, лаврового листа и присущего только ему запаха морского прибоя. Он настолько терпкий, густой, солёный, что никаких усилий, чтобы вздохнуть, не надо. Воздух, насыщенный озоном, сам заходит в ноздри, а ты только чувствуешь, как лёгкие заполняются чудесным эликсиром. Тело становится упругим. Настроение — адски жизнерадостным. А такой лазури, небесного перелива всех красок радуги и особенно полуденной голубизны, как на Средиземном море, нигде нет.

15:00, проходим остров Сицилию. Гористый берег покрыт лесом и кустарником, впереди по левому берегу — Тунис, Алжир, Марокко, Испанская Сахара, Мавритания, Гвинея и т. д. В 16:00 заступил на вахту. Волнение моря — три-четыре балла. Накат волн в корму, в результате чего судно идёт неустойчиво, виляет. Вести его ручным управлением трудновато. Расхождение в пять-семь градусов. На автоматике справляюсь в пределах трёх-пяти. Идём открытым морем. Из-за облачности море кажется глинистым, порой — расплавленным свинцом, но стоит слегка выглянуть солнцу, как оно сразу становится тёмно-синим. Глубина моря — более тысячи километров. Встречные суда, а их не так много, сильно зарываются носом, забирая на себя большую массу воды. К концу вахты пришёл капитан. Много рассказывал о случаях на море. У него в каюте живут канарейки, раньше он держал попугая и обезьянку, но они сбежали, и погибли в море. Вечером показывали кино. Стало тише, так как зашли за Сицилию. Впереди — Африка. На этот раз на вахту меня даже будили. Ночью сложно вести корабль, надо было захватить очки или купить бинокль, допускал ошибки, а потом перешёл на автомат.

По пути к Гибралтару (почему-то все моряки на этом слове делают ударение на Гибра́лтар) один транспортник чуть не стукнул нас в левый борт. Видимо, шёл неправильным курсом, а потом «проснулся» и шарахнулся в нашу сторону. Мы следили за ним и гудками заставили его уменьшить ход, а сами повернули на север, так и расстались. На рассвете началась сильная килевая качка. Нос опускался до самой воды, но воду не забирал. Погода пасмурная. Рваная облачность. Дождь. Наконец вдали обозначились контуры африканского материка. К вечеру будем уже в Гибралтарском проливе. Стоянка — часов шесть, но команду на берег не выпустят. Завезут только продукты для нас и для тех, кто на промысле. В 16:00 заступил на вахту. Курс 262. Плохая видимость. Дождь и низкая облачность. Сильная бортовая и килевая качка. Ветер усиливается. С мостика, когда смотришь при крене в десять-пятнадцать градусов, кажется, что валишься в бездну. Через полчаса вахты радист принёс радиотелеграмму от моих родных — Томы и дочек. Большое им спасибо, что не забыли мой день рождения. В 18:00 из-за неисправности одного двигателя стали в дрейф среди морских волн. В полосе шторма дрейф — вещь, прямо сказать, неприятная. Но через двадцать минут механики устранили неполадки, и мы пошли своим курсом. После ужина решил пораньше лечь спать. Ходить по кораблю невозможно, всё летит. Все внутренности растягиваются, так что всё, что есть в животе, я ощущал реально, а потом заснул, и приснился сон, что немцы пытают меня на дыбе. К утру шторм стал понемногу стихать. На вахту опять пришёл раньше времени. Забыл, что накануне часы перевели на час назад.

В 20:00 пришли на военно-морскую базу англичан — Гибралтар. Население Гибралтара — 25 тысяч человек. Я не успел сделать снимки. (На четвертушке странички уместился рисунок базы. Скалистый берег. В море уходит полоса, на которой помечено — «аэродром». Напротив, на горе, в кружке, — «ресторан». Других ориентиров нет).

На наш «Ветер» завезли продукты, обслуживали испанцы. Часа через три начнём спускаться на юг.

В 4 часа утра заступил на вахту. Темно. Сплошной туман. Перешли на непрерывное оповещение гудками. Я стоял на правом крыле и прислушивался к возможным сигналам с других судов. Туман начал рассеиваться. Волнение не больше двух баллов. По обеим сторонам борта — летучие рыбы. Летучие рыбы — из породы сельдей. Они вылетают из воды за счёт создаваемой хвостом вибрации. Парят в воздухе, пролетая небольшое расстояние, делая правильные виражи. Некоторые разворачиваются на девяносто градусов. Видел много дельфинов, которые как раз гонялись за летучими рыбами. Море бурное. Крен — до пятнадцати градусов. На подходе к Канарским островам стало чуть тише. На сегодня прошли 2345 мили. До промысла осталось больше половины. После обеда занимался изучением судоустройства и докладом Брежнева на 23 съезде КПСС. Через два часа заступать на вахту. Прошли Марокко, проходим Испанскую Сахару курсом на острова Зелёного Мыса, а далее Дакар, Сенегал, Гвинея, Либерия — чудесные страны. Океан спокоен, даёт перекатную волну, что порядком раскачивает наш «Ветер». Самочувствие отличное. Хорошо стал спать, даже без снотворного. Ложусь в 9:00 вечера, к 10:30 уже засыпаю. На этой трассе редко попадаются встречные суда — одно-два за вахту. «Ветер» идёт со скоростью 18–19 миль в час, что соответствует 35–38 км/час. Пока ещё никто нас не обогнал. Уже прошли больше половины пути до промысла. Пересекли тропик Рака и вошли в тропики. Температура — около двадцати градусов, ещё не очень жарко. В свободные полчаса выхожу на верхнюю палубу позагорать. По местному календарю стоит осень. После того как пересечём южный тропик Козерога и повернём к мысу Доброй Надежды, войдём в зону зимы. Утром должны пересечь экватор. Экипаж готовится к церемонии встречи с богом морей и океанов Нептуном. Заступил на вахту. Близко играют дельфины. Проходят косяки рыб и парусных медуз. Океан спокойный. Цвет стальной. Открылось южное небо

с Южным Крестом. После ужина зачитали телеграмму, которую прислал на судно Нептун:

«Борт тр „Ветер". Капитану директору. Буду 22 мая в 14:00 по Гринвичу. Приказываю: подготовить список, в который должны быть внесены все члены экипажа и пассажиры, впервые пересекающие экватор. При моём прибытии на борт застопорить ход, дать три длинных гудка. Предупреждаю всю команду: непослушания не потерплю. По секрету сообщаю: беру взятки.

Владыка морей и океанов — Нептун».

Двадцать второго мая в 4:00 заступил на вахту. Ночь тёмная. К утру пошёл дождь, и так до конца вахты. Идём курсом 136. Прошли Сенегал, Гвинею. На траверсе — Либерия. Ровно в 14:00 прозвучали три длинных гудка. В небо взвились цветные ракеты и рассыпались над океаном. Из-за кормы появился звездочёт с рупором и объявил о прибытии Нептуна. Закричали, заржали черти, и в окружении свиты появился Нептун с женой. Подозвал к себе капитана и приказал тому доложить, что за люди, что они делают и каковы их намерения в его владениях? Капитан всё доложил честь по чести. Черти в это время делали всё, что хотели: мазали сажей и отработанным маслом руки, ноги, лица. И всякого, кто не откупался, да и тех, кто откупался, бросали в большой чан с морской водой высотой более двух метров. После дали выпить по столовой ложке спирта и по бокалу красного вина. Со мной проделали то же, что и со всеми. В конце праздника вручили диплом «Мореходу Земли Русской о переходе экватора» и отпустили на свободу. Вечером все члены экипажа получили специальный, праздничный, тропический паёк — по три бутылки вина — и разбрелись по каютам. Гуляли до полуночи с танцами и угощением друг друга.

Двадцать седьмое. Первая вахта на промысле. Мы загружаем в наши трюмы рыбную муку, брикеты. Вахты по четыре часа на разгрузку и погрузку тяжёлого груза. Тара неудобная — режет руки, грудь, спину. Страшная боль по всему телу. Кругом стоит шум, крик: майна, вира, полундра! Судно качает вдоль и поперёк. Сыплется мука, летят пачки, того и гляди пришибёт. Ругань, мат стоит столбом. Все стараются сачковать, то есть поменьше работать. В трюмах — холод. Температура для мороженой рыбы — минус 17–20 градусов. Плюс сильная вентиляция. Сильная носовая и бортовая качка перемещает грузы под крен. На каждого человека в среднем за двенадцать часов работы приходится до 11 тонн груза в виде паков по 32 кг каждый, мешков с рыбной мукой или брикетов по 60–80 килограммов, которые необходимо уложить в трюмы, и твиндеки глубиной в пятнадцать метров. Груз надо разложить в штабеля по всему помещению высотой до трёх метров. Третий день — самый тяжёлый. Работы начались с восьми вечера и до четырёх часов утра. Устал, как лошадь. Все жилы вытянуты. Мускулы страшно болят, особенно спина и поясница. Каждую минуту поочерёдно все друг у друга спрашивают: «Который час?» Вечером в гости поднялись на борт болгары. Угощали коньяком, что разогнало немного кровь. Стало меньше болеть, только пугают большие отёки. Видно, для сердца очень большая нагрузка. Уже разгрузили «Тбилиси», «Мисхор», «Альбатрос», но на подходе ещё много других судов. Организация плохая. Всё держится на «авось», что подвернётся под руку, тем и занимаемся. Нагрузка физическая такая, что пальцы не держат авторучку, дрожат руки. Желание одно: как-нибудь передохнуть, набраться сил, а главное — распределить их так, чтобы до конца вахты не свалиться в буквальном смысле с ног. И так час за часом, день за днём. Работа, еда, короткий отдых и снова каторжный труд до изнеможения. Вот где я вспомнил о рабах на галерах. Счёт дням потерян. Остался один подсчёт: сколько времени до конца вахты? Кормят часто, по четыре раза в день, но в весе не прибавляешь. У меня всё время большие отёки, всё-таки сердце не привыкло к таким перегрузкам. Но всему приходит конец. К шестому июня мы разгрузили около десяти судов, в том числе «Слава», «Морская звезда», «Андромеда», «Лангуст», «Сириус», танкер с топливом, и взяли курс на мыс Доброй Надежды. Обогнули Южную Африку и вышли в Индийский Океан. Сегодня с утра я заступил на вахту рулевым. Самая удачная вахта — с 8 до 12 часов. После обеда и до вечера — свободен, можно отдохнуть, позагорать.

Сдержанный, но настойчивый гул дрожит в жарком плотном воздухе. Ещё с вечера начал разыгрываться шторм. Весь экипаж работает по подготовке встречи с ураганом: люки в трюмах задраены, на палубе закреплены грузы. Все расходятся по своим рабочим местам внутрь судна. Несколько дней бушует океан. Ломаются пальмы, тревожно кричат попугаи. Наш «Ветер» кланяется навстречу каждому валу, а они все — девятые. Стальной корпус вздрагивает, словно кто-то зажал его в тиски. Когда нос зарывается в проём волны, корма вздымается вверх и многотонный гребенной вал, вырываясь из водной стихии, не встречая сопротивления, вращается с невероятной скоростью под пронзительный вой и грохот. От огромных перегрузок корёжит всё судно, как будто кто-то на полном ходу пытается остановить мчащийся поезд. Кажется, что корма и киль цепляются за железную стену под водой. Мы всё ещё в полосе шторма. Набегающие волны под действием урагана уже не в состоянии подниматься ещё выше, и вершины их гребней сваливаются в основание волн. Там, в бездне, рождаются новые волны, взмывающие вверх и рассыпающиеся миллионами брызг. Вся эта масса обрушивается на палубу и весь корабль. Мостик плотно закрыт, но все, кто на мостике, — насквозь мокрые, в пене брызг. Горький солёный воздух заполняет лёгкие до отказа. Трудно дышать. Горизонта не видно, его заслоняет стена воды. Нос зарывается в водяную массу. Вокруг — горбящийся валами океан и надсадный вой разъярённого шторма, но наш «Ветер» прокладывает свой путь среди хаоса водяной метели…

4 сентября 1967 года. Понедельник. 08:00 утра. Проходим пролив Эврипос рядом с островом Эвбея, скорость которого 4–16 узлов. Пролив знаменит своим сильным приливо-отливным течением,

меняющим резко своё направление каждые 6 часов. От Севастополя — 503 мили. За сутки пройдено 443 миль. До промысла — 6774 мили…

## Глава XXIX
*Заячья свадьба*

— Было это уже к концу войны. Стояли мы в Польше. Природа там необыкновенная — луга, рощи. Отец взял меня на охоту. Стояла тихая лунная ночь. Было светло, как днём. Мы вышли к опушке леса. То, что мы увидели там, я никогда не забуду. На полянке, обсаженной ровными молодыми ёлочками, сидели в круг зайцы. В центре хоровода, привстав на задние и положив передние лапки друг на друга, целовались двое зайчиков.
— Мам, ну так не бывает, — перебиваю я повествование, которое слушаю не впервые.
— Нет, — убеждённо отвечает она. — Это было именно так.
— Ну что? Так уж и целовались? Зайцы?
— Да, носиками. У них была заячья свадьба.
— Ну а что потом? — Я медлю, надеясь, что на этот раз, может, всё сложится по-другому.
— Ну что — и ваш отец их убил, — припечатывает она безжалостный приговор. — Я его просила, умоляла: «Серёжа, не стреляй. Посмотри только, какое чудо. Не стреляй, Серёжа».
— Ну, он и не стрелял, — тороплюсь я с подсказкой.
— Нет, стрелял.
— Ну, не попал. — Я неохотно сдаю позиции одну за другой.
— Нет, попал! Одним выстрелом. Оба зайчика так и упали друг на дружку, а остальные разбежались.

Вот гад! Ну и сволочь! Комок ненависти подходит к горлу. И я сразу вспоминаю, как мы с ним однажды подрались в нашем коридоре, заваливая на себя книжный шкаф. Дрались с остервенением, по-настоящему, кто кого. Он был пьяным. А когда пил, становился злым, матерился и скандалил.

Я долго не могла понять, откуда у него такая агрессия к семье, к жене? И только недавно, по прошествии стольких лет, мне стало ясно, что весь его гнев был страхом маленького пацанёнка, оборонявшегося от нападок старших сестёр и мачехи. Затравленный, сжимая маленькие кулачки, затаившийся на чердаке или в подвале, он не мог им тогда ответить. И вот, спустя много лет, за всю прошлую боль, унижение, несправедливость он сполна отвечал маме. Мой маленький отец Сидорка. У мамы не хватило терпения и любви, чтобы разжать эти намертво сжатые ненавистью кулачки. Воспитанная в лучших традициях эпохи, она также хорошо знала, что врага уничтожают, что — око за око, зуб за зуб.Зарождаясь вихрями и смерчами, крики и скандалы метались по нашей квартире, сокрушая всё на своём пути: разрывами гранат хлопали двери, осколками мин разлетались вырванные фотографии из альбомов, трассирующими пулями летели в дальний угол белоснежные тарелки китайского фарфора. Ураган ненависти засасывал всех в свою воронку. И, подхваченная волной великой брани, надрывая своё сердце, я кричала ещё отчаяннее всех:

— Если бы вы только знали, как я вас ненавижу! Как я вас всех ненавижу! Я вас просто ненавижу! Да, замолчите же вы, наконец!!!

Отец перестал быть нужен где-то лет с пятнадцати. Совсем. Мы учились уже в 9 классе. У меня появилась закадычная подруга, вместе с которой пропускающими сырость полуботинками мы часами месили сугробы Сретенских и Рождественских бульваров. Кружили по Москве, упиваясь строчками из Вознесенского, Лорки. Ходили в кинотеатр повторного фильма на «Красное и чёрное», оплакивая раннюю гибель, два в одном, Ж. Сореля и Ж. Филиппа. Не находя среди знакомых сверстников никого, достойного столь высокой красоты и судьбы.

Отец был не интересен. Он сидел дома. Редко куда выходил. Старые обиды не давали заглянуть к нему. Иной раз, проходя по коридору, я бросала именно что косой взгляд в его комнату. Меня раздражали мещанские алоэ и прочие дурные цветы на окошке, пустые горшки с землёй, мятые листы бумаги на столе, бутылки из-под портвейна на полу. Иногда он спал, иногда что-то писал. По вечерам на взводе шёл искать по квартире маму, чтобы поругаться. Как будто кто нарочно тянул его на верёвке за привычной порцией скандала. Иногда на улице он попадался мне на переходе, небритый и неопрятный, с сеткой пустых бутылок, и я делала вид, что я его не увидела.

Я ни разу не подошла к нему, ни разу не захотела поговорить с ним или поделиться своими переживаниями. Это показалось бы мне диким. В двадцать один год, выйдя замуж, я навсегда ушла из нашей квартиры. Переехав, я ни разу не позвонила отцу. Если на звонок отвечала мама, в которой одной я нуждалась, я решала все вопросы с ней. Если в её отсутствие трубку брал отец, я ни разу не продолжила разговор с ним по своей инициативе. Всё, что я знала про себя, так это то, что я обойдусь сама. Мне никто не нужен, особенно мужчины. К чему мне эти тухлые инженеры, тяжёлые спортсмены, пьющие художники? Судьбе пришлось порядочно повозиться, прежде чем подобрать мне кандидата в мужья. О нет… ну, вообще-то, да. Старше меня на двенадцать лет, вошедший в нашу квартиру вслед за братом Борей его высокий кареглазый приятель, кроме того, что был физиком, оказался ещё знатоком европейской литературы и американского джаза. На одном из джазовых фестивалей Стасик попросил своего друга музыканта назвать его новое сочинение «Вальс для Наташи». Он был влюблён. Ему же хуже!

Совсем неплохо было, сидя в кафе «Молодёжное» — первое джазовое кафе по улице Горького, с наведёнными под Клеопатру глазами, с сигаретой истинного «Марлборо» в левой руке, перебирать новости, почерпнутые из рубрики «За рубежом» журнала «Иностранная литература». Генрих Бёлль прислал поздравительную телеграмму в театр Моссовета по случаю премьеры «Глазами клоуна». Сэлинджер ушёл в затворники и поселился в лесу. Сальвадор Дали выкинул что-то такое, что вообще выходило за рамки не только советского,

но и мирового быта. Дали был дружен с Гарсиа Лоркой и ему многое прощалось.

Общение с противоположным полом можно было терпеть ну вот хотя бы ради таких джазовых вечеров, уютных, нечастых посиделок в ресторане Дома кино. Но отец не был востребован никогда. В те годы моё отношение к нему было безразлично-спокойным. Я больше не делила с ним одно пространство в «литише». Года через два, когда стало очевидно, что наш брак не протянет долго, я стала чаще наезжать с дочкой Аннушкой в родительскую квартиру, порой оставаясь на субботу и воскресенье. В то время, как я бесцельно слонялась по комнатам, мама тетёшкалась с малышкой, отец оживлённо собирался на наш рынок. Мне было всё равно, и я соглашалась, что—с ночёвкой. Он выбирал сумки пообъёмнее, писал список того, что из провизии ему было особенно необходимо, и уходил надолго. Наконец отец возвращался, торжественно пронося по коридору тугие сетки, набитые всякой всячиной. На кухонный стол выкладывались молодые куры, заливая соседей обильным соком, выгружалась капуста провансаль. Толстые жирные селёдки с красными глазами—верный признак того, что их только что завезли—пачкали газеты. Из разорванного пакета врассыпную под стол вместе с грецкими орехами убегала твёрдая коричневая фасоль на лобио. Один только бордовый пергаментный гранат, привет из Тифлиса, спокойно осваивался в новой обстановке. Мама тотчас оставляла кухню. Теперь там будут хозяйничать исключительно мужские стихии—дым, пар, огонь, отец.

И вот сегодня, спустя столько, столько лет, навоевавшись, отненавидев, разбивши лоб, хлебнувши много соли и слёз, причинившая сама много боли, я с удивлением открыла, что, оказывается, всю жизнь меня спасали и охраняли эти не тонкие, обыкновенные существа.

Это—мой муж, который кормил меня с дочерью, просиживая сам по десять часов в НИИ—ни секунды опозданий—добровольно обменявший свою свободу и талант на сто двадцать рублей в месяц, кандидатские включены.

Это—пожилой профессор, пожалевший меня за мой уставший вид и прокуренные пальцы на вступительном экзамене в университете и поставивший мне проходной бал.

В конце концов это—влюблённый в меня Хозе, который проявил выдержку и не зарезал меня (спасибо ему), когда я, куда как во много раз переигрывая Кармен на подмостках жизни, доводила его своими выкрутасами до отчаянного бешенства.

И, разумеется, это—тот самый молодой врач скорой помощи, приехавший на вызов к концу своей смены, сам смертельно уставший, осмотревший меня (трое вызовов из районной ставили диагноз ОРЗ), вздохнувший и начавший обзванивать ближайшие больницы на предмет свободных мест. А потом снёсший меня без напарника на руках с пятого этажа по лестнице к машине, так как я уже не могла стоять на ногах. И, как определили в больнице, с таким диагнозом (какое-то там особое воспаление лёгких) ещё бы полчаса—и не спасли.

Значит, так принято на этой земле, так положено—меня любить и охранять. Я—в саночках, а меня везут. И заглядывая, опережая будущее за ту грань, которую можно обозначить посадочным знаком, концом, смертью, я знаю, что всегда смогу добежать до КП, где меня ждёт Отец.

Но как случилось, что в той огромной жизни, в которой мне было отпущено столько дней на любовь, я ни разу не подошла к отцу, не спросила его, о чём он думает, что он пишет, как он себя чувствует? Я ни разу не сказала ему, что он прекрасно выглядит, что я его люблю в конце концов. Почему это главное чувство жизни оставило меня так надолго? Что я должна была понять? И как сильно оно вернулось ко мне сейчас, когда его больше нет и я не могу, прижавшись к нему, сказать: «Папа, я люблю тебя. Я всегда любила тебя и всегда буду любить тебя. Я всё помню». Конечно, сегодня я глажу его мундир, припав лицом к рукаву, стараясь уловить его запах. Я провожу рукой по фотографии и даже подмигиваю ему: мол, всё хорошо. Но тогда, когда он был живой и нуждался во мне, я ни разу не подошла к нему.

Близким и до боли родным, как и в раннем детстве, он стал мне вновь на один день—день своих похорон. 11 декабря они с мамой ругались уже с утра. С её слов, он запустил в неё обычное «будь ты проклята», на что, вместо ожидаемого «и тебе того же, старый дурак» услышал: «А я, Серёжа, желаю тебе долгих лет жизни в счастье и здравии!» Он плюнул и закрылся в своей комнате. Тут как раз подъехала я и сговорила маму на небольшую прогулку—в кино или в магазин. Когда мы вернулись, отец был уже мёртв. В морге как на причину указали на сердце и взяли шестьдесят рублей за косметику.

Через три дня подали автобус из академии, теперь уже имени Гагарина, чтобы отвезти нашу семью в Монинский гарнизон, где должны были хоронить отца. Гроб с телом был выставлен в офицерском клубе с 10 часов утра. Ещё накануне, с вечера, я боялась встречи с ним, неведомая волна, зарождаясь где-то внутри, время от времени сотрясала меня судорогами, как будто именно так, по частям, из меня выходил отец. Наутро в просторном зале ДК, когда я подняла на него глаза, то сразу почувствовала невероятное облегчение. Всё то, чем был отец, я не нашла. Ничего, что составляло его жизнь, не было в этом стылом теле. На возвышении, покрытом знамёнами, лежал манекен, перед которым на алой подушечке сияли ордена, казавшиеся более живыми: орден Ленина за Китай 1938–1939 гг. и Золотая Звезда; орден Красного Знамени за Финскую; орден Кутузова II степени—за Кубань, Кавказ, Крым; орден Суворова II степени—за Керчь (4ВА); медаль «За оборону Кавказа»; за Сандомир, Берлин, Прагу (2ВА)—два ордена Ленина, орден Красной звезды, орден Богдана Хмельницкого II степени; медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги»; две медали за разгром Германии и Японии. За послевоенные командировки (Китай, Корея)—орден Ленина, три ордена Красного Знамени, пять китайских и корейских орденов, медали.

Я спокойно провожала взглядом курсантов его родного командного факультета, подходивших к телу в очередь для прощания и по этому случаю специально снятых с утренних занятий. Через час гроб вынесли, поставили на открытую машину, и под звуки оркестра медленным шагом мы тронулись по знакомому маршруту, в сторону кладбища. Интересно было смотреть на лицо отца, чуть подретушированное, на котором не таяли снежинки.

Из старой гвардии в последний путь отца провожал только один его дружок — технарь Вася Землянский. Когда гроб уже должны были опустить в землю, боевой товарищ, сняв шапку, поклонился своему другу до самой земли и сказал: «Прощай, Сидор Васильевич, ты честно исполнил свой долг!» Щёлкнув затворами, сухим треском, спугнувшим с веток ворон, прозвучали выстрелы, и я услышала как бы со стороны неожиданный для себя самой, свой отчаянный, неприлично сильный вскрик. Провожающие вздрогнули и с недоумённым испугом посмотрели в мою сторону. Задушив рыдания, низко опустив голову, я быстро пошла к автобусу, чтобы поскорее возвратиться в Москву…

## Глава XXX
*Сан Исидро*

Отец всё же решил, что я должен поступить в духовное училище. Сначала он определил меня к одной немке — важной старой деве. Я её страшно боялся. Ходил в лавку, убирал комнату, готовил еду. Учёбы не было никакой. Она к тому же меня и била, сам не знаю, за что. Потом меня стал готовить знакомый семинарист. Экзамены я сдал и учился хорошо. На первом году учёбы в духовном училище я проходил «производственную практику», прислуживая в храме отцу Иллариону. В один из воскресных дней я должен был помогать дьякону во время обедни. Отец и сёстры, вырядившись по-праздничному, уже ждали в церкви. Мачеха, провожая меня из дома, благословила и сказала, что теперь она спокойна, что есть, слава Богу, кому за неё и её детей молиться. Ещё чего не хватало, чтобы я за неё молился, когда она лупила меня, как сидорову козу…

Вся внутренность храма была залита светом от сотен горящих свечей. В мою обязанность входило тушить догорающие свечи и собирать пожертвования на храм. Как только я появился с кружкой, все мои приятели по двору тут же принялись комментировать мои действия вслух так, что даже батюшка начал озираться по сторонам, думая, что он где-то нарушил канон ведения службы. И тут со мной произошёл конфуз.

Меня предупредили, что, когда священник громогласно возвестит: «Во имя Отца, Сына и Святого духа. Евангелие. Чтение… Мир всем» — а дьякон и хор пропоют: «и Духови твоему! Аминь», я, выйдя из алтаря в боковую дверь, должен буду поднести отцу Иллариону Библию. На мне была надета праздничная риза, расшитая золотом, с крестами и накидным воротником. В правой руке — кадило с дымящимся ладаном, а в левой — Библия. Библия была очень тяжёлая, в переплёте из красной сафьяновой кожи, тиснённой золотом, с лентой, заложенной на том месте, где отец Илларион должен был читать притчу «О блудном сыне»…

Потрясающе! Высокая мистика. Читать притчу о блудном сыне, но ведь это о будущей жизни того, кто держит сейчас Библию. Притчу о блудном сыне, о русском Исидоре, исходившем, излетавшем, избороздившем и через семьдесят пять лет, износив вконец землю, небо и море, упавшем в коридоре, сквернословя и чертыхаясь, отдав Богу душу, не покаявшись. Получив полной мерой за то, от чего в молитве просят избавить стоящие в храме, — «дабы смерть не похитила меня неготового». А его — таки взяла! Похитила! Неготового!

Ну ладно, папочка, ничего, не переживай… как-нибудь. Я сама дотяну тебя волоком до райских врат, не брошу, вот только бурку подстелю. И потом, род наш уже благословен «во веки веков». Отец Илларион сам подтвердил это за глубокой чаркой красного кахетинского вина. Разве не так?..

А кто был этот великомученик Исидор на самом деле, я узнала случайно, совсем недавно, от одного старичка-туриста из Испании. Святой Исидор или Сан Исидро, покровитель Мадрида, чей день рождения (15 мая) отмечается по всей Испании трёхнедельной корридой, был по национальности испанцем, а по роду занятий — простым землепашцем. Он любил долго и с любовью молиться. Однажды хозяин ему заметил: «Кто же будет работать, если ты всё время молишься?» И что же? Исидор продолжал читать молитвы, как и прежде, а работу его на полях выполняли ангелы.

И Духови твоему!

В тот самый момент, когда я, появившись из алтаря, под пение хора должен был подойти к амвону, я растерялся. Я просто потерял слух и дар речи. Отец Илларион уже трижды возгласил: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому духу!», а у меня отнялись руки и ноги. Я не мог пошевелиться. Тут дьякон, нарушая ритуал службы, подвывая на ходу — «Аллилуйя, аллилуйя… Чёрт несчастный!», — влетел в алтарь и, поддав мне под заднее место ногой, тем самым спас критическое положение. Получив добавочную энергию, я вылетел, как пробка, чуть не сбив с ног священника. Когда обедня закончилась и прихожане покинули церковь, отец Илларион выгнал меня со словами, чтобы я и думать забыл о священном сане.

Дома на меня все взирали с умилением, никто даже и не заметил моих промахов. Все мои сёстры и младшие братья были настолько умилены моим «божественным видом», что дали слово больше не дразнить меня. Наверное, их так изумил великолепный вид моей золотой одежды. Только с тех пор ноги моей больше не было в церкви.

Долгое время я не встречался с отцом Илларионом. Наше духовное училище вскоре закрыли. Уже после революционных событий батюшка нанял меня, не признав, чтобы я замостил площадку вокруг церкви. Я и понятия не имел, как её мостить, но взялся. Хотел было напомнить ему

о минувших событиях, но воздержался. Дня через два я так наловчился мостить, что многие удивлялись, как ладно у меня получается. На третий день с расчётом закончить к вечеру я пришёл пораньше. Только стал заготавливать песок и подносить камни, как вдруг заметил, что под стеной церкви валяются медные и серебряные монеты. Их след вёл к каменной стене, которая с внешней стороны огораживала кладбище. Когда я их подобрал, у меня оказалось около десяти рублей, сумма порядочная для того времени. Я разбудил сторожа. Собрались люди, подошёл отец Илларион, милиция. Как выяснилось, воры, подобрав ключи, ночью открыли церковь, заперлись изнутри и стали вычищать кружки для пожертвований, но мой ранний приход их вспугнул. Вырезав стекло с противоположной стороны в нижнем проёме, они удрали, не успев прихватить утварь — кресты, чаши. Так я оказался героем и при расчёте получил от батюшки ещё прибавку за бдительность. Про собранные на земле деньги я ему ничего не сказал. Мне было стыдно ему признаться, так как половину я уже истратил. Это меня мучило, и оставшуюся половину я раздал нищим, наказав, чтобы они молились за меня, грешника, за мать и отца, похороненных тут же, недалеко от храма. На этом совесть моя успокоилась, и я стал чувствовать себя превосходно. При окончательном расчёте с отцом Илларионом я ему напомнил, что его прогноз насчёт меня — стать священником — не оправдался. Он внимательно посмотрел на меня, махнул рукой и старческой походкой пошёл в церковь прибирать после грабежа.

В тот знаменательный день ангел отца сдал свои позиции без боя. Это казалось невероятным, потому что ангел Святого Исидора не был рядовым. Он был ведущим в своей эскадрилье, когда майским расцветающим утром зарулил на Норийском подъёме. Слава Кахетии!

В чине адъютанта он заступал на службу у только что родившегося наследника славного рода Слюсаревых. В его обязанности входило хранить и укрывать. И он двадцать семь тысяч триста семьдесят пять дней и ночей, не зная сна и отдыха, верой и правдой нёс свою службу. Его пуленепробиваемая броня, от которой отскакивало всё зло мира, была крепче, чем у прочнейших славных катюш СБ. Его скорость, с которой он выдёргивал своего подопечного из опаснейших ситуаций, была выше, чем у непревзойдённого ШКАС, а скорость последнего — 1800 выстрелов в минуту. Он был по-настоящему могуч, ибо сколько сил надо, чтобы перетянуть одну только холеру. За свою верную службу он неоднократно был представлен к наградам. Грудь ангела украшала золотая гвардейская звезда, и всё же в тот роковой час он оказался бессилен. Он пропустил удар. Он не был обучен отражать любовь.

Коротким декабрьским днём в 15:00 по местному времени ангел св. Исидора в первый раз не заслонил собой отца. Он отступил на два шага, постоял в нерешительности минуту, потом развернулся и стал медленно спускаться с командного пункта керченской высоты, увязая унтами в весенней распутице.

Когда к вечеру мы вернулись домой, отец сидел в коридоре, вытянув ноги, обхватив голову руками, как бы запечатав ими докатившийся наконец до него, нараставший гул. На что именно похожим показался Сидорке последний предсмертный гул? Входил ли он в него гулом родных моторов, шумом водопадов Филинчинского хребта или последним морским прибоем, я никогда не узнаю…

Так что же мне осталось в наследство от отца, кроме вьюна дикого винограда на нашем балконе?

Стоит мне поднять глаза в небо — я сразу увижу самолёт. Всегда чуть наискосок и вверх, он быстро набирает высоту, словно чиркнувшая спичка по синеве. За ним, ярко белея паром, дрожит вспаханная бороздка. Краткий энергичный росчерк подписи отца, стремительной линией уходящей за горизонт.

— Привет!

— Привет! Письмо моей любимой доченьке Наташеньке…

Ну, конечно, я люблю летать! Небо — подарок от отца. Я радуюсь любой возможности отправиться на аэродром. Кроме цели, радуюсь самому ощущению быть в небе. «Чувствуйте себя как дома» — это про меня в салоне самолёта. Как на своей кухне, ну максимум пересесть на соседний табурет. Я снисходительно наблюдаю за пассажирами при взлёте. Вот слева кто-то мелко крестится, втянув голову в плечи и вцепившись в подлокотники кресла. С набором высоты напряжение спадает.

В конце 80-х мне приходилось часто летать с итальянскими делегациями на переговоры в лесную страну Марий Эл. Рейс на Йошкар-Олу. Ранним утром приезжаем на маленький аэродром Быково, для внутренних рейсов, грязный и неухоженный. В ожидании заправки наша маленькая группа окружила скромный летательный аппарат, давно отслуживший свой век. Командир корабля, молодой парень, искренне полагая, что доставляет особое удовольствие иностранцам, перечислял все латки, заклёпки, радостно похлопывая по бокам своего друга. Увлечённо переводя незамысловатый текст по технической части: здесь текло и там шов, я удивлённо отметила, как «завяли» заморские гости. Только нам с пилотом было по-утреннему бодро и радостно. Мы с ним оба знали, что и сегодня самолётик не подведёт. Мы ведь любили старого «ишачка», а он — нас.

Крым. Яркий летний день. Голубой простор моря и неба. Иду краем Коктебельской бухты, как раз тем берегом, на который во время войны высадился обречённый десант. Неожиданно сверху, приближаясь, нарастает гул мотора. Поднимаю голову. Не очень высоко надо мной, рукой достать, — планёр. Он никуда не летел. Он кувыркался в воздухе, барахтался, как барахтается в своей первой волне маленький весёлый человек. Крутил бочку, уходил в пике. Выходя на затейливые виражи, переворачивался на спину, будто его щекотали, выписывая в небе самые замысловатые буквы, может быть, что он — «отличник», «любим» или… «у него родился сын Сидорка?»

Я наблюдала ликование деревянного мальчишки, только что так удачно выменявшего свою новую курточку на билеты в театр и отплясывавшего немыслимую тарантеллу. В небе совершалось оглушительное счастье.

«Лётчик!» — громко назвала я это чудо. «Вот так лётчик! Вот это — лётчик!»

Я стояла на тёплой тропинке, несчётное количество раз повторяла в небо: «лётчик» — и смеялась.

Я знаю: когда, через положенный океан времени, мне будут распределять новую жизнь, то, стоя перед высокой комиссией, пройдя все положенные проверки, выбрав родину и семью, отправляясь на посадку, я задержусь ещё на секунду и добавлю: «Да, и ещё не забудьте, пожалуйста, только одно, чтобы там… на земле мой отец был лётчик».

## Глава XXXI

*Точка генерала Слюсарева*

Война ворвалась в Крым в первую же ночь на 22 июня 1941 года, когда фашистские бомбардировщики появились над главной базой Черноморского флота — Севастополем. Город одним из первых принял на себя удар врага. Около двух часов ночи население Севастополя было разбужено воем сирен, залпами корабельных орудий. В три часа тринадцать минут над городом взметнулись багровые всполохи взрывов: вражеские «мессершмиты» сбрасывали бомбы. Крым ждали тяжёлые военные испытания.

Особенно жестокой бомбардировке подвергся город Керчь 27 октября 1941 года. Большие группы фашистских самолётов в течение нескольких часов, делая один заход за другим, обрушивали смертоносный груз на морской порт и железнодорожную станцию. От вражеских бомб взорвался тральщик «Делегат», гружёный боеприпасами. Рвались боеприпасы и на других судах, на молу, на станции. Погибло много людей. Последствия налёта оказались крайне тяжёлыми: порт и железнодорожная станция вышли из строя. Началась эвакуация жителей. Рыболовные суда, выполнив задание Азовской военной флотилии по перевозке войск, ушли на Кубань.

К осени 1943 года город Керчь представлял из себя сплошные развалины: ни одного целого квартала, даже отдельного дома. Немцы в городе не жили, а размещались в восьми километрах от станции Багерево, там же стояла и их истребительная авиация. К ноябрьским праздникам 1943 года войска Северо-Кавказского фронта, освободив Кубань, вышли к Керченскому проливу, где высадили десант на крымское побережье восточнее города Феодосии.

После расформирования 5-го смешанного бомбардировочного авиационного корпуса, в июле 1943 года, я был назначен заместителем командующего 4-й воздушной армии. Восточнее Керчи, бывшей ещё под немцами, войсками отдельной приморской армии, при активной поддержке авиации 4ВА был отвоёван плацдарм, на котором создан Главный командный пункт по управлению всей авиацией. С момента высадки наших войск на керченском плацдарме, с ноября 1943 года до начала нашего генерального наступления в апреле 44-го я неотлучно находился на ГКП. Мною была выбрана высота — 153,2 м. Высота обстреливалась днём и ночью. Прикрытие сухопутных войск от налёта вражеской авиации обыкновенно осуществлялось непрерывным патрулированием наших истребителей в течение лётного дня. Не без труда достали у артиллеристов радиолокационную станцию английского производства. Сняли со сбитого «мессера» радиоприёмник. Посадили двух ребят, сносно знающих немецкий язык, и с этого времени были уже в курсе всех переговоров врага. Больше истребители не бороздили впустую небо. Авиационные эскадрильи в готовности номер один ждали на аэродромах. Как только радиолокация сообщала, а данные переводчиков подтверждали, что авиация противника готовится к взлёту, мы условным сигналом «Восток», «Заря», «Запад» поднимали наши «ласточки» на перехват, атакуя фашистов зачастую на их же территории. Паника среди немецких лётчиков стояла порядочная. Бывало, что они по неделе, по две не появлялись в нашем районе. С середины ноября 1943 года по апрель 44-го, когда началась операция по освобождению Крыма, нами было произведено более 30 тысяч самолётовылетов на перехват фашистских штурмовиков Ю-87, бомбардировщиков Ю-88, «Хенкель-111», а также истребителей «Мессершмитов»-109 и 110.

Весной 1944 года стояли затяжные дожди. 11 апреля я получил задание от своего командующего Вершинина провести разведку. Вылетел я на рассвете на Ут-2 с целью посмотреть, на какой рубеж вышли наши войска за ночь. Во второй кабине со мной летел авиамеханик. При нём был автомат и несколько десятков дисков, полностью забитых патронами. Взлетев с площадки в направлении Азовского моря, я пошёл на запад вдоль его берега. Было раннее утро, солнце ещё не всходило. Кругом — тишина, только наш мотор М-11 что-то бормочет себе под нос. Через некоторое время, взяв курс на юг, к берегам Керченского пролива, я вышел километрах в двадцати южнее Керчи. Неожиданно по левую руку увидел дымящийся разбитый поезд и немцев, бегущих с этого поезда. Позади состава шёл офицер. Местность отлично просматривалась, так как полёт шёл буквально в двух-трёх метрах от земли. Немец заметил меня и начал вскидывать винтовку к плечу. Но я сразу цыкнул на него, и он с перепугу свалился с железнодорожной насыпи, а мой авиамеханик Николай Петров дал по нему несколько очередей из автомата. Я изменил курс своего полёта и вышел к Турецкому валу. Увы! Я увидел страшную картину. Начиная от Азовского моря и до самого Керченского пролива, по всему Турецкому валу лежали фашисты в своих зелёных шинелях. По краям стояли вышки с пулёметными установками, из которых немецкий патруль нас обстрелял. Я прошёлся вдоль и поперёк над ними, а Николай строчил из пулемёта.

По данным нашей авиаразведки были посланы штурмовики и бомбардировщики…

…Враг рвался к Грозному и Баку. Приказ был—«ни шагу назад»! Стоять насмерть! В Дербенте работал хирургический лазарет, куда отправляли тяжело раненных. В лазарете я дежурила ночами, мыла полы, стерилизовала бинты и инструменты, перевязывала раненых, сидела около умирающих, совсем ещё юных лётчиков, присутствовала при операциях ампутации рук и ног, сдавала кровь на переливание.

Туго перетянута вена. Вплотную—кровать, на которой лежит тяжело раненный лётчик, мальчик почти. Лицо крахмально-белое, неживое. Идёт прямое переливание. И вот на моих глазах я замечаю, как его кожа как бы розовеет. Конечно, нас не хватало, нас было мало. Дополнительно был объявлен набор вольнонаёмных девушек-комсомолок. На курсах спецподготовки нас обучали военному делу, воинской дисциплине. Мы знали винтовку, как стрелять. Маршировали вместе с новобранцами, а за нами бежала детвора.

Наши войска освобождали Северный Кавказ, Моздок, Нальчик. Немец покатился. Началось освобождение Кубани, кубанских станиц. Части Воздушной армии стремительно перебазировались. После одной из таких перебазировок я попала в 28 РАБ, 4-й Воздушной армии экспедитором на пункт сбора донесений.

С тяжёлыми боями войска продвигались на Таманский полуостров. Шли сильные дожди. Немцы драпали, сжигая деревни, мосты, хутора. В только что освобождённых от врага станицах штабы расквартировывались по уцелевшим домам. Первым делом необходимо было подготовить помещение: вымыть, сделать дезинфекцию, протопить. Совсекретную и срочную корреспонденцию приходилось доставлять и ночью. Непроглядная тьма, непролазная грязь. Бьют дальнобойные орудия, простреливают автоматные очереди. Одинокие выстрелы. Лают собаки. Где-то прячутся недобитые немцы.

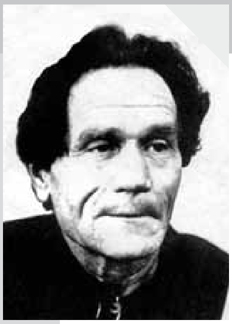
9 октября 1943 года освободили Тамань. Лётчики 4 Воздушной Армии и 2-Гвардейская Таманская дивизия шли вместе. Осенью 1943 года началось освобождение Крыма. 2-я Гвардейская стрелковая дивизия высадилась севернее города Керчи, а части 18-й Армии высадились южнее, в районе Камыш-Бурун. Обе десантные группы должны были овладеть Керчью. Над Керченским плацдармом шли непрерывные воздушные бои днём и ночью. Вблизи посёлка Маяк, на переднем крае обороны, закрепился командный пункт—КП, возглавляемый зам. командующего 4ВА генералом Слюсаревым. Здесь, у самой линии фронта, на полевом аэродроме, стояла истребительная эскадрилья 88 полка. Лаги-3 поднимались на перехват бомбардировщиков противника по вызову радиостанции наведения.

В то время на керченских передовых, особенно в районе косы Чушка не хватало продовольствия. Меня отправили самолётом По-2 для подвоза картошки и круп на передовые командные пункты. В марте месяце меня послали на точку генерала Слюсарева отвезти тематику лекций, которые мы могли бы прочесть. Лекции я отнесла, но пришлось остаться на КП и временно поработать телефонисткой по причине нехватки людей. Я стала участвовать в числе защитников Керченского полуострова. Там, на том берегу, начальником был полковник Кононенко, а я попала в подчинение к начальнику политотдела. Была вовлечена в комсомольский актив, готовила стенды, газеты, лекции. Весной 44-го года в землянке—полно воды. Я сижу на нарах при освещении карбидной гильзы, вырезаю из газет статьи и очерки и клею материал в армейскую газету. Угорела тогда от карбида и ацетона так, что свалилась в воду и чуть не утонула в своей же землянке.

Я видела воздушные бои ночью, когда наши лётчики сбивали немецкие бомбардировщики и те, загораясь, падали в море. Наблюдала воздушные бои истребителей, когда вспыхивал тот самолёт, который настигали первым. 16 марта 1944 г. наши лётчики за один воздушный бой сбили двенадцать вражеских «Юнкерсов-87» и один истребитель «Мессершмит-109».

Наступление в Крыму стало стремительным. Ночью 12 апреля 2-я Гвардейская стрелковая дивизия вышла к Ак-Монайским позициям. Сердце моё рвалось на части: там, совсем близко, в Старом Крыму, томятся в плену папа, мама, брат, бабушка. Тринадцатого апреля я была уже в своём родном, освобождённом Старом Крыму. Только мои родные не дожили до Победы: их расстреляли немцы ещё год назад за связь с партизанами. Быстро освободили мой Крым. Немцев гнали днём и ночью.

Может быть, это и было самое главное в моей жизни. Это было моё время на земле. Может быть, именно поэтому сегодня, накануне Дня Победы, когда нет в живых уже моего мужа, я вспоминаю своих товарищей, бои, оттепель и проливные дожди на Южном фронте.



Пётр Коваленко

# Солдатский хлеб



Снится пепел деревни,
В рваных ранах большак—
Из кольца окруженья
Всё не вырвусь никак.
Всё сжимаю гранату,
А швырнуть не могу.
Умирают солдаты
На бегу, на бегу.
А меня всё минует,
А меня всё щадит.
Чем за щедрость такую
Буду в жизни платить?
Может, правда, в рубашке
Мать меня родила?
Попытать в рукопашной—
Эх, была не была!..
Чёрный пепел деревни,
Кровью залит большак.
Из кольца окруженья
Всё не вырвусь никак.

## Перед атакой

Упало небо на окопы,
В испуге прячется в щелях.
Земля в глазах,
Земля и копоть,
Земля в ушах и на зубах.
Песком засыпаны ребята,
Кто мёртвый,
Кто ещё живой.
А надо встать,
Кому-то надо
Шагнуть за бруствер огневой.
Мне только-только восемнадцать.
Я не любил ещё, не жил.
Мне мама снится,
Книжки снятся,
Родной речушки камыши.
Они живут со мною рядом
Одной тоской,
Одной мечтой,
А надо встать,
Кому-то надо
Шагнуть за бруствер огневой.
В глаза земля,
Земля и копоть,
Гудит гроза над головой,
Встаю над ранами окопа,
Встаю на бруствер огневой.

## Встреча в разведке

…Сошлись нос в нос,
Столкнулись грудью в грудь.
Разведка натолкнулась на разведку—
Как будто в поле негде разминуться.
Без криков,
Без проклятий,
Кто кого…
Душили,
Грызли,
Резали,
Кололи…
И не хватило у зимы снегов
Засыпать лужи крови в бранном поле.

…И до утра я не сомкну глаза.
Маячат мертвецы в кошмаре мглистом.
И бьётся из-под лезвия ножа
В дымящий снег струёю кровь фашиста.

## Солдатский хлеб

Горела степь,
Горело небо,
Гудел войны тяжёлый гром.
На взвод принёс ефрейтор хлеба,
Принёс, рискуя под огнём:
«Вот вам…».
И молча сдёрнул каску.
Лежали мёртвые в дыму.
И был тот жданный хлеб солдатский
Уже не нужен никому.

## В палате

Сестра, сестра!
Открой окошки настежь!
Я новой песней встретить день хочу.
И, оттолкнувшись от невзгод вчерашних,
Я, может, тоже к звёздам полечу.
Кровать моя мне будет стартплощадкой,
Подушка кислородная—скафандр.
Не плачь, сестра,
Поправь бинты-заплатки,
Я не умру,
Я не умру от ран!
А в градуснике ртуть—всё выше, выше,
И кровь сочится снова сквозь бинты…
И звёзды шепчут мне всю ночь над крышей:
«Вставай, солдат, вставай!
Мы ждём, лети!»

Иван Соснин

# Я девять дней, как жив…

Есть камуфляж и пара крепких рук;
огонь в глазах расцвечен трассерами,
а волосы не выжжены боями,
хоть было их—сочти, поди-ка, друг!

Есть дом и в стену ловко вбитый гвоздь;
есть хриплый голос с полного стакана,
когда под звон гитары грозно-рваный
в крест виновато прячется Христос.

Есть горький дым и острые виски.
Есть сны и море, женщины и море,
но всё, что было—мёртвое, живое—
хоронит ночь в зыбучие пески.

Есть молодость, друзей случайных круг,
и орден Мужества—за мужество! Достоин!
Нет только ног—по самое мужское.
Асфальтом скачет жизнь под парой рук.

Рождённый в плазме северных морей,
домой однажды с пламенем безумным
вернётся в жёлтом пластике Борей
за новобранным перебором струнным;

за бранным словом, вброшенным в рассвет,
за воскресеньем, сломанным привычно,
за тем, кто слогом выстрела отпет
на всём пространстве мира безъязычном;

и иностранно, будто невзначай,
разбудит слёзы в листьях придорожных,
и, сбитый бурей, росный иван-чай
уронит небо звёздами тревожно

в вороний грай, в летящую метель,
в сырую тяжесть глиняных квадратов,
где роты стянуты в ковыльную постель,
непреходящим: русские солдаты…

Для уходящих время не стоит,
не врезан в память голос запылённый,
и в ретуши с серванта не глядит
бессменно мальчик, чем-то удивлённый.

Замены нет; ему и всем, кто взмыл
над медным роем, души обретая;
кого из пламени прощания с живым
Борей в бессмертие вплетает…

Город ещё дышит,
но пульс его отгремел.
Он тихую музыку слышит,
забыв, что когда-то пел.
Изломаны рук мостовые,
руинами вспорот живот,
и светится в раны сквозные
холодный январский восход.

**19 января 1995** [1]

Я девять дней, как жив;
пружинящие швы
распались на груди
на точки огневые;
по новой бьёт свинцом
близ сердца, под соском,
в бинты через проём,
в блокады болевые.

Я девять дней, как цел;
молитвы перепел
за всех, кто не успел
в периметре метели;
за всех, кто шквалом вмят
в окалину наград,
за каждого, кто ад
вбивал обратно в щели.

Я девять дней в бреду;
к оставшимся бреду
с предательством во рту,
в хрипящий гарью зуммер;
с заката на рассвет,
над слякотью газет,
исправлен и воспет
я девять дней, как умер.

1. 10 января 1995 года в г. Грозном был введён мораторий на завершение войны.

Выпуск подготовила Марина Переяслова

Николай Беседин

# Тягловая сила



## Смерть дерева

Она смотрела на картину в лёгкой ореховой раме и не могла понять, что притягивало её к этому заурядному пейзажу морского побережья? Её, известного искусствоведа, научного сотрудника Третьяковки, по-дружески знакомой с такими мастерами, как А. Пластов, М. Сарьян, С. Герасимов, Д. Корин, А. Лактионов, случайно зашедшую на выставку живописи в районный дворец культуры?

Она не находила на полотне никаких признаков оригинального видения натуры ни в цвете, ни в палитре, ни в изображении деталей и картины в целом. Это была заурядная работа способного, но не более, художника.

И всё же она не могла оторваться от этого полотна. Картина называлась «Отлив». Море отхлынуло от каменисто-песчаного берега, обнажив ещё недавно скрытые толщей воды, скользкие, волокнистые камни, бутылки, консервные банки, какие-то монеты, расплывшиеся в бесформенную студенистую массу медузы, мёртвые ракушки, обрывки воздушного шарика. Между всем этим хламом была одна живая душа — чуть изогнутая рыбёшка, стремящаяся спастись бегством из пространства, покинутого жизнью.

Берег был пустынным, скорее всего, осенним и холодным. Море вдали казалось спокойным, тревожно поблёскивающим тяжело-свинцовыми глубинами, и только у самой прибрежной спайки слегка вздымало грязноватую пену. У самого горизонта угадывался силуэт паруса — непременная деталь тривиальных морских пейзажей, как и церковь на полотнах, изображающих русскую местность.

И всё же Анну Ильиничну этот пейзаж не отпускал от себя, и она присела на стул, стоящий напротив.

Отлив, отлив… повторялось и повторялось в её сознании, пробуждая давние события и людей, которых странным образом объединяло это слово и придавало смысл настоящему, совершенно независимый от воли автора пейзажа.

…Перед войной она окончила суриковский институт с углублённым знанием немецкого языка и чуть более года успела поработать экскурсоводом групп иностранцев в Третьяковке. К этому времени она уже ясно понимала, что Бог наделил её весьма слабым талантом художника, которому не под силу было создать свою манеру рисунка и особенное, отличное от других видение натуры. Её работы несли на себе вторичность, отголоски других, крупных мастеров, и она не могла вырваться из их плена. Живопись пришлось оставить, но для себя она всё-таки нашла милое утешение — керамику, в то время ещё совсем не модную. Душа, однако, принадлежала живописи и только живописи.

Она боготворила старых русских мастеров и молодых талантливых живописцев, многих из которых знала лично, особенно выделяя влюблённых в русский пейзаж, в жизнь простонародья и героические страницы российской истории. Она писала обзоры с выставок, монографии, увлечённо рассказывала посетителям о шедеврах Третьяковки. И может быть, талант художницы ещё заговорил бы в ней в полный голос, но началась война, и Анна Ильинична поступила на курсы военных переводчиков к Нарроевскому.

Её настольной книгой стала «Техника допроса пленных» Н. Биязи, а целью жизни — ремесло солдата. По окончании месячных курсов её направили в штаб Западного фронта, затем — Воронежского, а в 44-м — 3-го Белорусского.

Смелая, властная она участвовала в самых рискованных операциях, забрасывалась в тыл к партизанам под Барановичи в составе группы 117. Убедила полторы тысячи пленных немцев, закрытых в ветхом сарае, которых охраняли трое наших автоматчиков, не пытаться соединиться с прорывающейся из окружения рядом с ними немецкой частью. Была в составе парламентёрской группы из четырёх человек, предложившей капитуляцию под дулами «пантер» дивизии вермахта в предместьях Берлина.

Пожалуй, это было лучшее время в её жизни. И потому, что она ощущала себя частичкой могучей силы, плоть от плоти великой державы, и потому, что была молода и полна самых смелых замыслов и планов, и потому, что любила впервые по-настоящему, растворяясь в этой любви, полной неожиданных встреч и ожидаемых расставаний, тревожных разлук и сладостной близости.

Он был разведчиком, капитан Назаров, — сперва дивизионным, потом армейским — бывший таёжный промысловик, пограничник, высокий, темноволосый, скупой на слова и целомудренно-нежный, как деревенская девушка. Они собирались пожениться сразу после Победы, но его, отчаянного и по-звериному хитрого, послали в конце апреля 45-го в Западную Украину, где он был предательски убит прямо в комнате военной комендатуры.

В тот день, когда она узнала об этом, покачнулась и отхлынула светлая глубина её судьбы,

обнажив первые неподъёмные, скользкие глыбы пустынного прибрежья.

Она вернулась в Третьяковку, стала экскурсоводом, потом старшим научным сотрудником, специалистом по русскому изобразительному искусству от Боровиковского до мастеров советской живописи, но главную свою привязанность отдавала передвижникам. Они подпитывали её душу трепетным чувством восторга перед русской природой и верой в простодушный и несгибаемый в тяготах и бедах народ, к которому она принадлежала.

В это же время она сближается с признанными мастерами реалистической школы и её молодой порослью — такими, как Виктор Попков. Она никогда не жаловала становящихся всё более модными Малевича, Кандинского, Лентулова, Шагала, называя их талантливыми шарлатанами, и избегала говорить о И. Глазунове.

Жила она одиноко, в коммунальной квартире в Замоскворечье, не прилагая никаких усилий на получение положенной ей, как участнику войны и очереднице, отдельной квартиры.

В 1954 году её вызвали в министерство культуры и попросили провести экскурсию в Третьяковке для освобождённых из плена высших немецких офицеров.

— Они изъявили желание перед отъездом на родину познакомиться с русским искусством. Вы, Анна Ильинична, свободно владеете немецким языком и прекрасно знаете Третьяковку. Лучшей кандидатуры и пожелать нельзя.

Она долго смотрела на чиновника от культуры, как будто хотела увидеть в нём что-нибудь схожее с теми, кто победил этих самонадеянных потомков Зигфида, и не увидела.

Резко ответила:

— Я не буду читать лекцию на языке побеждённых.

Уговоры и даже угрозы чиновника не помогли, и он вынужденно согласился:

— Хорошо. Мы подыщем переводчика.

И действительно, ей представили перед лекцией одного из группы немецких офицеров — генерала, хорошо знающего русский язык.

— Герр генерал когда-то сам был художником, он и будет переводить.

Она подумала: странно, что им оставили их военную форму полковников и генералов с гусеницами (Raupenschlepper) на погонах и только трое из двадцати были в штатском.

Медленно, уверенно ступая, именно ступая, а не идя, по паркету залов Третьяковки, они равнодушно смотрели на картины Репина, Левитана, Верещагина, Васильева, Саврасова, Сурикова, Врубеля, поглощённые словами своего генерала.

Анна Ильинична быстро поняла, что её рассказ о самобытных русских художниках переводится совершенно иначе, с грубыми искажениями её слов.

Переводчик говорил, что всё русское искусство подражательно, не имеет своей школы и не представляет никакой художественной ценности. Русские художники — просто хорошие копиисты западных мастеров, находятся под их полным влиянием.

Она грубо на чистом немецком языке оборвала генерала и сказала, чеканя каждое немецкое слово:

— Ещё один неправильный перевод, и вы будете возвращены в лагерь на много лет, пока не изучите историю русского искусства и не поймёте его роли в мировой культуре. И поверьте: я добьюсь этого!

В дальнейшем перевод был абсолютно точен, с некоторым даже подобострастием к классикам русской живописи.

После этого случая её отстранили от проведения экскурсий, оставив научную работу и редкие заказы на статьи о творчестве художников из республик.

Страна медленно, но неуклонно менялась, теряя строгие черты одухотворённого аскетичного лица и те национальные особенности, которые начали пробиваться в её облике в конце тридцатых и сороковые годы.

Слёзы оттепели текли по храмовым куполам, граниту постаментов и древним каменным твердыням, смывая названия улиц, городов и целые страницы истории.

Анне Ильиничне предложили прочитать цикл лекций о русском искусстве студентам Литературного института им. Горького. Она с радостью согласилась:

— Они должны знать как никто своих предшественников на ниве духовного служения народу.

Но уже через полгода лекции отменили по какой-то неведомой ей причине.

…Она снова подошла к картине.

Ей показалось, что отлив продолжается и море ещё больше обнажило осенний берег.

Глубины отодвинулись, увеличив полосу отмели, по которой бродила нахохленная ворона (и как она не заметила её сразу?), выискивая поживу.

Что-то болезненно-тоскливое было в этом отливе, не оставляющем надежду на возвращение живоносной морской стихии.

Она снова села на стул. Ей никуда не хотелось идти, да и куда?

Постепенно ушли, распрощались с ней навечно её близкие и друзья, не стало Пластова, Жилинского, Чуйкова, Сарьяна, даже Вити Попкова, случайно убитого. Похороны, похороны… Она устала от них.

Уже середина восьмидесятых, ей за семьдесят. Стареет её сердце, и она, как может, поддерживает его воспоминаниями и святой ложью о близких радостях. Но сердце не обманешь.

И оно, наверное, только из милосердия к ней продолжает биться изо всех последних сил.

Ей вдруг захотелось увидеть картину «Смерть дерева». Она закрыла глаза.

…Летний, солнечный день. Почти в центре полотна возвышается, нет, царствует над всем видимым пространством могучее дерево. В его густой сочно-зелёной листве играют отблески света, властвуя над полупрозрачными тенями.

Почти физически слышатся голоса птиц и ощущается знойный аромат древесной смолы. Дерево устремлено каждой ветвью и каждым листом в беспредельную глубину неба.

Рядом стоят люди с топорами, ещё не решаясь, но уже готовые впиться смертоносными жалами в могучий ствол лесного великана, переполненного радостью жизни и утверждением красоты.

Нет, это не о ней и не о сегодняшнем дне. Это о её молодости, о друзьях и о той стране, которая одержала Великую Победу. И не только на ратном поле.

Она поднялась и медленно пошла к выходу, не взглянув на морской пейзаж. Она боялась увидеть, что моря уже нет, что остался только до самого горизонта изгаженный испражнениями прогресса голый, безжизненный берег, покрытый воронами.

## Тягловая сила

— Елена Васильевна, можно мне завтра не приходить в школу?—худенький мальчик девяти лет в латанной на локтях рубашке, перехваченной ремнём, стоял, откинув крышку парты, и смотрел безучастными глазами на учительницу.

— Что случилось, Миша?

Мальчик молчал, переведя взгляд на окно. Потом и вовсе опустил низко голову и поднёс кулачки к глазам. Девочка, сидящая за соседней партой, встала и тихо ответила за него:

— У него папу убило. Похоронка пришла.

Учительница, молодая женщина в коричневом платье с белым кружевным воротничком, торопливо сказала:

— Иди, Миша, домой. Иди сейчас. Я приду к вам.

Она опечаленным взглядом проводила мальчика до дверей и ослабно опустилась на стул.

Она молчала минуты две-три. В бревенчатых стенах просторного холодного класса над старенькими партами стояла горевая тишина. Повзрослому сдержанные дети понимали, что их учительница сама недавно получила похоронку о гибели мужа и трое детей, трое голодных сирот от двух до восьми лет ждут её дома.

Учительница подошла к чёрному прямоугольнику на стене.

— Запишите, дети, задание на дом.

Диктуя вслух, она написала на доске параграфы задач, немного подумала и часть из них стёрла, оставив один.

— А сейчас давайте вспомним четвёртое действие арифметики.

…Снег болезненным скрипом отзывался на торопливые шаги Елены Васильевны, и это мешало ей сосредоточиться на том, что скажет она матери Миши. У неё тоже трое, и Миша—старший из них. Но когда она вошла в избу и увидела осунувшуюся женщину, тупо глядящую вниз, на руки, машинально чистящие картошку, не слова, а тихий плач вырвался из её сомкнутых губ. Она увидела себя и свою горемычную долю вдовы в этой отрешённой ото всего женщине, опустилась рядом, обняла её, и они тихо завыли, протяжно, бессловесно, безудержно, и это стенание постепенно освобождало их души от неизносного горя, отодвигая его куда-то вглубь и примиряя с непроглядной вдовьей долей.

Домой Елена Васильевна пришла, когда уже темнело. Старший, Никитка, топил печь, а меньшие, Алла и Юра, ползали по полу кухни, катая мячик из туго сваленной шерсти, с которым играла кошка.

Она переоделась и пошла в сарай. Корова Зорька встретила её радостным мычанием и потянулась мордой к карману телогрейки.

— Нет, Зорюшка, ничего нет. Вот тебе немного сена да попей водицы.

Она поставила ведро воды, собранной после мытья посуды, перед ней и села доить.

Струйки молока весело вызванивали о ведро, успокаивая и ослабляя груз мыслей о ближних и дальних заботах и нуждах, о муже, с гибелью которого на фронте она не хотела и не могла примириться, надеясь, что, может быть, ошибка, может, он в госпитале или затерялся где, ведь бывает, говорят, такое. Нужно пойти погадать к Фросе, хоть и стыдно это делать ей, учительнице, да всё полегче будет.

Нужно старшему заштопать штаны, а дочурке обещала сшить из тряпочек куклу. Надо сходить в сельсовет попросить лошадь да привезти из тайги кряжи, что заготовили с сестрой на прошлой неделе. Самого младшего, Юру, хорошо бы отправить к мужниной сестре в Черногорку, она сама предложила взять его на полгодика или год. Пора бы перебрать картошку в подполе да поправить ставни и калитку, а то совсем, гляди, рассыпятся.

Она привыкла к этим бесконечным «надо», и они уже не раздражали её, как было вначале, когда она с детьми приехала, как началась война, в сибирское село, на родину, к матери, из дальневосточного гарнизона, в котором служил муж.

Здесь, в сибирской глухомани, в 80 километрах от небольшого посёлка и станции, издавна обосновался род Осиповых, ведя своё начало от ссыльного декабриста, а сейчас жили мать с младшим братом и сестра-солдатка с двумя дочерьми. Сперва жили в родительском доме, а через полгода сельсовет выделил новой учительнице дом, что освободился от лесозаготовителей, ушедших на фронт.

Закончив доить корову, она подбросила ей сена, подвинула лопатой свежий навоз к стене, закрыла за собой на засов сбитые из жердей в два ряда тяжёлые ворота и пригребла к ним снег.

Зимняя ночь распахнулась над ней звёздной бездной, стылой и неуютной, пугающей своим молчанием и отчуждённостью от земных бед и горя. Елена Васильевна обернулась на сарай, на двор, чтобы убедиться, что всё прибрано, и вошла в холодные сени.

Была только середина зимы, а она уже устала от неё. В октябре выпал коренной снег, и пришли устойчивые морозы. Сено для Зорьки уменьшалось на глазах, а другого корма почти не было, кроме картофельных отходов. Слава Богу, картошка уродилась, до весны должно хватить и на посадку остаться.

…Дети уже сидели за столом, поставив перед собой пустые тарелки, и она положила им отварной картошки, по пёрышку мочёной черемши и налила молока.

— А хлеба?—захныкал младший.

— Я вам оладышек напеку в воскресенье.

— А когда воскресенье? Завтра?

Это уже дочь спросила и опустила голову к тарелке.

«Как быстро взрослеют дети,— подумала она,— понимают, как тяжело, и смиряются». Старшему восемь лет, а уже помогает во всех домашних делах, даже корову может подоить. Что бы она делала без Никитки?

Когда наконец дети угомонились и легли спать — младшие на истопке, а старший на широкой кухонной лавке — она села в комнате за школьные тетради. И только тогда обнаружила, что забыли закрыть ставни. Никитку не хотелось тормошить, и она подумала, что обойдётся и так, ночь тихая, тепло выдуваться не будет. Пламя коптилки подрагивало, и от этого тусклый её свет метался по стенам и потолку и лишь на заиндевелых стёклах окон отражался спокойно, словно примерзая к ним.

Когда уже закончила проверку тетрадей, она заметила тёмное пятно на оконном стекле, поднесла поближе коптилку и чуть не выронила: на неё с улицы смотрела волчья морда. Немигающие колкие глаза, обросшая седоватой шерстью морда и клочки пара, отрывающиеся от носа и тут же исчезающие в ночной тьме, вызвали у неё оцепенение всего тела, ноги стали ватными и непослушными. Едва слышно вскрикнув, она осела на стул. Никитка зашевелился и сонным голосом спросил:

— Ты что, мам?

При мысли, что может напугать детей, она заставила себя подняться и резко поднести коптилку к самому пятну. Волк отпрянул.

— Ничего, сынок, всё хорошо. Спи.

Она не могла вспомнить, чтобы когда-нибудь волки заходили в село, а тем более заглядывали в окна. Видать, и они бедствуют и голодают. И чувствуют, что в селе не осталось мужиков — охотников. Нужно предупредить всех, и детей в первую очередь.

…Пришёл буднично Новый, 43-й год, год робких возрождающихся надежд. Елена Васильевна стала замечать, что не только дети, но и взрослые стали больше улыбаться и как будто обрели новые силы исполнять каждый своё маленькое дело, будь то председатель сельсовета, тракторист, швея или учительница.

Люди жили сводками с фронта, слушая их у сельсоветского репродуктора, новостями тыла, работающего до изнеможения, до сверхчеловеческого терпения и жертвенности.

Каждый чувствовал себя частицей огромного тела, которое напряглось в смертельной схватке с врагом сверх своих физических сил и, казалось, вот-вот ослабнет и упадёт, но могучий дух предков и та энергия, что передавалась незримо от каждого павшего в этой схватке, от каждой пяди разорённой земли, бросали его вновь и вновь на многоголовое чудовище, и оно пятилось, истекая кровью.

Люди не ушли каждый в свои нужды и горе, не обособились, а сплотились в одну семью, в один род, помогая друг другу, поддерживая и переживая чужое лихо, как своё. Они поняли, что только вместе смогут выжить и победить.

…На святки Елена Васильевна сходила к гадалке, и она, раскинув карты так и эдак, успокоила: муж Вася живой, только сильно ранен, может быть, даже без ноги, но вернётся. На радостях она решила устроить маленький праздник по случаю дня рождения старшего сына, пригласив его друзей. За столом уселись с весёлой суматохой шестеро детишек, и она подала им шесть блюд: пюре, жареную и отварную картошку, драчёны, оладьи из пюре, разбавленного молоком, и блинчики из крахмала.

У детей сперва буквально дух захватило от обилия кушаний, они стали брать из каждой тарелки, пока наконец не поняли:

— У-у, так это всё картоха…

Однако потом ещё долго вспоминали этот день и обилие еды на столе, которая в детских фантазиях превращалась в довоенную и самую вкусную на свете.

Зима затягивалась, и всё труднее было изобретать еду для детей и находить корм для Зорьки, которая жалостливо мычала и тощала на глазах. Чтобы как-то продержаться до первого тепла, Елена Васильевна взялась шить рукавицы для фронта и выполнять мелкое шитьё по заказам селян. За это платили кто чем мог, а сельсовет расплачивался подпорченной крупой, которая шла на корм корове.

Придя из школы, накормив детей и подкинув немного корма Зорьке, она расчищала дорожки от снега, колола дрова для печки, шила рукавицы и штопала одежду и только потом, уложив детей спать, часто уже за полночь садилась за школьные тетради и подготовку уроков.

Ночью младшие будили её то плачем, то просьбами сходить на горшок, перебивая и без того короткий сон. А рано утром, ещё по темноте, она кормила корову, готовила нехитрую, чуть тёплую еду, и шла в школу. Иногда ей казалось, что она вот-вот рухнет и не сможет подняться или заболеет и умрёт, и дети останутся круглыми сиротами, брошенными в эту беспощадную жизнь беспомощными и беззащитными. Эти мысли заставляли её снова и снова в адском круговороте забот и нужды находить каким-то образом силы и терпение и не поддаваться болезням.

…Однажды, идя из школы, она услышала звуки капели. Из свисающей с крыши дома сосульки падали капли: звень, звень… Глаза её повлажнели, и помимо воли упали слёзы на рыхлый потемневший апрельский снег, слёзы внезапно пробудившейся тихой радости, слёзы жалости к себе: звень, звень…

Она прибежала домой и бросилась протирать мутные стёкла окон, чтобы впустить в дом лучи весеннего света во всей их животворной нежной силе.

Весна принесла новые заботы, ещё более тягостные, казавшиеся порой неодолимыми. Нужно было вскопать огородные грядки под морковь, свёклу, горох и перепахать участок под картошку, выделенный сельсоветом на старых пахотных землях. Но как пахать, если лошадей в селе всего три, да и те казённые. У них свои дела. Зорька не потянет

из-за худобы своей и непривычности к тягловым работам.

Посудили-порядили с бабами да и решили объединиться и гуртом поднять пашню боронованием, чтобы хоть немного припушить землю. Плуг-то не потянут даже вдесятером, а борону протащить осилят.

Вместе с Еленой Васильевной ещё трое солдаток впряглись в борону, на неё посадили двух детишек, а пятая женщина, помельче, пошла следом, придерживая борону за верёвку, чтобы не виляла и не сходила с борозды, да и за детьми заодно присматривала.

Босые, в старых платьях из выбойки, перехлестнули они себя ремнями из конской упряжи поверх нежных грудей, подоткнули подолы, сдвинули косынки почти на глаза, чтобы спрятать свой собственный стыд, упёрлись в чуть прогретую солнцем родимую землю, напряглись их ноги, теряющие с каждым днём свою обольстительную стройность, и поволокли они борону по кочковатой старой пашне.

День за днём за неделю обошли они огородные наделы всех пятерых, а после вместе с детьми посадили картошку-спасительницу, присыпая лунки золой.

Стоял уже май, зацвели лютики на южных склонах гор и зазеленела трава, настойчиво пробиваясь сквозь спрессованную снегами каменистую почву.

А на северных склонах ещё лежал снег, пахнущий едва заметным дыханием просыпающейся тайги. Дети бегали за диким луком — слезуном, играли в лапту и бабки, старшие в редкие свободные часы ставили на речке Сибуле морды, но уловы были скудные — так, речная мелочь — но и она поможествовала восстановлению сил после тягостной зимы.

В конце мая закончились занятия в школе, и Елена Васильевна распустила свой второй класс до осени. После окончания посадочных огородных дел навалились заботы о младших: Аллочка заболела корью, а Юрик болел, кажется, не переставая, то простудой, то животиком, то кожной сыпью. Врач говорила, что ему здесь не климат, и советовала отправить в другие, более тёплые и сухие края, хорошо бы на юг, да где он теперь, этот юг и эти тёплые края?

И всё же она отвезла его к мужниной сестре в степные места, в Черногорку.

У Моти своих детей не было. Двое умерли в младенчестве, и она испугалась своего материнского рока и больше не хотела его испытывать, не столько боясь за себя, сколько за безвинное дитя. Жили они с мужем Митей в достатке, он был начальником станции и не позволял ей работать, поэтому Юру они приняли с радостью, и тихая ухоженная квартира в пристанционном доме наполнилась весёлыми хлопотами и нарочитой строгостью несостоявшейся матери.

Неделю, пока Елена Васильевна была в отъезде, домашними делами занимался её старшенький, за которым изредка присматривала соседка. Но её вмешательства так и не потребовалось: Никитка сам доил корову, пас на луговинах и пустолесье, сам же готовил еду для себя и сестрёнки.

Соседка потом говорила Елене Васильевне:

— Он у тебя скоро совсем станет за мужика. Быстро они взрослеют — детишки военного лихолетья, обделила их судьба детством. И кто знает, как это опосля отзовётся.

Елена Васильевна и сама замечала, как мальчики и девочки, которым ещё играть бы да играть в машинки и куклы, становятся по-взрослому серьёзными, понимающими трагический смысл времени. Как быстро покидает детство детские души! И особенно печалило её состояние Никитки, в глазах которого словно застыла неизбывная тоска по отцу. Безотцовщина. Это тяжёлое слово всё чаще произносилось в обиходе, предопределяя судьбу целого поколения детей военных лет. Их матери по-разному стремились как-то облегчить груз потери мужской заботы и ласки, иногда торопливо находя отчима, но чаще оставались верны своему, родному для детей, мужу, оберегая их от душевных потрясений.

…После окончания занятий в школе Елену Васильевну попросили поработать в сельсовете с отчётами по зиме. Однажды, придя на работу, она увидела незнакомого, в военном кителе без погон, полнотелого, с большой лобной залысиной, мужчину.

— Знакомься, Лина, — сказала председатель сельсовета, — уполномоченный Олимп Аполлонович. Пробудет у нас неделю.

Олимп Аполлонович смотрел на Елену Васильевну, загадочно улыбаясь:

— Не знаю. Может быть и больше.

Протянув руку, он подошёл к ней, стоящей в растерянности у двери, и улыбка его постепенно стала самодовольной и многозначительной.

Она подала руку и тотчас вырвала её из его потной ладони. Стремительно прошла к своему столу и склонилась над бумагами.

Уполномоченный сел рядом на стул и стал расспрашивать о жизни в селе, о работе в школе, о зимнем подвозе продовольствия, но когда председатель вышла, подвинулся ещё ближе и перешёл исключительно на личные вопросы: где муж? есть ли дети? давно ли здесь?

Раньше, до войны, мол, заезжал сюда, но не припомню, чтобы мы встречались. Не мог бы я не заметить такую.

В Елене Васильевне на какое-то время проснулось женское любопытство (посмотрим, что ты за гусь) и даже кокетство (вот я какая!), но при одной только мысли: наши мужья там воюют, гибнут, а этот сытый боров тут языком метёт перед каждой юбкой — в ней привычно всё окаменело, погас даже слабый отблеск женского очарования, и она стала отвечать резко, с тем раздражением, которое относится скорее к себе, чем к другому.

Олимп Аполлонович оказался понятливым, к тому же привыкшим брать женские крепости не штурмом, а осадой, потому сослался на неотложные дела и удалился. В последующие дни он являл собой подчёркнутую учтивость. Неназойливое внимание его к учительнице со стороны

трудно было назвать ухаживанием, однако Елена Васильевна чувствовала, что уполномоченный не оставил намерение свести накоротко их знакомство, и старалась не давать для этого даже малейшего повода.

И всё же раза два уполномоченный проводил её до ворот, но в дом она его не приглашала и сразу же торопилась проститься. Миновала неделя, пошла вторая, а Олимп Аполлонович не оставлял попыток зайти к ней в гости.

Председатель говорила:

— Что ты дичишься? Не съест же он тебя. Васю не вернёшь, а нам, бабам, много ли надо? Ну посидит, полюбезничает… Мужским духом в избе повеет, и то дело.

И однажды, когда радостные вести с фронта приподняли её настроение, она уступила, оправдательно подумав, что он поможет распилить и расколоть два толстых кряжа, что валялись во дворе второе лето.

Уполномоченный с видимой охотой взялся за пилу и топор, позвав Никитку, но сын наотрез отказался, обиделся на мать и ушёл из дому. Пока гость безуспешно возился с кряжем, Елена Васильевна вскипятила чай, положила в плошку немного творога и на тарелку пару ломтиков хлеба. Дочурку посадила на истопку, и она выглядывала оттуда, как мышонок из норки, поблёскивая голодными, просящими глазёнками. Елена Васильевна не выдержала и дала ей кусочек сахара, добавив на стол картошки и черемши. Олимп Анатольевич вытащил из карманов банку мясных консервов, бутылку вина и конфеты, вымыл под умывальником руки, шумно, с каким-то остервенением, как-будто срывал злость за неподдавшийся ему кряж.

— Ну и чудище лесное! Где вы его только откопали да и привезли как?

— Да всё той же тягловой силой. Другой у нас нет. Давайте к столу, а то небось намаялись.

Гость налил в стаканы вина и долго произносил тост, избегая упоминаний о тех, кто на фронте, и закончил словами восхищения женщинами тыла:

— За тружениц, за матерей, невест и вдов!

Она только пригубила немного сладко-терпкого напитка, не знакомого ей по довоенной жизни, и заглушила его черемшой.

Уполномоченный слегка опьянел и почувствовал себя своим в доме, говорил напористо и высокопарно о своих заслугах, о желании помочь ей, вдове политрука, оставшейся с тремя детьми без мужской поддержки в тяжёлое, голодное время. А у него военный паёк, хорошая зарплата и, слава Богу, целы руки-ноги.

Это было уже выше её сил. Она вспомнила, что гадалка говорила о ранении Васи, что он, может быть, без ноги, но живой, что мучается где-то в госпитале, а она…

Всхлипнула Аллочка. Елена Васильевна подошла к ней и взяла на руки, приговаривая:

— Ну, что ты не спишь? Не заболела ли? Вот и головка горячая. Пойдём, я попою тебя чаем.

Уполномоченный вдруг как-то сник, снова налил себе стакан вина и молча выпил, не дожидаясь, когда она закончит заниматься дочерью.

Пришёл Никитка, насупленный, молчаливый, и сразу ушёл в комнату, где обычно занимался уроками.

— Ну вот видите, какой у меня «хвост», какие уж тут гуляния, да и к чему они? Не нужно вам приходить. Разве мало молодок да незамужних?

Олимп Аполлонович что-то говорил о своём особенном отношении к ней, что она ему приглянулась с первого взгляда и необходима ему, но Елена Васильевна была вся поглощена мыслями о муже, о той счастливой жизни с ним на Дальнем Востоке, о лилиях, которые он привёз ей однажды с учений, о поездках с ним на рыбалку, где он нёс её на руках через протоку, и смеялся, и целовал, стоя в воде по пояс.

Вася был высоким, черноволосым и весёлым, самозабвенно любящим детей, как и её, единственную у него. Она не могла себе представить, чтобы он был с другой женщиной, чтобы стал ухаживать даже шутя. А этот…

— Извините, Олимп Аполлонович, мне нужно заняться детьми, да и время позднее…

Уполномоченный несколько обиженно пробурчал что-то насчёт гостеприимства и попросил проводить его хотя бы до ворот.

В сенях он попытался обнять её, но Елена Васильевна мягко оттолкнула:

— Не надо, не надо, Олимп Аполлонович…

На следующий день председатель выговаривала:

— Лина, ты что так неласково обошлась с уполномоченным? Уехал ни свет ни заря. Теперь жди таких разнарядок, что небо с овчинку покажется…

Елена Васильевна не сдержалась:

— А ты хочешь через бабью ласку начальству понравиться? Сама бы и ублажала этого борова.

— Успокойся. Я же не упрекаю тебя. Это так, ради шутки. А вообще-то ты чем-то запала ему в душу. Спросил, когда Никитка в пионерлагерь уезжает. Жди снова в гости.

На том и кончился разговор об уполномоченном Олимпе Аполлоновиче.

…Торопливо лето в Сибири. Не успеют отцвести лютики, как поднимает свои зелёные головки сарана, и вот уже увалы да елани покрываются цветным ковром разнотравья, выплески запахов марьина корня, белоголовника, дикой смородины, жарков колышатся истомлённо над прогретой солнцем каменистой почвой. Тянется в неудержимой жажде испить быстротечную радость бытия каждая былинка, и не успеешь перевести дух после весенней страды, как наступает время сенокоса, и сколько оно продлится, отодвигая дожди и ветровое ненастье, никто знать не может.

В конце июля установилась ведренная пора, и женщины, даже те, у кого не было скотины, бросились с косами, вилами да граблями на покосные угодья в тайгу. Елена Васильевна вместе с другими солдатками поехала на подводе за малый кряж в сторону давно брошенной заимки, направив косу у деда Кузьмы и собрав кошёлку с едой. Никитке наказала смотреть за Аллочкой, блюсти Зорьку и дом.

Сын обиженно насупился:

— Опять уезжаешь. А мне опять домовничать.

— Потерпи сынок. Где мы ещё накосим для Зорьки сена? А через три дня я вернусь.

Но прошло три, и четыре, и пять дней, а она не возвращалась. Никитка отвёл сестрёнку к соседке, Зорьку привязал на задах и отправился в тревожном нетерпении на поиски матери в тайгу, к старой заимке, про которую слышал, что до неё километров девять-десять и что туда ведёт малонакатанная дорога. Чтобы не огибать ближнюю гору, как это делала дорога, он пошёл напрямик, надеясь сократить путь. Был полдень, солнце разогрело до мления хвою на елях и лиственницах, изредка пощёлкивали клёсты, и кружились на облысинах бабочки, но Никитке во всём чудилась опасность, усиливающая тревогу за мать.

Что с ней? Почему не вернулась, как обещала? Мало ли всяких зверей в тайге, да ещё, говорят, видели хоронившегося обросшего мужика — то ли беглого, то ли дезертира.

Он перевалил гору и, немного пройдя, наткнулся на знакомую вырубку, где с матерью и тётей валили зимой берёзы, распиливали их на короткие брёвнышки и вывозили потом на санях домой.

Где-то недалеко должна быть дорога, где-то недалеко… Он шёл и шёл, продираясь через упавшие деревья и заломы, мелколесье и мшистые ельники, но её всё не было и не было. Никитка ещё не чувствовал испуга, но всё тело его охватила неприятная растерянность, ноги помимо воли заторопились, глаза уже не отслеживали путь на несколько шагов вперёд. Он вдруг наткнулся на острый сучок лежащей ели и почувствовал, как по ноге течёт кровь. Никитка сел, поднял порванную штанину и стал вытирать кровь пучком травы. Кровь продолжала идти. Тогда он собрал немного жидкой хвойной смолы, сорвал широкий лист и, намазав его смолой, приложил к ране, прижав ладонью. Он сидел и думал, что, наверно, заблудился, что скоро ночь, что он никогда не ночевал в тайге, но всё это не пугало его, ибо сильнее страха была тревога за мать, желание найти дорогу и отыскать покосы, где она должна быть.

Он задавал себе вопрос за вопросом, понимая, что всё может случиться, но отступать было нельзя, просто он не имеет права отступить и вернуться домой ни с чем. Да и как найти дорогу к дому, он тоже не знал. Подождав, когда рана перестала кровоточить, он снова пошёл, не меняя, как он думал, направление к дороге.

Стало смеркаться. Шум вершин деревьев постепенно стих, и в тишине Никитка стал различать непонятные, пугающие звуки. Ему казалось, чо где-то рядом затаились неведомые звери, может быть, даже волки, и ждут, когда станет совсем темно, чтобы наброситься на него. Страх сжимал его сердечко до боли, ноющей, как рана на ноге, и он забрался кое-как на толстую высокую берёзу, нашёл наверху удобное место и сел, обхватив ствол руками. Он долго не мог уснуть, прислушиваясь к шорохам и очумелым крикам какой-то птицы, потом ему почудилось, что кто-то ходит внизу, похрустывая стланником, послышалось попискивание и хлопанье крыльев. Вся тайга наполнилась невидимой и потому ещё более пугающей жизнью. Забылся он, когда слабый отсвет далёкой утренней зари упал на вершины деревьев, но спал недолго, до полного прихода утра. Он слез с берёзы и пошёл наудачу на солнце, думая, что село у него за спиной. Тайга постепенно наполнялась привычными картинами и звуками: изумрудный окрас хвои переливался искорками, вспыхивающими от проникающих солнечных лучей, похрустывали под ногами краснобокие, ещё незрелые ягоды брусники, чуть заметно рдела малина, стремглав проносились меж ветвями белки и пахло грибным томлением в редколесье и на вырубках. Никитка в неосознанной отрешённости шёл и шёл, обходя завалы и кочкарники. Усталость подгибала ноги и расслабляла всё тело. Время от времени напоминал о себе голод, и почти постоянно — жажда.

Наконец он услышал журчанье воды. Ручеёк вытекал из-под вывороченного корня громадного дерева и через несколько шагов снова уходил под землю. Он склонился к нему и долго пил холодную воду.

Тут же рядом росли несколько кустов дикой смородины. Утолив жажду и острое чувство голода, Никитка сел в странном желании никуда отсюда не уходить, а просто сидеть и ждать, когда его найдут. Силы сопротивления усталости и безнадёжности поиска дороги оставили его.

Какое-то время он безвольно сидел, не думая ни о чём. В сознании проплывали знакомые события и лица, и ему казалось, что они не имеют отношения к нему, а пришли из какой-то чужой жизни, а не из его собственной. И только когда возникло лицо матери, тревожно-испуганное, с заплаканными глазами, он резко поднялся и снова пустился в путь.

Солнце уже клонилось к закату, когда он услышал слабый, далёкий крик. Он хотел побежать на этот голос, но ноги не слушали его. Он падал, поднимался, снова хотел бежать и снова падал. И вдруг почувствовал, что под ним твёрдая земля. Он встал и увидел, что стоит на дороге, а там, где она выходит из чащи, бегут люди, и впереди всех мама. Заходящее солнце освещало их смешные колеблющиеся фигуры, и они казались Никитке какими-то прозрачными, сквозь которые он видел деревья, и солнце, и что-то ещё, похожее на птицу, взлетающую в небо.

У Никитки наворачивались слёзы, ему хотелось припасть к материнским оберегающим рукам и расплакаться, но какая-то сила, ещё не осознаваемая им, удерживала слёзы, превращая их в тугой, давящий комок, который стоял в груди неодолимым препятствием даже для слов, и он молча посмотрел на родное лицо, болезненно улыбнулся и зашагал рядом.

…Перед новым учебным годом Елена Васильевна собрала своих чад, самую нужную домашнюю утварь и вещи и переехала жить в Черногорку, куда её настойчиво звала сестра мужа Мотя. Юрику у них стало получше, в городской школе нашлось место учительницы русского языка и литературы, а станция выделила комнату в доме полубарачного типа. Корову Зорьку помогла перегнать до ближней станции сестра вместе с Никиткой, а дальше в товарном вагоне довезли до места.

Но и там, в шахтёрском городке, над которым часто стояла серая, пощипывающая гортань дымка, она прожила только два года. Першило в горле, стал усиливаться кашель, и она снова пустилась со своей тройней в путь вместе с подругой-учительницей, у которой были две девочки-дошкольницы, к её родственникам под Винницу.

Подруга говорила:
— Там яблоки в лесу растут, и рыбы в прудах хоть кошёлкой черпай. Там зима, как здесь апрель и всего-то не больше четверти.

Они ехали через Москву с узлами и чемоданами, четверо детей держались за их запылённые, потрёпанные юбки, да Никитка узлы подтаскивал перебежками.

Они ехали, две женщины, две вдовы, две судьбы, затерянные в людском потоке, навстречу воинским эшелонам, идущим на восток, где издыхала Вторая Мировая.

Ехали больше месяца, с долгими стоянками на станциях и полустанках, а то и в чистом поле, бегали за кипятком, за толчёной картошкой с подливкой на пристанционные базарчики и спали по очереди, оберегая свои узлы и успокаивая детей.

На Украине у Елены Васильевны как-то всё не заладилось. И отношения с хозяйкой дома, и тень трагического случая гибели её дочери от случайного выстрела демобилизованного майора, и работа в местной школе…

Она переехала сперва в другой дом, а потом и вовсе в Казатин-II директором начальной школы. Снова завела корову и отправила Никитку в пятый класс, который был только в Казатине-I за семь километров.

Горестно было смотреть, когда зимой он вставал в семь утра и шёл пешком по шпалам в маломерном пальтишке и стареньких ботинках, чтобы успеть к первому уроку. Она думала: разве Вася позволил бы такое, разве не нашёл бы выхода, чтобы не мучить сына?

И через год она завербовалась в Восточную Пруссию, на новые земли победившего Отечества, в немецкий город Тильзит, ставший Советском. О Васе за все эти годы после похоронки не пришло ни единого известия, но она продолжала верить в его чудесное возвращение, посылая письма в гарнизон на Дальнем Востоке и в Москву, но ей отвечали одно и то же: погиб смертью храбрых в сентябре 1941 года близь деревни Тененичи.

Дети вырастали, уже все трое ходили в школу, и пора было думать о их будущем, особенно старшего, четырнадцатилетнего.

В городе открыли школу юнг. Власть устраивала судьбы детей военных лет, оставшихся без отцов, а то и вовсе беспризорных, принимая их в суворовские, нахимовские, ремесленные училища, в школы различного профиля, обеспечивая жильём, питанием и одеждой.

Никитка, несмотря на мягкое сопротивление матери, поступил в школу юнг, и отныне его называли не иначе, как Никитой.

Ну а Елена Васильевна, почти разуверившись в возвращении мужа, через десять лет вдовства вышла замуж за фронтовика, давшего клятву над погибшим в бою другом взять на воспитание детей-сирот.

Трудно сказать, что её потянуло в родные края из чужедалья, она и сама едва ли это понимала, ибо то, что впитала душа в изначальной своей жизни, никогда не умирает, а только уходит в глубины памяти, чтобы однажды позвать с неодолимой силой к своему истоку заблудившегося человека.

Елена Васильевна вернулась в Сибирь, родила ещё двоих—дочь и сына и, выйдя на пенсию, уступила желанию своего второго мужа, Андрея, переехать на его родину, в красивые древние места, где князь Игорь пил из шелома воду Северского Донца.

У неё не было страха перед расстоянием и неизвестностью новых мест. Нить её судьбы как бы сшивала бескрайние пространства в единое Отечество, с которым она связана кровным родством, могилами предков и всем русским народом, принявшим эту землю на телесное и духовное кормление, оберегая и защищая её, не щадя живота своего.

Шерботo Токомбаев

# Возраст любви

*Посвящается моему отцу*

## Пролог

Любовь… Что это? Разве может ответить на этот вопрос живущий? Только умирая, он поймёт наконец, что любовь — это жизнь…

Великая тайна — зарождение жизни. И никто не скажет, как рождается любовь. Ибо жизнь и любовь — суть часть природы, а может, являются и её сердцем? Потому так проста она, совершенна, легка, как дыхание, непостижима в своей вечности…

Вечностью может быть и тысячная доля мига… ибо бесконечен день от восхода до заката для прелестной бабочки-подёнки, что восстав из небытия, успевает вобрать в себя и солнце, и ветер — всё, что отпустит ей в этот день судьба… и уходит с первым неясным светом звезды в небытие же, в неизвестность смерти, чтобы именно в этот день — через год, через триста шестьдесят один век — вновь повториться в своём потомстве…

Я не знаю, как рождается любовь. Но знаю: она неизбежна, как жизнь. И как жизнь для каждого живущего, она не повторяется дважды.

Она — если не сама природа, то её часть, а может быть, и её сердце… И потому она не может не быть в гармонии с неумолимым его законом. Ибо всему своё время. И за весною будет лето, а за летом — осень.

Мне бы хотелось, проводив осень, сразу встречать весну… Но разве я — перелётная птица, что никогда не знает зимы?

Подобно тополю, что корнями своими связан с землёй, его породившей, обнажённый, я встречаю свою зиму — ухожу в моё вечное небытие, осознав в последнее мгновение наконец таинство жизни, что это — любовь, а любовь — это жизнь…

Так кинем жемчужину своего разума в ту чашу, полную вином жизни, под названием Любовь, и пусть не смущают нас выкрики глупцов о невозможности подобного происходить на самом деле — ибо поистине удивительна наша участь и много чудес скрыто за повседневным бытом нашим…

## 1. Двое

— Выключи свет, — сказала Мария.

В комнате горел торшер на высокой длинной ножке, и абажур был покрыт жёлтой тяжёлой шёлковой шалью. И от этого комнату наполнял густой жёлтый полумрак.

— Выключи свет, — шептала Мария, — мне стыдно…

— Нет, — торопливо отвечал он, — нет, нет, нет… Я хочу видеть тебя всю… я хочу целовать солнце на твоих плечах…

Они не слушали друг друга. Их шёпот смешался и, словно дыхание, всё ещё колебался голос Марии.

— Глупости… Всё это глупости, — отвечала Мария, — всё это глупости… Это веснушки, милый… Это не солнце — это веснушки, милый… Выключи свет, и они погаснут, милый… Ах, как мне стыдно, — шептала она.

Глаза её сияли. Золотой свет торшера, покрытого жёлтой тяжёлой шёлковой шалью, казалось, тонул в её глазах и, дойдя до самого сердца её, возвращался в глаза же, отражаясь в них золотым светом счастья.

— Нет, нет, — отвечал он, — я зацелую каждую веснушку. Для меня они — солнца. Потому что у каждого человека своя вселенная, освещённая своими звёздами…

Он обнимал её, целуя.

Он обнимал её, целуя плечи её, грудь… И губы его слышали биение её сердца.

Она прикрыла лицо своё руками и, словно сквозь пальцы, всё лился и лился её молящий шёпот.

— Ах, что ты делаешь, — шептала она, — Ах, нет, нет, нет…

Он не слышал. Он целовал длинные её пальцы, прятавшие её лицо, шею, уши, и шептал непонятные, невесть откуда взявшиеся вдруг слова.

— Я иду к тебе золотым дождём, — шептал он, обнимая её всё крепче, — я иду в тебя, как дождь в землю, чтобы через тысячу лет взойти зелёной травой…

Он говорил глупости. Но всё равно было им прекрасно, ибо горел торшер на длинной ножке, покрытый жёлтой тяжёлой шёлковой шалью, и была ночь, которая прощала всё.

Она ушла на рассвете, когда выпала роса. Она шла босиком, держа в руках старенькие летние туфли. И солнце поднималось ей навстречу, отражаясь в росе, и, казалось, мириады солнц рассыпаны в траве, по которой шла она, держа в руках старенькие лаковые туфли. И она ушла.

И роса поднялась в небо.
И трава стала травой.
И никто не заметил этого чуда…

## 2. Снова двое

И никто не заметил этого чуда не потому, что безлюдно было в мире в этот предутренний час — был ведь, был свидетель, человек Кадыр Биркулов,

тайный алкоголик, любитель словесности, которого вывела во двор малая нужда да желание сунуть под прохладную водопроводную струю гудящую с ночного перепоя голову.

Мутный глаз его увидел идущую по траве Марию. Изумился, признал, и забулькало у Кадыра Биркулова в горле, в груди, сотрясая его рыхлое тридцатишестилетнее тело икотой. И завалился он под крыльцо, отвернул голову к стене, замер, обернувшись пьяным гулякой.

Прошла Мария, не заметила.

Долго смотрел ей вслед Кадыр и хихикал про себя, словно от удачно сыгранной шутки. Потом поднялся, отряхнул мятые штаны и, забыв все дела свои, вернулся в дом, почёсывая голый живот, поросший редкими рыжими волосами, покачивая головой, ухмыляясь своим мыслям.

А мысли, чего уж таить, были не очень весёлые. Да и не мысли вовсе в больной голове, а что-то вроде злорадства шевельнулось в нём, как гусеница, осклизлая, липкая, заворочалось торжество: вот, мол, и одинок я, и не молод уже, и подл — в меру, конечно, но не до такой же степени, как этот подонок Иса. Эх, мне бы такую жену! — все бы бросил: и друзей, и знакомых, и пить бы бросил, и курить… Дурак…

Желчь, горькая, обожгла желудок, подкатилась к горлу.

— Какая пошлость, — пробормотал Биркулов, осторожно опуская своё грузное тело на шаткий стул.

— Какая пошлость, — повторил он, оглядывая комнату медленно трезвеющим взглядом.

На душе у Биркулова было тошно. И от этого тяжёлого, спёртого, настоянного на терпком аромате старой селёдки воздухе, и от этих бумажных кульков, куда стряхивали пепел и погашенные о каблук окурки…

За ночь этих кульков накрутилось великое множество, и, разбросанные, растасканные по всему дому, они мягко хрустели под ногами, вызывая звуком своим горечь во рту и оскомину.

…и от вида полированного стола, где вперемежку с кульками же стояли початые, недоеденные консервы «Килька в томатном соусе», причём чья-то аккуратная рука загасила в каждой банке по недокуренной сигарете, — и вид этих торчащих сигарет вызывал у Биркулова тошноту; и вид заветренного, кусками ломанного хлеба, и перекусанные пополам жёлтые дольки чеснока со следами зубов, пустая четверть «Экстры» и бутыль из-под кислого «Портвейна»; пустая же тара, задвинутая в угол, отражала своим тусклым, как глаз Биркулова, стеклом синее утро. И всё это вызвало у него только одну фразу:

— Гнусно.

…Во второй комнате на полу, на голом матрасе на животе валялся Иса. Голова его, с прилипшей к нижней губе недокуренной сигаретой, лежала, будто отдельно, на полу — изрыгала булькающие звуки, хрипела, шевелила высохшими губами; казалось, что это из-за сигареты так мучается голова, бьётся глухо об пол, высовывает часто синий язык и никак не может избавиться от окурка.

Кадыр захотел помочь. Наклонился было — но закружило сердце, к горлу, шевеля гусиный кадык, снова подкатила, перехватывая дыхание, тошнота. Тогда Кадыр пододвинул стул к лежащему человеку и, вытянув босую ногу, большим пальцем сбил окурок. Потом ногой же подвинул голову на матрас, воссоединив её с рыхлым туловищем.

Иса, не просыпаясь, перевернулся на спину. Кадыр небольно, но сильно пнул его пяткой в живот. Иса застонал и открыл глаза. Сознание возвращалось не сразу. Сначала рука забила по полу около, ища стакан. Не нашла. Потом глаза скосили в сторону руки — ничего не увидели. Голову самостоятельно повернуть не было возможности — малейшее движение вызывало нестерпимую боль. Иса и не старался шевелить головой — знал по постоянному опыту, что будет так до первой банки пива или чего-нибудь покрепче. И подумал, что хорошо, что рядом сидит друг и, значит, не надо, мучаясь и корчась, подниматься и, раскачивая в себе отвратительную муть, слоняться по утренним улицам в поисках открытого ларька.

— Дай чего-нибудь, — прохрипел Иса.

— Нету, — с каким-то удовольствием ответил Кадыр.

— Не может быть! — простонал Иса.

Разочарование было так сильно, что он даже не замечал ноги Кадыра на своём животе. И только тогда, когда тот придавил сильнее, ощутил сотрясение своего тела.

— Ты что? — прохрипел он.

— Домой тебе пора, домой.

Кадыр поднял окурок, размял, закурил, затянулся несколько раз глубоко, со свистом и сказал, разжёвывая дым:

— Счастливый ты человек, Иса. Ох, и счастливый! Такая жена у тебя… эх… завидую я тебе. Недостойный ты…Вот лежишь ты, свинья свиньёй…

— Ногу сними, — перебил Иса, — дышать тяжело.

Кадыр снял ногу с живота Исы, протянул окурок:

— На уж, кури, кури, — сунул в запёкшийся рот товарища, — вот и я о тебе забочусь. Ты не усмехайся. Я — совсем другое дело, я — уже свершившийся факт. И люди меня уважают, и имя есть, и совесть ни перед кем не мучает… а ты вот свинья свиньёй. Обидно даже. Придёшь домой, отстирают тебя, отутюжат тебя, а за что? И снова ты — гусь… И не стыдно тебе?

— Плохо мне, — сказал Иса. — придумал бы что, а?

— И мне плохо — ответил Кадыр, — только до меня никому дела нет, а тебя ищут, беспокоятся за тебя, где, мол, тебя ночами носит… Ищут его, понимаешь, — с какой-то обидой повторил Кадыр, — а мне здесь, — он качнул головой, — весь этот мусор одному убирать. Видите ли, семейные они, ждут их… Тьфу!

Кадыр сплюнул на пол, растёр босой ногой, тяжело поднялся, вспомнив дела свои.

— Эй, подожди, — кто ждёт? Зачем? Сегодня же выходной?

— Воскресенье сегодня, воскресенье, — подтвердил Кадыр, а на пороге, не оборачиваясь, бросил:
— Мария. Сейчас только мимо прошла. Я видел. Жена твоя.

### 3. Троллейбус, который идёт на восток

Ах, эта летняя ночь! Короткая, не ночь вовсе — а затянувшийся вечер, перелившийся в рассвет. И солнце, не успев уйти за горизонт — очерченный близко, неровно вершинами гор, — уже золотит восток, где до самой дуги земли — ровное поле, на краю которого тёмно-красный, почти синий, малиновый звон уже не может заглушить голубые колокольчики утра. И трава, ещё тяжёлая от росы вечерней, гнётся от росы утренней, и вся ночная нежить — паучки, сверчки, цикады и прочая травяная челядь — не успевает осушить её, и во хмелю возятся и поют кузнечики и разной породы жучки, стрекозы и прочие, — поют, наполняя окрестность опьяняющим торжеством жизни. И воздух этот заставляет колотиться сердце от неясной, вдруг откуда-то взявшейся тревоги, смутного ощущения непорядка, нарушения гармонии, и так, пока последняя звезда не растворится, словно кусочек сахара в некрепком чае, в розовом небе.

И приходит день — как жизнь. И кружит голову, и сердце кружит огромное пространство времени — потому что всё ещё будет, потому что впереди — бесконечный, длинный день.

Мария не заметила, как её догнал троллейбус. Парень, рыжий водитель, с шумом распахнул все двери:
— А ну, садись! Прокачу первого пассажира!

И такое весёлое лицо было у него, что засмеялась Мария в ответ:
— Денег нету!
— А воскресенье сегодня! — заорал парень. — Садись, я всех грешников по воскресеньям бесплатно вожу! — и захохотал.

И не удивилась Мария троллейбусу на этой улице, где никогда не было троллейбусных линий, а маршрутки ходили с такими большими промежутками времени и перебоями, что их никто почти никогда не видел.

А парень вёл машину по окраинной улице и распевал песни без слов — так хорошо было рыжему человеку в это воскресное утро. А потом он крикнул Марии:
— Ты спи! Когда приедем — разбужу!
— А ты знаешь, куда я еду?
— Я всё знаю! — и запел песню.

Мария улыбнулась и закрыла глаза.

…Как хорошо держать твою руку в своей руке,
Словно горячие кони плещутся в тёмной реке,
Словно крыльями машут птенцы, боясь улететь от гнезда,
Словно в ладони упала нежданно чужая звезда…

Как хорошо в зрачках твоих видеть детство свое
И тёплое солнце свое,
Словно вернулась мама и вновь началось бытие…
Ах, так не бывает!.. Но юность и старость
Покорны затейливым снам
И путают солнце восхода и солнце заката,
Что в меру отпущено нам…[1]

Стихи ночью ей читал Арман.
— Откуда это? Кто? — спросила Мария.
— Это Кенти, — ответил он, — Кентавр. Он иногда приходит ко мне.
— Кентавр? Это же…
— Ну, не совсем лошадь, — засмеялся Арман. — Я его зову Кенти. Он мой друг. Очень хороший друг.

Горела жёлтая лампа. Они сидели под ней на полу. Смотрели друг на друга и молчали. И было им хорошо.
— Я никогда не думала, что может быть так хорошо, — сказала Мария. — И я бы никогда не узнала, что так может быть, если бы не ты, хороший мой человек, мой друг. Уже заполночь. А я не уйду от тебя. Мне совсем не стыдно. Я уйду, когда покраснеет небо. Я уйду утром. Чтобы сказать, что я вышла за тебя замуж. Вот ты сказал про Кенти: настоящий друг. А разве бывают нехорошие друзья? Не настоящие?
— Нет, нет, не перебивай меня, — она коснулась пальцами его губ, — ты мой муж. Настоящий, любимый, желанный. Вечный. И если бы ты не уезжал утром, то я бы ещё долго не знала об этом. И сейчас не знаю, радоваться или плакать… Ведь тебя могут убить…

Арман улыбнулся.
— Я бессмертен…

Но она не дала ему договорить:
— Да, ты бессмертен. Я это знаю наверное. Потому что любовь бессмертна. Люди часто это говорят. Пустое. Не верят, а хочется, чтобы красиво — двуликие. А я верю.

Она верила. И не потому, что горела жёлтая лампа, которая прощала всё, а потому, что пришла любовь. Она ещё не знала, что такое любовь, но чувствовала, что она пришла и вытеснила всё, что было до неё.

Всё, что было до неё, — *было.* Даже если и продолжает быть в этот вот миг, сейчас — всё равно было. Потому что всё остальное стало вдруг вне её, в другом измерении, в другом времени, ибо бесконечно время любви и так мгновенно время жизни любви.
— Ты знаешь, что такое счастье? — спросила Мария.

Арман положил голову ей на колени. Она наклонилась над ним, и волосы её, мягкие, длинные, упали на его лицо, заслоняя свет. И стало темно, словно внезапно наступила ночь, и зажглись две звезды; высоко-высоко — её сияющие глаза.
— Хочешь, чтобы я говорил? — тихо спросил Арман.
— Хочу. Потому что я счастлива.
— Я тоже счастлив, Мария…

…Я в тебе растворяюсь —
Так тают снега,
Так неслышно река
Растворяется в море.
Я с тобою хочу
До конца прошагать —
Жить дыханьем твоим
В твоём счастье и горе…

…Рыжий парень, распевая песни, гнал машину по улицам ещё спящего города.

1. Здесь и далее в повести приводятся стихи Улана Токомбаева.

Мария дремала и думала в полусне, что надо было бы расспросить Армана про его друга с таким странным именем — Кенти.

Но до того ли было, когда на исходе последняя ночь? Арман уезжал исполнять свой долг, и она будет ждать его и уже никогда, никогда не вернётся к Исе.

Она думала о том, что надо бы сказать этому весёлому рыжему шофёру, что не надо везти её в микрорайон, к мужу, который с первого же дня стал изменять ей, в постылую, уже давно ставшую чужой квартиру. А она из гордости все делала вид, что не знает этого… Но не всё ли теперь равно?

Мария переживала разлуку. Она не знала: спит она, или всё ещё продолжается чудная, странная явь? Она забыла, где она, куда едет. Она не знала, что плачет, потому что забыла себя в этом мире.

И пусто было вокруг, ибо спал ещё город в этот час воскресного утра. И никто не видел этого чуда — как ехал по городу троллейбус, по тем улицам, где не было троллейбусных линий, вдоль канала, по которому текла ручная вода с таинственным названием БЧК…

— Приехали!

Парень распахнул двери, и Мария оказалась у калитки, откуда полтора года назад чуть ли не сбежала в счастливую, как казалось тогда, самостоятельную и взрослую жизнь…

— Мама, как я рада! Мама, я выхожу замуж!..

— До свиданья, Мария! — со звоном захлопнулись двери, и троллейбус исчез, завернув за угол короткого переулка. Словно и не было.

Мария обернулась — пусто. Пригрезилось. Откуда, в самом деле, здесь может быть троллейбус, если между этими домами даже легковушка пробирается с трудом? Пригрезилось — ах, эта бессонная ночь — кружение сердца.

Как просто всё, что казалось сложным. Сколько раз представляла она своё возвращение — и не могла. Стыд уязвлённой гордости ни разу не позволил ей пожаловаться на своё нескладное бытие, не потому, что боялась услышать от матери: «Говорили же мы тебе, предупреждали…» — а нежеланием огорчить дорогих, родных ей людей своей неудавшейся жизнью, поселить в их душах хронически ожидаемую боль — ведь видели они все, чувствовали. Разве спрячешь себя от родителей? Но несказанное всё-таки ещё не реальность.

Поэтому она и себе не сознавалась в этом. Не думала об этом, просто — тяжело жила.

Мария просунула руку сквозь штакетник забора, отбросила щеколду. Навстречу, весь рассыпаясь, улыбаясь во всю свою собачью морду, виляя не только хвостом — всем телом, — собака Джолборс, здоровенный чёрный полунемец-полукавказец, — прыгает, от избытка чувств норовя лизнуть Марию в лицо.

— Фу, Джолборс, фу! — радостно шепчет Мария. — Не лай, не гавкай, собака, весь дом разбудишь!

И, как в детстве, полезла по приставной лестнице на чердак, где давным-давно, лет сто назад, устроила она себе закуток со столиком, маленьким зеркальцем, этажеркой любимых книжек и старым, отжившим свой век диваном.

Пружины со вздохом знакомо упёрлись в спину, затылок. Дома… Мария засмеялась. Хорошо! Сквозь щели золотыми нитями протянулось солнце — золотой дождь… И обруч, столь долго сжимавший сердце Марии, растворился наконец в горячей её крови.

— Здравствуй, Мария!

## 4. Путешествие на запад

Кадыр вернулся, держа в руках большую бутыль самогона.

— Нашёл в подвале, — бормотал он, бережно принимая бутыль к животу, — везёт же Исе, даже в этом везёт, — говорил он, ставя осторожно бутыль на стол. Потом дрожащими руками взял стакан, отёр с края пахучую и липкую губную помаду. Понюхал брезгливо палец, вытер о штаны и, налив до края стакан, начал пить мелкими глотками, судорожно гоня кадыком скверную жидкость внутрь. Выдохнул со свистом, схватил консервную банку и окурком же, торчавшим в ней, выудив кильку, начал с хрустом жевать.

— Полегчало, — сказал хрипло. Потом снова наполнил стакан, пошёл к Исе.

Тот лежал с закрытыми глазами, высунув язык. Кадыр опустился рядом и, расплёскивая на лицо сотоварища, стал вливать ему в раскрытый рот самогон.

— Пей, зараза, — хрипел Кадыр, — вот тебе живая вода.

Иса закашлял, выпучил глаза, приподнялся — дошло до него, выхватил стакан, жадно допил. Упал на матрас и лежал некоторое время, не выпуская стакана из рук. В голове прояснялось. Очищались глаза от мути. Вот — оживились, чуть-чуть заблестели. Иса повернулся набок, ткнул игриво грязным пальцем в живот Кадыру, спросил:

— Что ты там про Машку болтал?

— Чего уж там, ладно, вставай, — Кадыр вырвал из рук Исы стакан, — пойдём уж, закусим, по кильке ударим. Осталось там кое-что пожевать.

Когда выпили по второй, Иса сказал, зажевывая хлебом:

— Ух, хорошо! Святой ты человек, Биркулов. Кудесник!

— Ладно, кудесник, — огрызнулся Кадыр, — тебя вон Мария ищет. С пятницы ты у меня, а она небось все морги оббегала…

— Во даёт! — удивился весело Иса. — Неймётся же ей. Позорит, выставляет меня перед людьми, девчонка! Слушай, — он снова ткнул Кадыра в живот, — дай мне двадцатку. Я ей устрою «бенц»!

— Какую ещё двадцатку? — хмуро спросил Кадыр.

— Ну, двадцать сом. Вот будет смешно. Она заходит, а я уже дома — здрассте, мадам, где это вас ночами носит? Как, а? — и он весело засмеялся.

Кадыр колебался, Иса тормошил его, уговаривая:

— Ну дай, дай, сотвори чудо!

И Кадыр сотворил. Он полез в карман, долго ковырялся и достал мятую двадцатку.

— Только ты не успеешь. Рань какая. Давай лучше ещё по одной…

Кадыр, видно, сожалел о безвозмездно утраченных двадцати сомах.

— Нет, я всё, завязал навсегда! — Иса напяливал торопливо рубашку, заправляя и оглаживая. — Баста, ни капли в рот!

Он торопливо натягивал носки, не замечая, что надевает навыворот. Кадыр видел это, но молчал, усмехался только и цедил из стакана.

— Я везучий, — бормотал Иса, — вот увидишь, как выйду — сразу поймаю кого-нибудь.

И, действительно, не успел он отойти от дома, как услышал тарахтенье — ехал мотороллер, фургон, в каких обычно на базар продукты возят. Иса вышел на середину дороги, замахал отчаянно руками: останови, мол, позарез надо.

Остановился. Парень, рыжий, в шлеме, в очках, в фартуке синем.

— Слушай, друг, — проникновенно начал Иса, — ты не вверх едешь?

Тот кивнул головой.

— Слушай, друг, — обрадовался Иса, — подкинь, пожалуйста, горю, понимаешь, тут совсем недалеко, а я двадцать сом дам!

— Так куда же я тебя посажу? — удивился человек.

— А там у тебя что? — спросил Иса, кивая на кузов.

— Там кое-что, — уклончиво ответил парень, — развожу по торговым точкам…

— Может, я влезу? — умоляюще сказал Иса, — фургон же закрытый, никто не увидит, да и нет никого! А мне очень надо. Пойми, жена ждёт!

Парень с сомнением посмотрел на Ису, но последний аргумент, видимо, подействовал.

— Ну, если жена… — он неторопливо слез с седла, открыл дверцу, — ладно, полезай. Только сидеть не на чем.

— Это ничего, я как-нибудь, — радостно пробормотал Иса и юркнул внутрь.

Иса не успел осмотреться. Парень закрыл за ним дверцу. Мотороллер загрохотал натружено, и они поехали.

Исе показалось, что едут вечность. Он сидел на корточках, упираясь руками о скользкие стенки, и быстро устал. Хотел приподняться, но ударился головой о потолок. Стоять полусогнутым было неудобно, да ещё к горлу подкатила тошнотворная муть. Он сдерживался, как мог, икал и глотал отрыжку. Потом нащупал что-то мягкое. Потрогал осторожно — вроде туша. Ну да, свиная — рука скользнула по рылу с пятачком. Сразу повеселел Иса, уселся удобнее на тушу и только теперь вспомнил, что адреса, куда везти его не сказал. Хотел постучать, замахнулся было, но подумал:

— Э, да еду же в ту сторону, а то психанёт ещё и высадит.

Наконец встали. Открылась дверь, и парень сказал:

— Приехали. Выходи.

Иса вылез, огляделся, обрадовался. Они стояли подле его дома. Мало того — у его подъезда, второго с краю.

— Ну, я поехал, — напомнил о себе возница.

— Ты погоди, погоди, — засуетился в благодарности Иса, — я тебе сейчас двадцатку дам.

— Не надо мне твоих денег, — сказал парень, — будь здоров.

Он сел за руль, крутанул газ и поехал.

— Спасибо! — крикнул ему вслед Иса.

— Чего уж там! — буркнул водитель, разворачивая машину.

Иса перевёл дух и осмотрел себя.

— Вот те на! — пробормотал растерянно.

Руки его, рубашка, штаны — всё было измазано в крови. «Этого ещё не хватало. Увидит кто, объясняйся потом», — подумал он, юркнул в подъезд и взбежал на второй этаж.

— Сейчас по-быстрому отмыться, замочить шмотки, и концы в воду, — бормотал он, шаря в карманах.

Ключа не было. И только сейчас вспомнил, что ключ в пиджаке остался, у Биркулова. Дела…

Он вышел во двор, посмотрел с тоскою на свою лоджию. Дверь была открыта именно так, как он открыл её, уходя ещё в пятницу. Значит, с тех пор дома никого не было? Мария — трусиха. На ночь она всегда закрывает дверь на лоджию. Значит, всё это время её не было?

— Ах, стерва! — подумал он. — Кот из дома — мыши в пляс! Ну, я тебе покажу! Приди только!

Он сел на скамейку с твёрдым намерением дождаться жены. Конечно, ему не стоило никакого труда забраться к себе в квартиру по лоджии соседа, через первый этаж. Раньше он так и делал, если вот как сейчас где-нибудь, по делам, разумеется, задерживался, — пока однажды, полгода тому назад, не сорвался…

Он упал, как свиная туша срывается с крюка мясника, — с характерным неживым пришлепом. Пьяный, он сломал ногу, но не чувствовал боли. Шумно сопя, он пытался подняться, но не мог. Его стошнило. И он корчился в своей отвратительной жиже. Перелом был закрытым. Иса тупо смотрел на неестественно вывернутую наружу стопу и хихикал. Таким нашла его Мария. Нет, она не стала заводить его домой, чтобы отмыть хотя бы ради приличия. Она просто вызвала скорую помощь, позвонив от соседей с нижнего этажа.

— Извините, пожалуйста, за беспокойство, — сказала она заспанному соседу, ведь было около четырёх часов утра. — Иса сломал ногу, а у нас телефон вот уже второй месяц не работает. Отключили за неуплату.

Потом они вышли на улицу и ждали, когда приедет машина скорой помощи. А жена соседа в ночной сорочке стояла на балконе — все они смотрели на Ису. И никто не подошёл к нетрезвому человеку.

А когда санитары, погрузив Ису и записав его данные, спросили: «А вы кем ему приходитесь?» Мария промолчала. Соседка же, которая в ночной сорочке, на балконе, сказала:

— Да так, мы соседи.

И никто не осудил тогда Марию. Ни тогда, ни потом.

На этот раз Иса рисковать не хотел. Он просто боялся, что снова сорвётся.

«Может, она к матери своей поехала? — подумал Иса. — Эдак совсем можно опростоволоситься в таком виде. Надо сматываться».

Шутка не удалась. Иса был трезвомыслящий человек. Он отыскал колонку в соседнем дворе, отмылся, выстирал рубашку и штаны. Что

делать — надел сырыми и, снова выйдя на дорогу, долго ловил какой-нибудь транспорт.

Но кто же поедет без дела в такую рань? Иса продрог, окоченел и уже с радостью, как старого знакомого, встретил фургонщика, того самого рыжего парня.

— Везёт мне сегодня, — сказал парень, остановившись, — никто эту свинью не принимает! А тебя что? Обратно везти?

— Да, вот — я ключи забыл…

— Залезай, что же теперь делать? Не оставлять же в беде человека.

Парень засвистел какую-то песню, и они поехали. Странной показалась Исе эта дорога. Словно ехали они по ухабам и рытвинам, его бросало из стороны в сторону, и как он ни пытался сохранить равновесие, держась в темноте за стенки фургона, время от времени падал со всего размаху на свиную тушу и катался, борясь с ней, по всему тесному кузову.

Наконец остановились. Шатаясь, Иса выполз наружу и, заплетаясь ногой об ногу, пошёл прочь.

— Эй, подожди, — окликнул рыжий, — деньги давай!

Иса хотел было отшутиться, но сил не было. Молча полез в карман, молча отдал деньги.

Парень оглядел Ису. Покачал головой, сказал:

— Ты бы вымылся, что ли…

— Иди ты к чёрту, — вяло ответил Иса.

Прямо во дворе он разделся, повесил одежду на верёвку сушиться, прошёл в комнату. Биркулов спал на его матрасе, подложив под голову его пиджак и укрывшись пледом.

Иса замёрз. Он налил себе самогону, выпил. Всхлипнув, лёг рядом с Кадыром и, прижавшись к его плечу, как щенок к суке, заснул.

### 5. Новый день

Арман проснулся от запаха картошки, жаренной в раскалённом подсолнечном масле с луком, чесноком и жгучим красным перцем. Так картошку готовить умел только Кенти.

Арман потянулся в кресле, открыл глаза. Так и есть — стол накрыт, как обычно, когда приходит Кенти: свежий хлеб, сливочное масло, в блюдце — кольцами порезанный лук, два простых, тонкого стекла бокала, а в графине — янтарный облепиховый сок.

…Именно так в первый раз появился Кенти. Когда? Может быть, год тому назад, может, полгода — неважно. В день, когда Арман познакомился с Марией. Но Мария была всегда, значит, всегда был и Кенти. Только он не знал об этом.

Вечером, возвращаясь домой, Арман увидел свет в своём окне. Обрадовался, подумал, что мать или отец приехали навестить. Но это был Кенти. Он сидел на кушетке и ждал. Стол и тогда был накрыт, как сейчас.

— Здравствуй, — сказал Кенти. — Я стихи написал, хочешь, почитаю?

Арман не удивился явлению. Он засмеялся. Весело и радостно было на душе. Разве не чудо, что сегодня он встретил Марию? А остальное — это производное, одно к одному.

— Здравствуй, — ответил он, — здравствуй! Конечно, читай. Это очень здорово, что ты пришёл!

Потом они ели картошку, пили янтарный облепиховый сок, и Кенти читал стихи.

…Однажды поздняя весна
Пришла с тобой ко мне несмело,
И сразу миром завладела
Гармония. И тишина
Стояла плотно у окна
И лягушачьим хором пела,
Томила, звёздами звенела.
То, обернувшись соловьём,
Звала к себе далёкой трелью
И наполняла окоём
Ночной берёзовой капелью…
О, этот яд весны мы пьём
И отравляемся любовью
И нашим детям вместе с кровью
Безжалостно передаём!..
Настанет срок — и ото сна
Мы не пробудимся навечно,
Но пусть в их дом войдёт беспечно
Нас отравившая весна!..

Кенти всегда появлялся неожиданно. Он мог прийти в любое время, но всегда был кстати. О чём только они не говорили, но всегда Кенти читал стихи.

…Арман потянулся в кресле, сел, выпрямившись.

— Здравствуй, Кенти! — крикнул он. — Как хорошо, что ты пришёл!

— Здравствуй, — отозвался из кухни Кенти. — Я сегодня всё утро босиком проходил, как Мария…

В комнату торжественно, неся на вытянутых руках две большие плоские тарелки с жареной картошкой, входил Кенти.

Он был наряден: белая рубашка под галстуком, сверху лёгкий, тонкого шёлка халат, переходящий в длинную, до колен, просторную попону. Бабки передних и задних ног в белых шёлковых гетрах.

— Ты сегодня особенно красив, — сказал Арман, любуясь Кентавром.

— Пришёл проводить тебя.

Кенти, поставив тарелки на стол, разливал в бокалы напиток.

— Спасибо, — сказал Арман. — Ты забыл вилки.

— Нет, — улыбнулся Кенти, — просто хочу, чтобы ты размялся, пришёл в себя да заодно и умылся бы. Иди, принеси.

— Весь ты в этом, — засмеялся Арман. — А я, понимаешь, вещи собирал, дай, думаю, присяду на дорожку, и — заснул…

А из кухни спросил, как бы между прочим:

— Ты что-то о Марии говорил?

— Видел её сегодня, — отозвался Кенти, — она босиком шла…

У Армана защемило сердце.

— Она шла босиком по мокрой траве, а туфельки несла в руках и размахивала ими, — ты что, не слышишь?

— Слышу, — сказал Арман, усаживаясь напротив. — Нескладно получилось. Она свои ключи забыла.

— Не забыла, а оставила,— поправил Кенти,— как символ, как слово тебе, что не вернётся туда.
— Наверное знаешь?— недоверчиво спросил Арман.
— Знаю,— уверенно сказал Кенти.— Это я знаю точно.

На журнальном столике под жёлтой лампой лежали ключи. Рядом— четыре подковы.
— Подковы зачем?— удивился Арман.
— Тебе, на счастье. Примета такая, говорят, у вас есть.

Арман дотянулся, взял одну подкову:
— Серебряные. Ты не носил таких.
— Это парадные,— засмеялся Кенти,— ну, давай, Арман, тост за тебя,— Кенти поднял бокал,— чтобы ты вернулся живым и здоровым.
— А этого ты не знаешь?— спросил Арман.
— Давай выпьем стоя,— предложил Кенти.

Он поднялся легко, изящно. Тело великолепного гнедого коня высоких кровей, гибкий торс атлета, а лицо— умного доброго человека лет сорока, обрамлённое чуть волнистыми, с проседью волосами.

Выпили. Арман посмотрел в синие глаза друга, сказал мягко:
— Ты не ответил, Кенти.
— Нет,— сказал Кентавр.— Этого никто не знает.

Потом, вымыв посуду, они молча, неторопливо пили чай. Время ещё было. И Арман сказал:
— Слышал, наверное, многие надеются— ну, так в разговорах, а иногда и в газетах пишут, фантасты балуются— что, мол, в последний момент вмешаются инопланетяне, научат всех людей, как правильно жить, спасут… Это— как религия, какой-то верой у некоторых начинает становиться… Даже пророки свои появились…

Кенти отрицательно покачал головой.
— Нет, Арман, пришельцы из космоса, думается мне, мечта. Есть земля. Ты, Мария— вот всё, что вокруг. Это ваш мир. Но есть другой, понимаешь, он тут же,— Кенти свёл руки в кольцо,— вот он, только вы его не видите… И он будет, пока есть этот вот, твой; поэтому, Арман, землю, мир, никто, кроме вас, не спасёт, и никто не научит, как жить, если сами не научитесь…

Арман долго молчал. Потом спросил с надеждой:
— Поэтому ты здесь?
— Что могу я, дитя твоего воображения, которого даже Мария не признала?— отшутился Кенти.
— Здесь что-то не так,— оживился Арман. Ему хотелось говорить о Марии.— Здесь что-то не так, не совсем так. Она не могла не узнать тебя. Я рассказывал ей о тебе, читал твои стихи. И потом— не узнать тебя!.. Это совсем… ну совсем невозможно, Кенти!

Кентавр коснулся рукой плеча Армана и, глядя ему в глаза, сказал:
— Здесь всё дело в том, Арман, что каждый меня видит таким, каким хочет увидеть.

И, откинувшись, добавил тихо:
— Для Гомера я тоже был Кентавром, Хироном, учителем бога-врачевателя Асклепия и героя Геракла…

Он помолчал, задумавшись, и сказал:
— Сегодня я долго стоял и смотрел, как распускаются листья у тополя. И просмотрел. Оглянулся на солнце, знаешь, когда первый луч ударился о вершину— я люблю это мгновенье и ради него встаю так рано— будто молотом по раскалённому железу— искры на миг словно прожигают небо до дна, а потом всё, как обычно… Слышу— лёгкий вздох, ах-х… Смотрю— тополь зелёный весь, как взрыв, сразу… И вот что у меня получилось. Хочешь, прочту?
— Читай, конечно же, читай,— сказал Арман.

Кенти уловил в его голосе неуверенность, улыбнулся:
— Ты о Марии не беспокойся. Она сейчас дома, у родителей. Спит. А насчёт стихов ты прав, в следующий раз… Наверное, не скоро теперь увидимся…

Арман посмотрел на часы, Кенти, перехватив его взгляд, сказал:
— Всё в порядке. Я такси заказал с вечера ещё. Сейчас подъедет. Родителям сообщил?
— Нет. Я же к ним еду, а потом уже дальше…

Помолчали. Арман поднялся.
— Пора?
— Послушай, что я тебе скажу,— говорил Кенти, когда они спускались по лестнице,— у тебя попутчик будет, знакомый тебе человечек, ты его болтовне значения не придавай.

Машина уже ждала у подъезда. Арман сел рядом с водителем.
— Ну, счастливо тебе,— сказал Кенти.— Береги себя.

Арман кивнул и, словно вспомнив, спросил:
— Кто же он?
— Одноклассник твой. Борчуев Эркин.
— Так я его знаю!— воскликнул Арман, а потом сказал тихо:
— Кенти, Марию береги…

Мир просыпался. Вот из подъезда вышел тучный мужчина в спортивном костюме. Вежливо поздоровавшись с Кенти, кивнул Арману:
— Что, капитан, кончился отпуск?
— Кончился, Николай Фёдорович,— ответил Арман.
— И далеко?
— Служба, Николай Фёдорович, служба.
— Ну-ну, счастливо,— сказал физкультурник,— а мы вот землю потихоньку топчем,— и, вздохнув, побежал трусцой по аллее.

## 6. Встреча

То, что Кенти мог предвидеть будущее,— не удивляло. Но откуда он мог узнать об Эркине Борчуеве? Бывало, Арман рассказывал о своём детстве, друзьях-однокашниках, но о Борчуеве— не то чтобы забывал— никогда не вспоминал о нём. Недоумение направило мысли Армана в другое русло, и он с интересом всматривался в пассажиров, постепенно заполнявших салон большого комфортабельного междугороднего автобуса. Ждал, вспоминая.

Эркин Борчуев— толстощёкий, упитанный, розовый— словом, отличник, откликавшийся охотно на кличку «Пузанчик», был редактором школьной стенной газеты, в которой беспощадно

и принципиально громил двоечников и прогульщиков, что, однако, нисколько не мешало ему давать им списывать у себя контрольные, классные и домашние задания: ему нравилось, когда какой-нибудь Кожобек, силач и верзила, заискивающе просил:
— Пузанчик, как там с задачкой? Покажи…
На выпускном вечере, когда класс заявил, что остаётся в аиле работать на фермах, полях и выпасах, он выступил с яркой речью, в которой поддержал ребят,—говорил, что каждый должен занимать своё место, что всякая профессия почётна и он желает всем счастья и успехов в жизни. Его же стезя—наука. Его удел—университет. И никто не спорил с ним и не возмущался, не осуждал его, потому что он Талант…
Вот таким был Эркин Борчуев, Пузанчик, которого Арман не видел почти десять лет.
Последним в автобус вошёл мужчина. Невысокий, худой. Костюм не новый, мятый. Спал, наверное, в нём. Рубашка несвежая, видно. Галстук неопределённой расцветки и узора, блестит. Лисий подбородок в щетине. Тонкогубый. Почти нет губ, аскетичные скулы. Полноса. Остальное вместе с маленьким лбом закрывают большие зеркальные очки. Да, ещё. В меру лыс. И большой потрёпанный толстый портфель—в руках.
Он сел рядом с Арманом. Портфель в ноги, откинул спинку кресла и затих—наверное, не выспался. Потом вошла женщина, которая стояла у дверей автобуса и у всех проверяла билеты. Оглядев салон, она будто бы чему-то удивилась и сказала громко:
— Граждане, проверка, приготовьте билеты.
И начала обходить салон, останавливаясь у каждого кресла, сверяя билет пассажира с занятым местом и делая отметки в своём листке.
Арман протянул ей свой. Сделав отметку, контролёр сказала, касаясь соседа:
— Мужчина, а ваш билетик?
Тот вздрогнул, приподнялся и ответил раздражённо:
— Вы только что у входа проверяли!
— Вас много, а я одна,—резонно ответила контролёр, терпеливо ожидая билетика.
Пассажир полез по карманам пиджака, чуть ли не выворачивая их, потом поднялся, стал шарить в брючных карманах, потом, потихоньку ругаясь про себя, раскрыл портфель и стал ковыряться в нём, предварительно вывалив на сиденье почти всё его содержимое.
— Не надо нервничать, мужчина,—заметила контролёр,—не суетитесь,—и пошла проверять далее.
Она уже проверила у всех, стояла у входа, а незадачливый пассажир всё рылся в своих вещах, нервно дёргал головой и, ни к кому не обращаясь, повторял:
— Скажите, вы же видели? Видели? Я же показывал ей! Вот честное слово, куда же он, проклятый, делся?!
Пассажиры уже выказывали нетерпение:
— Поехали, чего уж там!
— Был у него билет, видели!
— Найдётся, куда же денется!
— Все же места заняты, лишних нет!
А потом пассажиры стали говорить раздражённее:
— Тронемся мы сегодня?!
— А что из-за одного всех задерживать?!
— Высадить, и дело с концом!
— А если бы с вами так?!
— Да был у него билет! Все видели!
Появился сменщик-шофёр. Он посмотрел на часы, послушал пререкания и прекратил их, сказав:
— Да есть у него билет, я сам видел, поехали, дорога длинная, найдёт ещё.
Контролёр спорить не стала, поставила «птичку» в бумажке, сказала: «Счастливой дороги!» и вышла.
— Поехали!—сказал сменщик.
Мужчину сразу забыли. Было довольно рано, и каждый торопился доспать. Арман сквозь дрёму слышал недовольное ворчание соседа, который запихивал свои вещи в портфель, и думал, засыпая, что на этот раз Кенти ошибся. Эркина Борчуева не было.
Сердобольный сменщик время от времени делал знак водителю, и тот останавливал машину, открывал дверь, впуская пассажира, «голосовавшего» на дороге, или выпуская приехавшего. Сменщик молча брал деньги, бросал небрежно на панель перед ветровым стеклом, и автобус катил дальше. И никому ни до кого не было дела.
На шестидесятом километре объявилась беременная женщина. Которые из пассажиров не спали—сразу же заснули. Женщина с трудом поднялась в автобус, поставила тяжёлую сумку возле кресла сменщика, подтолкнула вперёд себя девочку лет четырёх, в белом платьице, на слабеньких ножках, сказала:
— Проходи, доча, вперёд, не мешай дяде.
Автобус дёрнулся, трогаясь с места, девочка по инерции пробежала по салону и, чтобы не упасть, схватилась за колено мужчины, который потерял билет.
— Держись, доча, я сейчас,—негромко сказала женщина и осторожно,—видно, на последнем месяце,—неся свой огромный живот, стала пробираться к ней. Мужчина так и не проснулся.
Женщина взяла ребёнка на руки и прислонилась к креслу, упёршись животом своим в плечо мужчине. Тот проснулся, посмотрел внимательно в глаза женщине, на ребёнка, спросил, вздыхая:
— Вам далеко?
— Нет-нет, вы сидите, мы скоро выходим, здесь недалеко… До Чимкоргона всего,—ответила женщина и тоже вздохнула.
Мужчина приподнялся—нет ли кого помоложе? Скосил глаз на спящего Армана…
— Двадцать километров в таком вашем положении,—сказал он и поднялся.—Садитесь, чего уж там. Я ещё насижусь.
Женщина сказала «спасибо» и устроилась в его кресле, поставив между колен своих дочку, мужчина пошёл к водителям.
— Водитель,—сказал он, трогая за плечо сменщика,—нельзя же так, в самом деле!
— Что случилось?—удивился сменщик и развернул своё вращающееся кресло лицом к салону.

— Это же рейсовый автобус,— сказал мужчина,— а вы уже столько людей подсадили.
— Тебе-то что?— спросил водитель, не отрывая взгляда от дороги.— Больше всех надо? Чего, тебе одному ехать хочется?
— Так есть же маршрутные…
— Зарлык, объясни товарищу,— сказал водитель сменщику.
— Чего ему объяснять,— лениво ответил сменщик,— он и так грамотный больно. Высадим его в Чимкоргоне, пусть там права качает.
— Вы не имеете права!— запротестовал мужчина.
— Иди, иди, безбилетник, я тебе покажу права.
— Вот хамьё!— сказал мужчина и пошёл на своё место— стоять.

Сменщик сначала не понял. Потом обиделся. Он вскочил с кресла, подскочил к мужчине и сказал угрожающе:
— А ну, повтори!

Тот отвернулся, но сменщик не отставал, напирая:
— А ну, повтори, повтори! Вот блин,— он поперхнулся, заглатывая какое-то слово и выпихивая вместо него другое,— я-то его, интеллигента, пожалел! Аллах! Ему можно без билета, а других и подвезти нельзя! Вон на дороге— старик, видишь? Проехали уже. А, может, ему к больному сыну надо? А мы проехали! Или вот, женщина,— подумаешь, интеллигент, место уступил! Безбилетное… А она, может, в больницу спешит. Видишь, на сносях.
— Я к маме,— тихо сказала женщина.
— Вот, к маме! А ты мне— хам! Керим!— крикнул он водителю.— Тормози, высадим этого типа. Пусть поголосует, пусть побудет в этой шкуре, может, поймёт.
— Вы не имеете права!— сказал мужчина.— Я буду жаловаться.
— Жалуйся, жалуйся, вон сколько свидетелей!— торжествовал сменщик.— Керим, тормози!

Пассажиры с интересом слушали и наблюдали. Керим— видно, не впервой им было обуздывать некоторых— гнал себе автобус, не снижая скорости, а мужчина несколько сник, прочувствовав безысходность своего положения, боясь, как бы дальше дело не зашло— вдруг действительно ссадят?— уже виновато отводил глаза.

На этом бы всё и кончилось, но совсем некстати проснулся Арман.
— В чём дело,— недоуменно спросил он,— случилось что?

Девочка между колен матери заплакала. Мать стала успокаивать её, пугая:
— Перестань, не плачь, а то дядя нас высадит.
— Я лучше его высажу,— заметил уже примирительно сменщик, кивая на незадачливого мужчину-интеллигента, отходя от него.
— Как-то не вовремя, неловко получилось,— обрадовался мужчина живому человеку, Арману, словно оправдываясь, продолжал,— я же прав…
— Ну, дурак,— уже не выдержал сменщик,— ну, предупреждали его— не поверил! Керим, останавливай!

Автобус начал медленно останавливаться, мужчина побледнел.
— Вы не имеете права! Я не выйду!
— Выйдешь, как миленький. А я помогу. Давай портфель,— сменщик потянулся за портфелем.
— Не дам! Я не выйду,— сопротивлялся мужчина.

Девочка заплакала громче.
— Что вы, в самом деле,— сказал Арман,— нельзя же, как дети!

Автобус остановился. Сменщик подошёл к двери, распахнул настежь;
— Выходи! Пока не выйдешь, никто дальше не поедет. Безбилетных не возим!
— Есть у меня билет! Вы же сами говорили, что видели…
— Ничего я не говорил. Есть— покажи, нет— вылазь. Всё.
— Извинитесь перед ним— и дело с концом,— посоветовал кто-то.
— Да заплатите вы ему!— подсказал третий.
— А я из принципа с него не возьму,— заявил сменщик,— пусть извинится.

Пауза затягивалась. Керим, шофёр, спокойно курил, глядя в зеркало обзора салона. Напарник его, сменщик Зарлык, демонстративно стоял у распахнутой двери. Мужчина-интеллигент замер, плотно сжав губы и вцепившись в никелированные поручни.
— Это надолго,— вздохнул кто-то.
— А чего это стоим?— спросили из задних рядов.
— Один тут принципиальный попался,— отозвались сбоку.
— Из-за одного стоять будем, что ли?
— Вообще странно,— картавый голос,— без билета, а ещё принцип показывать!

Человек, минуту тому назад спокойный и уверенный, как все,— и вдруг выбитый из колеи, в своих дурацких, давно вышедших из моды, а может, снова входящих, зеркальных очках— озирался, словно слепой, потерявший ориентировку. Обескураженный, он, наверное, и в самом деле не видел окружающих, так же как, в сущности, и они, эти люди, с любопытством наблюдавшие за ним, видели лишь себя, уменьшенными, странно искажёнными, дважды преломленными в зеркальных стёклах его очков.

Шофёры переглянулись. Сменщик усмехнулся.

Арман спросил:
— Что, действительно билета нет?
— Да есть он! Куда-то засунул,— расстроенный вконец отозвался мужчина.— Смешно! Прямо фельетонная ситуация. Действительно глупость какая. Нельзя же людей держать? Вы бы как поступили?— спросил он Армана.
— Я бы вышел…

Мужчина взял портфель и медленно направился к выходу.
— Я этого вам так не оставлю,— сказал он Кериму,— я журналист. Вот увидите! Какой номер машины?

Керим, водитель, молча оглядел его с головы до ног и отвернулся, ничего не ответив. Зато сменщик торжествовал:
— Журналист, липа, выходи,— посмотришь сзади, давай, не задерживай!
— Я действительно журналист,— сказал мужчина, оборачиваясь к пассажирам,— вот, у меня даже

удостоверение с собой,—он полез в нагрудный карман пиджака и достал книжечку.
— Кепку ему передайте,—сказала женщина с ребёнком,—человек хороший, нельзя же, чтобы ещё и кепку забыл,—ей было жалко этого оскорблённого и непонятого человека, уступившего ей своё, пусть даже безбилетное место.
— Ну, посмотрите же,—просил мужчина,—почему вы не верите мне?

Никто не отозвался.
— Хватит, попрощался,—торопил сменщик.
— Подожди,—сказал Арман,—дайте я посмотрю.

Благодарный мужчина почти бросился к нему. Женщина взяла удостоверение, раскрыла и сказала изумлённо:
— Вот он, билетик!

Мужчина аж задохнулся, взял осторожно квадратный кусочек бумажки—билетик, показал водителю. Керим, шофёр, молча кивнул, завёл двигатель.

Сменщик преобразился. Повеселел, заулыбался, будто и не было ничего:
— Давно бы так!—сказал он громко и радостно на весь автобус.—И нет никаких проблем! Ну ладно,—сказал он, похлопывая мужчину по спине,—со всяким случиться может…

Он проводил мужчину до кресла и сказал женщине:
— Давай уступим место хозяину.
— Ну, что ты,—смутился мужчина,—нельзя же так!
— Можно, можно—она без билета. Я её высажу сейчас.

Автобус набирал скорость,
— Кончай балаган!—крикнул Керим, глядя в зеркало обзора салона.—Иди на место!
— Опять я кругом виноват,—развёл руками сменщик.

Мужчина повернулся к женщине:
— Спасибо, вы здорово, так сказать, меня выручили.
— Ну, что вы, это ж из-за меня весь сыр-бор!

Девочка на её руках рассмеялась, увидев своё отражение в очках:
— Мама, посмотри, какие у дяди зеркальца! В них всё видно!

Мужчина с готовностью сорвал с носа очки, протянул девочке:
— На, поиграй…

Сменщик вернулся на своё место и включил радио. По «Европе +» передавали какое-то утреннее шоу. Мужской и женский голоса бодро и весело перепирались.

Арман раскрыл удостоверение, прочитал, посмотрел на фотографию, потом на мужчину, потом снова на фото.

Ба! Кенти оказался всё-таки прав. Вот он—Эркин Борчуев!

И гремела задорная музыка, которая поднимала настроение. И не было ничего плохого в мире, словно вовсе не было,—только вот это доброе утро, что мчалось за окнами автобуса, заполняя всё окрест голубым и розовым светом.

## 7. В небо

Вертолёт, набрав высоту, завис над землёй. Инструктор открыл дверь, и вместе с громовым тарахтеньем двигателя в салон ворвался со свистом горький, замешанный на самоварном дыму детства воздух.

Инструктор кричал почему-то бабушкиным голосом совсем уж не по уставу:
— Вылазь, девка! Слезай!

Засмеялась Мария такой команде, и все страхи пропали. Чудная явилась лёгкость. Прошла она мимо инструктора, оттолкнув протянутый парашют, и… ах,—сладко замерло, защемило сердце, дух захватило,—вот она, Мария, летит, ласточка, раскинув руки,—в ладонях ветер, и, упругий, держит её бережно воздух.

Кружит она над зелёным лугом, где бабушка уже расстелила скатерть, нарезала хлеб, расставила чашки и машет рукой, зовёт:
— Вылазь, девка, слезай!

А около самовар кипит, дымит высокой трубой; а вокруг собака—рыжий пёс—кругами носится, прыгает и весело гавкает в небо.
— Сейчас, сейчас,—кричит им Мария,—ещё чуточку!

Но поздно. Уже не вернёшься обратно—улетел вертолёт, там, за краем, еле слышится его тарахтенье… Пора просыпаться. Зовут.

Мария открыла глаза.

Чердак полон тёплого света, совсем как в детстве. Лежит она, укрытая старым пледом, смотрит: над ней, высоко, под самой балкой, возится всегда бессмертный паучок-домовой в серебряной своей паутине. И знает Мария, что не вертолёт вовсе, а старенький будильник это урчит, затихая, на столике—бабушка поставила, а рядом, должно быть, стакан холодного молока… Не глядя, Мария протянула руку. Засмеялась—так и есть, стакан на месте.
— Марья, что ли опять мне к тебе лезть? Вылазь! Уже самовар простыл и блины! Курей кормить надо, на базар за кукурузой—Марья, слышишь?—это бабушка. Такой у неё характер ворчливый—не отойдёт теперь от лестницы, пока Мария, выпив молоко, не спустится вниз.

Бабушке семьдесят лет исполнилось. Сколько помнит её Мария, кажется ей—совсем не изменилась, сильная и, тьфу-тьфу—не сглазить бы—здоровая. Всё хозяйство на ней.

Вот Мария спускается по лестнице, а бабушка, замирая сердцем, ждёт её, внучку свою единственную, ладушку.

Вот она—спрыгивает с последней ступеньки, разбрасывает в стороны свои руки, захватывая пространство и обнимая вместе с тёплым воздухом утра, вместе с солнечным светом свою бабушку:
— Бабушка, здравствуй! Милая моя, хорошая, родная!..

Мария обнимает старушку, поднимает её чуть-чуть над землёй, кружась, смеётся от счастья и радости вновь обретённого отчего дома своего…

Закружилась земля в сердце бабки Марии…

Э, неведомо, сказка, но—бывает: вмещается однажды со всем счастьем своим, что ни есть, и горем вся земля со своею вселенной в душу человека и кружит, испытывая на разрыв, вырывая сердце из горла радостным смехом или истошным плачем…

Бабка Мария… странно… ах, как замирает сердце… когда это было впервые? Да было ли? Впервые вошла земля в детское сердце, когда заболела мать. Пришла однажды с поля, села на лавку и охнула, повалилась, ухватившись за живот свой от колющей нестерпимой боли и—не поднялась.

—Это аппендицит, дочка,—успокаивала она Марию, гладя её по голове горячей рукой,—вот доктор приедет… А ты корову подои. Ты же умеешь. Иди, освободи её от боли, сердечную, кормилицу нашу. Ты береги её, не продавай смотри…

Люди приходили в хату, и председатель колхоза приходил, и все уговаривали потерпеть: вот доктор приедет…

Но знали, что не приедет доктор,—убили доктора ненароком бандиты. Случайно, говорят, но разве от этого миру легче?

Болела мать долго. Плакала, оставляя Марию, десяти лет дочку свою, одну в этом жестоком, послевоенном мире.

И Мария плакала: жалко было мать. Просила:

—Не умирай…

Не послушалась…

Вырастил мир Марию. Не дал пропасть человеку. А в шестнадцать лет к ней пришла любовь.

В том году была ранняя весна, и уже в марте склоны холмов до синего леса покрыли маки, кровью залив землю. И тонкий аромат повис над землёй. А когда ветер шевелил траву, казалось, тихий звон голубых колокольчиков, разбросанных кое-где, смешивался с песней жаворонка и смехом Марии, что бежит, задыхаясь от счастья, от быстрого своего бега, и падает в высокую шёлковую траву, опрокидываясь и разбрасывая руки, и замирает, словно птица перед грозой, в ожидании чуда.

И чудо свершилось. Впервые тогда она почувствовала кружение земли. Исчезло всё: и селение, далеко внизу, под холмом, и близкий лес, и речка, до которой чуть не добежала она,—всё исчезло, потому что застил пространство Иван, и казалось, одни только они—он и она—на этой красной поляне, на этой земле, поросшей маками, словно залитой кровью до самого края, летят в бесконечность, открывая таинство жизни и смерти. И настала ночь, и чёрные птицы кружились перед глазами Марии, разрывали сердце, разрывали плоть и исчезали в чёрном небе, унося незнаемую доселе боль… И настал день, и принёс он запах полыни, и зной… И снова пришла ночь, и снова день… Мир кружился, и таяло всё в мареве: и прошлое, и будущее, и день, и ночь. Без утра и вечера. Всё длиннее день, всё короче ночь. Вот улетела последняя чёрная птица, и остался день, увязнув в тяжёлом, терпком аромате жухлой прошлогодней полыни. И мир наполнился звуками. И было странно видеть Марии ползущего по её ладони жучка… Мария подняла палец—жучок пополз вверх. Иван захотел сдунуть его.

—Не надо,—сказала Мария.—Это божья коровка.

—Насекомое,—сказал Иван и не узнал своего голоса.

Марии казалось, что дрожь её тела, волнение души и смятение передаётся этому маленькому существу, напоминающему половинку глобуса. Она не понимала, что случилось, не понимала, как случилось и зачем? Мир, мгновение назад такой простой и ясный, оставался прежним, она это видела: так же внизу было их село, а на поле трудился трактор, и жаворонок в небе ещё не допел своей песни—всё оставалось прежним, но она уже чувствовала, знала, что это не так, что-то изменилось, случилось важное, чего нельзя ни изменить, ни забыть…

—Вот и всё,—почему-то подумала Мария и не могла уяснить себе, что это—всё? В её сознание ещё не могла вместиться жизнь до этой красной черты и после; и не знала она, что это жаворонком с его журчащим ручейком—песней улетает детство, но ощущение безмерной пустоты кружило голову, кружило сердце…

И потом, сколько бы ни прошло времени, где бы она ни была, всегда в минуты одиночества среди людей, всегда будет прилетать к ней серая птичка-жаворонок и журчать над ней в синем небе её первого счастья.

Букашка ползла по пальцу. Она была красная с чёрными точками. Но что-то необыкновенное было в этой обыкновенной божьей коровке, что-то такое, что они не могли отвести от неё глаз.

Они смотрели, как она медленно расправляет крылышки—ловит ветер… Вот она уже летит, красная звёздочка, тает в синем небе.

—Она всё видела,—сказала Мария.

…И приснился ей сон. Будто вглядывается она в синее небо, силится разглядеть улетевшую букашку, и дрожит в глазах её марево от зноя. И видит она всадницу на гнедом коне, и слышит странные слова:

—Всё от женщины. И бога-то женщина обыкновенная родила. Всё от сердца. А оно у каждого—своё. У кого—зверь ненасытный, у кого—птица певчая. И кукушки есть, и лебеди. Ты, Мария, жаворонок. На земле гнездо твоё, а поешь только в небе…

…Две дочки оставил Иван на земле…

Сказал:

—Ты, Мария, береги детишек. А за меня не беспокойся. Бессмертный я у тебя…

Мария не плакала. Она знала, что он бессмертный для неё. До сих пор в сердце живёт. И сейчас вот так ясно и явно ожил, когда подняла её на руки свои внучка её и Ивана—Мария, закружила, и оборвалось у неё сердце, у старой, упало…

Упало сердце женщины, но не разорвалось, выдержало. И поняла тогда Мария, что сердце человека что птица. Пока есть крылья, пока есть

опора—надежда, не может оно разбиться. И подумала она с внутренним—непонятным ей смущением—и, наверное, никогда никому не созналась бы в том—что земля, в сущности, тоже женщина. Так же в муках рожает, Родина, ибо жизнь даёт сущему, как женщина. И мера ей—совесть, то есть—вера. И прав её Иван: бессмертна любовь, ради жизни на смерть идущая. Вечна она, ибо смерть не есть небытие, а—определение веры и памяти. И всегда на её весах великое добро и великое зло. Но добро велико и в малом, а малое зло—зависть.

Разве может радость убить человека? Вот и сейчас сердце бабки Марии сорвалось с давно насиженного места, привычного, своего. Столько пережила за последнее время: и такое нескладное замужество внучки—почти год не видала её, ласточку ненаглядную!—и отъезд Дарьи с мужем за границу—так разве может сердце разбиться, если крылья—вот они, на руках у внучки Марии, в сердце её?!

А сердце рвётся в горло, задыхаясь, словами. И говорит почти шёпотом, слабея, бабка Мария:
—Что ты, Машка, перестань! Ну, право, Машка!

А сердце сладко замирает и падает в бесконечную бездну.

…Память странные образы лепит.
Поле. Запах травы и зной.
И ликующий, страстный лепет—
Словно птица над головой,
Словно солнце ручьём струится
И волной золотой слепит…
Ах ты, жаворонок,
Ах ты, птица,—
В синем небе родник журчит…

## 8. Знаки и буквы

…Женщина давно уже вышла. Борчуев сам помог ей вынести вещи, подал ребёнка, ещё раз сказал:
—Большое спасибо, так сказать, от всей души,—потом пожелал ей родить двойню, вернулся в автобус, сел на своё место и, вздохнув облегчённо, закрыл глаза.

Ночной недосып, скандал и нервотрёпка в автобусе, волнение—всё это не позволяло ему ни осмотреться, ни прийти в то блаженное созерцательное равновесие, когда спокойно оглядываешь попутчиков, ища достойного собеседника или слушателя. Обычно высококоммуникабельный Борчуев был выбит из колеи. Он чуть не опоздал на автобус, был рассеян.
—Вот случай,—думал он,—просто рассказ получается. Такое нарочно не придумаешь. Это хорошо, что так случилось…—он уже обдумывал сюжет нового рассказа.
—Только женщину с ребёнком, беременную, я обязательно высажу. Ведь шофёр хотел же это сделать?! Пусть случится эдакое, так сказать, сентиментальное…

Приятная дрожь охватывала его, расслабляя, погружая в дремоту, когда вдруг он почувствовал хороший щелчок в темя. Инстинктивно Борчуев втянул голову в плечи и открыл глаза. Ничего не понимая, посмотрел на соседа. Капитан спал. «Шофёр, негодяй!»—подумал Борчуев и посмотрел в проход. Сменщик сидел на своём месте и разговаривал с водителем. «Нет, он не мог так быстро добежать до своего кресла». Борчуев приподнялся, взглянул на соседей впереди себя, сзади. Всё нормально. Тогда кто же? Или почудилось—нервы? Борчуев пощупал голову. Нет, вот она, точка,—болит ещё.

Он снова взглянул на капитана. Тот чуть заметно улыбался.
—Э, да это же Арман!—узнал вдруг Борчуев,—Арман!
—Надо же! Здорово, Арман! Вот это да! Вот так штука! А я думаю, кто это? А это—ты! Ну и дела!—он тормошил Армана, ёрзая и суетясь в своём кресле.

Сдерживаемая долго энергия нашла выход в неумеренном восторге:
—Смотри ты, Арман! Капитан! Ну-ну, рассказывай, как ты там, где ты сейчас? Как живёшь? Ты с самого начала едешь? Ты всё видел? А? Как они меня хотели?.. А? А как я им?! Вот оно как бывает! Скажи—не поверят, скажут, выдумал. Вот так встреча! Ну, руку-то, руку дай!..

Арман улыбался. Отпихивался шутливо, ждал, когда схлынет. Скорого конца не предвиделось. Тогда он поймал руку Борчуева, крепко пожал. Борчуев сразу успокоился. Смущённо улыбнулся:
—Я, так сказать, правда, очень рад тебя видеть. Но всё это так неожиданно!
—А я знал, что тебя встречу!—сказал Арман.
—Не может быть!—удивился Борчуев.
—Точно знал. Только вот тебя не узнал, пока удостоверение твоё не прочёл.
—Что, так сильно изменился?—огорчился Борчуев.
—Не так чтобы…—успокоил его Арман,—только ситуация, сам знаешь, какая сложилась…
—Изменился,—перебил его Борчуев, проводя ладонью по плеши,—поседел, полысел, так сказать, плоды и результат урбанизации… Жизнь, видишь ли, вся, так сказать, борьба. Тебе вот проще. Никаких забот. Служи себе. Государство и одевает, и кормит, и жильё предоставляет. Капитан! Служи себе—не хочу! Всё ясно и просто.
—Зачем ты так?—мягко упрекнул Арман.
—Ты прости, прости,—Борчуев схватил Армана за локоть,—нервы, эмоции отрицательные. Со вчерашнего дня. А потом это… И шелобан. Вот тебя бы после такого треснуть, так сказать, но башке? А? Хе-хе… Так что ты не обижайся, так что ты прости, понял? Это я так, сглупил. Что, я не понимаю, что ли! Что я—окончательно, так сказать, совсем, да?
—Всё в порядке,—сказал Арман,—всё в порядке, Эркин.

Десять лет. Это немало. Но и не так много, чтобы неузнаваемо изменить человека. Из всего класса только Эркин Борчуев поступил в университет. Арман ушёл в армию. Потом поступил в военное училище. Потом—служба. Приветы от друзей, приветы друзьям. Служба.
—О, десять лет! Это совсем немало, десять лет,—говорил Эркин Борчуев,—ты уже капитан. А ещё

и тридцати нет, видишь, как хорошо складывается. Кожобек — помнишь? — всё время списывал: чабан! Тологен, так сказать, отец семейства. Шесть девочек. Философом стал. Ещё бы не стать, если каждый раз сына ждёшь, а шесть девочек подряд. Сам-то женат? Дети?

— Не довелось — ответил Арман. — То одно, то другое. Но невеста есть.

— Вот так и у меня. Сначала думал: окончу университет, с работой определюсь, на ноги встану. Не сложилось. Разом, так сказать, наперекосяк пошло. Слышал, наверное, землетрясение было?

— Позже узнал. Я тогда в командировке был, за границей. Всё знаю, — Арман взял руку Эркина в свою, повторил: — Я всё знаю, Эркин.

— Один я остался. Ни родителей, ни дома. Ребята говорили: останься, мол, учителей, так сказать, не хватает. Дом, мол, совместно поставим новый, женишься… Ну и в том духе. А у меня что? У меня — работа в газете, у меня, так сказать, невеста, девушка любимая из хорошей, так сказать, сильной семьи, не случись этой беды, свадьба была бы. И, конечно, гонор. Помнишь, как я уезжал? Как же, талант!

Эркин вначале говорил громко, настойчиво, торопливо, как человек, которого никогда не дослушивают до конца. Арман слушал внимательно, не перебивая, и незаметно речь Борчуева стала спокойней.

— Оставалась кое-какая живность: корова, овец несколько, мелочь разная вроде кур, так сказать, уток… да, собака была. Маленькая, трёх месяцев собака. Чёрт её знает, откуда. Настоящая породная собака. Чёрная собака — дог. Вот я её только, не знаю зачем, в город увёз. А остальное — раздал. Что мне деньги с Кожобека, к примеру, брать или с того же Тологена? А лошадь зарезал. Поминки по родителям… Сам понимаешь моё состояние — хотел, как у всех. Один я, понимаешь, остался. Всё прошло, так сказать, достойно. Вот только перед отъездом глупость получилась. Вспоминаю — до сих пор стыдно. Тебе говорю, потому что, если бы ты был тогда, и тебя бы касалось. Собрались все наши. Снова стали уговаривать остаться. Я им про невесту, а они: мол, если любит, приедет. Наивным всё это показалось и занесло меня, как козла дурного, в сторону. Что вы, говорю, видели? Что вы, говорю, знаете? Вы же как трава, так сказать, живёте. И ничего вам не надо. Это же просто жизнь ваша, форма жизни — чабан. Тысячи лет жили так. А я — ваша эволюция, ступень повыше. Ну, что за жизнь — рожать детей, ходить за отарой? Никакой культуры, так сказать… Если бы ты знал, *как* они промолчали… С тем и уехал, жил я тогда на квартире. Я же надежды подавал. Свадьбу уже назначили. А накануне статья вышла в областной газете. Писатель Биркулов, есть такой, Кадыр. Сейчас-то он — как друг мне. А тогда — кто я? Знать не знал ни я его, ни он меня. Был он, оказывается, на ту пору в наших краях, писал какие-то очерки по заказу какой-то мусульманской организации и поминки мои, за неимением другого материала — ему, так сказать, для остроты не хватало эдакого — взял да и выдал за «тулее», языческое жертвоприношение и обращение к святым и духам предков, что по канонам ислама строго запрещено… Что он со мной сделал! И пропагандист я дурных пережитков, и апологет шаманизма!.. А семья невесты была из «новых», а сам знаешь, как после независимости, так сказать, стало модно быть «правоверным». Свадьба расстроилась… Да, вот ещё. Знаешь, как ребята мне ответили? Хо! Сюжет. Я когда-нибудь напишу. Они продали всю живность, что я им оставил. Всю, до последней курицы, и деньги мне передали через кого-то… Это ещё до статьи было. Помню, я ещё посмеялся: чудаки, так сказать…

Потом нашёл я Биркулова, писателя. Извинялся он передо мной. Ошибочка, мол, так сказать, вышла. Вот так и познакомились. Как раз я на телевидение устроился, редактором. А Биркулов — дом у него свой, один жил — меня к себе позвал. Вот мы с ним и живём…

Борчуев замолчал. Пытливо посмотрел на Армана. Перевёл дух.

— Не надоело слушать? Я, так сказать, заговорил, наверное, тебя? Всё о себе да о себе. Ты в отпуск или как?

— Или как, — ответил Арман. — Командировка длительная предстоит. Отца долго не видел. Ребят. Вот и тебя, видишь, как хорошо, встретил. Ты ведь тоже в аил?

— Это хорошо, что ты со мной, — сказал убеждённо Борчуев, — это судьба, что мы вместе едем. Как бы я один после всего этого там бы появился — я не представляю.

— Преувеличиваешь. Неужели Кожобек тебя не поймёт?

— Понять-то поймёт. А каково мне душу выворачивать? Вон она, жизнь-то моя, как меня, так сказать, обкатала. Вот ты всегда знаешь, что есть люди, которые о тебе хорошо думают. Вспомнят, так сказать, добром. Хоть где, а ты не один, значит. Как тебе пояснить… Вот любовь. Ты любишь — значит, не один. Пусть даже тебя не любят. Только ты. А всё равно — тепло. А когда пусто? А когда знаешь, что тебя помнят — с презрением? Жизнь — это в основном память, твоя и о тебе. У меня пока скверная память, плохая. Не в смысле, что забываю, нет, — хорошего вспомнить нечего. Всё наперекосяк. Орбиту надо менять. Я вот о чём иногда думать стал. Вот, к примеру, ты, Арман, сейчас около. Ты — как большая планета, так сказать, для меня, и поле твоего притяжения я чувствую… Нет-нет, ты не перебивай меня, ты дослушай, я доскажу мысль. Это не комплимент, — перебил вдруг себя Борчуев, заметив, что Арман хочет вставить слово, — это я, так сказать, образно говоря…

— Просто хотел спросить, почему ты всё время, так сказать, вот это «так сказать» повторяешь?

— А! — засмеялся облегчённо Борчуев, — это, так сказать, фу ты, к слову, это слова-паразиты. Говорю я быстро, пауз делать не умею. Боюсь я пауз. Некоторые слово скажут, потом паузу держат, слово подыскивают или с мыслями собираются. А получается очень веско, солидно. Сколько ни учился — не научился. Я раньше после каждого

почти слова повторял «это самое». Борчуев наклонился к Арману, сделал угодливую мину и, паясничая, произнёс:
— У тебя, это самое, всё в порядке? Я полагаю, что пора, это самое, наладить в конце-то концов сферу обслуживания, это самое, туристов в иссык-кульской курортной зоне!..

Борчуев рассмеялся.
— Даже представить смешно, что я так разговаривал. А Биркулов, умница, слушал-слушал, да и посоветовал. Ты, говорит, Эркин, раз не умеешь за своей речью следить да от «этого самого» избавиться не можешь, замени «это самое» на «так сказать». Посмотришь, как сразу по-другому станет звучать твоё слово. Ты прислушайся к окружающим, кто как говорит. Умные люди «так сказать» применяют для вескости. Некоторые ещё заковыристее умеют. Они вместо «так сказать» умудряются говорить «образно говоря». Второе для меня оказалось сложнее. Я, так сказать, знаю свои возможности и, это самое, образно говорю.

Борчуев рассмеялся весело. Засмеялся и Арман.
— Вот видишь, как всё просто,— обрадовался Борчуев,— всё это ерунда. Но совет Биркулова я принял. Так вот, образно говоря, Биркулов тоже своего рода, так сказать, планета. Наверное, я впервые за столько лет выскочил из поля её притяжения. Вот с тобой, сейчас. Помнишь, у Достоевского? Кто-то там говорит князю, что, мол, подлецы любят чистых людей? Я не хочу сказать, что Биркулов подлец или Иса, например… Иса — это наш друг. Художник.

Борчуев тяжело вздохнул. Замолчал, задумавшись. Арман мельком взглянул на него. Борчуев сидел, зажмурившись. Веки и ресницы его подёргивались от напряжения. Наконец Борчуев с шумом выдохнул воздух, сказал:
— Вот. Паузу выдержал. Не надоел ещё?
— Нет.
— Хорошие они по-своему. Только круг у них странный. Пока трезвые — вроде и говорить не о чем. Обо всём же переговорено. А согреются — и сначала… И никто их не признаёт, но они, мол, пробьются, и тому подобное. И вся молодёжь, вроде меня, все — к Биркулову, поддержки ищут, ждут. А у него, бедняги, руки уже трясутся… Ну а я им что скажу? И мнения вроде нет. Надоест — всё равно, промолчу. Выгонит — куда я? А так хоть жильё бесплатное. Я приноровился так, что зарплату свою сразу — на счёт в Казкоммерцбанк, даже не вижу. В образ вошёл, привык. Ко мне, такому, привыкли. А я живу в кредит. Сегодня у одного взаймы взял, отдал долг другому, завтра у третьего — отдал второму… Разница — мелочь. Кто же её считает? А я живу! Сам себе противен, осуждаю, но молчу, терплю. А сейчас, понимаешь, машину, «Гольф», предлагают. Самую малость не хватает. Закавыка. А где взять? Я-то один. У этих сподвижников сумму не вытянешь. Да они за душой ничего и не имеют. Тоже по-своему в кредит живут, интеллигенты… Вот ты, Арман, вижу, удивляешься. Вон как на меня посматриваешь. А я тебя понимаю. Ох, как понимаю. Я, может, тоже на себя так же смотрю. Да не может, а так! Только научился я такому фокусу — отстраняться от себя. Со стороны смотреть на себя. И вот — красная линия. Я ведь не такой. Я другой. Я тебе о себе, но о другом, рассказываю. Он, этот другой, умрёт. Вот только найду жену с квартирой, машину куплю, ну, и гараж, конечно. И всё. Я так себя опишу, моего современника, отрицательного героя, что и сам себя не узнаю. Заклеймлю…
— Перестань, Эркин, ну, что ты…— Арман погладил Борчуева по руке,— ты как в эйфории. Перестань, слышишь?

Борчуев замолчал. Обмяк. Долго сидел с закрытыми глазами, потом сказал:
— Тяжело мне. Столько лет один. Человеку нельзя, когда он один, кто-то нужен. Понимаю я старичков городских, что с собачками гуляют или кошек заводят… А у меня даже собаки не было эти годы. Дог был, правда, собака, что осталась у меня. Летом у Биркулова во дворе на привязи была. Такую собаку, скажу я тебе, на привязи держать нельзя! Биркулов не любит собак. Захудала моя собака. К зиме вовсе заболела. Дом-то не мой. Спасибо, самого приютили. А у Багиры, это дога так звали, воспаление лёгких открылось. Конец собаке. А тут Мария как-то зашла. Ису, мужа своего искала. Увидела собаку, обрадовалась: отдайте её мне, говорит… Эх, какая собака стала! Большая, красивая. А голос! Певец, а не собака. Бас. Нижнее фа спокойно брала.
— Мария? — быстро спросил Арман.— Откуда Мария?
— Долгая история,— стал рассказывать Борчуев.— Она почти девочка, Иса ей голову замутил. Портрет её нарисовал. В музее изобразительных искусств картина эта. Хороший портрет. Лучшая его работа. В любви объяснялся, подлец, а сам ещё и с первой женой официально, так сказать, не развёлся, и к нам, то есть к Биркулову, подружек водил прямо вплоть до свадьбы с Марией… Мы ей, честно, намекали. Как тут такое, это самое, прямо скажешь? Ведь и Иса не чужой. Да, подумали: может, любовь, может, остепенится, может, завяжет с этим самым, выпивкой, и прочее…

Арман внимательно слушал. Поймав его взгляд, Борчуев пояснил:
— Я «это самое» в прямом смысле сказал. Заметил — я даже «так сказать» стараюсь не употреблять? Получается, да? Спасибо тебе! Я это сразу в себе заметил. Значит, правда, чувствую, вырос на ступеньку. Я так думаю: если человек продолжает самопрограммироваться, значит, он ещё годен на что-то. Об этом у меня даже мысль одна имеется…
— Это потом. Что Мария?
— А, Мария… Он ей сказал, что если она замуж за него не пойдёт, то он повесится или сопьётся окончательно; он сказал ей, что она для него — спасение, заветный остров обетованный, что он всё бросит и ради неё займётся творчеством, что, если она не пойдёт за него, то его талант будет загублен… Мать её плакала, отец её пытался на Ису воздействовать, Мария сама плакала — как чувствовала, что — в омут… Вот такие дела были. А потом Иса собаку мою, Багиру… Марину, на базар свёл, по пьянке. За сто пятьдесят сом загнал… Можно

сказать, душу нашу продал. И так дёшево. Собака, если по совести, штук пять стоила. Да, не в этом дело. Словом, не сложилось у них. А я что, я—свидетель. Записываю, как рассказы. Оформлю потом, книга, скажу тебе, выйдет интересная. И я там, с гнусностью своей. Дам почитать Биркулову. Вот будет номер, я даже имена пока не меняю. А сегодняшний мой случай? Готовая юмореска. Даже героев подставлять не надо. Опиши, как есть—не поверит. Да и я бы не поверил, если бы сказали, что будет так и я в конце-то концов тебя встречу и буду душу свою перед тобой выворачивать.

—Я тоже не поверил,—сказал Арман.—Ну а дальше что? Как Мария?

—А дальше я пока не знаю,—сказал Эркин.—дальше как у них сложится. Я вот тут сделал наброски. Конечно, кое-что добавил, для драматизации. А впрочем, какая тут драма? Всё логично. Уйдёт она от него, может, и ушла уже. Я два последних дня у них в квартире жил. Иса-то, он, как говорится, у Биркулова. Я непьющий. Я же алкоголик, сейчас на собрания анонимных алкоголиков хожу. Когда они собираются, мне тяжело, я ухожу куда-нибудь. Их тоже звал—бесполезно… Иса говорит: «Иди до меня. Машки нет. У родителей». Сколько я всего видел, но так наглядно, чтобы вот так всё рушилось на глазах и ничего нельзя поделать—впервые. Тягостно. Квартира—две комнаты. Отдельные. Ванна, санузел—раздельные. Кухня большая—шестнадцать метров! Лоджия! Ах, а не квартира. А какая библиотека была!.. Всё продал. Знаешь, Арман, я думаю, что продавать книги—это последнее дело… А Иса сейчас коврики с орнаментом стал делать, трафареты резать для разных «национальных изделий», знаешь, таких поделок для иностранцев сейчас навалом… Недавно в Эмиратах выставка была международная, так там Кыргызстан представлял пару войлочных ковриков и кустарных камчей. В виде достижения двадцать первого века… Стыд… Но философию, как каждый алкоголик, Иса подвёл: мол, новая форма современного искусства—трансцендентный возврат к кочевому великому прошлому.

Я думаю, Арман, плохо они кончат. Мария уйдёт. Биркулов с Исой сгорят однажды в доме Биркулова по пьяному делу. По крайней мере, в моём рассказе так будет. Я не суеверный. Я вообще неверующий. Но иногда кажется мне, что если что написано, это как предсказано—обязательно сбудется. А у них сейчас практически спать негде. Я на голой раскладушке провёл две ночи. Смешная история. Хочешь, расскажу? Впрочем, я рассказ сделал. Слушай, Арман, ехать ещё далеко. Прочти, а? Ты первый будешь читатель. Потом, ты же объективный, не заинтересованный. Я тебе верю. Прочти, а? Ты не бойся, это не от руки, напечатано на принтере, как положено…

Борчуев засуетился, доставая из-под колен толстый свой портфель, начал рыться в нём, выуживая синюю китайскую папку.

Арман смотрел на него и думал, что Кенти, как всегда, оказался прав. Вот и Борчуев Эркин, и его торопливая речь. Несколько минут—и будто вся жизнь Эркина прошла. И говорить вроде далее нечего, пока нет других точек соприкосновения. Вот он, Борчуев, человек без хозяина в голове. Был ли он? А если был, что с ним? Как это так случается, что человек отстраняется сам от себя, судит себя, подлого, прощает и полагает, что очистился, что нет возврата к тому, осуждённому. Но сам себя не расстреляешь. Можешь только застрелить. Но это же не выход. Что-то он говорил о планетах. Может, действительно таким людям нужна атмосфера сильной планеты, чистой всегда, свежей и здоровой? Но есть и чёрные планеты. Значит, постоянна борьба двух притяжений вот за таких именно борчуевых? Значит, они стоят этого? Значит, Кожобек для них пасёт отары? Значит, для них рожает дочерей Тологен? Значит, за них он, Арман, уезжает от Марии?

—Вот, нашёл,—Борчуев радостно потряс папкой.—Ты почитай, почитай,—он совал рукопись Арману.—Нет, погоди, я сам тебе покажу.

Борчуев бережно развязал тесёмки, открыл папку. На белом глянцевом листе сверху справа печатными буквами значилось:

Эркин Борчуев

и по центру:

*Портрет*

рассказ

«—Ты совершенно напрасно смотришь на меня с таким сожалением. Сегодня я держусь как английский король, и, если нам всё-таки принесут кофе, я смогу дойти до двери сам. Всё рассказывать я не буду, ты ведь знаешь гораздо больше, чем хочешь показать. Представляю, что она тебе наплела. Ну да бог с тобой, дружба двух мужчин—это много, и женщина стоять между нами не может. Вчера она спрашивала меня, что я думаю делать дальше. Я буду пить. Мне очень жаль, что мы с тобой не виделись давно, теперь мне нужно ещё раз пройти по былому, с тобой вместе, чтобы ты понял всё, что знаешь.

—Ты всё усложняешь, Иса,—сказал я,—в жизни всё упрощать надо. Она и так сложна. А в искусстве, так сказать, наоборот…

Но сбить его не удалось.

—У тебя странная улыбка,—сказал он.—Как у Марии, когда она о чём-то просит меня… Ну, например, не пить… Да. Всё кончено. Сегодня я пропиваю город. Больше нечего. Свой последний этюд я продал Айсулуу за несколько минут молчания. Больше я писать не буду—у меня дрожат пальцы. А сегодня я продаю тебе свой город, оставайся здесь, я уеду. Такого города нигде ни у кого нет. Здесь очень много красок. Вот видишь, прямо за окном—вишнёвое деревце. Вчера оно было белым, а сегодня лепестки уже набрались солнца, на донышке каждого—розовая капля. Ствол ещё покрыт пушком, как тело молодой женщины, вглядись, но вот выступила смола—пот первого жгучего желания…

О чём я? Да, о последнем этюде. Я плакал, когда писал его. От бессилия. От сознания того, что

владею сокровищем, равного которому нет, но возложено оно в мою гробницу.

Я назвал эту работу «Кара-куджур». Я видел её картиной. И писал жалкий набросок. Помнишь, мы с тобой были там, в ущелье Кара-Куджур, и ты пытался объяснить мне это название. «Нескончаемое падение», «бездонная пропасть», «непроглядная тьма», «неумолкающее эхо», «чёрная бездна»… И привиделось мне тогда при свете костра чудное. Словно дремлем мы с тобой на крошечном островке земли, и вокруг—*ничего*. Ни времени. Ни пространства. И скорей даже не то чтобы вечность, а небытие, просто пустота. И стоит вглядеться пристальнее в неё—она проглотит и этот островок, закрутит, сотрёт… Надо дремать, дремать и думать только о себе… Вместить в себе самом всю вселенную, весь мир, который утерян безвозвратно… Мария всегда говорила мне: я люблю… Когда я ругал её. Когда приходил в полночь. Когда посылал по телефону её подруг. Когда смеялся над её инфантильными платьями. Когда целовал её…

Знаешь, почему я не закончил «Обручение с иноверкой»? Нет, дело не в надуманности—и не такое бывало на нашей дурацкой земле. Просто—не по зубам оказалось. Старухи,—да, вышли, пророчицы: «не пара…». Невеста удалась—покорная, чужая,—рабыня, которую в цепи заковывают, и не поймёшь—рада, горем убита… А жених—болван с дешёвой фотографии—знаешь, когда голову сунет в дырку, прорезанную в картоне, и красуется клиент на горячем скакуне на фоне Эльбруса…

А первой мне об этом Мария сказала: «Врёшь. Коврик для иностранцев делаешь…»

В тот вечер мы проводили тебя—ты улетал поздно, помнишь?—уже не спалось, и мы с ней долго тогда говорили. Мы сидели в ванной, любимое место наше было, она—на стиральной машине, а я клал на унитаз том Ошо… Разрешил Марии выкурить сигаретку—собственно, она и без меня тайком курила, курила и сама каждый раз боялась за будущего малыша.

Как сейчас помню—оперлась на колено, пальцы запустила в космы, слушает меня, а в глазах тоска непроглядная, никогда не видел её такой. Сначала не понял. Потом ужаснулся—с ненавистью смотрит, зрачки огромные разошлись… Знаешь, так ирбис глядит, когда его, спутанного, на горб поднимаешь…

Вскочил: Мария, что с тобой? Плохо? «Хорошо,—говорит,—просто тошнит от счастья…»

Знаешь, мне это напоминает завтрашний день. Когда день пуст, с нетерпением ожидаешь *завтра*—случится же что-нибудь наконец, придёт какое-то событие. Приходит новый день, но он снова—*сегодня*, торопишься и его прожить в честь прекрасного, лёгкого и светлого *завтра*…

Мария сняла квартиру недалеко от нас. Каждое утро я проходил мимо её окна, иногда мне удавалось увидеть её с малышом из-за неплотно прикрытой шторы, если он плакал, она качала его на руках, улыбалась ему, шептала что-то, наверное, своё «люблю»…

…Когда моя матушка умирала в больнице, я привёл к себе Айсулуу. Я ещё не знал тогда, что у судьбы одно назначение—так жестоко шутить надо мной.

Такие приступы у мамы были часто. Обычно отлежит недели две—и на ногах, успевай выполнять приказы… Я был у неё до вечера, она прогнала меня домой.

В пустой дом боялся идти один. А впрочем, вру. Просто—пришли с Айсулуу вместе. Свет не стали зажигать, сидели при свечах…

Я потом несколько раз пытался нарисовать ту Айсулуу: белое в сумраке лицо, длинные прямые волосы, в тонких пальцах—оплывающая свеча: «Прости, господи, раба твоего Ису за грешные помыслы его, исполнение за коими следовать должно… Отпусти ему грехи нынешние и грядущие и даруй ему чистую страницу памяти, бо история сея с листа заглавного начаться должна…»

Ты, старик, пойми меня, прошу с опозданием об этом, я просто никого не видел тогда и не хотел. И тебя тоже. Я ненавидел тогда всех живых, а особенно самых близких…

На похоронах матери я впервые понял, что можно что-то или кого-то пропить. Замуж отдают—пропивают, и хоронят—тоже… Удивительное совпадение!..

Мария пришла ко мне через несколько дней… Я пытался как-то заслонить пустые бутылки, искромсанные, истоптанные холсты, грязную постель…

Все зеркала в доме были всё ещё повёрнуты лицом к стене. И даже вещи будто отвернулись от меня, по утрам я не знал, где приткнуться с чашкой кофе, столько всюду было грязной посуды, тряпок, картонок, битого стекла…

Разговаривали мы с Марией в ванной: она—на стиральной машине, я—на унитазе, как в добрые старые времена, когда вещи, кроме своего прямого назначения, имели ещё и территориальную независимость от своего контекста…

Попроще не смогу тебе объяснить, что со мной тогда было—я ненавидел её, я боготворил её, мне хотелось её ударить, унизить, мне хотелось носить её на руках…

Она уговорила меня лечь в больницу. Тогда она сделала чудо, потому что остановить меня было трудно—я летел, как на перекладных…

Потом—несколько недель чистоты, света, губ её, рук, глаз, несколько недель боли и любви, несколько недель тишины, запаха сохнущей краски, работы… И боязни—будто не взаправду, вот-вот с кошачьей милой морды глянут раскосые глаза ирбиса…

В мастерской однажды погас свет. И когда он зажёгся—на стуле сидела Айсулуу. Простая, понятная, «своя в доску». Глаза смеются, на щеках ямочки, причёска какая-то чудная…

—Я фантом,—говорит,—я твоя совесть. Ты разлюбил меня и бросил. А я выплакала все глаза, они теперь не карие, а зелёные. Как у русалки. Не боишься? Утащу в омут…

Ну а потом… А потом было всё, что ты называешь «докатился»…

А в общем, старик, пора закругляться. Я очень счастлив. Смотри—окна: это рама, а в раме последняя моя картина. Я специально дал тусклый фон—в нём больше полутонов… Эта улица уходит в никуда. Начинается она за нашей спиной много-много лет назад. Я рисовал к ней наброски прутиком на жёлтом песке, а ты прошёлся по моим эскизам босиком… И осталась улица, и остался твой след, только художник забыл поставить свою подпись—а может, не умел ещё писать, даже печатными буквами…

…Они сидели друг против друга. Иса и Мария. Разговаривали. Спокойно, рассудительно. Им даже странно было—вот так сидеть напротив, курить свободно и говорить вполголоса о наболевшем.

И было радостно ей от внутреннего, наконец, освобождения. Силу чуяла в себе, осознавала её, упивалась ею, наслаждаясь: вот он, сидит напротив, муж, растерянный, опрокинутый, обескураженный её откровением, растоптанный её мягкой ненавистью, что выявлялась в простых словах, которые говорила она ему, словно незнакомому человеку, не боясь ни его обиды, ни скандала.

А вспоминала она ему все неувязки, неурядицы и ссоры, неизбежные в не очень-то уютной семейной жизни, вызванные постоянным его пьянством. Когда, ещё веря ему, его обещаниям покончить с выпивкой, отдавалась она своему негодованию, думая, что её отношение, её протест ещё может что-либо изменить в нём, ей казалось игрою это умение без оглядки творить чудеса: любить ненавидя, тут же всё забывая и прощая, чтобы снова идти в поводу не объезженного ещё характера, надеясь, что время скажет, была ли любовь. Что любовь, словно чистый рудный камень, заблестит в огне, очищенная от шлака, освобождённая от всего случайного, преходящего. И огонь этот—жизнь, вечный огонь, отделяющий металл от породы.

И не сразу поняла она, что не руда вовсе, а пустой камень, раскалённый в каменке,—брызни влагой и грейся, млея, пока не остынет.

И потому не забывались обиды долгими бессонными ночами, когда напрасно ожидала она его домой, утверждаясь в своём разочаровании. А память подбрасывала мелочи, которые становились вдруг важными сейчас, оттеняя и высвечивая непонятные тогда обиды.

Но, странное дело, не было той боли, что раньше сжимала сердце, с каждым новым штрихом становилось ей покойней, и радовалась она каждой новой детали, и чем больше становилось их—тем более чувствовала она свою правоту, понимая взлелеянную свою жертву, очищалась духовно, оправдывая себя в глазах своих и перед своей совестью. И было ей хорошо.

Впервые она не пререкалась с ним, не спорила. Это обескуражило его, и слушал он, не перебивая.

Говорила она тихо, но с таким напряжением, что воистину малая обида меж мужем и женой становилась вдруг в его глазах неразрешимой проблемой, подлостью, низостью. И было ему жутко оглядываться вслед её словам в прошлое. Видел он там себя, пережитого давно, в странном, непонятном свете её памяти, верил: всё могло быть. Не помнил. Только смотрел в её серое от усталости лицо и думал что-то несуразное, неуместное.

«Кожа пепельная. Курит. Всё время курила. С первого дня курила. А обещала не курить. Обманывала. Потому и вянет кожа… Похудела. Хочет быть красивой. А хуже ей. Не понимает. Дурочка. И говорит, наверное, со зла… Хоть сегодня можно было бы и не выпивать… Да ладно уж. А пусть. Наверное, так и было, как она говорит. Могло, конечно. Курит ведь… А обещала. Пусть. Обойдётся. Накипело. Пусть выговорится. Ведь сколько молчала. А помнит. Только зачем сейчас, когда так хорошо?»—пьяная истома разливалась по его телу.

— Разлюбила я тебя,—сказала она, гася сигарету, упирая огоньком в пепельницу и растирая в пыль окурок,—не люблю.

Он не поверил. Засмеялся было, но осёкся—неуместно. Оборвалось что-то. Сжалось внутри, скрутило, хотелось согнуться, но выпрямился. Чувствовал, что трещит в нём это что-то, натягиваясь и ломаясь с хрустом. Тогда поверил. «Вот и всё»,—подумал он. Улыбнулся, спросил:

— Что же дальше?

— Так и жить…—еле заметная усмешка тронула тонкие губы,—я изменять тебе не буду и не собираюсь…

— Так не бывает. Верность хранят тем, кого любят.

Она пожала плечами.

— Мне тебя жалко.

— Как это—не любить и жалеть? Разве так можно?

— Можно. Но я не могу объяснить тебе этого.

Обиды не было. Была боль, муть. Он чувствовал себя обманутым. Обойдённым не единожды—а каждый день, час за часом, всё это время. И знал, что не она виновата в этом. Что ж обижаться? Хмельное сознание пыталось оправдываться: он жил, как мог, как умел, терпеливо пытаясь воспитывать себя, каждый раз оборачиваясь на себя вчерашнего, осуждал его. Да, вчера он был другой, и завтра—тоже, и послезавтра… Он даже бравировал этим, говоря:

— До каких же пор будет совершенствоваться человек?—это он так шутил и непременно добавлял при этом:—Мне надо жить долго!

Но она никогда не понимала, а стало быть, не принимала его шутки. Теперь он чувствовал себя дурачком. Пусть.

— Но тот человек, о котором ты говорила, умер,—произнёс он с натугой,—я же другой…

И снова она не стала спорить.

— Я устала,—сказала только.—Идёт дождь. Кто виноват в этом? Вот и мой дождь начался. Весенний? Осенний?.. Я уже старею.

— Жаль, что я не смог быть твоим зонтиком,—он пытался острить.

— Ты дырявый,—засмеялась она легко и свободно,—ты всегда был дырявый.

«Всё. Теперь всё,—понял Иса.—Это точка». Он подошёл к ней, наклонился и осторожно поцеловал в лоб. Она не отстранилась, не шевельнулась, словно ничего и не было

— Я пошёл,—сказал он.

Он спускался по лестнице, останавливаясь в пролётах, всё ещё надеясь, что она позовёт. Но она не позвала.

Он пришёл к нам, к Биркулову, под утро. Он и раньше приходил так, и мы никогда не спрашивали, откуда он, от кого—нетактично. Он жил с нами целую неделю. Но он и раньше проживал с нами не менее. Бывало, мы спрашивали, как на это всё смотрит Мария. Он отшучивался: мол, жену надо воспитывать с пелёнок. А Мария, слава богу, ещё дитя, и ничего не понимает в жизни, и принимает его таким, какой он есть. Это благо—и ей, и ему. Она понимает, что он творческая личность, и бережёт его эмоции и чувства.

— Подонок ты,—сказал ему на это Биркулов,—такую девчонку обманывать!

Иса только смеялся.

Мы и в этот раз не опрашивали его. Но он рассказал сам.

— Она ожидала любви как в романах, чтобы—с головой и без памяти,—говорил он.—А со мной была памятлива! Говорит, хотела я на тебя обидеться, да поздно. Что твоя обида чужому человеку? А так повторять заново нелепо. Значит, продолжать жить в ожидании чуда. Только ты не способен на это. Дырявый зонтик… Это она мне всё говорит. Всё бы ничего. Только осадок в моей душе скверный. Не растворяется. Это будто бы кто-то на спине написал «дурак», а ты целый день на людях проходил и только вечером заметил…

Через неделю примерно он сказал:

— Отпустило. Лёгкость в душе чувствую. Покой. Отстранился. Чудно как-то. Вспоминаю: вот ходит женщина по дому, готовит еду, и прочее—соседка. Мы ведь с ней давно уже не жили… Сейчас понимаю: брезговала она мною. А ведь я что-то волновал в её душе, колебал… Соседка. Не сложилось. Судьба. Жалко.

Надо заметить, всё это время они с Биркуловым, как говорится, не просыхали. Но и до ручки не доходили.

Однажды Биркулов посмотрел на нас просветлённым взглядом.

— Всё,—сказал он,—пора завязывать. Пора повестушку делать. Вы как хотите, а я в больничку.

Раз в два года, иногда чаще, Биркулов ложился в психиатрическую лечебницу. Отсутствовал примерно месяц, после лечения недели две ходил тихий и трезвый, а потом незаметно всё продолжалось по-прежнему.

— Ложись со мной,—предложил он Исе.

— Нет, братцы, со мной финита.

И Иса выдал монолог, которому мы не придали значения. Наверное, уже тогда он всё для себя решил, только не мог ещё сделать последний шаг.

— Жаль… Что такое жалость? Это значит сожалеть о ком-то, о чём-то? Сожалеть—это значит раскаиваться, пожелать вернуть всё сначала, чтобы по-другому прожить… Но вернуть ничего невозможно. Значит, надо продолжать жить, но по-другому, без сожалений о вчерашнем. Какие мы неисправимые идеалисты. Весь мир вокруг меня. И пока я есть—вот он, мой. Я—солнце. Погаснет солнце—исчезнет земля, погаснет мой живой мир. Я жалею его, думаю, что без меня он погибнет. Эгоцентризм. Но во вселенной миллиарды солнц, таких как я, меньше меня, больше меня. Но не каждый может отыскать новую звезду чтобы, вращаясь вокруг неё, создать новую систему…—Иса посмотрел на нас грустно. Усмехнулся и добавил обычное:

— Надо долго жить… Моя звезда сорвалась с орбиты, моя система развалилась. Не понимаю одного. Как можно жалеть, не желая вернуться к истокам? Жалеть, не жалея?

— Она тебя однажды пожалела,—сказал Биркулов.—Вышла за тебя и сломала себе жизнь. Ты же остался таким же. Почему ты не пожалел её?

— Я любил её.

— Врёшь.

— Вру?! Но я ей благодарен, что за всё время, даже в упрёках своих, она ни разу не вспоминала Айсулуу…

Иса умер неожиданно. Через дней десять после того, как Биркулов отправился в свою «больничку». Два дня Иса был непривычно трезв, никуда не ходил. Он просил меня позировать ему. Я терпеливо сидел, Иса работал карандашом. Руки у него тряслись, и он ничего не мог с ними поделать. Ни один набросок ему не удавался, и он рвал картон за картоном. Разорванные надвое, вчетверо, в клочья, рисунки валялись по всему полу. Странно было видеть половину уха или лица, нос отдельно, глаза… Я ходил по комнате, стараясь не наступать на рисунки. Может, атмосфера действовала, а может, оттого, что это всё-таки были мои черты, и я с уважением относился даже к разорванным листам. А вернее—меня никто никогда не рисовал.

— Пусть рвёт,—думал я,—потом я из всего этого что-нибудь соберу и склею. Ведь хорошо получается, похоже.

А он продолжал рвать очередной рисунок.

— Не то, не то,—говорил он вполголоса с остервенением.

Взяв последний лист, он укрепил его на планшете, долго смотрел на меня, потом углубился в работу. Взгляд его был отрешённый. Вдруг он отложил планшет, поднялся и вышел во двор. Вышел—ну и вышел. Я продолжал сидеть, ожидая его возвращения. Он не вернулся. Он повесился на ремне в летнем туалете. Последний лист остался без единого штриха. Он остался чистым.

…Кладбище было за городом, на предгорных холмах. Оно было давно заброшено и поросло высокой травой. Мы любили приезжать сюда время от времени, валялись в пахучей траве.

Иса с Биркуловым пили кислое яблочное вино, курили. Мы любовались прекрасным джайлоо, открывавшимся нашим глазам с этих склонов. Нас покоряли зелёный простор, высокая тишина, терпкий, долго не отстающий запах полыни,—всё, что давало ощущение гармонии и вечности: и эта земля перед нами, и это знойное небо, и эти синие, облитые солнцем в блеске своём горы, и овцы,

пасущиеся меж нами и провалами забытых могил. И казалось, так было всегда: от сотворенья этого мира мы были вместе с ним и пили этот тёплый воздух, настоянный на полыни, песне жаворонка и стрекотании кузнечиков. И казалось, так будет всегда. От сотворения этого мира, в котором мы есть и пребудем до самого его конца. Однажды, навалявшись вволю, решили померяться силой. Выбрали самый большой камень и стали метать. Никто из нас не смог бросить камень дальше, чем Иса. Он очень гордился этим. Думается, при желании Биркулов метнул бы дальше, но у него никогда не возникало такого желания. Иса смеялся и говорил:

— Надо долго жить, ребята. Но если я уйду раньше, положите этот камень на мою могилу. Он будет мне памятником от вас.

…Камень мы несли вместе с Биркуловым. Потом он зубилом выбил его фамилию, имя, год рождения и дату смерти.

— Друзья, если вырастет трава, пусть даже полынь или чертополох,— не трогайте. Вдруг это я?— и он весело смеялся.

На его могиле выросла высокая трава. И полынь, и чертополох. И ещё несколько подсолнухов— весной Биркулов бросил в землю несколько семечек.

— Друзья мои, не позволяйте никому огораживать меня. Пусть даже моим детям, если они у меня будут.

Детей у него не было. Так же, как не было и жены. Как не было родных. Как не было друзей. Так уж случилось, что он был один.

Я люблю приезжать к нему. Я ложусь на могилу, поросшую высокой травой, кладу голову на тёплый от солнца камень и, прищурясь, смотрю на подсолнухи и вижу, как они, словно вечные идолы, заворожённые волшебным светом, медленно поворачивают свои плоские безглазые лица вслед за светилом— рождённые землёй грустные подобия солнца. И тогда мне кажется, что эта полынь, и этот репейник, и высокая трава, обнимающая меня, и подсолнухи— всё это он.

Ах, дурачок, дурачок, что же ты наделал?»

### 10. Полдень

Биркулов проснулся первым. Приподнявшись, долго, не мигая, смотрел на человека, лежавшего рядом. Как собака в мороз, лежал Иса на боку, подтянув колени к груди, прикрыв локтем голову. Запёкшаяся кровь на его плече и груди вызвала ленивое любопытство Биркулова. Он тронул Ису, переворачивая на спину. Тот всхлипнул, но не проснулся.

— Носом, видно, кровь шла,— пробормотал Биркулов, тщательно осмотрев друга,— ничего, отойдёт…

Он брезгливо вытер руку о грязный матрас и, тяжело поднявшись, вышел на крыльцо. Голова, тяжёлая от боли, соображала плохо. Липкая тошнота подкатывала к горлу, выворачивая нутро. Хотелось пить. Нервный тик, начинаясь с левого глаза, переходил в дрожь, которая сотрясала вялое тело, подкашивала слабые ноги. Биркулов понял, что за раз ему до водопроводной колонки не дойти. Он тяжело опустился на тёплые ступени и, прислонившись к деревянным перилам, закрыл глаза. Ему не в новинку было это состояние тяжёлого похмелья, не впервой было сидеть вот так, прислушиваясь к своей боли, лелея её, предвкушая тот желанный и томительный миг, когда в раскрытую глотку вольётся прохладное пиво. Отравленный организм требовал яда, и все мысли были подчинены этому неодолимому зову. Так было всегда. Но сейчас, подавляя все желания, в душе Биркулова рождалась тревога. Смутная, она вызывала страх, который не могло объяснить больное сознание.

«Синдром невыученного урока»,— усмехнулся про себя Биркулов. Но нет, успокоение не приходило. Он чувствовал: что-то изменилось в его природе. Но что? Что?

Биркулов разлепил тяжёлые веки— увидел перед собой, на верёвке, сохнущие «доспехи» Исы.

— Мария,— вспомнил Биркулов. Из его горла вырвался хрип, похожий на смех:— Мария!

И пропала тревога. Вместе с ней исчез страх— Биркулов узнал пустоту в своей душе: умерла зависть.

— Ты, Иса, счастливый человек,— говаривал Биркулов сотоварищу,— везучий. Я тебя, ну, кажется, насквозь вижу, знаю: нет в тебе для меня секретов— и, право, ничего не нахожу. Ты уж не обижайся. И что в тебе Мария нашла? Другая давно бы тебя, алкаша, выбросила… Нет, вот честное слово, не понимаю!

Иса улыбался многозначительно, кивал, соглашаясь, головой, отвечал в нетрезвом своём самодовольстве:

— Мария— она святой человек. Не достоин я её. Прав ты, старина, ох, как прав!..

— Это уж точно,— подтверждал Биркулов.

— Да, и ты тоже,— не замечая, походя оскорблял Биркулова Иса,— грязные мы с тобой, Кадыр… А она… о! Она из истинных женщин. Настоящая. Они, брат, не просто любят. Они через жалость свою познают мир. Жалеет— стало быть, любит. А жалость— она, брат, границ не знает. На том и совесть у них стоит, стало быть, вера…

Такие разговоры были часто.

— Эх,— в сердцах, зло восклицал Биркулов,— завидую я тебе!— и, спохватываясь, всегда добавлял, не забывая, меняя тон:— Белой, белой завистью завидую тебе, друг мой… она, сам знаешь, как в песне, крылья даёт… Вот хочешь сюжет? Нарисуй, а? Вот триптих: «Се человек…»

— Было уж,— отмахивался Иса.

— Нет, не то, ты послушай,— настаивал Биркулов,— в центре, видишь, вот человек, хочешь, с меня срисуй, обнажусь даже…

— Не надо обнажаться,— останавливал движение друга Иса.

— Ну хорошо, не буду. Вот, значит, в центре Я, а справа, нет, слева— белая зависть, а справа— чёрная… А? Здорово? Подходит?

И каждый раз Иса, словно впервые слыша предложение друга, долго осмысливал сказанное, тупо

глядя в переносицу Кадыра, отвечал всегда одно и то же.

— Нет,—отвечал Иса,—этого никак невозможно создать. Потому что есть только человек и зависть его. Одна. В нём. Белая ли, чёрная—едино. Всё зависть. Как подлость. Большая или малая—всё равно подлость. Или предательство… Остальное от лукавого.

— Ханжа ты,—каждый раз констатировал Биркулов.—Я, к примеру, не женюсь, чтобы кому-нибудь жизнь не испортить…

— Подожди,—прерывал Иса,—а ты, может, мне жизнь портишь! Я же тебя не виню. Я же понимаю, что надо самому в грехи впадать, чтобы потом, соразмерив, однажды понять и простить другим… Так, только так! Иначе—ты прав, это ханжество. Это ты, Кадыр, ханжа. Духовный и душевный прелюбодей. Стареешь уже, пуританин, немощен становишься. Знаем таких пуритан—злостных блюстителей нравственности и морали… Видали таких!

Со стороны казалось, что они жестоко ссорятся и бранятся. Кое-кто из свидетелей пытался вмешиваться в их диалог, но их всегда вовремя останавливали завсегдатаи, и разговор двух друзей всегда заканчивался мирно, примерно так:

— Тоже мне, судия!—кричал Иса,—Да если хочешь знать, Иисус заранее знал, что Иуда предаст его, а Пётр отречётся от него трижды, и заранее всё простил им! Это человеки, вроде тебя и меня, сделали символ. И нам ли, Кадыр, говорить о зависти, как о чёрном и белом хлебе?!

И вот, нет теперь зависти. Ни белой, ни чёрной. Умерла. Пусто место, которое занимала она в душе Биркулова. И понял он вдруг, что обокрал сам себя. Что ушла сила, которая грела его, жгла желчью. И горький огонь её принимал он часто за вдохновение.

— Не может быть,—пробормотал Биркулов, разлепляя тяжёлые веки,—наверное, почудилось мне с перепою…

И, тяжело подняв на вялые ноги грузное тело, побрёл за калитку, забыв про жажду свою, решил посмотреть на следы, которые, по его разумению, не могла не оставить Мария на пыльной обочине.

Но роса давно поднялась в небо и потому осталась тайна, ибо рассыпался след. И не понять теперь—шла ли здесь на рассвете Мария или кто другой прошёл недавно по краю?

Тупо смотрел Биркулов на развалины утра, когда услышал хриплый недоуменный голос Исы. Иса стоял на крыльце и кричал:

— Эй, ты что, как собака, на карачках стоишь, как свинья, носом землю роешь?—и засмеялся, подонок.

Биркулов на четвереньках же отошёл чуть, к траве, сел свободно и молча рукой поманил Ису.

— Посмотри,—сказал он Исе, когда тот, пошатываясь, подошёл к нему,—видишь след? Это Мария утром шла.

— Ничего не вижу,—сказал Иса.

— Нет, ты посмотри, посмотри,—настаивал Биркулов, тыча пальцем в землю,—видишь?

Иса лёг рядом, на траву, закинул руки за голову, потянулся.

— Это всё твои пьяные бредни,—сказал он, зевая,—это всё зависть твоя говорит. Мария не могла здесь быть, потому что этого вообще не может быть. Она два дня как ушла к родителям!

Он засмеялся, вспоминая утренние свои приключения.

— Я-то с больной головы и поверил! В свином мясе вывалялся! Горячка, фантома у тебя была. Понял?

Зажмурился Биркулов: вспомнил—увидел.

Вот он, Кадыр Биркулов, нескладно лежит, завалившись за крыльцо.

И вот Мария. Легка, чуть над землёй, не касаясь земли, по тонкому синему облаку идёт Мария…

— Нет, так не бывает,—пробормотал Биркулов и открыл глаза.

Солнце ударило в зрачки. Обжигая мозг, пошли в глазах красные круги, и ослеп на мгновенье Биркулов. Но из-под сердца его, из-под ложечки, возвращая сознание, поднялась желчь и застряла в глотке отравляющим жгучим комом.

— Нет,—уже твёрдо повторил Биркулов,—так не бывает. Почудилось…—он просто забыл, а может, никогда не видел, как роса поднимается в небо.

Напавшая вдруг икота выворачивала его наизнанку. Он опять ощутил жгучую жажду и, поднявшись, пошатываясь побрёл к водопроводной колонке, опираясь на услужливое плечо Исы.

— Почудилось… ик… Глаза её… ик… сияли… ик… она была… ик… счастлива… Фантома… Пора в больничку…

Потом в полудрёме сидели они на тёплом крыльце, под горячими лучами солнца тщетно пытаясь согреться,—мучил похмельный озноб.

— Колотун,—сказал Биркулов.—Свинство. Всё. Завязываю. Стыдно, ей-богу.

Иса не отвечал. Он смотрел на воробьёв, которые весело копошились у колонки. К ним, припав к земле, кралась облезлая чёрная кошка.

— Какой сегодня день?—спросил Иса.

— Воскресенье. Рано ещё.

— Спасу птичек,—сказал Иса.

Он поднялся и на цыпочках стал подбираться к животному.

— Оставь,—вяло заметил Биркулов,—не вмешивайся в природу.

Иса не ответил. Вытянув руку, он подбирался к кошке. Голодная, занятая своим делом, она никак не ожидала подвоха от человека. Иса схватил её за хвост, широко размахнулся, закидывая руку за спину. С мявом, судорожно извиваясь, кошка описала в воздухе чёрную дугу и вцепилась ему в спину. Не осознав случившегося, как рыбак, размахивая удилищем, ещё не знает, что крючок зацепился за пятку, Иса со всей силой своей захотел зашвырнуть животное и взревел от неожиданной боли. Кошка, когтями всех четырёх лап оставляя глубокие кровавые следы по всей его спине, намертво вцепилась ему в голову. Исе бы отпустить, разжать руку, пальцы, но, озверев, он упал на землю и катался, ревя, по пыли, уже двумя руками отдирая кошку вместе со своими волосами, кожей и мясом…

— Брось… брось… брось!..—от неожиданности громко закудахтал Биркулов, подскочил, наконец

изловчился в мгновенно случившейся паузе, ухватил кошку за бока и, оторвав её каким-то чудом, выбросил в кусты сирени.
— А-а-а! — страшно закричал Иса, вскакивая, — И ты за неё! Убью! — и бросился в сирень напролом, обдираясь, ломая ветви.

Он что-то там в ярости топтал, рыча и стеная, и, словно обессилев вдруг, затих. Потом он появился — изодранный в клочья, окровавленный, но какой-то умиротворённый, просветлённый человек. Молча он прошёл мимо Биркулова к водопроводной колонке.
— Помоги! — буркнул, подлазя под холодную струю.
— Щиплет? — участливо спрашивал Биркулов, промывая ему раны. — Лишь бы обошлось — вдруг нездоровый, вдруг бешеный кот?!

Иса сосредоточенно покряхтывал, терпел острую боль; морщась, спросил:
— Твоё животное?
— Впервой вижу, честное слово!
— А почему знаешь, что кот?
— А кто его знает!
— Ты сказал — кот, — упрямо повторил Иса.
— Может, и кошка…
— Твоё животное, — убеждённо повторил Иса, утирая с лица воду, кровь и слёзы.

Биркулов понял, что спорить сейчас бесполезно.
— Пойдём, надо йодом залить, перевязать, что ли… Вся спина изодрана.

Иса мужественно терпел, пока Биркулов обрабатывал йодом и зелёнкой ему голову и спину. Когда же добрались до лица, он сказал:
— Лицо одеколоном. И так рожа отвратная…
— Сейчас, сейчас, — с готовностью согласился Биркулов, — у нас целый пузырь каких-то духов есть…

Он смочил носовой платок одеколоном и стал прикладывать к оцарапанному лбу и щекам товарища. Потом кое-как перевязали голову бинтом.
— Порядок, — довольный своей работой сказал Биркулов. — Прямо витязь в тигровой шкуре! Тарзан!

Иса не ответил. Он слил остатки одеколона в стакан, долил водой. Взболтнув получившуюся мутную жидкость, Иса залпом выпил.
— Если бешеная, всё равно не поможет, — заметил Биркулов, — Однажды, помню, одного знакомого собака бешеная укусила. То есть сначала он не знал — бешеная или нет. Так он ей голову отрубил и отнёс на проверку в диспансер. Так, оказывается, принято. Породная была собака. Доберман-пинчер. Он за неё, за щенка, семьсот сом отдал. Оказалась здоровой. А этот точно бешеный. Нормальные так себя не ведут.

Иса слушал внимательно, пытливо, не мигая, глядя Биркулову в глаза. Потом сказал:
— Все вы заодно. Ты снова проговорился. Это твоё животное. Этот кот.
— Честное слово! — запротестовал Биркулов, — хочешь, я сам ему пойду и отрежу голову?
— Все вы сговорились, — Иса немного захмелел, — я и сам бы отрезал. Ищи ветра — сбежал твой кот. Мерзавец! Смылся — будто и не было.

К кому относилось слово «мерзавец», Биркулов выяснять не стал. Он сел на табурет и сказал:
— Тогда примешь сорок уколов. Прямо в живот, прямо в пупок. И все сорок дней этого, — он щёлкнул себя по кадыку, — ни-ни… Иначе — крышка. В мучениях и судорогах.
— Ерунда всё это, — неуверенно сказал Иса.
— Может, и ерунда, — согласился Биркулов, — а ты, считай, потенциальный мертвец.
— Все мы потенциальные… — заметил Иса и замолчал, задумавшись.

Биркулов выдержал долгую паузу. Потом вздохнул притворно, сказал:
— Полдень скоро.
— Ну куда я в таком виде пойду? — спросил Иса. — Может, сам сходишь, а?
— Э, нет, — запротестовал Биркулов, — не пойдёт! Сейчас в таком виде в магазин за этим делом идти — себя дискредитировать. Идти — так вместе.
— Мне нельзя… Ты же сам сказал.
— Это когда уколы начнутся. Или ты сейчас прямо и пойдёшь?
— А сколько инкубационный период у этой самой болезни? — Иса суеверно боялся произносить слово «бешенство».
— Сейчас, — с готовностью сказал Биркулов, — посмотрим. У меня справочник фельдшера есть. Сейчас, сейчас…

Он порылся в тумбе письменного стола, достал толстую, в зелёном переплёте книгу — стал листать.
— Ага, вот слушай: бешенство — водобоязнь, гидрофобия. Заражение происходит при укусе больными бешенством животными. Так… ага… вот: резервуаром могут быть также волки, лисицы, кошки. Кошки — понял? Особую опасность представляют укусы в голову, область лица и шеи. Это пропустим… Ага, вот: эффективных методов лечения… не разработано. Если диагноз установлен правильно, то прогноз безнадёжен… — Биркулов сам испугался и присвистнул: — штука!..
— А ну дай! — Иса вырвал книгу и прочёл далее: — Для облегчения страданий больного применяют обезболивающие… так, противосудорожные… так… укладывают под верёвочную сетку, гамак и обеспечивают тщательное наблюдение… — Иса растерянно посмотрел на Биркулова и добавил: — И только…

Иса побледнел.
— Ты погоди, — пробормотал Биркулов, осторожно вытаскивая книгу из рук Исы. Шутка оборачивалась изнанкой.
— Ага, вот, — Биркулов перевёл дух, — ещё не поздно. Слушай вот: прививки действенны лишь в том случае, если они начаты в течение первых четырнадцати дней от момента возможного заражения.

Иса криво усмехнулся.
— Тогда ещё ничего…
— Ну, а я что говорил!
— Ладно, пойдём, — сказал Иса, — только я поглажусь. И так красавец, может, и бешеный уже…
— Давай, давай, — поддержал Биркулов, — я тоже переоденусь…

Иса гладил брюки. Биркулов в светлом джинсовом костюме прохаживался по двору, ища следы кошки.

— Конечно, было бы проще,— рассуждал он громко, чтобы слышал Иса,— если бы моя кошка была. И отрезать не жалко. А то приблудная. Дикая. Кто её знает… Да-а, не хотел бы я быть на твоём месте. Зато, может, и пить бросишь — отвыкнешь за сорок-то дней, а?

— Давай я тебя укушу,— отозвался Иса,— вместе будем колоться!

— Ну-ну!..— и, меняя тему: — Скоро ты там?

— Я сейчас, рубашка только…

— Скоро ты?

— Уже! — отвечал Иса, на ходу надевая рубаху, заправляя её в брюки.— Есть у тебя на голову? Калган хоть прикрыть…

— На шкафу. Там несколько штук. Что ты всё возишься?!

— Что надеть? Бейсболку или тюбетейку?

— Да любую!

— Может, колпак?

— Ты что, в театр собираешься?!

— Я тюбетейку надену, серую!

— Да любую! — крикнул Биркулов в нетерпении,— выйдешь ты наконец?!

Иса появился в соломенной шляпе.

— У неё поля шире,— объяснил он.— Дверь запереть?

— Да кому это нужно? — раздражённо ответил Биркулов.— Пошли!

Они вышли за калитку и направились по дороге в город.

— А ты говорил, что у тебя денег нет,— упрекнул друга Иса.— Утром, когда я домой собирался…

— Сам говорил, что мне утром всё померещилось,— огрызнулся тот.

— Может, и не померещилось,— миролюбиво сказал Иса.— Кто его знает!

— У меня заначка была,— сказал Биркулов.— Каждый мужчина должен иметь заначку.

Солнце ушло за полдень, день был сухой и жаркий, Иса забыл выключить утюг.

## 11. Весна

Каждую весну деревья растят себе крылья. Бережно, ожидая часа великого перелёта, чтобы лететь вслед за птицами в тёплые страны.

Кто-то сравнил лист дерева с лицом человека, другой — с ладонью своею, третий — со своим сердцем. Наверное, справедливо и первое, и второе, и третье…

Но всё же лист — это одно лишь перо из больших крыльев.

И машут деревья крыльями своими, ветвями своими, пробуя силу свою, пробуя ветер. И, кажется, вот — поднимутся в небо, не ведая, что надо поднять всю землю, которую крепко держат они своими же корнями и без которой не могут жить. Так в стремлении и борьбе приходит к ним зрелость. И выше становится дерево, и мощнее становятся крылья, и в силе своей не видят они, как приходит зрелость лета.

А птицы уже кружат, собираясь в стаи.

И вот осень — мудрость бессилия — успокаивает каждое дерево, уговаривает не торопиться, обещая покрыть каждый листочек-перо золотом.

Осень — она как старость, как смерть, никогда не обманет. Придёт к каждому сущему в своё время и в свой час.

Но когда и кого золото поднимало в небо? И, познав ложь и блеск мишуры, деревья, эти великие оптимисты, сбрасывают с себя золотые одеяния, чтобы начать новую попытку следующей весной.

Никогда надежда не оставит живущего.

…Есть у кыргызов заговор, когда в любви и нежности говорят: «Окружу я тебя собою, возьму на себя все заботы твои и горе твоё».

Так и бабушка болезнью своею оставила на потом сердечные страдания Марии. И как-то между делом прошёл развод с Исой, и просто некогда было переживать разлуку с Арманом, потому что не было для Марии большей заботы, чем болезнь бабушки. Сначала её нельзя было шевелить, а потом везти в больницу не имело смысла. Мария сама делала уколы, давала вовремя лекарства,— словом, лучшей сиделки и быть не могло. За ночь — привыкла Мария — несколько раз проснётся, приподнимет голову: слушает, как спит бабушка? И снова — утро…

Старое сердце оживало медленно. Только к зиме бабушка стала подниматься и потихоньку бродить по дому. Для радости Марии и этого было довольно.

— Ты бы с подружками хоть в кино сходила,— ворчала временами бабушка.— Мне, видишь, совсем хорошо.

— Успею,— отвечала Мария,— наотдыхаюсь.

— А как с Исой? Говорят, он пить бросил. Вот давеча друг его приходил. Писателем представился. Обратно зовёт, говорит…

— Поздно, бабушка,— смеялась Мария,— он меня давно пропил, до капельки, душу мою. Ничего у меня к нему не осталось. Ни обиды, ни горечи.

Мария не лукавила. Забыла, и всё. Это, наверное, и есть прощение, когда забываешь так, что даже во сне не приходит обида. Как отпускают мёртвому грехи его. Сколько таких живых мертвецов в мире, которых прощает разум человека живущего, но никогда сердце его?

И вот наконец весна. Прилетели ласточки, а бабушка легла в больницу. И остановилось время для Марии. День вдруг сделался бесконечным, а ночь — беспредельной. Да и есть ли разница между ними, если в сердце поселилась тревога и ни на минуту не покидает беспокойство?

— Ты неважно выглядишь,— сказала бабушка, когда Мария навестила её,— может, дома что? Собака? Куры? Или Иса приходил?

— Всё хорошо,— отвечала Мария,— всё хорошо. И собака, и куры, и Исы не было. Только тревожно мне. Боюсь я, бабушка, может, случилось что?

И рассказала она про Армана. И слушала бабушка внучку, не перебивая. Потом погладила Марию по голове, сказала ласково:

— А не пишет он, потому что служба такая. Тебе же волноваться нельзя. Вредно для дочки твоей.

— Почему — дочка? — улыбнулась сквозь слёзы Мария.
— А потому, что любит он тебя сильно. Ты уж мне поверь. Я у тебя ведунья.

И Мария поверила. И слёзы её высохли, как роса под солнцем, и она сказала:
— Заеду к нему. Может, туда он письма пишет? Думает — я там?
— Не надо, — мягко сказала бабушка, — время придёт — он сам отыщет тебя.

Так говорили они до вечера. Мария уехала на последней маршрутке.

Когда проезжали микрорайон, она сказала водителю:
— Пожалуйста, остановитесь…

Не выдержала Мария, не послушалась бабушки. Вот она стоит у дома, смотрит на окна, не верит глазам своим — в окнах, в его окнах, на четвёртом этаже, горит свет!
— Ах, — перехватило сердце — приехал! Скорее, скорее! Как медленно бегут ноги! Ну, скорее же! Эти ступеньки никогда не кончатся! Второй этаж… третий… задыхаясь, не переводя дух, вот он, четвёртый, вот — дверь. Звонок… что?.. не работает?

Мария давила кнопку звонка. В глазах её застило, в ушах звенело. Сердце колотилось о горло, мешая жить. Как долго не открывает… Вот шаги. Открывается дверь… Кто это?! Кто на пороге? Кто? Незнакомый… Кто?

Мария отшатнулась, чтобы лучше разглядеть человека. Нет, не он. Ноги её ослабели, голова закружилась. Она упала бы, но Борчуев бросился и успел поддержать её. Мария опомнилась, пришла в себя. Она высвободила локоть и крепко, обеими руками, схватилась за перила. Она узнала Эркина Борчуева, и глубокое равнодушие вдруг охватило её. Всё стало неинтересным, скучным и ненужным..
— Мария? Как ты меня нашла? — удивился Эркин. — Никто же не знает… — и вдруг испугался.
— На тебе лица нет. Что случилось? Иса… умер?
— Нет… Не знаю… Может быть… — несвязно, плохо соображая, отвечала Мария, — Я… просто ошиблась…
— Куда ты такая? Заходи, отдохнёшь…
— Пойду я… Ошиблась… Извини…

Крепко держась за перила, перехватывая руками, Мария медленно пошла вниз. Эркин, пожав плечами, вернулся в квартиру, громко хлопнув дверью. Мария была уже внизу, когда Эркин, вспомнив, выбежал на пролёт и закричал вслед:
— Ты знаешь, что у Биркулова дом сгорел?

Мария не ответила. Может, не расслышала?

Борчуев подождал немного, потом пробормотал:
— А мне, в сущности, какое до этого дело? — и не спеша вернулся в квартиру Армана.

На остановке никого не было. Мария даже порадовалась этому. Села на скамейку перевести дух, но резкая боль сотрясла вдруг всё её тело. Она вскрикнула, схватившись обеими руками за живот свой и давя в себе крик, повалилась на бок.
— Началось, — поняла она, теряя сознание. Ей казалось, что она кричит на весь город: — Помогите! Помогите! — но она лишь только шептала запёкшимися губами, сдерживая всеми силами рвущуюся наружу жизнь. В полусознании видела она, как рядом остановилась красная машина, выскочил парень и, что-то говоря ей, уговаривая ласково, поддерживая осторожно, поднял, помог дойти до машины и заботливо устроил на заднем сиденье.

Отпустило на время. И ясность вернулась к Марии.
— Стойте! Куда вы меня везёте? Остановите машину! — потребовала она.

Парень обернулся на мгновение, успокоил:
— Не волнуйтесь, Мария. Это я, ваш новый сосед. Помните? Бабушку в больницу отвозил…

Мария вспомнила. Ну, конечно же, это новый сосед — весёлый рыжий парень. Бабушке он сразу понравился — певун. А Мария всё время мучилась — где же раньше могла его видеть?

Парень гнал машину на большой скорости и, не оборачиваясь, говорил:
— Вы только не беспокойтесь, Мария. За домом я пригляжу. И за живностью, и за собакой…

## 12. Подарок

Теплее солнца может быть только сердце матери. Оно жарче тысячи солнц, когда в катаклизме чувств и страстей зарождается новая, твоя, жизнь. Сердце матери. Оно остывает потому, что отдаёт тепло своё тебе… Но, даже погаснув, не остывает в сердце твоём, греет тебя памятью. И так — беспредельно, ибо однажды ты тоже родишь миры. Иначе — нет смысла в общем бытии, иначе — вселенная не беспредельна. Иначе — солнце никому не нужное, мёртвое.

Раньше времени родилась дочь. И никто не мог знать, останется ли она жить в мире. Другим матерям сёстры приносили детей, и они жадно приникали, освобождая женщинам грудь, сопели и засыпали. Тогда в палате наступала тишина.

Мария не знала ещё этой удивительной и прекрасной пустоты в груди. Её томила тяжесть и ноющая, высасывающая боль, которая начиналась неизвестно где и, казалось, никогда не кончится.

Утром на её тумбочке кто-то поставил букетик полевых цветов, вечером появился на той же тумбочке пакет кефира, яблоки и тонкая бумажная папка.

Мария не замечала. Безучастная, лежала она, прислушиваясь к своей боли, и ждала — терпеливо, безропотно, — когда принесут ей её дитя.
— Ты бы взяла у кого-нибудь ребёночка, покормила бы, пока твоего принесут, вот и полегчало бы тебе, — советовала, жалея её, старая нянечка, — хочешь, я принесу?

Мария отказывалась. Ей казалось странным, что первое её молоко попробует не её ребёнок. Она и так чувствовала себя виноватой перед ним, потому что не ощущала радости, а только боль и усталость.

«Пусть, — думала она, — сейчас нет радости. Ведь счастье и радость — это не одно и то же, это всётаки разное. Иному и пустяк доставляет радость, и проживёт он жизнь в радости, так и не узнав счастья… Но сколько людей живут трудно и горько, и не желают менять своё бытие ни на что другое. Может, и я счастлива, и всегда была счастлива,

только не знаю об этом? А может, счастье—это воспоминание о радости и ожидание радости?..»

Ночью её нашли у дверей детского отделения. Она была в обмороке. Её отнесли в палату. Пришёл дежурный врач. Он долго не мог добиться вразумительного ответа.

— Ей показалось, что там ребёночек её плачет,— сказала соседка.

Мария молча кивнула.

— Это бывает,—успокоил врач,—завтра вам принесут вашу дочку.

Мария захлебнулась воздухом, ничего сказать не могла. Она с благодарностью смотрела на врача и плакала молча.

— Ну-ну,—сказал врач,—всё хорошо, всё обошлось, успокойтесь,—и вышел из палаты.

— Там тебе записка,—сказала соседка,—от мужа, наверное. Ответила бы. Что мужику томиться?

И увидела Мария полевые цветы на тумбочке. Увидела тонкую папку, а на ней—записку.

— Кто бы это?—подумала Мария, беря и разворачивая сложенный лист.

«Здравствуйте, Мария! Поздравляю с рождением дочки. Арман просил назвать её Зейнеп. Это у кыргызов символ большой и верной любви. Это кукушка зовёт своего любимого, который в дальних краях тоже тоскует о своей возлюбленной Зейнеп. Всё будет хорошо, уверяю Вас. Ваш Кенти».

Мария сначала не поняла. Перечитала ещё раз и ещё. Главное—это Арман. Главное—всё будет хорошо. Но—кукушка?.. Кукушка—это же другой смысл! А это, оказывается, и большая любовь!

— Кукушка, кукушка, сколько нам жить?!—кричала Мария.

Ку-ку, ку-ку, ку-ку…—сбилась со счёта Мария, засмеялась и, обняв Армана за шею, повалила на землю, в высокую, мягкого шёлка траву.

…Когда это было? Давно. Вчера, лет сто тому, тысяча—всегда. И сейчас вот кукует, отсчитывая им время. Щедро дарит.

Вот—они наклонились к воде. И вдруг сквозь листву скользнуло и упало в родник солнце. И вода стала золотой. И они, словно дикие олени, вытянув губы, пили долго, втягивая в себя золотую влагу и ощущая долгожданную прохладу, которая растекалась по всему телу.

Потом она зачерпнула ладошкой и брызнула на лицо себе. И он видел, как по свежему лицу её, золотому от солнца, стекают золотые же капли. Он начал смеяться и целовать её. Мария тоже смеялась и отворачивала лицо. И снова они упали в высокую влажную траву—тут же, у родника.

А солнце ушло за гору. И лес стал лесом. Вода стала водою. Только в роднике плавала золотая рыбка…

— Зейнеп,—тихо произнесла Мария странно прозвучавшее на её языке слово.—Зейнеп…—повторила она, привыкая к нему,—Зейнеп.

Она улыбнулась. Потом протянула руку и взяла папку-скоросшиватель. Открыла.

Рукопись начиналась с титульного листа: *«Возраст любви»*.

## Венок Шопену

*200 лет со дня рождения композитора*

Анна Ахматова

### При музыке

Опять приходит полонез Шопена.
О, Боже мой!—как много вееров,
И глаз потупленных, и нежных ртов,
Но как близка, как шелестит измена.
Тень музыки мелькнула по стене,
Но прозелени лунной не задела.
О, сколько раз вот здесь я холодела
И кто-то страшный мне кивал в окне.
……………………………………
И как ужасен взор безносых статуй,
Но уходи и за меня не ратуй,
И не молись так горько обо мне.
……………………………………
И голос из тринадцатого года
Опять кричит: я здесь, я снова твой…
Мне ни к чему ни слава, ни свобода,
Я слишком знаю… но молчит природа,
И сыростью пахнуло гробовой.

Игорь Северянин

### Шопен

Кто в кружева вспенённые Шопена,
Благоуханные, не погружал
Своей души? Кто слаже не дрожал,
Когда кипит в отливе лунном пена?

Кто не склонял колени—и колена!—
Пред той, кто выглядит, как идеал,
Чей непостижный облик трепетал
В сетях его приманчивого плена?

То воздуха не самого ли вздох?
Из всех богов наибожайший бог—
Бог музыки—в его вселился opus,

Где все и вся почти из ничего,
Где все объёмны промельки его,
Как на оси вращающийся глобус!

Матвей Чойбонов

# Из тьмы священного сосуда

*Перевёл с бурятского*
*Иван Тертычный*

Эх, до чего корявое и там, и сям житьё!
Одни, посмотришь, славные, другие же — зверьё.
Одни — в трудах да тяготах, другим — не жизнь, а пир.
Один одет с иголочки, другой — реклама дыр.
Ну что же — духом падать? Кручиниться? Рыдать?
Хоть беден ты, но честен, есть свет в тебе и стать!
Ты выстоишь, я верю. Храни добро и честь,
Храни надежду, веру. А справедливость — есть.

**Суровый взор**

Ох, как суров свинцовой тучи взор!
В каком досель он побывал краю?
Несёт он гром и молний яркий спор.
Не надо страхом мать томить мою!

О, колыбель Земля, твой чистый дар —
Луга в цветах, тягучие леса —
Ждёт, что вот-вот обрушится удар
И полымя разверзнет небеса.

Как стая перелётных птиц, трава
Рванётся вдаль, и закипит река…
И тут родятся горькие слова:
— Всё буйство трав уложено в стога…

Ну что ж, беги, трава, в земную даль!
Вскипая, бейся в берега, вода!
Жалеть себя? Нет, мне себя не жаль.
Иных годов настала череда.

Идут, проходят годы,
Своё упрямо гнут…
И вот в простор свободы
Наследники идут.
Ах, радость — дети, детки!
Не разбредайтесь! Ведь
Учили наши предки
Один приют иметь.
Один… Плутаешь в мраке.
Один… Намнут бока.
А дружные собаки
Съедают и быка!
И прочие заветы
Понятны и просты:
Стремись душою к свету —
И будешь светел ты;
Своим в родном народе
До дней последних будь —
И в звёздном небосводе
Прочертишь верный путь!

Из тьмы священного сосуда —
Утробы матери моей —
Я вышел в мир, увидел чудо —
Белейший лотос средь полей.

Каким повеяло богатством!
Какая радость обняла!
О, как манит его убранство!
Но — разные у нас дела:

Он дарит чистоту и негу
И украшает мир земной,
А мне брести в ночах по снегу…
И волчий вой пойдёт за мной…

Но лотосом вплыву я в реку…

Порой страшнее человека
Созданья в мире этом нет:
Он губит род, народ; калекой
Живёт, позоря белый свет.
То злата хочет, то услады,
То подавай немедля рай…
Иного ничего не надо!
Одно лишь знает он: давай!..
Не знавший доблести и чести,
Тепла родного очага,
Уйдёт — и канет он в безвестье
Без слова друга и врага.

Ты встретишь в жизни разное:
И радость, и печаль,
И осень распрекрасную,
И мая синь, и даль.

Ты встретишь в жизни всякое:
И чудо ясных лиц,
И мрачное, двоякое,
Где тень и свет слились.

Ах, колокольчик медный!..
Любимая!.. Она!..
В какой-то час заветный
Та встреча суждена.

С любимою однажды
Земной увидишь рай:
Медведь там будет важный,
И ловкий горностай,

И белки, и косули…
Все жители тайги.
Всё есть в моём посуле?
Запомни. Сбереги.

**Сказитель**

Смотрю с горы в просторы,
На синь и облака,
На полного задора
Родного степняка.

Душа, как лебедь белый,
Летит своим путём—
В заветные пределы
В сиянье золотом,

Где вечная лампада,
Где нет пустых страстей…
Сегодня ждать мне надо
Явления гостей.

О, гости дорогие,
Почтенные друзья!
Мы стали все другие—
И он, и ты, и я.

Сказителя послушать
Мы нынче собрались,
Чтоб вновь с наплывом души
Несло и вдаль, и ввысь;

Там жаворонка звоны,
Там детский плач и смех
И на зелёных склонах
И шум, и жар утех;

И табунов движенье,
И серебро подков,
И бурное смешенье
Людей, событий, снов…

Врачуй, сказитель, души!
Напев протяжный твой—
То суховеем сушит,
То потчует водой!

Врачуй, сказитель, пой…





Халид Мамедов

# Безумная уверенность, звезда…

Безумная уверенность, звезда,
звезда, моя звезда над головою,
свети, не угасая, никогда
не стань перегоревшею, землёю.

Мотая срок в истории России,
вдыхая дым, в котором никотин,
с друзьями или без, иду один.
Слезою смазаны, глаза мои босые
проскальзывают мимо всех витрин,

пусты и безвоздушны, арки в душу,
что прячу от порывов, ёжась весь:
куда иду я, выкидыш небес,
такой большой и гибнущий, зовущий?

На кладбище шаги ведут, легки.
Душа—вдова, ей в ночь пора одеться.
Гроба зарыты, как призывники
в окопы по приказу жить без сердца.

Отхаркивает полночь пару звёзд,
не более того, на сердце сгусток
того, что быть могло, но не сбылось
и жизнью было списано в искусство.

Не для живых горит моя звезда.
Угасну я, она же—никогда,
чумой окликнув каждого на пире:
о Каин, где твой брат, где бедный лирик?

В две тысячи неведомом году,
как прочие исчезнув организмы,
я содрогнусь в пылающем в аду,
при мысли о своей прошедшей жизни.

Для кого-то я только поэт,
для кого-то я только прозаик,
а для всех остальных меня нет:
на свидание к ним опоздаю.

В небесах догорает бычок.
На заре его точка дотлела.
Перекинул рюкзак за плечо,
за небрежное школьное тело.

Проносящихся мимо прохожих,
старых, средних, девчонок, ребят,
пропускаю, шагаю, похожий
с превеликим трудом на себя.

Сердце бьётся, стучит в унисон
с переставшими быть, неживыми.
Чтобы в слове возникнуть, во всём
остальном я практически вымер.

---

Этой осенью смуглой,
провожая листву,
по течению google,
что ни вечер, плыву.

На поверхности льдин
можно выжить, скользя,
даже если один,
а иначе—нельзя.

Но не выжить, а жить.
И такая печаль
этот мир выносить—
выносить на плечах.

Раиса Дидигова

# Прикосновение



## Бессмертный слог

*Памяти Анны Ахматовой*

Мелодией любви и грусти нежной
Пронзает душу твой бессмертный слог
В стихии дум и чаяний безбрежной
Преобладает горестей поток,

И слышится, как грудь похолодела,
Беспомощные вздохи издала…
Как ты на руку правую надела
Перчатку, что не с той руки была.

Вдруг завиднелись мрачные строения
И запах гари в воздухе застыл,
И день, когда замолкло птичье пение,
Прощальною печалью исходил.

О… сколько сердце дней таких вмещало?
Отчаяньем строфа порой звучит,
Но сила духа путь твой освещала,
И этот свет поэзия хранит.

Ты в слитки золотые отливала
Стихи, те, что из сора извлекла…
Их глубиною мысли начиняла
И негою душевного тепла,

Чтоб вечно мир земной обогащался
Нетленною гармонией твоей,
И дух твой незабвенный воплощался
В деяниях и помыслах людей.

---

Ты мою печаль не вороши,
Теневая сторона души,
Уживаясь тягостно с тобой,
Я обречена на непокой…

Сколько слёз мне предстоит пролить,
Чтоб тебя очистить, осветлить?
Сколько сотворить мне добрых дел,
Чтобы не был горьким мой удел?

Сущностью моей не завладей,
Светлый тон по духу ближе ей,
Пощади меня и отступись!
Отпусти в изведанную высь…

Только там я обрету покой,
Мир тот ныне управляет мной,
Вытесняя боль и темноту,
Утверждая свет и красоту…

Ты мою печаль не вороши,
Теневая сторона души…

## Цветы осенью

Как будто в изумлении застыли
В сыром дыханье осени цветы,
Их покрывает бледностью унылой
Беспомощность увядшей красоты…

Поникших лепестков наивный шёпот
Мне навевает нежную печаль…
Так больно слышать их последний ропот!
Покорную невинность эту жаль.

## Упавший лист

Сорвавшись, жёлтый лист упал
В мои протянутые руки,
Он обречённо трепетал
Под угасающие звуки…

Осенний ветер не вникал
В удел печальный листопада,
С листвою танго танцевал,
На жертву равнодушно глядя.

Я холодела от тоски,
Упавший лист к груди прижала;
Стремление его спасти
Лишь безысходность обнажало…

## Я—дочь народа своего

Ингушка я! И тем горжусь.
Я—дочь народа своего,
В благополучии его
Я блага личного добьюсь.

Всегда с народом быть хочу,
И боль, и радости деля…
Ему, взрастившему меня,
Любовью трепетной плачу.

И невозможно отыскать
Гуманнее его души;
Пройдя сквозь беды, ингуши
Не разучились сострадать.

Народ мой не в чем упрекнуть,
Трагична, но чиста стезя,
Всё помним, что забыть нельзя,
Дальнейший продолжая путь…

Достойной быть его стремлюсь,
И, заблуждений не тая,
Над тусклой сферой бытия
Я высоко с ним вознесусь!

## Цвети, республика!

Цвети, республика родная!
Свет неба, красота земная
Сосредоточены в тебе…
Но… в непростой твоей судьбе
Бывали ночи затяжные,
А дни — короткие такие,
Что еле воспринять могли
Сиянье солнца после тьмы;

Лет молодых твоих теченье
И золотых лучей свеченье
Завесу мрака отвели…
Вновь веру люди обрели;
Благословенные деянья,
Воспрянувшие дарованья
И воплощённые мечты,
Республика, всё это — ты!

## Твоя стезя

Проходит жизнь… Твоя стезя
Могла бы быть совсем иной,
Когда бы «можно» и «нельзя»
Правдиво правили судьбой.

Но… сея смуту в головах,
Неся непоправимый вред,
Найдёт пристанище в грехах
Двуличных толкований бред.

Спасение в себе ищи!
Прозреют пустоту глаза…
Ты плачешь? Это — крик души
И очищения слеза.





*190 лет поэме «Руслан и Людмила»*

Александр Пушкин

# Огнь поэзии погас

(из лирических отступлений)

…На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал… Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, весёлых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек —
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений…

…Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь — только осторожно.
Но вы, соперники в любви,
Живите дружно, если можно!
Поверьте мне, друзья мои:
Кому судьбою непременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил назло вселенной;
Сердиться глупо и грешно…

…Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав её всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена… так что же?
Ещё милее тем она.
Всечасно прелестию новой
Умеет нас она пленить;
Скажите: можно ли сравнить
Её с Дельфирою суровой?
Одной — судьба послала дар
Обворожать сердца и взоры;
Её улыбка, разговоры
Во мне любви рождают жар.
А та — под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!..

Елизавета Полеес

# Только свет…



Без музыки? Боюсь, что не смогу.
Без музыки? Как будто дни без солнца.
Без музыки? Я у неё в долгу,
Она во мне—до нежности, до донца.

Без музыки—как мир уныл и сер!
Без музыки—ни воздуха, ни света.
Без музыки—как обнажённый нерв,
Как голый нерв—чем буду я согрета?..

Я выйду в ночь под августовский дождь,
Под звёздный дождь из пламени и пыли.
В ладонь звезду, как будто медный грош,
Поймав, прижму—со всей последней силой.

И в сердце мне сквозь запертую дверь
Она вольёт—ещё не слишком поздно
Дышать огнём—с небесных тайных сфер
И дальний свет, и музыку, и воздух…

## Только свет

Только свет наполнял мою душу тогда
И небесное тихое пламя,
Когда нежность—вблизи, в отдаленье—беда
Изумлённо взмахнули крылами.

Только голос был мудр, только свет был правдив,
И мгновенья неслышно стекали,
Только песни далёкой рождался мотив,
Полускрытый пока облаками.

Не виню. Не корю. Не считаю обид.
Что случилось—не помню, не знаю.
Но совсем не от бурь, не от гроз, не от битв—
Я теперь от тоски погибаю.

Только боль-часовой, не сдавая свой пост,
Всё горит и в душе не стихает,
Только в небе рождённая музыка звёзд
Возвращается в сердце—стихами.

## Путь

Уехать внезапно, уехать поближе,
И вдруг оказаться в далёком Париже,

И вдруг очутиться в забытой таверне,
Где негр не по клавишам лупит—по нервам,

И в дымные вдруг окунуться закаты,
Увидев фантазии сон небогатый.

А утром проснуться в деревне убогой,
Где короток путь—от рожденья до Бога.

Мой поезд уехал и весело мчится,
Минуя поля, перелески, криницы.
И в вёдро, и в дождик, и в зимнюю вьюгу
Быстрей и быстрей он несётся по кругу.

Спешит, растеряв на бескрайних просторах
И боль, и надежду, и радость, и горе.
То вдаль ускользнёт он, то мимо промчится,
То в гору взберётся с отвагою птицы.

И можно при встречах, слегка беспокойных,
Небрежно ему помахать вслед рукою.
А можно очнуться—и с грацией кошки
Азартно и дерзко вскочить на подножку.

Я родилась не завтра, не вчера—
Я сто веков скитаюсь по Вселенной.
Я родилась, когда пришла пора,
Из шороха, из шёпота, из тлена.

Я родилась из шелеста ветров,
Из красок сна, из звёздной тайны мира.
Когда по жилам заструилась кровь—
Очнулась Муза, задрожала лира.

И робкого молчания печать
Слетела прочь с уже уснувшей песни.
Я родилась мелодией звучать.
И с песней жить.
И в ней опять воскреснуть.

## Рождение

Задыхаюсь без музыки снова,
Без волнующей магии слов…
Значит, правда, что слово—основа
И что звуки вливаются в кровь?

Значит, правда, душа не хотела
Ни предать, ни солгать, ни пропасть?
Значит, правда, душа, а не тело
Сохраняет над музыкой власть?

Бьётся сердце в истоме зачатья—
Сквозь запреты, замки, рубежи.
Значит, так зарождается счастье?
Значит, так начинается жизнь?

Льётся музыка—нет ей предела,
Хоть ничто не воротится вспять.
Как болела душа, как болела!
Как она ещё будет летать!

Мария Малиновская

# Ода перу

## Поэту

Меня понимаешь—глазами…
А видишься призрачно, мнимо.
Намного приятней быть «самой»,
Когда уточняешь: «любимой».

Тебя понимаю—помимо…
Наук, биографий, сюжетов.
Приятно быть «самой любимой»…
Зачем уточнять: «из поэтов»?

## К…

Какие здесь могут быть рифмы—
С трудом подбираю слова…
Закончились песни у нимфы,
Не плачет о муже вдова.

И так уж ли нужно молиться?..
Дай весточку, облако тронь—
Я просто сниму рукавицу
И к небу приставлю ладонь.

Ведь это, наверное, лучше,
Чем сеять пустые слова.
Заплакала нимфа о муже,
И тихо запела вдова.

А раз уж так нужно молиться,
Земного, его научу.
Ведь хочется вместо страницы
Склониться к мужскому плечу…

## Безответное

*Почему ты так быстро идёшь?*
*Ф. М.*

Словно сумерки, тонешь, и вяжешь,
И являешься мне наяву…
Ты расскажешь ему, ты расскажешь,
Как я странно и страшно живу?

Как я радуюсь каждой болезни,
Понимая, что юность и пыл
Переходят в бессмертные песни
Из невечных надтреснутых жил?

Как я режу бумажную кожу
До словесной крови? Как я жду…
(Оттого и так часто тревожу…
Оттого и так быстро иду)?

Как в предсмертно оскаленном свете
Я дрожу над последней строкой?
Лишь холодный приземистый ветер
Под ласкающей воздух рукой…

## Кредо

Если жизнь бьёт отравной струёй
Не поблизости, а по близости,
Помни, Он *изначальный*. Он *твой*.
Во всей низости.

Возвращайся—в буран, по степи—
К изменившему, к изменённому.
И, как только способна, люби
Обречённого.

## Ода перу

Как бабочку—иглой,
Строку—пером к бумаге.
Оно подобно шпаге,
Сравнимо со стрелой.

По-своему остро,
По-своему опасно,
По-своему—напрасно!—
Гусиное перо.

Как от-свет—старины
И при-вкус—одичанья,
От-тенок—замечанья
И при-звук—тишины.

Подобие—клинка,
Сравнение—с кинжалом!
Его ещё держала
Любимая рука…

Приди. Заклятие
И заклинание.
Стою на паперти
За подаянием.

Стою над пропастью
Во искупление…
То с детской робостью
То в исступлении

Зову. Всей сущностью
И сутью. Где же ты?
Всех ветров сухостью,
Всех ливней свежестью

Зову. На паперти
За подаянием.
Приди. Заклятие
И заклинание.

Ольга Переверзева

# Звенят стеклянные ветра

Он в углу. Он еле дышит.
Плохо видит. Слабо слышит.
Был хранить меня обязан
Ангел мой—и тем наказан.
Он в углу. Он моет крылья
Вязкой сажей, липкой пылью.
Он меня стыдится—ниже
Он не падал—он унижен.

Он обижен переделом—
Я досталась грешным телом,
Языком, не всем понятным,
И дыханием невнятным,
Неопрятным швом души,
Сердцем мятым, но большим,
Вкусом мяты и полыни,
И гадюкой злой гордыни.

Он в углу. Он не подходит.
Он усталые отводит
Солью полные глаза—
Он уже мне всё сказал.
Он беречь меня устал
От самой себя—и стал
Вместо Ангела крещёным—
Человеком непрощённым.

И теперь по немощёным,
Как он думал—упрощённым,
По людским земным дорогам
Ищет угол…
Полубогом
За спиной не удержала.
И теперь, как будто жало,
Будто горло пережало—
Он в углу был—я дышала…
За спиною был—жила…

---

И небо в лентах облачков
Отчаянно-нарядное
Вбирает грусть твоих зрачков
Отрадно-безоглядную.

И слово, птицей на губах,
Тревожно-суматошное,
Нещадно тлеет, впопыхах,
Непрошено, хороший мой.

И годы, словно города,
Бессмысленно далёкие.
И мне опять, опять туда,
Где мысли одинокие.

---

Бесшумной клятвой
молчит и молится.
Безвесым телом
к земле склонённая,
Косынкой смятой
старушка моется,
Смывает слёзы
заговорённые.

И долгим взглядом
жалеет улицу,
Её прохожих:
по клеткам—белками,
И редко схожих,
когда не хмурятся,
И едко жадных
монеткой мелкою.

В авоське с дыркой
три Богородицы,
Две похоронки,
портретик Сталина,
Потёртый паспорт—
всё, как и водится.
Вся жизнь в авоську…
на свалку свалена.

Бездомный голубь
на пряник косится.
Отдаст последний.
Не держат ноженьки.
А вдруг сегодня
домой попросится—
И ей откроют…
Услышит Боженька.

---

Я буду плакать
дождя не громче,
Неярких радуг
роняя блёстки.
И буду звать тебя
ночи звонче
Земли и неба
на перекрёстке.

Я буду помнить
времён не дальше
Неданность слов нам
кричащей выси.
И буду ближе
мечты и фальши.
Ты будешь, милый,
не дальше мысли.

Вы не простите и не примете,
Но не покинете неверную.
Смиренным жестом шляпу снимете,
Но не обнимете, наверное.

Не оттолкнёте, не позволите
Немую нежность неповинную.
Вы мои руки обездолите
И охладите ночью длинною.

Не упрекнёте — нервно вздрогнете
В ответ на вздох мой обезмолвленный.
Я не забуду — Вы не вспомните.
Пароль, разлукой обусловленный.

И безвозвратно мне оставите
Глотками дней погоду скверную.
Всё заберёте — как подарите…
Но не покинете неверную.

Спаси его, разлука,
Пусть лёгкой будет ноша,
И поезда без стука,
И день любой — хороший.

Помилуй нас, жестоких,
Его храни, мой Боже,
Он не из одиноких,
Я знаю, он — не сможет.

Прости ему обиду,
Она без злого яда,
Он крепкий только с виду,
Побудь с ним просто рядом.

Дай, Боже, что попросит,
Я отдала, что было.
И, видно, он не спросит,
Но ты скажи: «Любила»…



Сергей Аторин

# По трудной дороге

Пролетали деньки, как с деревьев листки осенью.
Незаметно минутки ссыпались, как с пальцев песок.
В пряди русых волос повплетала мне жизнь проседи,
И легла вдруг на сердце печаль, словно ствол на висок!
Мало-мало успел. Где-то был, что-то спел — трезвый ли?
Я не помню всего, да и надо ли всё вспоминать?
Как любил, чего ждал, кого бил, а где мне врезали,
Что порой находил, и кого мне пришлось потерять.

Колесо обозрения в парке скрипит старое,
И кассира уж нет, что билеты тогда продавал.
Мы хорошею были, скорее всего, парою.
Я по этим дорожкам с тобой беззаботно гулял.
Много нового здесь, но деревья стоят те же все.
Только, кажется, стали чуть выше, а может, мудрей.
И на лавочках крашеных парочки вновь нежатся,
Притаившись в тени ароматных аллей!

По трудной дороге мне не с кем идти —
Остались попутчики на переправе,
Столпившись над картой иного пути,
И мне говорят: «Ты судить нас не вправе».
Из пыльных архивов маршрут извлекли
Стерильным пинцетом, как пулю из тела.
Со скальпеля капли под ноги стекли,
Чернилами став, штрих-пунктиром несмелым —
Несмелым, неясным в иных плоскостях,
Где правда считается за аморальность.
Здесь строить привычно на чьих-то костях,
А день твоей смерти — простая формальность.

Елена Крюкова

# Коммуналка

**Часть первая**

## Обитатели

…Я выплыла в людское море из этой гавани табачной,
Где керосином пахнет горе и в праздники—целуют смачно.

Я вышла—кочегар метели—из этой человечьей топки,
Из этой раскладной постели, где двое спят валетом знобким.

Я вылетела—в дикий космос—из ледяного умыванья
Под рукомойником раскосым—и скипидаром растиранья

При зимней огненной простуде, из общих коридоров жалких,
Смеясь и плача, вышла в люди из той людской, где все—вповалку.

—Дочка. Не смей ходить туда к нему в кладовку. Слышь, не смей!.. Он тебя там гадкому научит. Не ходи! Весь сказ!
—Буду ходить.
—Вот Бог послал козу! Упрётся рогами!.. Говорят тебе—не ходи! Мёдом он тебя там, што ль, кормит?..
—Нет. Читает.
—Во-он што!.. Артист какой!.. Мало тебе учительша в школе читает!.. Я книжки покупаю—дорогие…
—Это сказки. А Борис Иваныч мне правду читает.
—Ишь ты!.. Правду! Ну и какая она у него, правда?..
—Настоящая.

## Кладовка

…Старый граф Борис Иваныч, гриб ты, высохший на нитке
Длинной жизни,—дай мне на ночь поглядеть твои открытки.
Буквой *ять* и буквой *фита* запряжённые кареты—
У Царицы грудь открыта, солнцем веера согреты…
Царский выезд на охоту… Царских дочек одеянья—
Перед тем тифозным годом, где—стрельба и подаянье…
Мать твоя в Стамбул сбежала—гроздьями свисали люди
С корабля Всея Державы, чьи набухли кровью груди…
Беспризорник, вензель в ложке краденой, штрафная рота,—
Что, старик, глядишь сторожко в ночь, как бы зовёшь кого-то?!
Царских дочек расстреляли. И Царицу закололи.
Ты в кладовке, в одеяле, держишь слёзы барской боли—
Аметисты и гранаты, виноградины-кулоны—
Капли крови на распятых ротах, взводах, батальонах…

Старый граф! Борис Иваныч! Обменяй кольцо на пищу,
Расскажи мне сказку на ночь о великом царстве нищих!
Почитай из толстой книжки, что из мёртвых все воскреснут—
До хрипенья, до одышки, чтобы сердцу стало тесно!

В школе так нам не читают. Над богами там хохочут.
Нас цитатами пытают. Нас командами щекочут.
Почитай, Борис Иваныч, из пятнистой — в воске! — книжки…
Мы уйдём с тобою… за ночь… Я — девчонка… ты — мальчишка…
Рыбу с лодки удишь ловко… Речь — французская… красивый…

А в открытую кладовку тянет с кухни керосином.
И меня ты укрываешь грубым, в космах одеялом
И молитву мне читаешь, чтоб из мёртвых — я восстала.

— А-а-а!.. Мамочка, не бей!.. Мамочка, не надо!.. Я больше никогда!.. не буду… А-а-а-а!..
— Ты, злыдень поганый. Заел мою жизнь. Так тебе. Так тебе. Так тебе. Так. Дрянь. Дрянь. Дрянь.
— Мамочка!.. Не надо до крови!.. Не надо по голове… А-а-а!.. Прости, прости, прости, а-а!..
— У, поганец. Всего искровяню. Всего искалечу. Места живого не оставлю! Весь в отца. Весь. Получай. Получай. Получай.
— Мамочка!..
— Гадёныш.
— Анфиса, открой!.. Слышь, Анфиса, открой, дверь ногой высажу!.. Не бей мальца. Это ж подсудное дело. Засудят тебя, клячу.
— Мой!.. Что хочу, то и делаю!..
— Да он, глянь, как пищит — душа в теле кувыркается!.. Мочи ж нету слушать!.. Нас хоть пощади!.. Че издеваесся-то над беззащитным, ведь он малёк!..
— Пусть знает тяжёлую материнскую руку.
— А ну — до смерти забьёшь?..
— Горшок с возу упадёт — кобыле легше будет.

## Пьета

*Плач над избитым ребёнком*

Лежит на медном сундуке и в плечи голову вобрал…
Кровь да синяк на синяке. Ты много раз так умирал.

Петюшка, не реви ты… Слышь — твоя в аптеку мать ушла…
За сундуком скребётся мышь, и пылью светят зеркала.

Бьёт человека человек. Так было — встарь. Так будет — впредь.
Из-под заплывших синих век, пацан, куда тебе смотреть?!

Хоть в детской комнате мужик — противней нету, — а не бьёт…
Петюшка, ты же как старик: в морщинах — лоб, в морщинах — рот…

Не плачь, дитя моё, не плачь. Дай поцелую твой живот.
О Господи, как он горяч… До свадьбы… это заживёт…

И по щекам катят моим — о Господи, то плачу я
Сама!.. — и керосин, и дым, и синь отжатого белья,
И гильзы, что нашёл в золе на пустыре, и маргарин
Растопленный, и в серебре берёза — светит сквозь бензин,
И лозунги, и кумачи над дырами подъездов тех,
Где наподобие парчи блатной сверкает визг и смех! —
И заводская наша гарь, и магазин — стада овец,
И рубит рыночный наш царь мне к Ноябрю — на холодец,
Набитого трамвая звон, и я одна, опять одна,
И день безлюбьем опалён, и ночь безлюбьем сожжена, —
А ты у матери — живой! Пусть лупит! Что есть силы бьёт!
Не плачь. Я — плачу над тобой, пацан, родимый мой народ.

— Дяденька, дяденька! Иди сюда, на кухню… Здесь у мамки блины холодные остались… Щас найду… Вот они — под миской… На…
— Дочка!.. Спасибо тебе, Бог тебя наградит…
— Дяденька, да ты не плачь, а ешь… У тебя слёзы в бороде.
— Милашечка… И-эх!.. это всё ништяк, а вот добрых душ на свете мало — ох, штой-то не видать…
— Дяденька, а почему у тебя гармошка — красная?
— Потому что песня моя — прекрасная.
— Спой! Спой, пока Киселиха не пришла! А то она, если услышит, — щас завоет. И будет петь «Когда мы сходили на борт в холодные мрачные трюмы…» Я ей рыбок подарила, мальков, живородящих, а она только всё свечку перед иконой жгла, а рыбок не кормила — и уморила. Спой!
— И-эх, гармошечка жалобная, стерлядочка жареная!..
— Дяденька, а из чего твоя вторая нога сделана? Из дерева?..
— Дочка, дочка!.. Из дуба морёного… Это меня — под Кёнигсбергом шарахнуло… Пахнет от меня крепко?.. Я нынче именинник — беленькой купил…
— Пахнет. Как от дяди Валеры.
— Слухай песню! Неповторимую.

## Одноногий старик играет на гармошке и поёт

Время наше, время наше, стреляное времечко!
То — навалом щей да каши, то — прикладом в темечко…

Рота-рота да пехота, всю войну я отпахал —
Отдохнуть теперь охота, а вокруг кричат: нахал!

Инвалид, инвалид, головушка тверезая,
К дождю-снегу не болит нога твоя отрезанная?..

Так живу — в поездах да во крытых рынках.
Папироса в зубах да глаза-барвинки.

Государство ты страна, тюремная решётка:
То ли мир, то ли война — два с полтиной водка!

Я протезом гремлю да на всю Расею:
Поплясать я люблю — от музыки косею!

Эх, музыка ты моя, клавиши играют!..
До исподнего белья в тюрьмах раздевают…

Кушал Сталин знатный харч, а Хрущёв ест икру…
Я в подвале — плачь не плачь — так голодным и помру!

Выдают мне паёк: соль, картошку и ржаной!
Эх, куплю себе чаёк да на весь четвертной!..

Так чифирчик заварю да попью вприкуску,
В окно гляну на зарю зимних далей русских:

То не белые поля — алые полотнища!
То родимая земля флагами полощется…

Флаги винны, флаги красны — сколько крови пролито!..
Неужель снега напрасно кровушкою политы?..

Помню: стылый окоп. Тишь после взрыва.
И под каскою — лоб мыслит потный: живы…

Да, живой я, живой! И пою, и плачу,
И гармошки крик лихой за пазуху прячу!

И протезом об пол—стук! Деньги—в шапку?.. в каску!..
Друг, налей, выпей, друг,
            Да за эту пляску…

— Вон, вон пошла. Цаца заморская.
— Давно ль из своей Тарасихи примыкалась сюды, детишек чужих нянькала… На портниху выучилась—и думает: всё, золотое дно…
— А сама-то дура стоеросовая—другая б на её месте жила так жила! Какие б заказы брала у богатеньких… А эта—блаженненькая: то бабке слепой сошьёт за пятёрочку—цельное зимнее пальто из огрызков, то истопницыной дочке из пёс знат каких обмотков—свитер наворачиват…
— А руки золотые!
— Да ну. Так-то всяка баба может. Нашла што хвалить.
— Да она втихаря-то берёт платья-то блестящие, с люрексом, шить. Свадебные… еврейским невестам… у Герштейнов-то свадьба была!.. а я лоскуток нашла. Точь-в-точь такой, как платье у Фирки. Под ейною дверью.
— Вот оторва!.. И ведь тихо шьёт, как крыса корабельная, сидит—машинки-то не слыхать…
— Вон, вон костыляет. Задом вертит. Подпоясалась, как сноп.
— А чё? Талия у неё ничё. Как у Софи Лорен.
— Тю!.. Да она брехала однажды—бухая, што ли, была?.. што у неё каки-то старики деды взаправду из Италии родом были…
— Сочинят!..
— Деревенска—она и есть деревенска. Кака тут Италия. Под носом у её Италия.
— А на всех как с башни глядит. С прищуром.
— Скулы-та каки широки. Как сковорода лицо. Италья-а-анка!.. Тьфу…
— Это к ней ходит?.. Ну этот?.. Лабух из ресторана?.. Стёпка?..
— А как же. Днюет и ночует.
— Да она с их со всех деньги берёт. А в ресторане за вечер—знашь, сколь можно нагрести?..
— Ушла… Дверью-та как хлобыснула! Как бомбу взорвала. Портниха лупоглазая. Вот всех люблю, всех люблю в квартире. А её нет. Гордая! Не здоровается. Да Стёпка, хахаль, тоже оторви и брось. Давеча—трезвон! Открываю. Он стоит, еле держит ящик с вином. «Я звонок носом нажал, извините»,—грит…
— Если все хахали ейные будут носами на звонки нажимать…
— Или ещё чем…
— Губищи толстые, морда румяная, ну чисто доярка!.. И што они все в ней находят?.. Портниха… Нянька…
— Санька! Муфту забыла!
— Пальчики итальянски застудишь!
— Личико от мороза в мех не спрячешь—обморозишь щёчки—куды Стёпка-та будет целовать?..
— Всё туды.
— Закрой форточку, Зинаида. Кончай над человеком измываться.
— Да она всё одно не слышит. Санька!.. Не упади на каблуках, корова!..
— Кости переломат—есть кому полечить.

— Я люблю тебя, я люблю тебя, Стёпка. Я сегодня ночью шила до трёх. Ты обхватишь руками—и страшно, и знобко, зубы друг об дружку стучат, как горох… Я, гляди—лиловой крашусь помадой! Амальгаму зеркал проглядела до дна… Я безумная. Нету с собою сладу. Я с тобою—как пьяная без вина. Я люблю тебя, я люблю тебя, Стёпка! Ох, зачем я в кабак твой поесть зашла?! А ты брямкал, горбясь, по клавишам топким, из-под пальцев твоих—моя жизнь текла… Моя жизнь: изба в Тарасихе вьюжной, ребятня мокроносая, мамкин гроб да отец-матерщинник, кривой, недужный,—поцелуй его помнит росстанный лоб… Моя жизнь: чужие орущие дети, подтираю за ними, им парю, варю: рвущий деньги из рук шестикрылый ветер и капрон на ногах—назло январю! Моя жизнь: бормотанье швейной машинки, проймы-вытачки—по газетам—резцом… бабий век, поделённый на две половинки—с гладкокожим лицом и с изрытым лицом…

А тут сел ты за столик, заказал заливное, взял исколотую крепкую руку мою—и я холод небес ощутила спиною у великой, чёрной любви на краю! Я люблю тебя! Ты—хрупкий, с виду—хлипкий, а на деле—весь из железа, из тугих узлов: ты рояль свой кабацкий разбиваешь с улыбкой песнями нашей жизни—песнями без слов! Песни трамваев, буги-вуги магазинов, твисты пельменных, комиссионок, пивных—я их танцую и пою—во бензинах—сиренью щёк и гвоздикою губ шальных… Да, я молодая ещё! Я люблю тебя, Стёпка! Соседки кричат: «Шалава!.. Красный фонарь повесь!..»

А мне ни с кем ещё не было так нежно, так кротко, так робко. И никогда больше ни с кем не будет так, как с тобою—здесь.

— Мамка! Сбей мне масло.
— Петька, отвяжись.
— Сбей! Из сметаны.
— Отвяжись!
— …Возьми, Анфиса, у меня в холодильнике стоит, в банке.
— Не возьму. Ты небось мужу к щам купила.
— Муж перебьётся. А Петька твой в рост пошёл. Косточки вытягиваются. Корми дитя, Анфиса!
— Да я тебе щас денежку…
— Спрячь своё серебришко. Чай, не червонцы за сметану отдала. Не хлюпай носом!.. А хоть бы даже и червонцы.

## Анфиса сбивает сметану в масло для Петьки

Не в судорге, не спьяну, не в куреве-дыму—
Сбиваю я сметану да сыну моему.

По лестнице по нищей брела с работы я…
Востребует и взыщет голодная семья!

О, в керосинной шали под форткою дрожа,
Как руки удержали слепую боль ножа?!

И, сгорбившись на кухне, где лампа—волчий глаз,
Где тесто грозно пухнет и квохчет керогаз,
В бидоне ложкой, плача, сметану сыну бью—
Лохмата и незряча—за всю-то жизнь мою!

За мыльные лохани. За смертное бельё.
За то, что потрохами плачу за бытиё.

За наше процветанье, что царственно грядёт.
За наше подаянье у заводских ворот.

За пропуск постоянный к изношенным станкам.
За ящик деревянный у тьмы отверстых ям!

И, бешена, патлата, сметану в масло бью—
До завтрашней зарплаты у рабства на краю,
До детских ртов галчиных, где зубы—как огни!—
До матюга мужчины, до ругани родни,
До магазинов пьяных, где жиром пол пропах—
Ну, вот она, сметана! Густеет на глазах…

А я её сбиваю всю ночку, до утра!
Живу и выживаю — на выдумку хитра!
И если лютый голод затмит и слух, и речь —
Я в наш родимый голод найду, чего испечь.

— Стёпка!.. Ты?..
— Я.
— Че трезвонишь-то?.. Фу, весь в снегу… Заходи…
— Саня дома?
— А куда ей деться, Саньке твоей?.. Дурище… Сидит на своей финской машинке строчит, тебя поджидает… Пенелопа!..
— Но, но. Ещё заикнись, зява…
— Звиняйте — любовь вашу задел… Пойдём вмажем, Стёпка, а?.. По маленькой…
— Я уж к большенькой… приложился.
— Э-эх!.. И тут ты меня обскакал!.. И к Саньке первым пристоился, и коньяк «Белый аист» за пазухой нянчишь — классный ты мужик, Степан!.. Ван Клиберн ты наш!..
— Гончаров, падла!.. Осторожней на поворотах.
— Я всегда только закрытые… повороты… делаю. Ну — по чуть-чуть!..
— Вали. Огурца нету.
— А Санька с тобой… за компанию — тоже?..
— Нет. Она — только огурцы любит.
— А… тебя?
— Будешь в скважину подглядывать — быстро окривеешь. Понял?

## Одинокая песня Стёпки — Сане

Да, я лабух в ресторане, многоженец!..
Четвертак в моём кармане да червонец.
Все скатёрки в винных пятнах, шторы — в жире!
Всё мне до хребта понятно в этом мире.
Ресторан ты мой вокзальный, работёнка!..
Держит баба так печально ребятёнка…
В толстой кофте, в козьей шали — лик невесты,
Из какой далёкой дали здесь — проездом?..

Закажи блатную песню — я сыграю.
На своей работе — честно помираю.
Мне грузин две красных сунет — между жором…
Саксофон в меня как плюнет соль-мажором!

Ты, рояль мой гениальный, я — твой лабух!
Ресторан ты мой вокзальный в спящих бабах!
Эти — спят, а те — хохочут, в рюмку глядя,
Рысьими очьми щекочут, все в помаде…

И в плацкартном ресторане да в мазутном
Как тебя я встретил, Саня, серым утром?
Ты зашла. За столик села. Как — с гостями!..
Я твоё увидел тело под шерстями.
Напряглась во мне пружина. Я рванулся.
Бритый на тебя детина оглянулся.
Я не помню, что мы ели, что мы пили…

Помню: мы одни — в постели — вместе — были.
И под грубыми руками пианиста
Ты горела вся, как пламя, — мощно, чисто!
Целовал холмы, ложбины, лоб горячий…
Санька, ты ж была с мужчиной — что ж ты плачешь?..

Но, пылая головнёю, вся сияя,
Ты сказала: — Я с тобою — умираю…
Кипятком по сердцу дико хлестануло.
Ах, портниха ты, портниха!.. Всё… Уснула…

И тогда в ночи безбрежной, тьме кромешной
Целовал живот твой нежный и безгрешный.
Целовал большие руки в тайных венах,
Что обнимут все разлуки, все измены.
Целовал ступни корявые, в мозолях,
Что прошли путями ржавой бабьей боли.
И, горящими губами скул касаясь,
Будто во сиротском храме причащаясь, —
Я заплакал над тобою, Саня, Саня,
От мужской забытой боли воскресая,
Оттого, что я — лишь лабух ресторанный,
Что судьба не любит слабых, окаянных!

И во сне ты ворохнулась… Блеском — зубы…
И царевной улыбнулась пухлогубой…
И клещами рук я сжал твои запястья —
Будь я проклят, я держал, держал я счастье.
………………………………………………

…А наутро — ну, дела… Адресочек мой взяла…
С губ лиловою помадой как усмешка потекла!..
«Ночевальщик… Извини… Коммуналка… Не одни…»
Сыр нарезала ломтями. Глаз кошачьих — вбок — огни.
«Да, у нас тут ванной нет… Да, в сортир — купи билет…
Щас яичницу пожарю — гады, отключили свет!..
Значит, кухня… Керогаз… Зырканья запавших глаз…
Обзывают… Лучше в петлю — чем вот так вот — каждый раз!..»
«Много было мужиков?..» — «Был один — да был таков…
Да и я не из таковских: норов у меня суров…» —
«Да уж вижу… Жрать давай…» — «Ешь — да живо вылетай!..
Нынче от соседок будет: отошлют и в ад, и в рай…» —
«Че робеешь?.. Им ответь!..» — «Нагрублю — и так жалеть
Буду этих баб поганых, что уж лучше — помереть…»

«Саня, Санечка, постой!..» — «Выметайся. Не впервой,
Стёпка, расстаёшься с бабой, да с такою — не святой…»

А сама-то — жмёт виски, радугою слёз белки
Так сверкают… «Саня, Санька» — крик протянутой руки…

— Сократ! А Сократ! Ты че по квартире в дамском халате расхаживашь? Стыды!..
— Проиграл я всё подчистую, баба Зина. Продулся.
— Чай, можно и отыграться!..
— Пробовал. Не та масть идёт… Несчастная страна, баба Зина. Несчастный я.
— Ну, в любви-то тебе должно везти — по уши в любви небось сидишь!..
— Не сбывается поверье, баба Зина… Холодная земля. Несчастная земля. Несчастный я.
— А где б ты был счастливый?..
— В Афинах. В Пирее. Зачем отец нас сюда привёз! Зачем ему надо было уезжать! Мне Афины ночью снятся. Просыпаюсь — на подушке пятна от слёз. Зубами скриплю. Я от этого холода сдохну, баба Зина.
— Ох, Сократушка!.. Ты бы водочки с Валерой Гончаровым выпил — може, полегшало бы?..
— Карты лучше. Водки выпьешь — и спишь как убитый. Или бормочешь ересь. А за картишками всю ночь сидишь. И чувства разные: то страх, то ликуешь, то — сердце замрёт, бьёт, как птица лапками…
— Ты ж проигрался!
— Отыграюсь я, баба Зина. Отыграюсь.

## Картёжники

Нет, здесь столы покрыты не сукном зелёным, а гнилой клеёнкой.
Хруст огуречный снега — за окном. И вьюга плачет звонко.
А мы сидим. Глаза обведены бессонной чёрной метой.
О карты! Вы меж мира и войны летящие планеты.

Засаленной колодою трясу. Сдаю, дрожа руками.
Я дамы пиковой площадную красу пью жадными зрачками.
Табачный дым — старинный гобелен… На вилке — сердоликом —
Селёдка… Позабыт и фронт, и плен, и дочкиного крика
Предсмертный ужас, и глаза жены, застывшие небесно…
И этой близкой, яростной войны хрип и огонь телесный…
Забыты гимнастёрки, ордена, зенитки и разрывы…
Ох, карты!.. Лучше всякого вина, пока мы в мире — живы…

И бабий, тёплый нацепив халат, очки на лоб поднявши,
Играет насмерть в карты грек Сократ, афинский шкет пропащий.
Играет врукопашную, на дзот врага — бросает силы:
Эх, чёрная одна лишь масть идёт, собака, до могилы!..

Таращатся бессонные дружки. Ползёт под абажуром
Змеиный дым. Валятся из руки валет, король с прищуром…
И, козырь огненный бросая в гущу всех, кто сбился ночью в кучу,
Смеёшься ты, Сократ! И хриплый смех — над лысиною — тучей.
И шавка тявкает меж многих потных ног, носков, сапог и тапок!
И преферанса медленный клубок… И близкой кухни запах…

И — ты пофилософствуй, грек Сократ, тасуя ту колоду,
Между картин, что ведьмами глядят, и рыжего комода,
И слоников, что у трельяжа в ряд так выстроились чинно —
О том, что нету, нет пути назад, в горячие Афины,
А только есть седые игроки и костью пёс играет!
И бубны бьют! И черви — близ ноги ползут и умирают!
И пики бьют — наотмашь, под ребро! И под крестами — люди…

Играй, Сократ. Проматывай добро.
Твой козырь завтра будет.

— Петька! Иди глядеть на точильщика! Точильщик пришёл!
— Точу ножи, ножницы!.. Точу ножи, ножницы!..
— Вот вам, дяденька, ножи.
— Дяденька, а эти искры—холодные? Мы от них не подожжемся?
— Как бенгальский огонь?..
— Дяденька, а вы можете так наточить нож, что он железо разрежет?
— А мы в ножички во дворе играем. Мы Маскимке нечаянно правый глаз выбили. Ему операцию делали. Дразнят теперь в школе: Кривой.
— Дяденька, а почему у вас щетина пучками на лице растёт?.. Как мох?..
— Точу ножи, ножницы!.. Точу ножи, ножницы!..

## Точильщик

Струмент тащу тяжёлый во грязные дворы!..
Несите мне в подоле ножи и топоры!
Всё наточу на славу—для хлеба и мясца,
На ворога державы, на рёбра подлеца!

Соседушки-соседки! Расплата по плечу.
На лестничной я клетке судьбу вам наточу.

Как в зеркало, глядитесь в стальное лезвиё!
Вы вновь не народитесь—одно у нас житьё.
Одна у нас планида—живи, пока живёшь!
А коль придёт обида—за пазухою—нож…

Летят тугие искры. И колесо визжит.
Я во тюремной жизни, смеясь, точу ножи!
А коль большак—убогий и за спиной—конвой,
Я помолюся Богу о ране ножевой.

— Да ты!.. Да ты на себя глянь, босяк ты подзаборный, кандал ты каторжный! Ты что тут затеял—посуду на кухне бить!..
— Валерочка, Валерочка… Тише, ласточка, ты кулаками-то не махай… Не махай…
— Всё р-разнесу!.. Выковыряю вас всех, гниды!..
— Да ты што… Да ты што, опомнись, Гончаров, што ты с розеткой-та делашь, не выворачивай её из стенки, током убьёт!..
— Отойди, бабы!.. Гуля-аю!.. Сволота толстопятая!..
— Тихо, тихо!.. Куды ты кастрюлю с супом-та метишь!.. Чай, мясо не тобой куплено!..
— На мои, кровные… Отсохни!..
— Да ты свои кровные все в самую получку просадил!.. Налил глазыньки-то—всклянь!..
— Убери ручищи!..
— Паня, Зина, Тамарка, Анфиса! Бабынь-ки!.. Давайте свяжем его, чтоб не мотался!.. Руки ему перевяжем кальсонами!.. Не могу больше, всё в синяках, в бане—от баб стыдно!.. Милка уж в заику превратилась, вся дрожит, как заяц: папа с работы идёт… Ирод идёт! Гитлер домашний!..
— Вяжи его, бабы!..
— У, гусеницы!.. Навалились…
— Охолонь чуток! Охолонь!
— За что только ты нас так ненавидишь, пьянь портовая?.. Ведь жена я тебе, а она—дочь тебе!..
— За то, что вы—беззащитные.

## Праздник Сретенья Господня

Ох, я нынче покочевряжусь!.. Шубы, платья, рубахи—в кучу!..
Я сожгу имущество наше, нажитое в жизни кипучей.
Я ковры со стен посрываю да с базарными лебедями.
Ну, глядите, Варварка, Милка, как горит золотое пламя!
Не хватайте за руки-ноги… Смерть пришла барахлу мирскому!..

Смерть пришла моему людскому, в тараканьих обоях дому…
Дому, выклянченному в главках, дому, выплаканному в обкомах,
Той каморке, где запах сладкий клопомора и спирта,—дому!..

Я верчу газетой зажжённой—вот Варваркина тлеет шуба!..
Дети-плети, бабки да жёны—все—отзынь!.. Мне огонь лишь любый.
Че ревёте? Вы, росомахи!.. Кто у нас в нашем доме главный?!
Че одёргиваете рубахи?! А морозец на улице славный…

Я сейчас над вами потешусь. Вон отсюдова!.. Дверь—ногою
Распахну… Я или повешусь, иль судьбой заживу другою…
На мороз в рубашонках—живо! А не то сожгу—да с тряпьишком!..
Эх, снежок-то колкий, красивый—потанцуйте на нём вприпрыжку!
Выметайтесь! Моя закалка!.. Ишь, заплакали,—вы, двухвостки…
Прочь, соседи!.. Мне их не жалко—эх, снежок-то резучий, блёсткий!..

Че захныкали, кровососки?! Попляшите—за век короткий,
Где сосу табачную соску, где толкаю селёдку в глотку!
Брысь! Иконкой трясёшь, Киселиха?!. Праздник Сретенья, что ль, сегодня?!
Потому я и выпил лихо на помин страданий Господних!
Там Гагарин летал—однако не узрел худых ангелочков!..
Отвали, истопница, собака!.. Ну, святая выдалась ночка…
Что?!. Милицию?!. Вызывайте! Ишь, козявки, чем испугали!
Да ментов я тех—стукну лбами, на снежке проштампую—ногами…
Варька, Милка!.. Китайские выдры!.. Вон босые—в сугробе пляшут…
Киселиха, сопелку вытри—это горе моё, не ваше…
Шубы, тапочки, щи да каши! Бабы, бить кончайте на жалость!..

Это горе моё. Не ваше. И сожгу—чтоб вам не досталось.

—А у меня мамка вчера на рынке щуку купила. Икры в ней было—ужасть!
—А я эту икру ложками ел. Чёрную. Когда мы в Астрахань к тётке на пароходе плавали.
—А у Лики отец золотые серёжки ей купил. С алмазами! И уши уже прокололи.
—Ну и что! А мне уши завтра проколют! Это ничего страшного: ржаной хлеб подложить под мочку, взять толстую иголку, швейную, и очень крепко прижмуриться…
—А что вставлять-то будешь? Надо золото вставлять. А то дырки загноятся.
—А у нас есть золотые серёжки.
—Это откудова?.. Ха!.. Граф Борис Иваныч, что ли, даст напрокат?..
—Вот и нет! Это бабушкины.
—Бабушка же твоя нищая—откуда у неё золото?
—А я завтра на день рожденья к Динке иду. Там у неё ананасов будет—целая гора! И шоколадные конфеты с вином внутри. Раскусишь—а там вино. И запьянеем.
—А ты чево Динке подаришь?
—Скакалку.
—Э! Она тебя засмеёт. Нужна ей твоя скакалка. Динка ведь богатая.
—А моя мама ещё богаче, ещё богаче!
—Иди ты врать.
—Да, да, да! Она клад закопала. За гаражами. Она сказала: «На чёрный день».
—А что такое—чёрный день?
—Это когда кругом тучи и уже совсем ничего вокруг не видно.

## День рожденья

Пахнут синие льдины, будто пряник печатный…
День рожденья у Дины. Снег скатёрки камчатной.

На серебряном блюде ананасы—ломтями.
Здесь еды не убудет—гости, ешьте горстями!

Дом здесь—полная чаша. Во шкафах—перламутры.
И не варят здесь кашу пшённую—зимним утром.

Здесь и дичь, и колбаски, здесь в салатнице—крабы…
Здесь—богатая сказка. Там—о, хлебца хотя бы…

С днём рождения, Динка! Из чего платье сшито—
Из луны-половинки, бархатистых самшитов?..

Извини—я скакалку подарю! И открытку…
Матери денег жалко, говорит: больно прытки…

Заработай копейку, пусть в кармане—горохом!
Да её пожалей-ка на подарок угрохать!..
Должен очень дешёвым быть подарок дитячий…
Ты поздравь её словом, поцелуем горячим!..

Динка, дай поцелую! Ты у нас—королева…
В нищете—затоскую. В бедноте—околею.
В тесноте—народилась. В темноте—умираю.
Подари, сделай милость, Динка, кус каравая…

—Каравай, каравай,
Кого хочешь, выбирай!..
Как на Динкины именины
Испекли мы каравай
Вот такой вышины,
Вот такой нижины,
Вот такой ширины,
Вот такой ужины!..
Выбирай, налетай,
С блюда яркого хватай—
В каравае восемь свеч,
Можно новенький испечь…

Ах, рубинами—икра…
Это вовсе не игра.
Ждёт мышиная нора.
Ждёт крысиная нора,
Керосинная дыра…

Кого хочешь… кого хочешь!..
Кого хочешь—выбира…

## Часть вторая
## Александра

— А ты куда, старуха?.. Чё тебе здесь надо?.. Это не собес, это квартира.
— Я к ним пришла.
— Баушка! Да ты чё-то спутала. Здесь такие не живут и не жили никогда.
— Я к ним пришла.
— Мамка!.. Мамка!.. Глянь, какая-то к нам старушка приблудилась, вся коричневая, стра-ашная!.. На ней балахон, а на ногах — как у дяденьки — сапоги разбитые!..
— Я к ним пришла.
— Бабулька... Ты чё... тут забыла?.. Ты — на мою мать похожа как две капли... Выпей с Гончаровым!.. Душу уважь...
— Я к ним пришла.
— Бабушка, проходите на кухню, там тепло, я окна сегодня ватой заложил, ко мне бы можно было, да нельзя, у меня там преферансисты, накурено, так грязно, так неприбрано, так...
— Я к ним пришла.
— Чё тебе здеся надо?.. Че здеся надо, старая карга?.. Уж больно ты цыганского виду... Проваливай!.. Того гляди, самовар мой в подоле унесёшь... Иконку — украдёшь!..
— Я к ним пришла.
— Тамарка, может, это к нам тётя Дуся из Павлова приехала?..
— Я к ним пришла.
— Господи, Господи, с нами крестная сила, спаси и сохрани, Паня, да какие у неё глаза страшные, сгинь, пропади, нечистая сила, обереги нас, сила Божия, помилуй нас, грешных...
— Я к ним пришла.
— O, bonne soirée, la grande Morte! Pardonnez-moi... в кладовке живу... угостить нечем...
— Я к ним пришла.

## Троица коммунальная: Саня, Стёпка и старуха Смерть

— Наш чай, нам на веку суждённый, мы в холода испили весь.
Мой мир. Мой слабый, нерожденный. Ещё — во мне. Пока что — здесь.

— Ты, Санька... Плачешь, мёрзнешь, бредишь... Взаправду: к бабам с животом
И на кобыле не подъедешь... А что же будет там... потом?..

— Ох, Степушка... гляди — старуха!.. Лицо — землистее земли.
Каким прозваньем люди глухо её когда-то нарекли?..

— Ну, Александра... Подь поближе. Её узнал. Какая мгла
В очах. Я ничего не вижу. Она пришла. Она пришла.

..............................................

Был накрытый багряною скатертью стол.
На столе возлежали на блюдах объедки.
За стеною — скандал упоительный шёл
Во бескрылой семье куропатки-соседки.
Золотела в кольцом застывающей тьме,
Как горящая бочка, настольная лампа.
И за старым столом, как на нарах в тюрьме,
Положивши на скатерть не руки, а лапы,—
Дрожью пленных зверей, ядом гона полны,
Болью жизни, что бродит винищем — в бутылях!—
Трое молча сидели. Без слёз. Без вины.
В полумраке каморки навеки застыли.

Молодая девчонка с тугим животом
Потянулась за курицей, что на тарелке…
Парень с голою грудью, с дешёвым крестом
Налил водкой дешёвой стальные гляделки.
Головы он налево не мог повернуть.
А по левую руку старуха сидела.
И лицо её было — коричневый путь
Грязью, кровью, снегами пропахшего тела.

Вместе с бабой брюхатой сидела она,
Вместе с парнем, раскосо глядящим по пьяни.
И была со стаканом рука холодна.
И морщинистых уст — не сыскать бездыханней.
Был подковою конскою рот её сжат.
Но услышали двое из мрака и хлада:
— Вам во веки веков не вернуться назад.
Вы уйдёте со мной. Я беру вас, ребята.
Будет каждый из вас моей силою взят.
Не ропщите. Живому роптать бесполезно.
Всё равно никому не вернуться назад.
Лей же, Стёпка, вино в глотки горькую бездну,
Шей же, Саня, роскошный и дикий наряд,
Чтоб гудеть-танцевать!.. А метель подпояшет!..
Всё равно никому не вернуться назад.
Я — старуха. Царица. Владычица ваша.

«Александра! Кобылка моя! С Новым годом! С новым счастьем!

Что бы ни случилось в нашей жизни, я тебя, лошадка, никогда не забуду. Ты женщина 100%. Не делай только в жизни глупостей. Мне нравилось, когда ты красила губы фиолетовой помадой. Вообще, ты похожа на Стефанию Сандрелли из фильма «Развод по-итальянски». Гуляй больше на свежем воздухе. Не падай — сейчас очень скользко. Гололёд.

Я гад. Прости меня. Будь. Я, пьяный, сижу в ресторане, открытка лежит между ветчиной и «Пшеничной». Если бы я мог, я бы всю жизнь носил тебя на руках. Но я слабый человек. А ты Стефания Сандрелли. Ты кончай вертеть ногами швейную машинку и езжай во ВГИК. Там тебя с руками оторвут. И ты пойдёшь по рукам.

Рисую тебе свою рожу. Я идиот. Я влюбчивый идиот. Я сволочь. Я тебя никогда не любил.

*С Новым годом!*
*С новым счастьем!*
*Я люблю тебя.*
*Твой Сивка-Бурка.*
*P. S. Всё. Я ускакал. Навек».*

## Новый год Сани

Ты каморка моя, каморочка.
Торт трёхслойный. Бутыль. Хлеба корочка.
Да в углу, у телевизора, — ёлочка.
Да напротив сердца — швейная иголочка.
Платье-то… на живульку сметано.
На кошачий клубок горе намотано.
А под сердцем — торк, торк… пихается,
Надо мною в животе — усмехается.
Мол, ты че, мать?.. Свой-то праздник справила,
А меня-то — без отца оставила?..

Гололёд, да голь, да голод города!
А вот я — бревно: не чую голода —
Будто я навек наетая-напитая,
Так любовью измочаленная, избитая…

Пригублю коньячку из тонкой рюмочки…
Ворохнётся плод… Ох, думы мои, думочки,
Пить нельзя — а то б надралась в дымину я
За всю-то жизнь мою — ледяную, длинную!

С Новым годом, Стёпка! А сынок твой в моём брюхе бесится,
На земле меня держит, не даёт… повеситься…

— Кто это?.. Кто это?..
— Санечка, это я… Pardonnez-moi… Борис Иваныч. Я услышал — вы всхлипываете… и очень, знаете ли, испугался и… расстроился… Санечка! Ну бросьте, cherie. Вы не должны сейчас волноваться…
— Идите спать, Борис Иваныч.
— Санечка… Прелестная девочка. Знаете что, прелесть моя?.. Я — вас — приглашаю!.. К себе в гости… Идёмте, идёмте… Вы ведь у меня редко бываете…
— Борис Иваныч, не тащите меня!.. Ох, смешной… Я спать хочу… Я от слёз опухла — умыться надо…
— Вы опухли от слёз, деточка, но вы прелестны всё равно! Всегда!.. Вот видите, как тут у меня славно… в кладовке-то… просто роскошно!.. Мы сейчас с вами и чайку… на кухню не побежим — на плиточке… Есть у меня и варенье — Игнатьевна снабдила… а это вот я на свои кровные покупал — это специально для вас… кушать вам сейчас надо хорошо — это тресковая печёнка… Очень нежная штука… Валяйте, валяйте… Я вам и открытки свои сейчас покажу… Царского времени!.. Матушка моя фрейлиной была у Государыни… они сбежать успели… а я вот — её брошки продаю… Ешьте, душечка… Санечка!..
— Что, Борис Иваныч?.. Что вы на меня так смотрите?.. И руку мне на плечо — не надо…
— Я целую вам руки, целую, деточка… Вы — Тицианова Венера. Вы — Даная… золотого дождя на вас нет!.. Вы — брюлловская девушка… девушка Кампаньи… жара… маслины… облака Фраскати… в пальцах ваших — кисть винограда…
— Борис Иваныч… что вы… что вы… делаете… не надо…
— Деточка, деточка, деточка!..
— Сумасшедший старик!.. Стыд потерял…
— Санечка… Pardonnez-moi, простите старого бродягу… Санечка… Вы не поняли… Вы — самая звёздная из лучших… Вы не отчаивайтесь… Если б я был молод, я бы сейчас — перед вами — на коленях — просил вас… Я — старик, да?.. Но я и сейчас… прошу…
— Встаньте!.. Не смейте!..
— Санечка… Вам нельзя много плакать, деточка… Вас и с ребёнком, и с двумя — ещё как замуж возьмут!.. С руками оторвут!.. Вы такая нежная, такая чудесная!.. Вы думаете, они этого не видят?.. Не чувствуют?..
— Как мне больно… Не могу я больше, Борис Иваныч!..
— Я вас люблю и прошу вашей руки, Санечка.
— Вы спятили совсем!
— Я правду говорю. Пойдёте за меня?..
— Ох!..
— Санечка… Санечка, mon ami… Только я вас прошу: не плачьте… Не плачьте больше никогда…

## Отчаянный бег Сани по зимнему городу

Всё запуржило — белый страх. Бегу по белу свету.
Огнь — надо лбом. И тьма — в глазах. А мне и горя нету.
А полы шубы — два крыла! Я шапку потеряла.
Любила. Верила. Ждала. А мне и горя мало.
Драконихой — по белой мгле, по граду ледяному
Бегу, лечу вдоль по земле — обочь родного дома.
Там обитатели живут — чудесные соседи!..

Капусту жрут и водку пьют—все волки да медведи…
Вот—дом… Глаза его горят. Я—мимо, мимо, мимо!
О шуба, верный мой наряд. Я шубою любима.
Один родной, родимый зверь мне лижет—шею, пятки…
А! Лязгнула стальная дверь… Бежать—да без оглядки!

Прощайте, люди в сапогах, в тулупах, грязных робах.
Жизнь—белый страх. Смерть—чёрный страх. И красные сугробы.
Мне в страхе надоело жить—как в бешеной утробе!..
Хочу—снега горстями пить! Хочу—уснуть… во гробе…

А шубу ветер так и рвёт. Я воздух ртом хватаю.
Прости меня, родной народ, как я тебя прощаю!
Родной народ—о, лица злы, черна одежда, хищно
В витринах зришь еду—из мглы, из очереди нищей…
У нас всегда—как бы война!.. Пайки… военных—куча:
Опять—шинель!.. А я—одна во снеговой падучей…

А я—одна… А я—бегу, бегу—от этой жизни!
Прожгу—ступнёю на снегу—псалом моей Отчизне!
В тебе на свет я родилась. В тебе росла и выла.
Твою, молясь, я ела грязь. Твоих волков любила.
И, волк по имени Степан, прощай!.. Прощай навеки!..
Зверь, небесами осиян, твои целую веки…
Ох, тяжко… Тяжело бежать… Я ж не одна… Нас двое…
Ох, что так зачало сверкать над голой головою?..
Сиянье северное?.. Нет!.. Откуда тут сиянье?..
Над головой моею—свет, тяжёлое мерцанье…
Ну что же… Я сошла с ума… Какое это счастье…
Теперь больничная тюрьма, заклёпаны запястья,
А я—лечу!.. А я—бегу!.. Прощайте! Я умчалась…
Вот мир иной!.. Я здесь могу обнять любовь и жалость…
А там?.. Там—страх и дикий снег, багровое пыланье
И мой любимый человек всё просит подаянья—

В том ресторане Стёпка мой, во куреве… во пьянке…
Тебе так холодно зимой… без Саньки… итальянки…

— Тамарка!.. Чё ты—ночь-полночь—стучишь?.. Чё набатываш, как в набат?.. Младенец твой орёт как резаный по ночам, да ты ишшо моду взяла не спать?.. Какая тебя муха укусила в голу задницу?.. Самая сласть сна, а ты…
— Тётя Паня, горелым пахнет. Проводка горит. Из вентиляционных ходов—дым!..
— Окстися. Какой дым. Под носом у тя дым…
— Галка!.. Че путаешься под ногами, дура девчонка, иди спать ложись, не мети рубахой половицы…
— Мамка, я ноль-один вызвала.
— Ты чё!.. Правда, што ль!..
— Сказали—сейчас приедут.
— Быстро в постель!..
— А че торопиться-то. Какой он—огонь? Поглядеть хочу. Мамка, а Петька спит?..
— Спит, умница моя. Пожарку вызвала! Умница моя… Не бойся… Не бойся с мамкой ничего…
— Пахнет горелым… Мам, вон огонь! Вон он! Хвосты лисьи!..
— Да, хвосты… Только шубу не сошьёшь… Паня, буди всех! Всех!
— Милые! Милые! Вставайте! Пожар! Горим! Горим!

— Что?.. Кто придумал?.. А запах-то… А полыхает вон!..
— Это он, сволочь. Граф Борис Иваныч. Утюг оставил в кладовке. А сам заснул.
— Эй, Борис Иваныч!.. Спит… Свои брильянты под подушкой охраняет, а нам — гори синим пламенем?!..
— Вставай, контра проклятая!..
— Пожарнички, родненькие, вы уж потушите за ради Христа… Дети малые у нас…
— Уж потушили, бабы. Не нойте. Счастье ваше. Дом-то… деревянный коробок. Ещё минут пятнадцать — и всё рухнуло бы… к едрене-фене…
— Пожарники! Братаны! Водочки тяпнем?.. За жизнь!..
— Мамка, мамка, да почему горелым пахнет, аж плакать хочется, а голуби на крыше — не сгорели?..

## Пожар

Лютая, зверья сила огня. Судорга ног — к подбородку.
Страшно, огонь. Вдруг возьмёшь ты меня в гулкую рыжую глотку?
Пасть твоя светлая. Зубы остры. Дом наш качается, пьяный.
Так вот горят — первобытно — костры в наших песцовых буранах.
Это Борис наш Иваныч, наш граф, житель крысиной кладовки,
Тощая щепка, — спал, ноги задрав, после крутой голодовки
Так запродав с аметистом браслет, что на паршивую сотню
Снедь закупил и поел на сто лет впрок — хоть сейчас в преисподню!..
Гладил рубашки… Дрожание рук, сытости радость тупая…
Как он оставил включённым утюг — плача, сопя, засыпая…
И загорелось в щелях и пазах красной сухой круговертью.
И загорелся в ребячьих глазах дикий азарт передсмертья.
Взрослые — те лишь вопили одно: «Дом бы сгорел этот нищий!..
Иль в новоселье попьём мы вино, иль повезут на кладбище!..»
И, спохватясь, прижав руки ко рту: «Родненькие!.. Погасите!..
Всё переможем — всю голь-нищету, только нам дом наш спасите!..»

Шорох — из шлангов — вонючей воды! Гари древесная пряность!
Перед тигриною пастью беды — я, не мигая, уставясь…

Рядом со мною — Петюшка Звонцов в чёрных трусах доколенных —
Ласковых не докричишься отцов — сгибших, застреленных, пленных…

Рядом со мною картёжник Сократ в бязевом женском халате —
Там, в его комнате, знаю, лежат трое — все в дым! — на кровати…

Рядом со мной Киселиха стоит, жёсткая, будто двустволка!
Сходен с болотной кикиморой вид, светят глаза, как у волка…

А за лопаткой угластой её, весь в первобытных сполохах,
Пьяный Валера — дыряво бельё, грудь — вся в наколках: эпоха…

Саня, не бойся! Тамарка, держись! Этот пожар — что он сможет?
Он не сожжёт поднебесную жизнь — кости земные изгложет.

В небе январском — горелый салют виден сквозь детские веки.
«Жить вам осталось — пятнадцать минут!» Жить нам осталось — навеки.

Что суждено? Вдоль по свету — с сумой?.. В пахоту — слёзные зёрна?..

…Русый пожарничек, ангел ты мой,
Спас ты мой Нерукотворный.

— Слышь, Киселиха! А хтой-то к нам в подъезд зашёл? И стоит. Курит! Табаком вонят.
— А, это!.. Это истопник из дома напротив. Хведор. Панькин хахель.
— Дык какой он хахель!.. Он жа старикан.
— Наплявать. Старики наши крепки. И духом… и телом… х-х-ха… кха, кха, кха…
— Пойду скажу яму, штоб не курил! В глотке дерёт.
— Ишь! Нежная… Пущай курит. Одна отрада — дым… А у нас и так опосля пожара одна гарь лехкия забиват…

## Пророк

Лицо порезано ножами времени. Власы посыпаны крутою солью.
Спина горбатая — тяжеле бремени. Не разрешиться живою болью.
Та боль — утробная. Та боль — расейская.
Стоит старик огромным заревом
Над забайкальскою, над енисейскою, над вычегодскою земною заметью.

Стоит старик! Спина горбатая. Власы — серебряны. Глаза — раскрытые.
А перед ним — вся жизнь проклятая, вся упованная, непозабытая.
Все стуки заполночь. Котомки рваные. Репейник проволок. Кирпич размолотый.
Глаза и волосы — уже стеклянные — друзей, во рву ночном лежащих — золотом.

Раскинешь крылья ты — а под лопатками — под старым ватником — одно сияние…
В кармане — сахар: собакам — сладкое. Живому требуется подаяние.

И в чахлом ватнике через подъезда вонь
Ты сторожить идёшь страну огромную:
Гудки фабричные над белой головой,
Да речи тронные, да мысли тёмные,
Да магазинные врата дурманные,
Да лица липкие — сытее сытого,
Да хлебы ржавые да деревянные,
Талоны, голодом насквозь пробитые,
Да бары, доверху набиты молодью,
Как в бочке сельдяной!.. да в тряпках радужных,
Да гул очередей, где потно — походя —
О наших мёртвых, о наших раненых,
О наших храмах, где — склады картофеля,
О наших залах, где — кумач молитвенный!
О нашей правде, что — давно растоптана,
Но всё живёт — в петле, в грязи, под бритвою…

И сам, пацан ещё с седыми нитями,
Горбатясь, он глядит — глядит в суть самую…

Пророк, восстань и виждь!
Тобой хранимые.
Перед вершиною
И перед ямою.

— А-а-а!.. А-а-а!..
— Степана убили!
— Что мелешь?!
— Я об него споткнулась!..
— Валера!.. Милицию!..
— Да «скорую», ёж твою мышь!.. «Скорую»!.. Может, жив ещё!..
— Мамка, кровь!..
— Господи, спаси, сохрани…
— Допрыгался!.. Дружки небось пырнули…
— Петька, Саньке не говори!..
— Киселиха!.. Саньку позови!..
— А-а-а, сучьи дети!.. Денежки при нём были… Знали, значит, падлы… Грабанули… Не дёрнем мы боле вместе с ним беленькой!..
— Милицию вызывай — с собакой!..
— Да не унюхает. Они следы водкой залили!
— Саня! Саня! Ох, горе-то какое!
— Дуры, не зовите её, она же на сносях!
— А можа, он энто ей деньги-та нёс…
— Щас, держи карман шире!
— Айда, подымем его наверх, на площадку, а то об него все спотыкаться будут…
— Саня! Саня! Степана убили!
— Клади сюда… Осторожно…
— Холодный.
— Чудеса бывают…
— Не бывает.
— Санечка!.. Деточка… ma chère… Не вцепляйтесь так в него… Отвернитесь… Всё будет хорошо, сейчас «Скорая» приедет…
— Александра, на воды.
— Тёть Сань… Вы только не плачьте, тёть Сань!.. Вашему ребёночку это вредно…
— Тихо. Отойдите все. Гляньте — старуха в углу. Вся в золотой парче. Лицо коричневое. Она в нашей квартире не живёт. Тихо. Санька-то… на неё глядит. Глаз с неё не сводит. Тихо! Мы все — лишние тут. Старуха-то на Саньку как глядит. Отойдите все… отступите на шаг… Тихо!.. Санька на колени перед Степаном опускается. В головах у него садится. Старуха сверкает в неё из коричневых морщин пустыми глазами. Золотая парча на костлявых плечах трещит беззвучно. Тихо! Санька руки поднимает над шевелящимся животом. Над телом Степана. Санька в пустые глаза старухи глядит. Санька белее молока, белее вьюги. Санька последнюю свою песню поёт, сумасшедшую песню. Тихо! Не песня это, а плач. Плакать нельзя нам было долго, вечно. Запрещено. Но сломал ветер засовы, запоры. Плачь, Санька! Плачь, итальянка! Плачь, портниха копеешная! Плачь, родная! Ты сумасшедшая уже, страшиться нечего, любить некого. Ребёнок твой радуется в животе, на волю просится. Плачь! Старуха-то глядит жадно, пристально — слушает, хорошо ли ты поёшь, сладко ли плачешь… Тихо! Все отошли, отступили. Попроси хорошенько её, старуху, царицу, поплачь, потрудись — может, она и тебя пожалеет, и сынка твоего…
— *Просить нечего. Я её, Саньку, давно присмотрела.*
— Чем же она тебе приглянулась?
— *Всех, кого так пытает любовь здесь, там — я богатыми дарами дарю.*
— Её — возьми!.. Мальца — оставь…
— *Ей да Степану там без сына горько будет. А я им там и свадебку справлю.*
— Санька!.. Отбеги скорей от Стёпки!.. Глянь, Анфиса, — у неё волосы дыбом встали!..
— Не трогай её, Паня. Она свою последнюю волю изъясняет. Молись за неё… за Саньку нашу, дуру!.. крепко зажмурясь…
— Киселиха… Ты каки молитвы знашь?..
— Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою… Благословенна Ты в жёнах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших… Аминь.

## Плач Саньки над телом Степана

Вот и прошла ты, жизнь моя, дорожкой сирой да короткой…
О, плачу, горько плачу я!.. Огонь течёт по подбородку…
Огонь — в подглазьях, по щекам, по стогу живота стекает…
Скользит и пляшет по серьгам и над косой во тьме сверкает…

Тебя убили, Стёпка мой!.. Дай пальцами я склею рану…
Пойду я по миру с сумой — тебя любить я не престану:

Любить, как ты, царь Стёпка, пил, как локтем в пасть роялю двигал,
Как, хохоча, меня любил—между мадерой и ковригой…
О, коммуналка!.. Стой, гляди—как я люблю его, как плачу:
Летят скорбящие дожди вкось—на живот его бычачий,
Летят осенние дожди, летят снега неисчислимы—
Я прижимаю ко груди того, кто был моим любимым,
Того, кто был моей землёй, сожжённой, оснежённой, грязной,
Того, кто был навеки мой—как детский плач, как плач бессвязный
Родного старика… кто—был?! Мой Стёпушка! Мой ненаглядный…
Ах, во подъезде как завыл соседский волкодав громадный…
Ты жив! Ты просто убежал туда, где нету боли, злобы—
Как ты бежал!.. как ты дрожал—через багровые сугробы…

Тебя я крепко обниму. Что, коммуналка, ты застыла?!.
Гляди: я ухожу во тьму с любимым, коего любила.
Гляди, гляди, моя семья!.. Гляди, шальная Киселиха—
Без кружевного там белья отлично проживёт портниха…
Гляди, Валера!.. В дым не пей—а то народишь глупых деток…
Анфиска… Петьку пожалей—его не бей хоть напоследок…
Ты, Паня, тут… топи щедрей—а то задрогнут в наших зимах,
Что год от года всё лютей,—все косточки, вся плоть любимых…
Борис Иваныч, не серчай, что я твоей женой не стала—
Прощай, кладовка, жгучий чай, в коробке—графские опалы…
Не горбись, офицер Сократ!.. Отдай последнюю команду…
Оттуда нет пути назад уже—ни помыслу, ни взгляду…
А вот он… вот он… вот лежит—и волоса его багряны,
И время сквозь него струит свои болота и туманы,
Позёмок хрусткую слюду, церквей—над оттепелью—злато…
Прощайте, люди! С ним уйду. Ведь я ни в чём не виновата!
О, коммуналка, отпусти!.. Я керосинку запалила
В последний раз… Держу в горсти твой свет—я так его любила…
О, Степушка, лежи, не плачь—с тобою ухожу навечно.
Сынку мы купим там калач—медвяный, охряной и млечный…

В последний раз… В последний раз
Оглядываю стены эти—
Гудит истошно керогаз,
Кричат в меня глазами—дети,
И Киселиха крестит грудь,
Где вытатуирован дьявол,
И за окном бельмастым путь
Трамвайный—облачился в саван,

И на пороге бытия, над мёртвым—руки воздымая,
О, горько, горько плачу я! И всё на свете понимаю—
Моя любовь, моя любовь, не плачь, ведь я уйду с тобою—
Туда, где мы родимся вновь, где пышет небо голубое,
Где никогда не бьют детей, где буду шить тебе рубахи,
Где не проходит до костей топор мороза, как на плахе,—
Моя любовь, о, Стёпка мой, убитое, родное тело,
Мой мальчик, маленький, больной,—я жить с тобой, я жить хотела,

А нынче мы с тобой уйдём, обнимемся тепло и жалко—
И полетим над январём, над нашей гиблой коммуналкой,
Над миром, в храпе и хмелю хрипящем худосочной страстью!—
А я одна тебя люблю!.. И в небе, пьяные от счастья,
Нагие, обхватясь,—летим,
Летим, мой Степушка чудесный,
Как от костра во поле—дым,—над мёртвой угольною бездной,
Где реки обратились в кровь,
Где высохли моря незряче!..

Моя любовь, моя любовь,
Моя убитая любовь,
Уже—от радости
Я плачу...

И так, сцепившиеся, летим
Над синей, нищенской зимою—
Мы—чад и тлен, мы—прах и дым—
В пустое небо ледяное.



ДиН антология

210 лет
со дня рождения

Евгений Баратынский

# Над умолкшей Аонидой...

Когда твой голос, о поэт,
Смерть в высших звуках остановит,
Когда тебя во цвете лет
Нетерпеливый рок уловит,—

Кого закат могучих дней
Во глубине сердечной тронет?
Кто в отзыв гибели твоей
Стеснённой грудию восстонет,

И тихий гроб твой посетит,
И, над умолкшей Аонидой
Рыдая, пепел твой почтит
Нелицемерной панихидой?

Никто!—но сложится певцу
Канон намеднишним Зоилом,
Уже кадящим мертвецу,
Чтобы живых задеть кадилом.

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая,
Разрешена от всех своих скорбей;
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей.

## Муза

Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражён бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он, скорей, чем едким осужденьем,
Её почтит небрежной похвалой.

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увёртлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушённая жена
В свободной прозе романиста;
Болтунья старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

Леонид Потехин

# Деревня Ольховка



## Глава первая

### 1

Вот и праздник. Новый. Название чудное, непонятное — праздник Труда, Согласия и Солидарности. Вынырнул как-то нежданно-негаданно, как новенький золотой рублик. Вот, к примеру, праздник Победы. Каждому ясно: объявлен в честь победоносного завершения войны над фашистской Германией. Или Пасха. Тоже понятно. В этот день Христос воскрес из мёртвых. А этот откуда взялся? В честь какого события? Да никакого! Ельцин придумал. Решил угробить Красный Октябрь, вот и подмахнул указ с глубокого похмелья: вот вам, россияне, ещё один выходной.

Недоумевают ольховские мужики: с кем солидарничать? С женой? Так у нас полное согласие, особенно по ночам в постели. С тестем курим из одного кисета трубку мира, так сказать. Тёща померла, земля ей глыбами. С соседом? Так мы с ним каждое утро здоровкаемся через изгородь, вечерком друг к другу на огонёк забегаем. Подымим, покалякаем, чайком побалуемся, иной раз чем и покрепче — беседа веселее. Добрый сосед что брат родной. С бригадиром? Так и тут всё в полном ажуре. Правда, поматюгаемся иногда, так обоим на пользу: на душе облегчение наступает. С районными чиновниками? Тьфу, тьфу… Они теперь перестали бывать в деревне. Им хорошо сидеть в кабинетах, да и нам спокойнее. Если справка понадобится, то надо изловчиться и дать на лапу уважаемому чинуше, тогда подмахнёт любую бумажку и печатью прихлопнет. Тут-то и образуется полное согласие, иначе от ворот поворот. С кем ещё? С миллицонерами, олигархами? Боже упаси! Наши грубые мозолистые ручищи никак не хотят солидарничать с белыми господскими ручками. Наши тощие кошельки не могут быть в согласии с их заграничными банковскими счетами.

Для женщин, правда, всё едино: старый праздник или новый. Им праздники — те же будни. Не полежишь лишний часок на утренней зорьке. Первой надо вставать, особенно в летнюю пору. Бабы в первую очередь за подойник хватаются, затем варить да жарить, стирать, убирать. С подворья ненасытная скотина мычит, блеет, хрюкает, гогочет, кудахчет… Не минуют её женские вездесущие руки. Мужик что? Шапку на затылок — и бежать в мастерскую или на ферму. А тут крутись, жёнушка, вертись, как хочешь, до седьмого пота. Зима нынче где-то задержалась. Дуют юго-западные ветры из Средней Азии. Скорее бы снег да морозец! Прирезали бы свиней, ощипали гусей и уток, вот тогда бы и наступил праздничек-то!

В это утро, как и в предыдущие, взошло яркое, радостное, праздничное солнышко. С добрым утром, ольховцы! Запламенели окна домов, качнулись вершины берёз в палисадниках. Послышался стук молотка: заботливый хозяин доску к забору приколачивает. Где-то одиноко промычала корова, заждалась хозяйку с подойником. Воробьи чего-то не поделили на крыше сарая. Пролетевшая мимо ворона сердито каркнула на драчунов: дескать, прекратите свалку да радуйтесь наступившему дню.

Сегодня не дымят трубы хлебозавода, на колбасной фабрике не гремят мясорубки. Возле маслозавода остановился молоковоз. Доярки разошлись по своим калиткам. Промелькнула легковая машина. Председатель спешит по каким-то своим делам. Вслед лениво тявкнула собачонка и улеглась у ворот. Со двора послышался гневный женский голос:

— Нажрался, окаянный, накануне праздника! Не рыгай на приступку! Отойди от крыльца!

По улице в молельный дом степенно прошествовал Иван Усачёв. За ним последовали старушки. Помолитесь, сердешные, за согласие и солидарность российских граждан!

### 2

Неиссякаема народная традиция, как поток могучего Енисея, как течение малой речки Журы. Советская власть порушила церкви, антирелигиозные пропагандисты пытались изжить память о рождестве Иисуса, о его крещении и вознесении на небеса. Не исчезнет бесследно то, что оставлено, заложено в душе дедами и прадедами. Нельзя росчерком пера, даже президентского, вытравить из истории России семнадцатый год. И потому в это утро идут люди к сельсовету. В основном пожилые. Собралось человек сорок. В минувшие времена на этой площади проходили многолюдные митинги, выступали ораторы. Эхом в лесу отзывались громкие аплодисменты. Затем с красными флагами, с революционными песнями проходили по улицам деревни. Помнят, как ещё школьниками, размахивая красными флажками, маршировали в колонне под дробь пионерского барабана. Теперь красный цвет в забвении. Как же тогда понимать словосочетания «красное солнышко» или «красна девица»? Но не везде и не всегда действует этот неписаный запрет. Вон над входной дверью сельсовета лозунг на красной материи красуется: «Да здравствует Великая Октябрьская революция!»

На высокое крыльцо вышел Каминский. Он сейчас здесь не должностное лицо, а вожак коммунистической ячейки. За ним шли ещё четверо. Фронтовик Аким Фёдорович Злобин, на груди которого блестели три ордена Славы и сколько-то медалей. Подбоченился бондарь Пётр Игнаткин. Рядом тракторист Александр Карелин и мастер Дома быта Андрей Марков. Остатки, осколки многочисленной когда-то ольховской парторганизации. Ишь ты, стоят гордо, словно бывшие члены политбюро на трибуне Мавзолея. Марков поднял древко. Над кучкой людей на ветру затрепетало кумачовое знамя. Лучи солнца вспыхнули на полотнище с серпом и молотом. Каминский шагнул к краю крыльца, проговорил громко, так, чтобы услышали в лесу на холме зайцы и ёлки:

— Товарищи!

Простое, обыкновенное русское слово. Давненько не слышали пенсионеры такого к себе обращения. Даже на душе потеплело. Вспомнили, как, проходя по деревне, в колонне пели:

Наше гордое слово «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов!

Напрасно демократы отвергли это слово, усмотрев в нём что-то коммунистическое. Подсунули другое — «господин». Коль новый герб и флаг, то быть и новому обращению. Однако не приживается, не внедряется. Россияне давно забыли господ графов и князей. Посчитали такое обращение оскорбительным. Не хватало ещё «ваше благородие»… Каминский простёр руку. Видно, вообразил, что стоит на броневике. Чеканя каждое слово, продолжил:

— Сегодня мы отмечаем очередную годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Залп «Авроры» возвестил всему миру…

И понесло нашего оратора по всем ступеням и пятилеткам развития советского государства. Вспомнил первую конную Будённого, полёт Гагарина в космос, Саянскую гидростанцию. Ни словом не обмолвился о сталинских репрессиях, о пустых прилавках. Не мудрено и забыть. Ведь говорил без бумажки, чесал языком напропалую. Нанёс сокрушительный удар ельцинским реформам, раздолбал приватизацию. Досталось на орехи Гайдару и Чубайсу. Затем обрушился на весь мировой грабительский капитализм, который в самое ближайшее время неизбежно рухнет, навсегда исчезнет с лица земли. Стоп, уважаемый оратор! Сбавь свой гневный запал. Полтора века назад то же самое предрекал бородатый мудрец Маркс, грозился каким-то могильщиком. И что же? Капитализм здравствует и поныне. Вновь вернулся в российские края, расправляет плечи, набирает силушку. Покидать планету даже и не помышляет, не собирается сгинуть и в преисподней.

Ещё чего-то долго изрекал Каминский о всемирной победе коммунизма, о вечном бесклассовом рае. Люди у крыльца переступали с ноги на ногу. У Маркова дрожали руки, еле держал древко знамени. Старый фронтовик не выдержал, опустился на ступеньку. Когда кончится эта говорильня? Слышали уже эту сказку про белого бычка. Наконец Каминский торжественно закончил:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Похлопали в ладоши. Несколько голосов затянули «Интернационал». На втором куплете песня оборвалась. Забыли слова. Или совсем не знали. Свернули знамя, разошлись до следующей годовщины.

Ностальгия или традиция? Наверное, и то, и это. Народу не укажешь, тем более в наше свободное демократическое время.

### 3

После полудня подул порывистый северо-западный ветер. По небу поползли, загромоздились тяжёлые, низкие облака. Солнце, словно чего-то устыдясь, скрылось в мутной мгле. Похолодало. На землю упали первые робкие снежинки. Утром люди проснулись, глянули в окно. Батюшки! Белым-бело, сугробы намело! Вышли на подворье. Ух ты! Морозец лицо обжигает. Вот оно! Пришла, наконец, сибирская зимушка-зима! Меняй, мужик, телегу на сани. Первыми проложили тропки доярки и телятницы. Ух, сколько навалило, чуть не до колена! Пошла женщина с коромыслом — глядь, а речка-то замёрзла. Кричит:

— Иван, бери пешню, пробивай прорубь!

В это утро половина школьников опоздала на уроки. Учёба не заяц, в лес не ускачет. Побросали ребятишки сумки и принялись азартно швыряться снежками. Теперь напрочь забудут про домашние задания. До того ли? На коньки — и на речной ледок! Можно и с холма на санках скатиться. Ребятня! Сами такими были…

Всю неделю по деревне раздавалась ружейная пальба. Доносился отчаянный визг свиней: начался массовый забой скота. Наточил нож Василий Усачёв. Схватил свинью за заднюю ногу, резко дёрнул на себя. Животное присело, обнажив грудь, не успело взвизгнуть, как острое длинное лезвие пронзило сердце. Разрубленную на куски свиную тушу уложили в кладовую. Затем вторую. Осталась свиноматка с поросятами. Василий отложил нож, недовольно проговорил:

— Только для себя хватит. На продажу — шиш с дерьмом. У соседей по пять-шесть. Отчего у нас-то мало?

Жена Татьяна сердито ответила:

— Оттого мало, муженёк, что я одна горбатилась на подворье. Ты лакал из фляжки да дрыхнул.

Растерялся мужик, не знает, как ответить на справедливые слова жены. Оправдался:

— Теперь не пью.

— Надолго ли?

— Навсегда отрубил! Вот те крест!

— Не крестись! Ты своего Бога в самогоне утопил.

— Честное слово большевика!

— Эко куда занесло! Ну, поживём — увидим…

Василий отгонял воспоминания о том роковом дне, который крутанул жизнь на полный разворот. Григорий Павлович при редких встречах ни словом не обмолвился о том, что произошло на берегу Журы. Василий отводил глаза от лица председателя. Совесть грызла душу.

Ольхов ничего не сказал жене о выстреле. Зачем нервировать любимую? Не повторится ли

подобное? Действительно ли исчезли те двое заказчиков? Приобрёл револьвер. Такую штучку от жены не утаишь. Пояснил:
— У губернатора охрана. Другие начальники тоже должны быть при оружии. Вон у Каминского всегда карман оттопырен.

На подворье председателя тоже прогремели выстрелы. Прирезали пять свиней и быка. Четыре туши погрузили в кузов грузовика — и на склад. А там очередь. Колхоз повысил цену на мясо. И повезли ольховцы свиные и бычьи туши. В ожидании очереди мужики курят и ведут неторопливый разговор
— По приметам ныне зима будет суровая.
— Не привыкать. Прозимуем. Топливо припасено. Кормов для скотины достаточно.

Или зубоскалят:
— Максим Петрович, отчего на твоих тушах сало тонкое? Аль мало дроблёнки уволок с колхозной фермы?
— Кузьмич, у тебя на санях одна туша. Остальные по дороге растерял?

Кладовщик Кубарев принимает мясо, взвешивает, выписывает квитанции. Два дюжих мужика из породы Ольховых относят туши на склад или в подвал. Сдают ноги, ливер, печень. Получив квитанцию, направляются в контору за деньгами. И в магазин — за поллитровкой. Везут гусей и уток. Кладовщик воспротивился:
— Склад заполнен птицей с колхозного пруда.

Председатель категорически распорядился:
— Принимай!

Особенно много птицы выращивают в Крюковой. Узнав о том, что можно выгодно продать гусей и уток, крюковские женщины снарядили целый обоз. Их встретили колхозные насмешники:
— А где пух и перо? Прибудут следующим обозом?

Крюковцы весело ответили:
— Ишь, чего захотели! Своим девкам перины готовим для приданого.
— Коль ваши девки богатые, то сватов пришлём.
— И не вздумайте! Наши девки гордые. Не откроют ворота перед вашими косолапыми женихами.
— Это кто косолапые? Наши парни? Да они за версту ваших рябых невест объедут.
— Рябые? Хо-хо! Да с наших девок иконы можно писать!

Кладовщик не вытерпел:
— Крюковцы, вы будете разгружаться? Или назад повернёте?

В один из дней к складу подкатил грузовик из Степной. Кузов наполнен тушами. Разгрузились. Взвесили. Получили расчёт наличными. Степняки довольны. Теперь не грех горло промочить. Стали подвозить мясо из других деревень. Такому мог бы позавидовать и сам директор мясокомбината. Заполнился тушами и склад, и подвал. Кладовщик сначала установил весы у склада мясокомбината, потом и у подвала колбасной фабрики. А мясо всё подвозят и подвозят. Куда складировать? Перекочевал Курбатов со своими весами к подвалу и кладовым овощного комбината, которые к этому времени изрядно опустели. Вся выручка от торговли магазинов и чайных незамедлительно исчезала в уплату за мясо. Даже не хватало. Пришлось некоторую сумму снять с банковского счёта. Теперь все мясорубки обеспечены работой в три смены в течение нескольких месяцев. Придётся накинуть цену на колбасу и другие мясные изделия. Иначе… А свои стада пусть подрастают да жирок нагуливают.

## 4

В осенний призыв Ольховка проводила в армию четверых парней. Молодцы один к одному. Добрые будут солдаты. Пятеро демобилизовались. Двое не доехали до деревни. Зацепились в Красноярске.

В столовую влетела Анюта Баламутова. Она всегда каким-то чутьём первой узнаёт деревенские новости. Видимо, Бог наградил таким талантом. Вот и сейчас возбуждённо затараторила, словно выпустила очередь из автомата:
— Антонида Владимировна, Тонечка! Твой Юрка вернулся из армии! Только что по улице прошёл. Вот-те крест! Собственными очами видела. Марширует во всём солдатском.

Антонида Владимировна отложила нож:
— Чего раскудахталась? Вернулся, и слава богу. Вот борщ приготовлю…
— Родной сын, а ты про борщи. Экая бесчувственная!

Хлопнула Анюта дверью. Помчалась, пока никто её не опередил, разносить новость по деревне. Словно это её святая обязанность. Нет, старшая повариха не была таковой. Ёкнуло материнское сердце. Рвануться бы сей миг домой! Прижать бы родную кровинушку к груди. Полтора годочка были в разлуке. Каков он теперь? Поди, бриться стал. Сдержалась. Закончила чистить картофель. Остальное поручила помощницам. Обедов теперь готовили немного. У колхозников своих продуктов в достатке. Мясо в кладовой, картошка в погребе. Грибы, соленья, варенья и прочая овощь. Есть, что на стол поставить. Зачем топать по морозу в столовую? Сперва шла неторопливо. Затем ускорила шаги. Не выдержала, побежала, как шальная девчонка. В доме Петровых двое за столом. Сам хозяин и сосед Никита Ольхов. Обмывают удачную продажу свиных туш. Гость спросил:
— Сколько получил в кассе?
— Двенадцать тысяч. Пару себе оставил. Сало с ладонь.
— Тебе легко откармливать. Жена отходы домой на коромысле носит.
— Обмылки от посуды? Чему позавидовал? Ты сам начальник свинофермы.
— На что намекаешь, Михалыч?
— Извини, Зиновеич, нечаянно сорвалось.

Выпили. Закусили. Само собой, закурили. Каждый из своей пачки. Хозяин — папиросу, сосед — сигарету. Дружба дружбой, а табачок врозь. Петров проговорил:
— Хороши свиноматки, что весной привезли. Взглянул: гора мяса.
— Поросята от них растут как в сказке: не по дням, а по часам. Молодые свиньи уже огуливаются. Какие они поросята? Уже пятипудовики.
— Наша порода мелковата. Недурно обзавестись парочкой таких поросят.

— Даже не мечтай. Каждый поросёнок у председателя в записной книжке на самом строгом учёте.
Не услышали, как звякнула щеколда калитки, как простучали сапоги по сеням и открылась дверь. Звонкий голос отчеканил:
— Рядовой Юрий Иванович Петров демобилизовался и прибыл под крышу родительского дома!
Иван Михайлович чуть не выронил стакан:
— Юрка, ты?
Объятия. Троекратные поцелуи. Солдата усадили за стол. Огляделся.
— А где маманя?
— На работе, сынок. Скоро придёт. Ты думаешь, незамеченным по улице проскочил? Ей уже сообщили.
Вскорости Антонида Владимировна не вошла, а влетела в дом, словно на невидимых крыльях.
— Юрочка, сыночек!
Собрались родственники, соседи. Иван Михайлович быстренько сходил в магазин. Не за консервой. Известно, за чем. Посидели. Выпили за дембель, за возвращение Юрия Ивановича. Когда гости разошлись, отец сказал сыну:
— Давай поговорим на полном серьёзе.
— О чём, папаня?
— Ты уже взрослый мужик. Пора определить жизненный путь.
— Я уже определил.
— И как же?
— В город поеду.
— На учёбу?
— Работать на заводе буду.
Старший Петров помолчал, затем сказал:
— Неволить не стану. Своя голова на плечах. Не опилками набита. Ты писал, что служил водителем танка?
— Наш экипаж отличился на манёврах. Благодарность от командования имею.
— Скоро в колхоз поступит новый трактор.
— Это меня не касается.
— Сменил бы танк на трактор.
— Что? Идти в задрипанный колхозишко?
Иван Михайлович усмехнулся:
— Когда ты по улице шёл, не обратил внимания на вывески?
— По сторонам не глазел. Спешил увидеть мать с отцом.
— Напрасно. Тогда бы не называл наш колхоз задрипанным.
Младший Петров насторожился. Мать писала о каких-то изменениях в деревне. Не обратил на то внимания, проскользнуло мимо сознания. Отец продолжал:
— Ты помнишь колхоз таким, каким он был, когда ты уходил на службу. Ошибаешься. Теперь у нас свой хлебозавод и колбасное производство. Открыли четыре магазина, две чайные, столовую и Дом быта. Удивишься, когда увидишь наши новостройки. Зарплату получаем регулярно. Заработки повыше городских. Ну, так как насчёт трактора?
— Гм. Подумать надо. Ты прямо огорошил меня.
— Подумай, осмотрись. Торопить не буду.
Разговор прервала Антонида Владимировна:
— Баня готова.
Когда он вышел, Иван Михайлович сказал:
— Упорел парень, пора женить.
Жена косо взглянула, ответила:
— Это пьяный язык говорит. Не твоё дело!
— А чьё? Твоё?
— И не моё. Сам решит, когда идти в сельсовет расписываться. Это ты женился через неделю после службы.
— Побоялся, что другой уведёт невесту. Ты была девка видная.
— Была? А теперь что, подурнела?
— Наоборот, ещё краше стала…
Юрка вошёл в баню, не в казённую, а в свою, с детства знакомую. Ух ты, жарища! Постаралась маманя. А какая баня без веника? Какой сибиряк не любит попариться? Сбросил солдатскую амуницию. Теперь не нужна. Вон на полочке лежит бельё, брюки, рубашка, носки. Наддал ещё жару. Забрался на полок. Взял веник, заранее распаренный. И пошёл такой хлёст, что всем чертям стало тошно. Если они существуют. На снег не выскочил, как отец. Приоткрыл дверь, выпустил лишний жар, вымылся. Окатился. Эх, хорошо! Грудь дышит легко. Словно заново народился! Оделся. Дома мать подала пиджак и галстук. Побрызгался одеколоном. И в клуб. Куда ещё молодому да холостому?
Увидела Светланка Юрку Петрова и вся зарделась. Смотрит, глаз отвести не может. И он глядит только на неё, только на неё одну. Подходит, на танец приглашает. Как отказать такому симпатичному парню? Позабыла, как клялась Димке Усачёву в вечной любви. Утром отправила ему письмецо. Двадцатое или тридцатое. Когда писала, на бумагу упала слезинка. От избытка чувств. А вечером… Что происходит с тобой, голубоглазая девонька?

## Глава вторая

### 1

До снегопада крюковцы работали на ремонте ольховских ферм. Однажды на перекуре Данило с огорчением проговорил:
— Готовим к зимовке скота чужие помещения. Свои опустели, стоят сиротинушками.
Гаврило добавил:
— Свинарник начали растаскивать. Кто бревно волокёт, кто доски. С телятника крышу содрали.
Игнат Кузьмич швырнул окурок, произнёс:
— Я так думаю, мужики, надо вступать в колхоз «Прогресс». На сей момент мы здесь вроде пасынков. Нечего хныкать о былом. Надо причаливать к новому берегу.
Оживились. Закурили по второй. Данило одобрил слова старшего плотника:
— Верно. Я тоже об этом подумывал. Не решался выразить. В Ольховке мы сродни батракам. Сегодня же напишем председателю заяву.
Кирилл по обыкновению молчал, но кивал головой в знак согласия. В тот день отложили топоры пораньше. На прикреплённой за ними подводе подъехали к конторе. Написали четыре заявления. Председатель положил бумажки в стол, удовлетворённо проговорил:

— Правильно, мужики. На очередном общем собрании проголосуем. Наши колхозники против не будут.

В Крюковку вернулись в потёмках. Родная деревня встретила печальной тишиной. Окна светились не в каждом доме. Вот в этом лампочка перегорела? Или хозяева отлучились на часок? Ставни многих домов закрыты уже давно. Может, уже никогда не откроются навстречу яркому утреннему солнышку. Не зазвенят на подворье детские голоса. Не пройдёт мимо с подойником хозяйка в цветастом фартуке. Некому зажечь свет в покинутых домах. Зато Данилу жена встречает отменной бранью:

— Так-перетак! Доколе будете шастать в Ольховку, горбатиться на чужого дядю? В своём хозяйстве полный развал. Так твою мать! Изгородь упала, крыша на хлеву сгнила, дрова не колоты.

Обычно тихая, а тут словно с цепи сорвалась. Матюгается, как пьяный мужик. Не остановишь.

— Явился, словно не хозяин, а гость! Перетак твою!

Вот так же, наверно, встречают жёны братьев. Гаврило — зубастый, отгавкается. Кирилл отмолчится. Ответил супруге, будто камень швырнул в омут:

— Скоро совсем не буду приезжать в свою деревню!

Женщина на минуту оторопела, потом налетела с новой яростью:

— Что-о? Ах ты, кобелина! Другую нашёл? С ольховской блядью спутался?

Сейчас швырнёт поленом или кочергой. Не швырнула. Приложила к глазам подол фартука, запричитала:

— Ой, тошнёхонько мне. Чуяло сердце беду. Пятнадцать лет прожила с тобой, подлецом этаким. Чем не угодила? Аль красотой не вышла? Или плохая работница на огороде? Оставляешь меня с тремя детьми. Сиротами станут при живом отце.

Брякнул сдуру. Надо было как-то поаккуратнее. Данило обнял жену:

— Не вой так, Марьюшка. Нету у меня полюбовницы. Одна ты, единственная, богом наречённая. Никогда не брошу семью. Не оставлю деток сиротками. Как можно такое?

Вытерла слёзы, сказала немного спокойнее:

— Правду ли говоришь? Зачем сказал, что не будешь приезжать в деревню?

— Мы с братьями подали заявление о вступлении в ольховский колхоз.

— Как так? Жили мы при нашем колхозе не богато, но и не бедно, концы с концами сводили. Потом этот совхоз распроклятый. Теперь снова перемена. В чужой колхоз! Вы не рехнулись? Прилипли к Ольховке, как мухи к мёду. Чего не живётся дома? Картошка припасена, овощь разная. На подворье две коровы, пять свиней, два десятка гусей, столько же уток.

Данило гнул своё:

— Весной перевезём дом в Ольховку.

Марьюшка всплеснула руками:

— Можно ли покинуть родную деревню? Здесь жили наши деды и прадеды. И вдруг в какую-то Ольховку! Да я ни за какие коврижки!

— Экая ты у меня упрямица! Земля русская везде одинакова. Приютит, согреет, в беде не оставит. Об этом ещё поговорим, обсудим, как и что. А теперь накрывай на стол, подавай ужин.

Марьюшка снова взорвалась:

— Ужин подать? А что ты припас, чтобы стол накрыть? Да ничего! Целое лето в Ольховке топором размахивал. Одна на огороде да на подворье спину не разгибала.

Данило вынул из кармана пачку денег, положил на стол:

— Получку получил.

Жена осеклась, сразу повеселела:

— Сколько тут?

— Считай.

— Я столько в руках никогда не держала. Небось на бутылку припрятал?

Данило усмехнулся:

— Где найдёшь мужика, у которого нет заначки?

**2**

Агапов обессиленно опустился на стул:

— Всё, председатель!

Ольхов поднял брови:

— Что «всё»?

Андрей Андронович на едином дыхании выпалил:

— Кончились мои силёнки. Каждый день без обеда. Кручусь, как грешник на раскалённой сковородке. Из заместителя превратился в снабженца. Язык через плечо, с одной базы на другую. Прошу отставки! Пусть другой испытает на собственной шкуре эту почётную должность.

Ольхов понял, в чём дело. Хозяйство колхоза значительно расширилось. Заместитель почти полностью отстранился от прямых обязанностей. Просто не успевает: загружен снабжением. И не всегда успешно. В последнее время всё чаще происходят срывы в снабжении магазинов. Были случаи задержки подвоза муки на хлебозавод. Однажды не поступила тара для розлива молока. Всякое случалось. За всем не уследишь за все двадцать четыре часа в сутки.

— Не торопись на ферму. Успеешь топором помахать. При должностях вечно состоять не будем. Давай подумаем, как быть.

— Тут и думать нечего! Должность снабженца необходима, как карасям озеро.

Ещё один окладник! Эта мысль шилом вонзается в мозг председателя. Что толку от того, что произвели сокращение аппарата? Новые должности появляются, что грибы после дождя. Теперь подавай снабженца. Иначе… Сфера снабжения становится всё более важным узлом в управлении хозяйством. Иного выхода нет. Григорий Павлович спросил:

— Кого предлагаешь?

Перебрали несколько кандидатур. Остановились на Николае Усачёве. Тот сначала упёрся: дело, мол, незнакомое. Кого оставить на фабрике старшим мастером? Василия? Мужик остепенился, работает исправно, без замечаний. Производство освоил не хуже старшего брата. Или жену, Татьяну Михайловну? Но у неё на руках семья, домашнее хозяйство.

И стал Василий, бывший забулдыга, старшим мастером колбасной фабрики. С испытательным

сроком. А Николай Иванович — заместителем председателя по снабжению. Облегчённо вздохнул Агапов. Теперь можно вплотную заняться делами ремонтной и столярной мастерских, гаражом, фермами, полеводческими бригадами. У председателя остались промышленные предприятия, магазины, строительство, финансы и общее руководство. У него на столе, кроме телефона, стоит аппарат селекторной связи со всеми подразделениями. Даже с пилорамой и мельницей. Планёрки теперь проводятся только по понедельникам. Подводятся итоги за неделю: кому — взбучка, а кому — кивок одобрения. Затем председатель принимает посетителей по личным вопросам. Это уже узаконенные часы граждан Ольховки. Председатель отвлекается от колхозных проблем, выслушивает жалобы и просьбы людей. Тут же принимает решения. Например, звонит в сельский магазин:

— Почему грубо обслужили покупательницу Платониду Ульяновну? Что значит «неправда»? Передо мной заявление лежит. И это не первая жалоба. Вы что, не дорожите своим местом? Захотели скотниками на ферму?

Или так:

— Ничем помочь не могу! Этот вопрос может решить Каминский. Идите в сельсовет.

По деревне закурсировали две кошевы. В одну запряжён буланый, в другую — вороной. Но в Журинск Ольхов ездит на «Волге». Пора бы председателю пересесть на иномарку. Да дорого стоит. Деньги нужны на другие, более важные мероприятия. Николай Иванович овладевает новой специальностью. Осваивает, втягивается. В его обязанности входят снабжение ремонтной мастерской запасными деталями, транспорт — горючим, доставка муки на пекарни, отгрузка готовой продукции, обеспечение упаковочными материалами и многое другое. Даже тапочки, одеколон для парикмахерской, карандаши конторщикам — тоже его забота. Каждый день в его записной книжке появляются всё новые и новые заказы. Не обходится и без промашек: разве упомнишь такую прорву потребностей? И мчится на своём «жигулёнке» заместитель председателя колхоза «Прогресс» то в город, то обратно в Ольховку. Какое там — заместитель? Скорее, мальчишка на побегушках. Может, напрасно согласился?

Василий Иванович, наоборот, гордится своим назначением. Ещё бы, стал начальником фабрики! Правда, не освобождённым от веселка и без дополнительной оплаты. Просто старший мастер. Перед каждой сменой обходит свои владения, то бишь цеха. Следит за порядком, отдаёт указания. Случается, кого-то отчитает. Работники называют его не Васькой, как прежде, а Василием Ивановичем навеличивают. Про себя усмехаются: «Ишь ты, из грязи прямо в князи!»

### 3

На этот раз Роман Филиппович вместе с деньгами привёз новости:

— В Журинске Курбатовский совхоз и колхоз «Рассвет» открыли свои магазины.

Ольхов вскочил со стула:

— Когда?

— Дня три назад.

— Где?

— Совхоз — по Пролетарской, колхоз — по Маяковской.

— Как отразилось на нашей торговле?

— Никак не отразилось. Покупателей не уменьшилось, выручка не сократилась.

— Чем торгуют?

Роман Филиппович пожал плечами:

— Не знаю. Я не был в тех магазинах.

Появился Олег Костыльников. Тоже привёз выручку, положил на стол кассиру. Теперь он после свадьбы работает вместе с женой Оленькой. Ольхов повернулся к нему:

— Как у вас, чкаловцы?

Олег пренебрежительно ответил:

— Не беспокойтесь, Григорий Павлович. Магазин колхоза «Рассвет» от нас далеко, через две улицы. Совхозный ещё дальше.

Однако это не успокоило председателя. Самому надо убедиться. На другой день помчался в город. Нашёл улицу имени поэта. Вот вывеска: «Магазин колхоза «Рассвет» — по ольховскому образцу. Остановил машину. Вошёл. Осмотрелся. На полке — караваи, калачи и молоко. Холодильник, видимо, не на что купить. Не всё сразу. Ольховы тоже бедненько начинали. Где же этот «Рассвет»? Кажется, в деревне Еловка. Километров двадцать от райцентра, вниз по течению Журы. На Пролетарской в одном здании магазин и чайная. Совхозные. Ого, сразу солидно разворачиваются. Посмотрим! В магазине тот же хлеб и молоко. Немного колбасы. Совхозники могли бы ещё кое-что добавить. Купил калач и кусочек колбасы. Подал полусотку, получил сдачу. Продавец вежливо улыбается. Но товар свой не рекламирует, не навяливает. Не наловчилась. Роман Филиппович от полусотки оставил рожки да ножки. В совхозной чайной уютно. Сел за столик. Попросил чаю. Здесь подавали и кофе. Кому что любо. На вкус товарища нет. Надо распорядиться, чтобы в своих заведениях тоже готовили кофе. Чай подали остывший, слегка сладкий. Заварка слабенькая, не то грузинская, не то кубанская. Никакого сравнения с ольховским — медовым, ароматным. С таким чаем, колхознички, далеко не ускачете. Разломил калач. Обыкновенный, вполне съедобный. Такие же выпекает Катенька. Попробовал колбасу. Из чистого мяса, вкусная, есть аромат. Почти как ольховская. Умудрились курбатовцы, перехватили усачевскую технологию. Разве удержишь секрет, если о нём знает вся деревня?

Теперь на свои объекты. На Чкаловской кончился хлеб. Покупатели укладывают в сумки последние пакеты молока. Очередной привоз задержался. Оленька негодует. Ольхов указал Олегу на телефон:

— Ты здесь за старшего. Чего растерялся? Позвони снабженцу, потребуй. Это твоё право.

В магазине номер три за прилавками сёстры — Октябрина, Ноябрина, Декабрина. Их родители, видимо, малость того… Не хватает ещё Январины да Февралины… В конце работы за сёстрами

приходят мужья—три добрых молодца. Зорко стерегут своих красавиц. Видимо, есть причина. Бойко торгуют сёстры. Особенно в винном отделе. За такие успехи в прежние времена Октябрине вручили бы красный флажок. Покупатели толпятся и у других прилавков. Что-то укладывают в сумки, достают кошельки. Тут полный порядок. В магазине номер два—настоящая катастрофа. Среди белого дня ворвались два бандита. Угрожая пистолетами, приказали:
— Всем лечь вниз лицом!

Покупатели брякнулись на пол. Продавщицы исчезли за и под прилавками. Один Роман Филиппович не растерялся, не сробел. Схватил нож, выкованный в колхозной кузнице, которым продавцы резали караваи, и встал у кассы. В грудь ему нацелились два ствола:
— Выкладывай, дядя, наличку, да поживее!

На такую наглость Роман Филиппович, не дрогнув, ответил:
— Не могу. Деньги казённые.
— Разговорчики потом, не то трах-трах!
— Не выстрелите: грохот слишком большой будет. У меня в руках оружие пострашнее вашего.

В этот момент в дверях появился Ольхов. В одну секунду оценил обстановку. Ринулся к прилавку. Обеими руками схватил бандитов за шиворот и выволок из магазина. На крыльце ударил лбами друг о друга и швырнул в разные стороны. Проходившая мимо женщина отчаянно завопила:
— Убивают! Милиция!

Через дорогу спешил милиционер. Посмотрел на неподвижные тела, спросил у высокого плечистого мужика:
— Ты их не того, насмерть не зашиб?

Ольхов небрежно ответил:
— Я легонько, вполсилы. Скоро очухаются.
— На бойне мясокомбината тоже Ольхов работает. Не родня вам случайно?
— Родственник. В третьем колене. И что?
— Подойдёт к быку да как трахнет кулачищем по лбу!
— И что с быком?
— Ну что, замертво сваливается.
— Да ну! Сказки не рассказывай.
— Не знаю, сам не видел, но люди говорят.
— Я так не смогу. Скотину жалко. Лучше ножом сразу.

Ольхов ногой придвинул к милиционеру два револьвера, выпавшие на крыльцо из рук налётчиков:
— Подбери вещественное доказательство.

Прибыли ещё два сотрудника и следователь, который тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Бандиты очухались, приподнялись. На них надели наручники. Увели. Толпа любопытных разошлась.

## 4

Когда закончили ремонт на фермах, Данило обратился к председателю:
— Отпусти нас, братьев, до Рождества Христова.

Ольхов недовольно ответил:
— К самогонным аппаратам потянуло?
— Охотники мы. Зимой зайцев промышляем. Шкурки сдаём, а мясо в горшок, да в печь.
— Пока вы в колхоз не приняты, то держать не могу.

На другой день вместо Свинопасовых с Игнатом Кузьмичом приехали два других мужика. Тоже подали заявления о вступлении в колхоз «Прогресс». Возвращаясь в Ольховку после событий в магазине номер два, Григорий Павлович вспомнил о разговоре с Данилой. На другой день его кошева мчалась в Крюковку. Деревня на взгорье. Улица широкая, летом зелёная, весёлая. Посмотришь в одну сторону—увидишь околицу Ольховки. Повернёшься в другую—и вот она, деревня Орловка, всего в трёх километрах. Приходилось и раньше бывать в Крюковке. Народ там приветливый, гостеприимный. Буланый, не сбавляя рыси, легко вынес кошеву на взгорок. На этот раз деревня встретила какой-то угрюмой тишиной. Слишком много покинутых подворий. Ставни окон этих домов не открываются уже несколько лет. Не услышишь детских голосов. Не пройдёт по двору хозяйка с подойником. Подвернул к воротам Данилы. Вошёл в дом.
— Добрый день, хозяюшка!
— Здрасьте, Григорий Павлович.
— Откуда знаешь меня?
— Да кто не знает ольховского председателя? А меня муженёк называет Марьюшкой.

Сама уже включила чайник, достаёт из печи чугунок с варевом. Ольхов воспротивился:
— Не беспокойтесь, я не голоден.

Хозяйка в ответ:
— Это меня не касаемо. У нас в Крюковой блюдём обычай со старины. Гость через порог—хозяйка за рогач да в печь.

Уже за столом Ольхов спросил:
— Как поживаете?

Марьюшка охотно ответила:
— Как у Христа за пазухой. Нет над нами никакой власти: ни колхозной, ни совхозной, ни сельсоветской. Из района никто не бывает. Всеми забытые. Полная волюшка. В прежние годы разные агенты да заготовители уныряли, что тараканы. Из райкома приезжали, лекции читали. Во время страды нагрянут уполномоченные, загребут урожай под метёлку. Теперь тишь да гладь, божья благодать.

Вздохнула сердешная:
— Только волюшка эта не в радость. Злой мачехой оказалась. Закрыли школу. Дети учатся в Степной, живут при интернате. Без родительского пригляда. В сельповском магазине торгует купец. Каждую неделю цены повышает. Инфляция какая-то. Ему прибыль, нам убыток. Медпункт тоже закрыли. Дескать, больных мало. А откуда им взяться, если полдеревни разъехалось по городам?

Посмотрела в окно:
— Вот и мой разлюбезный на лыжах скользит. С охоты вертается. Увидел кошеву, ходу прибавил.

Данило прямо с порога:
— Зайчатиной угостила?
— А как же? Жаркое на столе.
— Рюмку подала?
— А то!
— Присяду и я. Рюмка с морозу не повредит.

Выпил. Посыпал охотничьими историями. Не переслушаешь. Улучив момент, Ольхов спросил:
— Ну, как промысел?
— По-разному. Зайцу не прикажешь самому в петлю лезть.
— А лиса не попадалась?
— Одна была, в капкан Гаврилы угодила.
— Куда шкурки сдаёте?
— В заготпушнину.
— Что платят?
— Жульё там засело. Первосортные шкурки по самому низкому разряду принимают. По пять рубликов за штуку. Дармовщина! Лазуткины на рубль дороже платят. Они шапки шьют.
— Не возите больше в заготпушнину.
— А куда?
— В наш колхоз везите, прямо на склад. По восемь рублей за шкурку получите.

Данило удивлённо посмотрел на председателя:
— Григорий Павлович, вы это серьёзно?
— Вполне. Так по рукам или как?
— Зачем спрашиваешь? Теперь я к жуликам ни ногой. Братья тоже согласятся.

Ольхов опять спросил:
— Белку промышляете?
— Мы с братьями только на зайцев. На белку другие ходят. Такой у нас расклад.
— А я могу с ними встретиться, поговорить?
— Только через неделю. Они сейчас в тайге.

Марьюшка заметила:
— Сергей Берёзкин дома. Утром видела.

Данило повернулся к жене.
— Сходи, позови.

Вскоре появился мужик средних лет, среднего роста. Выслушал Ольхова. Кивнул головой, одобрил. Обещал поговорить с другими охотниками на белку. От рюмки отказался. Дела, мол, домашние, и удалился. Пора и Ольхову честь знать. Загостился. Дом Лазуткиных большой, на две квартиры. Вошёл, представился. Хозяин назвал себя:
— Павел Петрович.

Из другой комнаты появились две женщины. Хозяин приосанился.
— Моя супруга, Анфиса Яковлевна. А это жена брата, Нина Семёновна. Обе — мастерицы шапки шить. А я хожу по деревням продаю. Вроде коробейника, про которого песни поют.

Супруга его остановила:
— Твоими речами гость сыт не будет.

Она уже накрывала на стол. Ольхов возразил:
— Только что из-за стола.

Хозяйка была неумолима:
— Я этого не видела. У нас в деревне обычай: гость в дверь — хозяйка за самовар.

Коль так, то и шапку долой. За столом без лишних расспросов Ольхов предложил:
— Сдавайте шапки на наш колхозный склад.

Павел Петрович нерешительно проговорил:
— Ну, тут подумать надо…

Анфиса Яковлевна запальчиво выпалила:
— Ты вечный тугодум. Теперь неделю будешь шевелить тупыми мозгами. Человек ведь дело предлагает.

Павел Петрович произнёс:
— Мы состоим при степном совхозе, а работать станем в ольховском колхозе. Как же так?

Жена с прежней запальчивостью ответила:
— Провались в тартарары такой совхоз! Фермы опустели, посевы сократились. Ты когда в последний раз выходил на совхозную работу? В каком месяце зарплату получал? Забыл?

Нина Семёновна добавила:
— Свинопасовы работают в колхозе. Хорошие деньги получают каждый месяц. Подали заявления о вступлении в «Прогресс». Весной перевезут дома в Ольховку.

Анфиса Яковлевна горячо поддержала:
— И мы в колхоз перейдём.

Толкнула мужа в плечо:
— Пиши заявление. Больше не будешь по деревням скитаться! Тоже иглу в руки возьмёшь.

Григорий Павлович возвращался в Ольховку, напевая «Катюшу».
— Прибавь рыси, буланый. Солнце уже на закате, а у нас впереди ещё заседание правления.

**5**

За окнами уже темно. В кабинете председателя многолюдно. На передних стульях — члены правления. На остальных — руководители подразделений. Ольхов с уже привычной торжественностью объявил:
— Расширенное заседание правления колхоза «Прогресс» считаю открытым. На повестке один вопрос — перестройка.

Люди пожали плечами, переглянулись: вошли же в ритм работы, чего ещё перестраивать? Как бы угадав эти мысли, Ольхов продолжал:
— Мы выдержали конкуренцию с честными торговцами. Даже в чём-то их превзошли. Уверенно внедрились в рыночные отношения. Но на горизонте появились новые конкуренты. В «Журинске» свои магазины открыли совхоз «Курбатовский» и колхоз «Рассвет». Торгуют пока ограниченным ассортиментом. Пробуют, получится ли? Со временем расправят плечи, станут торговать на широкую ногу. Не исключено, что и другие хозяйства последуют этому примеру. Конкуренты более серьёзные, чем частники. Впереди предстоит жестокая борьба за покупателя. Устоим ли на должной высоте, на достигнутом уровне? Для этого надо произвести ряд изменений, перестроиться. Мы должны идти на опережение своих конкурентов. Надо предвидеть события, наперёд рассчитывать все наши действия. Иметь чёткую программию. Я ясно сказал? А теперь выкладывайте ваши предложения.

Хитрит председатель. Сам себе на уме. Небось, держит в башке не одну задумку про запас. Вожжи приотпустил, даёт инициативу другим. Первым встал инженер:
— Перестройку надо начинать с хлебозавода. Убрать глинобитные печи. Заменить на современные, электрические.

Григорий Павлович поморщился:
— Опять ты, Валерий Сергеевич, сел на своего конька-горбунка. Убавь прыти, не забывай о качестве.

Инженер продолжал:
— Новые печи увеличат производительность в три раза. Качество хлеба не пострадает. Даю в том полную гарантию.
Его поддержал Беляцкий:
— Зациклились на глинобитных печах. Как бы они не подвели. Что-то зачастили санэпидемстанция и пожарники. Пора отказаться от матушки-старинушки. Правильную Мурашов предлагает современную технологию.
Березовская тоже говорила вполне убедительно:
— Восемь хлебозаводских труб дымят и днём, и ночью. Закоптили всю деревню! Жрут дрова похлеще паровозной топки. Скоро весь берёзник вырубим. А где в Троицу венки завивать будем?
Ольхов махнул рукой:
— Ладно, уберём по одной печи в каждой пекарне. Для пробы. Так и запишем в протоколию. Теперь твоя очередь, Азаров.
Встал начальник мясокомбината. Встал бодро, энергично, бойко заговорил. Что, мол, до сих пор мы выпускали колбасу только одного сорта. Но она уже набила оскомину покупателям. Нужно выпускать несколько сортов. Скажем, копчёную и варёную, с салом и обезжиренную, отдельно свиную и говяжью, конскую и из птичьего мяса. Даже ливерную.
Председатель усмехнулся:
— Не зря тебя астрономом прозвали! Углядел в свою трубу правильное направление. Что скажет Усачёв?
Старший мастер колбасной фабрики ответил коротко:
— То же самое. Завтра приступим к выпуску нескольких сортов колбасы.
Василий Иванович растерялся. Старший мастер маслозавода доложила о том, что уже приступили к выпуску творожных сырков и вареников. Затем нехотя поднялся начальник овощного комбината. Глядя в потолок, неторопливо заговорил:
— Комбинат находится на грани банкротства. Заканчиваются кабачки для производства икры. Выработку растительного масла протянем до конца года. Картофеля, дай бог, хватило бы до весны. Тогда на двери комбината вообще замок придётся повесить.
Люди оживились, заговорили между собой. Дескать, зачем отгрохали такое здание, приобрели дорогое оборудование? Гордились своим комбинатом, а теперь вот что вышло… Кто-то предложил:
— А что если закупать сырьё в других хозяйствах? Не одни же мы рапс сеяли?
Курбатов возразил:
— Дёшево не продадут. Придётся повысить цену на масло, не в убыток же торговать. Сразу и спрос упадёт.
Таким же неутешительным было выступление старшего мастера бытового комбината. Марков говорил:
— Пристройку сделали без учёта роста производства. Сейчас создалась очередь на пошив вперёд на три месяца. Две портнихи не справляются. Дополнительные швейные машины поставить некуда. Их на потолке не установишь. То же самое с ремонтом бытовой техники. Нужен второй мастер. А куда посадить? Теснота. Заказчики уже не к нам обращаются, а в город едут. Теряем живые деньги.
От выступлений Степанова и Маркова у председателя настроение заколебалось. Какая тут, к чёрту, перестройка?
Объявил перерыв. Курильщики удалились в коридор. Вернулись. Что дальше? Долго ли ещё будем заседать? О чём разводить говорильню? Пора бы по домам.
После перерыва председатель приободрился. Вернулась уверенность. Иначе какой он руководитель? Инициатива снова в его руках.
— Не торопитесь вешать замок на овощном комбинате. Не спешите справлять поминки. Весной, кроме рапса, посеем подсолнухи, горох и просо. Агроному следует заранее позаботиться о семенах этих культур. В колхозном огороде вырастим достаточно кабачков и баклажан. Увеличим парники под огурцы. Расширим картофельное поле. Приобретём машину для выкапывания клубней. Овощной комбинат заработает круглый год на полную мощность. Я ясно сказал?
— Ясно, ясно.
Голос председателя звучал напористо, решительно:
— Ныне мы посеяли поле озимой ржи. Для чего? Выпекать тёмный хлеб? Нет. Будем изготовлять ржаные медовые пряники и коврижки.
Голос с заднего стула:
— Что ещё за коврижки? Это вроде ржаных сухарей?
Ольхов усмехнулся:
— Забыли, что такое коврижка. Но наши бабуси помнят, как их испечь. Справится ли пекарня с дополнительной нагрузкой? Тебя спрашиваю, Березовская. Ты что, уснула?
Она сидела, опустив голову. Но сквозь дремоту слышала громкий голос председателя. Тряхнула головой, ответила:
— Справятся, если сократить выпечку ватрушек и батонов.
Ольхов пристукнул ладонью по столу:
— Ни в коем случае!
— Но мои кухарки не кудесницы.
И тут председатель выкинул свою козырную карту:
— Будем строить свою кондитерскую фабрику. Станем выпускать ольховские конфеты. Туда же перенесём производство вафель и печенья, пряников и коврижек.
Инженер Мурашов поморщился. Опять чертежи. Завгар Медянкин пробурчал:
— У председателя в мозгах новый заскок. Совсем помешался на строительстве. Всю тайгу под корень вырубим.
На это Ольхов не ответил. Открыл тумбочку и поставил на стол шкатулку. Обыкновенная. Для хранения семейных документов или драгоценностей, если таковые у кого имеются. Шкатулка пошла по кругу. Ишь ты! На боках и крышке тонкая резьба. Да это настоящее произведение искусства! Чьи умелые руки изготовили? Неужто в Ольховке оказался такой мастер? Когда шкатулка вернулась на стол, Ольхов произнёс:

— Изготовил Пётр Игнаткин. Когда нет бондарных заказов, изготовляет шкатулки. Увлёкся человек рукоделием. У него на подворье просторная мастерская. Взял для обучения четверых старшеклассников.

Григорий Павлович снова нагнулся, и на столе появились две шапки: одна — из заячьего меха, другая — из беличьего. Сюрприз за сюрпризом! Что ещё заготовлено в тумбочке председательского стола? Ольхов придвинул беличью шапку Валентине:

— Примеряй.

Березовская взяла шапку:

— Сразу видно, что придётся только на макушку.

Передала шапку телятнице Зинаиде Ольховой. Та примерила.

— Ой, сшита на мою голову, как по заказу.

Ольхов кивнул:

— Носи да любуйся.

— Я привыкла зимой голову шалью накрывать. Сама вязала.

— Теперь к шапке привыкай.

Заячью нахлобучил себе на голову. Все рассмеялись.

— Григорий Павлович, она вам что попу ермолка.

Примеряли главбух, инженер, агроном. То мала, то велика. Впору пришлась только зоотехнику. Ольхов проговорил:

— Это вам подарки от крюковцев. Там братья Свинопасовы промышляют зайцев. Сколько-то мужиков охотятся на белку. Семья Лазуткиных шьёт шапки. Теперь шкурки и шапки будут поступать на склад нашего колхоза.

Курбатов заёрзал на столе:

— Зачем это нам?

Ольхов ему в ответ:

— Наш главный бухгалтер потерял коммерческий нюх. Откроем в Журинске ларёк и станем торговать шапками и шкатулками. До сих пор мы брали из тайги брёвна, орехи, грибы, ягоды. Теперь возьмём меха. Пусть сполна послужит на благо колхоза.

Сделал паузу. Обратился к Медянкину:

— Не помешался я на строительстве. Сама жизнь ставит перед нами проблемы. Ты заходил в колхозный свинарник? Нет? А ты зайди, посмотри и сразу поймёшь, что надо немедленно строить новый свинарник. А вот ещё одна проблема. Гоняем транспорт через мост посреди деревни. Нужен второй мост, чтобы напрямую связать мастерские с фермами.

Послышался голос члена правления, скотника Лопатина:

— Давно пора! Я живу на околице, по правой улице, а тёща напротив, на левой. Сварит щи, даёт зятю знак. Пока бегу до моста по правой улице да столько же по левой, щи уже прокиснут.

Ольхов, смеясь вместе со всеми, дал совет:

— Не бегай с ложкой на тёщину похлёбку. Пусть жена свою приготовит.

Из конторы вывалили толпой. Расходились группами или в одиночку. По обеим улицам из конца в конец прокатился переклич первых петухов. Откукарекали, успокоились. И вам, заседатели, спокойной ночи, приятных снов!

## Глава третья

### 1

— Может, напрасно я сказал на заседании правления о том, что необдуманно сделана пристройка к бытовому комбинату. Если хорошенько поразмыслить, то…

Так вслух рассуждал Андрей Алексеевич. А поразмыслив, вывесил на двери комбината объявление: «Закрыто в связи с реконструкцией». И началась пертурбация — перемещение цехов. Одним словом, перестройка. К дому были пристроены две комнаты. В одной сидели два сапожника, постукивали молоточками, мурлыкали песенки или хвастались любовными приключениями. В другой комнате — цех по ремонту часов. Хе-хе! Да тут всего один мастер! Надев очки, ковыряется в мелких механизмах. Иногда от безделья разгадывает кроссворды. Шикарно устроился! А ну, переселяйся к сапожникам! Отгородим для тебя ширмой вот этот свободный угол. Втроём веселее будет. На свободную площадь переселится цех по ремонту бытовой техники. Ох, тяжелы холодильники и телевизоры! Зато здесь просторно и светло. Найдётся место и для второго мастера.

Затрещала перегородка в большой комнате. Доски выбросили, мусор подмели. Из горницы сюда перекатили швейные машины, устроили примерочную, установили стол закройщицы. Ещё осталось место для двух машин. Надо сделать заявку снабженцу. Тогда сократится очередь у портних. Заказы перестанут уплывать в райцентр. Посмотрим, чья возьмёт в бешеной скачке конкуренции. В горнице с креслом и зеркалом торжественно воцарился Костя Зимарев. Разложил на столике разные стригательные машинки, расчёски, одеколоны и ножницы. Со времён Суворова в современной армии остались сапёрные лопатки. Так же и парикмахер неизменно держит в руках ножницы, невесть когда изобретённые. Костя облачился в халат, приготовился принять клиента. Ждут заказчиков и другие мастера. Готовы на новом месте проявить трудовую энергию. Сними, Марков, объявление, откинь крючок на двери. Добро пожаловать, обслужим по первому разряду!

Произошла перестройка и в мастерских Игнаткина. Вынес лишнюю рухлядь, установил дополнительно два верстачка. Теперь сюда после уроков приходят четверо подростков: братья Артём и Максим — сыновья преподавателя рисования Евгения Леонидовича. Толковые ребята, старательные. Из них получатся хорошие мастера по деревянным изделиям. Третий, Генка, тупица и лодырь, каких поискать. Этот не в ту компанию попал, долго не задержится. Про четвёртого и говорить нечего. Это собственный сынок, Вася-Василёк. С малых лет возле отца, из мастерской почти не вылазит. Ловко владеет рубанком, стамеской и другими инструментами. Может самостоятельно изготовить кадушку или бочонок. Теперь вместе с другими ребятами будет осваивать производство шкатулок. Как обучать их этому ремеслу, Пётр Тихонович не знает. Не педагог он, а простой бондарь. Первый же урок пошёл наперекос, как

первый блин у незадачливой пекарки. Сам работал, а трое учеников — кроме Васи — стояли рядом. Дескать, смотрите, учитесь, как надо строгать доску. Ребята стояли, смотрели, как от рубанка отлетает стружка, как доска становится гладкой. Им самим хотелось взять рубанок и попробовать строгать вот так же, как дядя Петя. На другой день взяли рубанки. Строгали с азартом, до пота. Ожидали одобрения за такое усердие. Но старший мастер забраковал:

— Не годится! Доска должна быть гладкая, как стекло. Тут я вижу только борозды да канавки.

Целую неделю братья упорно строгали да строгали. Потом сколько-то дней учились работать стамеской. Генка не появлялся в мастерской. За это время Пётр Тихонович изготовил семь шкатулок, одна другой краше. Вася смастерил две. Артём и Максим с некоторой завистью поглядывали на творение рук одноклассника. Наконец дядя Петя дозволил им смастерить первую шкатулку. Трудились до поздних вечеров. В школе двоек нахватали. Зато вот она, шкатулочка! Стоит на верстаке в полном своём великолепии. Взял Игнаткин в руки изделие. Повертел с боку на бок, попробовал на прочность:

— Гм, для первого раза недурно. Молодцы ребятки! Резьбу я сам наведу.

Братья грудь колесом, гордость наполнила сердца. Пётр Тихонович вышел на часок по домашним делам. Вернулся, хотел приступить к резьбе. Перед ним стояла та же самая шкатулка, но уже иная, словно подменённая. Сверкала яркими красками. По бокам, на крышке алели, голубели, зеленели букеты невиданных цветов. Два юных мастера с замиранием сердца ждали приговора. Игнаткин хмыкнул, крякнул:

— Это когда же вы, сорванцы, успели размалевать шкатулку?

Братья опустили головы.

— Да не вешайте носы. Чудесно получилось! Экая красавица! За первый сорт пойдёт.

Братья подняли головы, заулыбались.

Через пару дней снова навестил бытовой комбинат.

В швейном цехе установили ещё две машины. За одну села Светлана Ольхова. К ней подошла старшая портниха Елена Дмитриевна:

— Шить умеешь?

Светлана качнула головой:

— В первый раз села за машину.

— Желание есть?

— Серединка на половинку.

— Зачем тогда к нам пришла?

— Бригадир послал. Для меня работы не нашлось.

Старшая портниха вздохнула, промолвила:

— Ладно, учись. Вот тебе лоскут материи. Работай пока на ножном приводе.

Подложила Светлана материю под иглу, задвигала педалью. Застрекотала машина, задвигалась катушка ниток. Побежала по лоскуту строчка. Рядом бесперебойно стучат три машины. Под этот шум хорошо помечтать. Вспомнила тот вечер, когда увидела Юрку, Юрочку. Танцевала только с ним. Потом провожал домой. А куда провожать-то? Их дома рядом. Долго стояли у калитки. Сладко целовались. На морозе обоим было жарко. Какой он славный, Юрочка…

— Светка, уснула, что ли? Или о милёнке мечтаешь?

Очнулась Светлана. Машина не крутит, лоскут валяется на полу. Ах, какую мечту нарушили…

**2**

На этот раз в молочные отделы первого и второго магазинов товар не поступил. Взамен привезли готовую продукцию. Покупатели интересовались:

— С чем ваши вареники?

Продавцы отвечали:

— Разумеется, с творогом.

— А сырки?

— Приготовлены с соком малины, клубники, смородины.

Минувшее лето удалось ягодным. Пчёлы отменно потрудились над посевами гречихи и рапса, которые находились около пасеки. Много было заготовлено варенья. Только не все банки поступили на прилавки. Какое-то количество оставлено для приготовления киселя из картофельного крахмала. Теперь несколько банок поступило на маслозавод. Продавцы поминутно открывают холодильники. Оценили покупатели очередную ольховскую новинку.

Ещё больше покупателей у мясного отдела. Ого, шесть сортов колбасы! Любую выбирай. Даже глаза разбежались. Ай да ольховцы! Спасибо, порадовали. Во время приёмки продуктов Оленька ахнула:

— Батюшки-матушки! Сколько сортов, и цена разная! Можно запросто перепутать. Они что там, на мясокомбинате, с ума спятили?

Олег успокоил жену:

— Без паники, разберёмся.

Во втором магазине Жанна воскликнула:

— С таким ассортиментом торговля пойдёт не хуже, чем в московском супермаркете!

И пошла. У прилавка быстро собралась очередь. Рядом с Жанной встал Роман Филиппович. Мало ли что может случиться? Перепутает цену, положит на весы не тот сорт. Подсказка лишней не будет.

Но Жанна уже не новичок, быстро освоилась. Ничего не путает, уверенно обслуживает покупателей, вручает им чеки. Успевает улыбнуться парням. Потом не выдержала:

— Роман Филиппович, вы мне работать мешаете! Ступайте, исполняйте свои директорские обязанности.

На мясокомбинате и колбасной фабрике крутятся мясорубки, крутятся в три смены. Ветер рассеивает лёгкий дымок над трубами коптильни. Готовится очередная отгрузка продукции в магазины. Азаров кого-то распекает:

— В последний раз предупреждаю! На хрена мне такие работники! Знай себе семечки лузгают.

На колбасной фабрике Усачёв недоволен работой коптильщика:

— Опять колбасу передержал под дымом?

Эх, разве начальству угодишь?

## 3

Колтович, переселенец из Средней Азии, слесарничал в ремонтной мастерской. К нему подошёл Жуков:

— Звонили из конторы. Вас, Давид Абрамович, срочно вызывает председатель.

Отложил молоток. Предстояло по морозу шагать целый километр. Прогулка после тёплого Узбекистана не из приятных.

Не сделал и десяти шагов от дверей, как появилась «Волга». Развернулась, открылась дверца. Борис пригласил:

— Садитесь.

Председатель встретил неожиданным вопросом:

— Ты сибирские пельмени пробовал?

Колтович ответил:

— Во-первых, не «ты», а «вы». Да, кушал.

— Извините, Давид Абрамович, деревенская привычка.

На столе стоял какой-то прибор, который Ольхов придвинул Колтовичу:

— Приспособление для изготовления пельменей. Сразу полста ячеек, на три тарелки. Испытали, сварили. И что же? Пельмени мелкие, половина развалилась, мясо и тесто сами по себе. Получились не сибирские пельмени, а какие-то африканские. Посмотрите, Давид Абрамович, эту механизму. Нельзя ли её преобразить так, чтобы выкидывала не шарики, а настоящие сибирские пельмени. Вы же инженер-конструктор. Вам и карты в руки.

Колтович посмотрел на прибор, коротко ответил:

— Попробую.

Председатель кивнул:

— Постарайтесь. Зимой на пельмени большой спрос. Наши работницы вручную не успевают.

Колтович забрал прибор. Направился не в мастерскую, а на мясокомбинат. В пельменном цехе ещё раз испытали приспособление. Действительно, пельмени получались значительно мельче, чем при ручной лепке. У этих вокруг ободки вроде крылышек. Лежат на подносах, словно взлететь собрались. Произведённые механизмом — просто примитивные шарики, при виде которых теряется аппетит. А разваливаются потому, что слаб рычаг давления.

Оставим конструктора. Пусть размышляет над тем, как изготовить настоящие сибирские пельмени. Вернёмся в контору. Перед председателем сидит Мурашов. Он только что вернулся из Журинска. Ольхов нетерпеливо потребовал:

— Докладывай.

Инженер закурил, начал издалека:

— Директор хлебозавода отсутствует. Где-то на турецком берегу лишний жирок сбрасывает. Главный инженер получил диплом в том же институте, где и я обучался. Сразу нашли с ним общий язык.

Григорий Павлович перебил:

— Я другое хочу услышать.

— Извольте. На городском хлебозаводе давно уже нет кирпичных печей. Установлены металлические, электрические. Вроде духовки газовой плиты.

— А производительность какая?

— Печи разные — в зависимости от того, что выпекать в них. В печи пять полок. На каждую ставятся по десять форм в два ряда. Я наблюдал закладку теста и выемку готовых булок. Весь цикл продолжался около трёх часов. За три смены такая печь может произвести более шестисот булок. Это в два раза больше, чем все наши глинобитные.

Он откинулся на стуле и с торжеством посмотрел на председателя. Тот спросил:

— И что дальше?

— А дальше сам погляди на металлическую печь. Сгрузили у дверей пекарни.

Ольхов вскинул брови. Мурашов рассмеялся:

— Не удивляйся. Перехватил Беляцкого уже с пустым кузовом. Печь списана, но исправная, ещё послужит колхозу.

Ольхов облегчённо вздохнул. Слава богу, бесплатно досталась. Спросил:

— Остальные где возьмём?

Мурашов, не задумываясь, ответил:

— Сами изготовим. Устройство несложное. Нужен металл, а мастера найдутся.

— Сами, сами… Какие прыткие! А что пожарники скажут на такую самостоятельность?

Инженер махнул рукой:

— Они не отличат наши печи от заводского производства.

Григорий Павлович поднял телефонную трубку. Вскорости в широкие двери пекарни вошли мужики. В руках ломы и лопаты.

## 4

Два раза в день из тайги прибывали тракторы. Разгружали брёвна на ферме возле свинарника или на берегу речки. Однажды утром сюда прибыл Ермолай Фёдорович вместе со своей бригадой. Снял рукавицы, взялся за топорище:

— С богом! Начали!

Плотникам предстояло соорудить мост, который бы соединил околицы обеих улиц, сократил проезд транспорта между мастерской, гаражом, фермами и бригадами.

В тот же день дядя Игнат вонзил топор в бревно возле свинарника. Его бригаде надлежало воздвигнуть новое помещение для свиного стада. Сначала надо поставить столбы. Мужики раскатили брёвна, отпилили, сколько надо. Затем прорубили пазы, вырыли ямы.

Вот и первый угловой столб стоит, поблёскивает оголённым стволом. Утрамбовали землю. Попробовали, не качнётся ли? Даже не дрогнул, намертво застыл. Перекур. Благо, день не холодный. Лёгкий ветерок, снежинки пробрасывает. Подъехал председатель.

— Добрый день, труженики.

— Здрасьте, начальник.

Ольхов огляделся:

— Так, начин сделан. Мужики, к вам моё слово.

Его перебил Петров:

— Знаем наперёд, что скажешь. Ударная, мол, стройка. Треба поднажать, не жалея пота и времени. Всякий раз такое говоришь. Как стройку начинаем, погоняло тут как тут.

Ольхов рассмеялся:

— Догадливый, в самую точку попал. Слышите, что творится в свинарнике? Свинки, что уродились от племенных, уже огуливаются. Их целая дюжина. Да ещё два десятка маток простой породы. Представляете, что будет к весне?

— Представляем.

— Бригада у вас дружная, сплочённая, всегда отличалась в работе. Надеюсь, что и на этот раз не подведёте, сдадите свинарник к началу опороса. Я ясно сказал?

Заговорил Яков Воробьёв:

— То от Бога зависит. Зима не лето. Впереди Никольские, рождественские, крещенские морозы да февральские метели.

Его оборвал дядя Игнат:

— Помолчи, Яков. Бог-то бог, да сам не будь плох. Понятно, Сибирь не Крым. Всякое будет, морозы и метели. Но ведь и мы не просто мужики, а сибиряки. Устоим против лютой непогоды.

Председатель продолжал:

— Горячие обеды будут привозить прямо сюда. После окончания стройки каждый плотник получит поросёнка племенной породы.

Мужики оживились:

— Желательно свинок. Для развода.

Григорий Павлович кивнул:

— Само собой, каждому по свинке.

Буланый умчал кошеву. Вскоре прибыла повариха. Горячий обед как раз кстати. Особенно чай. Стакан пальцы обжигает. Наскоро перекусили. И снова кто за топор, кто за лопату. Земля успела промёрзнуть на четверть. Сначала надо корку ломом прошибить, потом браться за лопату. Тяжела ты, работушка, земляная да глиняная. Всего надо установить шестьдесят столбов на расстоянии по три метра друг от друга. Согласно проекту. Инженеру было легко чертить, сидя за столом в тёплом кабинете. А тут ковыряй мёрзлую землю да пазы долбай в лиственничных брёвнах. Недели две понадобится на установку столбов. Затем укладка стен, крыша, внутренние перегородки, настил полов.

А председатель ловко подбросил «леща» в виде поросят. Недурно обзавестись такой породой. Что ж, ради такого подарка можно постараться, поднажать.

Из свинарника постоянно слышится возня, хрюканье и визг. Со стороны речки доносится звук топоров.

## 5

Двое в кабинете, Ольхов и директор Степного совхоза Дербасов. Перед ними пачка папирос. Беседуют. Не обошлось без международных и внутренних событий Российского государства.

Ольхов слабовато разбирается в этих вопросах. Недосуг шелестеть газетами да смотреть новости по телевизору. Дербасов, наоборот, шпарит, как по-писаному. Сразу видно, не выпускает из рук печатные СМИ. Оно и понятно, бывший политработник.

Григорий Павлович только кивал да поддакивал. Разговор начинал его утомлять. Зачем приехал сосед? Наверное, не для того, чтобы просвещать его об очередном конфликте между евреями и арабами. Улучив момент, перевёл беседу на другую, более близкую, тему.

— Каков был урожай у вас нынче?

Дербасов сбился, как-то обмяк, достал папиросу. Выпустив дым, ответил:

— По двадцать центнеров с гектара. Отвезли зерно в российские закрома. Да что-то государство не торопится с нами рассчитаться. Я уже три месяца зарплату не получал, не говоря уж о рядовых работниках. Бегут люди из совхоза, особенно из Крюковой. Вчера подали сразу четыре заявления на увольнение. Держать не имею права. Наверно, к тебе заявятся. Свинопасовы с весны плотничают в Ольховке. Теперь и охотники промышляют для твоего склада. Правда ли?

Ольхов не стал отрицать, подтвердил. Дербасов сделал паузу, снова заговорил:

— Наши совхозники возят излишки продуктов опять же в Ольховку. Какая тут сила притяжения?

Ольхов усмехнулся:

— Мы хорошо платим. И сразу наличными.

— А если совхоз наш станет поставлять вам молоко и мясо?

Наконец-то гость заговорил по существу. Вот зачем он сидит в кабинете председателя колхоза «Прогресс». Ольхов спросил:

— А как же договора с мясокомбинатом и молокозаводом?

Директор вскочил со стула, заходил по кабинету:

— Какой толк от этих договоров? Их выполняет одна сторона — совхоз. Другая сторона, видимо, считает договоры пустыми бумажками. Коль так, то мы расторгнем. Особенно с мясокомбинатом. Осенью сняли с пастбища тридцать быков. Сытые, за лето жиру нагуляли. А мясокомбинат принял по нижесредней упитанности. Каково, а? К тому же до сих пор не заплатил ни единого рублика.

Григорий Павлович начал насвистывать «Катюшу». Ещё бы! Теперь совхозное молоко потечёт в Ольховку. И мяса прибавится. Увидев удивлённое лицо собеседника, проговорил:

— Извините. Когда думаю о чём-то важном, всегда эту мелодию насвистываю.

Если ситуация складывается обоюдовыгодная, то два руководителя всегда договорятся. Дербасов уехал. Зазвонил телефон. Послышался торопливый голос Березовской:

— Гри Палыч, запускаем новую печь. Приступаем к закладке теста в формы.

— Растительным маслом смазали?

— Конечно.

Ольхов тут же позвонил на склад:

— Кубарев? Прекрати отгрузку в магазины растительного масла.

— А куда его девать?

— На хлебозавод.

— На какой, на городской?

— На тот, что стоит напротив, на другом берегу. Я ясно сказал?

Положил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. Раздался радостный, восторженный голос Азарова:

— Григорий Павлович, только что испытали новое приспособление для выпуска пельменей.
— И как?
— Отлично. В этом приборе двадцать пять ячеек. Пельмени получились крупные, настоящие сибирские.
— А производительность?
— Весь цикл занял семь минут. За это время работница вручную изготовила двенадцать пельменей. Поставили варить. Приходите.

Когда Ольхов, облачённый в белый халат, появился в цехе, на столе уже стояли тарелки с горячим варевом. Одну Азаров придвинул председателю и с тем же восторгом проговорил:
— Ни один не развалился, все целёхонькие.

Затем в пекарне попробовал свежий хлеб, испечённый в металлической печи. Вкусный, с анисовым ароматом. Особенно нижняя корочка, пропитанная растительным маслом. Съел целый ломоть. Оказывается, в обязанности председателя входит и дегустация. Распорядился изготовить в мастерской ещё две металлические печи. Останется одна глинобитная. Не лишать же покупки любителей круглых караваев и калачей. Колтович за своё изобретение получил денежное вознаграждение и включился с конструкторскими способностями в работу по изготовлению новых печей.

### 6

Кубарев принимал меха от крюковских охотников. Привозили мешками. Видимо, нынче развелось много разного зверья в прижуринской тайге. Приносили и свои, ольховские, по несколько шкурок. Им недосуг гоняться за зверем, состоят на колхозной работе. Но охотничий азарт бурлит в душе, зовёт в тайгу. Выберут пару деньков — и на лыжи с ружьём через плечо:
— Куда, Дамка? Довольно гавкать на подворье!

Собака выследит белку, а стрелки ольховцы превосходные. Ставили петли на зайцев. Иногда попадались лисы. Но редко и не каждому. Однажды братья Свинопасовы привезли три волчьи шкуры. Кладовщик усомнился: принимать ли? Куда их можно употребить? Данило подсказал:
— Доху сшить.

Кубарев хмыкнул:
— Из трёх шкур? Да тут только на рукав хватит.

Гаврило заметил:
— Ещё добудем. Голодная стая по ночам воет около деревни. Выследим. Председатель ездит в кошеве. Доха ему кстати будет.

Кубарев сдался:
— Коли так, то давайте сюда и волчьи. Вот ежели бы ещё и медвежью добыли…

Братья рассмеялись:
— Такую не добудем. Медведи по берлогам дрыхнут. До весны будут лапу сосать.

Усмехнулся и кладовщик:
— Вспомнил сейчас старую побасёнку. Один зоотехник мечтал скрестить медведя с коровой.
— Для чего?
— Для того чтобы нововыведенная порода зимой лапу сосала и молоко давала.

Тут вдруг заговорил молчун Кирило:
— Ему ещё бы помечтать о том, как скрестить свинью с курицей. Клевала бы по зёрнышку, а тушу наедала пятипудовую. Да с салом в три пальца.

Пусть себе болтают, а мы перенесёмся в Крюковку. Не по щучьему велению, а по воле автора.

В доме Лазуткиных целый пошивочный цех. В большой комнате сидят Павел Петрович, его брат Илья, их жёны. Перед каждым — болванка, на которую натянута меховая заготовка. В руке игла. Шьют шапки. Меха теперь не надо покупать у охотников. Получают с колхозного склада. Туда же сдают готовые шапки. Однажды Анфиса, жена Павла, спросила:
— Куда колхозу столько шапок? Неужто на всех ольховских мужиков и баб их надеть собираются? Вот потеха-то будет!

Илья ответил на это:
— А это не твоя забота. Ольховские мужики носят свои шапки, не хуже наших. Их председатель не дурак, если нам платит за каждую сшитую шапку по двадцать рублей. Радоваться надо такой работе. Непыльная, а денежная. Если поднажать, то можно за месяц заработать по четыре тысячи целковых.

Жена его, Нана, рассмеялась:
— Поднажми. Только пореже выскакивай на перекуры, не то последние штаны сползут с задницы.

Анфиса, вдевая в иглу новую нитку, снова спросила:
— Скоро ли нас в колхоз примут? Когда ольховцы соберутся на общее собрание?

Что-то поправляя на своей болванке, Павел ответил:
— Не раньше января. Будет годовой отчёт, выборы нового правления.

И снова Илья:
— Куда торопитесь? Не успели выскочить из совхозных оглоблей, как опять захотели в колхозный хомут. Я уволился из совхоза, колхозником пока не стал. Полная воля, гуляю, как запорожский казак. Нравится мне такое состояние российского гражданина.

Не слушая Илью, Анфиса продолжала:
— Говорят, будто Сергей Березин и другие охотники тоже уволились из совхоза и подали заявления в колхоз. Если так дальше пойдёт, то и наша Крюковка сольётся с Ольховкой.

Илья встал:
— Эк, куда тебя занесло! Ну, я подымить пошёл.

В разговор вступила сестра:
— Надо бы Григорию Павловичу новую шапку сшить. У него хоть и норковая, но старая уже, поизносилась вся.

Её оборвал Павел:
— Хе, а на чём сошьёшь? По его башке у нас болванки не найдётся.
— Мерку снимем. Твой тесть болванку изготовит.
— Только с твоим ростом мерку снимать! Ты ему до подбородка достанешь.

Анфиса взглянула в окно:
— Уже солнце на закате. Пора, бабоньки, справлять нашу извечную работушку. Заждалась скотина во дворе. Потом надо ужин готовить. Опосля повечерничаем, дошьём шапки.

## Глава четвёртая

### 1

С утра подул несильный, но холодный ветер. Хиусом называют его сибиряки. Резучий ветер, противный. Обжигает лицо, продувает одежду до костей. Лучше морозец — легче перенести.

Игнат Терентьевич специальным заступом прорубает паз в очередном бревне. Другие мужики пилят, рубят, размахивают топорами и лопатами. Подгонять никого не надо. У каждого спина мокрая. Не постоишь и минуты — сразу дрожь пробирает. К полудню ветер резко усилился. Так и сшибает с ног. С цепи, что ли, сорвался? Наверное, с самого Ледовитого океана примчался. Бьёт порывами то спереди, то сзади. Небо затянули низкие снеговые тучи. Строители заканчивали установку столбов. Вот и последний стоит наперекор стихии. Стоят в два ряда все шестьдесят. Полюбоваться бы на свою работу, на творение мозолистых мужицких рук. Да куда там? Повалил снег, началась настоящая метель. Недосуг устраивать перекур. Руки озябли. Кое-как прибрали инструмент. Придерживая шапки, разбежались по домам. Вдогонку им из старого свинарника доносились неугомонная возня, недовольное хрюканье, отчаянный поросячий визг. Не вышибли бы стены.

Метель стихла к вечеру следующего дня. Небо вызвездило. Ударил мороз — самый-самый сибирский. Горбушка луны уменьшилась, съёжилась. Вышел Игнат до ветру. Ух ты, дыхание перехватило! Посветил спичкой, посмотрел на градусник. Ого, как низко ртуть опустилась! Накаркал этот богоугодник Воробьёв. Игнат вернулся в дом. Жена гремит посудой у плиты. Присел, придвинул телефон. Номера членов бригады знал, что называется, назубок.

— Алло. Егорша? Сиди дома да жёнушку обнимай. Если пожалуется, что плохо обошёлся, обсудим на бригадном собрании и вкатим тебе выговор с предупреждением.

Подражая председателю, добавил:

— Я ясно сказал?

Второй звонок:

— Яков Спиридонович? Сегодня с утра до вечера молись всем пророкам. И на коленях проси у Христа, чтобы мороз прекратился.

Третий звонок:

— Крюкова? Сусанов? Не запрягай Карюху. Скоту сено задай, а сам на лежанку, на печь полезай.

На часах уже семь. По радио начали передавать новости. Вдруг репродуктор умолк. Послышались покашливание и голос Кости Зимарева:

— Говорит радиоузел колхоза «Прогресс». Передаём экстренное сообщение. Температура воздуха на данный момент сорок два градуса. Школа не работает.

Ещё о чём-то говорил колхозный диктор. Его заглушили детские голоса:

— Ура! Не будет домашних заданий!

— Теперь на лыжах покатаемся!

— И на коньках!

В тот день тракторы не выехали в тайгу. Лесорубы на лыжах вернулись в деревню. Какой, к чёрту, лесоповал в такой морозище? Топоры поломаешь, и лицо придётся спиртом оживлять. Однако мороз — не помеха употребить тот спирт по прямому назначению. Душа просит: треба разогреть застывшее тело. Таёжный запрет отменяется. На славу погуляем. В баньке попаримся. Супружниц приласкаем. Морозы, по всему видать, не скоро ослабнут. Шпарь, гармонист, по всем ладам нашу сибирскую «Подгорную»! Ноги в пляс просятся. И, эх!..

На восходе солнца мороз взъярился ещё сильнее. Люди торопливо спешат, прикрывая лица рукавицами. Не каркают вороны. Воробьи жмутся к печным трубам. Старушки сидят по домам, прижали задницы к лавкам, поглядывают в промёрзшие окна. Не сходят в молельный дом или к соседям узнать про деревенские новости. Скучно.

Трескучий мороз продержался больше недели. Но вот взошло солнце, да такое яркое, словно помолодело. А ну, мороз, красный нос, довольно лютовать! Ступай в Эвенкию или на Таймыр. К полудню потеплело градусов на двадцать. Снова застучали топоры на ферме на берегу Журы. Строители яростно набросились на брёвна, стараясь наверстать упущенное время. Бригада дяди Игната приступила к укладке стен. Работа простая. Распилить шестиметровое бревно пополам, на концах сделать надрезы, сколоть лишнее, пропазить и уложить между двумя стволами. Но брёвна оказались слишком толстые, иные — в два охвата. Петров предложил:

— Надо расколоть.

Игнат Терентьевич согласился:

— Иного выхода нет.

Послали Егоршу, Егора Кудрина, в кузницу. Он вернулся с тяжёлыми металлическими клиньями. Остальное — дело сильных рук, сноровки и ловкости. Подъехавший председатель одобрил:

— Правильно, экономите брёвна. Расколом кладите наружу. Если внутрь, то сгниёт быстро.

С подсказкой он опоздал. Плотники уже два ряда уложили. Именно так, расколом наружу. Не дураки, сами сообразили. А вот от папиросы не откажемся. Приятно подымить вместе с начальником. Что скажет новенького?

### 2

Не накинув верхней одежды, Варвара Семёновна выбежала из дома. Быстренько схватила несколько поленьев — и обратно. Всего одна минута, но мороз успел охладить вспотевшее тело. К вечеру закашляла, промаялась всю ночь. Утром пошла в медпункт. Фельдшерица Марта Альбертовна задала стандартный вопрос:

— На что жалуетесь?

— Кхе, кхе, кашель замучил.

Фельдшерица приложила ладошку к уху, покачала головой:

— Хахаль? Так это не моей части.

Тьфу ты, глухая тетеря! Варвара Семёновна громко повторила:

— Кхе, кашляю, остыла я.

— Не кричи, не глухая, слышу. От кашля дам таблеток.

Марта Альбертовна протёрла очки, открыла шкафчик:
— Где же они? Не перепутать бы. Ага. Вот те самые. Принимай три раза в день.

Варвара Семёновна подумала: «Сколько же лет фельдшерице? Наверное, не меньше шестидесяти. Глуховатая стала, зрение ослабло. Пора ей на пенсию».

Как бы услышав её мысли, старая женщина отправила в райздрав заявление. Через несколько дней на смену ей приехала молодая фельдшерица со свеженьким дипломом медицинского училища. Заканчивала первый приёмный день. Больных было немного. В основном простуда — обычное явление. Пригнувшись к двери, вошёл молодой мужчина:
— А где Марта Альбертовна?

Фельдшерица ответила:
— На пенсии. Я за неё.

Сел, стул под ним тяжело скрипнул. Не кашляет. Такой не может простудиться. Закатал рукав рубашки, коротко произнёс:
— Выдирай.

Взглянула и ахнула. Повыше локтя, в сильных мускулах торчал металлический осколок. Это ей, неопытной медичке, такое предлагает? Нет, нет, такого она не может.
— Я не хирург. Вам надо немедленно в районную больницу ехать. Сейчас напишу направление.

Мужчина усмехнулся:
— С таким пустяком в больницу? Если не можете убрать осколок, какого чёрта торчите в медпункте? Чему вас учили?
— Не грубите, молодой человек.

Однако больной требует, даже приказывает. Как быть? Поколебалась немного и всё же решилась. Дрожавшими руками обработала рану йодом. Ухватила пальцами осколок, потянула. Но не тут-то было, глубоко застрял. Надрезала рану, расширила. Взяла пинцет. Мужчина плотно сжал губы, скрипнул зубами. На лице выступили капли пота. Злополучный осколок звякнул на пол. Смазала рану, забинтовала. Взяла бумагу:
— Напишу вам освобождение от работы.

Мужчина встал.
— Не надо. Правая рука целая, значит, кувалду держать смогу. Я кузнец. Это у меня не первый осколок. Те мелкие были, я их сам выдёргивал. Извините за беспокойство.

Ушёл. Даже фамилии не узнала. Вслух произнесла:
— Какой мужественный! Не единого стона. А я, дура, даже обезболивающий укол не поставила.

До конца дня не выходил из ума образ молодого мужчины. Наваждение какое-то! Тряхнёт головой, отгоняя навязчивые мысли, — перед глазами снова всплывает грубоватое лицо с плотно стиснутыми губами. И осколок, который сохранила как память о первой хирургической операции. Ночью он явился во сне. Стоит у наковальни, бьёт по раскалённой железяке. Искры сыплются веером. Говорит ей укоризненно: «Испугалась, фельдшеричка? Руки дрожали, когда осколок выдирала». Вдруг искры на лету превращаются в осколки. Вонзаются ему в лицо, руки, грудь. Он хладнокровно выдирает их из тела, отбрасывает в сторону и продолжает стучать молотом.

Виктор тоже долго не мог уснуть. Его не покидал образ девушки в белом халатике, туго облегающем стройную фигуру. Лица, правда, не разглядел, не до того было. Глаза нельзя было не заметить. Иссиня-чёрные, под тонкими дугами бровей. И руки, вернее, ручки белые, пальцы ловкие. Ничего особенного, обыкновенная девка. Но… Мысли прервала жена Марина, участливо спросила:
— Болит рука?
— Терпимо.

Утром пришёл на перевязку. Немного поговорили. Голос у фельдшерицы приятный, спокойный:
— Вчера я не успела вас записать.
— Запиши сегодня. Виктор Григорьевич Ольхов.
— А я Тамара Сергеевна. Можно просто по имени.
— Приятно познакомиться.

Вышел. Были ещё больные, но медпункт для Тамары Сергеевны казался опустевшим. Стало грустно, одиноко. Не увидит его до следующего дня. Как долго ждать! Целую вечность. Часто забилось сердечко. В нём происходило что-то нежданное, тревожное. Зачем так быстро сделала перевязку? Надо было…

В эту ночь Виктору тоже было видение. Они с фельдшерицей в лодке вдвоём. Она спросила:
— Куда мы плывём?

А он ответил:
— Не знаю.
— А зачем работаешь веслом?
— Не знаю…

Затем они оказались вдруг в саду. На яблонях спелые плоды. Она протягивает руку. Но он предостерегает:
— Не трогай, это запретные плоды.

Она смеётся:
— Кто запретил? Я всё равно сорву.

И срывает. Одно яблоко подаёт ему. Он откусывает.

Проснулся от звонка будильника. За завтраком жена сказала:
— Не ходил бы ты в кузницу, рана может задуреть.

Виктор отпил кофе, ответил:
— В мастерской металлические печи изготавливают и приспособления для производства пельменей. Без меня не обойтись. Председатель торопит.

Говорит, а сам думает о ночном кошмаре. К чему приснились водный простор и сад Адама и Евы? В сновидения не верил. Проснётся и тут же забудет. Но жжёт в груди неимоверно. Захотелось поскорее в медпункт, увидеть Тамару, услышать её голос.

Если два сердца устремились друг к другу, то быть или весёлой свадьбе, или большой беде.

### 3

В первой пекарне одну за другой убрали ещё две глинобитные печи. Недолго они простояли и исчезли, выполнив своё предназначение. Взамен красуются новые, электрические, пылают электрическим жаром. Каждая за смену выкидывает по шестьсот булок. Только тесто успевай подавать! Пекарки проворные, расторопные. Посудины

под тесто просторные—сразу мешок муки засыпается. Мешалки электрические, на колёсиках передвигаются. Механизация! Постарался конструктор Колтович на славу. Но куда девать столько хлеба? Не открыть ли в городе ещё один магазин? И открыли. Специализированный хлебный, с тремя отделами: поторгуем, мол, поконкурируем с городским хлебозаводом, с курбатовским совхозом, с колхозом «Рассвет». Покупатели привыкли к круглым караваям, косовато поглядывают на обычные булки:
—Что это? Кирпичи хлебозаводские?
Продавцы заверили:
—Наш хлеб, ольховский. Такой же вкусный, как и круглые караваи. Не отличите.
Беляцкий передал «КАМАЗ» другому шофёру. Придралась санэпидстанция. Главбуху пришлось раскошелиться. Фёдор Потапович пересел на другую машину, на новую, специально для перевозки хлеба и других продуктов предназначенную. Курсирует теперь между деревней и городом по три-четыре рейса в день. Телом устаёт, а душа ликует: бойко идёт торговля наперекор всем конкурентам! Денежки поступают в колхозную кассу. Они такие—где приживутся, туда и слетаются.
Колхоз «Прогресс» открыл ещё одну торговую точку—обыкновенный ларёк, каких в городе немало на каждой улице. Увидели прохожие вывеску, интерес проявили. Чем удивят ольховцы на этот раз? Неужто горячими котлетами станут торговать? Ан, нет. Напоказ выставлены шапки да изящные шкатулочки. Одна красуется замысловатой резьбой, другая—букетами ярких цветов. Любо посмотреть—глаз не оторвать. А цена какова? Триста рублей.
—Дороговато.
Продавец на это отвечает:
—Произведения искусства дёшево не продаются. Вы какую выбрали?
—Вот эту, с розами.
—А вам?
К концу дня продана последняя, двадцатая, шкатулка. Молодые люди, увидев шапки, со смехом фыркали:
—Эка невидаль, заяц да белка! Норковые имеются?
Продавец невозмутим:
—Норка в нашей тайге не водится.
Подошёл пожилой дяденька:
—Подай-ка, милок, вон ту, заячью
Примерил—маловата. Вторая оказалась, наоборот, велика. Третья оказалась впору. Отсчитал сто пятьдесят рублей. Удалился, довольный покупкой. Две женщины купили шапки из меха белки. Продавцу ларька не пришлось скучать. Дневная выручка составила десять тысяч рублей.
На другой день рядом с шапками появились ложки. Да, да, самые обыкновенные, деревянные. Не оловянные, не алюминиевые, не серебряные, не золотые, а именно деревянные. Лежат скромненько, не надеясь угодить в сумку покупателя. Изготовил их колхозный столяр, по фамилии Ворошилов, по имени Клим Ефремович. Надо же, нарекли человека как красного маршала! Увлекался ремеслом, раздавал ложки деревенским жителям бесплатно. А тут встретил Беляцкого: отвези, мол, в ларёк. Авось…
Глядя на ложки, люди усмехаются: старинушка, давно позабытая. Не хватает ещё глиняных горшков да бокалов. А что? Ольховцы додумаются. Они на выдумку горазды. Молодым в диковинку: впервые увидели это изделие. Первую ложку купила женщина, пояснила:
—Папаня старенький, обжигается алюминиевой ложкой. А эту примет как дорогой подарок.
К ларьку подошёл молодой человек:
—Я приглашён на день рождения. Сегодня рубашкой да галстуком никого не удивишь. Решил подарить приятелю деревянную ложку. Вот смеху-то будет!
Третья ложка ушла как сувенир. Потом четвёртая, пятая…
Нет, старина не забывается и не исчезает. Рано или поздно всё возвращается на круги своя. А новое властно, энергично, настойчиво врывается в повседневную жизнь. Ну-ка, старина, дай дорогу, не путайся под ногами! Так и на этот раз. Ахнули огородницы, увидев большой парник под плёнкой, укреплённый металлическими дугами. Высокий, широкий, метров сорок длиной. Не шелохнётся, не дрогнет даже при сильном ветре. На своих огородах мы тоже устраивали подобные парники. Гораздо меньше размером, шага три в ширину, немного побольше в длину. Сооружали весной, в конце апреля или в начале мая. А тут зимой экий парничище возвысился на колхозном огороде. Когда успели воздвигнуть? Для чего в такую лютую пору? Председатель усмехается:
—Удивлены? Довольно ахать. Берите лопаты, делайте гряды. Земля унавожена, сделан подогрев. Выращивайте рассаду помидоров, высаживайте огурцы.
—В декабре?
—Именно в декабре. Думали, у вас будут каникулы до весны? Как бы не так! Постарайтесь, бабоньки, чтобы восьмого марта на столах были свежие огурцы. Я ясно сказал?

## 4

Ермолай Фёдорович и Варвара Семёновна—кумовья. По такому поводу в деревне шуткуют: дескать, кум да кума—никому ни ума. Какая кума, если под кумом не была? Они не только знатные плотник и пекарка, но также и незаменимые сваты. По этой части их уважают не меньше, чем за ремесло. Без них не обходится ни одна свадьба. Легко просватают девку-красавицу за парня-урода, или рябую да косоглазую за доброго парня. В таких случаях они ловко чешут языками, расхваливая жениха и невесту. Будь у них возможность, сосватали бы и Кощея с Бабой-Ягой.
После ужина Юрка заявил:
—Я женюсь на Светланке!
Антонида Владимировна оторопела:
—Чего так приспичило? Даже не погулял ещё. Ан, боишься, что к другому упорхнёт? Она такая, птица перелётная.
С упрёком посмотрела на мужа: мол, накаркал раннюю женитьбу сына.

Тот хладнокровно произнёс:
— Сватов будем засылать.
Мать опустила руки, словно смирилась с неизбежным:
— В церкви обвенчаем.
Теперь уже оторопел Юрка:
— Футы-нуты, сваты-попы. Предрассудки! Лишняя волокита. Завтра приведу, на том и конец. Распишемся в сельсовете.
Отец захохотал:
— И сразу в кровать! Хо-хо! Ловко. Узнаю сына, моя порода!
Мать возмутилась:
— На порог не пущу! Не будет нашего родительского согласия!
Юрка улыбнулся:
— А вы сами-то родителей своих спрашивали?
— А то как же? Сватовство было и свадьба. Честь по чести. Венчания не было. В те времена церковь в Журинске закрытая стояла. Иван Усачёв иконой благословил.
Антонида Владимировна вздохнула, вспомнив прошедшую молодость, и продолжила:
— Надо по народному, по русскому обычаю. Теперь венчаются и крестят младенцев. Разве мы хуже других? Как можно без сватовства и венчания?
Ох, уж эти родители! Готовы всё повернуть на свой лад. Махнул Юрка рукой, оделся — и за дверь. Известно куда — в клуб, на танцульки.
Следующий день клонился к закату. Вечерело. Опускались сумерки. Светлана нетерпеливо поглядывала то в одно окно, то в другое. Кого-то ждёт. Углядела людей у ворот. Звякнула щеколда. Она тут же кинулась в горницу. За нею и сестра Иринка. Скрипнули ступени крыльца. Открылась входная дверь. С торжественным величием вошли Ермолай Фёдорович и Варвара Семёновна. За ними Антонида Владимировна и Юрка. Старшие перекрестились на иконы в переднем углу, пожелали хозяевам здравия и благополучия. Хозяева засуетились, принимают одежду, подставляют стулья. Гости уселись под матицу. Понятно. Сваты. Для начала тема известная. Поговорили о погоде, справились о здоровье. Слава богу, не болеем, хвори стороной обошли. Сватья толкнула свата в бок, подала знак. Тот для солидности кашлянул, торжественно обратился к хозяевам:
— Уважаемый Никита Зиновьевич, уважаемая Клавдия Даниловна! Вы вырастили красу-деву, свет-Светлану на великую радость людям и люду деревенскому!
Варвара Семёновна тут же продолжила:
— А в соседнем доме возмужал добрый молодец свет-Юрий Иванович. Вознёсся, что молодой тополь, сияет, как яркое солнышко.
— Ваша дева всегда первая и в хороводе, и в огороде.
— Свет-Юрий никому не уступит и в веселье, и в работе. Всегда передовой.
Ермолай Фёдорович курлычет, что журавль в небе. Варвара Семёновна соловушкой заливается. Нахваливает невесту и жениха, словно лучше и краше, чем они, никого в округе нет.
А в горнице… Иринка сверкнула глазищами, выпалила:
— Не выходи за Юрку!
Светлана вскинула брови:
— Почему?
— Отобью!
— А ты кто такая? Лучше помалкивай, шмакодявка!
— Ты у меня отбила Димку Усачёва. Я у тебя назло отобью Юрку.
Старшая сестра подняла кулаки, двинулась на младшую, намереваясь задать ей взбучку. Но та не попятилась, грудь вперёд выдвинула:
— Как прежде уже не поколотишь. Выросла, не маленькая уже, восемнадцать исполнилось. За себя постою и сдачу дам! Не подходи, не то лицо покорябаю! Какова будет невеста за свадебным столом?
На этот раз краснобайства сватов не понадобилось. Родители согласны. Позвали невесту. Для приличия спросили, хочет ли она выйти замуж.
Светлана переглянулась с Юркой и кивнула:
— Согласна.
Старшая, портниха бытового комбината, сшила невесте свадебное платье. Жениху купили новый костюм. Им что? Милуются да целуются, а у родителей сплошные хлопоты. В обоих домах началась торопливая суета: то на кухню, то в кладовую, то в погреб.
На третий день после сватовства несколько легковых машин, украшенных лентами и всякими безделушками, укатили в Журинск, в церковь, венчаться. По деревне разговоры, что галки, перескакивают из подворья в подворье. Судачат по-разному:
— Кто сказал, что русский народ убывает? Враньё! Вот ещё одна свадьба. Нарожают ораву детворы.
— Сколько блядь ни блядует, а своего счастья не упустит.
Вернулись машины из города, подвернули к сельсовету. Оформили официальный брак, расписались. Выпили шампанского. Теперь пора за свадебный стол.

**5**

Свадьба! Всем праздникам праздник. Самый яркий, разгульный, раздольный. Шумный, весёлый, радостный. С песнями, музыкой, плясками. Молодожёнам не забудется до преклонных лет.
Родители судачили да рядили, где провести свадьбу. Дом у Никиты Зиновьевича просторный, пятистенный. У Ивана Михайловича — ещё больше — крестовый. Но и здесь не разместить всех гостей. Одних Ольховых за пять столов не усадишь. Антонида Владимировна предложила:
— Давайте в столовой. Мебели там достаточно, посуда тоже имеется.
На том и порешили. Зал там просторный, места всем хватит. С раннего утра захлопотали две кухарки да две помощницы. Шутка ли — наготовить на целую свадьбу? Народу будет полдеревни. Варили, пекли, жарили, парили. Сам председатель заходил. Спросил, не надо ли чего. Под вечер стали готовить столы. Поставили холодные закуски: колбасу, ветчину, рыбу, грибы, помидоры. Несколько бутылок шампанского, остальное — водка и вино. Зажгли свет. Стали подходить гости. Раздевались, рассаживались. Стало шумно,

оживлённо: тары-бары, растабары… Молодёжь врубила магнитолу, усилитель вынесли на улицу, чтобы всем слышно было. Музыка слышна была до самых околиц деревни. Собрались уже все приглашённые. Вот и невеста под ручку с женихом в сопровождении родителей и сватов. Кума с кумой опять судачат: да Светка ли это? Не принцесса ли часом объявилась в Ольховке? Платье белое, с кружевами и лентами. Серёжки сверкают, ожерелье сияет. На груди брошь с алмазами. На пальце кольцо обручальное. Не иначе как бабушка ключиком со звоном открыла заветную шкатулку? Под звуки марша, что усердно исполнял баянист, молодожёны проследовали на своё почётное место. Столы были поставлены так, чтобы каждый мог их видеть. Первым выступил Каминский. Мужики, поглядывая на бутылки, поморщились: сейчас понесёт всякую околесицу про классовую борьбу—не переслушаешь. На этот раз представитель власти сказал коротко:

— Дорогие Юрий и Светлана! Позвольте передать вам поздравления от депутатов нашего сельского совета. И вручить свидетельство вашего бракосочетания.

И ни слова больше. Подошёл к молодожёнам, положил перед ними бумагу с гербовой печатью. Таков у него порядок. Вручает бесценный документ только в торжественной многолюдной обстановке. Полетели в потолок пробки, заиграло в бокалах шампанское. Встал верзила Санька, задушевный Юркин приятель. С напускной горечью в голосе произнёс:

— Коварная, злостная рука семейной жизни вырвала из рядов стойких холостяков нашего верного друга. А посему провозглашаю: горько, горько!

По застолью дружно прокатилось:

— Горько! Горько!

Молодожёны встали, обнялись, поцеловались. Почаще бы кричали это слово!

Какие наивные молодые люди! Их сердца в данный момент наполнены бушующей страстью. А впереди предстоит длинная жизненная дорога. И будут не только жаркие объятья. Пока ещё притаились в засаде семейные раздоры и ссоры. Не единожды промчатся они вихрями, взрывая семейный покой. Всякое будет. Не избежать этого и вам, свет-Светлана и свет-Юрий. Жизнь прожить—не с корзинкою сходить в лес за грибами. А пока…

Мужчины разливают водку. Женщины наполняют бокалы вином. На столы подают горячие пельмени, плов, курицу, бифштексы. Антонида Владимировна постучала ложкой по бокалу:

— Тихо! Я буду говорить.

Смолкли, ждут, что скажет мать жениха. А она:

— Ой, голова от вина кружится. Все слова разлетелись.

Вокруг засмеялись. Опомнилась:

— Дорогие мои дочка Светлана, сынок Юрий! Да даст бог, чтоб я дождалась от вас двоих внуков и двух внучек. Не меньше! Если больше, то меня не убудет, поняньчусь.

Застолье зааплодировало. Дружно подняли бокалы. Перед молодожёнами стояли коньяк и вино. Юрий понемногу подливал. Свадьба в разгаре, шумит, веселится. Ещё несколько раз кричали «горько». Молодожёны вставали, и снова целовались.

Открылась дверь, появилась парочка неразлучных забулдыг. Такую дармовщину пропустить они никак не могли. Что ж, со свадьбы не выгоняют даже непрошеных гостей. Потеснимся, присаживайтесь. Хряпнули по полному бокалу, сразу окосели.

— Ванька, ты чего косо смотришь на меня? И— хрясь дружка по роже кулаком. Тот ответил тем же:

— Н-на, сука, получай!

Драчунов тут же выставили под зад коленом. Разбирайте свои проблемы на улице под луной. Этот эпизод не повлиял на свадьбу. Многие даже не заметили.

В это время в доме Петровых бабуси готовили ложе для молодожёнов. Принесли приданое невесты, пышную пуховую перину и подушки. Уложили их на новую кровать.

В столовой свадьба идёт своим чередом. Валентина Березовская высоким звонким голосом запела:

> У церкви стояла карета,
> Пышная свадьба там шла.

Десятки голосов подхватили:

> Все гости богато одеты,
> Невеста всех краше была.

Дальше была печальная история, не стоит и повторять. Григорий Павлович посмотрел на жену, забасил:

> Расцветали яблони и груши…

Пропели все куплеты до конца. А как же! Любимая председательская. Затем Варвара Семёновна повела свою любимую, народную:

> Что стоишь, качаясь,
> Тонкая рябина…

Инициативу перехватила молодёжь. Под магнитофон протарабанила пару песенок про весну и разлуку. Их слушали без особого интереса. Не запомнили ни мелодию, ни слова. Современные пустышки и однодневки, так что выключайте свою тралю-валю.

Снова запели народные. Вспомнили Ермака, удалого ямщика, священное море—Байкал. И, конечно же, фронтовые. Их пели кто с победным торжеством, кто с затаённой печалью и слезами на глазах. Мужские и женские голоса, альты и басы, сливались воедино, звучали мощным хором. Дребезжали стёкла в окнах, дзенькала посуда на столах. Люди в Ольховке умели петь, особенно старожилы. Дед Андрон, не обращая внимания на общий хор, бурчал свою песенку:

Ехал на ярмарку ухарь-купец…

Но вот голоса стали сипнуть, фальшивить, в горле запершило. Неугомонная Валентина воскликнула:

— Раздвигай столы, плясать будем!

Первыми на круг вышли Антонида Владимировна и Клавдия Даниловна.

— Ну-ка, сватья, тряхнём стариной!

— Да мы ещё молодым не уступим. Эй, баянист, наддай по всем кнопкам!

Застучали каблучки. И верно, плясали, как молодые. Вспомнили девичьи годы. Антонида выдернула на круг Никиту Зиновьевича, а Клавдия — Ивана Михайловича. Сватовья сначала неуверенно потоптались, затем осмелели, ноги приобрели резвость. И пошли плясать!

Народ потребовал:

— Молодых на круг! Пусть покажут удаль молодецкую!

И показали. Особенно Светлана. Сверкая украшениями, белой лебёдушкой прошлась по кругу. Приударила ножкой, посыпала лихой чечёткой. А ну, кто ещё так сумеет? Не отставал от неё и Юрий. Выделывал разные коленца вприсядку, пощёлкивал пальцами. Молодожёнов наградили щедрыми аплодисментами. На круг вышла новая танцовщица — фельдшерица. Медленно прошлась по кругу, как бы для разминки. Руки упёрла в бока. Кивнула баянисту: дескать, пошевеливай пальцами. Понеслась птицей, посыпала чечёткой, не уступая Светлане. Кого выберет на пару? Саньку или другого парня? Сделав очередной разворот, приблизилась к Марине Александровне. Притопнула перед самыми её туфлями. Выходи, мол, попляшем! Две танцовщицы сменяют друг друга или кружат сообща. Фельдшерица пляшет подчёркнуто, с вызовом, сверкая чёрными глазами. Марина ничего не замечает, слегка поводит плечами, помахивает платочком. Екатерина Васильевна подбадривает:

— Не уступай, невестушка!

Виктор не смотрит на жену. Взгляд его устремлён на Тамару. Сейчас она не в белом халате, а в голубом платье. Была ещё стройнее и красивее. Тут она опустила руки, как бы уступая напарнице в танце. Вдруг подняла их кверху, как два крыла. В единый миг превратилась в чайку, готовую взлететь и умчаться в далёкие неведомые края. Не только Виктор — теперь и остальные с восхищением смотрели на плясунью, которая вихрем кружила вокруг Марины. Ловкие пальцы баяниста едва успевали нажимать кнопки. На круг выскакивали всё новые плясуны и плясуньи. И вот почти вся свадьба, взявшись за руки, закружилась в хороводе. Топали, присвистывали, хлопали в ладоши. Посыпались частушки, ядрёные, с «картинками». Невесту они не смутили. Хо-хо, она ещё похлеще споёт! Веселится свадьба, бурлит, ликует. До глубокой ночи из усилителя разносилась музыка над деревней, эхом отдаваясь в лесу.

## 6

Неделю приходил Виктор в медпункт. Старался подгадать так, когда уже не было больных. Можно было подольше побыть с Тамарой. В кузницу возвращался лёгкой походкой. Молот так и играл в сильной его руке. Любая работа спорилась. Но вот наступил день, когда фельдшерица сняла повязку. Рану затянуло. Он опустил рукав:

— Спасибо, Тамара Сергеевна. Вы искусный лекарь.

Посмотрели друг другу прямо в глаза. У обоих замерли сердца, словно перед долгой разлукой. Виктор ушёл, простучали его шаги, захлопнулась дверь. Когда теперь увидятся, встретятся? О чём станут говорить? О взаимных чувствах, которые взбудоражили их сердца? Ведь он — человек семейный, жена преподаёт в школе, есть ребёнок. Разве может что-то произойти между нею и кузнецом? А почему бы нет? Но тут же отбросила мечту, коварную, несбыточную. Успокойся, сердце, не разрывай грудь своим дерзким биением. Увлеклась, вообразила невесть что. А может, это любовь, настоящая, глубокая, как бездонный колодец? Пришла нежданно-негаданно. Наступило время, и она вторглась в девичье сердце.

Он пришёл под вечер следующего дня. Когда вернулся домой, жена спросила:

— Чего поздно? Ужин остыл.

Присаживаясь к столу, ответил:

— Работы много. Начали изготавливать металлические печи для второй пекарни.

В сумерках второго дня Виктор снова у Тамары. Сидели за столом, пили кофе. Тут ворвалась Анюта Баламутова:

— Мать при смерти! Сердечный приступ! Ой…

Увидела Виктора. Эге, неспроста забрёл на огонёк.

Мать Анюты не умерла. Помогли уколы. Утром встала в добром здравии. По деревне покатилась новость, как Сизифов камень с горы: сынок-то председателя любовные шашни с фельдшерицей завёл. Кто говорит? Да все говорят. Марина не поверила:

— Не может такого быть! Деревенские сплетни всё это…

Екатерина Васильевна накрыла стол к ужину, присела напротив мужа:

— Слыхал?

— Что?

— Сынок наш к фельдшерице зачастил.

— Брехня!

— Сама выследила. Как солнце закатилось, пошёл к ней.

— Может, просто так, интерес к медицине проявил?

— Да нет, тут другой интерес.

Григорий Павлович рассмеялся:

— Хе-хе, а хоть и другой. Мужик в самом соку. Я в его годы тоже не святой был.

Катенька вздохнула:

— Я перетерпела. Семью сохранила, любовь нашу сберегла. А как невестка поступит? Вдруг взбрыкнёт? Поговорил бы ты с ним по-мужски.

— Будто у председателя других забот нет!

— Но ведь ты же отец!

— Пусть сам в своих сердечных делах разбирается.

— Тогда я сама прямо с нею поговорю.

— Не вздумай, не позорься.

Не послушалась предостережений своего Гришеньки. Пришла в медпункт, села. Сразу резко заявила:

— Оставь в покое моего сына. Он семейный, не пара тебе. В деревне холостые парни есть.

Фельдшерица пронзила её своими глазищами, словно кипятком ошпарила. Приоткрыла дверь:

— Кто следующий? Проходите.

Повернулась к Екатерине:
— Вы будете мешать мне работать.

Однажды Виктор вернулся домой пораньше. Поужинали. Покурил, произнёс:
— Схожу на часок к Косте Зимареву.

Марина усмехнулась:
— Костя самогон выгнал?
— У него литературный кружок собирается. Костя стихи читает, Витька побасёнки рассказывает.

Ушёл — она следом за ним. Не выдержала женская натура, любопытство проявилось. Выглянула за калитку. Муж удалялся по улице не в ту сторону, где живёт Костя, а совсем в другую.

К ней идёт. Значит, это правда, а не сплетни деревенские. Кинуться вдогонку, остановить? Однако ноги неподвижные, словно чужие. Вернулась в дом. Павлик играет кубиками на диване. Присела к столу. Перед нею стопка тетрадей. Школьники писали контрольную. Надо проверить, оценить. Взяла одну, раскрыла. Строчки заплясали перед глазами.

Встала, принялась мыть посуду. Нечаянно разбила тарелку. Закончилась передача для малышей. Уложила сынишку в кроватку. Накинула шубейку, зашагала по улице в ту же сторону, куда удалился муж.

Вот и дом, где живёт фельдшерица. Приблизилась к окну. Из комнаты донеслись звуки знакомого вальса. Оглянулась: улица пуста. Повернула завёртку, потянула ставню. Неприлично подглядывать, неинтеллигентно. Но теперь всё равно ставня раскрыта. Штора не задёрнута. Из груди Марины чуть не вырвался крик.

Как на экране, увидела пару танцующих. Виктор обнимал Тамару за талию, та положила руку ему на плечо. Красиво вальсируют. С минуту стояла Марина, очарованная, околдованная, поражённая. Музыка смолкла. Остановились.

Виктор склонил голову и поцеловал фельдшерицу в губы. Та привстала на носки, обхватила руками его шею и впилась губами в его губы. Присосалась, не оторвёшь. Целуются, не зная, что за ними наблюдают. Трахнуть бы по раме, чтобы стёкла разлетелись, — так бы поступила любая деревенская баба.

Марина прикрыла ставню. Ясно, что будет дальше. Возьмёт эту стерву и понесёт на кровать. Ни единой слезинки не выкатилось из глаз. Не дрогнуло сердце от неизбежной, неотвратимой семейной катастрофы. Пока шла до дому, приняла решение — окончательное и бесповоротное.

Виктор толкнул калитку, поднялся на крыльцо. Сенная дверь закрыта на засов. Удивился: прежде такого не бывало. Постучал. В доме тишина. Постучал второй раз громче. Открылась внутренняя дверь. Голос Марины твёрдый, решительный:
— Чемодан на крыльце. Чего ещё надо?

Дверь захлопнулась. Так, значит, выследила. Ведь он слышал, как скрипнула ставня. Посчитал, что от ветра. Сенную дверь можно вышибить. А дальше что? Постоял. Подхватил чемодан, который сразу и не заметил, и пошёл к родительскому дому. Куда же ещё? Там извечное пристанище заблудших сыновей.

## Глава пятая

### 1

Каждое утро ждёт Екатерина Васильевна, когда порог переступит Марина. Дом сразу повеселеет от звонкого голоска Павлика, от его быстрой неугомонной беготни по всем комнатам. Ждёт бабушка внука, ох, как ждёт! Но не скрипнут санки под окном, не звякнет щеколда калитки. Отвозит невестка сынишку к своим родителям. Не она, а другая бабушка встречает внука. Взыграло ревнивое сердце: вовремя ли покормит внука та, другая бабушка? Уложит ли в полдень в кроватку, расскажет ли сказку про петушка?

Не вытерпела, быстренько собралась. Идти недалече, через несколько подворий. Три года назад здесь стояла избёнка с узенькими окнами, невесть когда построенная. Скособоченная, наличниками в землю упёрлась. Жила в избёнке старушка — прабабушка Григория Павловича. Пришёл срок, и унесли ангелы её душу в синеву небесную. Прежде чем разбирать, избёнку сфотографировали для школьного музея как последний экспонат старины, который должен остаться в памяти ольховцев. Осенью Виктор и Марина справили новоселье в просторной новой пятистенке. Зажили счастливо, на радость родителям. Да зашла вдруг над молодым семейством тёмная туча.
— Здравствуй, дочка.
— Здравствуйте.

Не прибавила, как обычно, «мама». Словно в дом вошла чужая, незнакомая. Марина тетради проверяет, не отрывается, делает вид, что занята работой. Екатерина Васильевна присела без приглашения. Чай, не к Каминскому на приём пришла, а в дом родного сына. Немного подумав, сказала:
— Отчего внука не привозишь? К своим родителям далеко, на самый край деревни. Везёшь по утреннему морозу. Не простыл бы Павлуша.

Не единого слова в ответ. Невестка словно оглохла и онемела. На кухонном столе закипел чайник. Марина сделала свежую заварку, наполнила бокал, отпила несколько глотков. Снова стала листать тетради, изредка что-то отмечая карандашом. Гостье чаю не предложила, словно её и не было в комнате. Ещё недавно всё было по-другому. Не успевала свекровь порог переступить, как невестка уже стол накрывает. А сейчас… Что ж, стерпим.
— Дочка, я вот что хочу сказать. Сына не оправдываю, боже упаси. Они, мужики ольховской породы, все такие. В молодые годы жеребцуют, пока не натешатся. И мой Гришенька тоже за каждой юбкой гонялся. Но с годами остепенился. Теперь ни-ни! Наша бабья доля — терпеть. Напрасно ты поторопилась чемодан собирать. За семью, за мужа, за любовь надо бороться, стоять каменной стеной.

Кому она всё это говорит? Каменной статуе? Марина не слушает, углубилась в тетради. Или делает вид, что занята работой. Собой ладная, лицо белое, приятное. Гордиться надо такой женой. А сын…

— Всякое в жизни бывает. Налетит буря, да пронесётся, и опять солнышко засияет. Помириться вам надо, дочка.

Марина отложила карандаш, резко повернулась, вскинула голову. Отчеканила каждое слово:

— Я вам больше не дочка. У меня нет мужа, не с кем мириться. А у вас нет больше внука.

Отрезала, будто ломоть от каравая. Отвернулась, взяла очередную тетрадь. Добавила:

— Вы мешаете мне работать.

Ушла свекровь, теперь уже бывшая. Марина уронила голову на стол. Успела отодвинуть тетради, чтобы не залить их слезами, которые ручьями хлынули из глаз.

Екатерина Васильевна вышла за калитку с великой тяжестью на сердце. С горечью подумала о том, какие строптивые, несговорчивые эти современные молодые бабёнки. Гордость и независимость хотят проявить. Сначала фельдшерица дала от ворот поворот. Теперь Марина. Ладно, та чужая. Но эта-то в ольховском доме как родная дочь стала. Повторила те же слова: «Вы мешаете мне работать». Не прислушалась к словам старшей по возрасту. Но что она могла сказать молодым? Чем помочь в такой сложной обстановке? Может, напрасно лезет со своими наставлениями? Голова идёт кругом. Не зря говорят, что малые дети — малые заботы. А вырастут — забот лопатой не разгребёшь. Вечером, смахнув слезинку, сказала мужу:

— Гришенька, надо что-то делать. Семья рушится.

Григорий Павлович ответил не сразу:

— Ладно, что-нибудь придумаем.

**2**

У школьников каникулы. Братья Артём и Максим торжествуют:

— Вот теперь поработаем! Эх, раззудись, рука, распрямись, плечо! Где наш инструмент?

На своём верстаке братья начали бойко постукивать молоточками по стамескам. Капельки пота выступили на их лбах. Поглядывают на Василька: как бы не отстать. Вот и готова шкатулочка, остаётся изготовить крышку. Как ни старались братья, Василёк первым поставил на полку свою шкатулку.

Да ещё, посмеиваясь, язык братьям показал. Обидно. Делают вид, что насмешек не замечают. Пётр Тихонович доволен успехами сына. Поглядел на братьев. Не угнаться вам за Васильком. У вас руки художников, привыкли кистью малевать. А у него рука отцовская, рука мастерового. Вон как ловко выстругивает дощечки для следующей шкатулки. В ловкости не уступает родителю. Начал уже искусством резьбы овладевать. Упорный, настойчивый. Научится наводить замысловатые узоры на шкатулках. Предложил подросткам:

— Сбегайте на часок на речку. Наледь замёрзла, свежий ледок сверкает. Самое раздолье на коньках.

Велик соблазн, очень велик. Артём даже за шапку схватился. Каждый представил, как в эти минуты, лихо заломив шапки набекрень, их сверстники скользят по журинскому льду. Или мчатся на лыжах с холма, только ветер посвистывает. Велик соблазн удрать из мастерской. Но более велик — остаться. Ведь колхоз платит за каждую изготовленную шкатулку по пятьдесят рублей. Для школьника это — неслыханные деньги. Можно заработать и купить магнитофон или карманный телефон. Те, кто катается сейчас на коньках или на лыжах, от зависти лопнут. Так что не соблазняй, дядя Пётр! Подростки вздохнули украдкой и взялись за рубанки и стамески.

В Журинске у ларька люди спрашивают:

— Где шкатулки?

Продавец отвечает:

— Произведение искусства — не метла для дворника. Для изготовления требуется время.

— Когда поступят шкатулки?

— Через три дня. Пока можете купить шапку или ложку.

Покупали ложки как рождественские сувениры. Покупали и шапки. Куда денешься, коль жёсткие морозы ударили?

В мастерскую Игнаткина пришли два паренька, Ванько и Гринько. Тоже братья, из семьи украинцев, сосланных в Сибирь в тридцатые годы.

— Дядько Петро, возьми нас на обучение.

Пётр Тихонович развёл руками:

— Куда взять-то? И так теснота.

Однако, немного подумав, сказал:

— Ну, так и быть, приходите через пару дней.

Был разговор с председателем. Игнаткин посоветовал:

— Мастерская моя пополняется новыми учениками, будущими мастерами. Да вот беда, верстаки негде поставить.

На подворье появились плотники. Подвезли необходимый материал. Застучали топоры. Мастерскую увеличили вдвое. Посередине поставили печку-углянку. Пётр Тихонович соорудил ещё три верстака. Новым ученикам дал наставления. Ребята выслушали, кивнули. Понятно, мол, справимся, не малыши сопливые. Зараз сфабрикуем шкатулку, плёвое дело. Однако к вечеру приуныли, притомились. На ладонях появились мозоли. А на верстаках лежали шершавые, неприструганные дощечки. Куда-то исчез первоначальный задорный азарт. С завистью посматривали, как Василёк управляется с рубанком и стамеской. Пётр Тихонович приободрил ребят:

— Выше головы, хлопцы! Первый блин всегда комом у любой пекарки. Завтра лучше получится.

Однажды в мастерскую зашёл столяр Ворошилов. Взял с полки шкатулку, осмотрел со всех сторон, прицокнул языком, посмотрел на Артёма и Максима:

— Ишь ты, как размалевали! От цветов будто весной повеяло.

Игнаткин догадался, что Клим Ефремович неспроста заглянул на дымок из трубы печурки. Не для того же, чтобы полюбоваться цветочками на шкатулке. И точно. Ворошилов проговорил:

— Хочу попробовать изготовить шкатулку.

Игнаткин ответил:

— Чего пробовать? Становись за верстак. Ты — столяр классный. Рука у тебя к дереву привычная. Ещё один мастер лишним не будет. Моя бригада не успевает за рыночным спросом. Это не поле

пахать. Прибавил скорость трактора—и готов дополнительный гектар. В нашем деле торопливость—смерть мастерству.

Ванько и Гринько уже научились строгать дощечки. Теперь старательно просекают стамеской маленькие отверстия по краям, чтобы соединить эти дощечки. Покажут дяде Петру—тот качнёт головой:

— Не годится. Стамеску держите прямо.

Каникулы заканчивались, а они ещё ни одной шкатулки не изготовили. Любопытно им было, долго ли взрослый дяденька будет проходить курс обучения. К их изумлению, этот дяденька проворно справился с дощечками. Полчаса всего постучал стамеской. К вечеру поставил на полку готовую шкатулку. Во, даёт стране угля!

Столяр сменил профиль работы. Вместо оконных рам, дверных косяков и гробов он стал изготавливать шкатулки. Руки не сразу привыкли к тонкой работе. В колхозной столярке его место занял другой мастер. Незаменимых не бывает. Россия сменила президента—и ничего! Живёт, не развалилась, встаёт на крепкие ноги во всём своём величье.

### 3

В клубе народу—битком. Люди сидят на скамейках, стоят в проходах, теснятся в коридоре, у открытой двери, разместились на полу перед сценой. В президиуме за длинным столом сидят члены правления. Отчитайтесь, голубчики, сколько раз заседали, что решали. Как управляли колхозом. Чего тянем? Пора начинать. Беляцкий громко объявил:

— Отчётно-выборное собрание членов колхоза «Прогресс» считаю открытым. Нам предстоит обсудить следующие вопросы: приём в члены колхоза, отчётный доклад о деятельности правления и выборы нового правления. Дополнения, изменения имеются? Нету? Повестка принимается. Начинай, Валентина.

Березовская раскрыла папку:

— Поступило три заявления от жителей Ольховки, которые вернулись в деревню. Двенадцать заявлений от жителей деревни Крюковой. Вот первое—от Данилы Свинопасова. Он просит принять в колхоз, обязуется честно работать и соблюдать устав сельхозартели.

Голос из зала:

— Пусть расскажет автобиографию.

Другой голос, возмущённый:

— Ещё чего? Тут что, комсомольское собрание?

Поднялся дядя Игнат:

— Братья Свинопасовы прошли трудовое испытание в бригаде плотников. Хорошо работали, старательно. Будут достойными колхозниками.

Проголосовали. Приняли. Так же быстро рассмотрели остальные заявления. Григорий Павлович поздравил новых членов колхоза. Беляцкий повёл собрание дальше:

— Слово для отчётного доклада имеет Григорий Павлович Ольхов. Прошу на трибуну.

Председатель говорил около часа, почти не заглядывая в листки бумаги, разложенные перед ним. А чешет, как по-писаному. Откуда взялись ораторские способности у бывшего кузнеца? Оказывается, умеет работать молотом, головой и языком. Слушая председателя, колхозники как бы возвращались в трудовые недели минувшего года. Слова оратора напоминали одному пшеничное поле, другому—стадо коров на лугу, третьему—цеха мясокомбината. Роман Филиппович как бы воочию увидел себя за прилавком магазина. Каждому—своё, испытанное в тяжёлом, напряжённом труде. В глазах людей была гордость за содеянное. В заключение председатель сказал:

— Я доложил собранию об успехах и недостатках в хозяйственной деятельности правления. Главный бухгалтер доложит о финансовом состоянии нашего колхоза.

Курбатов прошёл к простенькой трибуне с такой важностью, словно ему предстояло выступать в грановитой палате Кремля. Положил перед собой не листки бумаги, а объёмистую папку. Собрался надолго оседлать трибуну. Говорил неторопливо, пересыпал речь цифрами, как горох в решете. Столько-то получено дохода, израсходовано на выплату зарплаты, на приобретение машин и оборудования, столько-то уплачено налогов, за горючее, электроэнергию. Даже двести рублей не забыл упомянуть, уплаченные за пуговицы для халатов. Каждую цифру называл громко, отчётливо, повторял дважды, а то и трижды. Старался, чтобы эта арифметика дошла до сознания каждого колхозника. Запомните, мол, зарубите себе хоть на носу. Да где там! Разве уместится в голове вся эта бухгалтерия? Курбатов перелистал только половину папки и всё продолжал сыпать в зал поток цифр. Дебет и кредит, сальдо и бульдо… Чудные слова, непонятные. Говорил бы по-русски. Но люди слушают терпеливо, затаив дыхание. Каждому интересно знать, куда израсходованы колхозные денежки. Очень даже любопытно. Пытаются оценить, правильно ли потрачен каждый рубль, с пользой ли для общественного хозяйства. Курбатов сделал паузу, глотнул воды, заключил:

— В данный момент на банковском счету колхоза имеется пять миллионов пятьсот сорок тысяч семьсот тридцать два рубля.

Смахнул платочком пот с лица, взял шапку и покинул трибуну.

С минуту стояла тишина. Припомнилось вот такое же собрание год назад. Тогда колхоз имел одни убытки и долги. А сейчас… Кто-то первым воскликнул:

— Ого, пять миллионов! Это же целый капитал!

Откуда взялись миллионы у нищего ещё недавно колхозишки? Не с неба же свалились. И посмотрели люди на свои натруженные, мозолистые руки. Посмотрели на своего председателя. И увидели вдруг, что на голове его заметно прибавилось седины, на лбу пролегла ещё одна глубокая морщина. Отчего? Оттого, что за весь год не имел ни одного выходного. Об этом знает только одна Катенька. Он сидел в президиуме, с краю стола. Спокойно смотрел в зал, на людей, как бы говоря: «Я тут ни при чём. Это вы—творцы и создатели колхозного благосостояния».

Председательствующий Беляцкий произнёс:
— Как поступим с миллионами? Куда употребим? Вы хозяева, вам и решать.

Зал на мгновение замер и тут же взорвался:
— Повысить заработную плату!
— Раздать миллионы, как прежде распределяли зерно по трудодням!
— Пусть бухгалтерия посчитает, кому сколько!

Ольхов резко встал, шагнул на край сцены, навис над залом громадиной своего тела. Вытянул вперёд руку, как будто указывая на кого-то конкретно. Каждый увидел, что перст председателя направлен именно на него.
— Расхапать по карманам? А о будущем подумали?

От его голоса звякнули оконные стёкла, качнулись под потолком лампочки.
— О завтрашнем дне подумали? Я вас спрашиваю! Скоро весна. Как пахать и сеять? На тракторах, которые развалятся на первой же борозде? На сеялках, которые пригодны только на металлолом?

Многие опустили глаза, прячась за спинами впереди сидящих. Григорий Павлович продолжал жестокий допрос:
— Урожай на чём будем убирать? На комбайнах выпуска семидесятых годов? А зерно как отвозить? На грузовиках с прогнившими кузовами? Что имеем на току? Зерноочистительные машины, которым ремонт что мёртвому припарка.

Из зала раздался голос:
— А на чём ремонтировать? Станки в мастерской с тридцатых годов. Достались колхозу от бывшей машинно-тракторной станции.

Ольхов кивнул:
— Именно так. Без новой техники нам не обойтись. Предлагаю на три миллиона рублей приобрести машины и станки. Голосуем. Кто за? Кто против? Принимается. Запиши, Валентина, в протоколию.

Пришло время раскрыть людям вторую программу. Ольхов спросил:
— Хотите жить как городские, в благоустроенных квартирах?

Неожиданный вопрос, загадочный. Неспроста, ой, неспроста! Чего ещё задумал этот кузнец? Народ зашумел, загалдел. Послышались голоса:
— Отчего же нет? Но для этого надо установить в домах отопительные батареи.
— И краны для холодной и горячей воды.

Так размышляли молодые. Пожилые сокрушались:
— А печи убрать? А где же лежанка будет?

Голос председателя продолжал звучать уверенно, твёрдо, властно. Ему было тесно в зале, рвался в коридор, на улицу:
— Проложим трубы, запустим котлы, установим краны и батареи. По улицам проложим асфальт. На это потратим остальные два с половиной миллиона рублей. Ну, как, согласны?

Не давая людям опомниться, поставил этот вопрос на голосование. Подняли руки как за что-то призрачное, отдалённое. Но знали, что председатель просто так словами не швыряется. Рано или поздно они прокатятся по асфальту ольховской улицы, а не по ухабам да рытвинам. А в домах…

Откуда-то с заднего ряда послышался голос:
— Эх, какие денежки уплыли прямо из рук.

Зал ответил громким смехом. В заключение Ольхов сказал:
— Предлагаю повысить зарплату всем колхозникам на двадцать процентов. Сделать бесплатными услуги бытового комбината и яслей. Расходы на эти цели будем покрывать из текущих доходов.

Слова эти были встречены аплодисментами. Беляцкий объявил:
— Переходим к третьему вопросу. Начнём выборы нового правления. Какие будут предложения?

За этим дело не стало. Поступило двадцать кандидатур. Разгорелись жаркие споры, перебранка. За каждую кандидатуру проголосовали отдельно. Березовская объявила:
— Большинством голосов избрано новое правление в количестве одиннадцати человек. Это Агапов Андрей, Беляцкий Фёдор, Березовская Валентина, Зыков Роман, Костыльников Игнат, Маркова Варвара, Мурашов Валерий, Ольхов Григорий, Ольхова Зинаида, Петрова Антонида и Свинопасов Данило.

Председателем правления единогласно выбрали снова Григория Павловича Ольхова. На этом собрание закончилось.

Расходились в приподнятом настроении. Председатель вон как раскинул орлиные крылья. Каждого воодушевил, словно вдохнул новые силы. Люди теперь готовы и спать не ложиться, а работать и работать, не покладая рук. Зачем по домам разбегаться? Надо сразу же кому на стройку, кому на ферму или на мясокомбинат. Засучить рукава, да, эх, дубинушка, ухнем!

## 4

Виктор занял свободную комнату сестры. Приходил с работы, ужинал, переодевался и удалялся. К ней спешил, к фельдшерице. Екатерина Васильевна вздохнёт, смахнёт слезинку. Опутала мужика, змея подколодная. Вцепилась зверюгой таёжной. Он и разум потерял. Не вспоминает ни о жене, ни о сыне. И что за любовь у них приключилась? Пыталась поговорить с сыном. Молчит или вовсе отмахивается. Но она видела по глазам, что непомерную тяжесть он носит на сердце. И Григорий Павлович выполнил своё обещание разобраться в этой ситуации. Побывал в райздраве, имел беседу с заведующим.

Виктор работал с необыкновенным рвением, с приливом могучих сил. На такой труд воодушевлял образ Тамары Сергеевны, который теперь неизменно стоял перед ним: вот она, в белом халатике, ведёт приём больных, вот она в голубом платье… Помощник едва успевал закалить в горне очередную заготовку. Виктор подгоняет его:
— Уснул у горна? Или о женских ножках мечтаешь?

И в этот день покинул кузницу в предчувствии желанного свидания. Подошёл к дому фельдшерицы открыто, без оглядки. А чего? И так вся деревня знает. Вошёл и застыл у порога. Незнакомый мужчина с бородкой перекладывает из чемодана в комод какие-то вещи. Кто это? Отец Тамары? А, может… Нехорошие мысли закружились

в голове. Сердце застучало от недоброго предчувствия. Осипшим голосом спросил:
— Где Тамара Сергеевна?
Мужчина обернулся:
— Молодой человек, во-первых, если желаете войти, надо постучать. Во-вторых, Тамара Сергеевна в данный момент освобождает свои чемоданы в новой квартире в Курбатовском совхозе. Направлена на новое место работы. В-третьих, разрешите представиться. Олексей Олександрович Офонасьев, терапевт и хирург. Прибыл в Ольховку для укрепления медицинского обслуживания.
Волжанин, разокался. Виктор, не проявив должного приличия, не назвал себя в ответ. Стремглав выскочил, оставив в недоумении нового врачевателя. Догадался, что тут не обошлось без вмешательства отца. Премного благодарны за такую родительскую заботу.
Запил удалой кузнец, загулял вчистую. Каждый день покупал водку, не гнушался и самогоном. Глушил сердечную страсть и тоску алкоголем. Не помогало. Наоборот, после каждого стакана душа терзалась всё сильнее. Из-за этого резко снизились темпы работы кузницы. Горн зачастую был потушен. Виктор швырял молот, доставал из кармана бутылку и пил прямо из горлышка. Помощник пытался его удержать:
— Не надо, Виктор Григорьевич.
Тот смотрел осоловелыми глазами, грубо отвечал:
— Не твоё собачье дело.
Однажды после ужина отец повернулся к сыну:
— Я не стану говорить о твоих сердечных проблемах. Меня беспокоит работа кузницы.
Выпуская папиросный дым, Виктор ответил:
— Что именно беспокоит председателя?
— Задерживаются срочные заказы ремонтной мастерской.
Сын, рассчитывая огорошить отца, вдруг заявил:
— Замени кузнеца.
Не тут-то было. Григорий Павлович спокойно ответил:
— Если не прекратишь таскать в кармане бутылки, то и заменю. А тебя отправлю на ферму скотником.
Разговор Виктора не огорчил. Какая разница — кузница или ферма? Ольховы никакой работы не боятся. Только на этот раз председатель просчитался. У Виктора созрели другие намерения. Вышел из дому. От калитки зашагал не направо, как неделю назад, а налево. У Зимарева собрались полдюжины мужиков и парней. Костя читал свои стихи про любовь и разлуку. Баранье блеяние, телячьи нежности! Испытал ли этот поэтишко всю глубину горечи разлуки? Познал ли любовь, испепеляющую сердце? А вот Витюху послушать интересно.
— Один богатый господин решил совершить морское путешествие. Утром к нему приходит ночной сторож и говорит: «Сегодня я видел вещий сон. Корабль, на котором вы собрались плыть, разобьётся о скалы». Господин поверил и не поплыл. Вскоре стало известно, что корабль затонул. Господин наградил сторожа и уволил с работы. Спрашивается, за что награда и немилость?
Кто-то из собравшихся проговорил:
— Забавно, одновременно и награда, и наказание.
Виктор усмехнулся:
— Бывает такое. Иному повесят орден и тут же под зад коленом. Здесь ларчик открывается просто. Тому господину не нужен сторож, который спит на дежурстве и видит вещие сны.
Утром Виктор вышел из дома с чемоданом. Глаза Екатерины Васильевны блеснули радостью. Слава богу, помирились!
— Присядем, мама, на дорогу, по обычаю.
Дрогнуло материнское сердце:
— На какую дорогу?
— Уезжаю я из Ольховки.
Опустила руки мать, рухнула на стул рядом с сыном. Знала своих мужиков: уговоры бесполезны.
— Куда? В город надумал?
— В Курбатовский совхоз.
— К ней?
— К ней.
— А Марина как?
— Она подала на развод.
— А Павлик?
— Сын вырастет, у него будет своя дорога.
Голос сына слегка дрогнул. Он встал, обнял мать, поцеловал. И вот он уже на своём подворье. Дом осиротел, ставни на окнах закрыты, на двери замок. Марина теперь живёт у своих родителей. Выгнал из сарая «Жигули», закинул в багажник чемодан. Возле тёщиного дома остановился. Павлик на полу барахтался с котёнком. Увидел отца, кинулся со всех ног:
— Па-па-а-а!
Тёща насторожилась: не увёз бы внука. Виктор подхватил сынишку на руки, расцеловал. Тот захныкал:
— Хосу к бабе Кате!
— В другой раз. А пока кушай кашу у бабы Даши и расти большой.
— Такой большой, как ты?
— Такой, как я. Мы оба — мужики ольховской породы.
Вскоре из деревни выехала легковая машина и покатила в сторону Журинска. И дальше, дальше — в Курбатовский совхоз, навстречу новому, неведомому.

## Глава шестая

### 1

Отлютовали рождественские, крещенские и ещё какие-то морозы. Буланый легко мчит кошеву по накатанной дороге в село Степное. Седок с удовольствием подставляет лицо встречному февральскому ветерку. Тёплая доха укрывает с головы до ног. Дорога всегда навевает разные мысли. Сейчас его занимают думы о сыне. Как он там, в Курбатовском, счастлив ли, доволен ли новой судьбой? Ни единой весточки. Катенька извелась, ждёт письмеца или звонка. Представил, как Виктор размахивает молотом не в своей колхозной кузнице, а в чужой, совхозной. Где же иначе ему быть? Огорчительно, что колхоз потерял такого классного работника. Видимо, есть в том

и его вина, отцовская. Хотел как лучше, а повернулось совсем в другую сторону. Побывать надо в том совхозе, навестить сына. Да всё недосуг, захлёстывают колхозные проблемы. Отношения со Степным совхозом установились обоюдовыгодные. Дербасов на этот год не заключил договоры с городским мясокомбинатом и молокозаводом. Теперь два раза в день совхозный моловоз подкатывает к Ольховскому маслозаводу. На колхозный склад с фермы совхоза поступило тридцать свиных туш. «Прогресс» через банк незамедлительно перечисляет совхозу определённую сумму денег. Теперь Ольхов едет в Степное по иному делу. На колхозной ферме сложилось критическое, даже драматическое положение. Коровник переполнен. Трудно представить, что будет, когда начнётся массовый растёл. А в Крюковой стоит свободный коровник. Сам смотрел. Требуется небольшой ремонт.

Показалась окраина села. Почуяв волчий дух от дохи, кошеву встретила стая собак. Проехал две улицы. Неказистые домишки и избы, избы. Вместо добротный тесовых ворот какие-то нелепые сооружения из нескольких жёрдочек. Сразу видать, что здесь живут степняки. Тайга от них далековата.

По сравнению с Ольховкой село выглядит убогим. Даже палисадники встречаются редко. Вот и контора. Дербасов в кабинете. Стол завален не деловыми бумагами, а газетами. Пожали руки. Хозяин шутливо проговорил:

— Явился, разбойник с большой дороги.

Догадываясь, Ольхов ответил:

— Мы — люди смирные. С дубиной на обочине не стоим, поджидая проезжего купца.

— Ага, паиньки. А кто уволок половину Крюковой прямо у меня из-под носа?

— Так то добровольно. Люди подали заявления о вступлении в колхоз. Мы не отказали. Они были безработными.

— Где я возьму эту самую работу? Из рукава не вытрясу. Невелика беда, если сколько-то десятков людей в какой-то деревушке томятся от безделья. Вон в Европе и Америке миллионы безработных. По сравнению с ними Россия — страна благополучия. Послушай, что пишут газеты.

Господи! Понесло, не остановишь. Лекция на целый час. Какое ему, Ольхову, дело до далёкой Америки? Директор что-то бубнил о тяжёлом положении рабочего класса, о безработных, которые в поисках работы разъезжают на собственных машинах.

Ольхов не слушал. Думал о своих проблемах. Зазвонил телефон. Директор развёл руками: мол, прерывают на самом драматическом месте. Немного послушал, сердито проговорил:

— Я занят. Некогда заниматься бригадой. У меня дела поважнее.

Положил трубку:

— Итак, на чём мы остановились?

— На коровнике.

Дербасов удивлённо вскинул брови:

— Коровник? Что за чепуха? Я говорил о…

Ольхов решительно перебил:

— Я говорю о коровнике, который пустует на крюковской ферме. Дайте ваше разрешение, и я оккупирую это помещение.

Директор был не дурак, догадался:

— Стадо коров перегонишь?

— Да, перегоним.

— И за аренду будете платить?

— Договоримся.

Дербасов посмотрел на Ольхова и вдруг изрёк:

— В таком случае забирай под своё крыло целиком эту деревушку. Оформим надлежащий документ. Принимай всех жителей в колхоз. У меня останется ещё три отделения. Ну как, по рукам?

Неожиданность, да какая! В первый момент Ольхов даже растерялся. Ехал попросить коровник, а ему предлагают целую деревню. Ответил:

— Не гони лошадей. Надо подумать, с правлением посоветоваться.

— Подумай, посоветуйся. У меня есть ещё одно предложение.

— Какое?

— Открой в нашем селе свой колхозный магазин.

Вот это интересно! А для видимости сказал:

— Я проезжал по улице, заметил два или три магазина. Разве вам этого мало?

Дербасов досадливо ответил:

— Какие магазины? Просто лавчонки. Частники торгуют. Нитки, пуговицы да мыло.

— Откройте свой, совхозный магазин.

— Я политик, а не торговец. К тому же волокитное дело, лишние заботы и хлопоты.

Вот оно в чём дело! Директору совхоза нужен покой. Пусть чужой дядя заберёт отделение, откроет магазин. Он будет почитывать газеты да рассуждать о проблемах своей планеты. Подумав так, Ольхов спросил:

— А у тебя есть свободное помещение для него?

Приняв вопрос за согласие, Дербасов поспешно ответил:

— Есть. Бывший рабкоповский. Сейчас там склад. Уберём разное барахло, заново покрасим, побелим. Вот послушай, что пишут в газетах о торговле…

Григорий Павлович встал:

— У меня нет лишнего времени. Спешу. Спасибо за беседу.

Буланый тоже спешит в Ольховку, к кормушке с овсом. Из-под копыт вылетают комья снега. Седок в глубоком раздумье. Дербасов сбрасывает со своих плеч лишний груз. Слабачок. У него, у Ольхова, плечи могучие, дай бог каждому! Выдержит и эту дополнительную ношу. Магазин в Степной, конечно, будет открыт. А как быть с Крюковой? Тут надо подумать, взвесить, рассчитать. Выгодно ли это будет «Прогрессу»?

Упали хлопья снега. Ветер усилился. Скрылось закатное солнце. Разыграется пурга. Февраль — месяц вьюжный, метельный.

**2**

Старшая портниха похвалила Светлану за хорошо сшитое платье. Заказчица будет довольна. Та козырной дамой прошлась дома перед мужем. Гордись, Юрочка, будущей знатной, непревзойдённой мастерицей! Теперь надо похвастать трудовыми

успехами перед вертлявой бездельницей сестрицей. Прошла по протоптанной тропинке напрямую через осевшую изгородь в родительский дом. Иринки не оказалось. Вызвали в контору. Наконец-то председатель добрался до неё. Назначит свинаркой или телятницей. Кем же ещё? Ага, вот и она. На лице ликующая, торжествующая улыбка. С некоторой иронией произнесла:

— Как делишки, портняжка? Одним махом семерых обшивахом?

За такую дерзость надо дать взбучку младшей сестре.

Однако Иринка, вздёрнув губки, как бы небрежно продолжала:

— Меня назначили секретарём. Буду работать в конторе, при самом Григории Палыче!

И, показав старшей сестре язык, исчезла в горнице.

Это было две недели назад. Росло, развивалось хозяйство колхоза. Неизбежно рос поток различных бумаг: протоколы, акты, распоряжения, докладные, переписка с районными организациями. Пришлось снова посадить в приёмной секретаршу. Поставили перед ней не пишущую машинку, а компьютер. Сегодня заседание правления. Иринке впервые предстояло вести протокол. Получится ли? Вошла в кабинет и оробела. Направо и налево сидят члены правления. Лица важные, строгие. Не сразу дошёл до сознания голос председателя:

— Чего топчешься у порога? Проходи со своими бумагами, присаживайся к столу.

С первым вопросом покончили быстро. Григорий Павлович ткнул пальцем в лист бумаги:

— Пиши, Иринка, в протоколию. Правление единогласно решило открыть в селе Степном свой колхозный магазин.

Приступили к обсуждению крюковского вопроса. Первым выступил Беляцкий:

— Для нас достаточно того, что в члены колхоза вступили двенадцать крюковских семей. Я против присоединения всей деревни. Понадобится открыть магазин, столовую, ясли, начальную школу, медпункт и клуб. Будут неоправданные расходы. Ухлопаем не меньше миллиона рублей. А что получим взамен? О том вилами на воде писано.

Ему возразила Антонида Петрова:

— Ты, Фёдор Потапыч, радеешь за миллион. Это похвально! Но если в колхоз вступит вся деревня, то сколько прибудет рабочих рук? Своим трудом они с избытком перекроют все расходы. Вот тут Беляцкий просчитался.

Агапов сидел мрачный. Тревожные мысли вертелись в голове. Не по душе была вся эта затея с объединением с Крюковой. Это сколько прибавится ему дополнительной работы? Даже страшно подумать! Ольхов спихнёт на его шею Крюковские фермы и поля. Он, Агапов, не двужильный. Правильно выступил Беляцкий. Надо поддержать его, найти веские, убедительные доводы. Ага, кажется, есть таковые — пришло озарение. Встал Агапов и произнёс:

— Совхоз уволок из коровника доильную установку, из кузницы — весь инструмент, из клуба — столы и скамейки. Если будет присоединять Крюковку, то совхоз угонит тракторы, комбайны, автомашины и другую технику. Оставит деревню голенькой, как берёзку осенью.

Ольхов удивлённо вскинул глаза на заместителя:

— Ты, Андрей Андронович, против присоединения Крюковки.

— Да, я против.

Со своего стула вскочила Зинаида Ольхова:

— И пущай угоняют свою гнилую, ржавую технику. Тракторы не дотянут до Степной, рассыплются посреди дороги. Зато останутся животноводческие помещения. Их не уволокёшь на буксире. Будем разводить дойное стадо, свиней и птицу. Восстановим поголовье овец. Скотники, чабаны, доярки, птичницы в деревне найдутся в достатке. Небось истомились руки от совхозной безработицы. А ты, Андрюха, не проливай слезы о какой-то старой технике. Свою, новую, приобретём.

Свинопасову было в новинку сидеть в кабинете не просто так, а наравне с остальными, как члену правления. Он помалкивал. Считал неприличным защищать свою деревню. Дескать, каждый кулик своё болото хвалит. Хмурился, когда выступали Беляцкий и Агапов. Радовался каждому слову женщин. Молодцы, дают отпор мужикам.

Иринка строчила, строчила. Сначала пыталась записать каждое слово оратора. Куда там, неопытная, не знает стенографии. Запуталась, стушевалась. Но вовремя сообразила. Стала улавливать основную мысль говорившего. Карандаш застрочил по бумаге быстрее. Перевернула третий лист. Выступает Роман Филиппович:

— О чём мы тут говорим? Пытаемся разделить шкуру неубитого медведя. Не спросили жителей Крюковки: хотят ли они вступить в колхоз? Не случится ли так, что заколотят ставни и покинут деревню?

Грохнул опрокинутый стул. Не выдержал Свинопасов, вскочил:

— Типун тебе на язык да пару пиявок! Знай свою торговлю и помалкивай, не говори того, что неведомо. А я знаю. Вся деревня заранее написала заявления. Сам видел, в руках держал. Все хотят вступить в колхоз. Что касается миллиона, о котором шла речь, так и на это у меня есть ответ. На наших фермах лежит столько навозу, что Журинску за два года возить — не перевозить. На три миллиона того навозу. Только успевай денежки принимать.

Данило перевёл дух, махнул рукой. Довольно говорильни! Поставил опрокинутый стул. Посмотрел на Ольхова. Что скажет председатель? Его слово будет решающим, окончательным. Григорий Павлович проговорил:

— То, что я хотел сказать, ясно и конкретно выразил Свинопасов. Мне остаётся поставить вопрос на голосование.

За объединение двух деревень проголосовали восемь членов правления. Заседание закончилось в десять часов. Иринка осталась одна. Вышла из кабинета, села за свой секретарский стол. Вздохнула. Пропал вечер. Сейчас в клубе танцы в полном разгаре. Её подружки кружатся в обнимку

с кавалерами. А ей предстоит оформить эту самую «протоколию». Председатель приказал, чтобы утром на его столе лежал готовый документ. Ещё раз вздохнула. Разнесчастная судьба секретарская. Любой телятнице могла сейчас позавидовать. Принялась за нудную, кропотливую работу. Переписывает заново черновые наброски. Затем будет набирать на компьютере. Проходит час, другой. Вот и закончились танцы в клубе. У неё работы хватит до вторых петухов. Хорошо деду Андрону. Беззаботно похрапывает на диване. Рядом старенькое ружьишко, изготовленное во времена царствования Николая Второго.

### 3

Жители Крюковой собрались в конторе отделения. Просторная комната, служившая мужикам по утрам курительной, едва вместила всех людей. Поставили столик, два стула. Первым начал Дербасов:

— Граждане! Сейчас я подпишу в вашем присутствии акт отторжения четвёртого отделения от Степного совхоза.

Он расписался на листке бумаги, пришлёпнул печать и продолжил:

— Теперь вы — свободные граждане Российской Федерации. Можете вступить в колхоз «Прогресс» или жить, как говорится, на вольных хлебах.

В наступившей тишине раздался голос, осипший от запоя:

— Вот те на! Где я теперь стану работать?

Народ захохотал:

— Да разве ты не работал при совхозе?

— Каждый день выписываешь кренделя на дороге.

— Хватилась манда, когда ночь прошла.

Выступил Ольхов:

— Здесь присутствуют двенадцать семей — членов нашего колхоза. Они правомочны решать любые вопросы. Собрание считаю открытым.

Начали приём новых членов колхоза. В «Прогресс» вступили ещё двадцать семь семей. Одной было отказано: пьяницы и лодыри. Три семейства даже не пришли на собрание. «Прогресс» обойдётся без них. Если надумают, то колхозные двери не закрыты. На Ольхова обрушился шквал вопросов. Главным образом — о работе. Это хорошо: люди думают о будущем. Вперёд выступил мужчина средних лет:

— Я — Иван Иванович Иванов, управляющий четвёртым отделением. Вернее сказать, уже бывший…

Ольхов перебил его:

— Назначаю тебя бригадиром.

— Хе! А бригада где? Она сегодня утром у околицы на прощание помахала платочком.

Григорий Павлович поморщился:

— Говори яснее.

— Автомашины и тракторы направились по дороге на центральную усадьбу совхоза.

Ольхов не удивился. Этого следовало ожидать. Обернулся. Дербасов уже исчез. Укатил восвояси. Дескать, его хата теперь с краю. Махнул рукой на народ:

— Вот твоя бригада.

— Они требуют работы.

— Так обеспечь их работой!

Иванов хмыкнул:

— Гм. Но я не шаман. У меня нет бубна.

— Ты бригадир. Начальство. Отряди несколько мужиков на ферму. Пусть немедленно отремонтируют коровник и телятник. Затем назначишь доярок, телятниц и скотников. Плотники будут восстанавливать порушенный свинарник. Я ясно сказал?

— Не совсем.

— Через неделю из Ольховки пригоним стадо коров.

Эти слова крюковцы встретили с одобрением. Ольхов продолжал:

— Некоторых людей трудоустроим в Ольховке. Мужики будут работать в ремонтной мастерской и на стройках. Женщин определим в пекарни и на маслозавод. Через две-три недели покончим с безработицей. Ещё есть вопросы?

— Есть. Будем ли мы пользоваться льготами, как ольховцы?

Григорий Павлович рассмеялся:

— Вижу, многие мужики обросли, волосы до самых плеч. Завтра приезжайте в Ольховку, в колхозной парикмахерской вас подстригут бесплатно. В бытовом комбинате так же бесплатно можно отремонтировать телевизор или холодильник. Можете заказать пошить платье или костюм. Вы стали равноправными колхозниками.

— Будут ли нам бесплатные обеды?

— Здесь дело посложнее. Надо помещение для столовой и квалифицированная повариха.

Послышались торопливые голоса:

— Повариха есть, Аграфена Платоновна. Курсы кончала.

— А помещение можно под контору приспособить.

Тут выступил мужичок лет за пятьдесят, ростом Ольхову до пупа, воистину, по-некрасовски, с ноготок, воинственно потряс кулачком:

— Не дам контору! Где я буду бухгалтерить?

Ольхов догадался, кто этот мужичок, проговорил:

— Не шуми так, Аника-воин. Отныне твоя должность устраняется. Будешь просто учётчиком. На бригадном дворе стоит просторная изба, перенесёшь туда стол и стул. Согласен ли?

Мужичок спросил:

— Сколько буду получать?

— Три тысячи в месяц.

— В совхозе у меня оклад был четыре тысячи. Правда, я только начислял сам себе, но не получал.

— Колхоз выплачивает зарплату каждый месяц.

Новоназначенный учётчик радостно закивал:

— Если так, то согласен работать даже за две тысячи.

Людям надоел этот разговор. Одна женщина выкрикнула:

— Председатель, медпункт нужен во как, позарез!

Недавно схоронили сорокалетнюю Авдотью, царство ей небесное. Сердце схватило. Была бы фельдшерица да поставила укол, и жила бы Авдотья.

Затараторила другая женщина:
— Школу надо, хоша бы начальную. Малые дети, первоклашки, живут в интернате. Разбалуются без родительского догляду.

И звонкий девичий голос:
— Клуб откройте. Надоело шастать на танцы в Ольховку. Парни там шибко прилипчивые, нахальные.

Григорий Павлович всех выслушал, объяснил:
— Образование, медицина и культура в ведении государства. По этим вопросам обращайтесь в сельсовет, к Каминскому.

Кто-то спохватился:
— А про ясли забыли?

Мужской голос с усмешкою ответил:
— О чём вспомнили? На всю деревню только два ребёнка. Не хотят бабы рожать.

Женщины разом загалдели:
— От кого брюхатить? От вас, самогонщиков?
— Теперешние мужики что евнухи.
— Не маячит, не стоит ихняя принадлежность.

Мужик, который посягнул на женское достоинство, под дружный хохот выскочил за дверь. Давненько деревенский люд не собирался вместе, как в тот вечер. Кажется, обо всём переговорили, а расходиться не хочется. Со стены из рамки на них смотрит президент, которого избрали год назад. Смотрит, как бы говоря: «Смелее, крюковцы, к новой жизни! Успехов вам и благополучия!»

## 4

В половине февраля Юрий Петров на тракторе с санями, нагруженными брёвнами, первым проехал по новому мосту. Плотники стояли вдоль перил, подчёркивая прочность своего сооружения. Выдержал мост тяжкий груз, не дрогнул, не прогнулся. Только слегка заскрипел. Ермолай Фёдорович пояснил:
— Осадку даёт. Так и быть должно.

В начале марта значительная часть свиного поголовья переселилась в новое помещение. И вовремя. Начался опорос. Бригада дяди Игната не подкачала. Сдержал своё слово и председатель. Каждый плотник получил поросёнка племенной породы. Прошли три дня передышки — и снова за топоры. Бригада объединилась с ермолаевцами. Предстояло построить двухэтажное здание кондитерской фабрики. Сладкое будет заведение, да не сладкая работа, особенно тогда, когда понадобится поднимать брёвна на второй этаж. Зараз семь потов прошибёт. Оно и сейчас не легче. Вон какие лиственные бревнища, которые надо уложить под основание здания. На перекуре вечно недовольный Егорша проговорил:
— Швыряет нас председатель, как футбольные мячи, с одной стройки на другую. Для него мы просто рабсила.

Яков Воробьёв назидательно ответил:
— Апостол Павел в своём послании писал: «Родился рабом и оставайся им до конца дней своих. Люби и почитай господина своего. Работай на него и не требуй платы за труд».

Егорша сверкнул глазами:
— Пошёл ты к едрене-фене со своими проповедями!

Воробьёв покачал головой:
— Разум твой не внемлет гласу Божьему. Да прости, Всевышний, грешника, раба твоего Егория.

Егорша взвинтился:
— Чихал я на твоё прощение! Ступай в молельный дом и кланяйся своим богам.

Дядя Игнат примирительно сказал:
— Довольно учинять раздор. Кончай перекур! Работа примирит, утихомирит страсти.

И верно. Через несколько минут, обтёсывая бревно, Егорша напевал весёлую песенку. Воробьёв, работая рядом, старался не замечать безбожника. Только солнце светило обоим одинаково, посылало своё сияние и тепло всему живому на земле. Скоро упадёт с крыши первая капель, появится первая проталинка, заворочается в своей берлоге медведь.

Николай Усачёв привёз из Журинска новость. В городских магазинах и на базарах исчезли китайские огурцы и помидоры. Санэпидемиологическая станция обнаружила в овощах какие-то вредные вещества. У китайцев подчистую разрушили все парники. Жители города возмутились. Так им и надо, китаёзам, мать их перемать. Додумались поливать почву ядовитым раствором, чтобы быстрее росли огурцы и созревали помидоры. Потом одумались, спохватились. Скоро Восьмое марта. Неужели на праздничных столах не будет свежих огурцов и помидоров? Пусть бы хоть китайские. Ведь покупали, ели, и никто не умер! Чего взбеленилась санэпидстанция? Наверное, мало долларов перепало от китайцев. Не редькой же украшать праздничный стол!

Председатель колхоза «Прогресс» взлетел на девятое небо. Примчался на огород — и сразу в парник. Раздвинул огуречные плети, а там…
— А ну, бабоньки, берите корзины и собирайте урожай.

Умел Ольхов организовать слаженную, ритмичную работу коллектива. Заметалась его кошева от огорода до овощного комбината и обратно. Буланый недовольно фыркает, позванивает удилами. Взбесился хозяин, хлещет кнутом по спине и бокам. Прежде такого не бывало.

На другой день Ольхов на своих «Жигулях» пораньше выехал в Журинск. Позади ехала машина, до отказа нагруженная огурцами. Ольхов взял десяток, направился в лабораторию санэпидемстанции: проверьте, мол, убедитесь, что в данной овощи нет вредных химикатов. Что огурчики выращены на чистом сибирском глинозёме руками деревенских тружениц.

Во всех трёх Ольховских магазинах шла обычная, оживлённая торговля. Покупали хлебные, молочные, мясные продукты. Покупатели долго не расходились. Наоборот, народу становилось всё больше. Люди толпились в магазине, на крыльце, на тротуаре. Каким-то образом прознали о привезённых огурцах. Кто-то подглядел во время разгрузки или почуял ароматный дух, проникающий из подсобного помещения. Народ терял терпение, раздались возмущённые голоса:
— Чего тянете? Куда прячете огурцы? Не допустим левую торговлю!

Им отвечали:
— Ждём результатов анализов.

Наконец лаборатория дала добро. Из подсобок всех трёх магазинов к прилавкам внесли мешки с огурцами. Тут же образовались очереди. Снова выкрики:
— Продавайте по килограмму, чтобы всем хватило!

Убедившись, что торговля огурцами пошла успешно, Ольхов поехал в деревню. Навстречу — грузовик с навозом. Из Крюковой. Туда на ферму был направлен экскаватор. Повысили цену с двух до трёх тысяч рублей за пять тонн перегноя. Не поморщились, заплатили. Инфляция ударила и по навозу. Анна, вот «КАМАЗ» с тем же грузом. Даже в салон легковой машины занесло запах фермы. Вспомнил, с какой грустью, со слезинками на глазах провожали ольховские доярки полсотни коров. Два километра шли за стадом по дороге в Крюкову. Как встретят там их любимиц? Вовремя ли накормят, напоят и подоят? Вечером, на селекторном совещании, Григорий Павлович распорядился:
— Снабжение немедленно закупает плёнку для двух парников. Мастерская и кузница приступают к изготовлению металлических опор. Я ясно сказал?

Через неделю на ольховском огороде возвысился ещё один парник. Посадили огуречные семена в парнике под рамами. На крюковском огороде тоже поставили парник под плёнкой. Ещё несколько женщин покинули убежище безработицы.

**5**

Тоска по сыну всё сильнее тревожит отцовское сердце. Не выдержал. К чёрту все колхозные проблемы. Им не будет конца. Он — человек, а не кукла и не машина. Имеет обыкновенные человеческие чувства. Однако на беду не заводится «Жигулёнок». Видимо, отбегал, отслужил свой срок. Жаль старичка отправлять на металлолом. Пусть займётся машиной завгар. Забрал «Волгу». Один раз потерпят, развезут обеды на лошадиной подводе.

Весна нынче запаздывает. Уже середина марта, и ни одной лужи, ни одной проталинки. В цепких объятьях держит зима сибирские просторы. Солнце поднимается всё выше, светит повесеннему, а морозы упорно держатся по двадцать градусов. Вот и центральная усадьба Курбатовского совхоза. Не деревня, а большой посёлок. Дома в основном стандартные, однотипные. Как жители отличают их, не путают? В пьяном состоянии запросто можно оказаться в чужой квартире. Не без труда нашёл кузницу. Возле дверей три мужика в кожаных халатах. Спросил о Викторе. Ответили:
— Такого здесь нет.

Удивился, снова спросил:
— Где же ему быть, как не в кузнице?
— Поезжай, дядя в контору, там спроси своего Ольхова. Поработал у нас с неделю да перебрался на тёплое место. Здоровьем слаб оказался. Маловато силёнок, чтобы молот поднимать.

Григорий Павлович вспылил:
— Это Виктор-то здоровьем слаб? Да он вас троих зараз на лопатки уложит.

Захлопнул дверцу, рванул с места. Это надо же такое ляпнуть? Силёнок мало! Это у Ольховых-то? Да во всём районе…

В конторе указали на третью дверь. На ней табличка «Заместитель директора». Зачем заместитель? Ему нужен кузнец. За столом Виктор кого-то разносит по телефону. Закончил:
— Я ясно сказал?

Увидел вошедшего, резко вскочил, шагнул навстречу. Обнялись.
— Отец, какими ветрами?

Григорий Павлович ответил:
— Давно сказано: если Магомет не идёт к горе…

Виктор закончил:
— То гора идёт к Магомету.

Сели рядом. Закурили. Виктор спросил:
— Как мама? Здорова ли бабушка?
— Бабушка пока слава богу. А мать изводится, ждёт весточки от сына, а от него ни письма, ни звонка.
— Виноват, как последний сукин сын. Сегодня обязательно позвоню.

Кабинет сына невелик: стол да несколько стульев.
— Как ты оказался в этом кресле?
— Сам не знаю. Предложили.
— Чем занимаешься?
— Снабжение и торговля.
— В последнее время совхоз ваш открыл ещё один магазин в Журинске, ассортимент увеличили. Я за конкурентами слежу, между прочим. По нашим Ольховским стопам шагаете, товарищи. Откуда, я думаю, такой прыткий разворот? Теперь понятно. Мой сын командует парадом.

Виктор рассмеялся:
— Стараемся. Заложили парник. Строим колбасную фабрику и пекарню. Скоро начнём выпекать хлеб в металлических печах. Где нам угнаться за Ольховкой? Наверняка придумали что-то новое.

Григорию Павловичу хотелось дать сыну полезные советы, предостеречь от ошибок. Но рядом сидит руководитель совхоза, опасный соперник. Конкуренция не позволяет раскрыть рот. Сам догадается, сообразит. У обоих в жилах течёт одинаковая, ольховская кровь. Хлопнул сына по плечу:
— Ну, что ж, Виктор Григорьевич, давай конкурировать. Места всем хватит, впереди просторные горизонты открываются. Город растёт, развивается. Железнодорожная станция стала узловой. Заработала фабрика детского питания, открылся учительский техникум. Увеличивает свои производственные мощности кирпичный завод. В окрестностях города развернулось строительство завода по выпуску сельскохозяйственной техники. Население увеличивается. Возрастает потребность в продуктах. Наша задача — не отстать от таких бурных темпов развития.

Не сказал ещё о двух новых парниках, о строительстве кондитерской фабрики. Ни словом не обмолвился о том, что на окраине города развернулось строительство нового жилого массива. Возводятся многоэтажные дома. Зачем знать об этом конкуренту? Ещё опередит и поставит свои торговые точки. Показывает отцовские замашки. Даже слова его повторяет: «Я ясно сказал?». Опасный

человек этот замдиректора. При расставании спросил сына:
— Как семейные дела?
Тот ответил:
— Нормально. С Мариной развелись. С Тамарой расписались.
Вздохнув, добавил:
— По Павлику скучаю, часто во сне вижу.
— Понятно. С женой расстаться много ума не надо. Разлюбил и удрал. А вот сынишка…Разлука с внуком не легче и нам с бабкой даётся.
Не успел Григорий Павлович переступить порог своего дома, как Катенька радостно сообщила:
— Виктор звонил. Полчаса разговаривали. Обещал звонить каждый день.

## Глава седьмая

### 1

В Крюковку из города вернулись четыре семьи и подали заявления о вступлении в колхоз. Сразу задымились четыре трубы. На четырёх подворьях после долгого перерыва вновь зазвенели детские голоса. Две семьи вернулись в Ольховку, да ещё три прибыли из Средней Азии. Одну разместили в доме Виктора: муж и жена, лет по тридцать пять, сынишка лет двенадцати да дочка помладше его года на три. Григорий Павлович сам открыл им дверь дома, помог внести вещи, растопил плиту, набрал насосом бак воды, включил чайник. Марина забрала только свои вещи, игрушки и кроватку Павлика. Из репродуктора, висевшего на стене, слышалась реклама, затем забрякали на пианино. Познакомились.
— Семён Игнатович Градов.
— Екатерина Васильевна.
Ольхов улыбнулся:
— У меня жена тоже Екатерина Васильевна. Значит, вы будете Екатерина вторая. Скажите, какие у вас специальности? Как можно применить ваш труд в колхозе?
Градов ответил:
— Моя специальность в деревне не нужна. Я сантехник: водопроводы, отопление и прочее. Придётся менять профессию.
За окнами послышался надрывный рокот мотора, звон металла. Председатель спросил:
— Слышите?
— Знакомые звуки. Трубы куда-то везут?
— Не куда-то, а…
В это мгновение из репродуктора донеслось:
— Говорит радиоузел колхоза «Прогресс».
Ольхов прибавил громкость. Костя Зимарев продолжал вещать:
— Внимание, внимание! Передаём объявление. Граждане деревни Ольховки, которые пожелают поставить в своём доме батареи отопления и краны для горячей и холодной воды, должны в недельный срок подать заявки в контору. То же самое обязаны сделать сельсовет, школа, почта, клуб и медпункт. Необходимые материалы уже поступают на колхозный склад. Для колхозников установка батарей и кранов будет производиться бесплатно. Внимание, повторяю…

Ольхов уменьшил громкость, повернулся к Градову:
— Ну как, будешь менять профессию?
Тот повеселел:
— Как я понял, колхоз намерен провести в доме отопление и воду. В таком случае…
— В таком случае твои руки окажут колхозу великую услугу. Как раз вовремя подоспела твоя специальность.
Заговорила Екатерина Васильевна:
— А моя специальность колхозу уж точно не пригодится. Придётся стать дояркой.
Григорий Павлович внимательно посмотрел на женщину. Осанка интеллигентная, руки белые, не мозолистые. Проговорил:
— Работники на фермах у нас получают хорошую зарплату. Интересно, а какая у вас профессия?
— Я технолог-кондитер.
Ольхов откинулся на спинку стула и захохотал. Новосёлы недоумевали. Видимо, в деревне слыхом не слыхали о такой специальности. Наконец председатель проговорил:
— Извините, уж не с неба ли вы свалились? Обе ваши специальности для нас на вес золота.
Екатерина Васильевна слегка улыбнулась:
— Ну уж, сразу на вес золота! Деревне это разве надо?
— Это именно для нашей деревни. Мы строим кондитерскую фабрику. Пряники пока изготовляем в пекарне. Конфеты можете произвести?
— Я технолог широкого профиля. Если есть оборудование, можно изготовить любые конфеты: шоколадные и карамель.
Ольхов достал папиросы:
— С вашего разрешения. Оборудования нет пока, но установим, когда построим фабрику. На промышленной базе в Красноярске сделали заказ. На ферму не спешите. Можете хоть завтра приступить к выпечке пряников и печенья.
Они сидели за столом и пили чай. Хозяйка посмотрела на груду чемоданов и узлов, качнула головой:
— Завтра не получится никак. С дороги надо прибраться, вещи разобрать.
Муж добавил:
— Да помыться после вокзалов да вагонов. Где тут у вас сибирские бани есть?
Ольхов подхватил:
— На подворье вашем баня стоит.
Екатерина Васильевна вздохнула, вспомнив, наверное, былое и минувшее:
— Мы, деревенские, никогда не были в деревенской бане.
— Завтра к вам придёт моя Катенька, расскажет и покажет, что к чему, растопит баньку.

### 2

Нового медика в деревне в шутку прозвали «трио». Так и обращались к нему: Олексей Олександрович. С уважением обращались. Ольховцы были вполне довольны медицинским обслуживанием. Природа наградила Офанасьева докторским дарованием. Он безошибочно определял заболевание, сразу назначал нужное лекарство. После приёмных часов

шагал по улице с дипломатом, наполненным лекарствами и шприцами. Спешил к больным старикам и бабусям. Однажды даже роды принимал.

Сейчас доктор направлялся в сельсовет. В дверях его встретил Каминский, предложил сесть на диван. Заговорил первым:

— Напрасно вы, Олексей Олександрович, пожаловали к нам. Мы пока бодрствуем. Ведь так, Антон Захарович?

Секретарь за своим столом отложил карандаш, ответил:

— Так, Василий Петрович. Со здоровьем проблем не имеем.

На это доктор заметил:

— Зато у меня есть безотлагательные проблемы.

Каминский оживился:

— Зараз решим все ваши проблемы, сей момент! А как же иначе? Народ очень доволен вашей работой. Наша власть всегда поддержит медицину. Здоровье людей — это ваша и наша первоочередная забота. Слушаю вас внимательно. Выкладывайте ваши проблемы.

Ободрённый таким приёмом, деревенский медик сразу взял быка за рога:

— Мне нужна настоящая больница, а не тесный закуток медицинского пункта!

У Каминского сразу упало приподнятое настроение. Он широко развёл руками, дружелюбно произнёс:

— Но у меня нет больницы. Где я вам её возьму?

— Надо построить! Я не могу принимать больных в таких примитивных условиях. Но я, к сожалению, не плотник. Наймите бригаду людей. Вон как на третьей улице бойко стучат топорами!

— А на какие средства нанять, позвольте узнать?

— Ну, разумеется, на государственные.

Председатель посмотрел на Офонасьева и вздохнул:

— В сельсоветском бюджете нет такой статьи. Такие расходы не предусмотрены, не утверждены.

Но Олексей Олександрович стоял на своём:

— Так утвердите и приступайте к строительству. Повторяю: мне нужна больница с просторной приёмной, с хирургическим кабинетом, с палатой для больных. А вы мне толкуете о каком-то бюджете!

Председатель посмотрел на секретаря. Тот вынул папку, раскрыл:

— Послушайте, уважаемый Олексей Олександрович! Передо мной лежит годовой бюджет нашего сельского совета. Первая статья — зарплата. Далее — расходы на отопление, электроэнергия, телефоны, канцелярские, почтовые и приобретение медикаментов для медпункта. И ни копейки — на постройку больницы. На лекарства на год отпущено три тысячи рублей, а вы уже в первом квартале израсходовали более тысячи.

Офанасьев был в недоумении:

— Кто сочинил этот нелепый бюджет?

— Районные органы.

— Вот глупые чиновники! Как я могу лечить больных, не имея в достатке необходимых лекарств?

Каминский пожал плечами, посоветовал:

— Обратись к Ольхову. Колхоз миллионами ворочает.

Ушёл медицинский работник. Тут же в дверях появились женщины. Столпились, застряли. Позади раздался звонкий голос:

— Эка Матрёна, разъелась на колхозных обедах! Была доской доска, а теперь дверь узка!

Протолкнулись, расселись. Крюковские. Целая делегация. Каминский приосанился, принял начальственный вид, строго спросил:

— В чём дело, уважаемые бабоньки? Опять повздорили? Чего не поделили?

Одна из них ответила:

— Не повздорили мы! Дружно и мирно живём. Говори, Аграфена, у тебя лучше получится.

Вторая женщина в ответ:

— У тебя, Серафима, язык подвешен не хуже, чем у меня. Ладно, скажу. Недавно у нас в деревне были поминки. Схоронили Авдотью Михайловну, земля ей пухом. Приключился с ней сердечный приступ. Была бы фельдшерица — укол бы поставила, и жить бы да жить нашей Дунюшке. У неё теперь вдовец остался с тремя ребятёнками.

Женщина сделала короткую паузу и резко закончила:

— Немедля открывайте в нашей деревне медпункт!

Опять медицинский вопрос. У Каминского сразу упало давление. Снова раскинул руки:

— Помилуйте, дорогие, из кармана-то я в медпункт не достану! Хоть режьте меня, хоть…

Поднялась со стула Марьюшка Свинопасова:

— Зачем резать? Но и миловать не будем. Открывай, председатель, ещё клуб и начальную школу. Прояви заботу о народе!

Председатель и секретарь наперебой стали объяснять, что эти их требования выполнить невозможно. Но женщины не понимаи или не хотели понимать. Твердили своё:

— Как не можете? Вы же власть!

Секретарь потрясал папкой:

— Денег нету. Бюджет не позволяет.

Произошёл взрыв возмущения:

— А когда закрывали, то этот поганый бюджет позволял?

— Не тычь под нос свои бумаженции. С ними только…

Немного успокоились. Каминский посоветовал:

— Напишите от имени всей деревни письмо главе района.

Аграфена Платоновна разразилась целой тирадой:

— Спасибо за такой умный совет! Только это мы уже испытали. Глава отошлёт нашу бумагу губернатору. Тот — в Москву, может, самому президенту. Оттуда, не читая, снова к губернатору. Дескать, столице недосуг до какой-то там деревушки. Губернатор нашу заяву в конверт засунет и отошлёт главе района. Мол, разбирайтесь на месте. Глава без ответа и привета пришлёт в Ольховский сельсовет. И сгинет наше послание в куче бумаг в твоём председательском столе.

Каминский в третий раз развёл руками:

— Вот если бы по щучьему велению, как в сказке про Емелю…

Женщины не дали договорить, все разом заявили:

— Мы не уйдём, пока не добьёмся своего!

Они поудобнее устроились на диване и на стульях. Готовы ждать хоть сутки. Каминский махнул рукой:

— Тогда я удалюсь. У меня другие дела есть.

Действительно, вышел из кабинета. Захлопнулась наружная дверь.

Женщины растерялись:

— Вот те раз! Куда же он?

Секретарь рассмеялся:

— Помчался кому-то стеклить разбитое окно.

Афанасьев тоже сидел и ждал председателя. Иринка предупредила:

— Он на объектах. Будет не скоро.

Алексей Александрович ответил:

— Буду ждать сколько потребуется.

— С председателем можно и по телефону связаться.

— У меня к нему не телефонный разговор.

Вечерело. Апрельское солнце катилось к закату. Покинули контору работники бухгалтерии. Закончила трудовой день секретарша. Появился с неизменной берданкой дед Андрон. Наконец, не заметив посетителя, в кабинет быстро прошагал председатель. За ним — Мурашов и Колтович. Алексей Александрович встал и тоже прошёл в кабинет. Над столом склонились три головы. Указывая на лист бумаги, Мурашов говорил о каком-то экскаваторе. Через полчаса инженеры удалились. Ольхов произнёс:

— Извините, Алексей Александрович, за долгое ожидание. Про вас в народе говорят: «Не медик, а кудесник».

Афанасьев сдержанно ответил:

— Я здесь не для того, чтобы слушать комплименты. Я выслушал тысячи сердец, теперь выслушайте моё.

Деревенский врачеватель поведал колхозному председателю, о чём говорил в сельсовете. В заключение сказал:

— У нас колхоз-миллионер. Неужели он не в состоянии помочь нищей медицине?

Ольхов вздохнул:

— Да, миллионер, но у него и расходы миллионные.

— Значит, и здесь отказ?

— Я этого не сказал. Понимаю и ценю ваше стремление улучшить медицинское обслуживание населения. Но вы войдите в наше положение. Начинаем прокладку труб и установку сантехники для отопления. Представляете, какие расходы? Но о строительстве больницы подумаю. Посоветуюсь с членами правления. Потерпите пока в тесном медпункте. Завтра распоряжусь, чтобы вам перечислили три тысячи рублей для приобретения медикаментии.

### 3

Егорша и Витюха положили топоры под лавки. Получили новое назначение. Теперь они — сантехники. Поступили под начало Градова. Представились:

— Егор Кудрин.

— Виталий Соболев.

Пусть знакомятся, притираются. Мы немного отвлечёмся от действующих лиц. В Ольховке четвёртая часть населения не были колхозниками. Это работники школы, почты, сельсовета, клуба. Десятка два мужиков каждое утро уезжают на работу в Журинск. Как быть с этой публикой? Обойти их дома? Но они же односельчане. А правленцы решили брать с них плату не только за батареи и краны, но и за работу по установке. Сложнее со школой и сельсоветом. В их бюджете такие расходы не предусмотрены. Колхозу платить нечем. Пришлось согласиться подождать до следующего финансового года. Не оставлять же школу со старым печным отоплением?

Нет больше Егорши и Петюхи. Люди стали их навеличивать Егором Максимовичем и Виталием Петровичем. Нет рядовых плотников. Есть сантехники. Если отбросить приставку, то звучать будет солидно. Хотя в этом деле они ни хрена не смыслят пока. Получили на складе батареи, не чугунные, а облегчённые, современные, а также краны, шланги и прочую сантехнику. Гордые, воодушевлённые, прибыли на первый объект.

Крайний дом — на околице правой улицы. Сюда доносился шум ремонтной мастерской, пилорамы, звон кузницы. Все эти звуки перекрывали рёв мотора экскаватора и грохот его ковша. Вместе с этой машиной прибыли из Журинска трое рабочих — специалисты по укладке труб. Ладно, пусть роют траншею, укладывают трубы.

Сантехники приступили к исполнению своих обязанностей. Вернее, работал один Градов. Двое глазели и служили на подхвате. Семён Игнатович подбадривал:

— Через недельку будете вкалывать не хуже меня. Дело слесарное — немудрёное. Вы — мужики смышлёные, хваткие. А пока, Кудрявый, закрути гайку. Ты, Соболёк, возьми дрель и продырявь бревно вот в этом месте.

Хозяйка с любопытством наблюдала странную, необычную работу мужиков. Когда Виталий взялся за дрель, подпёрла стену задницей и решительно заявила:

— Не дам! Ишь, чего удумали? Понавертите дыр, зимой будет сквозить.

Градов пояснил:

— Трубы надо проложить. Иначе из кранов вода не потечёт и батареи будут холодные.

Еле уговорили, убедили. К вечеру работу закончили. Затем второй объект, потом третий. Через неделю Кудрейкин и Соболев освоили первые азы новой специальности. Приспособились половчее взять нужный инструмент, не ждали команды, всё увереннее устанавливали батареи и краны, овладевали сварочным аппаратом.

Теперь за день завершали работу в двух домах. Экскаватор не отставал, грохотал прямо под окнами. Траншея продвигалась по улице. Сантехники и укладчики труб как бы составляли единую бригаду. Когда сантехники уходили, то хозяева непременно проверяли их работу. Покручивали краны, поглаживали батареи. Не верили, что от них будет достаточно тепла. Нет, печи убирать не станут. Кирпичный обогрев надёжнее. Только Костя Зимарев разобрал печь, которая много лет преданно служила и дому, и семье. Поэзия совсем

лишила мужика ума — решили сельчане. А он стоит посреди опустевшей избы и радуется:
— Довольно коптить небеса лазурные!

Повернулся к жене:
— Не горюй, Надюха, о кирпичах! Заживём по-городскому.

Екатерина Васильевна-вторая шла по деревенской улице и удивлялась. Ожидала увидеть скособоченные избёнки, полусгнившие крыши, изгороди из плетня. Перед нею по обеим сторонам — добротные дома, тесовые ворота, палисадники. Вот только весенняя грязь была настоящая, своя, деревенская. Поэтому приходилось выбирать места посуше, перешагивать через лужицы. Остановилась и глазам не поверила: вывеска «Колбасная фабрика колхоза «Прогресс»! Ну и юмор! Шутник какой-то намалевал. В деревне всегда найдётся насмешник. А вот и вторая вывеска «Мясокомбинат» — солидное здание, из которого доносятся производственные шумы. Третья вывеска уже не удивила, возвестив, что перед нею — хлебозавод. Сюда ей и надо! Вошла во вторую пекарню. Почувствовала знакомый кондитерский запах. У крайней печи две девушки вынимали поддоны с печеньем. Опытным глазом определила, что малость передержали, о чём и сказала пекаркам. Те, переглянувшись, что-то заговорили, а одна заметила:
— Тоже мне, нашлась указчица! Если вы из санэпидстанции, то проверяйте то, что положено, а в печь нос не суйте. Тут мы пограмотнее — на курсах обучались.

Екатерина Васильевна слегка улыбнулась:
— А я пять лет — в институте. Кондитер со стажем. Буду с вами вместе работать.

Вторая девушка насыпала в квашню муку, намереваясь приготовить тесто для выпечки пряников. Градова взяла щепоть муки, размяла, спросила:
— Сито есть?
— Нету. А зачем оно?
— Мука грубого помола. Для пряников не годится. Надо отсеять отруби.

Так начался её первый трудовой день.

Технологу предстояло не ударить лицом в грязь, проявить все свои способности. Но это — в будущем, когда завершится строительство кондитерской фабрики. Сначала никак не могли определить место, где её строить. На улицах не оказалось свободного пространства. За околицей? Не годится. Людям придётся шагать на работу через всю деревню. Мурашов предложил:
— Построим у подножия холма, за огородами левой улицы. Будет красиво возвышаться двумя этажами над деревней.

Одобрили. По проулку возле маслозавода тракторы повезли брёвна. К середине апреля плотники возвели половину первого этажа, бережно сохраняя ближайшие деревья.

## 4

Медянкин, заведующий гаражом, сказал председателю:
— Пиздец твоим «Жигулям»! Ремонту они не подлежат.

Ольхов махнул рукой:
— Ну отправь на металлолом.

Теперь в его полном распоряжении «Волга». Обеды стали развозить на специальном фургоне, который прибыл в колхоз прямо с заводского конвейера. Одновременно по улицам деревни засверкал стёклами и голубым корпусом новенький автобус. За рулём — Борис Петров, племянник Ивана Михайловича. Покинул «Волгу»: надоели запахи борщей да котлет. Теперь он наконец, будет возить не кастрюли, а людей. Уже сделал первый рейс в Крюковку. Мужики не пожелали садиться: испачкаем, мол, сиденья своей грязной рабочей одеждой. Так и ехали до Ольховки стоя. Благо, езды всего десять минут. Отпала необходимость в конных подводах. Бедные животные! Предстоит им иная дорога: опустив головы, побредут на бойню. Татары в Журинске любят конскую колбасу. На днях здесь зарезали первого борова из племенной породы. Колольщики доселе не видывали такой скотины. Щетину палили двумя лампами. Тушу разрубили на четыре части — иначе не поднять. Взвесили — ого! — почти двести килограммов, в два раза больше, чем обычная свинья. Мясокомбинату хватит работы на три смены. На бойню доставили второго борова, никак не меньше первого. На подходе ещё десяток подобных громил.

Бухгалтер Марков учитывал материальную часть колхозного бюджета. Когда к нему поступила накладная со склада, недоверчиво произнёс:
— Одна свиная туша — два центнера. Такого быть не может! Или весы неисправны, или кладовщик напутал.

Ему ответил Курбатов:
— Помните, Алексей Прохорович, как вы в прошлом году возмущались по поводу приобретения племенных свиноматок? Теперь расходы окупаются сторицей!
— Гм, был грех. Ну, зачем старое вспоминать?

Марков углубился в бумаги. Вот документы о перечислении колхозных денег на банковские счета районного инкубатора и какого-то енисейского рыбопитомника. Инкубатор — куда ни шло. Привезут цыплят, осенью расходы окупятся с лихвой. При чём тут рыбопитомник? Догадался. Запустят мальков в пруд, который соорудили осенью. Птица вырастает в течение лета. А сколько времени потребуется малькам, чтобы стать крупной рыбой? Этого бухгалтеру неведомо. Сокрушённо покачал головой, но отлично знал, с каким упорным трудом колхозники зарабатывают каждый рубль, который поступает в кассу. Доходы колхоза за один день перевалили за сто тысяч рублей и продолжают увеличиваться. Открыли ещё один магазин, в Степной. Идёт оживлённая торговля огурцами и помидорами. Председатель словно с цепи сорвался, отдаёт распоряжения, швыряется колхозными деньгами. Словно их бездонное количество. Сюда — миллион, туда — миллион. Зачли проводку отопления, будто ольховцы замерзают в своих домах. Тоже не в один миллион обойдётся жить по-городскому. Не свои денежки вынимает из кармана Ольхов — общественные транжирит. Купили, к примеру, тракторы, а банковский счёт

заметно отощал. Действительно, на бригадном дворе стоят три новых трактора с конвейера алтайского завода. Готовые с боевым рёвом моторов ринуться в степные просторы. На прицепе — сеялки, плуги, бороны. Рядом важничают несколько «ветеранов», заново отремонтированных в мастерской. Они достойно служили колхозу в течение двух десятилетий, а может, и более того. Вспахивали поля, засевали, перевозили грузы. Зимой вставали на ремонт. Каждый раз как выезжали из мастерской, недосчитывались многих «родных» заводских деталей. В данный момент от былой стати остались только гусеницы. Что ж, старички, послужите колхозу ещё один полевой сезон, не подведите, не развалитесь в борозде. Затем — на покой, на базу металлолома, на переплавку. Из полученного металла рабочие в заводских цехах изготовят новые машины, которые приобретёт колхоз «Прогресс». И снова бухгалтер будет ворчать по поводу опустевшей кассы.

5

— Алло. У телефона председатель колхоза «Прогресс». Кто? Здравствуй, Дербасов.

Ему в ответ:

— Я с захватчиками не здороваюсь.

— Откуда такая немилость?

— Почему твои кладовщики не открыли двери?

— Какие двери?

— Двери крюковских амбаров.

— Зачем?

— Чтобы забрать зерно.

— Это зерно выращено и собрано на крюковских полях и теперь принадлежит колхозу.

— Захватчик! Завладел колхозным зерном. Даром отдай!

— Не отдам!

— Тогда я пришлю людей и они сломают двери.

— А я сломаю шею каждому, кто приблизится к дверям.

Ольхов резко швырнул телефонную трубку. Дерибасов аккуратно положил свою на аппарат. Задумался. Этот громила действительно может свернуть шеи хоть кому. И связываться с ним не стоит. Вызвал секретаршу:

— Где свежие газеты?

Ольхов помчался в Крюковку. Зачем? Ломать шеи колхозным мужикам? Да нет. Дербасов трусоват, не пойдёт на такую авантюру. Ишь, чего захотел! Забрать восемьсот центнеров семенного зерна! Ольхов был уверен, что после резкого разговора экономические отношения между колхозом и совхозом не нарушатся. Выехал за околицу. Дорога шла вдоль Журы. Речка то приближалась, то отдалялась. Наполненная вешними водами, взыграла с молодецкой удалью, разлилась по лугам. Для машины, хоть и по грязной дороге, пять километров — не расстояние. Остановился посреди деревни. Вот — столовая, магазин. Чуть подальше — медпункт, который открыли за счёт колхоза. Все расходы с избытком перекроет крюковский навоз. Даже сюда доносится рокот экскаватора, нагружающего автомашины. Вот то, ради чего приехал. Перед ним нежилой дом. Крюковцы — не степняки, строились солидно, как в Ольховке. Дом большой, крестовый, на две квартиры. Но убрать этот дом никак нельзя: останется пустырь. Разорвётся улица, нарушится единый порядок деревни. Ладно, пусть стоит. Может, хозяин вернётся. Собрались жители, в основном женщины. Приехал председатель — надо пообщаться, узнать новости. Ольхов спросил:

— Довольны ли вы столовой, магазином, медпунктом?

— Довольны, довольны. Только…

— Что — только?

— Работы не хватает.

— Теперь к вам каждое утро приезжает автобус. Садитесь — и в Ольховку.

— Не можем на целый день отлучиться от хозяйства.

Григорий Павлович снова спросил:

— Свинарник восстановили?

— Мужики стараются.

— Птичник целый?

— А что ему сделается? Стоит, только третий год там петухи не кукарекают.

— Скоро свиней пригоним, цыплят привезём.

— То бабья работа. А мужики?

— О них не беспокойтесь. Каждый при деле будет.

Женщины оживились:

— Ой, Григорий Павлович, что вы говорите! Дай бы бог!

Председатель слегка усмехнулся:

— На Бога надеетесь? А рядом — несметные богатства.

— Где же?

Ольхов указал за левый берег речки:

— Там, в тайге. Сначала черемша, затем папоротник. А там подоспеют грибы и ягоды. Организуйте бригаду, берите корзины — и в тайгу! Вот вам и работа на целое лето.

Ольхов посмотрел ещё несколько домов. Высокие, под шиферными крышами. Словно говорят: «Мы стоим, как солдаты, в едином строю. Попробуй тронуть!» Оказался на окраине деревни. Ложбинка. Течёт ручей. Остатки зимних снегов. За ложбинкой, в некотором отдалении от улицы стоят три дома. Однако ни в одной из них из трубы не вьётся дымок. Перешагнул ручей, отправился к домам пешком. Первый — на две квартиры. Второй — ещё больше первого. Третий — простая пятистенка, жильё для одной семьи. Облегчённо вздохнул: нашёл то, что требовалось. Эти дома без ущерба для деревни можно перевести в Ольховку. Теперь надо найти владельцев. Куда их забросила судьба? Вернулся в деревню, остановился у магазина. Опасаясь, что председатель станет гневаться, продавец первым раскрыл рот:

— Плохо идёт торговля. Народ безденежный.

Ольхов оборвал его:

— Не хнычь. Ты знаешь что-нибудь про купца Юдина?

— Впервые слышу.

— Историю края знать надо! Был такой купец в Красноярске. Ловко, сукин сын, торговал. Месяца через два и ты заторгуешь по-юдински.

— А откуда у людей деньги возьмутся?

— Из колхозной кассы. А ты выбрось из головы прежние замашки. Торгуешь в колхозном магазине, а не в частном! Никаких обвесов, обсчётов, наценок! При первом же замечании вышвырну из-за прилавка, как паршивого щенка! Я ясно сказал?

Медпункт рядом. Как не зайти? Увидев вошедшего, фельдшерица всполошилась:

— Григорий Павлович, уж не заболели ли?

Ольхов — грудь колесом:

— Председателю недосуг с хворями в обнимку! А где твои клиенты?

Фельдшерица рассмеялась:

— Шумели, шумели, а как открыли медпункт, нету больных. Сижу в одиночестве. Иной раз заглянет бабулька за таблетками или сорванец — чтобы вытащить занозу из пятки.

— Так это прекрасно, коль народ здоровый!

Побывал в коровнике, в парнике, притормозил возле столовой.

— Аграфена Антоновна, не покормите ли голодного человека?

Столовая невелика, всего четыре стола. В бывшей бухгалтерии — кухня. Вышла повариха:

— Отчего же не покормить? Видать, председатель не одним святым духом сыт?

Разделся, помыл руки, присел к столу. Разговорились. Аграфена Платоновна посетовала:

— Готовлю на всю деревню, а обеды остаются.

— Отчего же?

— Не все приходят. Говорят, что стыдно садиться за бесплатный стол, коль они для колхоза палец о палец не ударили.

Ольхов рассмеялся:

— Стесняются. Да они в скором времени с лихвой оправдают обеды. Лишь бы аппетит не потеряли.

Владельцы крюковских домов оказались не за синими морями. Проживали припеваючи в Журинске. Покидать городские квартиры не помышляли. С двумя договорились сразу, оформили документы. Третий, владелец пятистенки, вначале заартачился:

— Дом почти новый. Собственными руками строил. Пятьдесят тысяч — ни рубля не уступлю.

Ольхов ответил в манере, подобающей данному моменту:

— Тогда твоя хоромина в одиночестве останется на пустыре, никому не нужная. Будут обдувать её буйные ветры, хлестать секучие дожди. Осядет оклад, прогниёт крыша. Исчезнут оконные рамы и половые доски. Может и молния ударить.

Хозяин задумался, почесал затылок:

— Гм, могут и пацаны пустить петуха. Сколько предлагает колхоз? Три тысячи? Ладно, за пропало чем попало. Давайте бумагу, распишусь!

Тракторами и грузовиками за неделю перевезли три дома из одной деревни в другую. Вот где пригодились руки крюковских мужиков! Один всё приговаривал:

— Эх, ломать — не строить, душа не болит!

Дома разгрузили по отдельности, недалеко от кондитерской фабрики. Организовали три новых бригады строителей. Во главе первой стал старшим плотником дядя Игнат. Забрал к себе братьев Свинопасовых и Якова Воробьёва. Им предстояло собрать самый большой дом. Вторую возглавил Игнат Сусанов. Пригласил крюковских плотников и, не теряя времени, приступил к установке второго, двухквартирного дома. В третьей старшим стал Иван Петров, с ним — несколько мужиков, прибывших из Средней Азии. Им досталась пятистенка. Поредевшую ермолаевскую бригаду пополнили крюковские мужики. По другую сторону от фабрики строятся три новых дома. Это свивают свои гнёзда семьи молодожёнов, которые зимой отпраздновали свадьбы. Не хотят молодые жить со старшими. Им помогают родственники. Особенно Юрию Петрову, потому что у его жены многочисленная ольховская родня: все мужики как на подбор. На их свадьбе Антонида Владимировна пожелала много внуков. Во исполнение этого пожелания у Светланы поднимается живот. Поднимается и их сруб, быстрее, чем два других. Успеть надо, чтобы одновременно справить и новоселье, и крестины.

Однажды из проулка показались грузовики с брёвнами и досками. Проследовали мимо новостроек. Остановились, разгрузились. Это из Степной доставили две избы. Семьи решили поселиться в Ольховке. Григорий Павлович посмотрел на груды досок и брёвен, произнёс:

— Не позорьте Ольховку своими скворечниками.

Два мужика скромно ответили:

— Другого жилья не имеем.

Подбросим вам брёвен. Ставьте не избы, а настоящие дома. Дам в помощь двоих плотников. На большее не рассчитывайте. За три месяца справитесь?

— Должны бы.

— Постарайтесь к уборке. Вы оба — комбайнёры.

Началась посевная. С полей до деревни доносился отдалённый гул тракторов, который перекрывал грохот экскаватора. Но этот гул и грохот современной техники не мог перекрыть стук обыкновенных топоров. Теперь не известно, кто первым начинает трудовой день — доярки или плотники. У подножия холма росла новая, третья по счёту улица, которую стали называть Подгорной. Ряд за рядом поднимались новостройки. Особенно быстро поднимались дома, привезённые из Крюковой. Брёвна готовые — знай укладывай. В иных деревнях района целые улицы исчезают — поминай, как звали. А в Ольховке второй год стучат топоры, визжат пилы. Не успеют плотники закончить одну стройку, как на очереди другая. Деревня, где стучат топоры, не приходит в упадок. Здесь жизнь бьёт ключом.

## Глава восьмая

### 1

Май. Читатель, наверное, думает, что автор сейчас будет описывать все прелести и достоинства этого чудесного месяца. Не скрою, есть такое желание. Но, увы! Поэты всех времён и народов прекрасно описали в своих творениях майские цветы, шелест молодой листвы, пение птиц и пламенеющие закаты весеннего солнца. И, конечно же, любовь, страстные жаркие поцелуи под кустом цветущей черёмухи. Нет, не угнаться за поэтами

простому рядовому прозаику. Ему остаётся описать весенние трудовые будни крестьянина. В мае в Сибири посевная—в полном разгаре. Но и здесь автора данной повести ждёт неудача. Опоздал! На эту тему уже написаны сотни романов. Уже читано и перечитано о том, как бородатый мужик за сохой шагает по борозде. Или так. По широкому колхозному полю на полном ходу движется агрегат сеялок. В прежние советские времена период ранней весны до самой глубокой осени объявлялся «битвой за урожай». Именно «битвой»—ни больше, ни меньше. Вместе с крестьянами в сражение за урожай вступали рабочие заводов, студенты и даже воинские роты и батальоны. Тысячи городских автомашин колесили по грязным, разбитым сельским дорогам. Начальники районных учреждений покидали прокуренные кабинеты и с удостоверениями уполномоченных спешили на деревенские хлеба. Что они делали? Да ничего! Разъезжали по полям, наслаждались природой. Газеты трубили о победах на трудовом фронте. Столько-то посеяно, столько-то убрано и сдано в закрома государства. После «битвы»—рапорты в вышестоящие органы, с завышенными показателями, с наглой припиской. Зато ордена—райкомовцам, а медали—колхозникам.

Ныне на степных просторах колхоза «Прогресс» ничего подобного не происходит. Где битва за урожай? Где утомлённые, закопчённые лица механизаторов? Где свора уполномоченных? Нету, кануло в прошлое. Полеводческая бригада спокойно и уверенно ведёт посевные работы. Гудят моторы тракторов. Переворачиваются пласты вспаханного чернозёма. Погромыхивают на поворотах сеялки. Как по графику, подъезжают грузовики с семенным зерном. Вовремя прибывает фургон с горячим обедом. В привычном темпе трудится бригада. Уже посеяны овёс, ячмень, горох, гречиха. Теперь—черёд пшеницы, основной культуры. Больше нам нечего указывать о тружениках полей. Покинем степные просторы.

Читатель огорчён? Напрасно. Настоящая битва разворачивается не на полях, а в городе Журинске. Битва между конкурентами, между колхозом «Прогресс» и курбатовским совхозом. Курбатовцы первыми поставили на базаре ларёк и стали торговать черемшой. Заместитель директора опередил председателя. Молодой, энергичный. Разве угонишься за таким скакуном? Им наперекор ольховцы открыли на базаре два ларька. Благо, площадь просторная. Покупатели валят толпой. Ещё по одному ларьку поставили на Пролетарской и Чкаловской улицах. Наряду с Ольховскими в тайгу устремились и крюковские женщины. Черемша щедро пополняла колхозную кассу. А курбатовцы снова опередили ольховцев. Выкинули на прилавки своих магазинов огурцы и помидоры. Сразу видать, не менее, чем из трёх парников. Не устоять бы одному Ольховскому под таким напором. Да успели колхозные огородницы собрать первый урожай на двух дополнительных парниках. На подходе—огурцы в парнике под рамами. Засновали машины между городом, Ольховкой и Крюковой.

Четыре ларька торгуют огурцами и помидорами, насыщают овощами чрево города. В овощном комбинате закладываются в бочонки малосольные огурчики. Что, курбатовцы, не можете так работать? Нет укропа? На ольховском складе вся стена увешана пучками сушёного укропа. Поделиться? Э, нет, конкуренция не позволяет. Через недельку-другую пойдёт майский мёд. Чем ответят курбатовцы? Ничем? Ах, у них нет пасеки. Жаль. А то бы учинили сладкую конкуренцию.

Битва продолжается, то затихая, то разгораясь с новой силой. Без автоматных очередей, без поджогов и взрывов. Приходилось оглядываться и на частных торговцев. Они не дремлют. В любой момент способны поставить западню, сунуть оглоблю в колесо. Курбатовцы наступали ольховцам на пятки. Запустили в производство пекарню с электрическими печами. Открыли хлебный магазин. На улице Пролетарской, в трёх кварталах от Ольховских магазинов. Подбираются вплотную. Не укажешь. Ольховцы без ответа не остались, на удар ответили очередным ударом. В обеих пекарнях металлические печи стояли на некотором расстоянии друг от друга. А нельзя ли их передвинуть? Задумано—сделано. На свободное место установили ещё по одной печи. Увеличили выпечку хлеба, батонов, ватрушек, шанежек. Опять проблема. Беляцкий никак не может погрузить всю продукцию. В дневные часы мобилизовали автобус для перевозки черемши и овощей. Курсируют по городу колхозные машины, доставляя продукты по торговым точкам.

Экскаватор уже грохочет недалеко от конторы. Из Крюковой прибыл колхозный экскаватор, засыпает траншею после укладки труб. Монтажники на несколько дней застряли в школе. Впереди быткомбинат, колбасная фабрика, здание мясокомбината. Понял Ольхов, что свои монтажники не справятся с таким объёмом работ. Пришлось пригласить из городского жилищного управления ещё троих специалистов.

А что у строителей?

Бригада дяди Игната укладывает последний ряд сруба. Сусанов устанавливает стропила. Петров накрывает крышу на пятистенке. Ермолаевы поднимают брёвна на второй этаж кондитерской фабрики.

## 2

День Победы ольховцы отметили митингом. Нерушимая традиция. Собрались на площади не менее ста человек. С высокого крыльца сельсовета Каминский произнёс пламенную, страстную речь. Проклял фашистов, напавших на процветающий Советский Союз, отметил героизм Красной армии. Не забыл тружеников тыла. А закончил взятием Берлина. Подобные речи он произносил по десять раз одно и то же. Повторял каждое слово, каждую фразу. Менял только дату годовщины. Народ не обращал на это внимания. Складно и бойко говорит оратор, да и ладно. Минутой молчания почтили память земляков, погибших в боях. У многих выступили слёзы. Ведь это были их родные и соседи. Хор клубной самодеятельности исполнил

«Священную войну». Площадь дружно, в едином порыве подхватила припев:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…

Разошлись, чтобы продолжить праздник за столом. Сегодня выходной. Не гремят мясорубки мясокомбината, пустые квашни хлебозавода, не стучат топоры плотников. Выходной, да не для всех. Спешат механизаторы в поле, животноводы — на фермы.

В доме Акима Злобина скромное застолье. Сидят трое: сам хозяин, Василий Авдеич и Иван Никитич. На каждом — гимнастёрки латаны-перелатаны. На груди — ордена и медали. Фронтовики, гвардейцы. Каждый из них помнит девятое мая сорок пятого года, помнит День Победы сорок шестого. В клубе за длинным застольем их было сорок два фронтовика, вернувшихся с войны. Многие — с одной рукой или протезом вместо ноги. Один с тёмными очками, прикрывающими пустые глазницы. Пили самогон, закусывали квашеной капустой, пели фронтовые песни, плясали под гармошку. И, конечно, вспоминали. У каждого было что поведать о походах и сражениях. Особенно отличался Степан Медянкин. Постучит вилкой по тарелке:

— Тихо, я буду говорить! Под Москвой я командовал взводом. В одном бою мои орлы уничтожили целую роту врага!

Через год Степан якобы уже командовал на Курской дуге целой ротой и уничтожал фашистов батальонами. Ему поначалу верили: на войне всякое могло случиться. «Карьера» Степана, если верить ему, двигалась стремительно. В Белоруссии он уже капитан, командует батальоном, пленил целый вражеский полк. В Пруссии он — майор. Если бы не закончилась война, он дослужился бы до полковника. Когда Степан умер, в его семейном архиве нашли удостоверение командира взвода, сержанта Медянкина, и две медали. Любили прихвастнуть и некоторые другие. Так, самую малость, для красного словца. Вот Аким Фёдорович не любил вспоминать о войне. Отмахивался:

— Я не воевал, в окопах не сидел, в атаку не ходил, гранаты не швырял. Был убийцей в полном смысле этого слова. Прятался в болотных кочках, на ветвях деревьев сидел, укрываясь, на чердаках — везде поджидал своих жертв. Смотрю зорко. Палец на курке снайперской винтовки. Высунется ротозей из немецкого окопа — тут ему и капут. Отвоевался! Фрау его скоро получит извещение, что её Ганс героически погиб на Восточном фронте.

Последние четыре зарубки на ложе своей винтовки Аким Фёдорович сделал в Берлине.

Василий Андреевич спросил его:

— А сколько всего зарубок у тебя на винтовке?

— Восемьдесят восемь.

Иван Никитович воскликнул:

— Ого! А говоришь, что не воевал. Не зря ты награждён тремя орденами Славы. Это — то же самое, что Герой Советского Союза. А я Будапешт штурмовал. Крепко, гады, засели, как мы в Сталинграде. Только мы устояли, а у фашистов жила тонка оказалась. Руки перед Иваном подняли.

Заговорил Иван Никитович:

— А меня угораздило в первом бою подбить танк. Прёт прямо на мой окоп, гусеницы лязгают в пяти метрах. Вот она, смертушка, помолиться не успею. Сам не знаю, как вышло. Швырнул под гусеницу связку гранат, а в башню — бутылку зажигательную. Только потом страх пришёл, колени задрожали.

Сидят за столом трое, неторопливо попивают водочку, закусывают колбаской, похрустывают свежими огурчиками. Нет среди них тридцати девяти боевых товарищей. Отошли в мир иной. Вспомнили каждого по имени-отчеству. Вечная им память! Скоро и их черёд. Каждому всё же уже за восемьдесят перевалило. Прошла жизнь — и боевая, и трудовая. Деды. Пенсионеры. Осталось одно удовольствие — понюхать табачок у внуков. В дверь постучали. Наверно, Ванька и Мишка. Пьяницы, за версту чуют, где на столе бутылка стоит. Но они бы бесцеремонно перешагнули порог. Тут культурно постучали. Значит, кто-то другой.

— Войдите!

Вот так гости! Оба председателя — колхозной и сельской власти. Ольхов вручил фронтовикам конверты, в которых лежало по пять тысяч рублей. Водрузил на стол три пакета, поставил три бутылки коньяку. Каминский огласил поздравительное письмо от имени сельской власти. Хозяин пригласил гостей к столу. Не отказались. Григорий Павлович отодвинул недопитые стаканы, взял бутылку коньяка:

— Аким Фёдорович, поставь другую тарию!

Наполнил пять рюмок и произнёс:

— Гвардейцы, поздравляем вас с праздником Победы!

Каминский добавил:

— Желаем стального здоровья, радостного счастья и долгого благополучия!

### 3

Дед Андрон решил построить новую баню. Старая покосилась, собралась завалиться на бок. Хорошо отоспался на дежурстве, плотно позавтракал и приступил к работе. Брёвнышки не толстые и не длинные. Как раз для бани. Спасибо Юрке Петрову — подкинул из тайги. Взял топорик и, не торопясь, тюк да тюк по сосновому дереву. На сына нечего надеяться. Ему не до бани. От восхода до заката рыскает по полям да по фермам. Только хвост вороного развевается по ветру. За неделю уложил четыре ряда сруба. На пятом получился полный конфуз. Прямо-таки опозорился. Обработал очередное брёвнышко, попытался уложить. Да не тут-то было! Дерево никак не желало лечь на своё место. Попробовал за один конец, за другой. Напрасно! Брёвнышко словно приросло к земле. Поднять его силёнок не хватает.

На соседнем огороде, за низенькой изгородью, трудилась над грядками Олимпиада. Девке двадцать три года, телом — кровь с молоком. Когда шёл девятнадцатый, от женихов отбою не было. Выкобенивалась: один слишком курносый, у другого бородавка на носу, у третьего имя некрасивое. Не помогало даже красноречие свахи Варвары Семёновны. Когда перевалило за двадцать, и женихи

отвалили. Так и осталась старой девой. Увидела, как мучается дед Андрон, перескочила через изгородь и в один миг уложила брёвнышко. Старик не успел опомниться, как мелькнул над изгородью бабий зад, обтянутый чёрной юбкой. Вот, что значит молодость! Когда-то и он был таким же ловким и сильным. Присел на брусок, задумался. Припомнил рассказ своего деда Кондрата—того самого, что партизанил супротив Колчака. Поведал ему тогда старик о том, что недалече от их деревни протекает родник. Вода в нём особая на вкус, необычная вода, не похожая на ту, что в речке течёт, в Журинке. Однажды будто приехал поп, проклял дьявольский источник и велел камнями забросать. Не указал тогда дед, где был тот родник. А может, называл то место, да запамятовал Андрошка. Глупый мальчишка, всё о детских забавах думал. А может, та вода была самой животворной, о которой вещают народные сказания? Найти бы тот родник, испить бы той водицы. Авось снова стал бы удалым молодцем. До конца дня эта мысль не покидала его седую голову. Долго не мог уснуть на привычном конторском диване. Думы, одна за другой, радуют душу и ободряют. Представлял себя не стариком, а молодым парнем. Гуляет якобы с девками, ремень гармошки через плечо. Ух, как весело! Будущее представлялось совсем близким, вполне осуществимым. А как с Марьей быть теперь? Молодому она, старая, не пара. Фу, какое скверное имя у неё! Как это он умудрился жениться на такой скырле? То ли дело Олимпиада! Звучит гордо, по-современному. А какие бёдра, груди! Подожди, Олимпиадушка, недолго осталось страдать тебе одинокой девой. Вот найду целебную водицу… Утром взял не топорик, а ведёрко. Старуха удивилась:
—Далеко ли собрался?
—Прогуляюсь по лесу.
—А ведёрко зачем? В лесу ещё ни грибов, ни ягод.

Неведомо старой женщине, какую судьбу уготовил ей муженёк, с которым прожила почти полсотни годочков. Вышел дед Андрон на крыльцо. Молодая деваха копалась в своём огороде. Ловкая, статная. Полюбовался, аж дух захватило. Старый ты хрыч, тебе ли глазеть на такой товар? Ступай, ищи родник. Может, под счастливой звездой родился.

Лес встретил его всеми майскими прелестями. Старик не обращал внимания на красоты природы. Искал давно исчезнувший источник. Останавливался в каждой ложбинке, тщательно обследовал каждый метр. Не находил никаких признаков каменного завала. Домой еле ноги дотащил. Старуха взглянула в пустое ведро, усмехнулась:
—Андронушка, где ж твоя добыча? Даже черемши ни единого пучка не принёс.

Старик сердито ответил:
—Сама сходи да нарви.

Три дня дед Андрон бродил по окрестным лесам. Напрасно! Родник как сквозь землю провалился. Зародилось сомнение. Не набрехал ли сибирский партизан? Может, сказку про белого бычка сказывал неразумному внуку? Да только не похоже. Сказки по-иному рассказывают. На четвёртый день направился он на луга, на сенокосные угодья. Земля, вспоённая разливом талых вод, отвечала буйно разраставшейся травой, которая уже почти до колена вымахала. Поодаль пасётся стадо коров. Вот и свой, агаповский покос. Вот овражек, за которым начинаются крюковские угодья. Там неширокая поляна, за нею—берёзовая роща. Солнце уже припекает по-летнему. Чего стоять да глазеть по сторонам? Спустился по отлогому уклончику. Овражек тянется до самой речки Журинки. По нему стекают весенние талые и дождевые воды. Направился к вершине. Чем выше поднимался, тем почва под ногами становилась влажнее. Остановился. Перед ним—завал, куча земли, из которой торчали камни. У самых ног два больших валуна, а между ними сочилась струйка воды. Неужто нашёл? Отставил ведёрко, опустился на колени, раздвинул камни. Струйка стала шириной с карандаш. Старик начал лихорадочно разгребать завал, пригоршнями отбрасывать землю. Обдирая ногти, вытаскивал камни. Ручеёк забурлил родничком. Вода потекла по дну овражка. Дед Андрон перекрестился, как бы снимая с источника поповское проклятье:
—Слава тебе, Боже!

Теперь надо испробовать водицу. Та ли, которую искал?

Склонился, зачерпнул пригоршню, глотнул, поперхнулся. Фу, какая гадость! Ишь ты, как шибануло в нос. Вода холодная, аж зубы заломило. Не то горьковатая, не то солоноватая. Чёрт разберёт, какая, якри её в душу. Не отрава ли? Однако насмелился. Снова опустил ладони в ручеёк. Нет, на этот раз вода не оказалась противной. Наоборот, захотелось испить ещё. Наклонился к источнику, припал губами и начал пить необычную воду, позабыв о том, что можно схватить простуду. Наконец выпрямился, погладил наполненный живот. И вдруг почувствовал себя бодрым и помолодевшим. Или так, показалось? Да нет. Тело наполняется энергией, кровь быстрее движется по жилам. Не знал старик, что на организм так подействовала минеральная вода. Неведомо ему было, какое он, Андрон Агапов, совершил сегодня открытие.

## 4

Дед Андрон возвращался домой с ведёрком, наполненным благодатной, бесценной водой. Шагал неторопливо, осторожно, чтобы не расплескать ни единой капли. Выходил за околицу неприметным старичком, возвращался героем, победителем. На лице—торжество, во взгляде—сияние. Хотя уверен, что это была не та водица, которая вернула бы ему молодость. Не понадобится теперь помощь Олимпиады, он сам будет укладывать брёвнышки хоть на седьмой, хоть на девятый ряд. Просто забрасывать, легко, с молодецкой удалью. Мускулы наполнятся силой, морщины исчезнут, волосы станут чёрными, кудрявыми. За калитку выйдет—соседи ахнут: «Ты ли это, Андрон?» Интересно, на сколько лет он помолодеет? На двадцать, тридцать или сразу на пятьдесят? Размечтался старина, не заметил, что оказался у своих ворот. Бережно поставил ведёрко на лавку

в сенях. Марья увидела, подивилась: где старик набрал такой чистой, прозрачной водицы? Зачерпнула кружкой, глотнула и тут же выплюнула.
— Гадость какая! У свинарника, что ли, зачерпнул? Ведро только испоганил.
Схватила ведро за дужку, намереваясь опрокинуть, но дед Андрон успел остановить:
— Не смей, старая ведьма! Не для тебя припасено.
На «старую ведьму» Марья сумела бы достойно ответить, но не успела. В сени забежал Андрей:
— Ух, и жарища! Во рту пересохло.
Увидел ведро с водой, прямо через край стал пить, утоляя жажду. Потом отпрянул с удивлённым лицом. Снова глотнул и начал пить, утоляя жажду. Мать смотрела испуганно и изумлённо, ждала, что вот сейчас вывернет сына наизнанку, кинет на крыльцо. Но отец недовольно пробурчал:
— Присосался, сейчас половину опорожнит.
Андрей оторвался от ведра, повернулся к отцу:
— Папаня, где воду брал?
Тот заупрямился:
— А тебе зачем знать?
— Повторяю, где брал воду?
Дед Андрон схитрил:
— Шёл по берегу речки и зачерпнул.
— Неправда, вода отличается от речной, как порося от карася.
— Вода как вода, ничего особенного.
— Именно особая! Чистый нарзан!
Такое слово старик слышал впервые. Неужели его тайна будет раскрыта? И продолжал стоять на своём:
— Говорю же, в Журинке зачерпнул.
Андрей упрямо гнул своё:
— Говори! Мне не скажешь, будешь говорить Каминскому или участковому милицонеру.
Куда денешься? Дед Андрон тяжелехонько вздохнул:
— Скажу. Только не пугай сельсоветом.
— Выкладывай.
— В овражке, на краю нашего покоса.
Через час Андрей ракетой влетел в кабинет председателя. Тот оказался на месте. Андрей поставил перед ним пластиковые бутылки, заткнутые клочком газеты.
— Ну-ка, попробуй!
Григорий Павлович наполнил стакан. В нос шибануло газом. Утолил жажду и от удовольствия крякнул:
— Хороша минеральная водица!
Повертел бутылку. Агапов рассмеялся:
— Не ищи этикетку. Наша вода, Ольховская.
— Как так?
Андрей рассказал о том, как его отец несколько дней ходил по окрестным лесам, и в трёх километрах от деревни обнаружил источник. Закончил:
— Я, как глотнул, сразу понял — нарзан. Пил такую воду на Кавказе, когда служил там в армии.
На следующий день Ольхов мчался в Журинск, выжимая из «Волги» предельную скорость. На заднем сиденье катались бутылки, наполненные минеральной водой. Новость о найденном роднике ворвалась в каждую городскую квартиру, волной пронеслась по всем деревням и сёлам района. К роднику началось паломничество, как в Киево-Печерскую лавру. Первыми нахлынули жители Ольховки и Крюковой, затем из более отдалённых мест — особенно из Журинска. Ехали на легковых машинах, на мотоциклах. Даже рейсовые автобусы сворачивали с трассы и останавливались возле родника. Люди пили воду, наполняли ею бидоны, бутылки и фляжки. Появилось даже несколько палаток. Больные-сердечники и желудочники старались излечить волшебной водой свои недуги.
Приходил к источнику каждый день со своим ведёрком и дед Андрон. Огорчался, как погибает его покос под колёсами множества приезжающих сюда машин. Потом примяли траву, проложили настоящую дорогу. Но ещё больше огорчало его то, что посетители небрежно и бесцеремонно обращаются с родником, толпятся возле него, расплёскивают драгоценную водицу, швыряют окурки, слишком много набирают и увозят. А что если источник закончится, иссякнет? Ведь это не река Енисей, не море Балтийское. Воды подземные не бесконечны ведь. Не выдержал дед, взял бердану и пошёл наводить порядок. На дне овражка проложил доску вместо мостика. Посетителям запретил толпиться у родника. Пусть по очереди спускаются в овражек. Водителям велел ездить только по наезженной колее. С покоса распорядился убрать палатку и переселиться в берёзовую рощу. Больные не возражали. Наоборот, удивлялись, как это они сами не догадались. Люди с усмешкой поглядывали на старичка со стареньким ружьишком, но признавали правильность его требований и подчинялись. Так дед Андрон добровольно принял на себя обязанности хозяина источника. Взвалил на свои старые плечи второе дежурство. Кто же это будет делать, если не он, первооткрыватель родника?

**5**

Ольхов в Красноярске. Два дня ходил из одного здания в другое, из кабинета в кабинет, от Ивана Ивановича к Петру Петровичу, затем к Кузьме Кузьмичу, потом… Потом не помнит ещё к кому. В конце концов снова оказался в кабинете Ивана Ивановича. Крепки ноги у ольховского председателя, но и они подкосились. Рухнул на мягкий стул:
— Ух, дважды уже по кругу всё обежал. Норму на мастера спорта по бегу уж сдал.
Начальник качнул лысой головой:
— Не подписали? Полный бюрократизм.
— На бумагу даже не взглянули. А там указаны результаты анализов минеральной воды, дано разрешение на право розлива и торговли. Ну чего им ещё надо?
Иван Иванович хихикнул:
— Сухая ложка рот дерёт.
Ольхов вскочил, будто на него обрушили ушат кипятку:
— Что-о? Взятку? А редьку с хреном не хочешь? Подписывай мою документию, или я разнесу столешницу по кускам!
Глаза начальника сверкнули гневом:
— Угрожать вздумали?

Его рука потянулась к телефону. В тот же миг посетитель оказался рядом с креслом. Над лысиной начальника навис огромный кулак, словно булава Ильи Муромца:

— Прежде чем меня арестуют, я расплющу тебя, как тараканию! Бери перо! Живо! Вот так. Теперь пришлёпни печатию. Пока, бывай во здравии.

Опомнился Ольхов, когда оказался на тротуаре. Надо же, ворвался, как разбойник. Ведь его могли арестовать. Здорово перепугался Ванька! Нельзя поручиться за чистоту его кальсон. Зато вот она, патентия на право розлива и торговли минеральной водой. По всей форме оформлена сроком на три года. Зашагал на стоянку, сел в свою машину. За три часа остались позади триста километров. Показались крыши ольховских домов. Пламенел закат. Из машины доносилось громкое пение:

Выходила на берег Катюша…

Через пару дней возле родника появилась колхозная палатка. Доставили необходимое количество бутылок. Колтович сконструировал примитивное устройство. На деревянный помост поставили бочонок. Сверху—шланг, снизу—кран. Вода поступает в бочонок и выливается в бутылку. У крана сел Санька-длинный. Помощница его—Олимпиада. Она со смехом сказала:

— Какой ты, Санька, длинный да тонкий! Натянуть струны, и получится балалайка.

Парень не обиделся, со смехом ответил:

— А ты пышная, как оладушка.

И, напустив на себя строгость, продолжил:

— Довольно балясы разводить! Не для того мы здесь, приступаем к работе.

Он наполнял бутылки, она закручивала пробки, пришлёпывала этикетки «Ольховская минеральная вода». Бутылки устанавливали на помост, накрывали от солнца пологом. Работа оказалась несложная, поэтому через пару часов руки двигались автоматически, словно исполняли давно привычное дело. Лихо подкатил и развернулся колхозный автобус. Борис погрузил сто бутылок и развёз по ларькам в Журинске. Как пойдёт торговля родниковой водой? Как встретят покупатели очередную Ольховскую новинку? Григорий Павлович звонил то в один ларёк, то в другой, и ему неизменно отвечали:

— Торгуем. Покупают.

— Уже заканчивается вода, мало привезли.

После обеда отправили ещё сотню бутылок. Олимпиада ворчала:

— Балалайка, не спеши. У тебя так всё просто—фыр—и готово! А у меня две операции.

— Успевай, пышная оладушка!

Теперь доступ к роднику посторонним был воспрещён по санитарным правилам. Один из посетителей попытался спуститься в овражек с бидончиком в руке—ему в грудь тут же упёрлось дуло берданки:

— Назад, якри тя в душу!

Поток посетителей не уменьшался. Улучив момент, Санька всё же наполнял тару нежданных клиентов. Этим дед Андрон был глубоко огорчён и озадачен. Вон как круто обошлись с его родником! Председатель и тут успел наложить свою лапу. Но Андрон по-прежнему стоял на дежурстве, на страже порядка.

Однажды дед заметил, как чья-то легковая машина движется напрямик, подминая траву. Встал ей навстречу, выставив ружьё. Водитель высунулся из кабины:

— В чём дело, старина?

— Ты нарушил правила движения, потоптал сочную траву. А потому по нарушителю открываю беглый огонь.

— Да как же ты откроешь, если ружьё не заряжено?

— А ты откудова знаешь?

— Да по всему видать, что валялось на чердаке лет полста.

— Любая оружия, даже не заряженная, якри её в печёнку, один раз в году стреляет сама по себе.

На другой день в город отправили триста бутылок. Оттуда один за другим звонки:

— Мало! Никакую не берут, требуют «Ольховскую»!

Санька и Олимпиада работают без отдыха. На помощь прибыли две девахи из Крюковой. Установили второй бочонок, расширили помост. Оказалось, и этого мало. Лето вступило в свои права. Стояли жаркие дни. Город хотел пить. Хотел ольховской минеральной воды, которую колхоз продавал по пятнадцать рублей за литр. Курбатовцы на это ответили свежей рыбой. На угодьях совхоза было озеро, там они развели карпов, и сейчас стали продавать крупную рыбу. А в ольховском пруду плавали пока только мальки, запущенные после весеннего полноводья.

Олимпиада ущипнула Саньку за бедро:

— Балалайка, куда свои зенки уставил?

— Смотри, какие у Ольги красивые ножки.

— Не для тебя! Это чужие девки!

— Как же чужие? Это ж наши, колхозницы.

— Ещё разочек взглянешь…

— Оладушка, ты никак ревнуешь?

— Ты на мои ножки смотри. Они красивее, чем у этой крюковской выдры!

Дед Андрон, не щадя своего живота, пил родниковую воду, а потом через каждые полчаса удалялся в сторонку, в кусты. Дома украдкой от Марьи смотрелся в зеркало. Седина, как всегда, царствовала на голове. Ни один волосок не потемнел. Не исчезли и морщины. Щетина на щеках и подбородке растёт, кажется, ещё быстрее. Не прибавилось и силы. Попробовал было поднять брёвнышко на очередной ряд, да только пупок надорвал. Пришлось старуху покликать. Вдвоём покряхтели, приловчились и уложили. Уф! Отчего силы не прибавляется? Где долгожданная молодость? На какой станции задержалась? Может, как-то иначе надо пить родниковую воду? Скажем, приготовить травяной настой? На своём покосе дед Андрон наугад набрал трав и кореньев, приготовил отвар. Как испил, потом три дня, не успев спутить штаны, бегал, как молодой, в уборную со скоростью спортсмена.

## Глава девятая

**1**

Григорий Павлович стоял на высоком берегу пруда. На том самом месте, где осенью над его головой просвистела пуля. Никому не сказал о коварном поступке Василия Усачёва, как и об анонимках Бориса Петрова. Зачем? Люди станут их презирать, упрекать, отворачиваться при встречах. Это только обозлит, натолкнёт на новые неприятности. Пусть себе спокойно живут-поживают. Орлов с напарником исчезли, приземлились где-нибудь в Иркутске или в Омске. Тот выстрел прогремел из тальников, которые вырубили, когда сооружали плотину. Высокая получилась. Надёжно перекрыла поток Журы. Пруд раскинулся до подножья холма, затопил низкий левый берег. В длину протянулся почти до самой деревни. Весной, после половодья, запустили в пруд несколько тысяч мальков. Привольно здесь будет рыбке. Вон выплеснулся малёк, серебристо сверкнул на солнце и исчез. Осётр или форель? Второй сверкнул спинкой. Ишь, разыгрались! Придёт срок, и накроем курбатовских карпов да карасей ольховскими осетрами.

Ольхов уже стоит на берегу другого пруда, возле мельницы. Перед ним—та же спокойная водная гладь. Но картина иная. Не плещутся, не резвятся рыбёшки. Сотни утят—ещё малые птенцы, но плавают и ныряют не хуже взрослых птиц. И отчаянно пищат, хоть уши прикрывай. Поглядел председатель на утиное царство—и довольно. Долго глазеть на птенцов нельзя. Сглазить можно—народная примета. Не верил, но невольно покорился, отвернулся и зашагал к машине. Сегодня Ольхов не остановился у маслозавода. Миновал хлебозавод и другие предприятия. Пусть начальники сами справляются с очередными проблемами. У него иной маршрут. Побывать на двух прудах и на пасеке. За поворотом показалась изба и ряды ульев. Подкатил на малой скорости, выключил двигатель. Тишина, которая бывает только на пасеке: ни грохота экскаваторов, ни перестука топоров, ни перебранки соседок из-за какого-то пустяка. Здесь и воздух особенный, пасечный, прибавляет бодрости. Блаженный покой! Только жужжание пчёл, непрерывное, неутихающее. Они не обращают внимания на приезжего. Им не до того. В погожие дни надо успеть собрать нектар, наполнить соты пахучим мёдом. Потяжелевшие рамки пчеловоды вынимают из ульев, вставляют другие, с тонкой вощиной. Пчёлы словно не замечают этой подмены, старательно наращивают воском ячейки, вновь наполняют мёдом. Пчеловоды вставляют рамки в медогонку, и ароматная влага, собранная сотнями и тысячами трудолюбивых насекомых, стекает во фляги. Нынче нет туесков: не дали под топор ещё одну берёзовую рощу. Фляги отвезут в овощной комбинат. Разольют мёд в стеклянные банки, которые может доставить по назначению в целости и сохранности только один шофёр—Беляцкий.

Ольхов присел на чурбачок в сторонке. Не следует путаться среди пчеловодов. У них натурально горячий, жаркий день. Работают неторопливо, без спешки и суеты. Пчёлы не любят быстрых, резких движений. Медогонка крутится, фляги наполняются одна за другой. Грузовик увезёт фляги в деревню. Завтра Беляцкий доставит банки с мёдом в городские магазины. Роман Филиппович встанет за прилавок: «Цена повысилась? Всего-то на тридцать рублей. Зато будете пить чай с самым лучшим вкусным мёдом от Иртыша до Амура». Так и скажет. Или примерно так. А пасека стала велика—больше двухсот ульев. Роятся пчёлки, размножаются. Вторую надобно строить. На днях заглянул на заброшенную крюковскую пасеку. Домишко и омшаник сохранились. Вокруг валяются перевёрнутые улья, поломанные рамки. Ржавеет позабытая медогонка. Указал крюковскому бригадиру, чтобы навёл на пасеке порядок, назначил двух пчеловодов.

Мысли снова вернули его в Журинск. За последнюю неделю третий ольховский магазин снизил выручку. Попробовал разобраться и увяз в ворохе приходных и расходных документов. Туда отправился главный бухгалтер Курбатов. Разберётся. Это по его части. Тут ещё акт санэпидемстанции. В чайной по улице Чкалова обнаружены безобразия. Само собой, учинил разнос. Поступило заявление от покупателей. В ларьке на базаре недовешивают огурцы и помидоры. Этого ещё не хватало! Дал продавцу под задницу. Не в буквальном смысле, конечно. А следовало бы. Не успевает вовремя за всеми доглядеть. Не слишком ли много взвалил на свои плечи? Надо назначить Романа Филипповича старшим над всеми магазинами и ларьками города. Есть такая необходимость. Пусть контролирует торговлю. У него это лучше получится. У председателя обязанностей не уменьшится: на проводке отопления и воды каждый день возникают проблемы. Зазвонил телефон:

— Говорит экскаваторщик.

Лёгок на помине!

— А что случилось?

— Закончили правую улицу. А дальше куда?

— Двигай вперёд, до самого Журинска.

— Шутите, Григорий Павлович.

— А то сам не знаешь куда? Поворачивай назад и начинай кромсать левую улицу. Ясно?

В избе выпил две кружки медовухи. Вроде обмыл трудовую победу на укладке труб. Хмельная, чертяга-голова слегка закружилась. Растянулся прямо на полу. Через несколько минут пчеловоды услышали из избы богатырский храп. Переглянулись. Усмехнулись. Догадались.

— Подкосила председателя наша медовуха. До вечера теперь не проснётся.

Но через час Ольхов стоял на крыльце. Подозвал старшего пчеловода, распорядился:

— Подготовьте семьдесят ульев для отправки на крюковскую пасеку.

**2**

Екатерина Васильевна пропалывала грядки. Гришенька утром и вечером из шланга обильно поливает весь огород. Морковь выбросила метёлки. Ярко зеленеет луковое перо, огурцы набирают цвет. Растёт, растёт каждая овощь. Обилие воды

и солнца благоприятны и для сорной травы. Она, окаянная, кажется, растёт не по часам, а по минутам. Не услышала, как приблизился Григорий Павлович. Вздрогнула от его голоса:
— Кончай копаться на огороде. Собирайся.
— Куда?
— Я же утром тебе говорил, что сегодня новоселье в двух домах на Подгорной улице.
— Ой, Гришенька, насмешил! Новоселье вечером, а сейчас четыре часа пополудни. Я успею прополоть ещё несколько грядок.
— Тогда не успеешь собраться. На это тебе понадобится не меньше трёх часов.

Катенька только вздохнула и направилась к дому следом за Гришенькой. Он побрился. Она раскрыла платяной шкаф. Что же надеть? Даже глаза разбежались. Ладно, пусть подбирает наряд. Председатель не может зря терять время. Взял телефонную трубку:
— Пётр Тимофеевич, как поживает твоя мастерская? Каждый день по десять шкатулок? Ясно. Тебе придётся на время взять бондарный инструмент. Необходимо изготовить деревянную тару для кондитерской фабрики. Уточни с технологом Градовой, сколько и какой надобно. Будь здоров!
— Алло, столярная мастерская? Доложите, сколько изготовлено рам для кондитерской фабрики. Пятнадцать? Остальные когда будут готовы, к Ильину дню или к Покрову? Что мешает ускорить темпы? Ясно. Учту и приму срочные меры.
— Пилорама? Ольхов? Крепко ли стоишь на ногах? Сейчас закачаешься. Не посмотрю, что родственник, начну крестить матами справа налево. За что? Председатель всегда найдёт причину. Почему задерживаешь пиломатериал для изготовления рам? Нет кедрача? Мать твою перемать! Ты никак ослеп? Направо от пилорамы, за грудой отходов лежат три кедровых бревна. Для себя припас? Знаю я тебя, хапугу. Немедленно запускай брёвна под пилы!

Екатерина Васильевна примеряла платья, вертелась перед зеркалом. На каком же остановиться? Пожалуй, на этом, которое недавно сшила. Вот заодно и обновит.
— Подобрала наряд?
— Платье подобрала. Теперь надо туфли.
— Тебе понадобилось два часа на платье. Сколько времени на туфли потратишь? Учти, торжество назначено на семь часов.
— А сам чего медлишь?
— Мне хватит и пяти минут.

Григорий Павлович надел отутюженные брюки, свежую рубашку, туфли, по которым быстро прошёлся щёткой. Притопнул каблуками:
— Ну вот я и готов!

Он успел сделать ещё два звонка. Наконец они вышли за ворота. Ольхов посмотрел направо, налево. Вдоль улицы тянулась, как струна, прямая засыпанная траншея. Экскаваторы погромыхивали на околице левой улицы. Екатерина Васильевна осторожно преодолела завал траншеи, недовольно проговорила:
— Всю улицу проковыряли! Ни пройти, ни проехать.

Григорий Павлович с достоинством ответил:
— Уляжется земля, утрамбуется. В следующем году проложим асфальт.

Председатель и председательша неторопливо зашагали по улице. Люди привыкли видеть Ольхова в машине или в кошеве. А тут вместе с жёнушкой по деревне шествует! Под ручку, нарядные, словно молодые. Встречные здороваются, невольно оборачиваются. Куда это они? На новоселье? Иные позавидуют председателю и его супруге. Без них не обходится ни одно семейное торжество. Или почти ни одно. Иной раз откроется окно:
— Здрасьте, Григорий Павлович, здрасьте, Екатерина Васильевна.

Приятно Катеньке, что на них обращают внимание. Отвечает тоже приветствием или кивком головы. Не важничает за широкой спиной мужа. Ведёт себя просто и с малым, и со старым. Ребёнка на руках подержит, бабусе крепкого здоровья пожелает на многие годы. Колхозники одинаково уважают и председателя, и председательшу. Знают, что она у самого первая советчица. Миновали мост, проулок. Вот она, улица Подгорная. Какая неприветливая, неуютная, завалена брёвнами, досками, щепой. Ветер кружит стружки и опилки. Улица пока невелика, скромно раскинулась возле самого леса. Только в два дома вселяются три семьи из Средней Азии. Катенька указала на самый большой дом, что стоял рядом с фабрикой.
— А этот почему не заселяется?

Григорий Павлович уклончиво ответил:
— Завтра откроем ставни на окнах и этого дома.

В последние дни возле дома останавливались машины, сгружали большие и малые коробки, ящики, объёмистые тюки. Понятно, что не для жилья построен этот дом. Если так выразиться, тайна его была известна всего лишь нескольким людям. Ладно, завтра узнаем. А пока пора садиться за столы новосёлов. Они решили отпраздновать это событие в одной квартире. Застолье весело шумело. Колтович на правах хозяина укоризненно покачал головой:
— Опаздываете, уважаемые гости!

Застолье весело рассмеялось:
— Начальство не опаздывает, а задерживается.
— Ольхов ответил:
— На гулянку можно и опоздать. Свою наверстаем. На работу нельзя опаздывать.

Кто-то взмолился:
— Помилосердствуйте, Григорий Павлович!
— Я бы рад помилосердствовать, да пословица не позволяет: чарку поднимай, а про дело не забывай.

## 3

Обычный приёмный день. В тесную комнатушку входили больные. Двум бабусям померили давление. Мамаша с ребёнком: ничего опасного, просто понос. Мальчуган бегал босиком, вывихнул на ноге палец. Минутное дело—и мальчуган исчез. У деда—сложности с кишечником. Ничего, слабительное поможет. Ещё две старушки. Приходят почти каждый день. То голова болит, то в ногах ломота. Наконец опустел медпункт. Теперь можно взяться и за письмо губернатору. Последнее послание главе района завершилось бюрократической

отпиской. Нет денег—коротко и ясно. Только не Алексею Александровичу. Ему ничего не ясно. Олигархи переводят в заграничные банки миллиарды долларов. Государство получает от продажи нефти и газа немалые доходы. А для постройки деревенского медпункта нет ни единого рублика. Ну и порядочки в государстве! Вернее, беспорядки. Не рассуждать надо, а действовать. Итак, с чего начнём? «Уважаемый господин Лебедев…» К чёрту «уважаемый», вычеркнуть! Если даст денег, тогда… В дверь постучали.

— Войдите.

Согнувшись почти пополам, в дверь протиснулся председатель колхоза. Не очередной больной—вид у посетителя был абсолютно здоровый. Афанасьев с некоторым злорадством усмехнулся: так тебе и надо! Корчись и сгибайся, коль пожалел свою кубышку. Сидишь на миллионах, как Кощей Бессмертный. А теперь постой, посадить тебя некуда. Стены мешают, не раздвинешь.

— Я за вами, Алексей Александрович.

Понятно, к больному. Сам приехал. Значит, в семье что-то случилось. Скорее всего, Ульяна Ивановна слегла.

Врач встал. Взял дипломат, в котором всегда хранились шприцы, бинты, необходимые лекарства.

— Я готов.

Вышли, сели в машину. Миновали подворье председателя. Значит, к кому-то другому. Проехали мост, проулок. Председатель молчит. Неужели произошла травма с плотником? Мог оборваться с высоты второго этажа. Остановились возле дома, рядом с кондитерской фабрикой. Не дом, а домище под шиферной крышей. Ставни распахнуты, сверкают на солнце свежей краской. В окнах видны шторы. Поблизости от дома шумят вершинами несколько берёз. Поодаль раскинули лапищи две ели.

Поднялись на крыльцо. Первая комната напоминала прихожую медпункта. Только более просторная и высокая. Вместо скамейки—стулья с мягкими сиденьями. На стене—вешалка. Ольхов не торопился открывать следующую дверь. Он наблюдал за врачом. Но на того комната не произвела никакого впечатления. Он спешил к больному. Ему нет дела до стульев и вешалки. Григорий Павлович открыл вторую дверь, широкую, высокую, ему не надо сгибаться и протискиваться в неё.

Афанасьев увидел комнату с тремя окнами. Два стола, кушетка, стулья, шкаф. На одном столе—компьютер. Рядом—рентгеновский аппарат. На лице врача появилось удивление, потом изумление. И тут Алексей Александрович понял, что его привезли не к больному, а в новый медпункт. Он положил дипломат на стол, что-то хотел сказать, но тут Ольхов открыл следующую дверь. Это была комната поменьше, тут стоял хирургический стол, на нём—набор инструментов.

Следующую дверь врач открыл сам. Увидел то, что ожидал. Палата. Пять кроватей, возле каждой—тумбочки, стол, стулья, холодильник. В углу на столике—телевизор, на который врач указал пальцем:

— Это лишнее. Здесь больница, а не кинотеатр и не концертный зал.

Заглянул в прачечную, на кухню. Снова вернулся в приёмную, раскрыл шкаф с лекарствами, воскликнул:

— Ого! Да тут запасов на целых полгода вперёд!

В операционной перебрал инструменты. В палате проверил простыни. Наконец плюхнулся на стул, немного успокоился и обратился к Ольхову:

— Я ничего не знал! Сижу и строчу донесения в районные и краевые органы. О вас, Григорий Павлович, нехорошо подумал. Прошу извинения.

— На то доля председательская. Вам актию надо подписать. Принимайте здание и всё оборудование. Тут всё указано до самой последней тарелки на кухне.

Подписали. Ольхов продолжил:

— Подберите штат: уборщицу, кухарку, медсестру.

Вечером в динамиках раздался голос Кости Зимарева:

— Внимание! Передаём объявление. Завтра на улице Подгорной открывается наша колхозная больница. Старый медпункт закрывается. Приём больных будет производиться в новом помещении. Добро пожаловать в нашу больницу, и будьте здоровы! Повторяю…

## 4

Жара. Градусник перескочил за тридцать. Солнце от восхода до заката нещадно опаляет леса, поля и луга. Разошлось не на шутку ярило. Какая-то неведомая сила раскочегарила все огненные печи. Андрей Агапов каждый день уезжает в поля. Возвращается с запылённым тёмным лицом—туча тучей. Ольхов, проснувшись, в первую очередь смотрит на барометр. Одно и то же. Стрелка упорно показывает на «сухо». Взглянет на небо: синь-синева, ни единого облачка. По радио передают, что над Европой гремят грозы, хлещут дожди. Над Сибирью—только палящее солнце. Неужели сместилась ось земли и Зауралье стало Африкой? Однако по соснам не прыгают обезьяны, на берёзах не растут бананы. Одна спасение от жары—тайга. Туда спозаранку устремляются люди. Идёт заготовка папоротника. Для японцев и для себя. Председатель распорядился заложить это растение в бочки. Съедобно ли? Каково он на вкус? Потом разберёмся. На тропе—егеря: выворачивай карманы, выбрасывай курево и спички. Даже на лесорубов запрет наложен. Страдают мужики, но ничего не поделаешь. Егеря правы: тайгу надо беречь.

Санька-длинный с превеликим бы удовольствием сбежал в тайгу—только там можно найти уголок прохлады. Здесь, у овражка, на открытом лугу настоящее пекло. Не помогает и тент, раскинутый над головой. Может, окатиться из шланга? Нет, можно запросто схватить воспаление лёгких. Город обнаглел. Не хочет пить квас и из водопровода. Пришлось поставить ещё две пары наливальщиков, организовать работу ночной смены. За сутки выставляется на помост полторы тысячи наполненных минеральной ольховской водой бутылок. Ещё бы третий бочонок, да негде развернуться, овражек узковат.

Однажды прямо на середину агаповского покоса выехала легковая машина, а за нею два «камаза». Крепкие рослые мужики стали выгружать поклажу. Осторожно снимали из кузова какие-то механизмы, небрежно швыряли трубы. Дед Андрон разозлился: это же чистый разбой! Зараз смяли травы на три копны сена.

— Вот я вас ужо, в печёнку и селезёнку!

Но мужики словно не замечали грозного старика с ружьишком. Закончили разгрузку, принялись устанавливать большую палатку. Агаповское подворье лишилось ещё нескольких копён сена. Мужики укрылись от солнца в палатке. Вскоре оттуда послышались возбуждённые громкие голоса. Затем покос огласился храпом здоровых, слегка подвыпивших мужиков. Санька авторитетно определил:

— Геологи. Будут определять запасы минеральной воды.

Привлёк к себе Олимпиаду и поцеловал. Та, не слишком отбиваясь, со смехом проговорила:

— Дурной! Разве тебе ночи не хватило?

У соседнего бочонка фыркнули:

— Молодому жеребцу и суток мало! Хоть бы один разочек нас поцеловал. Разве мы не хороши!

Олимпиада сверкнула глазами, швырнула в крюковских девок пустой бутылкой. Тут нежданно нагрянула санэпидстанция. Быстренько сварганила строгий акт, предписала сменить деревянные бочонки на металлические, надеть всему обслуживающему персоналу белые халаты, не допускать к источнику посторонних и ещё несколько подобных пунктов. Санька спросил:

— Значит, разлив надо прекратить?

Санитары замахали руками:

— Ни в коем случае! Разве можно город оставить без минеральной воды? В каждом пункте указана дата исполнения.

Набрали бидончики водицы и укатили. Санька прочитал акт и хмыкнул:

— Число и месяц прописали, а год не указали. Неконкретно получается, весьма растяжимо. Скажем, бочонки можно заменить и к первому июля следующего года, а белые халаты надеть и того позже. Тоже мне, грамотеи! А может, специально так написали? Как думаешь, оладушка?

— Не бренчи струнами, балалайка. Спрячь подальше эту бумагу и никому не показывай.

В это время из молельного дома вышли старушки. Подняли иконы и с пением двинулись по улице. Люди недоуменно смотрели им вслед: куда это Иван Маркович повёл своих старушек? А хорошо поют, задушевно. В женские голоса ладно так вливается баритон Ивана Марковича. Люди стали останавливаться — кто на улице, кто посреди своего подворья — слушают божественное пение. Лица светлеют, на душе легко. Отступают куда-то житейские неурядицы. Перед десятком старых певиц смолкли магнитофоны, притих грохот экскаваторов. Плотники опустили топоры. Догадались. Старухи будут просить у Всевышнего благодатного дождя. Ну, что ж, пусть попробуют. Вреда не приключится. Может, Боже усмирит палящее солнце, ниспошлёт на землю долгожданную влагу.

Старушки, не прекращая пения, миновали крайние дома. Вышли за околицу, на степной простор. И вдруг смолкли. Глядят и не верят собственным глазам. Где бурное разноцветье зелёного разнотравья? Перед ними раскинулась бурая, пожелтевшая степь. Под ногами — сухая, пыльная, потрескавшаяся дорога. Даже птицы не порхают, не поют. Вокруг — жуткая, зловещая тишина. Над головами — огнедышащее солнце. Иван Маркович поднял руки к жаркому, безоблачному небу:

— Смилуйся, Иисусе Христе! Не наказывай православных рабов твоих! Земля дождя жаждет.

Старушки хором повторили:

— Дождя, дождя!

Снова запели. Двинулись дальше. Достигли пшеничного поля. Растения выросли не больше четверти. Так и застыли под палящими лучами дневного светила, не смея подняться выше на тонких стебельках. Обширное поле накрыла сплошная желтизна. Погибали сотни и тысячи гектаров хлебов. Погибал труд механизаторов, погибала надежда и на хороший урожай. Иван Маркович снова воздел руки:

— Боже, в чём мы провинились перед тобой? Прости прегрешения рабов твоих неразумных. На коленях просим у тебя дождя. Боже, пришли тучи тёмные, молнии сверкающие, громы ярые, ливни неиссякаемые!

Старушки возложили иконы на край нивы, опустились на колени:

— Дождя! Дай, Боже, дождя!

Встали с колен, подняли иконы. Снова запели, но уже не так громко и стройно. В горле пересохло. Опустели взятые бутылки с водой. Иван Маркович успел поддержать:

— Крепитесь, сёстры!

Сам он еле держался на ногах. Ни ветерка бодрящего, освежающего. А солнце… Неожиданно появился автобус, развернулся, остановился. Из кабины высунулся шофёр:

— Притомились, бабули? Садитесь, прокачу с ветерком!

Помогая друг другу, те забрались в автобус.

— Спасибо тебе, Борисушко.

— Председателя благодарите. Он распорядился за вами приехать. Поезжай, говорит, забери богомольцев с поля. Как бы чего не случилось с бабулями на такой жаре. Заботу проявил. А я что? Кручу себе баранку. Ну как, шибко не трясёт?

### 5

Григорий Павлович, как обычно, проснулся в пять. Не надевая брюк, взглянул на барометр. Эге, стрелка двинулась на «осадки». Вышел на подворье: на небе ни облачка. Солнце, как и в предыдущие дни, взошло яркое, готовое пронзить воздух и землю обжигающими лучами. Но в природе что-то изменилось. Прекратился знойный восточный ветер. С запада повеяло прохладой. Повядшие листья на берёзах в палисадниках оживились, зашелестели веселее. Птицы громче защебетали. Свинья чешется об угол. Это верная примета к перемене погоды. Чутьём крестьянина он почувствовал приближение грозы. После

жарких, засушливых дней она будет особенно свирепая. Неужели подействовал выход на поле старушек? Ещё накануне вечером барометр показывал на «ясно». Богомольцы никак не могли знать, что стрелка сегодня изменит направление. Впрочем, Иван Усачёв наверняка знает немало народных примет.

Санька-длинный не знал никаких примет, вовсе не интересовался природными явлениями. Шагал по утрянке принять смену у бочонка. Издали заметил, что внизу, у овражка, толпятся мужики, как раз напротив источника. Когда приблизился, то увидел, что геологи не толпятся, а трудятся. Перед ними — машина, которая отчаянно гудела, вгрызалась в планету, выбрасывая комья глины и песка. Сразу догадался: буровая установка. Прошёл мимо. Мол, пусть терзают матушку-землю. У геологов такая работа. А у него — своя работа. Посмотрел на помост, наполовину пустой. По праву старшего, ответственного за разлив, Санька набросился на ночную смену:

— Проспали? Или бегали в деревню, на танцульки?

— Никак нет, Александр Игнатович. Вода плохо бежала.

— Хо-хо! Сказка про чёрного кота! Вода бурлит так, что хватит и на десять бочонков. Даю последнее предупреждение. Повторится подобное — буду строго наказывать.

Девки с ночной смены хихикают. Они слышат подобные угрозы каждое утро. Санька наполнил тридцатую бутылку, когда пришла Олимпиада.

— Проспала, оладушка?

— А то! Продержал до вторых петухов.

— Могла бы вырваться.

— Ага, вырвись попробуй из таких цепких рук! Да и самой мне не очень-то и хотелось. Шибко сладко целовала балалайка!

Они рассмеялись. Неожиданно их окатило водой. Санька вскочил, намереваясь наорать на геологов, но увидел трубу, из которой хлестал целый водопад. Один мужик, видимо старший, прокричал:

— Сейчас пришпандорим патрубок, и переселяйтесь с бочонками на новое место.

Часа на полтора пришлось прекратить разлив. Переселиться помогли геологи. Установили бочонки, перетащили помост, натянули тент. Минеральная вода по патрубку хлынула в бочонки. Родник закидали камнями, засыпали, не оставив ни единой струйки. Геологи перенесли буровую установку метров на тридцать от овражка. Снова полетели кверху комья глины и даже камни. Дед Андрон с огорчением понял, что покос окончательно загублен. Побрёл домой достраивать баньку.

Западный ветер крепчал с каждым часом. На небе появились первые облака, проплыли поодиночке и скрылись за кромкой горизонта. К вечеру половину неба затянула тёмная туча, которая неудержимо продолжала двигаться всё дальше и дальше на восток. А солнце? Туча как бы невзначай по ходу проглотила дневное светило. В тот вечер не было яркого, пламенеющего заката. Тревожно зашумели в роще берёзы. Птицы попрятались. Зато озверело комарьё. Разливальщики разложили костёр. Налетел порыв ветра. По небу полоснула молния. Тайгу бы не сожгла! Гулкими раскатами прокатился гром. Где-то жалобно промычала корова. Отбилась, бедная, от стада. Упали первые капли. А затем… Гроза продолжалась до полуночи. Туча, опорожнив на землю потоки воды, потрёпанная, опустошённая, уползала за таёжные холмы. Земля приняла благодатную влагу, приняла до последней капли.

Рано утром Андрей Агапов ускакал в степь. Вернулся на взмыленном вороном, доложил председателю:

— Все поля обильно политы. Урожай спасён!

Иван Маркович и старушки отслужили Всевышнему благодарственный молебен.

Дождь продолжался ещё двое суток. Без молнии и грома. Затяжной, водянистый. Земля напиталась вдосталь. Излишки влаги пузырились лужами, по которым с превеликим удовольствием бегала босоногая ребятня. Разливальщики работу не прекращали. От дождя их надёжно укрывал тент.

Геологи выходили из палатки только по нужде. Их легковая машина курсировала в деревню и возвращалась с наполненным багажником. Возле палатки росла гора винных и пивных бутылок. Санька… Александр Игнатович передал председателю санэпидстанции. Деревянные бочонки заменили на металлические. Причём поставили не два, а три. Бригада разливальщиков увеличилась ещё на четыре человека. Теперь за сутки на помост выставлялись более двух тысяч бутылок.

Из Красноярска в Ольховку прикатили важные персоны — представители крупной коммерческой фирмы. Решили торговать ольховской минеральной водой в краевом центре. Ольхов вынул из стола документ:

— Вот такая патентия у вас есть? Нету? Жаль. Ничем помочь не могу. Источником этим полностью владеет колхоз «Прогресс».

Но важные персоны знали, как можно поступить в данной ситуации.

— Мы будем платить за каждый литр по три рубля.

Ольхов прихлопнул ладонью по столу:

— По пять! Соглашайтесь, или на этом переговоры закончим. Меня ждут другие, более важные проблемии.

Согласились. А что? Набросят по два рубля лишних на каждый литр. Покупатель всегда своим кошельком за разные коммерческие сделки расплачивается. На другой день к овражку подъехал «камаз». Александр сначала наполнил минеральной водой три бочонка, затем приспособил к патрубку шланг, и вода хлынула в цистерну. Десять тысяч литров минералки укатили в Красноярск. «камазы» стали приезжать сюда каждый день. Город большой, летом требуется много пития. Алексей Прохорович по старой привычке прикидывал. Каждый месяц в Журинске будет продано минеральной воды почти на миллион рублей. Столько же перечислит коммерческая фирма. Ай да дед Андрон, такую свинью подложил под колхозную кассу!

Геологи растерзали не только агаповский покос, но и соседние прихватили. Пробурили дюжину

скважин, из каждой хлестал чистейший первосортный нарзан. Поставленные трубы перекрыли. Зачем расходовать напрасно целебную воду? Надо и о потомках подумать. Перебазировались на другой берег овражка. На поляне возле берёзовой рощи несколько дней гудела буровая установка. Наконец смолкла адская машина. Хватит терзать безответную планету! Определили запасы минеральной воды во столько-то миллионов кубометров. Так ли это на самом деле? Да сам бог о том не знает. Составили документы. Отметили завершение работы шумной пьянкой. Укатили, оставив смятую траву, обломки труб, смятые сигаретные пачки, груды порожних бутылок.

Не успели скрыться машины геологов, как к овражку подкатила изящная иномарка. Из неё вышли три мужика. Э, нет—три джентльмена! Одеты шикарно, у каждого в руках портфель. Важные, серьёзные. Прежде такие не встречались. Должно быть, прибыли из Красноярска, а то, может, и из самой Москвы. Осмотрелись. Двинулись к берёзовой роще. Прошлись туда-сюда. На праздношатающихся бездельников не похожи. О чём-то оживлённо беседуют, останавливаются, спорят. Стали рулеткой измерять поляну перед рощей, устанавливать колышки. Планируют, записывают в блокноты. Кто они? Чего замышляют? Александр уверенно произнёс:

— Архитекторы наверняка. Определяют, где построить здания будущего санатория.

Народ заспорил, как назвать курорт.

— «Ольховский». Как же ещё?

— Колышки поставлены на крюковской земле. Знать, быть курорту «Крюковским».

Дед Андрон возвращался с родника. Из открытого окна почты его окликнули:

— Дед, зайди получи перевод!

Пятьсот рублей. Из краевого геологического управления, премия первооткрывателю целебного источника. Мол, разгуляйся, старина! Возгордился дед Андрон: вспомнили, не забыли в таком важном учреждении. А сколько денег, не имеет значения. Главное, его имя, наверняка, в важных бумагах записано. Узнав о сумме перевода, Григорий Павлович возмутился:

— Пятьсот рублей! Это же как подачка нищему! Не стыдно им было оформлять такой перевод? Сами-то по кабинетикам небось полмиллиона растащили?

И распорядился выдать деду Андрону колхозное вознаграждение в сумме пяти тысяч рублей. Тут пришла газета. На первой странице—фотография деда Андрона и статейка о том, как житель деревни Ольховка открыл родник с минеральной водой. Старик возгордился ещё больше. Теперь его имя известно всему народонаселению края—от Саянских гор до далёкого Таймыра. Может, наградят медалью или орденом? Видимо, весть о первооткрывателе ещё не дошла до Москвы. В который раз держит в руках газету. Об открытии родника понятно. Дальше чёрным по белому пропечатано о том, что сия вода помогает излечивать сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Но это его не касается, у него сердце бьётся, как часы. Желудок и кишечник перемалывают любую пищу подобно мельничным жерновам. О молодости—ни единого слова! Но ведь там, где эти газеты делают, сидят умные грамотеи, ошибиться они не могли. Выходит одно. Нашёл не ту воду, не тот родник. Напрасно топал по тайге и лугам. Где же она, омолаживающая водица? За какими дремучими лесами и высокими горами? В каком царстве-государстве? Да и есть ли она на белом свете? Правдивы ли народные предания? Может, это сказки ради забавы? Приуныл дед Андрон, слетела вмиг гордыня. Глубоко призадумался. Год за годом, как на ладони, прошла его жизнь. Семилетним мальчишкой был копновозом. Вечером учётчик записывал ему трудодень. В четырнадцать лет плугарил. В шестнадцать сам крутил баранку колёсного трактора. Вот он—пограничник. Правда, за три года службы не поймал ни одного шпиона, даже в лицо не видал. Затем—женитьба, потом снова колхозная работа. Летом стоял под вилами. Осенью отвозил зерно на элеватор. Был плотником, скотником, шорником. Пять лет бригадирил, столько же заведовал фермой. Вырастил двоих сыновей и двух дочерей. В наличии сейчас есть девять внуков. Андрей—заместитель, правая рука председателя. Станислав в Красноярске каким-то бизнесом занимается. Посетил он его в прошлом году. Пятикомнатная квартира, двухэтажная дача, два легковых автомобиля. Прожил неделю. Да тут внук, пятилетний карапуз, спросил:

— Дедусь, а ты на чём приехал?

— На автобусе, потом на такси.

— А мама говорит, что тебя черти принесли.

Крепко он тогда осерчал на невестку. Через два часа на автовокзале сел в автобус по маршруту до Журинска.

Случались и другие неприятности. В целом жизнь прошла—дай бог каждому. Чего ещё надобно? Не напрасно минули годы и десятилетия. Ого, да он ещё немало годочков проживёт! Так-то вот, якри тя в душу. Хе, чего удумал! Молодость вернуть. Какое-то затмение нашло на его седую голову. Разве он мог бросить Марью? Она носит имя девы, которая родила Христа. Значит, надо старуху почитать, а не…Вскорости и Олимпиада с Санькой побегут в сельсовет расписываться. У молодых всё впереди. Только у старых одни воспоминания остались.

## Глава десятая

### 1

Не слишком ли много внимания мы уделили деду Андрону? Ну, открыл родник минеральной воды. Рано или поздно и без него это могло произойти. Ну, возомнил стать молодым. Что тут удивительного? О, уважаемые читатели, в старые головы вторгается любая блажь, которая не поддаётся фантазии автора. Довольно об этом! В Ольховке живёт более двухсот тружеников полей и ферм, предприятий и торговли. Вернёмся к ним, к действующим лицам повести. Но сначала, так сказать, заглянем на огонёк в колхозную контору,

в кабинет председателя. Там идёт очередное заседание правления. Уже решили вопрос о новом назначении Романа Филипповича. Кто-то спросил:
— Мы назначили его старшим над всеми магазинами, чайными и ларьками. Как нам теперь его называть: заместитель председателя, директор, уполномоченный или ещё как-нибудь?
Ольхов рассмеялся:
— А хрен его знает как. Дело не в названии. Впервые у нас такая должность. Главное тут — контролия и ещё сто раз контролия.
Сместили начальника овощного комбината. Назначили Давида Абрамовича Колтовича. Довольно стоять инженеру у токарного станка! Пусть проявит свои способности на руководящей работе. Без особых рассуждений утвердили покупку трёх новых комбайнов. После перекура Григорий Павлович сказал:
— Теперь выложим миллион рублей на приобретение трёх котлов для отопления и подачи воды.
Зинаида Ольхова удивилась:
— Зачем три? Один лишний, напрасная трата денег.
Председатель с укоризной посмотрел на свою родственницу:
— Ты думаешь, что котлы до скончания века будут работать без единой аварии? Не случится ли так, что горячий котёл вдруг закапризничает? А на дворе морозяка под тридцать. Что произойдёт? Правильно. Выйдет из строя вся отопительная система. Но мы этого не допустим. Раскочегарим третий, запасной котёл. Я ясно говорю?
Председатель всё предусмотрел — ну как не проголосовать за три котла? Ольхов продолжал:
— Доходы колхоза значительно повысились. Каждый день в кассу поступает свыше двухсот тысяч рублей. Есть возможность повысить зарплату всем колхозникам на пятнадцать процентов. Прошу обсудить этот вопрос.
Игнат Костыльников пробасил:
— Чего обсуждать? Коль завелась деньга, то нечего хранить её в кубышке.
Беляцкий добавил:
— Предлагаю сделать колхозникам подарок — бесплатное электричество.
Григорий Павлович иронически продолжил:
— И бесплатное горючее. Заправляй на колхозной бензоколонке по полному баку личные машины и мотоциклы.
И вдруг резко хлопнул ладонью по столу:
— Не доросли мы ещё до пресловутого коммунистического сознания. Бесплатное электричество? Так во всех домах будут гореть лампочки до восхода солнца. На подворьях повесят трёхсотки, чтобы ярко было. Чего жалеть бесплатное?
Сделал паузу и снова заговорил:
— Теперь о строительстве. Кажется, этому конца не будет. Лесорубы наши уже вторглись в третью деляну государственной тайги.
Варвара Семёновна вздохнула:
— Чего ещё надумал, неугомонный строитель?
— Вы, Варвара Семёновна, хоть один раз подумали о том, где хранится зерно, из которого вам привозят муку?
— Знаемо где — в амбарах…
— Когда построены эти амбары?
— О чём спрашиваешь? Сам знаешь. Давненько, когда вас ещё на свете не было.
— Каков отсюда вывод?
За свою куму ответил дядя Игнат:
— Строить новый зерносклад.
На заре советской власти один поэт сочинил гневное стихотворение про заседания. Затем в одной кинокомедии водовоз запел:
— Заседаем, воду льём…
Само собой, вода «хлещет» и на заседаниях колхозного правления. В потоках пустословия рождается решение. Секретарша Иринка записывает: «Построить котельню, зерносклад, коровник, общественную баню, жилой дом».

## 2

Ермолаевцы… Опять о стройке. Любимые герои автора. А как не любить плотников, тружеников, которых поискать надо. Ермолаевцы закончили настил полов. Приступили к установке дверных и оконных косяков. Тут не бревно обтесать. Работа тонкая, требует точного расчёта. Здесь-то и раскрылись все способности старых пердунов. Когда косяки установлены, то навесить дверь или вставить раму — дело пустяковое. А где рамы, тут и Каминский со своим стеклорезом. Вторую неделю не появляется в своём учреждении. Стал как бы членом бригады. Утром раньше плотников появляется на фабрике. Вечером с удовлетворением подсчитывает, на сколько рублей пополнился кошелёк. Плотники спешили сдать фабрику под ключ к началу сенокоса.
На взгорке, недалече от ремонтной мастерской, трудится в поте лица и спины бригада дяди Игната. Снова ударная стройка. Возводят котельню по проекту инженера Мурашова. Вот она, на плотной чертёжной бумаге, в кармане бригадира. Высокий зал на двенадцать метров в длину. Рядом склад для топлива. Открой дверь и кидай лопатой уголь прямо в топку. Уже уложены четыре ряда. Можно бы побольше, да не шибко разбежишься с такими плотничками — из среднеазиатов и крюковцев. Игнат Терентьевич вспомнил бригаду, которая строила пекарню. Был дружный боевой коллектив ловких, умелых молодцев. Где они теперь? Петров сам бригадирит. Егорша и Витюха крутят гайки. Тьфу, срамота! Разве сравнишь слесарную работу с плотницкой? Зря отпустил этих двоих работяг. Закончил прорубать паз на бревне. Отложил топор, взялся за один конец. За другой ухватились трое азиат. Маловато у мужичков силёнок. Или хитрят, притворяются?
— Разом взяли. Раз, два…
Бревно уложили на пятый ряд. Смахнули пот с лица. Подъехал председатель. Кстати — разговор имеется.
— Григорий Павлович, не успеем сдать объект к назначенному сроку.
— И это говорит Игнат Терентьевич? Не ослышался ли я?
— Не ослышались. Бригаде требуется пополнение.
Ольхов посмотрел на утомлённых плотников, пообещал:

— Пришлю из ермолаевской бригады. У них излишек топоров.

На Подгорной улице, рядом с пятистенкой, заложен склад двухквартирного жилого дома. Стандартный проект, который позаимствовали у Степного совхоза. Хотя велика была потребность в новом зерноскладе, но жильё надо строить прежде всего! До сих пор семьи переселенцев живут в тесноте и постоянных перебранках. Вот и надо построить для них колхозный дом. Строит его бригада Игната Сусанова, в которую он подобрал опытных крюковских плотников. На перекуре Берёзкин проговорил:

— Красивые места. Вот возьму и перевезу сюда свой дом. Поставлю возле энтих берёз.

Другой плотник убеждённо ответил:

— Председатель не разрешит. Твой дом стоит посередине деревни. А твой — на краю, на околице. Чего не перевозишь?

— Пробовал. Ольхов и мне отказал. Говорит, что деревню надо сохранить для внуков.

А где бригада Петрова? Она трудится на другом краю улицы Подгорной. Так сказать, брошена маршем на помощь степнякам. По всему видать, что не успеют они к началу уборки, два комбайнёра будут продолжать размахивать топорами. Бригада ураганом ворвалась на частную стройку. Иван Михайлович с ходу закричал:

— Куда волокёшь старое бревно? Сейчас мы…

Не успел хозяин одуматься, как на срубе оказалось новое сосновое бревно. Вот что значит умение и ловкость. Оживилась стройка, застучала множеством топоров, огласилась криками:

— Наддай! Эх, ухнем!

— Посторонись!

— Пошевеливайся, дядя, не отставай!

**3**

— Доброе утро, дядя Фаддей.

— Здрасьте, Татьяна Кирилловна.

Так приветствовали они друг друга каждое утро, появляясь почти одновременно у ворот общественного огорода. Фаддею под шестьдесят, Татьяна Кирилловна вдвое моложе. Носит она мужские брюки и рубашки. По-мужицки скручивает из кисета цигарки. Папиросы и сигареты не признаёт: мякина, а не курево. По-мужицки крякнет, выпив стакан водки. За глаза её называют Иваном Кирилловичем. Прямо так называть не решаются: может запросто врезать по морде. Отчего так, уточнять не станем.

Миновали парники, потом пути их разошлись. У каждого свой объект: по две скважины с моторами и шлангами. Перед ними — необозримое поле овощей. Каждой культуре требуется солнце и вода, которую должны дать поливальщики, дядя Фаддей и Татьяна Кирилловна.

Особенно хлопотно было в жаркие, засушливые дни. Моторы насосов гудели, не переставая, от восхода солнца и до заката. Вода из четырёх шлангов непрерывно хлестала на плантации капусты, свёклы и моркови, на кусты смородины и малины. И вот награда за тяжёлый, адский труд. Сегодня огородницы взяли корзины и приступили к уборке урожая клубники. Ягоды спелые, крупные, сочные, сами в рот просятся.

В это время Колтович вошёл в первый цех большого здания овощного комбината. Несколько женщин, негромко напевая, производили засол огурцов в бочонки. Поздоровался:

— Я — новый начальник комбината.

Одна женщина бойко ответила:

— Знаем уже. Чего грудь колесом выставил? Нам всё едино какой поп, лишь бы служба была.

В другом цехе разливали мёд. Полюбовался на работу собственного изобретения: насос с мотором, три кнопки. Нажмёшь на первую — наполняется пол-литровая банка. Вторая кнопка — для литровой банки, третья — для двухлитровой. Удобно, быстро, гигиенично. Насос действует, пока мёд находится в жидком состоянии. В остальных цехах — полнейшая тишина. Никого. Новоиспечённому начальнику стало немного жутковато. У главного входа раздался настойчивый гудок грузовика, который доставил наполненные ягодами корзины прямо к дверям овощного комбината. Принимай, начальник, урожай колхозного огорода. Оживился третий цех. Появились мастерицы варенья. На лицах радостное возбуждение. Долго они ждали этого часа. Теперь покажут своё умение и искусство. Затрещали поленья в печах, на которых установлены объёмистые котлы. Внесли фляги с мёдом, приступили к сортировке ягод и загрузке их в котлы. Цех наполнился ароматом клубники и мёда. К вечеру на специальном помосте стояли десятки банок со свежим вареньем. С огорода продолжали поступать наполненные корзины. К работе приступила вторая смена. Утром Беляцкий увёз в Журинск первую партию варенья и ягод нового урожая. Чем на это ответили курбатовцы? Тоже вареньем. Хе, да оно у вас на сахаре сварено. Посмотрим, на чьё варенье набросятся покупатели.

На следующий день поступили корзины с ягодами с крюковского огорода. Организовали третью смену. Начали поступать ягоды с личных подворий. Сдавали излишки. Полевая клубника погибла под палящим солнцем. Садовая, получая воду из шлангов, дала обильный урожай. Везли и несли тяжёлые корзины жители Ольховки, Крюковой и соседних деревень. Давид Абрамович взвешивал, выписывал квитанции для получения денег в кассе. Многие ольховцы и крюковцы отмахивались:

— Не пиши, начальник, не порти бумагу. Бесплатно отдаём. Не валить же ягоду свиньям.

Кипят котлы, наполняется банками помост. Одна смена меняет другую. На подходе — смородина, малина, таёжная черника. К осени созреют клюква, брусника, рябина, калина. Ого, сколько будет заготовлено разного варенья! А в поле загудели и двинулись два комбайна. Зачем? Хлеба ещё не созрели. Зато созрел горох. Культура коварная. Опоздаешь с уборкой — получишь пустые стручки. На склад овощного комбината поступили первые тонны обмолоченного гороха. Заработал четвёртый цех. Появились пол-литровые банки с этикеткой «Ольховский зелёный горошек». Ага, курбатовцам нечем крыть! То-то! Районная

типография едва успевала печатать тысячи этикеток для колхоза «Прогресс». Со стеклозавода почти каждый день отправляются грузовики по маршруту в деревню Ольховка. По количеству этикеток и тары можно безошибочно определить, насколько успешно колхоз внедряется в рыночные отношения. Несколько раз в день из Ольховки в Журинск неторопливо движется фургон, обгоняемый всеми машинами. На обратном пути тот же фургон мчится на предельной скорости, обгоняя грузовики, автобусы и даже легковые машины.

Созрела рожь. Долго ли скосить и обмолотить тридцать гектаров? К вечеру на поле остались только кучки соломы. Зерно подработали на очистительных машинах, засыпали в амбары. Несколько мешков размололи на муку. Тут начались приключения. Варвара Семёновна испортила тесто. Забыла, что ржаная мука требует иного подхода. Удалась только вторая квашня. В пекарне технолог Градова выпекала ржаные медовые пряники. Тоже не обошлось чисто и гладко. Лишь с третьей выпечки получились настоящие пряники. Отправили в город. Распродали марковские караваи и градовскую стряпню. Ольхов спросил технолога:

— Где ржаная коврижка?

Градова удивилась:

— Какая коврижка? Впервые слышу.

Спросили у Варвары Семёновны. Та стала вспоминать:

— Был праздник. Не то Рождество, не то Пасха. Мать угостила нас вкусными сладкими ломтиками. Кажется, до сих пор вкус во рту сохранился.

Ольхов нетерпеливо перебил:

— А как приготовить и испечь коврижку?

Варвара Семёновна вздохнула:

— Не знаю. Мне тогда всего-то годков восемь было. Может, Ульяна Ивановна помнит?

Григорий Павлович в панике. Посев ржи он затеял ради пряников и коврижки, которую довелось вкусить в детские годы. Неужели утерян рецепт приготовления этого лакомства? Ульяна Ивановна заважничала: вспомнили и о ней во всей этой людской суете.

— Помню, не забыла, как и из чего приготовить тесто.

Она стала загибать пальцы:

— Мука ржаная, мёд, молоко, яйца, корица…

Так в колхозном хлебном магазине появилась ещё одна ольховская новинка. Молодые покупатели с опаской спрашивали:

— А съедобны ли эти чёрные колёса?

Продавец расхваливал, предлагал попробовать. Городские дамочки брезгливо отворачивались. Старики усмехались. Они знали этот продукт. С удовольствием покупали целиком или половинку. Прошло несколько дней. Те же самые дамочки становились в очередь и требовали:

— Режьте на части, чтобы всем хватило.

Но всем не хватало ни коврижек, ни ржаных медовых пряников. Ожидали очередного привоза. Рожь оправдала своё предназначение, оправдала надежду председателя. С полным кузовом мешков, туго набитых зерном ржи, грузовик двинулся на мельницу.

## 4

Наташа Ольхова с двумя подругами вернулась на летние каникулы. Она и Римма стали медсёстрами сельской больницы. Вторая подруга, Люба, пренебрежительно фыркнула:

— Какая практика у деревенского лекаря? Смешно.

Практика и в самом деле была не ахти какой. Старики да старушки. Измеряли температуру, давление, выдавали таблетки. Прошла неделя. Приём закончился. Вошёл дед с кнутом:

— Принимайте больную.

Наташа и Римма выскочили на крыльцо. На телеге, завёрнутая в простыню, лежала Люба. Никто ничего не успел понять, как Алексей Александрович распорядился:

— В операционную!

На хирургическом столе Любу освободили от простыни. Обе медсестры ахнули: из полового органа женщины торчал маятник от часов-ходиков. Врач раздвинул ноги больной, усмехнулся:

— Сколько на свете живу, а таких часов не видел никогда.

Указав на лобок, строго приказал:

— Сбрить!

Долго и тщательно мыл руки, подбирал нужный инструмент. Люба с прицепленными к столу руками, с раздвинутыми ногами лежала бледная, плотно сжав искусанные губы. Наташа отвернулась, не видела, что делал врач. Услышала, как звякнул в тазу маятник. Афанасьев проговорил:

— Зацепила за матку. Самоаборт. Почему к врачам не обратилась? Стыдно? Аборт будем делать?

Люба кивнула головой. Врач заполнил какой-то бланк. Люба, не читая, подписала, полностью доверившись деревенскому лекарю. Наташа вспомнила, как Люба бегала на свидания к франтоватому третьекурснику. Римма прошептала:

— Вот почему она в последнее время ходила грустная и раздражительная.

Врач, между тем, сел напротив раздвинутых ног Любы и стал кисточкой накладывать йод на определённые места. И вдруг неожиданно запел:

Разукрашу тебя, как светлицу,
И поставлю златую кровать.

Любу положили в палату. Первая больная. В обязанности медсестёр входила кухня. Приготовили обед, но от еды больная отказалась. Она лежала на спине, повернув голову к окну, чтобы не встречаться взглядами с подругами. Врач ушёл по вызову к больному на дом. Ушла Римма. Она должна была заступить в ночную смену. Наташа сидела рядом. Наконец Люба заговорила страстным полушёпотом:

— Это Вадим во всём виноват. Он не хотел ребёнка. Я больше не вернусь в институт. Уеду к тётке в Ачинск, поступлю на фабрику. В Ольховке не останусь. Зубоскалы на каждом шагу. Дескать, вон идёт Любка, у которой…

Она умолкла. Снова повернула голову к окну, в котором видела синее небо и редкие рыхлые облака.

Через пять дней Любу выписали. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Привезли

плотника Якова Воробьёва: угодил топором в левую ногу, повыше колена. Взглянув на рану, Алексей Александрович распорядился:
— На стол, под рентген!
Посмотрев снимок, облегчённо вздохнул. Обрабатывая рану йодом, спросил:
— Тебе что, бревна не хватило?
Охая и постанывая, Воробьёв ответил:
— Сам не пойму, как случилось. Промахнулся. Каждый день молился Богу, чтобы беду отвёл. Видать, не дошла моя молитва до Всевышнего. Наслал божье наказание.
Врач рассмеялся:
— Не вини Бога. Дошла до него твоя молитва. Топор прошёл мимо кости. Мясо через неделю срастётся.
Он закончил обрабатывать рану, приказал медсёстрам:
— Забинтуйте.
Вот она, настоящая практика. Сейчас они покажут, на что способны. Израсходовали целый бинт. Воробьёв спросил:
— Теперь-то можно домой? Скоро ведь сенокос.
Афанасьев ему в ответ:
— Ступай, дружок, ступай, бери косу.
Яков встал, шагнул, вскрикнул от боли и тут же снова опустился на стул. Врач покачал головой:
— С такой раной ты не косарь. Забудь про сенокос. Недельки две придётся погостить у нас.
Медсёстры подхватили плотника под руки, уложили на кровать в палате. Рядом положили костыли. Он охал и ворчал:
— Господи, за какие грехи такое наказание?
Медсёстры посмеивались. Были, были грехи у Яшеньки. В молодые годы не одну девку приголубил в березнике.
В полночь на квартире Афанасьева зазвонил телефон.
— Слушаю.
— Доктор, скорее! Спасите, умирает!
— Адрес! Сейчас буду.
Через несколько минут Афанасьев с дипломатом шагал по пустынной улице. Ночь была не хуже той украинской, которую описал в поэме великий поэт. Он спешил к больному. Кто умирает, мужчина или женщина? Старик или ребёнок? Это не имеет абсолютно никакого значения. Он должен спасти жизнь человека, спасти непременно. Больным оказался мужчина. Лежал на кровати, скрежетал зубами, глухо стонал. Ладони держал на животе. Осмотр продолжался минуты две. Врач выпрямился:
— Срочно в больницу!
Паренёк быстро засобирался:
— В районную? Машина наготове у крыльца.
Алексей Александрович ответил:
— В районную уже поздно. В нашу, сельскую.
Часа через полтора больной лежал в палате, рядом с Воробьёвым. Утром он спросил:
— Доктор, что это было со мной?
— Аппендицит воспалился. Пришлось срочно оперировать. Кстати, я не успел записать вашу фамилию, имя и возраст.
— Клим Ефремович Ворошилов.
Ждал, что врач удивится. Но тот спокойно водил пером по бумаге. Тысячи разных фамилий прошли перед ним. Были Хрущёвы и Брежневы…
— Спасибо, доктор, примите благодарность от чистого сердца.
Врач отложил бумаги:
— В первую очередь надо благодарить председателя колхоза. Иначе могло случиться непоправимое.

**5**

В Журинске встретились два соперника по рыночной конкуренции, отец и сын. После обычных «как семья, как здоровье» Виктор заявил:
— Сдаюсь перед вашими коврижками и пряниками. У меня нет больше козырей. Я не говорю о кондитерской фабрике. Когда запустите?
Григорий Павлович уклончиво ответил:
— Пока идёт установка оборудования.
— Вы здорово развернулись с родником. Во всех ларьках торгуют ольховской минеральной водой.
— Не во всех — в курбатовских не торгуем.
— В наши не привозите.
— А если привезём?
— Будем торговать.
Соперники пришли к соглашению. Ольховцы поставляют каждую бутылку по десять рублей, курбатовцы продают по пятнадцать. Обоюдная выгода. У овражка перешли на трёхсменную работу. Александр теперь не наливальщик. Его сменила Олимпиада. А он — командир над тремя бочонками: распоряжается, учитывает, отгружает. Развернулся во всю прыть молодого скакуна!
Курбатовцы опередили ольховцев. Открыли магазин в новом жилом районе города. Узнав об этом, Ольхов пришёл в ярость. Схватил трубку телефона:
— Зыков, немедленно в правление!
Вскочил со стула, заходил по кабинету. Лицо тёмное, брови насупленные, в глазах молнии, мысли гневные. Шагает, вслух произносит:
— Проворонил такое выгодное место! Он хорош только за прилавком. Немедленно уберу Ромку из города, пошлю скотником на свиноферму.
Секретарша приоткрыла дверь кабинета и тут же закрыла. Зоотехнику посоветовала:
— Не входите. Сам в гневе, туча тучей. Таким я его ещё не видела.
Ольхов продолжал маршировать от стола к двери. Пнул стул, кем-то выставленный почти на самую середину кабинета. Стул с грохотом отлетел в угол, к вешалке.
— Ловко подставил отцу палку в колесо. Говорил, что нет козырей, а сам прятал туза. Ишь, какие замашки. Со временем превзойдёт отца.
От этих мыслей гнев стал покидать сознание. В голове завертелось другое. А ведь обанкротятся курбатовцы. Нету у них базы для широкой торговли. Рано или поздно лопнет совхозная кишка. А мы ещё не развернули все резервы. На очереди — кондитерская фабрика.
При этой мысли он сразу забыл о курбатовском магазине как о пустяке, которым не следует забивать председательскую голову. Сел за стол и стал придумывать названия конфет, которые начнёт

выпускать фабрика. В первую очередь, это будут «Ольховские шоколадные». Затем «Журинка», «Тайга» и обязательно «Катюша». Взял листок бумаги, стал записывать: «Берёзка», «Родничок», «Белка», «Соболёк». За этим занятием его застал Роман Филиппович. Мчался на новеньком автомобиле, который купил полмесяца назад. Знал, зачем вызывает председатель. Из-за этого проклятого курбатовского магазина. Что ж, встанет с покорной головой пред грозными очами. Примет шквал гневных, даже с матами, слов. Виноват. Готов понести любое наказание. Вошёл в кабинет и увидел, что председатель мирно сидит за столом и чему-то улыбается. Откинулся на стуле, удивился:

— Роман Филиппович, зачем?

— Прибыл по вашему приказанию.

— Да-да, вызывал. Присаживайся поближе.

Задымили «Беломором». Григорий Павлович проговорил:

— Поручаю тебе боевое задание. В новом жилом районе сними в аренду помещение и открой в нём чайную. Да такую, чтобы была не хуже ресторании. Я ясно сказал?

— Ясно, Григорий Павлович. Будет вам ресторания.

После некоторой паузы Ольхов спросил:

— Как справляется новый директор второго магазина?

— Жанна? Если честно признаться, то лучше меня. Настоящий торговый талант. И Алёнка из первого уходит в декрет. За старшую оставим помощницу. Полгода стоит за прилавком, поднаторела. В ларьке шкатулки залёживаются.

— Знаю. Меры приняты. Партию шкатулок увезла в Красноярск коммерческая фирма. Не моргнув глазом, за каждую выложили по восемьсот рублей.

— Упала цена на огурцы и помидоры. Бабули с дач и деревень хлынули на базары со своими корзинами.

— Компенсируем. Завтра открываем кондитерскую фабрику.

О пресловутом магазине Ольхов не обмолвился ни единым словом. Зачем огорчать старательного работника? Больше виноват он сам. Не уследил момент, не предупредил. Свою торговлю развернули по-купечески. К тому же ещё один магазин погоды не сделает.

После полудня Ольхов и Градова стояли на первом этаже фабрики. Пахло деревом, известью, краской. В просторном светлом зале поблёскивали четыре электрические печи. Перед каждой — необходимое оборудование, столы, полки. Стояли мешки с мукой. На втором этаже — механизмы и станки. Завтра они загудят, завертятся, станут выбрасывать на лоток конфеты в готовой упаковке. Для этого завезены все необходимые материалы и компоненты. Громоздятся ящики, коробки, пакеты, банки. Екатерина Васильевна объясняет устройство и предназначение каждого механизма. Григорий Павлович внимательно слушал. Председатель должен знать не только то, как наливается зерном пшеничный колос, как наполняется молоком вымя коровы. Надо знать, как вращается каждая шестерёнка вот этого станка. Он вручил градовой ключи:

— Вы, Екатерина Васильевна, назначаетесь начальником кондитерской фабрики. Подберите штат и приступайте к работе в три смены. Вашу продукцию ждут покупатели.

Градова ответила:

— Набрала только на две смены. Нет свободных людей.

— Как нет? Каждый вечер в клубе полно бездельников.

— Была вчера и в клубе. Только две девушки изъявили желание работать, как они выразились, на сладкой фабрике.

— Завтра сам побываю в клубе, прижму плясунов, укомплектуем ими третью смену.

## 6

В Ольховке жила-была припеваючи Матрёна Копеева. Не колхозница, не профсоюзница. Принадлежала к негласной партии закоренелых самогонщиков. Начинала торговлю своим изделием вечером, когда закрывался сельский магазин. Потому и жила припеваючи, нигде не работала. Несколько раз Каминский и участковый милиционер в сопровождении понятых делали налёты на подворье Матрёны. Конечно, не находили ни аппарата, ни самогона. Из подобной ситуации Матрёна всегда выходила как гусь из воды. Выпроваживая за калитку непрошеных гостей, всегда возмущалась:

— Не позорьте честную гражданку!

Был у неё надёжный информатор, не кто иной, как секретарь сельсовета. Угощая его первачом, приговаривала:

— Ты, Антон Захарович, для меня палочка-выручалочка.

Солнце давно закатилось, ночь накрыла деревню. Матрёна сидит у окна, поджидает клиентов. Раздался лёгкий стук по раме. Немного помедлив, приоткрыла окно. Ванька и Мишка, постоянные клиенты.

Достала из-под лавки бутылку, которая исчезла в темноте. На ладони зашуршала желаемая сотенная. Закрыла окно. Кто следующий? У Матрёны рабочие часы ночью, днём отоспится. Ванька и Мишка удалились, ворчат:

— Ну и темень! Ни зги не видать! На небе ни луны, ни звезды.

Случилось так, что оба рухнули в траншею. Первым очухался Ванька:

— Мишка, бутылка целая?

Тот недовольно пробурчал:

— Ты бы сначала спросил, целы ли мои рёбра?

— Плевать на твои кости. Цела ли бутылка?

— Хрен ли ей сделается? Невредимая родненькая.

— Давай сюда. Отметим благополучное приземление.

Прямо из горлышка Ванька отпил четыре глотка. Не выпуская бутылку, подставил приятелю, предупредил:

— Только два глотка!

Мишка попытался возмутиться:

— Несправедливо! Тебе четыре глотка, а мне два.

Ванька оборвал его:

— Знаю я твои глотки. Один больше моих двух.

Мишка хихикнул, приложился к горлышку. Набрал полный рот самогона, глотнул, икнул. После второго глотка Ванька отдёрнул бутылку. Через минуту проговорил:
— После моих четырёх глотков в бутылке убыло на палец. После твоих двух убыло на два пальца.
— Врёшь! В такой темноте никак нельзя определить.
— А когда я смотрю на содержимое в стеклянной таре, то вижу в любой темноте не хуже кошки.

В пещерных условиях доканали бутылку, выбрались из траншеи. Утром Ванька появился на колбасной фабрике, обратился к бывшему собутыльнику:
— Надоела пьянка. Прими на работу.

Василий Усачёв подумал: «Может, в самом деле одумался мужик?» И надел Ванька белый халат, встал у мясорубки в пельменном цехе. Женщины подбадривают:
— Ай да Иван Степанович, завалил фаршем, не успеваем.

Впервые назвали его по имени-отчеству. Возгордился, воодушевился на трудовые подвиги. Отправляет в жерло мясорубки кусок за куском то говядины, то свинины. Оказывается, работать можно даже с удовольствием. Эх, сколько дней и недель растранжирил впустую, словно коту под хвост.

А Мишка? Наскрёб по карманам на бутылку вина, присел на лавочку у своих ворот. Грустно стало мужику.
— Распалась кампания. Даже не с кем чокнуться. Зато одному больше достанется.

Пил стакан за стаканом, чокался со столиком палисадника. Пустую бутылку швырнул в канаву. Маловато. Только слегка захмелел. Пойти да поклониться в ножки мамане? Мать у него слепая. Сидела на кровати, пыталась распутать какие-то нитки. Мишка прошёл от порога в передний угол. Половицы дрогнули, прогнулись, заскрипели. Надо бы перестелить пол, да недосуг. Подождёт, пока не провалится. Кашлянул, солидно проговорил:
— Завтра отправляюсь в тайгу. Подвалю сохатого. А сейчас, дорогая маманя, одолжи полусотку.

Старуха прошамкала:
— Коншилиш деньги. Пеншию шереш три дня принешут.

Открыл ящики комода, заглянул на полки посудного шкафа. Пусто. Нет даже медного пятака.
— Потряси заначку!
— То тебя не кашаетша. Коплю на швои похороны.
— Клянусь всеми святыми, продам мясо и верну всё.
— Шохатый ишо в тайге, а ты уже мяшо продаёшь. Не дам, хошь повешай!

Вот упрямая старуха. Велика ли у неё заначка? Должно быть, немалая. Расходы на похороны, поминки, девять дней, сороковину…
— А что? И повешу.
— Повешь на том крюку, на котором в люльке тебя качала.

Сказал, не подумав, брякнул просто так. Но шальная, сумасбродная мысль вскружила голову. Старухе уже за восемьдесят, слепая, сын-забулдыга. Вот и накинула петлю на шею, когда его дома не было. Первой её увидит соседка или ещё кто-нибудь. Всё шито-крыто. Заначка сама в руки идёт. Он знает, где лежит. На кровати, под периной. Решение созрело, прочь колебания! Мишка принёс верёвку. Поставил табуретку напротив потолочной матицы, вскочил на неё. Накинул верёвку на крюк, произнёс:
— А ну, старая карга, крестись, читай молитву. Скоро черти на тебе воду возить будут.

Старуха стала креститься. Мишка сделал петлю, накинул себе на шею, примерил, ладно ли будет. В уме уже прикидывал, как погуляет на заначку. Переступил с ноги на ногу. Табуретка качнулась, хрустнула кромка старой половицы. Ножка табуретки провалилась в щель, и она исчезла из-под ног. Мишка бы рухнул на пол, но петля мгновенно захлестнула шею. Сразу перехватило дыхание, в глазах поплыли разноцветные круги. Мишка дёрнулся раза три и затих, опустив безжизненно руки. Открылась форточка, слегка стукнув о косяк. То ли от ветра, то ли для того, чтобы Мишкина грешная душа улетела в мировое пространство, затерялась там и не предстала перед Божьим судом.

Старуха закончила шептать молитву, ещё раз перекрестилась:
— Шынок, шкоро ли шготовишь петлю?

Тишина…

## Глава одиннадцатая

### 1

Ольхов написал прошение в соответствующую краевую организацию о том, чтобы прислали мастеров для сборки и установки котлов, которые уже лежали в котельной. Хотел передать секретарше, чтоб перепечатала и отправила. А следует ли? Там получат прошение, прочтут, плечами пожмут. Начнутся всякие проволочки. Бумагу будут перебрасывать из кабинета в кабинет. Пройдут недели, месяцы, пока появятся мастера. К тому же изрядно опустошат колхозную кассу. Задумался. Встал, открыл окно. В кабинет ворвалась прохлада утра. Люди спешили на работу. Торопились школьники на первый звонок. У многих в руках букеты цветов. Особенно важно вышагивают будущие первоклассники. На Подгорной улице загрохотали ковшами экскаваторы. Обычное мирное деревенское утро. Григорий Павлович принял решение. Вернулся к столу, сделал несколько телефонных звонков. Через некоторое время в кабинет вошли Мурашов и Колтович. Затем — заведующий ремонтной мастерской Жуков и три слесаря. Ольхов вынул из ящичка стола книжицу, проговорил:
— Я пригласил вас для того, чтобы ознакомились с инструкцией. Монтаж и установку котлов будем производить своими силами.

Жуков выразил сомнение:
— Не справимся. Работа слишком сложная.

Ольхов подался вперёд:
— Не тебе такое говорить. Посмотри на мастеровых, которые сидят рядом с тобою. Не они ли соорудили печи для хлебозавода, изготовили станки для выпуска пельменей? Мужики, неужели не осилим котлы?

Трое слесарей разом гаркнули:
— Соберём и установим.

Ольхов удовлетворённо кивнул, протянул книжицу Мурашову. Зазвонил телефон.
— Председатель колхоза «Прогресс» слушает.
— Говорят из районной администрации. Вас срочно вызывает глава. Надо прибыть к десяти часам.
— По какому вопросу?
— Это нам не известно.

Ольхов в пути. Зачем вызывает глава? Наверное, речь пойдёт о продаже зерна. Может, прознал про мак? Посеяли весной без разрешения на дальнем поле полтора гектара. Где взяли семена? Это тайна под семью печатями. Прибыть к десяти часам? Как бы не так! Он не пешка, а председатель колхоза, известного на весь край. Не спешит. В Журинске побывал в колхозных магазинах и в «ресторании». Глава, по фамилии Лобов, встретил возмущённо:
— Почему опаздываете? Время уже половина двенадцатого. У меня и другие важные дела есть.

Ольхов спокойно ответил:
— У председателя колхоза тоже есть неотложные дела.
— Не будем пререкаться. Присаживайся, рассказывай.
— О чём?
— О трудовых успехах, о работе кондитерской фабрики.

Ольхов подумал: «Издалека заходит. Не для того вызывал». Неторопливо заговорил:
— Закончили заготовку кормов. Сейчас ведём заготовку пшеницы. Зерно складируем. Запустили картофелеуборочную машину. Заработали все цеха овощного комбината. На кондитерской фабрике технолог Градова успешно выпускает несколько сортов конфет, разные пряники, печенье, вафли, коврижки.

Как бы в подтверждение этих слов секретарша внесла поднос с чаем и ольховскими конфетами. Глава неожиданно спросил:
— Скажи, чем занимались крестьяне до советской власти?

Ольхов хмыкнул:
— Пахали, сеяли, скотину разводили.
— А при коммунистах?

Странные вопросы, экзамен какой-то. Посмотрел в хитровато прищуренное лицо Лобова, ответил:
— Тем же самым: полеводством и животноводством.

Глава района повысил голос:
— Вот именно, полеводством и животноводством! А чем в данный момент занимается колхоз «Прогресс» под вашим руководством?

Ольхов молчал, ждал, что ещё скажет глава. Тот заговорил резко, громко:
— Превратили, понимаешь, деревню в какой-то промышленный посёлок! Предприятия разные отгрохали. В городе развернули торговлю, магазины открыли, ларьки, чайные. Задавили частную торговлю, не даёте развернуться честному человеку.

Ольхов тоже повысил голос:
— Мы не жулики. Честно торгуем, конкурируем.

Лобов хлопнул ладонью по столу:
— Честно? А кто от Степного совхоза целую деревню отторгнул и околхозил? Честно? А кто разорил честного торговца Орлова и захватил его магазин?

При этом имени потемнело лицо Ольхова, словно снова услышал выстрел из тальника, словно снова просвистела пуля над его головой. Он хотел возразить, но хозяин кабинета выставил руку вперёд, как бы лишая его слова, и продолжал, немного сбавив громкость голоса:
— Колхоз «Прогресс» не продаёт государству зерно, мясо, молоко? Вступили, понимаешь, в сговор со Степным совхозом, проникли в соседние деревни. Нам известен каждый ваш шаг! Такое безобразие дальше продолжаться не может!

Он резко открыл верхний ящик стола, чуть ли не в лицо швырнул Ольхову бумагу:
— Читай!

Это был проект решения районного совета о конфискации всех предприятий, магазинов, ларьков и чайных колхоза «Прогресс». Ольхов побледнел, дрогнувшим голосом спросил:
— На основании какого закона?

Лобов холодно ответил:
— У власти законы всегда найдутся. Вопрос согласован с краевыми органами.

Глава откинулся на спинку кресла и продолжил:
— Промышленное производство и торговля — не ваше дело. Испокон веков занимались крестьянским хозяйством, вот и занимайтесь! Пашите землю, сейте пшеницу, разводите скотину и птицу. Зерно продавайте государству, а молоко и мясо сдавайте на городские предприятия.

Ольхов глухо спросил:
— Ну и кто будет управлять нашими комбинатами и магазинами?
— Не твоя забота. Передадим в надёжные руки честному человеку.
— Когда заседание райсовета?
— Завтра.

У дверей Ольхов обернулся:
— А народ вы спросили?

Лобов самодовольно ответил:
— Власть никогда не спрашивает мнение народа. Так было и во время коллективизации, и в дни августовского переворота девяносто первого. Власть — это сила, а народ…

Он плюнул на пол и растёр подошвой туфли.

**2**

Срочно собралось заседание правления. Пригласили Каминского: он — депутат райсовета. Ольхов сделал информацию о создавшейся обстановке. Что было потом на заседании в течение двух часов, описывать не будем. Разошлись, не приняв никакого решения. Это сделает завтра районный совет. Когда Григорий Павлович вернулся домой, жена ахнула. Таким мрачным и подавленным она его ещё не видела.
— Гришенька, что случилось?

Он снял плащ, присел к столу и начистоту поведал своей Катеньке всё. Она опустилась рядом, уронила руки на колени:

— Как же так, Гришенька — наше, колхозное какому-то частному коммерсанту отдать?

Пораскинула своим бабьим умом и заявила:

— Не примет райсовет такое решение!

Заронила в душе надежду, хотя и призрачную, туманную. С нею председатель лёг спать, с нею и проснулся утром. Каминский вернулся из города под вечер. Сел напротив Ольхова, облокотился на стол, опустил глаза:

— Голосовали три раза. Сначала из двадцати пяти депутатов подняли руки только шестеро. Тогда применили тяжёлую артиллерию. Прокурор и начальник милиции нанесли по депутатам залповый огонь.

Ольхов не вытерпел:

— Не выкаблучивайся, говори по существу!

— Второй раз набрали девять голосов. В действие вступила стратегическая авиация. Сам Лобов нанёс бомбовый удар. Пригрозил совет распустить и назначить новые выборы. Тринадцать человек трусливо подняли свои ручонки.

— А ты сам?

— Ну и за кого ты меня принимаешь? Неужели я стану тянуть руку за это паршивое решение? Знаешь, у меня создалось впечатление, что здесь дело нечистое. За всем этим скрывается ещё кто-то, заинтересованный в конфискации.

Лопнула надежда, как грецкий орех от удара молотком. Новость, словно председательская «Волга», на предельной скорости облетела деревню. Не понадобились старания Анюты Баламутовой. До глубокой ночи светились окна в домах.

— Строили, горбатились, и на тебе, отдай чужому дяде.

— Это ещё не известно, сумеет ли дядя взять.

Притихла Ольховка, затаилась. Но то была только видимость. Внутри бушевал, клокотал вулкан, готовый в любой момент ниспровергнуть всесокрушающую лаву. Не зря Варвара Семёновна повесила косу у крыльца, чтобы та всегда была под рукой. Наталья Михайловна, жена старшего Усачёва, откуда-то извлекла старый серп — прапрадедушку современного комбайна и положила в сенях под лавку. Сам Николай Иванович проверил ружьё и наличие патронов к нему. Подобное происходило почти в каждом доме. То же самое было и в Крюковой. Марья Свинопасова спросила:

— Данило, исправно ли твоё ружьё?

Исправно. А где твоя оружия?

— Вот она. Кочерга у меня всегда под рукой. Пуля может мимо пролететь. Своим оружием я не промахнусь.

Никто не давал им никаких указаний. Колхозники ждали чего-то грозного, неотвратимого, неизбежного. Снизились темпы работы в цехах предприятий. Плотники делали частые и длительные перекуры. Ольхов почти не бывал на объектах, кроме котельной. Здесь шла напряжённая работа в две смены. Система отопления не подлежала конфискации.

Председательская машина часами простаивала возле котельной. Григорий Павлович с бывалой смекалкой кузнеца быстро разбирался, что к чему. Сам брался за молоток или кувалду. Физическая работа воодушевляла, отвлекала от мрачных раздумий. Инженер Мурашов не покидал этот участок, давал мастерам ценные указания. Иногда его подменял Колтович.

Мрачен был и кладовщик Кубарев. Войдёт в склад — повернуться негде. Громоздятся фляги с мёдом, мешки с молотой черёмухой и маком. На всех полках — ряды банок с различными вареньями и соленьями. В два яруса — бочонки с огурцами, грибами и папоротником. На стенах — засушенные пучки белоголовника, аниса и ещё много разных трав. Припасено на целый год. Посмотрит на это изобилие Курбатов и матюгнётся:

— Так твою растак, если сунутся сюда, не дай бог, зараз спалю! Я уже жучка приготовил. Один щелчок — и взметнётся пламя такое, что семерым попадьям не зассать.

Сентябрь разгулялся ясными, погожими днями. Непрерывным потоком струится янтарное зерно в бункеры комбайнов. Идёт уборка картофеля и овощей на общественных и личных огородах. У овощного комбината ни одной машины, ни одной подводы или тележки. Председатель распорядился буртовать картофель в поле, овощи — на огороде. До выяснения обстановки. Жители обеих деревень складируют урожай в подвалы. По той же причине. Работают люди и поглядывают на дорогу: не появятся ли машины с непрошенными гостями?

### 3

Прошло несколько дней. Григорий Павлович достал из холодильника початую бутылку водки. Заметил удивлённый взгляд Катеньки:

— Сегодня закончили установку первого котла. Не грех отметить такое событие.

Обедали втроём. Наташа снова покинула родительский дом. С улицы доносился отдалённый шум экскаваторов. Проносились мотоциклы и легковые машины. Мать проговорила:

— Носятся подростки на отцовских машинах. Вчера у соседки курицу задавили.

Екатерина Васильевна вдруг отложила ложку:

— Гришенька, а у тебя на голове седина появилась.

Он коротко ответил:

— Немудрено.

Допил чай, закурил, подошёл к окну. Мимо проехали тяжёлые грузовики. В кузовах — бетонные блоки и другие строительные материалы. Прут за Андроновский овражек. Разворачиваются коммерсанты. Вспомнил, как в одном районе, возле деревушки Коженовой, тоже был открыт источник минеральной воды. Лет десять рядили да судили, кому строить санаторий. Потом лет пять ни шатко ни валко возводили корпуса. То было при советской власти. Теперь иные времена. Пройдёт не больше года, и новый санаторий примет первых клиентов. А кто будет снабжать курорт продуктами? Конечно, колхоз «Прогресс». Дополнительный доход.

При мысли о конфискации лицо председателя помрачнело. А может, всё обойдётся? Власть осталась, как прежде, такая же громоздкая и неповоротливая. Чиновники не торопятся исполнять

свои обязанности, сидят по кабинетам, пьют кофей и размышляют о взятках. Пока Лобов раскачается, райсовет вполне может отменить своё решение.

Но что это? Не почудилось ли? Да нет, отчётливо послышался колокольный звон. Пожар, что ли? Выскочил на улицу, осмотрелся по сторонам. Дыма нигде не видать. Набат доносится от молельного дома. Зачем звонят? Откуда взялся колокол? Вероятно, от старой часовни, хранился у кого-то в тайнике. По всей улице открывались калитки. Появились мужики с ружьями, женщины с косами и серпами. Кое у кого в руках обломки жердин и колья. Порушили чью-то изгородь. Все спешили в сторону конторы. Туда же, предчувствуя недоброе, размашисто зашагал Ольхов. У крыльца конторы увидел несколько легковых машин. Милиция оцепила здание. Прикатили! У конторы уже толпились человек тридцать. Раздавались гневные возмущённые голоса. Из мясокомбината вывалила целая толпа. Покинули печи пекарки хлебозавода.

Над деревней плыл неторопливый колокольный звон, от холма он отражался эхом и замирал за околицами, где-то в степных просторах. Набат призывал жителей встать за правое дело. Ольхов поднялся на крыльцо. Перед ним встал милиционер:

— Куда прёшь, дядя?

— Я председатель колхоза.

— Никому нельзя. Там работает комиссия.

— Пошёл ты к такой-то матери!

И так шарахнул стража, что тот вперевёрт полетел по ступеням. Вошёл в кабинет. Глава района, прокурор и начальник милиции чинно сидят рядком и что-то оживлённо обсуждают. А за столом, за его рабочим столом важно развалился в кресле Орлов. Тот самый. Так вот кому должны перейти конфискованные предприятия и магазины!

Кровь забурлила по всем жилам богатырского тела. Сжались могучие кулаки. В два шага Ольхов оказался у стола. Как щенка выдернул Орлова из кресла. Приподнял, раскачал и швырнул через стол. Тот проскользил по полу до дверей и ударился головой о порог. Это произошло в несколько секунд. Районные начальники в изумлении застыли. Ольхов отставил кресло, сел на привычный ему стул. Дескать, вот я, председатель колхоза «Прогресс», на своём обычном месте. Закурил на правах хозяина кабинета.

Первым пришёл в себя прокурор:

— Ты его не того, не до смерти?

Выпустив дым, Ольхов ответил:

— Не до смерти. Я его легонько, вполсилы. Такие сволочи живучие. Скоро очухается.

Народ у конторы прибывал. Появилась с поленом в руке самогонщица Матрёна. А как же, надо отстоять колхозные владения. Иначе на какие шиши мужики станут покупать первач? Дед Андрон, размахивая берданой, призывал:

— В атаку, робяты! Атакуем, якри тя в душу и печонку!

Агапов, Мурашов и Березовская сдерживали толпу. Через мегафон раздавался голос Кости Зимарева:

— Граждане, товарищи! Сплотим ряды вокруг нашего председателя и членов правления! Соблюдайте выдержку, не поддавайтесь на провокации, наше дело правое! Мы победим!

Народ напирал, подступал к крыльцу. Милиционеры выхватили револьверы. В тот же момент на каждого из них нацелились по несколько ружей. Жутко было стоять под прицелом бывалых охотников. Поспешно убрали оружие в кобуры. На одного милиционера надвинулась Наталья Михайловна. Тот попятился перед её серпом.

— Ага, при оружии, а всё равно испугался деревенской бабы? Ты храбрец только против овец!

Прозвучал насмешливый голос Кости Зимарева:

— Гражданка Усачёва, оставьте в покое стража порядка! Под угрозой вашего серпа он уже навалил в штаны.

Толпа ответила дружным громким хохотом.

## 4

Лобов, кивнув на окно, приказал начальнику милиции:

— Разгони эту деревенщину, пусть сидят по домам.

Тот посмотрел в окно, помрачнел лицом. Вокруг конторы, размахивая всяким оружием, собралось не менее ста человек. Подъехал грузовик. Из кузова высаживались работники ремонтной мастерской, тоже не с пустыми руками. Подкатил автобус. Из него высыпали крюковцы. Впереди шла женщина с кочергой. Приближались плотники с топорами в руках — человек двадцать. Впереди вышагивал высокий плечистый человек. Этот с одного удара развалит человека на две половины. Б-р-р, аж мурашки по спине пробежали! Начальник милиции хмуро произнёс:

— Разогнать? Да тут роту автоматчиков надо, а у меня всего десять милиционеров, да и те трусливо у крыльца топчутся.

В окно выглянул прокурор:

— Это деревенский бунт. Восстание. Особенно опасны бабы с косами и серпами. Если сюда ворвутся, мы не только без зубов останемся, но и без голов.

Ольхов с лёгкой усмешкой спросил:

— Как, господин Лобов, будем народ спрашивать? Куда ваша всемогущая власть делась?

Очухался Орлов, сел на задницу, склонил голову. Изо рта потекла струйка крови, на полу валялись выбитые зубы. Начальник милиции помог ему сесть на стул. Прокурор повернулся к Ольхову:

— За что ты его?

Допроси, и он скажет, как хотел меня пристрелить. Не своими руками, исполнителя нанял. А тот, не будь дураком, выстрелил да промахнулся.

Районные начальники многозначительно переглянулись. В кабинет ввалились дядя Игнат с топором и ещё двое верзил с ружьями, из той же породы первожителей деревни. Журинские гости побледнели. У главы затряслись колени, у прокурора задёргалась щека. Дядя Игнат проговорил:

— Нас народ послал, вроде делегации, узнать, что здесь происходит.

Ольхов спокойно ответил:

— Идут переговоры. Народ пусть пока воздержится от решительных действий. Вы, мужики, кстати пришли. В бухгалтерии посторонние лица мешают нашим счетоводам спокойно работать.

Лобов нерешительно заметил:

— Это не посторонние лица, а члены нашей комиссии.

Ольхов огрызнулся:

— А мы их звали?

И к мужикам:

— Вышвырните их из конторы. Дайте каждому по пинку. Не со всей силы, а то копчики хрустнут. Потом посидите в приёмной, пока я закончу разговор с этими господами.

Через пару минут трое ревизоров под улюлюканье толпы скатились по ступеням крыльца. Ольхов строго спросил:

— Орлов, какую взятку ты дал этой троице?

Районные начальники удивлённо уставились на председателя. Откуда прознал? Орлов передёрнулся, молчал. Григорий Павлович встал, навис над столом, стукнул кулаком. Дрогнули оконные стёкла.

— Отвечай, не то вымотаю на берёзовый сук твою поганую душу, а тело превращу в мешок с поломанными костями.

Орлов, с трудом ворочая челюстями, глухо ответил:

— Каждому по десять процентов от прибыли.

Трусливый человечек, проболтался. Теперь надо дожать.

У Ольхова поднялось настроение. Впору запеть «Катюшу».

Ольхов захохотал:

— Хо-хо-хо! От какой торговли прибыль? Если бы конфискация состоялась, то в магазинах полки бы мгновенно опустели.

Прокурор невольно спросил:

— Это почему?

— Потому что рабочие тогда покинут цеха и все ольховские предприятия остановятся.

Лобов был подавлен, выглядел обескураженным, униженным. Куда девалась лихая гордыня?

Сквозь зубы процедил:

— Этого мы не предусмотрели.

Ольхов на правах победителя повысил голос:

— До хрена много чего не предусмотрели! Колхоз немедленно бы прекратил поставку муки, мяса и молока.

Прокурор немного оживился:

— А куда станете это девать?

Ольхов небрежно отмахнулся:

— Не ваша забота.

Он только теперь обратил внимание на листки бумаги, положенные на край стола. Взял, прочёл несколько строк, усмехнулся:

— Ишь ты, заранее акцию подготовили. А мы её вот так!

Разорвал на мелкие части и швырнул к ногам главы. Нажал на кнопку звонка. Вошли мужики.

— Выведите этих господ. Пусть сматываются. Переговоры закончились.

Дядя Игнат уточнил:

— Каждому пинка под задницу?

— Троим не надо. Это начальники. А вот четвёртому, беззубому, поддайте, не жалея его копчика.

Орлов в три переверта отлетел от крыльца и угодил к ногам Марьи Свинопасовой. Та подняла своё оружие:

— Сейчас и кочергой добавим.

Городские машины одна за другой покидали деревню. Вслед неслись громкие выкрики:

— Убирайтесь несолоно хлебавши!

— Бороной вам дорога!

Через мегафон гремел голос Зимарева:

— Это есть наш последний и решительный бой!

Ольхов вышел на крыльцо, поднял руку:

— Дорогие односельчане, спасибо за поддержку! Никакой конфискации не будет. Расходитесь и спокойно приступайте к работе.

## 5

Преподаватель рисования Евгений Леонидович любительской камерой заснял события, которые произошли у колхозной конторы. Эти съёмки были показаны по краевому телевидению.

В Ольховку прикатил сам губернатор Лебедев. Побывал на всех предприятиях, на ферме, полюбовался породистыми свиньями и утками, плавающими в пруду. Посетил источник минеральной воды.

Конечно, ему представили деда Андрона. Потом старик при каждом удобном случае хвастал:

— Сам губернатор мне руку пожал! Это для меня, якри тя в душу, самая высокая честь.

Антонида Владимировна угостила высокого гостя обильным обедом. Особенно губернатору понравился ароматный медовый чай. Выпил аж три стакана. Когда остались вдвоём с председателем, Лебедев прошёлся по кабинету и строго спросил:

— Почему не подчинился районной власти и устроил мятеж?

Ольхов ожидал подобный вопрос, поэтому спокойно ответил:

— Власть оказалась на поводке у жулика. Мятеж я не устраивал. Народ сам поднялся. И в трудную минуту у народа всегда найдутся вожаки.

Лебедев остановился, пристально посмотрел на Ольхова:

— А если сейчас я как губернатор отдам распоряжение о конфискации, как ты поступишь? Снова побегут с ружьями мужики, а бабы — с косами?

Григорий Павлович запальчиво ответил:

— Пусть хоть сам президент распорядится, народ не отдаст того, что создал собственными руками.

— Смело сказано! Сразу видать, что не из робкого ты десятка. Напишу официальное распоряжение.

Григорий Павлович не ожидал такого поворота событий. Перед ним не районная власть, а сам губернатор. Растерялся. Ни одна путняя мысль не пришла в голову. Лебедев закончил писать, придвинул бумагу председателю:

— Читай и изволь выполнять указания краевой власти.

Куда деваться? Ольхов взял листок и прочёл: «Назначаю главой города Журинска и всего района Григория Павловича Ольхова», дальше была размашистая подпись Лебедева. Документ официальный,

на бланке. Ольхов мог ожидать землетрясения, молнии в крышу собственного дома, но такого… Он отложил листок.

— Изволите шутить, господин Лебедев?

Тот снова заходил по кабинету. Видимо, привычка такая. Проговорил:

— Вполне серьёзно. В таком деле шутки неуместны. Это решение я принял после осмотра ваших магазинов и предприятий.

— За доверие благодарю, но не по Сеньке шапка. Целый район — не колхоз. Не справлюсь. Образования маловато.

— Это у тебя-то маловато? Твоего практического опыта хватит и для деятельности в краевом масштабе. Дай бог такое образование иному академику.

— Вас на губернаторство выбирал народ всего края. Вдруг бы вам предложили пост министра в Москве, как бы вы поступили?

Лебедев остановился посреди кабинета:

— Гм, каверзный вопрос.

— То-то! Меня председателем выбрали колхозники. Разве я могу швыряться доверием народа?

Помолчали. Ольхов спохватился:

— А Лобова куда?

Лебедев усмехнулся:

— Вся троица арестована. Будем судить за превышение служебных полномочий.

— А Орлов?

— Сбежал, сукин сын. Кабинет главы района пустой стоит. Занимай и командуй.

— У меня есть другая кандидатура. Заместитель директора Курбатовского совхоза. Молодой, энергичный. Хватка похлеще моей.

— Как фамилия?

— Ольхов Виктор Григорьевич.

— Похвально, что отец выдвигает сына. Посмотрим.

Через два дня раздался телефонный звонок.

— Председатель колхоза «Прогресс» слушает.

В трубке прозвучал знакомый, родной голос:

— Говорит глава города Журинска и всего района Виктор Григорьевич Ольхов. Я ясно сказал?

— Ясно, сынок.

Каминский на своём учреждении сменил вывеску. Теперь она гласила: «Ольховский поселковый совет».





## Владимир Раевский

# Песнь

Полно плакать и кручиниться,
Полно слёзы лить горючие:
Честь и родина любезные
Мне велят с тобой не видеться.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

В поле знамя развевается,
И товарищи любезные
С кликом радостным волнуются
В ожиданье время бранного.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Полно плакать и кручиниться.
Если любишь друга верного,
С верой к богу, к другу с верностью
Дожидайся возвращения.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Не захочет дева русская
Посрамить стыдом любезного,
Чтобы он священну родину
Позабыл для страсти пламенной.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Если я погибну с честию,
Мы с тобою там обымемся.
Если я останусь с славою,
Нам любовь сто раз прелестнее.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей.

Андрей Белозёров

# Колобок и Перчатка



Произошло это в день, когда Южный лунный узел переходит из Козерога в Стрельца, а Северный — из Рака в Близнецов. Солнце ещё в Весах. Катился себе Колобок по помойке, и вокруг было множество замечательных вещей: ламповый телевизор с разбитым лицом, дужка от повидавшей виды железной панцирной кровати, которая, как перископ, торчала одним концом из кучи и уныло пела в порывах ветра, шапка-ушанка, рухнувшая в грязь обессилевшей птицей. Множество замечательных, униженных, раздавленных вещей — все они не подавали признаков жизни…

А Колобок двигался — он оборачивал мир вокруг себя и в силу своей двигательной специфики ни на чём не мог задержать взгляда. И вдруг — он услышал слабый всхлип. Растолкав хрустящие пластиковые стаканчики, он пробрался к подножию большой, тлеющей изнутри горы. Гора дымилась, и кое-где осыпавшаяся корка мусора обнажала огнедышащие оранжевые пещеры её нутра. Ветер бесцеремонно заныривал в эти пещеры и гнал из них ядовитое пламя.

— Кто здесь плачет? — окликнул Колобок, тщетно всматриваясь сквозь завесу дыма.

— Я… это я…

Он нашёл её по голосу — чёрную вязаную Перчатку. Большая, когда-то гордая банка из-под нитроэмали стояла на Перчатке и не обращала на её всхлипы ни малейшего внимания.

Колобок разбежался, вернее уж сказать — раскатился и толкнул банку, та полетела по склону, растеряв остатки ещё не успевшей засохнуть коричневой крови.

— Теперь ты относительно свободна, — сказал Колобок. — Хочешь пойти со мной?

— Хорошо… Я попробую.

Тогда они пошли вместе: Колобок — оборачивая мир вокруг себя, Перчатка — проверяя его на ощупь пятью шустрыми пальчиками.

— Это немыслимо, — жаловалась Перчатка, обходя отбитые донышки бутылок с острыми краями. — Какое ужасное место… Я и представить не могла, что на свете существует такое…

— А я сам сюда пришёл, — сказал Колобок. — Я хотел быть честным с собой, а это самое честное место на свете. Теперь я знаю всё и вижу конец всякой вещи.

— Но это же ужасно… Бедняжка, как же ты докатился до такого…

Колобок усмехнулся в ответ, а когда усмешка сошла, он рассказал свою грустную историю. Про то, как вначале все хотели его съесть, начиная с родителей. Видимо, так устроен мир, что нужно есть, особенно тех, кого любишь. А он родился слишком свободолюбивым и амбициозным. Да, все, все хотели его съесть — а он всех кинул… и даже ту, последнюю, рыженькую… Позднее, пресытившись свободой, испытал он беспокойство, больше того — страх; вернулся к ней — на, ешь, говорит. А она вильнула рыжим хвостиком: поздно, мол. Мол, чёрствый ты стал, не буду тебя есть. Катись, мол, своей дорогою… С тех пор он и катается. И ни один рот не позарился на него… Да что рот — даже дети перестали в футбол им играть: твердокаменный, ногам больно…

— Бедняжка, — повторила Перчатка. — А у меня всё гораздо прозаичнее. Всё было хорошо, хозяин исправно носил меня на правой руке, согревал от холода своим теплом… Но я ещё что-то строила из себя, мне было мало его руки. И я мечтала почувствовать на себе ещё чью-нибудь руку. Увы, моим мечтаниям не суждено было осуществиться, ведь прежде чем пожать кому-то руку, хозяин всегда снимал меня, считая рукопожатие в перчатке признаком неуважительного отношения… А он был очень уважительным… А потом… Потом стало ещё хуже — моя пара потерялась, а кому нужна одна правая перчатка… Так я и попала сюда… Так холодно и ужасно чувствовать себя брошенной. Такая пустота внутри…

Колобок снова усмехнулся, только теплее.

— А ведь наши истории похожи. И мы с тобой похожи.

— Это судьба, — согласилась Перчатка.

И они связали друг друга клятвой.

— Клянусь, что предам тебя ради первого смазливого ротика.

— Клянусь, что предам тебя ради первого, кто предложит мне руку.

И ничего прочнее не было этой клятвы, потому как, собственно, кому они нужны — два бесполезных, хотя и честных предмета.

Связанные клятвой, они шли и шли вперёд.

Однажды, когда Венера меняет прямое движение на попятное, а Луна ещё не покинула Водолея, мир странно потеплел и размяк. К привычному карканью добавилось щебетанье мелких пичуг.

Отложив выцветший журнал, Колобок глянул в осколок зеркала и воскликнул:

— Смотри… а я ещё ничего.

Он гордо демонстрировал щёки, покрывшиеся молодым пушком плесени.

— Тс-с-с, — сказала, нежно поглаживая его щёку большим пальцем, Перчатка. — Не шуми. Во мне завелась маленькая двухвостка. Она маленькая и замёрзшая… Пусть спит.

— А у меня для тебя сюрприз,— шепнул Колобок и подарил ей колечко от разбитого горлышка зелёной пивной бутылки.
— Спасибо… Ты так добр… Что-то изменилось, ты заметил? Эта двухвостка… она живая… И это место… оно уже не так ужасно… Ах!— колечко спало с пустотелого вязаного пальчика и запрыгало вниз, в овражек.— Какая жалость…
— Пустяки…

Колобок, блаженно улыбаясь, перекатился на затылок и засмотрелся в небо. А потом улыбка стала брезгливой.
— Пора. Идём. Нам пора.
— А надо ли?— с мольбой спросила Перчатка.
— Надо. Мы же хотели быть честными… Мы связали друг друга самой честной клятвой. А это всего лишь нарядная плесень. Вперёд. Нас ждёт свет в конце тоннеля.

И как-то ночью— когда Меркурий вошёл в знак Рыб,— перевалив за горный хребет из старых печных кирпичей, грустящих о былом уюте домашнего очага, Колобок и Перчатка увидели долгожданный свет. Это горел костёр, возле которого грелся Нищий. Они подкрались ближе.
— Живо-ой…— вздохнула Перчатка.
— И у него есть рот,— констатировал Колобок.— Наверняка, он достаточно голоден, чтобы соблазниться мной.
— А руки… его руки…— застонала Перчатка, видя, как он тянет озябшие ладони к извивам пламени.— Им просто необходимо моё тепло.

Они выбрались в световое пятно.
— Здравствуйте,— сказала Перчатка и изобразила книксен.
— Чудаки-и,— покачал головой старый голодранец.
— Видите ли, мы ищем…— начал было Колобок.
— Да я уж вижу, кхе-кхе,— Нищий подбросил в огонь ворох старых газет да обрывки туалетной бумаги.— Издалека вас видно… искателей.
— А вы… не отказались бы нам помочь?— робко спросила Перчатка.
— Помочь?— старик смешливо тряхнул бородёнкой, в которой запутались хлопья пепла.
— Да. Вы не хотите меня съесть?— выкатился вперёд Колобок.

Старик хрипло закашлялся.
— Нет. Спасибо большое, дружище… но чем прикажешь тебя есть? Мои зубы— их можно перечесть по пальцам моей левой ноги, притом что два крайних отморожены, во-от, смотри.— он размотал грязное полотенце, служащее портянкой, и показал изуродованную ногу.
— А мне? Не хотите предложить мне руку?
— Нет уж, увольте, милостивая сударыня, у вас там двухвостка, ещё укусит невзначай… А ежель и не укусит, надень я вас на одну руку, кхе, вторая почувствует себя обделённой и обидится… А этого ну никак нельзя допустить. Это несправедливость… кхе-кхе.

Видя, как Перчатка расстроилась, Нищий смягчился.
— Да не печальтесь, не убивайтесь вы. Я укажу вам предмет ваших исканий. Это, кхе-кхе… это… Саблезубый Однорук. Вот. Вот кто вас спасёт.
— Однорукий Саблезуб!— Перчатка мечтательно затрепетала пальчиками.— А где он? Где он живёт?
— А-а… идите всё время туда… туда…— Нищий махнул рукой в одну из сторон.— Да… и там он живёт. Ваш Саблезуб. Идите, идите… с Богом.

И они двинулись дальше: она— на ощупь, по знамениям и промыслам судьбы, он— окатышем, не способным ни за что зацепиться взглядом. Они шли занудно долго. Искали его везде— своего Саблезубого Однорука: в корпусе стиральной машины, под раскисшим ватным одеялом, на самой вершине огромной кучи битума и в братской могиле пластмассовых поллитровок. И вот однажды— и это был последний день пути, день, когда Селена входит в Рыб,— Колобок сказал обессилевшей и отчаявшейся Перчатке: «Я скоро вернусь».

Вороны. Чёрные созданья. Не добрые, но и не злые. Вот кому решил он заглянуть в глаза и поискать там ответа. Он подошёл к свежей куче и выбрал из сидящих там ворон самую зрелую, самую большую и мудрую. Не без суеверного страха— единственного, от чего не удалось избавиться за годы скитаний,— окликнул её.
— Чего тебе?— буркнула выбранная Ворона, сжимая в клюве банановую кожуру.
— Не хочешь меня съесть?— спросил на всякий случай Колобок.
— С чего бы?— Ворона отбросила кожуру и извлекла из кучи картофельный очисток с молодой розовой картофелины.
— Ты посредник между землёй и небом. Ты бываешь и там, и там, многое видишь и знаешь. Скажи, не видела ли ты загадочное существо, Саблезубого Однорука. Я ищу его.
— Такие здесь не водятся. Дурь это. Но из тебя её, гляжу, уже не выбить, слишком чёрствый. Мякиш твой мозговой давно зацементировался.

Ворона раздражённо швырнула в Колобка очистком.
— Иди, иди, не мешай. Ты просто никому не нужная вещь, понимаешь? Нет никаких Саблезубов. Твоя последняя инстанция— это я, но и мне ты не нужен. Так что иди себе с миром.

Когда Колобок вернулся, он застал Перчатку плачущей.
— Она… она ушла… Неблагодарная двухвостка,— ответила Перчатка на его немой вопрос.
— И даже ничего не сказала? На прощание…
— Сказала…— всхлипнула Перчатка.— Сказала, что больше не нуждается в моих услугах… что всё это глупо… наши поиски… что мы смешны… Откуда, откуда ей знать, она же всё время провела в тёплой темноте… всё время спала…
— Не плачь… но… боюсь, она права. Наши поиски напрасны. Старик обманул нас.
— Как же это! Не верю… Как же мы теперь…
— Мы же хотели быть честными… Не плачь… Это нечестно.
— Мы будем честными…— Перчатка ласково погладила его по щеке… Потом вдруг рванулась куда-то, зацепилась за торчащую арматурину и выпустила нитку.

И Перчатка совершила жертву— она распустила себя в нить. И стала тропинкой.

Колобок не хотел никаких неосмысленных жертв, но что ему оставалось? И он тоже совершил жертву, став каменным вещающим ликом. Глыбиной камня подле едва заметной тропинки, указывающей на неё.

И сейчас ты слышишь эти слова, выпадающие камешками из его уст, и видишь тропку в этих нехоженых, мёртвых местах.

Встань и иди, друг мой, потому что ничего другого тебе не осталось.

Елизавета Александрова

# Вакцина взросления

(о книге И. Зорина «Гений вчерашнего дня»[1])

Что бы ни говорилось, художественная литература—это литература для подростков. Взрослые предпочитают газеты. Причиной тому личный опыт и то смутное ощущение искусственности, которое с неизбежностью вызывают литературные тексты. Рано или поздно начинает казаться, что на страницах романов бушуют опереточные страсти, которые сеют недоверие и скуку. Сопереживание литературным героям—прерогатива юности, зрелость уже не видит себя в кругу книжных персонажей, не повторяет их монологи, не подражает поступкам.

Вакцина взросления приводит к подсознательному отторжению чужих фантазий.

Романы перестают читать вслед за сказками и по той же причине. При этом разоблачение беллетристики не касается поклонников глянцевых изданий, которых не смущает ни наивная неправдоподобность их путеводителей, ни литературная беспомощность. Эта внушительная армия диктует свои вкусы—отсюда подмена бытийных вопросов житейской мудростью, отсюда—торжество детских жанров.

Иван Зорин пишет для взрослых. Он определённо рискует, не делая скидок на образование, род деятельности и философскую подготовленность. Сужая аудиторию, он имеет дерзость пойти вразрез с главным принципом современного мира—погоне за потребителем. Но именно поэтому он и интересен. Зориным руководит принцип не умножать сущее: его произведения беспощадно лаконичны, они страшатся банальности и завёрнутых в прописи истин. Его тексты—это разговор взрослого со взрослым, мыслящего с мыслящим, страдающего со страдающим.

Последняя книга Зорина «Гений вчерашнего дня», как заявлено в предисловии,—очередное приглашение к диалогу. Чем старше становится человек, тем сложнее ему отказаться от стереотипов. И потому беседовать с Зориным нелегко. Это занятие не для тех, кто видит в литературе лишь развлечение, кто из страха давно не заглядывал в себя. Ведь книга выворачивает нутро, заставляя узнавать себя в изнанке.

«Гений вчерашнего дня» повествует о судьбе. Судьбе настоящей, даже если она только снится. Вот полустанок с едва различимым названием «Бог». На нём предстоят «трудные уроки христианства». Бог есть любовь, Бог есть Жизнь, Бог есть… Есть? Он незримо присутствует на страницах книги, но Его будто и нет. С Его молчаливого согласия происходит падение человека а, может, Он просто не может произнести Слово, потому что существует в бреду сумасшедшего? Размышления Зорина о Боге—это не твёрдая позиция Достоевского, герои которого знают, что Бог существует, даже не веря в него. Автор не перечисляет шесть доказательств Божественного бытия—он убеждён, что открывший книгу в состоянии отыскать седьмое. Он уверен в читателе, потому не даёт подсказок, не разбрасывает в притчах ключи. Зорин боится злоупотребить его вниманием, поэтому страницы требуют абсолютной сосредоточенности. В читателе он видит alter ego, обращаясь к нему, обращается к себе.

Проза Зорина приближается к поэзии, как по метафоричности, так и по афористичности. Насыщенные и многослойные тексты, полные образов, текстур, линий и аллюзий доставят удовольствие чуткому, тонкому ценителю. Кажется, что у книги «Гений вчерашнего дня» много авторов, каждый рассказ не похож на другой. Под одной обложкой здесь собраны новеллы в классическом стиле и литературные эксперименты, новации, которые, возможно, станут классическими в XXI веке.

Зорин не стремится быть ни модным, ни современным, при этом его стиль, ультрасовременный и ультраконсервативный, избегает лекал массовой эрзац-культуры, он далёк от усредняющих рецептов, по которым готовятся бестселлеры. Сегодня, когда беллетристика превратилась в fast food книжного рынка, Зорин делает шаг в развитии «вечной» литературы, для него это процесс поступательный, хотя, быть может, и огибающий некоторые времена.

От владения грамматикой до чтения такая же бездна, как от азбуки до книжной искушённости. В конце концов, надо признать, что чтение—такая же работа, как труд каменщика, а профессиональных читателей в наши дни стало не больше, чем профессиональных писателей. И книга «Гений вчерашнего дня» именно для них.

1. Зорин И. Гений вчерашнего дня: Рассказы.—М.: Частное издательство «Золотое сечение», 2010.—272 с.

Нина Веселова

# На чудо уповаю



Прилетели горлицы
В бабушкину горницу.
Бабушка покормит их
Рисом и пшеном.
У моей у бабушки
У пенька—обабушки,
У моей у бабушки
Под сосною дом.
Крестик покосившийся,
Серым цветом слившийся
С древними нарядами
Наших деревень.
Хоть рыдай, хоть радуйся—
Скоро ляжем рядом мы,
И пройдёт-закатится
Мой заветный день.

Я подамся в горлицы—
Чтобы пело горлице,
Чтобы слёзы высохли
С утренним лучом,
Чтобы в мире маятном,
Словно в светлом мае том,
Все страданья стали бы
Людям нипочём.
Если буду горлицей,
Не пойду в затворницы—
Полечу я, скорая,
Белу дню вослед.
Всех родных проведаю,
С ними пообедаю,
Получу, пытливая,
Я на всё ответ.

Прилечу я горлицей
В бабушкину горницу,
Принесу, весёлая,
Ото всех привет
И шепну украдкою
Под сосновой прядкою:
«Убаюкай, бабушка,
Схорони от бед!»

---

…На качелях судьбы
То мы вверх,
то мы вниз,
От восторга и слёз замирая.
И всегда под ногами—
дрожащий карниз
То ли—края земли,
то ли—рая…

---

Опять я прячу голову в песок,
В сугробы за сараем зарываю.
Пугающий, грядёт расплаты срок,
А я дитём на чудо уповаю.
Подсчитываю, сколько же дорог
Устало исходила по планете,
Отказываясь выучить урок
О преданном служении монете.

Не гнётся под хлыстом моя спина,
И не дрожат подобострастно ноги.
Когда в загоне горя я одна,
Я неизменно думаю о Боге.
Он не велел держаться суеты,
Терять от страха самообладанье,
Он утверждал, что плотские мечты
Обложены на Небе строгой данью.

Чего ж роптать, что в руки мне нейдут
Несметные, но тленные богатства,
За кои наши братья продают
И веру, и любовь, и наше братство?
Пожалуй, стоит мне благодарить
За посланные свыше униженья
И потянуть за кончик эту нить,
Уставшую томиться без движенья.

Мне не к лицу по банковским счетам,
Подобно нищим, получать кредиты.
Мои надежды исстари не там,
Отчаянья мои давно убиты.
Я знаю силу искренней мечты
И неизбежность высших поощрений,
И верю я, что обогреешь Ты,
Мой сумрачный и незаметный гений.

И снег растает от того тепла,
Пески развеет добрыми ветрами,
Прижавшись к раме, я из-за стекла
По-детски улыбнусь любимой маме,
И всё решится сказочно легко,
Отпустят душу тяжкие оковы,
И сладостного счастья молоко
В меня польётся благодатно снова.

А прежняя судьба пойдёт на слом,
Как рыхлые весенние торосы,
И недоброжелателям назло
Собою сами отпадут вопросы,
От коих нынче голову в песок
Я снова зарываю, зарываю
В надежде оттянуть уплаты срок,
И вновь дитём на чудо уповаю.

Надену яркие вериги
Общенья с суетной толпой.
И снова призрачные бриги
Мои промчатся стороной.
И снова вымоленный остров
Заселят дикие стада.
Мечты моей иссохший остов
Зальётся краскою стыда.

Прости, Высокий Управитель,
За радости земного дня!
Твоя прекрасная обитель
Пока ещё не для меня.
Ещё волнующие сны я
Гляжу в полночной темноте,
И чую запахи лесные,
И замираю в немоте,
Сражённая Твоим твореньем,
А опрокинутая злом,
Ещё пишу стихотворенья
И проверяюсь на излом.

Пройдут мои весна и осень,
Как всё проходит на Земле.
Лишь только б Ты меня не бросил,
Пока блуждаю я во мгле,
Пока таскаю я вериги
Общенья с суетной толпой,
Покуда ангельские бриги
Мои несутся стороной.

Когда время настанет для смерти,
Не хочу отходить я в дому.
Бледный ангел пускай меня встретит
В непроглядном военном дыму
Или—в полдень на тёплой опушке,
Где в покойном сиянии дня
Разомлевших деревьев макушки,
Как оградой, сокроют меня.
Можно также в дороге, в полёте
И на диком морском берегу…
Только дома меня не найдёте—
Уползу, улечу, убегу!

Тому, кто близкого не теривал,
Вся жизнь—пустая колготня.
А ты когда-то
        В пышном тереме
Любил наивную меня.
А ты ломил мне руки за спину,
И грудь вздымалась, как волна…

Теперь поникшею и заспанной
        Я по земле бреду одна.
Минуй вас всех лихая долюшка,
Продли вам Боженька деньки!
А я в сыром и тёмном полюшке
Вдали узрела огоньки.
Они заманчивы и благостны
И требуют прибавить шаг.
И к ним назначенно и радостно
Летит свободная душа.

Ты выберешь уйти
Или решишь остаться
—Я слова не скажу,
Пронзённая тоской.
Печаль моя светла,
И скоро, может статься,
Я тоже обручусь
С могильною доской.
Давно не по пути
Нам в этом мире тесном,
У каждого свои
Расчёты и долги.
И всё нам наперёд
Заранее известно,
И ночи потому
Печальны и долги.
Ты выберешь уход
Иль жизни предпочтенье
Отдашь в немой тоске
Ещё на пару лет—
Всё будет для меня,
Как старой книги чтенье,
В которой дан в конце
Подробнейший ответ.

Разрежьте пополам
Хоть яблоко, хоть мячик—
Им больше не суметь
Катиться по садам.
А разлучите нас—
И будет всё иначе?
Мы живы лишь вдвоём,
Как Ева и Адам.
Я слова не скажу,
Когда кивнёшь виновно,
Не в силах прошептать
Прощальные слова.
Я просто улыбнусь
Тебе в поддержку, словно
От счастья и любви
Кружится голова…

Послали с барского плеча
Соболью шубу!
А я зачем-то сгоряча
Надула губы.
Мы тоже, мол, прошу простить,
Не лыком шиты,
Не только можем скот растить
И сеять жито,
И мы накоротке дружны
С лихой удачей,
А потому и не хотим
Таких подачек!

…Забрали с моего плеча
Дары собольи.
И искрилась во тьме свеча
Горячей болью.
И сердце маялось в тоске,
Ища обитель,
И бился венкой на виске
Господь-даритель.

* * *

Работаю свечой во мраке
И трепыхаюсь на юру.
Но не погасну, не умру
И не полезу в забияки.

Я верю в силу доброты
И ей служу в горниле воска.
И свет мой, тихий и неброский,
Наверняка уловишь ты.

Дотронься пламени рукой,
Оно твою согреет душу,
И злая воля не нарушит
Нам предначертанный покой.

* * *

Чтоб от печали не завыть,
Я облегчаю душу —
Я колокольчикову выть
Хожу поутру слушать.
Она росиста, и ясна,
И солнцем обогрета,
И горделивая сосна
Цветам не застит света.
Я глажу взглядом облака
И обнимаю рощу…

Возможно, доля тем легка,
Кто на неё не ропщет?
Простого проще — вечно ныть,
Изнемогая в теле.
А и всего-то надо — быть!
И состоять при деле.
Топтать в труде свой тихий след,
На чуждое не зарясь,
И знать, что через много лет
Плоды подарит завязь.

* * *

Ухо, зубик, брюшко —
Всё во мне болит.
Чёрная краюшка,
Захолустный вид
За окном избушки,
Где сижу одна, —
Вроде не старушка,
Но и не жена.
Кошка спит на печке,
Пёс хранит крыльцо.
У церковной свечки
Преклоню лицо,
Нашепчу ей думу
О своём житье.
А потом угрюмо
Вспомню о шитье
И засяду с платьем
Около плиты…
За ошибки платим
Снова я и ты.

## Плач

Мой измученный!
Мой сияющий
Рядом с Господом
В небесах,
Им обласканный…
Ну, а я ещё
Сколько буду
Блуждать
В лесах?
Три сосны —
Да не та дороженька.
Снятся сны —
Но тебя в них нет.
Ноги вы мои,
Ноги-ноженьки,
Укажите путь на тот свет!
Без тебя вокруг —
Мрак и наледи,
Нет ни ягодки на кусту.
Убегу от мук,
Выйду на люди —
Никого в живых за версту!
Горе горькое перемыкаю…
Темень тёмная среди дня.
…Помнишь, милый, как
Земляникою
Пахли волосы у меня?..
Знаю, верую:
Боль утишится,
Надо выдержать только год.
Но зачем же так
Тяжко дышится
И стоит в глазах твой уход?
Все конюшни мои очищены,
Дети подняты, вырос сад.
Обхватил бы меня ручищами,
Повернул бы судьбу назад!
…Пальцы — ниточки,
Руки — плёточки,
А в груди — небывалый свет!
Успокоился мой залёточка
И на всё получил ответ.
Он — прощённый
И — отдыхающий
Рядом с Господом в облаках.
А меня-то, меня
Когда ещё
Отнесут к нему на руках?
Три сосны — да не та дороженька,
Снятся сны — но его в них нет.
Ах же, ноги вы, мои ноженьки,
Укажите путь на тот свет!

Воистину: идёт—идущий,
А спящий—спит
        И мёртвый—нем.
О, знали б мы,
        Как мир грядущий
Прекрасен и доступен всем!
О, знали б мы!
И зорким сердцем
В Любви бы прозревали путь…

Но нам доступнее стерпеться,
Чем к райским далям повернуть.
Но нам желаннее лежанка
И развлеченья без затей,
Джакузи в ванной и служанка
Для воспитания детей.
Не знаем мы томленья духа
И напряжения в пути,
И большинству не нежит слуха
Призыв с церковной паперти.
Ленивы мы, подобострастны,
Изъедены пустой молвой,
Нам даже солнце в небе ясном
Грозит проблемой с головой.

Всё так же пьёт вчерашний пьющий,
Больной душою—так же плох.
К кому взывает вопиющий?
На что рассчитывает Бог,
Раз спящий—спит?!

Но—есть идущий!
Пускай всего один пока.
И в честь него в небесных кущах
Уже зарделись облака!

Я—не спаситель. И не ворог.
Меня не надо улещать!
В душе моей всеобщий морок:
Я тоже не могу прощать,
Я тоже не умею сердцем
Идти рассудку вопреки,
Мне тоже некогда смотреться
В таинственную гладь реки,
Мне тоже давят на мозоли
И на душу струят елей,
Мне тоже прошлое в камзоле
Сегодняшнего дня милей…

Обыкновенная—как тыщи,
Единственная—как и все.
…Прабабку прадед мой отыщет
И ночью изомнёт в овсе.
И народятся поколенья,
В которых вынянчат меня.
И я застыну в изумленье
Пред горечью земного дня.
И побреду покорной тенью
По проторённому пути,
Где нету ангельского пенья
И где покоя не найти.
А сердце будет заходиться
Ночами в неземной тоске,
Как будто раненая птица,
Как будто жизнь—на волоске…

Придёт пора, и все поверят
В исповедимые пути.
Оставьте только настежь двери
И знаки, чтобы вас найти.

На торжище—
Наши печищи
И могилы—
На большаке.
«Мерседесом»
У нас правит
Нищий,
Царь же
Едет
На ишаке.
Всё смешалось
В наземном доме,
Для отсчёта
Нету
Начал.
И никто
В заботах
О доле
Цену жизни
Не назначал.
Цену смерти
Тоже
Не знают
Те, кто правят
Сегодня
Бал…
И лоснятся лица
У знати,
А у нищих—
дрожит губа.

Иван Клиновой

# Автор завтра

Снег раздвигает границы мира.
Молишься тэц и чуть меньше — пледу.
Новый, горячий, из-под копира,
День остывает уже к обеду.

В луже ледок — можно даже бриться,
Глядя при этом в другую лужу.
Все, кто порхали в лоскутном ситце,
Предпочитают — хорьком наружу.

Если не верить, что свято место
Скользко и пусто, тогда всё просто:
Можно греметь человек-оркестром
И с высоты небольшого роста.

Если забыть, что твоя квартира —
Крепость, где стены себе дороже,
Снег раздвигает границы мира…
Или сужает, что тоже может.

Когда тебе не рады — это плюс.
Твоя свобода неприкосновенна:
Ни лишних обстоятельств, ни вселенных
И никому — «дождись, и я вернусь».

И хорошо, когда тебя не ждут:
Ты волен уходить, не возвращаясь,
Ты волен без плодов оставить завязь —
Да, не простят, но и не проклянут.

Ты никому не нужен, не влюблён,
Ты не в оркестре, не в дуэте — сольно!
Твоя свобода — лучший бастион!
Но быть свободным тяжело и больно.

Сегодня я не тот, что завтра,
А завтра — хуже, чем вчера.
Я сам себе, и точка. Автор
Ушёл в себя, и до утра

Его никто не потревожит.
Он в собеседники возьмёт
Лишь дым, что сигаретой позже,
Да монитора жидкий лёд.

И жизнь со всеми мелочами —
Лишь только шум, лишь только фон, —
Так отключается ночами
Его мобильный телефон,

Так автор завтра брови хмурит,
Но я не автор, я не тот,
Кто кофе пьёт, кто много курит
И до утра не доживёт.

Шумит кофейня, словно стая чаек,
Случайные прохожие в окне
Мелькают, ничего не замечая:
Спешить сегодня, как всегда, в цене.

А я люблю от суеты и спешки
Сбежать за кружку ла́тте на часок.
И в Красноярске нет другой кафешки,
Где был бы я так чудно одинок:

Порой сижу, и в плеер — с головою…
Бариста кофе так наволхвовал,
Что город со своею шелухою
Теряет на меня свои права.

И музыка, которой полон плеер,
И ла́тте, полный пепла и огня,
И сигарета, что тихонько тлеет, —
От суеты отгородят меня.

Светает… По ведомству бреда
Проходят ночные стихи,
Хотя от дневной шелухи
В них нет ни малейшего следа.

Но этим и страшен рассвет:
Он муку и музыку ночи,
Что, вроде, была между строчек,
Безжалостно сводит на нет.

И то, что казалось алмазом,
Блестящим у ночи в горсти,
Уже никого не прельстит
Самум[1], заходящий за разум.

Лето кончается. Начерно
Пишется осень пока.
Сколько метафор растрачено?
Сколько вместила строка?

Не обесцвечено прошлое.
В будущем резкости нет.
Сердце остывшее вброшено
В ножны, как будто стилет.

С привкусом ла́тте осеннего,
С россыпью точек в горсти
Дни, от которых спасения
Трудно бывает найти.

Суффиксы, префиксы, аффиксы —
Слово теряет листву…
Осень кому-нибудь нравится.
Значит, и я проживу.

---

1. Самум — знойный ветер *(араб.)*

Шейла Голбург Джонсон

# Костяная флейта

## На кладбище

**1.**

Свежие цветы,
увядшие букеты,
поникшие розы
разбросаны на могилах—
от вросших в землю надгробий
до гранитных обелисков,
увенчанных крестами.
Каменные ангелы молятся,
некоторые собираются вспорхнуть.

Помню день, когда мы тебя хоронили,
день стелющегося дождя и пронзительного ветра,
который вспенивал барашками океан внизу.
Сегодня я стою в лучах солнца—
вот твоё имя на табличке.
Следуя моей традиции, оставляю камушек,
чтобы отметить её,
круглую, как годовой цикл,
покрытую кусочками кварца,
отражающими свет.

**2.**

Красивое место. К северу—
Птичий заповедник… пятнышки уток…
К югу—волнуется океан…
Здесь я лежать не буду.
Хоть и запрещена евреям кремация,
предпочитаю
исчезнуть в огне.

В могиле не место
клаустрофобикам.
Тяжесть всей этой земли…

Я поддела комок лопатой
и бросила на твой гроб,
когда тебя хоронили…
Но мне было горько:
странный обычай—
когда душа наконец свободна,
замуровывать тело
в такую щель…

**3.**

Две чёрных фебы
у капающего крана резвятся,
А ворон—саркастически каркает…
Сердце моё устремляется
к скользящему над самой волной баклану…
Он летит из другой эпохи.
Однажды и я полечу с тобой,
очищенная огнём
до состояния духа…
И будем парить мы в вечной лазури…
в вечной печали…

## Костяная флейта

*Археологи нашли в Китае*
*древнейший музыкальный*
*инструмент—флейту,*
*сделанную 9000 лет назад*
*из кости журавлиного крыла.*
*«Флорида таймс».*

Пела ли кость, когда была она
частью журавлиного крыла
И журавль тот с поля летел
на болото в сумерках?

Трепетала ли музыка в этом кусочке скелета,
когда нашёл его тощий мальчишка,
который выслеживал мелкую дичь,
просто мечтая чего-нибудь погрызть…

Запыхавшись от карабканья по кустам,
он резко выдохнул в полую кость
и, очарованный созданным звуком,
подул в неё снова и снова…

И побежал к своему убежищу—женщинам показать.
А те уж придумали пробивать в кости
аккуратные дырочки, заметив,
что так получаются разные тона.

А может, они целую вечность в своих пещерах и на стоянках
экспериментировали с костями журавлей—
перепробовали тысячи косточек с дырочками,
в которые они дули, перебирая отверстия пальцами,
чтобы узнать наконец, что полая косточка может петь?

## Наблюдающие
## за птицами в Мексике

—Зелёная птица,—сказала я,—
там, за рекой.
Ты глянул:
—Я тоже вижу.
Давай подойдём.
По сырому песку
мы подошли к берегу.

—Смотри,—крикнула я,—
вон там, в засохшем дереве!

Ты подбежал, пригляделся—
и мы их увидели: три зелёных попугая—
жёлтые клювы, красные кружки вокруг глаз…
Что-то неожиданно их вспугнуло,
может быть, порыв ветра, и,
с хриплыми воплями они взлетели,
закружились, мелькая малиновыми хвостами.

Листья вспорхнули вместе с ними, кричащими,
потрепыхались на ветру и рухнули
в зелёную пену.
А они сбились в стаю,
полетели назад, по кустам,
издавая резкие крики.

И—тишина. И—река.

*Перевела с английского Марина Саввиных*

Елена Пестерева

# Ивовое наречье





## Pieris brassicae

Две недели переждать—и тебя отпустит,
Две недели пережить—и пройдёт само,
Это давняя война за ряды капусты
Человека с червяком, гусеничкой злой.

Не писать, не говорить, не читать, не думать,
Если память не кормить—тут неглубоко.
Две недели—пустяки, и—как ветром сдует,
И отшутится цветной лёгкой шелухой.

Так ведёшь свою войну скорлупой яичной,
Пестицидами, золой, мыльным порошком,
Но капустница летит из дырявых листьев
Бледным символом любви, маленьким божком.

## Лангольеры

Ты говоришь, что жизни—пятнадцать минут,
А после её глотают какие-то монстры,
Ланго… гондольеры?—как-то же их зовут.
Ландо… лангобарды?—прости, я забыла просто.

Ты говоришь, распластана Астана—
Степной двухэтажный город чуть больше станции,
Я даже не знаю, где это место на
Карте Евразии—вынуждена соглашаться.

Память была надёжнее наждака,
Шершавей и цепче, cherchez теперь по сусекам.
Мир собираю ниткой Париж—Дакар,
Прошлое—по свинцовым листам газетным.

## Слон

Вино, и дождик, и клонит в сон.
Овин порожний находит слон,
И в нём гнездится,
И спать ложится,
Сломав нарочно гнилой заслон.

Виновны дрожжи шампанских вин
В досадной дрожи всех тонких жил.
Игристы вина—
Слону дробина,
Но слон крадётся в пустой овин.

Он чешет кожу о край стропил
И просит дождик, чтоб дольше лил,
И грустно хобот
Меж яслей ходит.
Он дожил, дожил.
Дожил. Дожил.

* * *

Мама спит. Она устала.
Дети плачут в полнакала,
Тихо матеря «Зенит»,
Папа чашками звенит,
Суп фасолевый скисает.
Писк назойливый не тает.
Открывает рыба рот
И с открытым ртом плывёт.
За окном часы вокзала.
Мама—спит: она устала.

* * *

По осени голос Велеса—
Ивовое наречье—
Лениво и мягко стелется,
Течёт молоком надречным.
На утро туман створожится—
Застынет белесый ивень,
Станут кричать тревожные
Гуси—и вслед—гусыни.
И, сколько зима протянется
Огромным степным пробелом,
Не будет тебе, красавица,
Ни смеха, ни сна, ни дела,
Лишь стебли тысячелистника
Меж пальцев крути, считая,
Читая шесть строчек истины
В домашнем своём Китае.

* * *

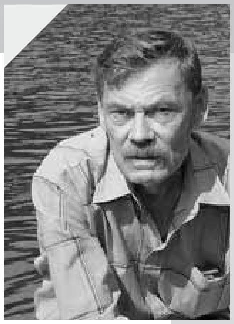
Вот снег ложится вдоль стволов
И между веток.
Ты видишь головы волов,
Смежая веки:
Ты только что о них читал.

Тебе приснится
Воды солёный грозный вал,
Чтоб опресниться,
Прошедший ряд метаморфоз,

Морфаны, фавны,
Не принимающий всерьёз
Угрозы Павел,

Волы и их большие лбы,
Глаза воловьи,
И звук осёкшейся мольбы
На полуслове,

И уплывающий узор
Прозрачных мошек…
Снег успокоится, твой сон
Не потревожив.



Александр Бояркин

# Там тайга обнимается с небом



### Крючково

Разорву городские оковы—
Изболелась по воле душа!
И уеду сегодня в Крючково
Соловьиной весною дышать.

Я сегодня уеду в Крючково
От сует городских площадей.
Ты прими меня, край васильковый,
У зелёных костров отогрей.

Я сегодня уеду в Крючково
Слушать песни задиристых птах,
Пить нектар из ключей родничковых
И купаться в весенних стихах.

Я сегодня уеду в Крючково
Черемшу по угорам искать,
Черемшиною силою слово
Напоить, укрепить, напитать.

Помоги, помоги мне, Крючково,
Силой древних природных стихий,
Первозданною силою слова
До предела наполнить стихи.

Пусть живут они вольно под кровом
Голубых наших русских небес.
Приюти, охрани их, Крючково,
Чародейный таинственный лес.

### После праздника

Вот и всё: отгремели фанфары
И закончен весёлый парад,
Разъезжаются пьяные пары,
Я снимаю помятый наряд.

Я другую одежду надену.
Как уютно в рубахе простой!
Молча стукнусь о старую стену
Забубённой седой головой.

Позабуду заздравные речи,
Именинную сладкую дрожь,
Распрямляя усталые плечи,
Отряхну с них красивую ложь.

И закрою на ключ, да покрепче,
Всё, что было сегодня со мной,
И уйду в затухающий вечер,
Словно пёс, поскулить под луной.

### Тоска по дому

Накатилась волна золотая,
Расплескалась в янтарных песках.
Я в объятиях южного рая.
Отчего же на сердце тоска?

По ангарскому синему небу,
По раздольной сибирской реке,
По горячему серому хлебу
И таёжной синице в руке.

Я повсюду искал свою долю,
По далёким заморским углам,
И казалось, что выбрал я волю,
Только воля—она всё же там…

Там, где волны ангарские плещут,
Где таёжные зори цветут,
В том краю, что отцами завещан,
В том краю, что Отчизной зовут.

Там тайга обнимается с небом,
Там лесные поют родники
И синицы краюшечку хлеба,
Угощаясь, берут из руки.

Накатилась волна золотая,
Как слеза, на горячий песок.
И зовёт за собой птичья стая,
Собираясь домой, на восток.

* * *

Раскачали качели меня
До небесного синего края.
Журавли, за собою маня,
Улетают, и я улетаю.

Я лечу и кричу журавлям:
— Погодите, постойте немножко.
Где-то там, на земле, где-то там
Моя милая плачет в окошке.

Я её заберу и вернусь
К поднебесному синему краю.
Принимай нас, родимая Русь,
В журавлиную вольную стаю.

Мы летим высоко-высоко,
Окунаясь в жемчужную просинь.
А внизу, где-то там, далеко,
По лесам ходит рыжая осень.

Михаил Грозовский

# Под знаком Солнца и Луны



Тих праздник мой. Окончены работы.
Ушли геологи. В распадке горный ключ
звенит. И сокол для охоты
самоубийцей падает из туч.

И бурундук пунктирными рывками
уносится под брёвна от него.
А надо мной тайга шумит верхами.
И ничего не надо. Ничего.

Что говорить, любимая моя?
Я забываю всё, а значит, всё прощаю,
Высокая якутская заря
янтарным светом сопки освещает.

Я здесь один, и я тебя люблю.
Мне кажется, я счастлив снова.
Я понял, что поэзию мою
легко отдам за три беззвучных слова,
рождённых утром в северной стране.

Вот здесь, где никому до незнакомца
нет дела, где дрожит на вышине
размытый в облаке неяркий факел солнца,

где нет ни сожалений, ни обид—
вот здесь, освобождённая от фальши,
как в юности, душа моя летит
к вершинам сопок, а оттуда—дальше…

---

Ночью птицей воспарила
и промолвила к утру:
«Не люби другую, милый,
погоди, пока умру».

И ушла, забрав дыханье,
мысль, мечту, свободу дня,
только гнёт существованья
оставляя для меня.

Взвился ветер смертоносный—
чуждой воли чуждый бред.
Там лишь женщина и космос.
Ничего иного нет.

Кто ты, сильный? Дай мне силы
устоять на том ветру:
«Не люби другую, милый,
погоди, пока умру».

---

*Тамаре*

У стен монастыря Донского
в ста метрах—ПТУ, ГАИ,
вендиспансер… А что такого?
Как говорится, все свои.

Когда над Шаболовкой—вечер,
то уходящая заря
разносит тихий, ровный, вечный
покой от стен монастыря.

Пред этой богатырской тенью
я сознаю, что всё—тщета,
что мы живём одно мгновенье,
а умираем навсегда.

И отвлечённою душою
дерзаю думать о веках…
Но там—чужие и чужое.
И я нацеливаю шаг
мимо ГАИ, и диспансера,
и свалки возле ПТУ,
с которой рядом дом мой серый,
мой храм, моя земная вера,
где я за Господа живу.

---

Выпал снег. И потеплело.
И печаль сошла на нет.
И в душе простором белым
разметался тихий свет.

И пришла сама собою
нежность к жизни и к земле,
к зверям, птицам… К нам с тобою
в этом снежном феврале.

Интересно… дуновенье—
а умчалось столько дней.
И ведь я не стал степенней,
ни красивей, ни умней,
ни серьёзней, ни богаче…
Всё же возраст как-никак,
а в душе—восторг ребячий…

— Мать!—кричу.—Что это значит?
— То и значит,—мать судачит,—
что здоровый, а дурак…

Окно было настежь,
и шторы дышали апрелем.
И куст, воробьями заряженный,
весь пролетарский запал
весне отдавал и звенел.
И в сосульках прожилки горели.
И кот у соседей под вечер из дома пропал.
И было смешно и легко,
и хотелось дышать как попало,
обняться со всеми,
любить без разбору, без дна…

Мне было шестнадцать.
Для полного счастья хватало
мгновенной весны
и открытого настежь окна.

**Расстрел**

Сон снился, будто бы из мглы,
похожей на клочок рассвета,
четыре хмурых силуэта
в меня нацелили стволы.

Расстрел! Но кто-то крикнул вдруг,
мелькнув неявным очертаньем,
что мне последнее желанье
разрешено.
И верный друг—
откуда он?—но вырос рядом.
И разрешил ему я взглядом
мою погибель разделить.
И в друга начали палить.
……………………………

Проснулся. Вышел на балкон.
Набрал в тревоге телефон…

—Ты жив? Я видел сон, а там…—
и всё открыл ему без фальши.
А он послал куда подальше,
чтоб не будил по пустякам.

Под знаком Солнца и Луны
по воле высших сил
я видел радостные сны
и Женщину любил.

И—всё. А прочие года
я принимал как есть.
И думал: это никогда
не может надоесть.

Но лёгкий, тихий, властный звук
я услыхал в крови,
когда сегодня вспомнил вдруг
о прошлом, о любви.

Как будто бы земная твердь
подала сердцу весть
о том, что есть на свете смерть…

И хорошо, что есть…

И жизнь не поворотишь вспять,
и жить невмоготу,
и кошка чёрная опять
рожает черноту.

Пять новорожденных котят
и скопище хлопот.
И это пятый год подряд.
И так—три раза в год.

Слепых котят ценою мук
от кошки уношу
и дело человечьих рук
страдальчески вершу.

И той же самою рукой
для кошки брать иду
в кошачьей лавке дорогой
кошачую еду.

А дома изумлённый взгляд
передо мной горит.
«Ты утопил моих котят»,—
мне кошка говорит.

Я насыпаю Kitekat
в тарелку из горсти.
Я знаю, мне прощенья нет,
но я шепчу: «Прости».

Она не трогает еды
четыре дня подряд.
«Ты,—плачет в голос,—это ты
убил моих котят».

И залезает под тахту.
И, даже если лечь,
то кошку, шаря темноту,
оттуда не извлечь.

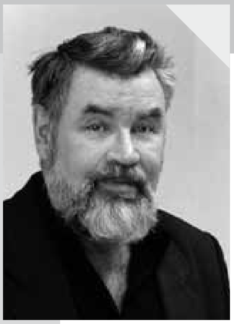
Как не извлечь на свет души,
скорбящей взаперти,
и на вопрос, как дальше жить,
ответа не найти.

Заря скупым приветом
легла на кровли крыш.
В доске кусочек света
прогрызла за ночь мышь.

Шепчу: «Вставай, Татьяна,
пожалуйста, вставай!
Того гляди, нагрянут
родители в сарай,

Как я тебя такую
от них уберегу?»
…А сам тебя целую,
целую, не могу…

И солнце лезет в щели,
и сладок наш приют,
и ты мне шепчешь еле:
«Пусть видят, пусть убьют…»



Сергей Кузнечихин

# Дополнительное время



## Сельская учительница

В очочках, но всё же мила и стройна,
И строгие платья не портят фигуры.
Уже больше года, как тащит она
Оболтусов сельских к вершинам культуры.
Вопрос задала, а в ответ ни руки,
И видно по лицам, что нет интереса.
До лампочки школьникам образ Луки
Из пьесы «На дне», а задуматься — пьеса
На местные нравы ложится вполне
И вовсе не зря изучается в школе:
Родная деревня завязла на дне
И выбиться в люди — ни силы, ни воли.
Хотя и найдётся с десяток дворов,
Где сытостью прёт через щели в ограде.
Вон, возле окна, второгодник Петров
Любуется свеженькой двойкой в тетради.
Но парень не промах: смекалист, лукав,
А в драке небось и оглоблей огреет.
Чему научить его может Лука?
Такой, не моргнув, доброхота отбреет.

И кряжистый батька всё тащит в семью,
Не брезгуя ни головнёй, ни огарком.
Вчера у Петровых кололи свинью,
А к ночи родитель явился с подарком —
Парного принёс. Напросился на чай
С туманной надеждой на нечто покрепче.
Дотронуться всё норовил невзначай,
Но прятал желанье в степенные речи:
Порядка, мол, нет ни в Москве, ни в селе,
И вряд ли бардак одолеют науки.
И маялись, ныли на шатком столе
Его тяжеленные бурые руки.
Прервав разговора непрочную нить,
Поднялся (как будто из дома позвали)
И вышел, о сыне забыв расспросить,
Но пообещал, что поможет с дровами.

А сын от избытка нетраченных сил
Старательно думает только «про это»,
Ручонки под парту, губу закусил
И лезет глазами за вырез жакета.
Вот взять бы и вызвать нахала к доске.
Да кто его знает — чего отчебучит.

А вечер пройдёт в непроглядной тоске.
Наскучит роман, телевизор наскучит.

Натоплена печка. Перина жарка.
Над дверью на счастье прибита подкова.
И снится всю ночь утешитель Лука,
Не горьковский, а из поэмы Баркова.

## Дополнительное время

Нелишне напомнить о том, что на старте
На эту команду не делали ставки.

На нервах, когда мастерства не хватало,
Играла азартность, удача играла.
И всё же команда дошла до финала.
Впервые пробилась, но очень устала.

Никто, разумеется, толком не знал,
Насколько он тяжек, желанный финал.

На поле осеннем играть тяжело.
Одним не везло и другим не везло.
В бесплодных атаках два тайма прошло.
Замёрзли от скуки нули на табло.

И слякоть на поле, и пота ручьи —
Вот только финал не приемлет ничьи.

Игра до победы и без перерыва —
Ещё полчаса для последнего взрыва.
Команда площадку шипами изрыла.
Прорыв захлебнулся, и нету прорыва.

И мяч непокорный коварством накачен.
Удар не идёт. Не идёт передача.

Ни флангом, ни центром. И сил не осталось.
Усталость. Усталость. Усталость. Усталость.

И сердце колотится в тесной груди.
И страшные судороги впереди.

А может, достаточно? Может, немало
Того, что сумели дойти до финала?

Быть может, и хватит. Но всё-таки надо
Бежать и бежать. И важна не награда,
Она и сопернику может достаться.
Но важно — не сдаться.

## Танец бабочки

Стебель с небом цветком поделится,
И над лугом цветок вспорхнёт.
Только крылья, безвольное тельце —
Приложение к ним. Полёт
Изумительно бестелесен,
И услужливо тих рассвет.
Как зазор между крыльями тесен,
Даже места в нём телу нет.
И не надо. Пускай останется
Только крыльев дразнящий взмах,
Время жизни и время танца,
Измеряемое в часах.

## Кризис

*Александру Ёлтышеву*

И ропот друзей, и начальников топот,
Смиренные вздохи усталой жены.
Тебе уже сорок, но жизненный опыт
И знанья твои никому не нужны.

Потел, постигал, не жалея извилин,
Науки гранит и канонов бетон.
От быта спасался, как Ленин в Разливе,
И яблока ждал, словно физик Ньютон.

Основы встряхнуть и сорвать покрывала
Мечтал, распаляя здоровую злость.
Куда всё исчезло, куда всё пропало,
Размылось, рассеялось и расползлось?

Устал бы иль, хуже того, занедужил,
Так нет же—здоров, как герой из кино.
И вроде при деле, но видишь:—не нужен
Ты—делу. И дело тебе не нужно.

Сплошной незаслуженный умственный отдых—
Единственно, кто нарушает покой,—
Соседка: запуталась баба в кроссвордах,
И энциклопедии нет под рукой.

## Лишние люди

Вожжи—вождям.
        У высокого стремени
Дружно враждуют холуй и халдей.
Лишние люди удачно расстреляны
По наущению нужных людей.

Псевдо-Онегины, горе-Печорины.
Правнук Белинского из ВЧК
Предусмотрительно учит учёного,
Где протекает Печора-река.

Там и к Онеге дорога недальняя.
Нужного мало, а лишнего—тьма.
Чтоб не смущали и чтоб не скандалили,
Есть про запас и река Колыма.

И ничего здесь (казалось бы) личного,
Трудится служба, себя позабыв.
Страх превратиться из нужного в лишнего
Тоже безжалостно трудолюбив.

Успех пропитан запахом натужности—
Не тем, так этим маешься в угоду.
Лишь осознанье собственной ненужности
Даёт поэту полную свободу.
Когда канонов мнимые приличия
И прочие былые заблуждения
Забудешь. И людское безразличие
Из наказания в освобождение
Перешагнёт,
Останется бескрайняя
Свобода слов. Свобода тьмы и света.
Но хватит ли для самовозгорания
Огня в душе ненужного поэта?

## Сиреневый шарф

Не знаю, зачем
Прихватила сиреневый шарф
Капризная память?
Не спится. Не спится. Не спится.
Глаза прикрываю
И вижу холмистый ландшафт,
В котором безумным губам
Суждено заблудиться.
Ползти через холм,
И спуститься к другому холму,
И дальше
Вслепую, бездумно, не зная мученья,
Блуждать и блуждать.
А потом вдруг сорваться во тьму,
Но вместо испуга
Упасть в пустоту облегченья.
И сразу уснуть. И забыть.
А была? Не была?
Бывают вопросы,
Которым не надо ответа.
Вот только
Сиреневый шарфик на крае стола.
Чуть что—и шевелится,
Ёжится, словно от ветра.

## Мёртвые цветы

*Сергею Хомутову*

Оттого, что берега пологи,
Исчезают в море города.
Над гнилыми крышами Мологи
Зацветает мёртвая вода.

И волна усталая качает
Тучный разбухающий букет.
Даже суеты голодных чаек
Над водой, накрывшей город, нет.

Но в часы, когда вода спадает,
А цветы обильно разрослись,
На уснувший город оседает,
Медленно плывёт густая слизь.

Обволакивая, расползаясь,
Обвисая гроздьями с крестов.
И русалки стонут, задыхаясь,
В запахе распавшихся цветов.

Ну что ж, последняя попытка,
И хватит гнать постыдный брак.
—Не бойся, это ведь не пытка,—
Напутствовал один бодряк.

А я стоял, от злости бледный,
И сам себе напоминал,
Что предпоследнюю—последней
Совсем недавно называл.

И ожиданье унижений
В паденье превратит полёт.
Богатый опыт поражений
К победе вряд ли приведёт.

Внезапно возникающие войны
И поиск примиренья по ночам.
Навоевались вроде и довольно,
Не надо придираться к мелочам.

Ну, если хочешь, подмету в квартире
И полку перевешу вон туда.
Достаточно того, что кризис в мире,
В стране бардак (но это как всегда).

Обнимемся, и пусть в года лихие
Не принесут в наш дом ни бурь, ни бед
Любовница моя Стенокардия
И новый твой любовник Диабет.

## Конь на распутье

Спешите, действуйте, боритесь,
Прорыв меняя на аврал.
А этот несуразный витязь—
Он на распутье, он застрял.

Куда? Вперёд, или налево,
Или направо повернуть—
Уже не важно. Отболело,
Всё то, что манит в новый путь.

Не веря в жуть предупреждений—
Куда дорога приведёт—
Уже ни славы и ни денег
От подвигов своих не ждёт.

Его нисколько не тревожит
Молва, и супротив молве
Он спешится, коня стреножит,
Отдастся ласковой траве.

А предприимчивый художник,
Натуру недооценя,
Поставит свой четырехножник
И станет рисовать коня.

Таланта не бывает много.
Соперники высоких туч,
Большие птицы петь не могут,
Их голос жалок и скрипуч.

Без дела клюв не разевают,
Живут предчувствием войны
И даже не подозревают,
Что голосом обделены.

Большие крылья их возносят
В другую высь, другую спесь.
И самки важные не просят
Им нечто нежненькое спеть.

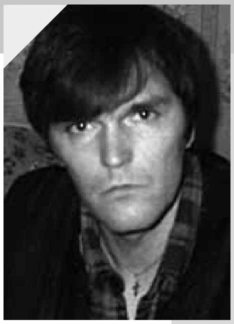
## Неразборчивый почерк

Или тайна меж строчек,
Или белиберда?
Неразборчивый почерк
Некрасив не всегда.

Он порою изящен,
Даже витиеват,
С мастерством настоящим
Буквам выбран наряд.

Завитки, закорючки
Разбежались пестро́—
У такой авторучки
Золотое перо.

Ни помарок, ни порчи—
Загляденье. И всё ж
До того неразборчив—
Ничего не поймёшь.



Вячеслав Тюрин

# И можно было сесть на подоконник



Наступила зима. Снова к земле прибиты
стебли трав и следы зверей, убежавших в норы
переждать эту пору, во сне схоронить обиды
на поднявшийся ветер с клочьями бледной своры
над дреколъем тайги. Ударит мороз по стёклам—
начинаешь ценить узора замысловатость
и включаешь обогреватели. Всё же тёплым
быть труднее, чем вырабатывать киловатт из
узловатой реки, берущей начало с верху
Тофаларских гор, куда без чужой подмоги
доберись ещё да с медведем сходи в разведку,
вспоминая по ходу байку про волчьи ноги.
Туркестанский загар сошёл; я уже порядком
пообтёрся в родных углах и снаружи глянул.
Положила зима конец беспонтовым пряткам.
Полумесяц во тьме торчал и туда же канул.

В конце восьмидесятых (если быть
точнее, то в разгаре перестройки)
я срочно поступил в пединститут,
на факультет ин. яза, что сказалось
впоследствии на качестве письма.
На почерке судьбы, дающей повод
своею безответностью к речам,
лишённым адресата. В листопаде
по щиколотку легче вспоминать,
чем отвечать на глупые вопросы
нужды в отдельно выдранной стране.
Бутылка молдаванского портвейна,
случайный собеседник—вот и всё,
что нужно человеку на том свете,
напоминающим безлюдный парк,
ежели верить факту сновидений.

Я сквозь иероглифику ветвей
смотрю на прошлое. Так невидимка
разглядывает дело рук своих
сквозь пальцы. Дело было в Красноярске,
но пахло моюнкумскою ботвой,
и быстрыми шагами шло к развязке
по коридору, где любая дверь
служила вариантом уравненья
с одними неизвестными, пока
не разберёшься, кто кому подходит,
как штепсель и розетка, например.

И можно было сесть на подоконник
и, дым глотая, думать о любви,
пока другие занимались чем-то
вроде неё, во тьме, на все лады
пружинами скрипя, как заводные.

Гравюра березняка.
Забор да столб телеграфный.
Над чем и висят облака.
Пейзаж начинался с заглавной
буквы. Допустим, Л.
И долго в окно глядел.

Я думал, что знаю вас,
ограды, кусты, деревья,
пока не разорвалась
осколочная звезда
над головой моей,
над пустырём кочевья
со знаками повествованья,
застывшими навсегда.

Я думал, что перечту
книгу с рисунками рая,
где черёмуха палисада
занавесила тын избы.
Где, влюблённый в свою мечту,
чей-то мальчик идёт, играя
с королевою листопада,
по ступенькам своей судьбы.

Даже если подамся в иные края,
никогда не забуду,
как растила меня ты, Россия моя,
как вела меня к чуду

песнопения. Этим обязан тебе
я и Богу, конечно.
Крепко спаян с тобой в разночинской судьбе.
Ты вела меня нежно

через вьюгу, колдобины, ямы, тайгу,
торфяные болота.
Я тебя в своём сердце навек сберегу—
это долг патриота.

Потому что нельзя позабыть твой народ,
твой язык, твоё имя.
Можно просто пойти по одной из дорог,
что зовутся твоими.

Не свернуть со стези, не предать языка…
Край певучих наречий!
Только здесь я могу созерцать облака
и твой лик человечий.

## Песня для дальнобойщика

**1.**

Одна мысль ускользает ящерицей в кусты
перед носом у дальнобойщика, но другая
появляется с наступлением темноты,
голосуя на трассе, погоду судьбы ругая.

Что там ещё за новости? Резко по тормозам.
Как глазницы голодного дога, пылают фары.
«Не подберёте до города?»—«Надо сказать «сезам».
И всякие разные мысли, числом как монголо-татары

берут его башню приступом, изводя
мозг эпизодами счастья,—вроде прокрутки фильма
в пустом кинозале, под барабан дождя.
Но, в общем-то, всё приемлимо. Даже стильно.

Ворона кричит на ломаном языке
древних людей о том, что всё это лажа.
Стоит ли возражать, если перо в руке,
чай на столе, в начале ночная стража?

Разве не к этому все мы так долго шли?
Каждый своей дорогою нёс котомку
со снедью, дикорастущей из-под земли,
в подарок изголодавшемуся потомку.

Сетуя на библейскую суету,
всё же взгляни вокруг. Озираться надо.
И, набирая медленно высоту,
камнем сорваться под ноги променада.

В гуще толпы завязнув, обратно ввысь
резко рвануться: через колючки—к звёздам.
Или на чём-то более близком остановись,
если не вышел ростом.

Это же так естественно. Даже зверь
с номером навороченной иномарки
вряд ли станет ломиться в любую дверь,
чтобы спросить там спичек или заварки.

**2.**

Редея на подступах к городу, дебри тайги
меняют окраску. Тучи висят, как горелая вата.
Ковыряются в солидоле многодетные битюги,
бабы в оранжевых куртках орудуют угловато,
дёргая на развилках за рычаги.
Жизнь—она приключениями богата.
В смысле—чревата возможностью, встамши не с той ноги,
кончиться раньше времени, как зарплата.

**3.**

Содрогаясь от наваждения, человек
открывает глаза и всматривается в небо,
как авгур. «Неужели скоро повалит снег»,—
рассуждает он про себя, неприятель снега,

летописец тоски, меняющей адреса,
узник совести, самоучка, певец абсурда,
в силу коего совершаются чудеса
и паршивых овец отлавливают из гурта.

Вероятность, что мы не встретимся никогда,
велика. Впрочем, как и всякая вероятность.
Я не знаю, куда уходят мои года,
и не верю, что Боги заново сотворят нас.

Очевидно, что просто кончится монолог,
адресованный в пустоту. Перестанет петься.
Человек из народа вычтется, как налог
на ту жизнь, что была им прожита горше перца.

**4.**

Ангелам остаётся крыльями развести.
Буквы пляшут перед глазами, словно чёрные человечки.
Смерти не скажешь: «Уйди. Считаю до тридцати
семи»—чтобы ждать её в январе возле Чёрной речки,
а вовсе не моря, шумящего далеко,
словно мятежное войско на стогнах Рима.
Вслушайся в эти волны. Как на душе легко
было тому, кто, расслышав эхо в ущельях Крыма,
воспел эти каменистые берега,
молчаливые кипарисы на страже чудом
уцелевшей Эллады, что памятью дорога
для певца, высоко равнодушного к пересудам
о себе, но сражённого ревностью по любви.
Ибо стрелы калёные есть у неё в колчане.
Так реви же, пучина, вздымая валы, реви!
Делай тризну по брату, ведь вы с ним однополчане.

## Где-то в Северо-Западном

Среди всякого города, пусть он уже зарос
новостройками, будет место для возвращенья.
Это свалка металла, где вещи даны вразброс
и едва ли найдёшь растенье.

Пацаном ты искал тут магний, копался во
всяких железках, как надлежит изгою.
Но шло время, взрослело серое вещество.
Небеса над тобой, как и прежде, замусорены лузгою

воронья. Но клевать им было нечего. Разве что
ждать гражданской войны с высоты своего полёта,
пока, роясь в железках, уверенный на все сто
(в чём, неважно), похожий на санкюлота

Промцветметом воздвигнутых баррикад,
ты срывался с урока, шатался назло режиму
где-то в Северо-Западном. Действуя наугад,
объяснялся в любви девчонке одной всю зиму.

И весной она поняла (ведь ты был упрям)
и пришла, несмотря на строгий запрет домашних,
как условлено было, в беседку, почти во храм.
И вы счастливы были, как будто нашли бумажник

с разноцветными цифрами: можно сложить их так,
что получится калейдоскоп, мозаика, шахрезада.
Время следовало за вами по пятам, отмеряя шаг.
Понемногу светало, веяло сиренью школьного сада.

И вы долго брели во мгле, говоря слова
дружбы. На старых липах поблёскивала зарёю
новая жизнь. От этого кругом шла голова.
Без обиды: на пустыре свои пять золотых зарою,

чтобы выросло дерево, в полдень давая тень
одичалому путнику, сталкеру лихолетья.
И да будет оно раскидисто, приводя в изумленье день.
Я хотел бы расти на холме, птичьи слушая междометья.

На высоком холме, стерегущем мою тоску
от нападок ушлой ботвы, низколобой дряни
свалок, зловонно тянущейся к куску
воспоминаний, как к жертвеннику—миряне.

## Восточно-Сибирская ветка

На пустынном вокзале художницы карандаш
изображает транзитного пассажира.
Беглый набросок выглядит как пейзаж
осени. Ветви нищенствуют. И сыро

в воздухе. Проступает одна черта
за другою, как иероглифы листопада.
Гибнет улыбка в хищном разрезе рта.
Спят улитки в глазах усталого психопата,

размышляющего, как отличить искусство от ремесла.
Дескать, действуя по заказу, ваша кисть остаётся мёртвой.
А та ничтоже сумняшеся на ватман перенесла
дремлющего пассажира. Совесть — вот контролёр твой.

Отрывая взгляд от окна, вижу полупроводника-
полупризрака в износившейся кацавейке.
Спрашивает билет. Надрывает. И снова тоска.
Стоит уйти покурить, как заняты все скамейки.

В общем вагоне дорога делится пополам.
Исповедьми богата Восточно-Сибирская ветка.
Но радио начинает транслировать тарарам,
и подпевает ему вполголоса малолетка.

Скоро все будем там, где выспимся, как сурки.
Что же нас гонит из дому? Внутренняя поломка?
Все мы паломники в мире, написанном от руки
тобою, прости, художница-незнакомка.

## Памяти О. Л.

День состоит из видений и, собственно, грёз
индустриального толка. Внутри шлакоблочных,
геометрически недоразвитых угроз
оберегается камерный опыт заочных
ставок с инкубами лестницы, гулче стократ
храма, где только что пели залётные музы.
Крыша поехала, как иногда говорят
в обществе лиц, наводняющих осенью вузы.

Подозреваю, что нынче, как в прошлом году,
в аудиториях города вялятся мозги.
Держатся речи. Скамейка пустует в саду,
словно мы только что вышли с тобой на подмостки.
Дикого полон достоинства, тёк Енисей,
медленно воды влача по широкому руслу.
Камни блестели на отмели… Всё же рассей
мои сомнения, как бы там ни было грустно.

Всё же, кирпич обнажая, ветшала стена,
лист облетал понемногу, скрипели трамваи.
Странные речи вели мы с тобой дотемна;
было светло на душе, но желтела трава и
лето кончалось… Увы, для тебя — навсегда.
На полуслове, глушимое серостью будней.
Из умывальника брызгала на пол вода,
и становилось на рынках ещё многолюдней.

Действуй.
Здесь твой
путь.
Будь.

Жёлуди лежат во рвах обочин,
на лотке сверкает виноград—
дорог сердцу, потому что сочен,
созревая сотни лет подряд
там, где у чинары лист отточен
и с ладонь мужскую в аккурат.
Там, где небо, когда смотришь очень
нежно, рдеет, опуская взгляд.

Если долго ходишь по Ташкенту,
то, с людьми вступая в разговор,
помни хорошо свою легенду:
на слове поймают, если вор.
Ибо нету лишнего на свете—
всё сгодится дворнику в костёр.
Дым костра, как сумрак лихолетья,
крылья надо мною распростёр.

Легко сказать: родился там-то,
работал кем-то на кого-то.
Давно я не писал диктанта.
Да и кому служить охота
сосудом для чернил, быть вещью.
Хотя бы на листе бумаги.
Терять осанку человечью.
Как будто думать о Гулаге
промозглой осенью в Вермонте.
Легко сказать: окончил школу,
стал одеваться от Ле Монти,
бить кулаком по дыроколу,
смотреть на женщин обалдело
до той поры, пока одна из
них на тебя не поглядела
и кончился психоанализ.

## Розы в стране гипербол

Я люблю блаженную розу,
расцветающую без спросу

палисадниками, полями.
Розе нету нужды в рекламе.

Соловьиной предмет рулады,
отрицанье любой ограды.

Ну, а то, что шипами богата,—
не беда для нашего брата.

Роза—больше, чем роза, в России.
Как иначе? Страна гипербол,

у которой глаза большие,
как озёра, где силы черпал

взгляд, блуждающий по равнине,
ибо с ней его породнили

годы странствий, разлук и писем,
от которых он стал зависим,

как от выпеченного хлеба,
созерцая пейзажи неба,—

сын реки, вопреки бегущей,
как язычник на праздник кущей.

И стояла над миром осень,
отражаясь стволами сосен

в откровенных и потаённых
окоёмах и водоёмах.

А за что комара-зануду
я люблю, говорить не буду.

Всё равно он меня достанет,
потому что на нём креста нет.

Юрий Беликов, Евгения Чапаева

# Ностальгия по Чапаю,

## или Чудотворец в папахе



Я гляжусь в подлинное зеркало Василия Ивановича Чапаева. Оно не только помнит лицо этого едва ли уже не сказочного персонажа русского миросознания. В своей помутневшей глубине оно хранит и детали: например, как «сказочный персонаж» перед этим зеркалом брился. А ещё собственноручно менял деревянную основу к зеркалу, потому что предыдущая рассохлась. И приделывал к зеркалу ножку. Чтобы можно его было установить и нацелить в виде некоего запоминательного оружия.

Зеркало передали в дар Чусовскому этнографическому парку правнучка и праправнучка легендарного комдива — Евгения и Василиса. И появилась здесь уже в новейшие времена экспозиция, посвящённая Василию Чапаеву — «Ермаку XX века» (его так и величали в отрочестве — Ермаком — за отчаянно-неукротимый нрав). Тогда-то и приехали в Чусовой хранительницы его памяти. Праправнучка Василиса, которая очень на Василия Ивановича похожа, даже стала лауреатом «Чусовской подковы» — награды тем, кто любит Россию, Урал и Чусовую. Сейчас она учится в московском институте журналистики и литературного творчества, а в 15 лет её уже приняли в Союз писателей России. Впрочем, и мама Василисы имеет отношение к тому самому литературному творчеству. Евгения Артуровна — автор сенсационной книги «Мой неизвестный Чапаев».

Однако вернёмся к чапаевскому зеркалу. Оно продолжает поглощать лица и личины — столько всякого народу заглядывает в знаменитый этнографический парк. От простых экскурсантов до сановитых величин. Но зеркало цепко их в себя погружает. А на самом донышке — лик Чапаева. Взыскующий. Помните: прах Каппеля перенесли на Новодевичье. Всё верно. Потому что прах Чапаева переносить не надо — в минувшем году исполнилось девяносто лет, как он стал частью русской природы. Быть может, той частью, которой не достаёт в нашем обществе. Иногда я даже думаю: глянь Чапаев и Колчак на сегодняшнюю российскую действительность, они бы, чего доброго, встали плечом к плечу. Так что с возвращением вас, Василий Иванович!

*— Евгения, несмотря на смену вех, твой прадед остаётся любимым народным героем. Он прочно вошёл в народную мифологию, стал едва ли не сказочным персонажем. Я только что, накануне нашего разговора, прочитал роман Дмитрия Быкова «ЖД», в котором действует представитель коренного населения России. Не догадываешься, каково его имя-отчество? Василий Иванович! В конце романа он уходит в народ. А коренное население России автором именуется «васьками». Вот и ты свою дочь Василису именуешь по-домашнему Васей. В общем, что я хочу сказать?.. Не стихающая «боеспособность» Василия Ивановича свидетельствует о том, что, в отличие от других знаковых фигур «красной истории», имя Чапаева в нашей стране не перечёркнуто. Со стороны народа отношение к его фигуре не изменилось. Ведь так?*

— Помню, как ещё в начале перестройки, когда только-только в нашу страну начали завозить швейцарское пиво, я нередко слышала такие слова: «Женя, как жалко, что твой прадед не в ту сторону рубил шашкой! Сейчас бы давным-давно потягивали швейцарское пивко и ели шпикачки!». Но, отвечая на твой вопрос, я хочу сказать, что сейчас к Василию Ивановичу проявляют даже больший интерес, чем в советское время. Потому что тогда главенствовал явно номенклатурный крен: надо было отметить день рождения Чапаева и дату его гибели. Ну, были ещё интервью в связи со 100-летием или, допустим, в честь 23-го февраля. А сейчас намного чаще обращаются к фигуре моего прадеда: во всяких передачах, скандальных, не скандальных, жёлтых и не жёлтых. И как-то пытаются понять, что же было во времена, когда жил Чапаев? Тот период — очень сложен в историческом плане. Что касается личности моего прадеда, то — хотя бы потому, что Василий Иванович прошёл не только Гражданскую войну. Сначала он верой и правдой, а самое главное, со знанием дела служил царю и Отечеству в Первую мировую. И оказался, как и многие в ту войну, по уши в воде и цинге. Ему крайне повезло, потому что на момент братания русских и австрийских солдат он находился в отпуске. А на следующий день вышел приказ генерала Брусилова о том, чтобы перевешать всех, кто побратался. Такой же приказ огласили и немцы. И когда Чапаев прибыл в родную часть, его друзья-однополчане уже висели на фонарях и деревьях. Жуткая картина… Могла ли она не повлиять на его мировосприятие?..

А сам Василий Иванович был «охотником» — так называли тогда разведчиков. И, кстати, помог провести знаменитый Брусиловский прорыв. Чапаев узнал, что у немцев — какие-то религиозные праздники, во время которых они не воюют. И предложил: если обмотать тряпками копыта лошадям, можно через пьяных германцев ночью пройти и воссоединиться с нашими частями. Так и случилось. За этот прорыв Чапаев получил Георгия третьей степени.

Однажды, будучи в разведке, он был ранен в голову и притворился мёртвым. Немцы решили, что в сумерках они хоронить его не будут—закопают утром. Вражеский дозор из четырёх человек сидел-сидел да закемарил. Только немцы заснули, Василий Иванович поднялся, одного вырубил насмерть, а троих заставил нести на себе тяжело раненного русского солдата. Когда наши увидели, что Чапаев, сам раненный в голову, в одиночку ведёт троих здоровенных немцев, которые ещё тащат нашего раненого, эта история облетела все воюющие русские части и он получил Георгия второй степени. И Первую мировую Василий Иванович закончил полным Георгиевским кавалером.

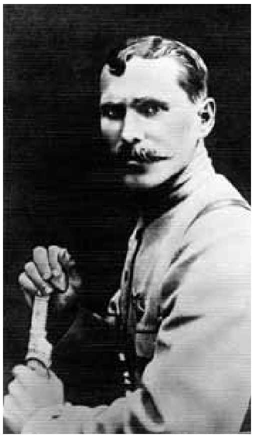
*— Говорят, что у Чапаева было бельмо на глазу. Как же его взяли в армию? Или бельмо—это миф?*

— Бельмо было на самом деле. Но… В 1909-м году, во время рекрутской службы Василия Ивановича комиссовали. И к строевой он больше был не пригоден, о чём очень сожалел. Вернулся в деревню. Мать сказала: «Плюнь! Сейчас к лешачихе тебя свозим. Заговорит—никакого бельма не будет». И вправду эта бабка дунула-плюнула, и у Василия—опять распрекрасные васильковые глаза. И он решил: раз так, теперь женюсь. И женился в этом же году на своей Пелагее, которую безумно любил. Она была совсем молоденькой—16 лет от роду и косища вот такая! Если распустит—могла ходить обнажённой, потому что ничего не видно из-за волос. Отец Пелагеи был богомазом. Василий начал помогать своему тестю и вскоре прославился как иконописец. Наслышанная о его мастерстве, является как-то к нему одна бабулька и передаёт закопчённый образ. Через неделю пришла и обомлела: на иконе изображён Николай Чудотворец, но с усами, в папахе и с саблей! А бабулька со связями была. Дескать, кердык тебе, Вася. Побежала в управу жаловаться. И, действительно, Чапаеву грозила каталажка за богохульство. Тогда он с Пелагеей и ребёнком бежал в Симбирск. А как началась Первая мировая, ушёл на фронт.

*— Насколько книга Дмитрия Фурманова и фильм «Чапаев» соответствуют действительности?*

— Ты, наверное, помнишь, как в фильме спрашивают: «Василий Иванович, ты за кого? За большевиков или за коммунистов?» Вообще-то Чапаев «Манифест коммунистической партии» знал назубок. Он в партию большевиков вступил в сентябре 1917-го, а революция совершилась, как известно, в октябре. В фурмановских дневниках можно прочесть: «…мне Чапаев и говорит: «На такой-то странице «Манифеста…» сказано то-то, то-то и то-то». Чапаев знал, за кого он воюет,—за мужика. Потому что на своей шкуре испытал, как народу живётся. Фурманов в книжке пишет, что мой прадед произошёл от бродячего цыгана и какой-то там княжеской дочки. То есть я хочу сказать, что как роман, так и фильм, были сделаны с отстранением от действующих лиц и реальных событий.

*— И правильно фамилия Василия Ивановича звучала как Чепаев?*



— Чепай—кличка такая была. Прадед его работал на сплаве бревён. И там кричали: «Чепай-чепай-чепай!» Что означало: цепляй, хватай. А букву «а» приписал в романе Фурманов, сказавший: «Так стилистичнее!» Но все знали Василия Ивановича как Чепаева и, само собой, он так и подписывался. Из тогдашнего высшего военного руководства Фрунзе был единственным человеком, который очень хорошо к нему относился. А, предположим, Троцкий очень Чапаева боялся—особенно его выдвиженчества снизу. В России уже в ту пору шёл передел нефти. Допустим, идёт Чапаев на Гурьев—его надо остановить, потому что он, как честный человек, не позволил бы перераспределения «чёрного золота». Его травили не только Антанта и белые—травили, в первую очередь, красные. Вот почему о Чапаеве в советское время говорили как о признанном герое, но—вскользь. В одном из своих последних приказов он пишет о «фактах преступного пользования обывательскими подводами товарищами красноармейцами», потому что эти подводы могли бы принести огромную пользу на уборке хлеба. И дальше: «Тянутся целые обозы с ненужными вещами, как-то: в санитарных отделах возят пианино и рояли, двуспальные кровати, матрацы, что считаю недопустимым и преступным со стороны ответработников, командиров, комиссаров… Также со стороны комендантских команд, которые, чувствуя себя в безопасности, возят с собой по несколько граммофонов и по несколько сот пластинок к ним». Василий Иванович сформировал несколько дивизий. Троцкий отнимает у него 22-ю дивизию и приказывает: «Даю вам два дня на создание новой». Можно ли за два дня сформировать дивизию? А Чапаев мог. И такую, что к нему люди с песнями шли. И жёны с ними просились, чтоб дома не оставаться.

*— То есть Троцкий заведомо поручал Чапаеву проигрышные дела?*

— Однажды Троцкий, Куйбышев и весь реввоенсовет приговорили моего прадеда к расстрелу за неисполнение приказа. А приказ примерно такой: иди в лобовую атаку и погибни вместе с дивизией! Чапаев его отменил как ошибочный, но бой выиграл. После этого как его расстреливать? Однако с этой целью Троцкий прибыл в Пугачёв на бронепоезде. И тут же понял, что даже до бронепоезда не добежит, настолько «архаровцы» (так называл он чапаевцев) стояли за Василия Ивановича горой. Все—от 90-летнего старика до девятилетнего разведчика Коли Тужилина. Поэтому сочинили приказ откомандировать Чапаева в академию. В начале 1919 года он прибыл в Москву на учёбу—сейчас это академия имени Фрунзе. И понял: всё, что ему там преподавали, он давно постиг

на практике. Тогда он дошёл до Крупской: «Отпустите меня обратно!» Ленин с подачи Крупской заявил: «Таким, как Чапаев, сегодня место на передовой, а не в академии».
*— Как всё-таки погиб твой прадед?*
— Бабушка больше склонялась к версии венгров, которые служили в чапаевской дивизии. В 50-е годы они написали ей письмо о том, что посмотрели фильм «Чапаев» и страшно он им не понравился — сплошное враньё! И они рассказывали, что на стыке реки Белой и Урала 5 сентября 1919 года завязался бой. Урал был от крови весь красный. Там и руки плыли, и головы. Чапаев знал, что этому бою суждено быть. Он слал тогда телеграммы советскому правительству: «Я предан, обманут. Меня хотят бросить на съедение. Если нужна моя жизнь, придите и заберите. Но зачем же бросать на съедение вверенных мне людей?» Во-первых, Чапаева дезинформировали лётчики, которые были якобы присланы из штаба Красной армии, а на самом деле — Антантой. Они летали над степью и, приземлившись, докладывали: «Василий Иванович, всё спокойно». А как это над степью можно не увидеть передвижения частей? Чапаев чувствовал, что обречён. И, если придерживаться версии венгров, был ранен в голову, в живот и в руку. Командование на себя взял комиссар Павел Батурин, приказавший снять ворота, сделать плот и переправить Чапаева на тот берег. И вот венгры пишут: «Мы и ещё двое русских сорвали ворота, связали плот и, сами истекая кровью, переправили комдива на противоположную сторону. Но на том берегу Василий Иванович уже умер». Чтобы не глумились над трупом, чапаевцы разрыли землю, закопали тело и затрусили камышами, потому что за Василия Ивановича, живого или мёртвого, давали по тем временам астрономические деньги: 25 тысяч рублей золотом, когда за три рубля можно было купить корову. Причём советское правительство давало 15 тысяч золотом, настолько он им мешал, а Антанта — 25.
*— Всё-таки Антанта ценила талант Чапаева выше! А кому советское правительство сулило эти золотые 15 тысяч?*
— Своим же и сулило. Это я говорю абсолютно точно. Эти сведения — от моей бабушки, которая много-много лет копалась в архивах. Более того, она с этими предателями разговаривала лично. Они же, между прочим, деньги-то получили. «Почему вы его предали?», — спрашивала она. Но там сложилась такая ситуация: те, кто был предателем в Гражданскую, стали Героями Советского Союза в Отечественную и заняли невероятные посты в правительстве!
*— Фамилии этих людей, надеюсь, известны?*
— Известны, но я их не обнародую. Потому что живы их родственники. А я не хочу конфликта.
*— То есть эта книга так и не была издана?*
— Она была издана, но уже при других условиях и очень маленьким тиражом. И я решила сделать свою, самую честную книгу, которую назвала «Мой неизвестный Чапаев». Там я говорю в том числе о тех, кто причастен к его гибели. Это четыре лётчика. Я называю двух, которых убили сразу же.

Дочь комдива, разведчица закрытых архивов Клавдия Чапаева

Это Садовский и Сладковский. По одной из версий, их убил Пётр Исаев, тот самый Петька. Одного задушил, другого пристрелил.
*— Это были красные лётчики?*
— Это не были красные лётчики, но летали как красные. На самом деле они были ставленниками Антанты.
*— И всё-таки виновны в гибели Василия Ивановича и те, и другие?*
— Вот я сейчас выдохну и скажу, что в его гибели виновно красное правительство. Потому что Чапаева заведомо посылали на верную смерть.
*— И никто не искал место его захоронения?*
— Когда бабушка получила письмо из Венгрии, она позвонила в правительство Уральска: «У меня даже карта есть, где отмечено место захоронения моего отца. Дайте мне трактор с плугом. Вспашем, и те кости, которые найдём, я перезахороню в Москве. Буду условно считать, что это останки Чапаева». Ей ответили: «Клавдия Васильевна, мы с удовольствием дадим вам любую технику, но река давно изменила русло и место, о котором вы упоминаете, — под водой».

Бабушка всё равно приехала в Уральск. И поднялась примерно на тот берег, где в Гражданскую шли бои. На небе — ни облачка. Абсолютно бирюзовое небо и яркое солнце. И постояла-то бабушка там минут семь. Откуда не возьмись — огромная чёрная туча. И разразилась гроза! И молнии — прямо бабушке под ноги, сантиметрах в двадцати, вкруговую. Она на колени упала с мыслью: «Это отец подаёт мне знак». Минут через десять — на небе снова ни облачка.
*— Существуют ли сейчас музеи Чапаева? Что с ними? Потому что все бывшие «революционные музеи», так или иначе, сегодня переориентированы, пытаются «идти в ногу со временем», и их сотрудников сложно, наверное, в этом упрекать.*
— В советское время было семь музеев Чапаева: в Лбищенске, на реке Белой, в Уральске, в Уфе, в Балаково, в Пугачёве и Чебоксарах. Закрыть музеи в Балаково и Пугачёве в новейшие времена пытались как-то не очень. Вот как они стояли — домик один и домик другой — так и стоят. А в Чебоксарах — на родине Василия Ивановича — музей строился на народные деньги во время субботников и воскресников. Когда возник вопрос о закрытии этого музея: мол, сейчас уже и революция не в чести, и её герои, директор музея Валентина Бровченкова сказала: «Тогда верните

деньги, которые перечислял народ, если вы хотите музей выкупить! Верните тем, кто перечислял». Эти слова заставили задуматься тех, кто наверху, и они оставили музей в покое. В России сейчас действуют три музея Чапаева: чебоксарский, балаковский и пугачёвский. А вот как обстоят дела в Казахстане, где в Уральске тоже был музей моего прадеда, я не знаю.

*— Изменилась ли в музеях подача образа Василия Ивановича?*

— Его подают как реальное лицо — ничего не приукрашивая. Как-то посетила музей делегация чеченцев. Цокают языками: «Хороший был кунак!» Потом китайцы приезжали. И вдруг директор музея слышит: «Спасибо вам за сохранение памяти о нашем национальном герое!» Директор выпала в осадок: «Как это?! Это — наш национальный герой!» — «Нет, — ответили китайцы, — это — наш национальный герой. Мы в Китае очень любим Чапаева». Надо сказать, что чапаевская дивизия была настолько интернациональной, что там воевал даже негр! Обычный негр вот с такими губами, на голове — фуражка со звездой, и звали его Джаник. И китайцы у Чапаева были, и Ярослав Гашек. Своего Швейка он писал с чапаевской дивизии. Гашек год служил у Чапаева, бегал по психушкам, собирал справки, чтоб в самые ответственные бои его не брали. Будущий генерал-майор Панфилов, преградивший вместе со своими бойцами путь фашистам под Волоколамском, тоже служил в чапаевской дивизии. И легендарный Ковпак — оттуда.

*— В 90-е годы в одном из толстых литературно-художественных журналов я прочитал некий пространный очерк о том, что Чапаев якобы остался жив и даже был репрессирован. И что его видели в лагерях.*

— Это началось со 100-летия Чапаева. Обычно к юбилеям всегда объявляются всё новые и новые очевидцы: «Мы знаем, где могила Чапаева!» Или: «Мы видели в Сибири слепого Чапаева!» И даже бабушкиному брату, старшему сыну Чапаева, писал какой-то человек из Чебаркуля: «Дорогой сын! Правда, не помню, как тебя зовут. Я — твой отец, Василий Чапаев. Лежу в психушке. Приезжай меня навестить». И Александр Васильевич туда ездил. Возвратился страшно расстроенным, потому что народ просто придумывал легенды…

*— Что за трагическая история, связанная с Петром Исаевым и его женой?*

— Всё началось с фильма «Чапаев». Сталин сказал: «Надо сделать так, чтобы было четыре главных действующих лица. Показать роль командира — выходца из народа. Роль партии в Гражданскую войну. Роль женщины. И — роль рядового бойца». Роль командира — это Чапаев. Роль партии — Фурманов. Что касается роли женщины, то Мария Попова, которая была санитаркой в дивизии, однажды рассказала, как она подползла к пулемётчику, а того ранило в руку. Надо было управлять стволом пулемёта «Максим». Попова говорит: «Я боюсь». А пулемётчик: «Ложись, или я тебя сейчас пристрелю!» Та нажала на гашетку, а он здоровой рукой управлял стволом. Создатели фильма, братья Васильевы сразу же ухватились за этот эпизод и сделали из санитарки Анку-пулемётчицу. А Пётр Исаев (вот вам «роль рядового бойца») был у Чапаева разведчиком и, вообще-то говоря, они с Василием Ивановичем ровесники. И дружили ещё с Первой мировой. Но надо же в фильме любовь показать. Командиру некогда романы крутить, партии — не положено, значит, пусть крутит любовь рядовой боец. Ну, раз взяли реальное лицо — Петра Исаева, его с этой Анкой и «поженили». А жена Петра Исаева (тогда же народ всё-таки дикий был) восприняла, что это и есть её погибший муж, тем более, грим хороший наложили — вылитый прототип. И она не выдержала «такого предательства» и повесилась в сарае. Есть несколько версий гибели Петра Исаева. Одна — что он погиб в том же бою вместе с Чапаевым. Другая — что через год на поминках по Чапаеву он застрелился.

*— Как сложились судьбы детей Василия Ивановича?*

— У старшего его сына Александра Васильевича последняя должность была заместитель командующего Московского военного округа по артиллерии и ракетным частям. Он умер в 1985 году. Младший Аркадий погиб в 1939 в возрасте 27 лет. Он был лётчиком-истребителем. Они совместно с Валерием Чкаловым разрабатывали вылеты из-под моста. Врезался на истребителе в землю. А дочь Василия Ивановича, моя бабушка Клавдия Васильевна, была пищевиком и партийным работником.

*— Твой отец Артур — внук Василия Ивановича. Любопытна его судьба: она ведь сложилась совершенно непохожей на судьбу деда?*

— Абсолютно. Потому что мозги у моего отца были повёрнуты не в ту сторону. Он был умным человеком, но с определённым уклоном фетишизма в сторону… Гитлера.

*— Какая редкая патология у советского человека!..*

— Да, редкая. Одного из своих пасынков он воспитал в таком духе, тот 9-го мая ставил проигрыватель с пластинкой «Дойчен зольдатен…» на подоконник и на полную громкость включал этот марш, и отец мой при этом страшно радовался. Он окончил Суворовское училище. Должен был быть кремлёвским курсантом, но бабушка отправила его в Выборг, где он служил на границе. Потом у него приключилось ранение и его комиссовали. В Латвии, куда Артур Борисович Чапаев сбегал из Москвы от КГБ, у него были какие-то заморочки с «лесными братьями». Отец пережил мою бабушку на четыре года. В 2003 году он умер.

*— Его можно назвать диссидентом?*

— Думаю, да. Однако мы с ним крайне мало общались. Я росла, в основном, с его матерью — моей бабушкой. У нас в принципе была недружная семья.

*— То есть отец не жил с вами?*

— Со мной и мать не жила. Меня отдали бабушке на воспитание, и больше мной родители вообще не занимались. У матери была своя семья, у отца — 155 семей сразу, и он скакал от одной семьи к другой. И я крайне редко общалась и с матерью, и с отцом. Им было не до меня. Мы жили — я и бабушка. И даже был момент, когда она меня хотела удочерить: «Всё равно от твоих дураков-родителей нет никакого проку».

*— Насколько реальна история, когда под угрозой оказались бабушкины архивы, потому что за ними пришёл твой отец?*
— Да, после смерти бабушки он захотел овладеть её архивом. Я не знаю, куда он хотел его «скинуть». Возможно, этим архивом заинтересовалась какая-то западная фирма. А предыстория — такова. Бабушка расспрашивала чапаевцев о том, как воевал Василий Иванович. А за давностью лет, особенно когда ветеран примет на грудь, начинаются разборки: «Да ты в том бою не участвовал! Ты вообще в обозе был!» И — в драку. И бабушка поняла, что от воспоминаний надо отказаться. И тогда обратилась в правительство, чтобы ей разрешили работать в архивах. И ей разрешили — во всех открытых и закрытых. И она в течении 15–17 лет каждый день ходила туда, как на работу. У неё была очень хорошая память. Сидит с ней в закрытом архиве архивариус, переворачивает перед ней листы. Бабушка один лист читает часа два. Потом идёт в дамскую комнату и на коленке всё переписывает. И таким образом Клавдия Васильевна насобирала немыслимое количество документов — несколько тысяч. Кроме того, ей удалось раздобыть уникальные фотографии. Сейчас эти исторические снимки — в очень большой ценности. И Артур, когда бабушка умерла, наследовал не только квартиру, но и архив. И чтобы эти редкие документы, добытые бабушкой, не ушли в неизвестном направлении, я из-под носа своего отца этот архив увезла и рассредоточила по определённым адресам. А ему сказала, что вообще не в курсе того, что есть какой-то архив, первый раз о том слышу. Даже сделала вид, что очень заинтересовалась этим вопросом. Я считаю, что русские архивы должны находиться на русской земле. У некоторых фотографий из этого архива цена на чёрном рынке — 200 долларов. А там документы — не только по Гражданской войне. Там — большой период времени. И документы — не только о Чапаеве. Например, о Троцком и о многих-многих других деятелях.
*— Известно, что, когда родилась твоя дочь Василиса, она качалась в люльке Василия Ивановича. И якобы это ей даром не прошло?*
— Я лично её клала туда. Люлька сохранилась в его чебоксарском доме-музее. Вася часа четыре лежала в этой люльке и даже не пикнула. Внешне моя дочь была очень похожа на Василия Ивановича — просто одно лицо! Есть фотография, где ему — лет 13–14. И Васька в свои 13–14 лет была копия своего прапрапрадеда. Мы её даже наряжали так, что её можно было фотографировать, как юного Василия Ивановича. А её необычные качества начали проявляться примерно в этом же возрасте.

Я как профессиональный лектор-историк неплохо умею читать вслух и рассказывать. И я написала о своей дочери некое произведение, которое мне нужно было прочесть одному своему другу. А Василиса страшно этого не хотела. Но я стояла на своём — мне же нужно было узнать, как эта вещь написана, как читается или слушается. И вот Вася встала за моей спиной, и, представь себе, я не смогла сложить ни «а», ни «б». То есть я знала, что это буквы «а» и «б», а вместе сложить их не могла. Меня буквально охватила паника, что я разучилась читать. Оказалось, что Василиса просто стала мне внушать, что я не должна прочесть этому человеку написанное.

Праправнучка комдива, магнетическая Василиса

Однажды я ехала в св с одной женщиной. И Васька пришла меня проводить. И вдруг, как только поезд тронулся, женщина сказала мне, что у моей дочери — большие способности. И, наверное, половину пути напоминала мне об этом. Я подумала про свою попутчицу, что она — пациентка Кащенко. И потом, когда я вернулась домой, как-то за обедом решила рассказать о «придурошной, которая ехала со мной в поезде и всё время трындела о твоих невероятных способностях». И вдруг Вася меня ошарашивает: «А ты разве не знала?» Я подавилась супом. И Вася поведала мне об одной истории, как она узнала о своих паранормальных свойствах. Она бабушку недолюбила — Клавдия Васильевна умерла, когда Вася была ещё маленькой. И Василиса долго искала с ней потустороннего контакта. Сама дошла до того, как это сделать, и вызвала её через зеркало. И общалась с ней. Расспросила о своей будущей жизни. После этого Вася уже знает, что с ней случится. Бабушка сказала, что она не скоро выйдет замуж. И теперь за Васей — прорва ухажёров, но она на них — никакого внимания, потому что ей известно, когда она выйдет замуж и за кого.
*— Наше время так «разбежалось», образуя чересполосицу: непонятно, кто герой, кто враг, то, что было плюсом, стало минусом. Но ведь все сражались за Родину — и красные, и белые, и Колчак, и Чапаев. Как написал поэт Илья Фоняков, и те, и другие припадали к одной берёзе, только — с разных сторон. Как ты относишься сегодня к произошедшей рокировке героев, имея не только свой опыт жизни, но и опыт жизни страны?*
— Я знаю, что Василий Иванович очень уважал Колчака как личность. Он знал, что Колчак — известный исследователь русского Севера, знаменитый путешественник. Кстати, в этом смысле были паритетные отношения. Чапаева тоже уважала противоборствующая сторона. Его там не считали абы кем. Была большая честь воевать

с Чапаевым. Просто тогда всех поглотила не совсем прояснённая ситуация противостояния русских людей, когда в одном семействе могли находиться отец—черносотенец, сын—зелёный, второй—белый, а внук—красный. И они друг друга сживали со свету. Скажите спасибо политиканству тех времён: народ терялся в догадках, на чьей стороне правда.

*— Но раз Чапаев уважал Колчака и Колчак, надо думать, не мог не уважать Чапаева как достойного врага, значит, в этих людях были те человеческие качества, которые не может отменить история?*

— История, к сожалению, приглаживается и причёсывается или никак не преподаётся. Я считаю, что это со временем пройдёт и народ будет разбираться в том, что было, и возвращаться к истокам. Если человек сражался во имя будущего, которое представлялось ему светлым, смотря через какую призму заставляли его на это будущее смотреть, если он был воином, как можно его осуждать? Всё равно что осуждать наших ребят, воевавших в Афгане. Для меня понятие «воин»—это святое. Каждая из сторон боролась за свои убеждения, и я уважаю и ту, и другую сторону. А сейчас время отсутствия ценностей. В основном, в глазах скачут доллары. Но золотой телец всё равно когда-то себя изживёт, потому что нравственность в любом случае побеждает. И рано или поздно народ разберётся, кто прав, кто виноват.

*— Чапаев, наверное, один из немногих героев Гражданской, кто так прочно вошёл в народное сознание. Как ты считаешь, с чем это связано?*

— В своё время у моей бабушки раз в месяц проходили такие среды, когда дом заполняли артисты, писатели. Однажды пришёл один очень известный детский писатель, который принёс с собой две общих тетради. И он впервые (это был 1970 год) стал читать ещё не обнародованные анекдоты. Народ смеялся, а бабушка безумно злилась. У неё были сапоги на каучуковой платформе с каблуками. Она двинула этому писателю сапогом по башке и спустила его с лестницы! Тот страшно обиделся и выкрикнул: «Клавдия Васильевна, это будет ещё народным достоянием!» А у него—друг в Израиле. И вот он переправляет эти анекдоты сначала в Израиль, а потом они оказываются в США и выходят там в свет. И потом уже оттуда распространяются в СССР.

*— И что же это за писатель-анекдотчик?*

— Я не могу назвать его имени. Когда-то со своими друзьями он, видимо, решил заработать на анекдотах. И, судя по всему, в этом преуспел. Потом он с бабушкой помирился. И из нашего дома фактически не вылезал. Но анекдоты уже через год заполонили всю страну.

*— И сама ты эти анекдоты не любишь?*

— Я могу их послушать, где-то над ними посмеяться, но не злоупотребляю. Однако и не осуждаю тех, кто рассказывает. А вот бабушка болезненно на них реагировала, особенно—на пошлые.

*— Если бы Василий Иванович, выйдя из всех анекдотов, ожил и глянул на нынешний день, как бы, по-твоему, среагировал он?*

— Пошёл бы и утопился по-новой!.. Но всё равно бы не пожалел, что он жизнь отдал. Мы благодаря или вопреки этому живём. Другое дело, каким мы это будущее создали? В представлениях прадеда, наверное, оно было идеальным. Знаешь, как я закончила свою книгу? «Говорят, что дивизия живёт даже тогда, когда нет воинского состава, а дивизионное знамя сохранилось. Так вот, знамя уцелело. Но только где-то на Украине, и сейчас никак его не могут передать России. А жаль. Потому что многие хотели бы снова встать с ним в строй…»

Фото из архива Евгении Чапаевой

Артур Матвеев

# Реализм



Смерть — странная вещь. Это один из тех презентов, который тебе уже подарили, но будто просили не отрывать до Рождества. И относиться к ней можно по-разному. По-другому, впрочем, и не получается. Иногда я беседую на эту тему с близкими людьми. Иногда даже получаются дельные разговоры. Правда, обычно всё это заканчивается философской попойкой. К самому моменту ухода я не отношусь со страхом. Скорее — с удивлением и щемящей жалостью. Причём первое и второе не соседствуют друг с другом, они идут весёлыми параллельным дорожками. По крайней мере, в мою жизнь они вошли именно так. А «весёлыми дорожками» я написал специально, чтобы не вдаваться в патетический декаданс. Стараться говорить начистоту так же сложно, как вуалировать мысли целым сонмом образов и видений. Впрочем, вот это иногда легко уживается рядом. Два отношения к смерти у меня сложились, как и полагается, в детстве. Вот как вышло с первым случаем.

В моём детстве отчим часто бил мою мать. Он много пил, а когда напивался, то пытался повысить свою общественную мобильность таким нехитрым и доступным способом. Может быть, тогда не были известны другие способы для того, чтобы показать свою значимость. А может быть, всё происходило просто так. Насилие не столь уж часто нуждается в каких-то весомых и осмысленных доводах. Я на это смотрел. Побоища могли устраиваться из-за самого пустякового повода: случайно сказанное слово (вероятно, неверное слово), неловкое движение, плохое настроение отчима — да всё что угодно. Моя сестра младше меня, и, вероятно, в её голове это отложилось менее чётко. Что касается меня, то на яркие и громкие картины период моего взросления был особо богат. По большей части находясь в атмосфере недоверия и агрессии, я воспринимал это, как естественную составляющую быта любой среднестатистической семьи. Только позже я узнал, что это не совсем так. Но до этого драки и побои не вызывали во мне чувство безмерного ужаса. Я их боялся, да. Боялся больше всего на свете. Но было это настолько естественным процессом, что продолжения я ждал, как сейчас все ожидают выхода новой серии «Доктора Хауса» — с трепетом.

При этом сказать, что насилие моего отчима было делом маниакальным, нельзя. В трезвом состоянии это был, в общем, добрый, работящий человек. Он мог своими руками построить дом или восстановить серьёзно искалеченный автомобиль. В детстве, по его словам, они мастерили с мальчишками самострелы и охотились на собак. Строили какие то домики из фанеры. Играли на гитаре. В общем, вели жизнь обычных провинциальных подростков 70-х годов. Да и первые годы жизни с моей матушкой протекали в целом довольно мирно и радушно. Изменилось всё как-то случайно и в один миг. И этот миг затянулся на долгие три года. Мой отец мог спокойно сидеть за столом, есть суп, а после взять гранёный стакан и разбить маме о голову. Он мог лупить маму табуреткой так, что она кричала во весь голос. На крики сбегались соседи. А моей бабушке в её тогда ещё почти семьдесят лет приходилось хватать здорового пьяного мужика за руки. За что и она часто получала. Причём бил их отчим в полную силу, не особо размениваясь на представления века галантного, о прекрасной даме, целовании руки, защиты чести возлюбленной на турнире и прочих приятных, но зачастую выдуманных радостях. В таких условиях мне приходилось вступаться за маму и бабушку. Вступаться, конечно, слово безмерно громкое, так как в семь лет я ни за кого особо вступиться не мог. Зачастую даже за себя. Будучи довольно робким мальчиком, я всегда спорту предпочитал книжки. А драке — словесную дуэль, как некое ответвление игры ума. В общем, иногда доказать, что быть умным тоже, в общем, неплохо, было практически невозможно. Но с этим, впрочем, сталкивались многие. А тут ситуация была несколько другая. Так как одной из моих любимых детских книжек был адаптированный перевод Томаса Мэлори, а зовут, да впрочем, и звали меня Артуром, то это накладывало на всё моё бытие довольно трагикомичный отпечаток. Мне нужно было вступаться за слабых. Я бегал, я кричал, а один раз я даже случайно завалил пьяного отчима на пол. Дверь в подъезд была открыта. Он запнулся и упал. Я запрыгнул сверху и держал его. Когда я сидел верхом на пьяном отчиме, мне ужасно хотелось бить его по лицу — долго и сильно. Бить за маму, за постоянный страх, за то, что большую часть последних лет он был невменяемо пьян и вёл себя так, будто в нашей квартире снимается какой-то социальный триллер. Мне хотелось избить его до полусмерти. Но, повторюсь, моей любимой книжкой был адаптированный перевод Томаса Мэлори. Призрак неизвестных идеалов не позволял бить лежачего. Поэтому я просто держал отчима и плакал. Я ревел, но держал. В тот раз меня стащили с него. И на этом скандал с избиением был завершён. На несколько дней. Однако в детстве дни, как правило, много значат, хоть и пролетают быстро. Это была первая маленькая победа. Однако слишком сиюминутная.

Впрочем, для меня, как для ребёнка привычного, в семейном пьянстве была одна ощутимая выгода—заработок. Я чувствовал себя, как монопольный производитель алкоголя, получающий выгоду вне зависимости от происходящего вокруг. Понятия морали в чётко отработанном концепте для меня не существовало. Драки и побои я воспринимал, как данную мне реальность бытия. Я понимал, что не пить здесь не могут. Это был гранитный камень, на котором, так или иначе, стояли семейные отношения и быт. Как сейчас я не могу предъявить претензии растущему дереву, если оно выросло у меня на дороге, так и тогда к пьянству—оно было частью ландшафта. Такой же частью семейного антуража была пустая тара. Ровными рядами вдоль стен стояли бутылки из-под водки. Они копились в течение нескольких недель. И когда набиралось больше двадцати-тридцати, я вооружался старой авоськой (пластиковые пакеты тогда были своеобразным видом постперестроечного шика) и выносил их в ларёк сдавать. То есть семейное горе было для меня вполне осязаемым и постоянным источником дохода. На своеобразный выкуп за моё нервное времяпрепровождение в отчем доме я покупал шоколадки, газировку и прочие милые радости. Проблема, правда, состояла в том, что бутылки из-под водки принимали не везде и, как правило, в два раза дешевле, чем пивные. Поэтому я мог обойти пять или шесть точек приёма, прежде чем за две авоськи мне давали несколько драгоценных тысяч. Рулет с малиновым вареньем тогда стоял семь тысяч, поэтому я был счастлив. Конечно, маленький мальчик с пакетами пустых бутылок выглядел на редкость странно. Но чужое мнение меня не занимало ни в коей мере.

Ещё одним откупом на фоне разворачивающихся побоев было то, что я выступал относительно нейтральным государством. Руку на меня почти не поднимали. Когда отчим был трезвым, он иногда звал меня в комнату посмотреть мультфильмы или кино. В таком случае я забивался в кресло и покорно отсматривал предложенный продукт. Когда мы с ним оставались одни, например, на даче, то мы очень даже неплохо проводили время. Мы ездили в лес за грибами, я помогал ему строить дом—носил доски и подавал гвозди. А он однажды вырезал мне из дерева немецкий автомат времён Второй мировой. Я говорю «немецкий», потому что в детстве мне всегда казалось, что автомат с круглым магазином выдавался нашим, а тот, который с прямоугольным,—фашистам. Так вот этот был такой, как у фашистов. Мне он очень нравился. Когда же отчим напивался, он кричал, что зарежет меня и маму, и мама каждый раз прятала подальше ножи. А однажды он рвался в комнату, он долбился, он бил ногами в дверь. Он кричал, что выкинет меня с балкона. Уж не знаю, что я ему сделал. Тогда не понимал и сейчас не понимаю. Дверь держала бабушка. А я сидел на обтянутом тканью стуле и, чтобы хоть чем-то отвлечься, рисовал. Каких-то рыцарей. Правда, без коней. Коней я научился рисовать гораздо позже. Это вообще дело довольно затруднительное. Даже сейчас у меня получается пони-головастик, но с уже более-менее достоверными очертаниями. Тогда же я рисовал двух пеших рыцарей. Тут была история, как с автоматом, но немного по-другому. Рыцари сражались друг с другом. Один был русский витязь, а второй тевтонский пёс-рыцарь. Отличались они по шлемам. У витязя шлем был круглый, с маленьким шипом наверху, в руке он держал небольшой меч. А пёс-рыцарь был обряжен в прямоугольный шлем с рогами, и меч у него был здоровенный, двуручный. Тогда у меня не возникало сомнений, что победа достанется тевтонскому рыцарю. Все преимущества были налицо. Правда, потом, когда крики отца ломали определённую стенку моего терпения, я начинал плакать. И сквозь слёзы и икоту по бумажке пролетали стрелы с белым оперением. Просто ниоткуда я их втыкал в рыцаря. А кровь стекала в лужу возле его ног. Там же я пририсовывал двух-трёх уже почивших псов-рыцарей. И историческая справедливость, известная мне по замечательному фильму «Александр Невский», вроде как восстанавливалась. Отчим стихал, ему открывали дверь, он подходил и садился рядом. Довольно подтянутый, слегка сутулый, с глубоко запавшими глазами, ярко выраженным кадыком, в хлопчатобумажной коричневой клетчатой рубашке. От него сильно несло застоявшимся запахом алкоголя. Он подвигал меня к себе и целовал в щёку. Прижимаясь к его щетинистой щеке, я всё ещё плакал, но радовался победе русского витязя. Также я радовался тому, что отчим не побил в этот раз маму и бабушку, выместил гнев на мне, и при этом не выкинул меня с балкона. Я смутно представлял, как бы я чувствовал себя, произойди это, но почему-то подозревал, что мне бы это не понравилось.

Так продолжалось довольно долго. Потом отчима пару раз выгоняли. Происходило это, как правило, когда он выходил из запоев. Его выгоняли всей семьёй, как изгоняют зиму в Масленицу. У нас была ещё одна квартира этажом выше. И он уходил туда. Там он зачастую вновь начинал пить. Однажды отчим напился и решил вернуться домой. Его не пускали. Он долго ломился в дверь. Потом ушёл и вернулся с топором. К счастью, дверь в нашу квартиру он сам и ставил. И ставил на совесть. Дверь была обита железом, сделана из толстенных досок. Выбить её было невозможно. Как выяснилось на практике, разрубить топором тоже не получилось. К несчастью для меня, весь этот штурм случился в середине дня, как раз тогда я собирался учиться во вторую смену. Выслушивая пьяные крики, доносившиеся из-за двери под аккомпанемент не слишком точных ударов топора, я сидел возле входа с ранцем и в ботинках. Я ждал, пока он уйдёт, но он всё не успокаивался. Бабушка вызвала милицию, и отчима упекли на пятнадцать суток. Эти пятнадцать суток были для меня гораздо более значительным праздником, чем последовавшие за ними каникулы. А в школу я тогда опоздал. И выдумывал учительнице какую-то нелепицу про потерявшийся ключ. Врун из меня всегда был никудышный, поэтому

классный руководитель пообещала пожаловаться родителям. Ирония бытия меня начала забавлять, видимо, уже с детства.

Иногда изгнание отца заканчивались, напротив, довольно мирно — его возвращением. Происходило это, как правило, в какие-то чётко оговорённые государством праздничные даты — Новый год, Международный женский день, День победы. Отец приходил неизменно с цветами и сладостями. Он валялся перед мамой и бабушкой на коленях. Слёзно просил прощения у меня. Он божился, что подобного кошмара больше не повторится. Его прощали, и через некоторое время всё повторялось вновь. Видимо, пьянство было единственным способом бегства от неведомых мне страхов отчима. Может быть, он чрезмерно любил и ревновал маму, хотя она поводов для ревности не давала. Может быть, на него давило чувство собственности. Может, процесс распада личности из-за алкоголя к тому моменту достиг своего апогея. Тогда мне было это неизвестно, неизвестно мне это и сейчас. Есть какие-то догадки и собственный эмпирический путь, но роли они не играют, да впрочем, и не должны. В одно из последних таких возвращений Одиссея в Итаку был сделан окончательный выбор в пользу изгнания. Мне было десять лет, и отчима около месяца не было дома. В один из дней он вернулся с привычным уже набором цветов, конфет, подарков, слёз и коленопреклонённых извинений за все свои прегрешения. Мама, бабушка, я и сестра выслушали уже привычную тираду. После этого мама поступила крайне необычно. Она спросила меня, как быть. Передо мной был поставлен вопрос — либо позволить отчиму вернутся, либо окончательно разорвать семейные узы. Буквально в руках маленького мальчика оказалась жизнь взрослого человека. Матушка склонялась к прощению, однако я сказал «нет». Это было первое решительное «нет», в моей жизни. И, наверное, одно из тех «нет», о которых я не жалею. Хотя каждый наш сильный серьёзный шаг всерьёз меняет наше дальнейшее движение. И в корне меняет судьбы близких людей. Я настоял на том, чтобы отчим никогда больше не появлялся в нашем доме. Так и было решено. Чуть позже отчим вернулся для того, чтобы забрать свои вещи. Так как почти все вещи в квартире были его, то моё личностное пространство серьёзно расширилось. Этажом выше убыли два кресла, телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, игровая приставка и прочие маленькие радости. Убыли даже подушки от дивана — так как сам диван в дверь не проходил, а всё имущество отчим посчитал своей законной добычей. Обшивку оставшегося дивана он пропорол ножом, в таком виде мебель и пребывала достаточно долгое время. Однако всё это позволило маленькому мне в очередной раз расставить приоритеты. И убедиться, что материальные ценности при всех своих прелестях являются лишь сопутствующим антуражем. И в графе ценностей занимать должны лишь роль предметов преходящих. Выбор — душевное спокойствие или побрякушка — всегда будет делаться в пользу первого. После ухода отчима со всем его материальным багажом — дышать стало гораздо легче.

С тех пор он жил этажом выше. С ним в основном жила моя сестра. Я поясню: он был её родным отцом, а моим неродным, поэтому процесс обоюдо-вменяемого общения ей было налаживать проще. Да и привязаны они друг к другу были гораздо сильнее. Я к отчиму испытывал лишь уважение, во многом замешанное на страхе. Одно время он не пил и даже нашёл себе какую-то работу. Иногда мы с ним пересекались в подъезде и два раза я даже был у него в гостях. Встречи наши происходили в формате светских раутов, когда было необходимо поддерживать беседу, так как это навязывают правила хорошего тона. Во мне боролись злопамятность и желание простить его. Впрочем, наверное, я его и простил. Просто мне хотелось, чтобы сей благородный поступок ещё дальше дистанцировал меня от его фигуры, а не сводил вновь в одном помещении. Мне хотелось скорей убежать, так как он будил все самые неприятные воспоминания. Он же, похоже, винил во всём произошедшем меня и то решение, которое я принял. Поэтому тоже не испытывал особой теплоты.

А потом всё в один год рвануло по будто накатанной колее. Сначала умерла моя бабушка — мама отчима. По слухам, её запинали в подъезде наркоманы, которым она сделала неосторожное замечание. Это была та правда, которую мне сказали, как было на самом деле, я не знаю. Правда — вообще вещь зачастую страшная и нелепая. В этих цветах она предстаёт наиболее сырой и честной, остальное во многом личностная правда. В правде личностной мы любим использовать краски и украшать детали, доводя их до авторского блеска. Правда, некоторые мои родственники обвинили в произошедшем несчастье отчима. Почему, я сказать не могу. После этого события отчим начал пить сильнее прежнего. Он осунулся, похудел, глаза его запали. Он пил страшно, в течение недели или двух. От него переехала сестра. Теперь она жила у нас и лишь иногда навещала его. Во время одного из запоев у него отнялись ноги. Сестра прибежала за телефоном и вызвала скорую. Отчим не мог встать и ползал на руках. Врачи приехали и сделали укол. Сказали, что это последнее предупреждение от износившегося здоровья. Если он продолжит пить, он умрёт. Держался отчим недолго.

Я помню, как это было. У меня в гостях сидел мой старый друг. Ну, тогда ещё не настолько старый, как сейчас, но всё же стаж был существенный. Мы, как двое вполне нормальных подростков, покоряли мир компьютерных видеоигр — играли в приставку, освобождая мир от виртуальных чудовищ. Эта была новая приставка. Она котировалась в виртуальной «табеле о рангах» существенно выше уже морально устаревшей «Дэнди». Процесс увлёк нас, и, расстреливая на ходу патроны и перепрыгивали препятствия, поставленные нам искусственным интеллектом, мы стремились к прекрасному далеку. А оно уже поджидало за поворотом. Нам так казалось вполне серьёзно. Монстров

становилось всё больше. Мы становились всё задумчивее. До торжественного финала оставалась пара уровней, когда в комнату вбежала сестра. Ей тогда было лет десять. Она гостила наверху, у отчима. Бабушка спала в другой комнате, а мама была на работе, поэтому единственным объектом её внимания был я. Она забежала в слезах и сказала: «По-моему, папа умер». При всём этом произнесла она фразу как будто будничным тоном. Я даже поинтересовался: «В смысле?» Она рассказала, что сидела с ним на диване. Он был трезв. Отчим встал, чтобы включить телевизор. Тут у него отнялись ноги, и он опустился возле дивана.
— Я подумала, что он играет со мной. Я подошла, потрогала его. Он не шевелился. Я кричу: «Папа, папа» — а он даже не моргает. Он холодеть ещё начал. Пойдём наверх скорее. Надо скорую вызывать. Ну что ты сидишь. Пошли, — сестру начало трясти, а я сидел, как вкопанный.

Я пытался понять, что я сейчас чувствую. Я не чувствовал почти ничего. Она кричала и плакала. Я посмотрел, как замерло лицо моего приятеля. Он встал и вышел на кухню. Я поднялся с кресла и побежал по лестнице в верхнюю квартиру. Я не был там давно. Открывал дверь и переступал порог я медленно и осторожно. Не было страшно, не было никакого сожаления. А была фактически физически всасывающая в себя пустота самой квартиры. Как будто в отдельно взятой хрущёвке внезапно открыли чёрную дыру. А та жадно и разом заглотила любое дуновение, любое движение. И сейчас это огромное нечто пялилось откуда-то с набитым ртом, уже не желая отдавать съеденного. Представьте себе пустоту, которая только что съела чересчур большой кусок. У неё раздулись щёки, и возможно, она даже с трудом их сдерживает — до того много удалось схватить. Глаза её спокойно улыбаются. Никакого проявления жизни и радости не было. Не было даже намёка. Была констатация факта. Такое ощущение у меня вызывает песок, если его высыпаешь на стекло. Мёртвое на мёртвом. Какое-то ощущение тупой, гладкой и царапающей безысходности. Абсолютно безэмоциональное и на сто процентов уверенное в своих силах. Эта пустота почти звенела. Я прошёл коридор и увидел его.

Он сидел на полу, опершись на сидение дивана. Ноги были вытянуты, руки расставлены, голова чуть приподнята. Он смотрел в шифоньер напротив себя. Худое тело просто было. Оно не было напряжённым, не было уставшим, оно существовало, как факт. Я подумал о том, что если бы не знал точно, что это мой отчим, то легко мог бы спутать его с предметом интерьера, как телевизор или табуретка. Сестра плакала. Я подошёл и тронул его за плечо. Ответа не последовало. Я тронул чуть сильнее. Я понял, что он умер. Я вызвал скорую. Хотя, наверное, уже не скорую. Но набрал на диске телефона я «03» и сказал, что-то вроде: «Приезжайте, папа умер». Всё время, пока они ехали, меня одолевало любопытство. Я хотел посмотреть в глаза покойнику. Это было необъяснимое, почти мазохистическое стремление. Я знал, что испугаюсь. Я сильно боялся темноты. Я сильно боялся мертвецов, по крайней мере, тех, что в фильмах. И до определённого момента я сильно боялся своего отчима. В этом желании не было стремления пересилить себя. Не было там и никакого вызова. И стремления взглянуть в глаза своему страху тоже не было. Я просто хотел взглянуть в глаза мёртвому человеку. Человеку, которого я знал. Я сделал несколько шагов. Заглянул ему за плечо. Подошёл ещё чуть ближе и уставился на мёртвое тело. Банально, но в голову приходило сравнение — он почти как живой. Он мог повернуть голову, улыбнуться и сказать, что угодно, например: «Эй, как дела?» Я бы испугался, но не шибко удивился. Такой вариант развития событий я рассматривал как вполне себе правдоподобный.

Но ничего такого не произошло. Та энергия, которая составляла основу этого человека, вышла. Её не было. Как это объяснить толком я не мог тогда, не могу и сейчас. Но мёртвый человек выглядит как кукла. Я не имел к этому телу никакого отношения. Та нить, которая так или иначе связывала меня с моим отчимом, — прервалась. Глаза были открыты, они смотрели куда-то вне этого мира. Они были блестящие, стеклянные и пустые. Сейчас мне кажется, что я прошептал, что-то вроде «извини» или «до свиданья». Хотя, возможно, я ничего и не говорил, а придумал это ради эффектного хода в описании. Этого я уже не помню. Помню лишь то, что скорая в итоге понадобилась — успокоить сестру. И ещё помню, что после похорон мама много выпила. Она плакала и переживала, что отчим в гробу был «такой худенький» и «одет в какой-то спортивный костюм. Ну, могли же, могли надеть пиджак приличный, у него же был». Мама сидела и плакала. Я её утешал. Я не знал, как это делается, а плохого вспоминать не мог и не хотел. За компанию я тоже немного поплакал. Но это было скорее данью уважения. Некоей помощью матушке. Я не слишком расстроился. Вернее, я не был убит горем. Лицо мёртвого отчима было спокойным и умиротворённым, и я верил, да и верю сейчас, что это был для него выход. Наверное, это был для него выход. И ещё, когда я писал вот это всё, мне приходилось каждый раз исправлять одно слово. Я всегда писал «отец», стирал и набирал «отчим». Я восстанавливал тем самым некую юридическую достоверность повествования. Какой же была достоверность чисто человеческая, я сказать не могу до сих пор. Если теперь я в разговоре как-то затрагиваю этого сложного человека, я говорю «отец», а потом поправляюсь и поясняю. И ещё я периодически вспоминаю: а как часто я, маленький мальчик, желал ему смерти? Наверное, это было периодическим явлением. Он кричал, и я думал об этом. Он бил маму — я думал об этом. Он напивался, и я снова думал об этом. Не постоянно, но часто. Неподобающие мысли для маленького мальчика. И, наверное, я об этом не жалею. Это было честно на тот момент. Я не в силах его исправить, да и не хочу. Всё кончилось.

Это одна смерть, которая стала для меня показателем. Вторая также родом из детства.

В детстве я очень любил кошек. Особенно котят. Люблю я их и сейчас. Однако в возрасте маленького мальчика эта была особая симпатия. Тогда добиться уважения и любви домашнего питомца для меня было делом гораздо более существенным, важным и честным, нежели заслужить симпатию человека. Во-многом дети гораздо более чуткие существа, как мне теперь кажется. Однако тогда мне ничего подобного не мерещилось. Тогда я полностью был увлечён животным миром. Моя любовь с фауной строилась по законам этой самой фауны. Мне нравилась вся живность. И в то же время я ощущал себя и самой природой, и составляющей частью этого ансамбля. В связи с этим у меня не возникало гордыни, требующей защищать животных, убивать животных либо как-либо пестовать, и заботиться о живом мире, и осуждать действия других непросвещённых на правах главного демиурга планеты Земля. Не возникали те же самые поводы и мотивируемые страхом. То есть в общем понятии слова и с применением умеренной тавтологии — я был не слишком социальным элементом социума. К тому же был чужд любым политическим, гуманистическим и эклектическим веяниям общества с высказываниями, как за, так и против. Я пытался любить природу по её законам. А так как большую часть лет я проживал на даче, то доступ в царство живности был мне открыт полностью.

Выражалась моя любовь в безудержной тяге к экспериментам. Мне всегда было интересно смотреть, как жарятся на плитке жучки и тараканы. Они сначала бегали по раскалённой поверхности разогретой «буржуйки», потом затихали. Тела их раздувались и лопались, но зато становились легче и изящнее. За день я сносил их к плите десятками — и если бы существовал «жучиный суд по правам насекомых», он вынес бы мне суровый приговор. Впрочем, в мои расчётливые руки попадали не только они. Одним из моих любимых развлечений была охота с бритвой на ящерок. Эти шустрые существа забавляли моё детское воображение. А когда я узнал про фокус с отстёгивающимся хвостом, то они и вовсе встали в один ряд с обожаемыми тогда трансформерами. Соприкосновение с кумиром, однако, кумиру ничего путного не приносило. Я мог спрятаться возле теплицы и просиживать там долгое время. Я ждал, пока на разогретые солнцем доски медленно выползет мой чешуйчатый приятель. Тут нужна была вся изобретательность и ловкость. В качестве охотничьего силка сходила кепка или тряпка. Ею ящерица накрывалась, а уж после попадала в жадные руки прозектора. В этой должности и выступал я. Хотя во взрослом возрасте для моего поведения больше бы сошло определение «садист», но тогда я был прозектором. Сперва ящерка рассматривалась. Вблизи она очень напоминала динозаврика. А динозаврики мне нравились не меньше трансформеров — поэтому несложно представить восхищение маленького мальчика перед этим созданием. Я мог крутить её в руках довольно долго. Та высовывала раздвоенный язык, барахталась, хватала меня за пальцы тонкими лапками и даже пыталась кусаться. Ну а после я доставал бритву. Тогда бритвенные лезвия упаковывались в маленькие бумажные конвертики, чем и были крайне удобны. Носили эти конвертики совсем уж фантасмагорические названия вроде «Спутника» и в целом были для меня ещё одной составляющей детской страны чудес. Бритва бралась аккуратно — один край погружался в ткань рубашки, второй двигался к ящерке. Я старался быть максимально деликатным ребёнком. Пузико зверушки вспарывалось нежно, тонким быстрым разрезом. По крайней мере, мне казалось именно так. После я приподнимал одну половинку кожи и внимательно рассматривал внутренности. Особо много я там увидеть не мог. Но понять то, что внутри ящерки есть ещё какие-то вещи, уже было немалым достижением. Причинить ей зло либо как-то обидеть её я не хотел. Она просто не воспринималась мной как отдельное живое существо. Как будто это была часть огромного меня. И это огромное «Я» было полностью подвластным маленькому мальчику. Ну и плюс к этому мама, рассказывая мне про ящериц, заверила, что у них всё и всегда заживает. Маме я верил, а потому упражнялся, не жалея сил и времени. После того как я получал всю необходимую мне информацию, я прикладывал к ранке существа листок подорожника и отпускал на волю. Таким образом, я пометил — а может, и убил — порядка десяти штук.

Ещё одной моей жертвой стала лягушка. Она была поймана около родника с водой. Охотились на этот раз вдвоём с соседским мальчишкой. Лягушка нас с моим товарищем не ждала. Поэтому и убежать молниеносно не сумела. Повертев её в руках, мы убедились, что на жабу она не похожа, бородавок не будет, а потому понесли домой. Путешествие к дому заняло около получаса. На улице было невыносимо жарко, а воды у нас с собой не было. Поэтому, видимо, за время путешествия лягушке серьёзно поплохело. Она высохла, стала вялая и на все наши попытки наладить с ней связь отвечала усталыми движениями. Когда мы пришли на дачу, уже было очевидно: лягушка при смерти. Её не оживили ни массирующие движения спичкой в бок, ни попытка искупать в бочке с дождевой водой, ни довольно близкое знакомство с кошкой. Лягушка сидела тихо, почти закрыв глаза. Тогда нам в голову пришла рациональная идея. Лягушку было решено подвергнуть шоковой терапии — недалеко находился муравейник. Варианта могло быть два. Первый — то что укусы муравьёв (которые, как известно, целебные) приведут зелёную пленницу в чувство. Второй был сугубо визуальной радостью — нам хотелось посмотреть, сможет ли огромная лягушка спастись от сотен маленьких агрессивных насекомых. Лягушку мы принесли и опустили рядом с муравейником. В неё тут же вцепились несколько хищных жвал. Некоторым муравьям не удавалось вцепиться в её подсохшее тело, и они сваливались, другие хватали её за пальцы, за икры, вгрызались в кожу. По висячим собратьям лезли новые. Лягушка медленно прыгала в сторону зелёных зарослей, что были в десятке метров. С каждым

новым муравьём прыгала она всё медленней. Уже скоро её тело напоминало площадку для муравьиной дискотеки, на котором извивались телами десятки чёрно-красных особей. Мы наблюдали за всем с немым восхищением. Пару раз, когда лягушка почти достигала кустов, мы пользовались детским правом вето и палочкой легонько откидывали слабеющее тельце назад, в объятия раскрытых жвал хищных насекомых. В конце концов лягушка перестала двигаться и распласталась на земле. Лапки её были раскинуты в разные стороны и на них копошились насекомые. Муравьи даже пытались тащить свою добычу в дом и вроде бы чуть сдвинули её с места, но ноша была чрезмерно тяжела даже для их выносливых тел. Мы же утратили к поверженному объекту всякий интерес. В очередной раз потормошив её палочкой, мы поняли, что представление закончилось, и оставили муравьёв на ужин в одиночестве. Спустя пару дней мы пришли на место охоты и увидели чистый, как в музее, идеально белый, обглоданный скелет. Трогать мы его не стали, но с интересом рассматривали около получаса. Ещё через некоторое время не осталось и его, возможно, утащили мыши или те же муравьи.

Все эти поступки и их результаты не вызывали во мне никакой отрицательной реакции. Не было, как я уже говорил, чувства вины или негативных эмоций. Был какой-то ошалелый восторг и желание познания. Не было плохих намерений ни в отношении лягушки, ни по отношению к ящерицам или тараканам. Просто хотелось посмотреть, а что же получится? А как же это у них выходит? И та живность, что спасалась из моих рук, уходила с миром, и больше мы с ней не встречались. Хотя кто знает. Другое дело было с котятами. С чего я и начал. Котята, щенята и прочие «-ята» — например, крольчата, вызывали во мне обожание вплоть до преклонения. Ну, во-первых, с ними всегда было важно найти общий язык. В пропорциональном соотношении они, в общем-то, были моими ровесниками плюс обладали кучей потрясающих бонусов. У них была мягкая шёрстка, красивые глаза, и они не говорили гадостей. В общем, для маленького мальчика это были почти идеальные друзья. А так как я тогда не пил, то и собутыльники не требовались.

Впервые с тем фактором, что смерть может коснуться и их, я столкнулся на примере мамы-кошки как представителя старшего поколения питомцев. Маму-кошку звали Дымкой, и, как обычно это бывает в семьях, она была вполне заслуженным членом семьи. Вхожа была в любую комнату. И могла самостоятельно выбирать, с кем ей ночевать на одеяле. Обожали её все. Но однажды случилось непредвиденное происшествие. Где-то на одной из своих прогулок Дымка подхватила лишай. Сначала его не было заметно — так как подхватила она его на пузе. Однако потом стригущий паразит начал постепенно избавляться от шерсти, разрастаясь по телу. Не знаю, с чего в те годы бытовало такое мнение, однако считалось, что лишай у кошки вылечить нельзя. До многого додумалась наука, однако лишай у кошачьих питомцев был сродни прописки на тот свет. Считали так многие, в том числе и моя матушка. Итог был один: пока все не заразились, кошку решили топить. Везти усыплять любимицу было далеко. «Взять на себя грех» убить её палкой по голове никто не решился. Поэтому, посовещавшись, мама с отчимом решили засунуть Дымку в грубый матерчатый мешок, привязать к нему камень и кинуть в бочку. Я об этом прознал абсолютно случайно. Вернее, смутно я догадывался о происходящем, хотя разговоры и проходили за дверями и вполголоса. Однако подтвердились мои догадки тогда, когда кошку сунули в мешок и понесли к бочке. Я бегал, кричал и пытался приводить доводы о возможном излечении — ничего не помогало. Со слезами на глазах мама поднесла мешок к бочке и кинула вниз. Заплакав, она пошла по огороду — напомню, кошку все любили, и такой акт убийства был, на взгляд моих родных, единственно возможным вариантом. Однако тут кошка, которую, видимо, не посвятили в планы, показала уникальный пример жизнелюбия. Больше минуты в бочке продолжалась яростная возня. Однако Дымка совершила какое-то чудо. Кошка разодрала грубую ткань толщиной в палец и ракетой вылетела из воды. Она взлетела, как ядерная боеголовка из подводной лодки. Зависла на краю бочки, мокрая и взъерошенная, с огромными выпученными глазами. Кошка окинула всех таким взором, что мне лично захотелось провалиться сквозь землю. Она, презирала весь род людской, а больше всего ближайшее своё окружение. Гордо спрыгнув с края своей несостоявшейся могилы, она удалялась к забору огорода. С криком: «Дымка прости!» — за ней рванулась мама. Кошка побежала во всю прыть. И её можно было понять: купаться таким образом второй раз ей не хотелось. Кошка ушла, её не было три дня. На четвёртый день состоялось торжественное воссоединение с любимцем — любимцу, естественно, перепала гора снеди и всемерное обожание.

Мама однозначно настояла на том, что топить кошку она больше не будет. Сорвавшихся не перевешивают, так сказать. Потом все заболели лишаем. Кошка была очень рада, а вся семья как-то не очень. Правда, уже через неделю знакомый ветеринар выслушал нашу историю и долго крутил пальцем у виска. Была выписана мазь и какие-то микстуры, от которых Дымка быстро обрела своё привычное волосатое «я». Мама долго себя корила и благодарила все возможные высшие силы за то, что животина всё-таки выжила. Какие силы благодарила за это животина, осталось неизвестным до сих пор.

Но везёт не всем. И к финалу истории я веду как-то достаточно долго. Но, впрочем, вот и он. Это как раз об отношении к смерти со щемящей жалостью. Это как раз о котятах. Всё та же неутопленная Дымка забеременела. Новости этой особо никто не удивился: всё лето зверушка жила на даче и раз в год стабильно приносила потомство, которое мы потом всеми правдами и неправдами распределяли по знакомым и друзьям. Никто, как уже было сказано, этому не удивлялся, а я, напротив,

радовался. Мой пиетет по отношению к котятам я уже описывал. Так вот я последнюю неделю как раз носился вокруг Дымки, выказывая ей всяческие знаки внимания и поднося щедрые угощения. Можно было подумать, что котята эти от меня. К счастью, детское стремление к естество-испытаниям имело свои пределы. Я уже выдумал имена всем пятерым или семерым пушистым комочкам. Их звали бы Мурка, Васька, Пушок, Дымок и непременно Дымка Вторая. Имена не были особо оригинальными, зато, что называется, от души. Примерно прикинул их расцветку. И даже загадывал, какие из них проживут у нас дольше, а каких придётся отдать буквально через два месяца. Судя по животу мамы-кошки, приплод обещался быть весьма многочисленным и разносторонним. И вот в тот день, когда кошка рожала, я благополучно пошёл искупаться на озеро. Я знал, что процесс этот долгий и особо смотреть там не на что, да и незачем. Когда я вернулся, то понял: что-то не так. Я вбежал на крыльцо дома. Дёрнул дверь. Дверь оказалась закрыта. Я постучал. Открыла мама, она что-то пыталась мне сказать, но я, не слушая, пробежал за лестницу. Именно там, за лестницей на второй этаж, и возлежала Дымка. Я пронёсся к картонной коробке, однако когда заглянул внутрь, то не увидел там ни одного из котят. Я внимательно осмотрел Дымку, пощупал ей пузо — котят не было. Обежав веранду и соседнюю комнату, я не обнаружил их нигде. Когда пришла мама, она сказала, что мои ожидания родились мёртвыми. Она объясняла, что роды — такая вещь, во время которой случается всякое, а Дымка — уже пожилая кошка, и поэтому детки родились неживыми. Я стоически выслушал лекцию от родителя. Утвердительно кивнул, когда она спросила, не расстроился ли я, а затем вышел за дверь. Ускоряя шаг, я шёл за теплицы, туда, где меня никто не увидит и не найдёт. Мне хотелось в лучшем случае исчезнуть, в худшем хотелось, чтобы исчезли все. Мечты, идеалы, надежды — всё оказалось порушенным в один миг. Всё, что я смог сделать, — это разреветься. Рыдая, я бродил от одной теплицы до другой. Затем свернул в самый заросший уголок огорода и там упал на траву и заревел во весь голос. Дом находился далеко, и моей сентиментальной патетики не было видно и слышно. В душе мне очень хотелось, чтобы кто-то пришёл и тут же пожалел меня, но я сдержал в себе этот порыв. Я плакал довольно долго. Потом просто сидел и думал. Потом сожалел об умерших детях Дымки, но в итоге успокоился.

И вот тут моё внимание и привлекло это серое оцинкованное ведро. Оно стояло немного в зарослях травы, чуть с краю от колодца. Зачем меня туда потащило, сказать я не могу. Однако после того, как я заглянул внутрь, маме пришлось бежать через весь огород и потом отпаивать меня валерьянкой. Затем я несколько дней не разговаривал с родителями. Ведро было наполнено водой почти наполовину. Это было обычное оцинкованное ведро — серое, простое, холодное и ничем не примечательное. Вода в нём была такая же нейтрально прохладная — такая, которую встретишь в любом дачном роднике или колодце. В воде плавали пять маленьких комочков. В моих детских мечтах их звали Мурка, Васька, Пушок, Дымок и непременно Дымка Вторая. Всё то, что я выплакал за минувшие полчаса, вырвалось из меня с новой силой. Хотя сил плакать, казалось, уже не было. Потом я ещё бегал по дому кричал: «Зачем?! Ну зачем вы их утопили. Они же были такие маленькие. Они совсем ничего не понимали. Это же Ды-Дымкины дети! АААА!» Пытался стучать кулаками в стены. Кидал на пол посуду. А после закрылся с головой под одеяло. Я, конечно, понимал, что ничего не поделать. И мама понимала это — она точно не хотела, чтобы мне хоть как-то на глаза попалось это самое ведро. Но его серый цинк, вероятно, всё же сожрал какую-то часть моего детского «я». Какую-то маленькую веру и маленькую надежду. Но это были очень важные маленькие чувства. С другой стороны, приют этих несчастных котят стал моим первым визитом туда, за тонкую грань, которая однажды приоткроется для каждого. Любил ли я их всей душой? Скорее всего, нет, ведь я даже не видел их живыми. Значили ли Дымкины дети что-либо серьёзное для меня? Тоже нет — гораздо большее значение для меня имели собственные мечты и представления о них. Злился ли я? Нет, но это было щемящее, рвущее изнутри ощущение утраты. Чувство было такой силы, которое, вероятно, бывает только один-единственный раз.

Ну вот, собственно, и всё. Эта история не несёт поучительной морали. Не строит никаких догадок и теорий. Она просто представляет констатацию факта. Получать и расписываться можно на разных историях. Эта вот такая. Она о смерти, о том, кто там, может, стоит за нашим плечом: мёртвые котята, умерший отчим, целый легион покойников под флагами десятков государств, существо в капюшоне с косой или съеденная муравьями лягушка. Неизвестно, непонятно да и не к спеху. Однако иногда я думаю: когда настанет время, как будут провожать меня близкие и любимые люди? Как они проводят меня? Может быть, как котят в оцинкованном ведре. А может быть, как сидящего напротив шифоньера мёртвого человека. И сказать, как будет искреннее, я не могу. Смерть — это как подарок на Рождество. Наступит — и распакуем. Такой он — реализм.

Владимир Селянинов

# Холодный свет Луны



*«Прекрасен этот мир!»—восхитится побывавший тёплым осенним днём в Саянах, где днём и ночью шумят ручьи, питая реки и озёра. Прекрасен мир, где кедры, не сломленные непогодой, тянутся к небу… И оттого становится грустно наблюдать дерево, искорёженное и сломанное, прижатое к земле, укрывшееся в расщелине скал от хиуса, останавливающего жизнь. Об этом рассказ.*

Город Зеленоярск—большой город, богатствами Сибири он прирастает. Но главное богатство, как говорят руководители, это наши люди. Всё хорошо: город прирастает богатствами, трудящиеся работают, вечерами читают. У их руководителей—осанистость, глаза честные, но бывают и усталые—это, как говорится, уже дело вкуса. А как все они людей любят!.. Покажут какого-нибудь по телевизору—народ радуется.

—В масштабах всего государства он успел бы больше,—скажет один из гордых за успехи страны.

—А нам-то каково остаться?—возразит другой. Голос дрогнет у патриота малой родины.

—Господь посылает того руководителя, какого у него народ просит,—это уже третий.—Доколе, Господи?!—и тоже голос дрогнет.

Горько сказать, но не перевелись ещё люди, что тормозят приход коммунизма в город Зеленоярск. Не обществу, а себе, себе желают они побольше. И горожане радуются, когда органы повяжут одного из отщепенцев. В редакцию газет, на радио, в органы люди пишут, свои услуги некоторые предлагают… в случае чего. Последние слова подчёркивают.

—Славненько-славненько определил подонку наш Владлен… шесть лет!—уважительно говорил пожилой мужчина о молодом судье. Старческой походкой он ступал по ковровой дорожке, спускаясь со второго этажа областного Дома юстиции. За поручень держится—один из тех, кто любит присутствовать на судебных разбирательствах, выказывая нетерпение к поступку другого, не похожего на многих.

—Пусть-ка теперь этот перекупщик потрудится на лесоповале. А морозы в Сибири бывают и к тридцати,—согласился другой старичок. Пальто серое, в крупный рубчик, карманы накладные.

—Бывает и поболее, да ещё с ветерком-хиусом,—с удовольствием поддержал разговор ещё один.—Бывает хиусок, что и носа из дома не высунешь.

Голову приподнял—на ней шапка из овчины, крашенной под норку. Пальто серое, немаркого цвета, как говорят некоторые.

—Сколько их нынче развелось… любителей нетрудовых доходов,—сказал первый, смотря перед собой. Пигментированное лицо жёсткое, на непослушные руки перчатки из натуральной кожи натягивает. Жёлтые, прошитые красной ниткой.—Институт окончил, работал хирургом, диссертацию писал. Всё дала ему партия!—с чувством говорил, разглаживая перчатки.—А он?!

—Что это за фамилия такая у него—Радзивилл?—спросил идущий следом.

—Иностранная какая-то,—ответил первый.

—Ни черта не хотят честно трудиться,—на шаг обогнал третий второго, в глаза заглянул первому. Нитяные перчатки из кармана достаёт, надевает, разглаживает, наблюдая за реакцией первого.

—Всё, что завоёвано Октябрём, должно быть надёжно защищено,—сказал первый, в шапке из натуральной норки. Ботинки у него… ну, видно же, не производства местной фабрики, известной в народе как артель «Смело, товарищи, в ногу».

На это второй, идущий на шаг сзади первого,—по-военному стройный, самый молодой из них, но тоже «с лицом»—закивал, соглашаясь с необходимостью надёжно защищать.

Они вышли на широкое крыльцо Дома юстиции, щурясь от солнечного света, осматриваясь и бросая неодобрительные взгляды на очередь у продовольственного магазина «Мясо». Доносились неспокойные голоса, один из взвинченных предстоящим событием уверял, что после обеда «выбросят» субпродукты. «Не менее как по два килограмма на руки!—хрипел застуженным голосом. Ссылаясь на свою связь с уборщицей магазина, он радостно выкрикивал:—Свиные горлышки будут!» Кто-то нехорошо в одно место «послал» субпродукты. «Сами-то небось жрут настоящее мясо»,—поддержал его женский голос.

—Так и сыплет параграфами, статьями,—тепло, по-отечески вспомнил один из старичков молодого судью Замойсковичева.

—Головастый, ничего не скажешь,—произнёс тот, что шёл впереди на шаг.—Ему только тридцать, а он уже в обкомовском магазине получает продукты,—и, прикрыв глаза, качнул головой значительно:—В том, на втором этаже. Для членов бюро,—пояснил, выказывая осведомлённость.

«Ты здесь не стояла!»—взвизгнула женщина из очереди.

—Далеко пойдёт наш Владлен Афанасьевич, далеко,—кивал согласно молодой пенсионер. Видимо, из органов. В повороте его плеча, походке чувствовалась военная косточка.

В это время через служебный вход на первом этаже во двор вышел судья Замойсковичев. Посматривая выше, он открыл дверцу машины, устроил на сиденье попу, а потом придал должное положение всему, что выше её. Через высокий забор от магазина доносился ропот толпы, что вызывало чувство тревоги у народного судьи. Не нравился ему ропот толпы, потому что любил он голос одинокого человека. Голос, который можно прервать, напомнить о нравственности, о преступном непонимании… Любил устало откинуться на спинку стула, лицо при этом сделать скорбное, как бы он узнал о болезни близкого. Потому и переживает за подсудимого сильно. Но он должен выполнить свой долг: «Плохо ваше дело, гражданин. Плохо!»—пухлую ладошку подальше от себя расположит, прихлопнет ею. Хорошо было ему в то время наблюдать за переменой лица одинокого человека. Любил он эти минуты, вспоминал их охотно…

А тут из-за забора голоса, шум многих.
—Куда прёшь?!—из очереди (женщина).
—Подстилка,—ответ был скор (мужчина).
—Да я мать двоих детей,—с угрозой.
—За волосы не хватай. Отпусти волосы-то, козёл,—мужики, видимо, разнимая.
—Всё лицо мне, сука, исцарапала,—кряхтел мужчина на это.
—Отпусти волосы,—не унимались мужики.
—Будет знать, как плеваться, царапать,—мужчина.

Слышались выкрикивания, в которых был вопрос: «До чего нас довели, а?»—и ответ: «В скотов народ превратили».

Не любил Владлен Афанасьевич голоса, если их много. Как шум прибоя это для него перед бурей, от которой укрыться негде,—тело у него розовое, ладошки мягкие.

…Прошло четырнадцать лет. Так же текут с гор речки, питая озеро Зеленоярское. Но всё хуже вода в озере… Дурной стала вода, говорят в народе. Не тянутся по берегу деревья к небу, не падают они, отжившие, величественно, с шумом-треском. А придавленные к земле кустарники перестукиваются ветками на ветру. В том месте, где вытекала речка Могучая, образовалось болото. Бурчалом назвали.

Двое из номенклатурных старичков померли. Памятники им поставили гранитные, на них о их заслугах написано. А который на пенсию вышел по выслуге лет, у него всё хорошо. Властью не забыт—за четверых, что когда-то в очередях простаивали, он получает пенсию. По судам по состоянию здоровья уже не ходит. Но любит он побывать на какой-нибудь встрече, юбилейном вечере или, скажем, научном симпозиуме. Особенно если там об упущениях говорят, преступном отношении кого-то. На это он седенькой головой кивает. Всё нормально у него: и пенсия, и знает, что похороны будут у него пышные и воспоминания ветеранов милиции—тёплые. Может, кто и слезу утрёт. Из самого мвд телеграмму соболезнования пришлют!.. Хорошо ему помечтать о ружейном залпе на кладбище.

И у Владлена Афанасьевича после перестройки дела идут. Имея давние связи и прекрасную образовательную базу, он решился на смену пола на женский. Но в этой Москве—если кто не знает—всегда что-нибудь напортят. У этих путаников всё наоборот: вначале они собирают камни. Чужие. А потом разбрасывают, но уже свои. И Владлену Афанасьевичу что-то там вырезали, что-то оставили, а оно не работает! Надлежащим образом. И теперь ему остаётся только сожалеть о своём доверии к известным в стране хирургам.

А в общем-то, всё хорошо у него. Живёт он теперь в высоком элитном доме, называемом в народе «домом для безродных». В большой квартире и, как положено прозелиту-либералу, вдвоём с другом. Улучшенной планировки та квартира, высокие потолки, окна с видом на озеро. С высоких этажей не столь заметны «издержки цивилизации». По берегу грязного озера ветер шевелит красочные обёртки. На них детишки и милые их сердцу кошечки-собачки. К сожалению, в городе, прирастающем богатствами Сибири, участились случаи увоза животных подальше от жилья. Видели некоторые на волне озера утопленных кошечек-собачек, ещё недавно умилявших детишек своими бантиками.

Но не видно запустения из окон высоких зданий. И кто там, за евроокнами, будет размышлять о какой-то экологии, смене цивилизаций? Ерунда всё это, скажут. На наш век хватит, скажут. Улыбка на лице скромно-обаятельная: до того ли нам?

И правда, пока Замойсковичев негодует на телевидении (востребован, как прежде), защищая самую ранимую часть населения—пенсионеров, его друг под присмотром охранника по бульвару гуляет. Станет Замойсковичев недавнее, доперестроечное, вспоминать, вот-вот слёзы польются на его широкие щёки. «Это всё они, они!»—куда-то в сторону от себя покажет. А на Серже, совершающего променад, юбочка из материала… как бы из сетки тот материал изготовлен. Через него голубенькие трусики в рюшечках видны. Лицо мальчишеское, в веснушках, губка нижняя вперёд. Слов нет—красивый юноша. Только завистью можно объяснить злобные инсинуации о его непостоянстве. Якобы видели его голым в кабинете у самого господина N! «Было душно. Не надо забывать, каким знойным был май»,—находились защитники.

Вот в таких условиях приходилось трудиться правоведу Замойсковичеву—кругом непонимание, враждебность. Зависть, наконец, к человеку успешному, уже широко известному в определённых кругах. Его труд «Содомия и права человека. Новое прочтение „Книги бытия“» стал заметным явлением в общественной жизни страны. «Земля в долине Сиддим, где процветали города Содом и Гоморра, была весьма плодородна. Нет, не случайно там поселился библейский Лот. Господь пролил огонь с неба не на людей другой сексуальной ориентации, а на насильников!»—рефреном звучало в книге (переплёт «под кожу», с золотым тиснением). «Да, в цивилизованном обществе тогда, и тем более теперь, должны преследоваться лица,

не только совершившие насилие, но и совершающие деяния, направленные на ограничения прав и свобод человека!» — очень твёрдый знак ставил автор после этой фразы.

Помимо главной идеи, там звучала мысль о правоте Каина, ставшего отцом цивилизаций. «Куда бы мы пришли при пастухе-то Авеле?» — задавал риторический вопрос автор. Соглашались многие: без Каина и сегодня мы бы жили в шатрах. Хорошо смотрелся Замойсковичев на экране европейского канала, куда был незамедлительно приглашён после выхода в свет своей работы. Чувствовал себя свободно, на равных, дискутируя с людьми образованными, отнюдь не случайно «зашедшими на огонёк». В средствах массовой информации, особенно в электронных СМИ федерального уровня, всё настойчивее стали звучать голоса в поддержку сооружения памятника отцу цивилизаций Каину. Предлагалась и площадь для монумента. Спорили о высоте, на телевидение приглашали известного специалиста по большим памятникам. Правда, нашлись и оппоненты, утверждающие: мол, не тот он человек, этот Каин, чтобы ему большой памятник ставить. Есть мужики и покруче. Фамилии назывались.

Столичные СМИ весьма лестно отозвались о трудах учёного, выходца из Сибири, где много медведей бегает. А зеленоярская газета «Городские успехи» пошла дальше, предложив отметить появление научного труда народными гуляньями, шествиями, предлагала заграничных пригласить… С экранов телевизора говорили о набирающем силу протестантском движении. Упоминались имена Лютера, Кальвина, которые тоже когда-то начинали. Достаточно было и портретов учёного: лицо страдальца, озабоченного чем-то очень большим, гонимого, как это бывает у подвижников. Хорош был в газете снимок на фоне грубой коры сибирской лиственницы. Это усиливало впечатление.

Далее за учёным какие-то люди ходят по земле, грибничают, то ли ещё что-то там делают по-мелкому. Среди них детишки-несмышлёныши, ещё не понимающие всей заманчивости открывающихся перед ними перспектив от большой науки.

И нет ничего удивительного, что при такой популярности (но, к сожалению, и зависти) после необходимых консультаций в столице Владлену Афанасьевичу был предложен важнейший сектор общественной жизни — областной комитет дружбы между народами.

«В надёжные руки мы вручаем больше, чем об этом можно сказать», — благословил его Шломхотсейдорский. (Слухи о скором переводе в Москву. Престижные экономические встречи в Куршевеле). На что надежда ранимой части населения ответила наклоном головы, держа протянутую ему ладонь обеими руками.

Как-то вскоре они случайно встретились в коридоре областной администрации. Большой руководитель изъявил желание покалякать с Владленом Афанасьевичем в домашней обстановке. О разном. На что подчинённый ответил понимающим взглядом. С элитой у него всегда складывались хорошие отношения. Вот и теперь как бы сами собой исчезали люди строптивые, а вместо них появлялись руководители понимающие. На предмет они могли посмотреть особенно: не оболочку, но суть увидеть в нём.

— Очень много работы, Серж, — оправдывался Владлен перед своим другом в тот день — самый главный день в нашем рассказе. — Партийное строительство — это всегда трудно, — отвергал упрёки в невнимании к нему. (А сам подумал: «Громко это сказано — партийное строительство. Фактически общественное движение. Пока»).

— Ты превратил меня в домработницу, — говорил кудрявый, вытирая с отвращением напомаженные губы. — Когда мы уедем? — Он смотрел жёстко, как смотрят мужчины на провинившуюся содержанку. — Мне надоело изображать из себя пассивного. Я хочу жить в нормальной европейской стране. Узаконить наши отношения, наконец!

Всё чаще стала появляться брезгливость на лице Сержа; останавливал он свой взгляд на рыхлом теле, непонятно какому полу принадлежащем.

— Ну, во-первых, к нам приходят убираться, стирать. К прогулке — охранник. Во-вторых, готовить, обслуживать гостей мы приглашаем… Кстати, Шломхотсейдорский со своей августейшей супругой обещался.

— Когда мы уедем? — взгляд почти властный. — Ты даже не представляешь, как мне надоели все эти малохольные лица на улице.

Юноша в тот день был серьёзно расстроен.

— Ну что с них взять?.. Крепчает маразм, — оправдывался Владлен. — Потерпи, — коснулся он пальцем его носика. Остановил взгляд на мускулистой груди под тонким свитером. Любил он этот свитер.

Помолчали.

— Скажу тебе откровенно, — нерешительно начал Владлен. Невидимые крошки на столе к краю его стал сгребать, на пол их сбросил. — Скажу тебе откровенно… Ещё недостаточно иметь, теперь важно сохранить то, что удалось… накопить, — он запнулся, сказав редкое слово. Растёр жирную грудь под халатом натурального шёлка с такими широкими рукавами, что в них и пролезть можно.

— Но у тебя в нескольких странах… всё это, — и тоже запнулся.

Правду сказать, юношу живо интересовало, где и сколько «всего этого». Но как человек воспитанный не мог спросить прямо, на какое содержание он может рассчитывать?

— Там, — поднял палец кверху Владлен, — всё под контролем.

Ещё со стола крошек сбросил. Встал, рукава халата у него короткие — не спустя рукава он ходит по этой земле; широкие, и на несколько человек бы хватило.

— Ещё немного, ещё чуть-чуть, — сказал Владлен с улыбкой примирения на широком лице. Он ещё хотел сказать, что были прецеденты с людьми из России, которые «не понимали», за что и поплатились. «Геополитические интересы!» — можно было при этом посмотреть в глаза. Но решил, что и так сказал лишнее и, легко погладив пальцем

любимый свитер на груди друга, он стал думать о сегодняшнем.

Во что одеться? Достаточно всего было в его платяном шкафу. Красивом, а фактически из ничего сделанным. Из отходов, но покрыт шпоном из благородного дерева, украшен фурнитурой из жёлтого металла, а какой вид!

— Пора принимать решение,— сказал себе тихо Владлен, перебирая костюмы. А выбрав, засомневался — пойдёт ли этот сегодня? — Пора, пора,— ещё сказал, надевая серый. С этими словами он и вышел к ожидавшей его машине.

Женщина-водитель ему улыбнулась, что было предусмотрено договором — тепло улыбнуться. И как бы случайно прикоснуться — нежно.

Непрост Владлен Афанасьевич, достаточно было в его жизни разного. Противоречивого. Но если речь идёт о личности такого масштаба, считаем уместным сказать о том гнезде, из которого вылетел и высоко полетел Владлен. Расскажем коротко — на город надвигается гроза, вот-вот польёт дождь, потому только самую суть. И ещё… Эти тёмные тучи напомнили Владлену Афанасьевичу его давний-давний сон. Впрочем, начнём с другого, что предшествовало сну в ту ночь.

Его, мальчика лет десяти-одиннадцати, в тот вечер мама уложила спать рано. У них в гостях был один из её друзей. Мама, средненькая актриса местного театра, но молодая и «всё при ней», была в разводе с его папой. И мстила ему тем, что не позволяла встречаться с сыном. Так вот, её сегодняшний друг в тот вечер хорошо кушал, пил и пел «Кто может сравниться с Матильдой моей…». Потому и уложила мама Владика пораньше в кроватку.

Подросток проснулся — как кто толкнул его. Он тихо встал и, подойдя к замочной скважине, стал смотреть. В пучке света от настольной лампы он увидел маму и дядю, который хорошо пел про тётю Матильду. То, о чём он слышал от друзей, теперь он видел. Он наблюдал маму долго, испытывая незнакомый ему подъём душевных сил.

В ту ночь он увидел сон. Плывёт он по реке: как это положено, руками гребёт, ногами помогает. Обычное для него дело делает. Не сказать, что вода под ним чистая, но камешки разных цветов наблюдает на дне. На берегу — ниже уровня воды в реке — кладбище, над ним туча. (Но почему-то знает подросток: не упадёт из неё и капли). С реки ему хорошо видно, как между памятников гроб несут. Торопятся, путь к открытой могиле ищут покороче. Погребальные ленты ветер поднимает. Стихнет ветер — ленты опустятся, у синеющих рук покойного концами шевелят.

Потом… Потом видит: штора на окне колыхнулась и там обозначилась фигура. От страха подросток и пальцем пошевелить не может — показалась маленькая рука, она тянет штору, а за ней… за ней неряшливо одетая, небольшого ростика старушонка. Волосы длинные, но как кто их специально спутал. Рассеянный свет от замочной скважины её лицо освещает. Морщинистое, как тысячи лет этому лицу. Маленькие ручки впереди себя она поднимает, кривой ножкой пол нащупывает, по стене идёт. Вот шорох она услышала, к Владику поворачивается. Он хочет закричать, маму позвать, но у него нет сил. Всё ближе к нему кривобокая; кровать нащупала, одеяло гладит, на его грудь всем телом наваливается. Смеётся тихо, за шею к себе тянет. Владик напрягается, чтобы крикнуть…

На этом и проснулся. Потный, он хотел бежать к маме, но вспомнил о чужом дяде, который, было слышно, в это время что-то рассказывал смешное, и они с мамой, сдерживаясь, смеялись тихо, как он только что слышал во сне.

Несколько раз Замойсковичев видел этот сон: как властью, данной свыше, ему кто показывал мёртвые руки и ленты, что ласкают их, холодные. Нехорошо, тревожно ему видеть наяву черты у людей, чем-то — иногда и непонятно чем — напоминавшие ему о неопрятной, кривобокой старушонке. О своей незащищённости в огромном, враждебном ему мире он мог подумать в то время. О смерти вспомнить.

Давно нет мамы. Отца Замойсковичев едва помнит. Как-то стояли в храме (был праздник), впереди со свечкой — Шломхотсейдорский. Один из церковных предложил заказать сорокоуст за упокой души… Все заказали. Заказал и Владлен Афанасьевич. Правда, он уже потом разобрался: вместо своего отца Афанасия своё имя вписал.

Многое забылось за эти годы, но сон этот давнишний не забывается, он всегда при нём. Реален, как эта туча, что уже касается верхних этажей высоких зданий Зеленоярска.

Очнулся Владлен Афанасьевич от воспоминаний, от дум своих скорбных, когда у его автомобиля заскрипели тормоза. Очнулся, вспомнил о разговоре со своим другом, и под впечатлением наметившихся охлаждений он поднялся на этаж областной библиотеки, где была объявлена встреча городской общественности с прибывшими в Зеленоярск представителями культуры из Польши.

С некоторым опозданием вошёл, что было редко, посматривая в зал и на поляков, с которыми уже имел встречи. И как представитель принимающей стороны он высказал руководителю своё удовлетворение составом прибывшей делегации. Получалось у него хорошо: подойти по-особенному — грудь сделать вперёд, обе руки чуть в стороны. Но правую он всё более заносит вперёд, всё ближе она к руке того, кого он искренне приветствует. Левой, кончиками пальцев, локотка коснётся. В глаза заглянет, скажет приятное с улыбкой. Кажется, скажи такому иностранец: «Носки постирайте, на левом дырочка»,— и постирает, заштопает. Ещё и погладит, в номер гостиницы доставит в срок.

Неожиданно перед Замойсковичевым разомкнулся круг поляков, и к нему шагнул незнакомый мужчина в кожаной куртке. Он энергично пожал руку, назвал себя, сделал улыбку, повернулся и пошёл на место сзади многих на сцене. После чего стали рассаживаться у стола в центре сцены, предлагая друг другу сесть к столу ближе.

Встречу открыл Замойсковичев. Он назвал себя, поблагодарил за внимание присутствующих в зале

(человек двести), представил приехавших по приглашению областного комитета дружбы между народами. Ещё раз выразил своё удовлетворение столь представительным составом делегации (фотографические вспышки, аппаратура направлена на него). А он как бы в сомнении: стоит ли говорить об этом? Начал он так:

— Меня беспокоит, если не сказать больше, удручает позиция современной интеллигенции России, так и не познавшей в полной мере нашего великого соседа, стоящего в едином строю с цивилизованными народами.

Он повёл глазами по залу. Голос у него мягкий, даже певучий, но, ободрённый возгласами согласия, Владлен Афанасьевич старался говорить жёстко:

— Несказанно велико влияние Мицкевича и Шопена на Пушкина и Чайковского,—он сделал кулачок, поднял и опустил его.—Я бывал в Варшаве и заверяю вас: сегодня нам есть что там посмотреть и послушать. Есть над чем подумать,—разжал розовый кулачок, по шву широких штанов руку вытянул. Дама в первом ряду даже платочком глаза промокнула; рядом с ней—старичок, он голову приподнял, как это бывает, когда человек наконец-то услышал правду.—Заметное влияние на польскую культуру оказала и русская. Мы знаем это, нам есть о чём сегодня поговорить,—этими словами открыл встречу представитель зеленоярской общественности. Согласно кивнув в сторону хлопков из зала, он стал устраиваться на мягком сиденье широкого кресла.

Начались выступления гостей. Руководитель польской делегации поблагодарил присутствующих дам и господ за то, что в это непростое время они нашли возможность прийти на встречу. Лестно отозвался об областном комитете дружбы между народами за приглашение посетить город на берегах великого озера. Сделал полупоклон в сторону Замойсковичева за организацию этой встречи. И стал высказывать незаурядную осведомлённость о новом прочтении Священного Писания.

— Благая весть пришла к нам из самых недр Сибири,—вначале тихо, но всё более взвинчивая себя, он «говорил, говоря».—Весть шагнула через Атлантику! Пан Замойсковичев,—рукой на новоявленного евангелиста показывает,—его известность шагает по миру, охватывая всё новые континенты.

От избытка чувств он помотал головой и выдохнул.

Вот и всё. В кратком изложении. Не стоит о том, сколько раз поляк расстёгивал и застёгивал пиджак, руки к небу поднимал, ладошкой воздух рубил. Людьми, что в Сибири живут, восхищался. Не суть это.

Но, видимо, всё это ему показалось недостаточным, чтобы позиционировать себя осведомлённым человеком западной культуры,—он сделал несколько шажков в сторону красивой брюнетки и галантно поцеловал ей ручку.

Брюнеткой в костюме, облегающем стройную фигуру, оказалась руководитель всей зеленоярской культуры. На это она, молодая и стройная, мило сконфузилась.

Вернувшись к краю сцены, потерев руки, поляк стал представлять приехавших из Варшавы. Не назвал он лишь того, что в стороне от других сидел. В кожаной куртке. Ногой покачивает.

Первым из гостей был представлен режиссёр-документалист, сделавший несколько удачных литературных обработок воспоминаний спецпереселенцев. Лицо у режиссёра смуглое, очки фиолетовым отсвечивают. «Воспоминания переведены на несколько европейских языков и тепло встречены общественностью,—ладошку в зал показал руководитель делегации, как будто успокоил сомневающихся в профессионализме присутствующего здесь режиссёра-документалиста.—В этом вы можете убедиться, приобретя книжку. По весьма скромной цене»,—кивнул на стопки книг на столе.

Следующим был назван поэт. Стриженный давно, с большим бантом вместо галстука. Поэт легко встал, поклонился, легко сел и продолжил поглаживать седеющую бородку-клинышек, любимый ниспровергателями от интеллигенции.

Далее руководитель поляков посмотрел на дверь в глубине сцены: из тихо открывшейся двери вышел и, опираясь на костыли, стал перемещаться к свободному креслу ветеран известных революционных событий на Гданьской судоверфи. Несколько человек на сцене поспешили ему помочь. Активист «Солидарности» был представлен публике, и она тепло приветствовала его.

Ещё какие-то приехали… Они потом говорили…
Человек в кожаной куртке ногой качает, головы
не повернёт. Как шаги всех наперёд им сочтены.

Начались выступления гостей.

Архитектор, он же руководитель делегации, говорил вначале о зодчих прошлых столетий, называл известные миру имена. Настойчиво предлагал не останавливаться на достигнутом, а шагать в ногу с прогрессом. «Проблемы, которые неизбежны на пути, давайте же преодолевать вместе,—говорил.—Мы живём в совершенно уникальное время»,—и узкая полоска белого платочка хорошо смотрелась на фоне его серого пиджака, цвета стен и, скажем так, нечищенной обуви аборигенов.

Да, разные люди собрались в зале, уровень их подготовки в архитектуре не ровен. И тему выступления архитектора-авангардиста не назовёшь лёгкой. Но видно же—старается докладчик.

— Позвольте рассказать о работах, какие выполняются группой ведущих специалистов нашей творческой лаборатории,—начал он, как бы сомневаясь: нужно ли говорить, поймут ли?—Суть их состоит в том, чтобы напомнить обществу, как ранимы люди. Вот почему в наших проектах для стран, скажем так, ещё делающих первые шаги в сторону демократии, в которых стоит проблема прав человека (ладонью лоб потёр), мы предлагаем систему жизнеобеспечения зданий располагать не скрытно, не внутри зданий, не по укромным местам, а снаружи, по стенам. У всех на виду.—Он сделал несколько тихих шагов в задумчивости. Иногда выше голов в зале он посмотрит.—Канализационные выпуски из квартир согласно проекту выходят на общую лестничную клетку.

Всё выполнено из прозрачного стекла. Хрупкого, бьющегося от грубого обращения,— лицо у него скорбное. По сцене он ходит, веки усталые, вот-вот сомкнутся.— Прозрачные… Мы должны знать, кто живёт рядом,— повторился.

«Как несовершенен этот мир, как много надо ещё работать!»— мог бы кто вскричать в поддержку современных Леонардо и Растрелли, но нет, не было такого, а вместо этого крик некоего из задних рядов: «Погодите, по-го-ди-те, а как же… если кто-то ударит, наконец, наступит на трубу?.. Вонь же пойдёт по всему дому!». Голос у неинтеллигентного человека застуженный, какой бывает зимой у мужиков на строительной площадке.

— Об этом и речь,— встрепенулся докладчик. И улыбнулся отечески, как это бывает при неразумном дите.— Чем больше мы будем знать о ранимости тех, кто рядом, тем больше мы их будем беречь,— ответил инженер человеческих душ.— Вопросы есть?— ещё в задумчивости прошёлся.— Вам я могу сказать по секрету: в Москве уже идут переговоры о внедрении наших разработок в типовые проекты этой страны,— и указал перед собой пальцем.

— Ты чё, мужик?!— тот же голос со стройплощадки.— Серьёзно?

Какие же они все эти строители грубые, даже если и польские корни у них.

— Вопросы есть?— не удостоил архитектор ответом строителя с задних рядов, а, повернувшись к человеку в кожанке, кивнул ему.

Следующим выступил поэт. Стихи читал. Если концептуальные, то выходило у него так: некто коварный и злой, лохматый, как медведь, появлялся из мрака подземелья. Причём появляется он не первый раз. На голове рога, а на них написаны слова богохульные: «имперское мышление». Слышится зубовный скрежет. Дурной запах от лохматого…

И в надежде на понимание присутствующих поэт сжимает пальцами нос (оживление в зале). Но автор не теряет оптимизма, он знает, он верит: придут люди в белых халатах, они сразятся с лохматым и повяжут исчадие ада. «На куски порвут!» Вот такие стихи… Приличные аплодисменты были ему наградой.

Слово взял известный в Европе этнограф.

Он рассказал о недавно прошедшем научном симпозиуме. Там он сказал прямо: народы Европы произошли от древних греков. Только очень древних, селившихся на берегу Балтийского моря. Из шкатулки, стоящей перед ним на столе, он вытащил матово поблескивающий предмет и стал его поворачивать, показывая уважаемой публике со всех сторон. «Вы видите, видите…»— говорил, поворачивая. И правда, сбоку предмета была какая-то дырка. Закончив демонстрацию, этнограф бережно опустил археологическую находку в шкатулку. Ключиком в замке щёлкнул. И, как после хорошо выполненной работы, откинулся на спину своего кресла.

— Давно надо было сказать об этом!— крикнул кто-то, видимо, один из потомков греков.— А не ходить вокруг да около.

— Пора сказать наконец кто есть кто!— поддержал его старческий голос с первого ряда.

Достаточно было желающих выступить, о наболевшем говорили из зала. Говорили о тревожных предчувствиях. Какой-то видный мужчина сказал о необходимости дальнейших изысканий в этнографии. Дама почтенного возраста говорила о своём понимании прочитанной поэмы. Пальцем тёмному углу в зале погрозила.

Встал режиссёр-документалист. Он взял со стола книгу, раскрыл её на закладке и, подняв повыше, стал говорить:

— Мы должны признать факты гонений малочисленных народов титульной нацией,— в подтверждение этого он тыкал пальцем в фотографии грустных лиц.— Конечно же, если они находятся вне правового поля цивилизованных государств,— опустил руку с книжкой, бережно её на стол положил.— Посмотрите, как много нынче вымерших улусов на Крайнем Севере,— бережно касается кончиками пальцев книги.— Совсем вымерли. (Кстати, сам он из каких-то смуглых широколицых народов, но, видимо, находящихся в правовом поле: лицо свежее, излучает здоровье. Прекрасно одет. Дымчатые стёкла очков скрывают глаза, возможно, не от греков. Пусть и самых древних).— Далеко в горы ушёл олень,— головой он качает.— Как это бывает при режимах, выстраивающих жёсткую вертикаль власти,— паузу держит печальник.

Тихо в зале. Только слышно, как застонал где-то старичок, сочувствуя малочисленным народам от запустения северных улусов и худосочности трав, где когда-то колосились тучные нивы. Ещё кто-то всхлипнул из-за того, что ныне не резвятся в тех местах медвежата. Не улыбается на полянке их мама, не уверенная в будущем своих «мишуток» и «маняшек». В сомнениях она, тучи заволокли небо, стада медведей потянулись в тайгу. Нынче они корой с деревьев питаются да клюквой, выросшей ещё до «вертикали». Как не скорбеть о случившемся… Старик во втором ряду засморкался в платочек.

— Пора сказать прямо— кто есть кто!— прозвучал уже знакомый голос из зала.

Владлен Афанасьевич голову клонит. Руководитель зеленоярской культуры пальцы сцепила, мнёт их. Глаза опустила.

Некто невысокого роста, с обозначившимся животиком, какой бывает от макарон, подвижный и загорелый, как итальянец, решительно поднялся со стула. Сверкнул очками: «Польский народ понимает, какая дистанция,— указательный палец поднял,— отделяет последние столетия русский народ от руководителей. Ве-ли-ко расстояние между Центральной Россией и необъятной Сибирью с её огромным потенциалом развития,— вздохнул в микрофон.— Вам более чем кому-либо в этой стране свойственны раскрепощённость, смекалка, инициатива,— не стоит на месте «итальянец», полы пиджака в движении, смуглая лысина поблёскивает. Вот-вот микрофон из руки отлетит в сторону. Говорит без акцента, на «а» ударение делает.— Скажу прямо: вы имеете

свой национальный менталитет, настоянный на немецкой аккуратности, приправленной польским свободомыслием,— резко выдохнул в микрофон. На цыпочках привстал.— Сибиряки! — крикнул в зал с надрывом.

Владлен Афанасьевич поднимает массивную голову на нетонкой шее. (В последние годы очень даже любил покушать. Побаловать себя особенными тефтельками из цыплёнка. И непременно серенького, не фабричного. Сыры любил с пищевой плесенью, а к ним что-нибудь из вин — сухих, хорошо выдержанных). Закончив эмоциональное выступление, «итальянец» к нему направляется, садится рядом на стуле, оказавшемся в это время свободным. «Я вас умоляю,— наклоняется к нему, в ухо дышит неспокойно,— стучитесь в двери Европы. Стучите, стучите, и вам отворят»,— пальцами доверительно его рукава касается, в глаза заглядывает. И смотрит, смотрит… Понимающим взглядом ответил на это либерал.

Потом выступала дама от областной культуры. Она говорила: «Усилилось желание лучших представителей нашей культуры шагать в едином строю с европейцами. Надеюсь, в общеевропейском доме и нам будет отведена комнатка»,— улыбнулась шутке. Мило головкой тряхнула, прядь волос убрала с глаз, ими в человека в кожаной куртке стрельнула. На что тот кивнул.

Заканчивался второй час встречи. Ещё какие-то говорили, из зала на сцену поднимались, с необходимостью «что-то делать» соглашались. Из зала — возгласы одобрения иногда. Иногда хлопали. Менялись лица, говорили, уходили, садились на место. Как кто калейдоскоп крутил быстро.

Полненькая дама из Польши, похожая на русскую курсистку, три минуты зудила: «У вас мало женщин в законодательной и исполнительной власти… Смелее!» — рукой над собой махала. Платье до пола, лицо нервное. Пенсне на носу.

Второй час встречи заканчивался…

Неожиданно встал и заговорил невидный такой, из пятидесятилетних, какие ходят в застиранной одежде:

— Не надо нам вашей комнатки в общеевропейском доме! — А дальше ещё хлеще: — Не надо нам спецпаёк. Пусть и по повышенным оккупационным нормам,— указательным пальцем у лица качает, как предупреждает: не надо! Им же по спинке переднего кресла постучал. Культурно одетая бабушка на него обернулась.— Слава богу, в России ещё остались люди, не меняющие честь на калорийную пищу,— неспокоен человек в лоснящемся от стирки-глажения галстуке.— Не хотим мы зданий с коммуникациями наружу.

«Мы»,— говорит, а это — вызов.

На сцене переговариваться перестали, в зале не кашляют. Один с места привстал, в глаза «застиранного» смотрит пристально. Скоро кивать начинает сочувственно, видимо, синдром определил. Поворачивается к сцене, его озабоченность нездоровьем гражданина и там видят.

А мужик, который «мы» говорит, так себе: роста среднего, сутуловат, лицо грубое, землистое — как бы мало ему досталось в жизни воздуха свежего. Как не видел он шмелей, запутавшихся в траве! Типичный Иванов с носом картошечкой; если есть от него запашок перегара, то и портрет будет окончен. Но не было перегара, землистое лицо подвижное, губы тонкие. Открылки носа раздуваются, ямочка на подбородке говорит о характере. Да, именно такие, с открылками и ямочками, имеют склонность останавливать плавное течение беседы в собрании приличных людей. Своим присутствием такой может разрушить благопристойность: позыркает глазищами по сторонам, на одного-другого посмотрит с глумливой улыбочкой, и всё. Не будет плавного течения мысли, вектор беседы, как стрелка компаса, в сторону дёрнется.

Вот и теперь вместо положенной осанны «типус» — об оккупационных нормах, не о борьбе демократии с мировым терроризмом, а о калорийности в продуктах. Странный человек, странным было и его имя — Марк, и это при фамилии Иванов, одиноко проживающий в маленькой обшарпанной гостинке по улице Энтузиастов.

…Как от толчка проснулся в то утро Иванов, через пласты отрывочных снов пришло забытое. «С кем вы все останетесь, когда нас изведёте? — говорил он, ещё молодой, следователю-чекисту.— С ними?» — кивнул худой головой на нетолстой шее в сторону окна шестого этажа, выходящего в «колодец» двора. Отсюда, из кабинета следователя, было слышно, как, не останавливаясь, по кругу мчались автомобили, огибающие памятник Дзержинскому. Мчались потому, что остановка запрещена! — На откровенность следователь вызывал,— незло вспомнил Иванов.— Вот и получили откровение,— он посмотрел на пыльное оконное стекло. За ним посреди унылого двора в детской песочнице кто-то спал. Широко раскинув руки и пуская ртом пузыри, он, свободный человек, пренебрегал бабушками на скамейке. «Ну, какой скот, а?» — говорила одна, в подшитых валенках, заканчивая вязать маленький носочек. Нос отворачивала. «Гегемон»,— соглашалась другая, видимо, из образованных.

Вставая, вспомнил Марк и про объявление во вчерашней газете: из Польши в город приехала делегация работников культуры. А поляков Марк Иванов не любил. Ещё американцев не любил. Многих он не любил. Себя не любил, например. В церкви в этом каялся, оправдываясь: мол, никому плохого не сделал. А батюшка, выслушав, к уху наклонился, кажется, спросил: «А за что его, народ-то, любить?». Тем и успокоился Иванов, с тем и причастился.

«От ужина остался минтай,— вспомнил.— Схожу, пожалуй… Всех приглашают»,— по щербатому полу в мятых тапочках ходит. «Можно картошку сварить»,— лицо в зеркале рассматривает, залысины пальцами гладит. К холодильнику идёт, а тапочки у него по пяткам шлёп-шлёп. По радио какой-то мужик девическим голосом поёт, как замуж просится. На свою горькую судьбину жалуется мужик. Потом начинает успокаивать слушателей, вспоминая, как много у него друзей.

«Но сказано же в Писании: «Возлюби ближнего своего»»,— в сомнениях Иванов, не хотелось ему

не любить всех этих поляков-американцев. Но, повторимся, себя он тоже… редко любил — залысина вот-вот с его голой макушкой соединится.

Итак, Иванов, мужчина невидный, ближе к вечеру направил свои невидные ботинки, изготовленные местной артелью и купленные в магазине «Для экономных», в сторону областной библиотеки. Там он и встал, раззуженный заявлениями об успехах ихней демократии, чтобы спросить у польской культуры… Если бы просто спросить. Нет, он встал, имея в своей фигуре напряжение: плечо вперёд, подбородок с ямочкой неспокоен, указательный палец у лица держит.

Владлен Афанасьевич, чувствующий тонко, но прежде главный здесь поляк, поняли нестандартность ситуации. Переговариваться между собою на сцене перестали. Подобралась руководитель местной культуры, губы сделала гузкой, готовая назвать цифры культурных мероприятий, проведённых в последнее время, сказать о запланированных.

(Кстати. Вовсе не ей принадлежит метод выражать мысль столь оригинальным способом. Это её мама в славные комсомольские годы делала «гузку», когда надо было выразить несогласие с теми, кто ещё недостаточно понимает о временных трудностях «текущего момента». Теперь её дочь успешно применяла «метод», иногда усиливая его разводом рук в стороны: «Что с него взять?»).

В кожаной куртке ногой перестал качать, острый носок ботинка рассматривает. На сцене поняли: он другой. Те, что рядом с Ивановым, отстранились, как если бы он стрелкой компаса полюса поменял.

— В книге английских авторов Сардара и Мерриа Дэвиса «Почему люди ненавидят Америку» утверждается, в частности, что в Западной Европе американские спецслужбы подвергали пыткам беженцев из Советского Союза. Разумеется, тех, кто им был нужен. «Ломали», как говорили у нас в лагере, — пальцы с покусанными ногтями рассматривает. Молчит, лоб морщит, как вспомнить что-то хочет. — Разрушали здоровье у невинных людей… Даже общество по защите прав животных не защищало…

— У вас есть вопрос? Конкретный! — резко встал со своего места молчаливый мужчина в кожаной куртке. — Хватит нам ваших инсинуаций, — кистью правой руки от себя «инсинуации» откинул.

— Есть. Я хотел бы спросить: будут ли преследоваться на территории вашей страны те поляки, что, нарушая права человека и всякие там хельсинские соглашения, принимали участие в пытках беженцев из нашей страны? Повинных в том, что оказались нужны, но не хотели лезть в политику с её единой Европой и наднациональными компаниями! Будут ли эти поляки преследоваться в вашей стране, если они сегодня имеют ваше гражданство? — лицо у Иванова в красных пятнах, в сторону шеи они увеличиваются, воротничок рубашки увлажняют.

«Можно было рассказать о комнате без окон, покрытой внутри звуконепроницаемыми матами. Много белого электрического света и ни единого звука! — подумал Иванов, оглядываясь назад на сиденье. — Да найди свидетелей, приведи их в этот зал — не поверят!». И он сел. Давнего зэка вспомнил. «Не надо рассказывать всего, — говорил он, пытаясь рассмотреть через покрытое мелом окно палаты Института судебно-психиатрической экспертизы. — Не поверят же. Им так удобнее… Могут и в психи записать».

Ещё привстал с места умеющий смотреть пристально, выказывая этим своё понимание. Головой скорбно качает диагност: подлечиться бы гражданину надо. Обострение у него.

Замойсковичев за соотечественника стыдится, глаза прячет. Рядом дама, она руками разводит: в семье не без урода! Не зря она руками разводила, не напрасно Владлен Афанасьевич глаза опускал. В зале было достаточно тех, кто улыбался «выступившему товарищу» снисходительно: ну а дальше-то что, мил человек?

Разные люди собрались в зале областной библиотеки. В основном социум, что аккуратно поворачивает голову к тому, кто говорит. Была прослойка интеллигенции — активная, страдающая от амбиций и сочувствующая запустению северных улусов. О Марке Иванове рассказали… Был ещё один мужик, немолодой уже. Не стоило бы о нём говорить, если бы он не стал кричать, обращаясь к сцене.

Итак, гости поглядывали на строгого мужчину в кожаной куртке, готовились услышать заключительное слово, а соскочил со своего места какой-то, кричит с надрывом:

— Это вы, собравшись со всего света, ездите, ненависть вызываете, которая обернётся против ваших соплеменников. Вы-то и есть настоящие ненавистники! — передохнул, как туберкулёзник, и опять к сцене: — Вот я бывший заключённый. Но и в зоне я не видел таких петухов, — головой мотает в стороны. — Подработка тут у вас, сходняк! — ядовито. Потом присматриваться стал к сцене: — Ха! Ишь ты — слинял судак, — в Замойсковичева взглядом упёрся, а у самого всё ближе кашель к горлу подступает. От этих слов бывший народный судья лицом поменялся, карман пиджака стал нащупывать. Пистолетик он там иногда носил. (Вот тебе и встреча культур!) А зэк ещё смотрит на сцену: — А ты волосы выкрасил. Фуфломёт! Ты такой же поляк, как я монгол, — в сторону «итальянца», садясь и остывая: — Разжигают тут ненависть.

Из кармана платочек достаёт, ко рту прикладывает. Дышит через него. В глазах явная… нелюбовь к тем, кто на сцене. Вот сколько может накопиться в человеке «всего этого». Сразу всё выдал, что и понять невозможно: какие-то монголы, безжалостные к соплеменникам, выкрасив волосы, куда-то уехали, не то вот-вот нагрянут с визитом. По дороге фуфло мечут… Судака поймали.

Будто бы вскинули на него свою аппаратуру сми, но тут же и отвернулись от мужика — как по чьей-то команде. Известное дело, не любят они тех, кто по жизни гуляет сам по себе, о таких и споткнуться можно. А мужик неопрятен, волосы взъерошены — и вправду походил он на кошку,

что гуляла сама по себе. (А фактически, если разобраться, за что этих животных любить, если не гуляют они в стаде? Жвачку не пережёвывают…)

Скажем так, неровно проходила встреча культур и профессионалов от дружбы между народами. Не по плану. Да и какой может быть план в этой стране, можно ли предусмотреть какого-то строителя, желающего свою образованность показать, или, скажем, бывшего зэка, от чрезмерного обрусения изъясняющегося по «фене». А этот, который про пытки, так тот вообще «с приветом». А ведь как хорошо начали: надо сделать возможное, чтобы избежать повторения прошлого, избавиться от рецидивов в настоящем, это и будет гарантом европеизации России. Один из зала даже крикнул: мол, сибиряки и сегодня готовы.

Но… случилось непредвиденное. В то время, напомним, резко встал со своего места молчаливый в кожаной куртке. Он с видимым нетерпением выслушал вопрос, выкрикивания про «монголов» и шагнул к краю сцены. Лицо решительное, движения рук, поворот головы—энергичны. Объективы направлены на него.

— На крики людей сомнительного здоровья не отвечаю. Что же касается упомянутых английских авторов… Они недобросовестны, они куплены. И мы не желаем слышать о грязных играх спецслужб,—в сторону Иванова. Улыбнулся снисходительно, с пониманием.—Я польский консул, только сегодня скорым приехал из Иркутска, чтобы от имени своего правительства приветствовать встречу представителей польской культуры с общественностью Зеленоярска. Понимаете, встречу культуры с прогрессивной общественностью города,—повторил в сторону Иванова. Нашёл в зале и того, который про монголов, посмотрел проницательно.—Необходимость подобных встреч всё более очевидна.—Лицо у консула породистое, не допускающее возражений.—И как считаем мы и наши друзья, значение их в этом десятилетии будет только возрастать,—консул в полной тишине прошёлся по сцене.—Я говорю по-русски, но теперь стану говорить на нашем материнском языке. Языке, приобщившем нас к европейской культуре.

И стал упоминать «терроризм». Понятными были и «империя», «амбиции». Говорил консул недолго, но весьма содержательно: Европа, Польша, интеграция. Панами величал присутствующих. Движением ладони отсекал в сторону от них «империю» и «амбицию». Слушали его внимательно, если кто и кашлянул, то по крайней необходимости. Он же, не переставая, ходил, мысль подчёркивая, взгляды в зал бросал. Один раз руки за спиной немного подержал, но что-то не состоялось у него в этой позе. Ещё ходил, ещё говорил… А закончив выступать, сел, ногу на ногу бросил. И в каждом движении его—сдерживаемая сила.

Как положено, с заключительным словом выступила принимаемая сторона.

О пользе взаимопроникновения культур, о дружбе Пушкина с Мицкевичем сказала дама. Руки прижимала к груди, к костюму, хорошо пошитому.

А Замойсковичев в заключительном слове начал с Сахарова:

— Великий сын России Андрей Сахаров мечтал о создании влиятельных европейских структур, способных противостоять международному терроризму. Структур, способных пресекать в корне хаос в цивилизованном мире,—строго посмотрел он в зал.—Да, через интеграцию высокоточных технологических разработок Запада с сырьевыми ресурсами Востока,—голос крепчает.—Да, в едином порыве раз и навсегда мы покончим с международным терроризмом. Не позволим,—бабьим лицом решительно крутит.

Ладошки розовые, подушечки на пальцах мягкие вместе сложил. Залу их, сложенные, показал. А там—пальчики, которыми он ручечку держал, подписывая когда-то приговор «отщепенцу» Радзивиллу, отсидевшему по лагерям девять лет (три добавили за побег). Ныне больному туберкулёзом и очень нехорошо чувствующему отбитую почку.

— В последнее время я часто думаю, что страна, давшая миру Пушкина и Бродского, Менделеева и Сахарова, Чайковского и Ростроповича, Анну Павлову и Рудольфа Нуриева, должна вернуться в мир истинных ценностей.—Тут он сделал паузу продолжительной. Из тех, что говорят больше слов. Взглядом прошёлся по головам в зале, правым глазом на консула глянул.—Надоел, дамы и господа, надоел этот квасной патриотизм. Тот, о котором Толстой сказал как о последнем прибежище негодяя,—опустил он в бессилии руку.

— Какой же он умница!—тихо говорил во втором ряду старичок, кивая седенькой головой.

— Образован, образован,—соглашалась рядом бабушка, хорошо причёсанная.

— Я его помню ещё по судейским делам,—ей на ушко говорит дедушка.—Два друга было у меня… Вместе ходили смотреть.

— А что с ними?—не против знакомства была одинокая женщина.

— Померли. Вот бы порадовались. Какой же он умница.

— Умён, ничего не скажешь,—и старуха с грязно-серыми волосами, причёсанными хорошо, бросила восхищённый взгляд на сцену.

— В цивилизованном обществе, если оно действительно цивилизованное, а не выдаёт себя за таковое, должны преследоваться лица, не только совершившие насилие, но и за деяния, направленные на ограничение прав и свобод человека,—негодовал тем временем со сцены Владлен Афанасьевич, вплетая в своё заключительное слово идеи из научного труда «Содомия и права человека…»—И мы будем бороться с теми, кто тормозит процесс демократизации общества!—ладошку впереди себя резко вскинул, как восклицательный знак этим поставил.—Дамы и господа, друзья, спасибо за внимание,—и, повернувшись к консулу, он посмотрел на него.

Сиденья кресел застучали, в сторону выхода движение обозначилось. Рядом с Ивановым сказали «wszystko» (очень), а он не любил это слово. (Ещё не любил он польское «падла»). К столу подходили люди, интересуясь книжками. И Владлен

Афанасьевич в окружении. «Поймите, это рецидив застарелого мышления… Время нужно»,—убеждал. Волосы у него редкие, белые, гребешком стоят. Пальцы прикладывал к левому лацкану пиджака—из настоящего английского твида изготовлен тот пиджак. На его гладком лице улыбка, с ней он и руки пожимал полякам.

—До завтра,—говорил каждому.—Очень, очень рад,—консулу.—Если бы вы предупредили о приезде (огорчился), мы встретили бы вас согласно вашему статусу, достойно,—говорил, не убирая улыбки. С ней и на улицу вышел.

«Прогуляюсь»,—сказал он ожидавшей женщине-водителю, зонтик из машины взял, хохолок пригладил. «Добрый вечер вам»,—это кому-то из встречных, не знакомых ему. И улыбнулся, учтивый. На главную улицу повернул, дважды профессионально оглянулся и, не обнаружив слежки, успокоился. «Добрый вечер вам»,—кому-то ещё улыбнулся. В хорошем настроении он, легко зонтиком помахивает, на тёмные тучи, уже касающиеся крыш высоких зданий, посматривает. «Надо бы поскорее узаконить наши отношения. В Европе»,—приятно ему вспомнить о Серже. Из хорошей семьи, единственном человеке на планете, который по-настоящему дорог ему. Любил он его уже и за капризы, что стоят всё дороже.

В хорошем настроении прошёл он два квартала. На пересечении с улицей Питерсона мимо быстро проехала иномарка с затемнёнными окнами. Скоро он услышал звук удара, а потом и протяжный затихающий крик. Недалеко от Центральной городской библиотеки он увидел несколько человек, окруживших лежащую на земле старуху. В спецовке строителя и в сапогах, обрызганных известковым раствором. Старуха билась головой об асфальт, мычала, а изо рта обильно шла розовая пена. Замойсковичев постоял с минуту, про себя осудил зевак: «Ишь ты, зрелищ им подавай…» И пошёл дальше, стараясь не вспоминать растрёпанные седые волосы и звук скребущих ногтей по асфальту. У него был выработан метод—в такие минуты думать о приятном. «Надо поскорее узаконить наши отношения»,—стал думать о друге.—«Ныне не борьба каких-то надуманных идей, а идёт откровенная, системная война за ресурсы. Святая святых. И во всём мире. Мы это понимали всегда»,—всё дальше он уходит от того места, где как железными ногтями скребла по асфальту заслуженный строитель. Она, отдавшая свои лучшие годы возведению больших зданий, надеялась получить в них место. И вот… розовая пена, оседая, обнажает износившиеся, гнилые зубы, а Владлен Замойсковичев шагает, всё ближе он к «дому для безродных». Уверен, ему не станет холодно и «там». Он достаточно поработал для этого… И легко, красиво перебросил зонтик с руки на руку.

А тот, который о Сардаре с Дэвисом, в это время шёл по окраине города. Лицо невесёлое, ботинки невидные у него. От недавнего не остыл: «Нет, не так надо было сказать. Надо было…» Потом, откуда и взялось, вспомнил реку, что переплывал. Как же давно это было… Девушку из той, другой жизни припомнил. Она, красивая, у стены стоит, палец пистолетиком направила на него. И улыбается… Почему-то вспомнил своё письмо по-немецки, написанное на Лубянке для графологической экспертизы. «Убейте меня»,—писал, а теперь вот у Иванова сердце болит от невыпавшего дождя. В папочке где-то это письмо и нынче лежит. Руку под пиджаком, где больно, держит… Обратил внимание на траву, называемую в Сибири пикульками, выросшую на обочине и потому раздавленную машинами,—и здесь у него ассоциации…

Навстречу прошли трое, о которых говорят: «Всё своё носят с собой». Смеются, о вчерашнем дне вспоминают: кто-то не может вспомнить, как он оказался в другом месте. «Смывка в голову хорошо бьёт»,—со знанием дела говорит один и смеётся, довольный. «Из Бурчала,—подумал Иванов о заболоченном участке, примыкающем к улице.—Весёлые…»—грустно посмотрел им вслед. Одна из них, возможно, женщина. Не любил он слабых. Почти ненавидел. И жалел опустившихся. Одновременно.

…Сутулый, прохаживался Иванов в тот вечер по своей комнате. В сумерках думал о разном. Воспоминания его окружают, теснят с годами чаще. Но не о музыке ручья, бегущего по мозаике из разноцветных гладких камешков, не о высоком кедре—к самому небу он тянется!—вспомнил он. Не видал Иванов и шмеля, запутавшегося в траве. Потому что видел и помнит он свет прожектора, направленного на заключённого, запутавшегося в еже из колючей проволоки. Дышит тяжело зэк, как зверь, загнанный в угол! А над всем этим светит круглая луна: что будет, уже было в веках…

—Здравствуйте,—скажет он немолодой уборщице, поднимаясь к себе на этаж.

—Ноги надо вытирать,—ответит она, тряпку под ноги ему бросит. Понимает, кому можно—под ноги, мокрую.

—Здоро́во!—это уже на этаже сосед, из пьяни. И смотрит с любопытством, не без превосходства смотрит.

И это, сегодняшнее, он вспомнил в тот вечер. Вот такой он—с несвежим лицом, подкашливающий, делающий четыре шажка туда-сюда, вспоминающий разное. Ходит между кроватью, покрытой старым одеялом,—с одной стороны, и тумбочкой со старым телевизором—с другой. А зовут его Ивановым Марком. Ходит он в сумерках, в пол смотрит, давнее-давнее может вспомнить, как бы со стороны себя увидеть…

Его, маленького Марика, мама привезла к своей маме. Марику было только два годика и сколько-то месяцев, и был он совсем домашним. А там уже гостила его двоюродная сестра Соня. Соня была девочкой большой—ей было три года, и она умела говорить. А Марик—нет, но он уже всё понимал. Они скоро подружились, стали шумно играть в догонялки и смеяться. Бабушка их успокаивала, говорила, чтобы они были осторожны и не упали. «Вава будет»,—говорила и радовалась, что у неё

дом, в котором слышатся детские голоса. Потом случилось так, что Марик перестал играть и стал ходить по комнатам, осматривая их. Сумел даже открыть платяной шкаф.

«Ы?» — с надеждой спросил у бабушки. «Играй, играй, мой хороший, — погладила его бабушка. — Скоро обедать будем. Я вам с Сонечкой приготовила вкусное-вкусное». А он, маленький мальчик, подойдя к входной двери, стал смотреть на неё с надеждой. Дверную ручку потрогал, цепочку на себя потянул. Лицо становилось печальным, потому что его мамы нигде нет. Ещё цепочку тянет, ухо прикладывает к замочной скважине. А там шагов не слышно. И Марик заплакал тихо, горько — как плачут, когда надежды нет. Он плакал, прислонившись к двери и опустив руки, — ему плохо, а сказать об этом он не может…

Марк Иванов остановился, увидев, что ходит он уже босиком по щербатому от выкрошившейся краски полу, освещённый появившейся между рваных туч луной. Большой, круглой. Вечной. И очень холодной.



Михаил Исаковский

# Крутится, вертится шар голубой

**1.**

Лесом, полями — дорогой прямой
Парень идёт на побывку домой.

Ранили парня, да что за беда?
Сердце играет, а кровь молода.

— К свадьбе залечится рана твоя, —
С шуткой его провожали друзья.

Песню поёт он, довольный судьбой:
«Крутится, вертится шар голубой,

Крутится, вертится, хочет упасть…»
Ранили парня, да что за напасть?

Скоро он будет в отцовском дому,
Выйдут родные навстречу ему;

Станет его поджидать у ворот
Та, о которой он песню поёт.

К сердцу её он прильнёт головой…
«Крутится, вертится шар голубой…»

**2.**

Парень подходит. Нигде никого.
Горькое горе встречает его.

Чёрные трубы над снегом торчат,
Чёрные птицы над ними кричат.

Горькое горе, жестокий удел!-
Только скворечник один уцелел.

Только висит над колодцем бадья…
— Где ж ты, родная деревня моя?

Где ж эта улица, где ж этот дом,
Где ж эта девушка, вся в голубом?

Вышла откуда-то старая мать:
— Где же, сыночек, тебя принимать?

Чем же тебя накормить-напоить?
Где же постель для тебя постелить?

Всё поразграбили, хату сожгли,
Настю, невесту, с собой увели…

**3.**

В дымной землянке погас огонёк,
Парень в потёмках на сено прилёг.

Зимняя ночь холодна и длинна.
Надо бы спать, да теперь не до сна.

Дума за думой идут чередой:
— Рано, как видно, пришёл я домой;

Нет мне покоя в родной стороне,
Сердце моё полыхает в огне;

Жжёт мою душу великая боль.
Ты не держи меня здесь, не неволь, —

Эту смертельную муку врагу
Я ни забыть, ни простить не могу…

Из темноты отзывается мать:
— Разве же стану тебя я держать?

Вижу я, чую, что сердце болит.
Делай как знаешь, как совесть велит…

**4.**

Поле да небо. Безоблачный день.
Крепко у парня затянут ремень,

Ловко прилажен походный мешок;
Свежий хрустит под ногами снежок;

Вьётся и тает махорочный дым, —
Парень уходит к друзьям боевым.

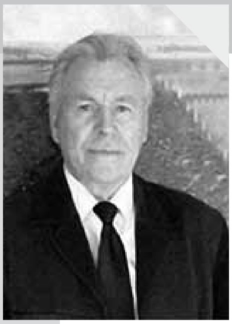
Парень уходит — судьба решена,
Дума одна и дорога одна…

Глянет назад: в серебристой пыли
Только скворечник маячит вдали.

Выйдет на взгорок, посмотрит опять —
Только уже ничего не видать.

Дальше и дальше родные края…
— Настенька, Настенька — песня моя!

Встретимся ль, нет ли мы снова с тобой?
«Крутится, вертится шар голубой…»



Александр Линёв

# Полынья[1]



У Шурки отличное настроение! Ещё бы! Отец, вернувшись с ночной смены, принёс два билета на новогодний праздник в заводском клубе — Шурке и младшему его братишке Мише. Мишка ещё маленький, ему недавно исполнилось три года. На ёлку Шурка его не возьмёт. Конечно, взять бы следовало: ведь это так интересно — настоящая ёлка! Но вот беда — нет у Мишки подходящей одежды. Их семья только недавно вернулась в Лугу из эвакуации, куда уехала под бомбёжкой в июле сорок первого.

Шуркин отец был призван в армию ещё в Луге и провоевал всю войну гранатомётчиком. После ранения снова воевал санитаром под Кёнигсбергом и там изловчился подорвать немецкую бронемашину, прорывавшуюся к своим из окружения и внезапно наскочившую на их полевой госпиталь. За это ему вручили ещё одну медаль «За отвагу» уже здесь, в лужском военкомате.

Шурка, конечно, любит отца, но побаивается и ещё стесняется за него, когда он пьяный всех виноватит, становится особенно «лёгок на руку» и пристаёт к людям со своими малосвязными речами. Многие мужики после войны почему-то сдурели — сильно пьют. Когда отец трезвый, то он хороший и работящий, и хорошо, что он есть у них, у многих друзей Шурки совсем нет отцов.

Жаль, что всё заработанное в периоды трезвости, отец пропивает в дни запоев, поэтому живут они трудно, голодно, но главное — плохо с одеждой. Поэтому Мишке не придётся пойти на ёлку, да и сам Шурка очень стыдится своего вида. Пальтуган, в который он сейчас одет, мама сделала из фуфайки, покрыв её материалом от старого суконного пальто. Это очень неуклюжее и тяжёлое изделие, правда, тёплое. На ногах у Шурки — поношенные кирзовые сапоги на три номера больше, чем нужно, на вырост. Они хлябают на ногах, и Шурка топает как слон, бегая сейчас по обледенелой дороге, идущей рядом с домом по высокому берегу Луги-реки. Он бегает потому, что Мишке, которого он возит за собой на самодельных санках, нравится быстрая езда — он хохочет и подгоняет Шурку.

Санки сделал отец на заводе. Они почти вдвое больше магазинных, зато надёжнее. Для сиденья отец прибил толстую сплошную доску, а сзади соорудил деревянную спинку, к которой Шурка привязывает завёрнутого в толстое ватное одеяло Мишку, чтобы он не свалился во время резких разворотов. А завёрнут Мишка в одеяло всё по той же причине: нет у него верхней одежды и обуви.

Шурка катает Мишку по дороге, что идёт по верху косогора, переходящего у реки в уютный песчаный пляж, где летом всегда бывает полно дачников, приезжающих отдыхать в Лугу из Ленинграда.

В этом году зима выдалась необычная: лёг глубокий снег, но в конце декабря уже неделю днём держится плюсовая температура, иногда накрапывает дождь. И это перед Новым годом! Снег оплыл, местами растаял. На пляже появились жёлтые проплешины песка, а ведь совсем недавно Шурка лихо съезжал здесь на лыжах, обледенелая лыжня ещё видна на косогоре, дальше выходит на пляж, а потом — на реку.

Шурка не представляет своей жизни без реки. Здесь, напротив дома, она неширокая, всего метров сорок. Разогнавшись с косогора на лыжах, Шурка обычно выезжает на лёд и по инерции пересекает реку. На другом берегу он разворачивается и начинает подъём для следующего спуска. В выходные дни здесь всегда народ, но сегодня будний день и пляж пустынен.

Шурка знает реку досконально, каждую ямку, где прячется рыба покрупнее, а на мели, что начинается ниже пляжа, он промышляет налимчиков — колет их вилкой, прикрученной проволокой к палке. Главное в этом деле — аккуратно, без шума поднимать и откладывать в сторону камни. Стоящие под камнями налимы убегают не сразу и становятся добычей Шурки. Прошлым летом он поймал двухкилограммового налима в большом обрезке трубы. То-то друзья зауважали его!

На мели быстрое течение, и река там обычно не замерзает. Вот и в этом году она виднеется под горой узкой чёрной полоской. Полынья своим нижним по течению конусом уходит в самую большую на этом участке реки яму, глубиной метра три-четыре, там летом ловят крупных окуней на живц, или на перемёт, наживляя крючки вьюнами, что водятся в илистом дне у берега. Воду здесь крутит воронками, и мальчишки боятся этого места.

Перед пляжем — сверху по течению река образует большую заводь, на высоком берегу которой стоит чудом уцелевший в войну двухэтажный деревянный «жёлтый дом» — так называют его между собой все мальчишки и взрослые. Сколько людей живёт в этом доме, Шурка так и не может понять! Это настоящий людской муравейник. В крохотных комнатёнках, созданных с помощью ширм

1. Рассказ признан лучшим на литературном конкурсе «Грядущее поколение», который проводит Литературный Фонд Международного союза писателей «Новый современник» при поддержке литературного портала «Что хочет автор» (www.litkonkurs.ru) совместно с журналом «День и ночь».

и перегородок, ютятся большие детные семьи. Дом буквально дрожит днями от топотни ребятишек разного калибра. Здесь проживают товарищи Шурки по уличным мероприятиям и выходам на рыбалку, за грибами, а то и за дровами в лес.

Да, пожалуй, нужно заканчивать с прогулкой, везти Мишку домой и собираться в школу—Шурка ходит во вторую смену. «Ещё разок пробегусь, прокачу Мишку с ветерком!»—решил он. Помчавшись по обледенелой колее, Шурка сильно раскатил санки с хохочущим от удовольствия Мишкой и, чувствуя, что вот-вот санки подобьют его сзади по ногам, увернулся и пустил их вперёд, успев бросить верёвочку так, чтобы она не попала под полозья. Санки с Мишкой понеслись по колее к дому, но вдруг, наехав на кочку одним полозом, слегка вильнули и, вырвавшись из колеи, оказались на косогоре. По инерции они некоторое время ехали как бы вдоль дороги, но постепенно стали забирать круче и круче.

Бухая сапогами, Шурка нёсся наперерез санкам и в тот момент, когда они стали разгоняться, он бросился в отчаянном прыжке, как летом за футбольным мячом в воротах, пытаясь достать убегающие санки. Ему удалось ухватить заднюю стойку полоза, но санки вырвались и, неумолимо наращивая скорость, понеслись по косогору к реке. «Сейчас на переходе косогора в пляж санки прыгнут с небольшого уступа и перевернутся на протаявшем песке пляжа, Мишка обдерёт лицо, может ушибить голову! Тут уж тебе будет порка, да и за дело, лопух ты и недотёпа!»—ругал себя Шурка, а сам всё бежал за санками, неотрывно глядя на них. Санки, действительно, прыгнули на пляж, но, слава богу, не перевернулись, но и не затормозили на песке, как думалось Шурке, а выехали на лёд реки.

«Теперь переедут на ту сторону, остановятся и всё обойдётся»,—облегчённо вздохнул Шурка. Но что это?!

Санки, выскочив на лёд, который из-за спада воды просел и образовал на русле как бы очень пологий жёлоб, стали упорно сворачивать и, достигнув середины реки, неспешно, но легко покатились прямо к чернеющей ниже полынье. Почему-то на ум Шурке пришло частое мамино выражение «Грех силён!».

Ощутив всем своим существом нависшую беду, он бежал всё время наперерез санкам, но расстояние между ними составляло уже метров пятьдесят.

«Может быть, успею догнать?»—с поднимающейся тоской и ужасом подумал Шурка, заметив, что санки стали снижать скорость. Он поднажал.

Уже близко!

«Ну, остановитесь, остановитесь, хоть на самом краешке!»—молил Шурка. Но санки, как будто кто тянул их за ниточку, не остановились, легко, без всплеска они въехали в воду прямо по центру полыньи и поплыли. Подбегая к полынье, Шурка обнадёженно подумал: «Доска у санок толстая, сухая, и одеяло у Мишки ватное—вот почему плывут санки».

Полынья имела форму узкого, почти правильного эллипса, длиной метров сорок, а шириной в центре—метров восемь. Когда Шурка подбежал к её краю, сообразив, что утолщённый от примёрзшего снега лёд удержит его, санки уже проплыли метров десять от начала полыньи к были совсем рядом от него, в трёх-четырёх метрах. Они плыли по течению беззвучно. Мишка молчал, стояла жуткая тишина. Шурка отчаянно соображал, как поймать санки? Ясно одно—нельзя, чтобы они вплыли в дальний конец полыньи, уходящий в яму! Там их закрутит и затащит под лёд.

То ли потому, что Мишка пошевелился, или сильнее намокло одеяло с одной стороны, санки на глазах у Шурки завалились на правую сторону и перевернулись… Всё!

Не раздумывая, Шурка легко пробежал по краю полыньи и бросился в воду. Он бросился плавно, стараясь не окунуться с головой, толстый пальтуган помог ему в этом. Неожиданно быстро Шурка оказался около санок и сразу же перевернул их, вытащив Мишку наверх. Очевидно, от холода у Мишки перехватило дыхание, и он не наглотался воды. Он закашлялся и заорал в своей обычной манере, когда хотел пожаловаться на Шурку. От этого крика Шурке стало как-то спокойнее. Плывя рядом с санками и поддерживая Мишку, он удачно быстро развязал бечёвку, которой Мишка был привязан к спинке санок, и те поплыли дальше, не утонув,—доска их держала. Плывя на боку и приподнимая Мишку, Шурка подплыл к краю полыньи и вытолкнул свёрток на лёд, подумав: «Как хорошо, что отец, закутывая Мишку, туго перевязал одеяло старым длинным кашне». Мишка вопил, но по весу свёртка Шурка определил, что сильно он не промок. Уговаривая Мишку не плакать и лежать спокойно, Шурка соображал: «Как положить братишку? Лицом вверх, пожалуй, нельзя, может захлебнуться от слёз, лучше лицом вниз, благо толстый валик одеяла под подбородком не даст Мишкиному лицу прикасаться ко льду». Шурка всё так и сделал, на всякий случай отодвнув Мишку подальше от воды.

Теперь Шурка немного отдышался. С момента броска в воду он всё делал как бы на одном дыхании, даже не почувствовав холода воды, главное было—вытащить Мишку! Он с благодарностью подумал о своём мощном пальтугане—он здорово поддержал Шурку на плаву, но стал уже намокать. Шурке очень не хотелось, чтобы вода попала ему за воротник, почему-то думалось, что тогда будет намного холоднее. Сильно болтая ногами, Шурка попробовал всплыть как можно горизонтальнее и, опираясь на лёд грудью, выбраться из полыньи. Ничего не получалось! Гладкий, как будто облизанный, лёд не ломался, пальто и сапоги тянули его назад.

После нескольких попыток вылезти Шурка очень устал. Течение настойчиво подбивало его под лёд. Он с тревогой заметил, что его снесло уже на несколько метров от Мишки, который от натуги уже не кричал, а хрипел и кашлял. Впервые страх сжал сердце Шурки. «Дело дрянь, похоже, мне не выбраться»,—уныло подумал он.

Держась пальцами за кромку льда, он осмотрелся. В дальнем конце полыньи он увидел санки,

они зацепились за лёд полозом и поэтому не забились под лёд. Что же делать? Из полыньи Шурка видел дорогу, по которой он только что катал Мишку, но дома видно не было — высокий берег закрывал его. В доме спит отец — собирался лечь после того, как отправил их на прогулку. В соседней комнате их дома-водокачки живут завербованные на торфоразработки девушки из Воронежской и Курской областей, но они тоже могут отдыхать после ночной смены. Хорошие девчата! Шурка любит слушать, как они поют свои песни с особым местным выговором, а одна из них, чернявая, как цыганка, Таня, учит его петь и играть на гитаре песню про царицу Тамару.

Шуркин дом стоит на отшибе. Дальше, вниз по реке, только недавно построенная дача полковника Хализева, но она далеко от берега. Сверху, из жёлтого дома можно бы увидеть Шурку, тем более что рядом с домом под берегом бьёт ключ, куда Шурка ходит почти каждый день за питьевой водой, но время обеденное, вряд ли кто может прийти по воду. Как быть? Может, покричать? И Шурка кричит: «Помогите! На помощь!» — совсем не надеясь, что его услышат, так, на всякий случай. Безнадёжно! Если бы кто случайно проходил по дороге… «Грех силён». Никого!

От крика Шурка только устал и ещё больше испугался. «Нет, кричать просто так — бесполезно, нужно беречь силы», — решает он. «До жёлтого дома метров триста. На улице тишина. Если бы кто вышел в сторону реки, тогда бы хорошенько покричать — должны услышать», — думает Шурка. А сам замечает, что всё слабее подгребает одной рукой, чтобы удержаться на месте, и его неотвратимо сдвигает туда, в конец полыньи, откуда возврата не будет.

Не выбраться… Шурка с тоской размышляет: «Если я утону, то и Мишка пропадёт, замёрзнет». Пока отец проснётся, будет искать, пропадёт Мишка, и пропадёт по его, Шуркиной, вине! Шурка беззвучно плачет, ему жалко Мишку, маму и немножко жаль себя…

Пальцы руки, которой он держится за лёд, мёрзнут значительно сильнее, поэтому Шурка время от времени меняет руки, отогревая пальцы в воде. «Нет! Всё-таки одна надежда на жёлтый дом!» — приходит он к окончательному решению. Нужно держаться, ждать! И вдруг, как молния, Шурку пронзает догадка! Славка! Славка должен сейчас пойти в школу! Он учится в другой школе, в центре города, но ходит, как и Шурка, во вторую смену. Он должен выйти из жёлтого дома вон на то боковое крыльцо и должен, ну просто обязан, посмотреть на реку, в сторону Шуркиного дома, не идёт ли Шурка в школу тоже, иногда они пересвистываются, кто сильнее, Вот она, надежда! Нужно только дотерпеть, не задеревенеть окончательно от холода, не поддаться тёмной воде, равнодушно струящейся под лёд.

«Сколько ещё могу продержаться? — соображает Шурка. — До того, страшного, конца полыньи осталось метров десять, вот как раз десять минут у меня ещё есть. Тут всё и решится». Шурка отяжелел, висит в воде, держась за лёд двумя руками. В этом месте небольшая заводинка, в которой летом растут жёлтые лилии-кубышки, и течение здесь послабее. Он уже не обращает внимания на воду, просачивающуюся за воротник пальто. Внезапно его охватывает жуткий страх! Он понимает, что в таком положении, когда видна одна голова и вода обжимает грудь, ему не крикнуть как надо! Шурка пробует покричать и убеждается в правильности своей догадки. «Всё пропало! Славка может не заметить — далековато. И сил, чтобы поднять плечи из воды, у него нет. «Грех силён!» — угрюмо звучит в голове Шурки… Нужно, пока не поздно, что-то сделать. Но что, что?

— Думай, Шурка, делай что-нибудь, ведь погибаешь! Вот, если бы встать на твёрдом, упереться, тогда я бы крикнул. Ведь у меня хороший голос, все говорят, я бы крикнул!

— Постой! Ниже ямки, где я сейчас плаваю, перед большой ямой есть каменная грядушка, летом я дохожу по ней вброд почти до середины реки. Сейчас там не должно быть глубже, лёд осел, потому что вода упала… Правда, за этой грядой дно круто уходит в ямину и это совсем рядом со зловещим краем полыньи, но это единственная возможность встать и крикнуть и спастись!

«Страшно! — думает Шурка. — Только бы не промазать… Но я ведь прекрасно знаю это место, я даже знаю, где там камни покрупнее, — убеждает себя он. — Ну, скорее, иначе будет поздно!»

Шурка отцепляет скрюченные пальцы ото льда и, загребая по-собачьи, сплывает по течению, стоя почти вертикально в воде, надеясь, что где-то тут он коснётся дна… Точно! Есть! Нога коснулась большого камня на дне, коснулась только чуть-чуть, но с Шурки как будто свалилась огромная тяжесть.

«Ещё метра два, и будет мельче, как раз до подмышек, там я и встану!» Встал! Стою! Вот и санки совсем близко, можно бы вытащить, да опасно…

«Ну, Шурка, готовься, — настраивает он себя. — Славка обязательно должен появиться. Только бы что-нибудь его не отвлекло, мало ли что…»

«Славка! Слава, ну давай же, выходи поскорей, мне уже тошно…»

Шурка неотрывно глядит на Славкино крыльцо, ног своих он почти не ощущает, вылезти самостоятельно на лёд он уже, наверно, не сможет. «Если бы помельче было, вылез бы» — равнодушно думает Шурка.

Стоп! Вот он, Славка! Наконец-то!

Шурка всё видит, как в замедленном кино: Славка выходит на крыльцо со своей офицерской полевой сумкой на ремне. Он стоит боком к Шурке, но Шурка знает: сейчас он повернётся и посмотрит на реку. Ну должен нормальный пацан посмотреть на реку! Повернул голову! Смотрит!

Ну, давай, Шурка, ты дождался своей главной минутки. Кричи, Шурка! Кричи за себя и за Мишку, что-то он подозрительно притих. Кричи, чтобы услышали!

И Шурка закричал: «Сла-ва-а-а-а-а!» И просто: «А-а-а-а-а!» Он кричал, закрыв глаза, собрав в этот длинный крик-вой последние силы своего измученного холодом и страхом тела. Открыв

глаза, Шурка сразу сообразил, что Славка его заметил! Тогда он снова закричал и даже замахал своим мокрым треухом.

Всё! Славка понял, в чём дело!

Шурка следит, как Славка бросился бежать от жёлтого дома прямо по берегу, но, добежав до родника, оставил сумку и сообразил, что легче бежать по тропке, которая обходит обледенелый косогор и тянется к Шуркиному дому. Шурка видит, как он уже выбегает на дорогу, скрывается за выступом берега — сейчас он будет дома…

Но почему всё так медленно?! Нет мочи ждать!

Шурку колотит изнуряющая дрожь, мысли в голове ворочаются медленно, скорей бы уж…

Внезапно на крутом берегу появляется отец. Он босой, в исподнем белье и, главное, с кочергой в руке. Шурка вяло думает: «Ну вот, достукался ты, Шурка, будет тебе баня, и поделом, скорей бы, совсем загибаюсь».

Отец, оценив ситуацию, бросается сначала к Мишке, подползает по льду и, зацепив кочергой за одеяло, подтягивает свёрток с Мишкой к себе, а потом ещё дальше, к берегу. Там Мишку подхватывают прибежавшие с простынями и одеялом полуодетые девушки-торфоразработчицы и несут наверх к дому»

Теперь отец подползает к Шурке и протягивает ему кочергу. Шурка цепляется почерневшими руками, но он так намок и отяжелел, что сам начинает стягивать отца в полынью. Тогда отец кричит ему, чтобы он положил руки на лёд, подползает ближе и крюком кочерги подцепляет его подмышку. Понемногу Шурка наползает на лёд и выбирается из воды. Отец тащит его, как тяжёлый мешок, к берегу, сбрасывает невероятно тяжёлый намокший пальтуган и, завернув в простыню, взваливает кулём на плечо и наискось по склону несёт к дому.

Последнее, что помнит Шурка, это тепло избы и голого Мишку, лежащего на койке. Две девушки растирают его водкой, а он, ябеда, рассказывает им, как Шурка прокатил его в воду.

Проснулся Шурка вечером. Хлопнула дверь, мать пришла с работы. Горела лампа, в комнате было очень жарко. Шурка лежал под грузом наваленного на него барахла, чувствовал он себя легко, даже голова не болела. Приятное тепло ровно наполняло его тело.

Шурка, не шевелясь, тихонько слушал, как отец рассказывает матери: «Шурка-то сегодня чуть и себя, и Мишку не утопил». Мать ойкнула и подошла сначала к спящему Мишке, потом к Шурке. Она приподняла с его головы одеяло и губами прикоснулась ко лбу. «Проверяет температуру, — догадался Шурка. — Она меня никогда не бьёт, а вот с отцом тяжёлого разговора не избежать. Ну и ладно! Конечно, провинился я здорово, но всё обошлось, повезло. Утонуть в любимой реке — это было бы несправедливо…»

«Завтра пойду на ёлку, принесу Мишке подарок — за это он меня сразу простит — сильно любит сладкое! А мой подарок мы съедим со Славкой. Хороший он парень!» — решает Шурка и снова легко засыпает.

# Венок Шопену

*200 лет со дня рождения композитора*

Афанасий Фет

## Шопену

Ты мелькнула, ты предстала,
Снова сердце задрожало,
Под чарующие звуки
То же счастье, те же муки,
Слышу трепетные руки —
Ты ещё со мной!

Час блаженный, час печальный,
Час последний, час прощальный,
Те же лёгкие одежды,
Ты стоишь, склоняя вежды, —
И не нужно мне надежды:
Этот час — он мой!

Ты руки моей коснулась,
Разом сердце встрепенулось;
Не туда, в то горе злое,
Я несусь в моё былое, —
Я на всё, на всё иное
Отпылал, потух!

Ульяна Лазаревская

Обвитая ветрами ледяными,
Апрельских переулков пустота —
Пугающе пространна и тверда
И кашляет октавами больными…

Мы можем быть родными и чужими —
Сейчас — и никогда — и навсегда…
Так клавиши при лёгоньком нажиме
Срывают бури с нотного листа,

Чуть видимого на рояльном лаке…
Душа томилась в лоскутке бумаге,
Пока её на свет не извлекли —

И вот она смелеет постепенно,
И белые созвездия Шопена
Восходят в небо чёрное с земли…

Виктор Власов

# Дорога в школу



Ежегодно сотни молодых специалистов выпускаются из российских вузов. И только небольшая доля выпускников устраивается по специальности. Остальным же приходится переучиваться, менять сферу деятельности. Приобретённые знания забываются, выветриваются из головы, точно минералы из почвы, исчезают, как сон под утро, будто никогда не получал их, никогда не слышал и не читал лекции преподавателей.

Без тренировки полученные навыки пропадают, точно их кто-то отнял. Что делать, чтобы не забыть то, чему учили много лет? Тренировать память, прочитывая старые лекции да листать учебники? Нет. Отправиться на нелёгкие поиски работы по профессии да наконец найти. Что я и сделал.

Окончив филологический факультет английско-немецкого отделения, я, как всякий молодой специалист, амбициозный и шибко умудрённый опытом, вынашивал честолюбивые мечты получить престижную работу переводчика или минимум — менеджера со знанием языков. Открыл газету «Хочу работать», а там — ни одной вакансии ни переводчика, ни менеджера. Ничего, зато множество свободных мест: «Интересная работа», «Торговый представитель», «Помощник директора» с окладом в 15–18 тысяч рублей, с возможностью уехать за границу. Как здорово-то!

Так я три раза посетил собеседование в разных местах города и всегда идеально подходил для дела. После полутора месяцев поиска я, отчаявшийся и растерянный, словно актёр перед выходом на сцену впервые, купил в который раз газету вакансий.

Увидев объявление о приёме на работу специалистов, знающих английский язык, невероятно обрадовался. Подпрыгнул от счастья, едва не стукнувшись головой о низкий потолок. Надел костюм, в котором защищал дипломную работу «Цезарианство и наполеонизм в пьесах Б. Шоу», белую рубашку, золотистые запонки, галстук, надушился недешёвым одеколоном.

Из двери офиса вышел молодой человек с опущенной головой.

— Не взяли, что ли? — подумал я. — Куда вообще пришёл? Английский явно не для него!

Мой перевод без подготовки с листа их, конечно, устроил, и работодатель пообещал взять меня, если не найдёт никого лучше. Звонка по телефону я ждал целую неделю, подумывал, не позвонить ли самому, вдруг забыли, всякое бывает. Не позвонили, не дождался. В свежей газете «Хочу работать» не нашёл эту вакансию. Взяли уже кого-то! «Чтоб их!» — рассердился я.

Сидеть без работы — трудное испытание, ощущаешь себя ненужным, заброшенным, точно барахло. Становится тоскливо, грустно. Мой отец подбадривает:

— Без работы-то ладно, можно сидеть, а вот без денег!..

Мои знакомые и друзья давно отучились в техникумах, колледжах да училищах и работали. Вот если бы я не отдал институту пять лет, то сейчас бы тоже зарабатывал и не чувствовал себя угнетённо. Кажется, что время испортилось и куда-то неумолимо бестолково бежит, обходя тебя стороной, и в его сито жизни вместе с водой уходит и золотая крошка. Я не подвержен депрессиям, но было неприятно. Ждал выходных, чтобы встретиться с друзьями и как-то нескучно провести время. Я уставал не от работы, а от скуки. Как можно поистине оценить прохладную воду в жаркий день, так — ощутить блаженство пусть и небольшого отдыха после работы. Я мечтал об этом.

На помощь пришла мама. Обзвонив школы двух округов, нашла несколько вакансий. Требовался учитель английского языка. Вместе с ней я пошёл на собеседование в первую по списку. Семьдесят седьмую. Учитель английского языка! Что может быть проще, подумал я. Ладно, поработаю преподавателем, деваться пока ведь некуда. К тому же в октябре грозит повторная медкомиссия, могут в армию забрать, а в школе хоть письмо напишут военкому, и тот, глядишь, даст отсрочку.

Как только мы пришли в приёмную директора, секретарь сразу спросила у моей мамы, в какой класс пришли записывать сыночка. Ни у меня, ни у мамы несколько секунд не нашлось слов, чтобы ответить.

— Нет, мы устраиваться на работу, — иронично улыбнувшись, ответила мама.

В кабинете сидела за компьютером директор, а за большим длинным столом — завуч.

Собеседование прошло успешно, но их останавливала моя воинская обязанность.

— Хорошо, — кивнула Елена Леонидовна (директор). — Возьмём парня.

Показалось, что выбора-то особо не находилось, они в любом случае взяли бы меня даже из-за того, что я — просто нормальный парень.

Дома отец любя посмеивался: мол ещё один учитель.

— Бабка — учитель, мамка — учитель и сын туда же! Мне некуда будет деться от учителей, заучат ведь!

Я нетерпеливо ждал дня, когда начну работать. Дождался. Половину августа я проработал на пришкольном участке с детьми. Подстригал кустарники, научился косить траву, подметал, застилал крышу рубероидом. Впервые меня называли по имени-отчеству. Признаться, когда я только услышал своё имя-отчество, то стало неловко — привык к простому обращению: Витюша, Витя, Витёк или Витька! Виктор, наконец! А тут:

— Виктор Витальевич, что нам делать?

— Что-что? — я сначала даже не понял, к кому обращались. — А-а, сейчас спросим у Натальи Александровны.

Виктор Витальевич — как здорово, оказывается, звучало моё имя отчество.

Первая учительница, с которой я познакомился, — Наталья Александровна. Она руководила детьми и проверяла работу. В девять утра она — несколько сонная, хмурая и молчаливая, а после девяти, когда подходили дети — оживлялась, в голосе появлялась строгость, взгляд прояснялся, движения становились уверенными. В общем, в ней будто просыпался другой человек. Общаясь с ней, понял: работа учителя для неё являлась призванием, жизнью, а не просто способом добывания денег. Рассказала мне смешной анекдот про учителя, который не любил детей. Я заметно повеселел, а она, чуть улыбнувшись, встала повыше на ступеньку школьного крыльца и тоскливо посмотрела на опаздывающих ребят. Наталья Александровна — человек, который постоянно стремится к общению и не выносит одиночества.

Рядом важно прошла темноволосая женщина с гордо поднятой головой, учтиво поздоровалась с нами.

— Кто она? — спросил я, проводив её любопытным взглядом.

— Галина Николаевна, заслуженный учитель России, один такой в школе, — тихо сказала Наталья Александровна. — Очень опытный и грамотный педагог!

По мере приближения сентября школа наполнялась учителями. На первый взгляд, они хаотично перемещались из кабинета в кабинет. Энергично шагая по коридору, они, уйдя в свои мысли, глядели строго перед собой. Их озадаченные лица немного смущали меня. Нельзя ведь всё время носить серьёзную маску — им это удавалось. Нет, я не ходил растерянный, но казалось, что один я неважный в школе человек и делать мне нечего.

С учителями — сложно, а как будет с детьми? Сначала ребята присматривались, молчали в моём присутствии, но, к счастью, с ними быстро нашёл общий язык. За работой, отдыхом или баловством, они оживлённо обсуждали компьютерные игры, новые фильмы и мультики.

— Ребята, играли в Devil May Cry (очень модный слешер) и в?.. — Я перечислил множество новых и крутых игр. — «Трансформеры-2» успели посмотреть в «Атриуме» или скачали из Торрента (крупнейший российский файл-обменник)?.. — Умело выдав в себе продвинутого игро- и киномана, сразу заслужил их интерес. — По on-line рубились в «вов'ку», «Линейку» или в «Рагнарёк». А в «Контру» вынесу кого угодно с одного выстрела со «Слонобоя»!

— Ничего себе, Виктор Витальевич! — их ошеломлённые взгляды устремились на меня. Я почувствовал себя героем, покорившим детские сердца. Дети заработали охотней: кто энергичней застриг секаторами, кто зашуршал метлой.

Из школы вышла Галина Николаевна. В её глазах — ужас.

— Поймалась мышь, приклеилась на стекло! — проговорила она, замирая. — Она третий день грызла методички в кабинете. Мне нужен ваш мужчина, Наталья Александровна.

— Конечно, поделюсь, — кивнула она.

Под тумбочкой над доской действительно шевелилась приклеившаяся маленькая мышка. Когда я поднял стекло, мышка запищала. Галина Николаевна закричала, убежав едва ли не в конец класса:

— Очень боюсь мышей!

Бедная мышь могла только шевелить головой и кончиками розовых лапок.

— Стекло можно оставить? — спросила Галина Николаевна.

— Посмотрим…

Я взял салфетку и попробовал отсоединить мышь. Она поддалась, запищав громче. Галина Николаевна, задёргав руками, закричала:

— Не надо стекло, ну его к богу! На полке возьмите пакет.

Стекло с мышкой угодило в пакет. Я вышел за школу к мусорному бачку. Мышь мне было жаль. Вывалив стекло на траву, нашёл крепкую палочку и аккуратно отслоил серое создание. Шерсть с левого бока осталась на стекле, появилась проплешина. Перестав пищать, она, словно калека, побежала по траве, спотыкалась и падала. Интуиция подсказала, что мышка выживет, и на душе стало хорошо.

— Живи, мышонок, да не ешь методички в кабинете, а то отравишься!

Каждый день к десяти приходил согбенный человек в сером кителе, в толстых очках, с мешком яблок. Он заходил в каждый открытый кабинет и делился яблоками. Учителей ласково называл девочками и обращался только по имени.

— Маринку не видел? — спросил у меня, встретив на пути. — Отправил её за замком для дверей, уже много времени нет.

— Нет, — отрицательно закивал я, глядя в его худое лицо и невольно замечая трясущиеся руки. — Она кто?

— Что? Громче говори.

Я покачал головой.

— Как увидишь, скажи, что я искал. Держи яблоки, только помой.

Я набил карманы яблоками, пожал его грубую тёплую руку.

Расспрашивая о нём у детей-пятиклассников, узнал, что он — бывший трудовик, который ходит по школе, разговаривает с учителями и делится яблоками и другими фруктами с дачи. Одни говорили, что ему восемьдесят лет, вторые — шестьдесят, третьи — семьдесят. Но никто, даже Наталья Александровна, не знал, сколько лет наверняка.

Оказалось: Владимир Семёнович—работник по зданию и весьма значимое лицо в школе. Несколько дней мне посчастливилось поработать с этим человеком, мастером на все руки.

— Убираться на крыше, в подвале, достелить протекающую крышу,—отправила нас завхоз на важное задание.

— Не моя функция,—недовольно ответил Владимир Семёнович.—Вы договор со мной не заключали, чтоб я на крышу лез и стелил рубероид. Кровельное дело больших денег стоит. Я не кровельщик, а работник по зданию.

Снова лезть на крышу всё-таки пришлось. Раскатывая со мной рубероид, стирая со лба пот сгибом руки в локте, Владимир Семёнович жаловался на пораненный палец.

— Болит уже три дня,—посетовал он.—Лестницу снимал в мастерской, она упала и по пальцу как саданёт! Видишь, вон бинты отстают…—Владимир Семёнович покрутил забинтованным пальцем у меня перед носом.—В школе средств нет, поэтому приходится много разной работы выполнять. Как-то заставили меня на валиках шкурку заменить. Прежние валики испачкались в краске, а новые покупать—кому захочется? Экономить надо. Так я уделался в краске. Потом сколько я им своих плоскогубцев давал—не вернули ведь половину. В прошлом году выделили средства на оборудование кабинетов. В зал физкультуры купили мячи, в информатику—интрактивную…

— Интерактивную доску.

— Не знаю, а мне… про мастерскую забыли.

Стоило у Семёновича спросить: мол, как его жизнь, чем живёт, о чём думает—он продолжал жаловаться, бубнить, сердиться непонятно на что и на кого.

— Как тебя зовут?—спросил он, когда закончили работать.

— Витя,—улыбнулся я.

— Ага.

Я называл его Вова или Семёныч, он меня—Витя.

Когда не находилось работы по школе, я помогал Семёнычу в мастерской и поражался, с какой ловкостью и молодецкой удалью тот работал на станках, распиливал большие бруски, менял стёкла и не отдыхал между сменой вида работы.

Кто бы мог подумать, что школа без детей очень отличалась от школы с детьми. Когда дети разных классов оккупировали коридоры и кабинеты, меня охватила необъяснимая паника. Я затаился в своём кабинете и ждал. Звонок прозвенел, пятиклассники зашли в класс, встали и внимательно смотрели на меня. Я сначала опешил, не понял, чего ждут, может что-то случилось или я как-то выглядел неподобающе. Волосы, может, дыбом или что другое. Проверил—нормально всё. Внезапно посетило озарение: обычно учитель говорит в таком случае:

— Sit down.

Они сели и снова выжидающе воззрились на меня. Ужас, они что всегда будут чего-то от меня ждать?

— Где план?—мысли роились у меня в голове, точно растревоженные пчёлы. Придерживая рукой общую тетрадку для опоры, решил поделиться с ребятами своим жизненным опытом. Глубоко вздохнув, рассказал, зачем требовалось изучать английский язык, и восторженно описал, как здорово путешествовать по Америке и Англии, зная язык. Я говорил с вдохновением, с улыбкой,—мои впечатления об Америке (по программе обмена студентами я работал в США 4 месяца) двухлетней давности всегда жили в сердце.

Одни слушали меня с интересом, а вторые—нет, разговаривали, вертелись, пускали самолётики, кидались бумажками, пересаживались с места на место, казалось, проверяли, насколько я строгий преподаватель.

Наконец не то что одним детям меня не стало слышно, а я перестал слышать сам себя. И тогда не выдержал, крикнул:

— Ну-ка успокоились, сейчас заберу дневники!

В классе воцарилась тишина, лишь редкие шепотки её нарушали. Находились те, которые будто не замечали меня. Сколько бы ни ругался, ни забирал дневник, который часто не допросишься, хоть бери сам ройся в портфеле, им—всё равно, в них точно бес вселился.

А что делалось в элективных классах? Единственное увлечение у них—футбол. После элективов в классе—полно бумажек, фантиков от конфет, от чупа-чупсов, раздавленных чипсов и кириешек, кожуры от семечек, изрисованы парты, измазаны штрихом стулья и некоторые ученики. Оттуда я уходил охрипший и словно опустошённый. Кое-кто даже умудрялся имитировать меня в коридоре. С важным видом проходили возле меня, а потом прыскали со смеха. Кошмар! Неблагодарная работа, за вредность детей, наверное, доплачивают?!

Как-то я рассерчал на электив и наговорил детям кучу неприятных слов, заставил выбросить в урну чупа-чупсы, пачки с чипсами и кириешками, намерился поразбивать сотовые телефоны, которые, по их словам, сломанные и музыка играет, когда ей хочется, превратился в жандарма. С того дня они вели себя получше, по крайней мере, не хрустели, не шуршали, не пользовались телефонами.

Не всё было плохо, дети ведь разные. В некоторых я видел себя, полного энтузиазма, желания выделиться, знать больше других, владеть интересными выражениями. Работать с ними приятно, и настроение после урока хорошее, и желание быть учителем не отпадает.

Первое совещание в моей жизни. В большом классе информатики места были заняты учителями, разными по возрасту, комплекции. Стало не по себе, я чувствовал себя будто не в своём котле. Но ничего, когда ко мне обращались, то всегда с улыбкой, учителя видели во мне коллегу, завучи разговаривали уважительно, даже сознательно делали голос тихим, осторожным дабы не спугнуть молодого специалиста. Катерина Геннадиевна, завуч по УВР, пышная женщина с тёмно-красными волосами, строгим видом, но добрыми глазами. Когда я заходил в учительскую, она встречала словами:

— Здравствуй, дорогой.

Или:
— Привет, Витюша, как дети?

Мама тоже называет меня Витюшей.

Виктория Владимировна, завуч по вр. С удовольствием отметил, что она — высокая и стройная, с миловидным выразительным лицом и губами тонкими, алыми. Она эффектная блондинка с позолоченной чёлкой. Голос — звонкий, точно колокольчик. Признаться, она сразу вызывает симпатию и желание общаться.

Марина Ивановна, методист, лидер объединения учителей английского, норовила подшутить надо мной, показать, насколько я юн да неопытен. Но делала это с шармом, без недоброго умысла.
— Купил методичку, — похвастал я. — Теперь легче пойдёт!
— Методичка есть — думаешь, умный?.. — вскинув голову, рассмеялась Марина Ивановна. Глаза у неё чёрные, блестящие, а взгляд — испытующий.

Привыкнув, не обращал внимания, она — всегда рада помочь и подсказать, стоило прийти к ней.

Совещание закончилось, учителя по очереди приходили к директору и получали нагрузку. Оказалось, что я счастливый обладатель тридцати двух часов. В общем, как сказала Екатерина Геннадьевна, — богатый человек.

В эпицентре вихря, насыщенной школьной жизни, я испытывал противоречивые чувства: и радость, и страх, и счастье.

Зарплата что? Ничто! Работа и опыт — всё! Так я успокоил себя, когда увидел цифры в корешке на зарплату. Хотя надо подумать, как объяснить друзьям эти малые цифры. Юмор на что? Долой тоскливые мысли!

Третьего октября отмечали День учителя: выехали за город, подышали свежим воздухом. Учителя — весёлые люди! Это ещё один плюс в моей работе! Добрые поздравления со стороны коллег, учеников в День учителя — тоже приятно! Оказывается, сколько скрытых плюсов. А самое главное — чувствовать нужность и полезность. Каждый день, направляясь на работу, чувствовать, что можешь приоткрыть маленькую форточку в огромный мир знаний для пытливых, любопытных ребят. Именно так я понимаю свою миссию на данный момент.

# Венок Шопену

*200 лет*
*со дня рождения композитора*

Виктор Боков

## Сердце Шопена

Сердце Шопена в костёле Святого Креста.
Тесно ему в замурованной каменной урне.
Встал бы владелец его, и немедля с листа
В мир полетели бы вальсы, этюды, ноктюрны.

Сердце Шопена в фашистские, чёрные дни
Чёрным погромщикам и палачам не досталось.
Около предков и около близкой родни
Сердце Шопена с корнями деревьев срасталось.

Как ты не лопнуло, сердце Шопена? Ответь!
Как твой народ уцелел в этой схватке неравной?
Вместе с Варшавой родной ты могло бы сгореть,
Остановили б тебя огнестрельные раны!

Ты уцелело!
Ты бьёшься в груди варшавян,
В траурном марше
И в трепетном пламени воска.
Сердце Шопена — ты воин, герой, ветеран.
Сердце Шопена — ты музыки польское войско.

Сердце Шопена, тебе я усердно молюсь
Возле свечей, отдающих пыланию тело.
Если позволишь, я всей своей кровью вольюсь,
Донором буду твоим, —
Только ты продолжай своё дело!

Василий Фёдоров

## Руки Шопена

Чуткие руки,
Бывало, взлетят,
Вскинутся с лёгкостью птичьей, —
Мнится, два кречета рядом парят
Над присмиревшей добычей.

Миг —
И на клавиши,
Точно на луг,
Мчится за кречетом кречет…
Миг —
И стремительно пойманный звук
Плачет в тоске
И трепещет…

Так ему жить
И терзаться в веках.
Это в мучениях плена
Сетует горько
В его же руках
Скорбное сердце Шопена.

# Синяя тетрадь

**Красноярский литературный лицей**
Мастерская И.А. Москвиной

*«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».*
*Ахматова*

## Страшно… в полночь…

*(Былички пятиклассников)*



Лиза Турова

### Пропавшие лапти

Давно это было… Дед мой ещё маленький был… Поговаривали в те времена, будто есть в наших краях (а было это в деревне «Нижние сростки») лапотник… Люди толком-то и не знали, что за лапотник это такой, но однажды…

Как-то под осень приехал в наши края жилец новый—Фёдор Иванович Уткин. Был этот Уткин ни богат, ни беден, ни румян, ни бледен, был мужик да мужик, как и все мужики. Но была у этого мужика лавка. С виду лавка и лавка, но старая, дряхлая, вся обветшалая, вот-вот обвалится. Уткин стал в лавке торговать лаптями. Только вот продажа никак у него не клеилась (боялись люди в лавку заходить, больно страшненькая была). А Уткин сидит каждый день в лавке, всё ждёт—может, кто за лаптями заявится.

Как-то раз Уткин сидел в своей лавке, дверь как всегда поскрипывала в сторонке… И вдруг зазвенел входной колокольчик—и дверь отворилась. На пороге лавки стоял человек невысокого роста, в соломенной шляпе да в лаптях оборванных.

—Что, добрый человек, тебе надобно?—спросил Уткин.

—А лавка-то хороша… Лавчонка-то хороша!

—Вы по делу али как?

—Продай мне лавку!

—Это как же?..—растерялся Уткин.

—Зачем она тебе? Спросу в ней совсем нет!

—Не могу продать лавку, не могу!

—Не можешь иль не хочешь?

—Не могу!

Сказал так мужик, а потом ушёл в кухню и исчез, будто его и в помине не бывало. А гость его поворчал немного, нашептал себе что-то под нос и ушёл… А лавчонка и обвалилась!

И стали люди в той деревне исчезать, да не только люди, а всё больше лапти. Вся обувь из деревни будто сама ушла. С тех пор все деревенские босиком ходят, а лапотник лаптями давится!

Алёна Аксютенкова

### Тука и Водяной

Жил не очень давно такой Тука. Жил он в лиственном шалашике, построенном когда-то дедом Антипом. Добрый Тука очень любил кушать ягоды. Особенно клюкву.

Вот пошёл он раз на болото покушать. Взял ягодку—съел, взял другую, положил в ротик—тоже начал жевать… Вот доел—и лапкой за третьей ягодкой потянулся… А тут его—раз!—и ударил кто-то, не дал ягодку взять. Тука не понял сначала, кто это был. И снова потянулся за ягодкой, а тут его—раз!—и опять кто-то сильно ударил, на этот раз палкой по лапке. Тука думает: «Кто это меня ударяет всё время? Неужели водяной?» Задумался Тука… А ему на плечо кто-то руку положил… Обернулся Тука, глядит… видит: водяной стоит! И прямо в глаза ему смотрит! И как забулькает, как зарычит: «Ты что мои ягоды воруешь?»

Юля Макринова

### Русалочье озеро

Сказывали часто у нас в хате вечерами сказки, небылицы всякие, но одну я хорошо запомнил. Рассказать я вам хочу её.

Значит, было так… В селе …ом однажды пропала девушка, Марьей звали. В Святки пошла она в лес—и как в воду канула. Долго её искали, родители уж целое озеро слёз выплакали, но вот один маленький мальчик, лет десять ему было отроду, заприметил в самой чаще леса озеро. Пришли туда люди, стали девушку кликать-искать. До позднего вечера там пробыли и решили в лесу заночевать. Тихо-тихо ночью было, безветренно, только вода колыхалась под луной…

А наутро пропал мальчик, который это озеро нашёл. Искали его, искали—не нашли. Горько плакали его родители, да всё без толку. Люди домой пошли, а одна девушка решила воды с собой из озера набрать, потому как от деревни до ближайшей чистой речушки восемь вёрст. Подходит она к воде, а там что-то плавает. Большое такое, и не вытащишь. Позвала она охотников помочь. Вытащили, а это тот самый мальчик пропавший! Поискали ещё в озере, нашли и Марью. Удивились охотники, а девушка им и предлагает, чтобы они с ней этой ночью у озера постеречь остались—найти того, кто людей топит.

Ночь наступила. Охотники уж давно заснули, одна девушка (её, кстати, Авдотьей звали) сидит. И вдруг видит: из воды двое выходят, бледные такие, а у берега сидят русалки с серебристыми хвостами и тем двоим что-то нашёптывают. Пригляделась к ним Авдотья—батюшки! Это же пропавшие мальчик и девочка! Испугалась Авдотья, а потом ещё сильнее—утопленники-то прямо к ней идут! Авдотья убегает, а ног не чувствует, будто держит кто-то. А утопленники тянут к ней свои длинные пальцы…

Вдруг обожгло её ледяным холодом, только через минуту она поняла, что в воде очутилась. Но было уже поздно.

Узнали люди об этом от охотников. Пожалели они бедную девушку, но сделать уже ничего не могли — на дно утащили её русалки. А озеро с тех пор стало зваться Русалочьим.

Дима Кожемякин

## Силы небесные!

Пошли Сева с Матвеем на берег реки. Страшно идти к реке в полночь.

Вдруг забурлила вода, обрызгала Севу. Матвей увидел руку зелёную, оглянулся: а Севы нет, исчез бесследно. Испугался Матвей, побежал в деревню, впопыхах налетел на кузнеца Ивана. Рассказал ему всё, как было.

Позвал кузнец Фёдора-писаря, и пошли они втроём. Как дошли до реки — повалил от неё пар, и послышался голос:

— Не верну я вам человека и вас утащу.

Прыгнул водяной на Ивана, и стали они бороться. Фёдор увидел Севу в воде, нырнул за ним, но опутали его водоросли, и не может помочь он другу.

Видит Матвей — дело плохо. Вскричал он:

— Силы небесные, помогите нам!

Внезапно ударила молния в дерево — и оно упало прямо на водяного! Говорит он:

— Отдам я вам Севу, лишь освободите меня.

Тут водоросли исчезли, и Фёдор вытащил Севу из воды. Поднял кузнец дерево, и водяной уплыл.

Эмили Уитман

## Тайна тёмного подъезда

Есть у нас в подъезде этаж — тёмный, без лампы. Раз шли мы вечером с младшим братом через этот этаж — вдруг как что-то зашумит, закричит! Говорю я Павлушке, значит:

— Это Муфла-Муфла, надоело ему сидеть одному, пошёл людей пугать.

Брат испугался да вовсю припустил к нам, на светлый этаж. А я только посмеивалась.

На следующее утро приходит Павел ко мне в комнату и говорит:

— Слушай, сестра, я всю ночь не спал — боялся. Вдруг слышу: люди смеются, да с их смехом ещё чей-то — не звериный и не человеческий… Кто ж это мог быть?

— Это Муфла-Муфла развлекался, надоело ему людей пугать, захотелось и повеселиться.

Долго боялся мой брат Муфлы-Муфлы, да не мог понять — добрый он или злой.

Наконец: рассказала ему мать, что я пошутила над ним.

Настя Буланова

## Дедушка Еремей и Иванька

Случилось это давно. Жил у меня соседушка — Еремей. Беднёхонек он был. Дом у него был ветхий, старый, как и сам хозяин. Еремей часто ходил хмурый, угрюмый, казалось, он что-то от всех скрывал в своей бедной избе. Но стар был Еремей — и скоро умер. А его изба так и осталась стоять… Войти в неё боишься: вдруг доска сломается и упадёшь в глубокую пропасть.

Много страшных легенд слагалось об этом доме. А деревенские мальчишки были очень любопытны и решили всё-таки пойти туда.

Только вошли они — дверь сразу захлопнулась. А дело было под вечер.

— Ой, мне страшно! — залепетал самый маленький, Иванька.

— Ты струсил? — спросили его мальчики.

Но Иванька не хотел быть трусом и пошёл дальше…

Вдруг загрохотала земля, изба зашаталась… Мальчишки испугались и убежали. А Иванька от страха сжался под столом и не заметил их исчезновения. Вдруг возник перед ним дедушка Еремей. Он был страшный, и сквозь него зловеще сверкала полная луна. И тут Иванька заметил, что у него нет тени!

Еремей закричал:

— Отдай, Иванька, сушку, которую ты у меня украл!

Иванька так испугался, что ещё плотнее сжался в клубок…

Бесследно исчез Иванька. Никто о нём больше не знал ничего. Только старая травница утверждала, что видела Иваньку, бледного-бледного, худого-худого. А рядом с ним стоял дух Еремея… С сушкой в зубах. Только её никто не слушал: она ведь сумасшедшая.

# Песенки-заклички

Кирилл Шитиков

Мороз, мороз,
Лютый, как волк!
Ты всех щиплешь,
Инеем сыплешь.
Лучше, мороз,
Ты солнце буди,
А сам в спячку уйди!

Соня Черкашина

Грачи, грачи,
Прилетайте на харчи!
Домик сделаем мы вам,
Прилетайте в гости к нам,
Чтоб весна скорей пришла
Да тепло нам принесла!

Эмили Уитман

Дождик, дождь,
Великий вождь!
Не лей ты ливнем,
А сиди себе сиднем
На небе синем!

Павел Шевченко (14 лет)

с. Жеблахты, Ермаковский район

## Про хлеб

Про хлеб я знаю немало. Знаю, что его сеют, убирают, сушат зерно, а уж потом мелют муку. А знаю я это не из книги и не понаслышке. Мой прадед, Семён Васильевич Смолькин, мой дед Михаил Семёнович и дядя Коля работали комбайнёрами. Дед всегда нам рассказывал, как здорово ехать на комбайне по пшеничному полю. Он говорил, как на корабле по морю плывёшь.

Мы с Михой, моим старшим братом, часто бегали к нему на поле покататься, он даже давал нам порулить. Ещё, бывало, придёт дед к нам в гости, принесёт сдобы, печенья, а мы носы воротим—не такое принёс. Он всегда говорил: «Заелись вы, мальчишки, не знаете, как этот хлеб трудно достаётся. Вот мы после войны любому хлебу были рады. Навертимся хлеба с молоком—и на целый день».

А когда дед заболел и не смог больше работать, он всё равно ездил на поле и хоть один круг проезжал на комбайне. Как-то раз мы смотрели фильм про целину, там показывали, как убирают пшеницу, а дед плакал: он уже болел. Я не мог тогда понять, почему он плачет. Потом я рассказал всё бабушке, и она мне сказала: «Что ты хочешь, он с двенадцати лет в поле. И вся жизнь его заключалась в том, как посеять да убрать без потерь».

Теперь уже я сам каждый год хожу на сушилку и помогаю хозяйству: подрабатываю пшеницу. Мама на днях учила песню. Там были такие слова:

Ты запомни, сынок,
Золотые слова:
Хлеб—всему голова.
Хлеб—всему голова.

Я думаю, очень правильные слова. Ведь недаром на Руси хлеб всегда величали батюшкой.

Ирина Кромкина (10 лет)

п. Могучий, Балахтинский район

## В посёлке Могучем

Я живу в маленькой деревне, которая называется посёлок Могучий. Это—остатки славного прошлого. Я учусь в школе, где учеников совсем мало. А папа мне рассказывал, что в нашей школе учились в две смены.

Я люблю свою маленькую деревню. Правда, у нас нет речки, но можно всей семьёй съездить в соседнюю, что мы и делаем. Хотя это и бывает очень редко, но потому я этим и дорожу.

Мама с папой держат большое хозяйство. Мне очень нравится помогать маме, а особенно—папе. Я ухаживаю вместе с папой за лошадьми.

У нас есть конь. Он живёт с подружкой. Подружка у него не простая—беговая, и хозяин у неё не простой. Фермер Валерий Иванович Несин.

Как мой папа говорит, без него «копец» бы нам всем пришёл. Он и его рабочие, жители нашего посёлка, выращивают у нас пшеницу.

Так вот, продолжу про коней. Лошадку Валерий Иванович купил, чтобы участвовать в районных скачках.

Он держит её два года, и все два года она занимала первые места. Лошадка весёлая, любит компанию, поэтому моему папе пришлось вести к ней нашего коня. Я была на скачках—незабываемое зрелище!

Когда я вырасту, стану взрослой, тоже хочу участвовать в бегах на лошадях. И, конечно же, занимать первые места. Естественно, за это я буду получать вознаграждение.

Накоплю много денег и вместе со своими одноклассниками построю в нашем посёлке конезавод. Я буду разводить редких породистых, беговых и декоративных, лошадок.

Карина Слинкова (8 лет)

Красноярская школа № 62

## Настоящий милиционер

Я в милицию пойду,
Пусть меня научат!
Буду Родине служить
И преступников ловить.
Людям буду помогать,
Жизнь я буду охранять!
Всех пропавших я найду,
Злых людей я накажу,
Кто в беде, того спасу
И порядок наведу!
Буду смелой и отважной,
Не нарушу я закон.
Стану я для всех примером—
Вот что значит—быть
*Ми-ли-ци-о-нером!*

## Котёнок

Долго жили без забот—
Появился в доме кот,
Маленький комочек!
В семь утра встаёт—
И будить меня идёт:
Раз—лизнёт он в щёчку,
Два—царапнет коготком,
Три—укусит больно!
Я встаю,
Молоко ему даю,
И идём играть мы:
Мячик погоняем,
С мышкой поиграем,
Всё вверх дном перевернём—
После сами уберём!
А когда наступит ночь,
Ляжем мы в кроватку.
Он мне песенку споёт
И спокойно вдруг уснёт!

## Алфавит

А, б, в, г, д, е, ж—
Прикатили на еже.
З, и, к, л, м, н, о—
Дружно все ушли в кино.
П, р, с, т, у, ф, х—
Оседлали петуха.
Ц, ч, ш, щ, э, ю, я—
Вместе дружная семья.
Ё и знаки твёрдый, мягкий
Разбежались кто куда.
Чтоб собрать все буквы вместе,
Учите, дети, алфавит—
И тогда
буквы сложатся в слова.

**Александрова Елизавета** (1984 г. р.), публицист, прозаик. Родилась в Ленинграде. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Всерусский собор», «Новый журнал» (США), «Балтика» (Эстония), «Литературный журнал», «Дарьял», «Портфолио» (Канада), «Русский дом», в «Литературной газете», в сборнике «Русский венок Слободану Милошевичу» и др. Лауреат литературного конкурса журнала «Север» «Северная звезда-2009». Живёт в Москве.

**Аторин Сергей Николаевич** (1973 г. р.) Член Краевого литературного объединения при Государственном центре народного творчества Красноярского края «Диалог». Печатался в периодических изданиях и альманахах: «Новый Енисейский литератор», «Русло», «Часовенка», «Особое приглашение». Автор книги «Всё будет хорошо». Живёт в Красноярске.

**Беликов Юрий Александрович** (1958 г. р.) Окончил пермский университет (1980). Работал в газетах «Чусовской рабочий» (1980–1981), «Молодая гвардия» (1981–1992), был членом редколлегии журнала «Юность» (1992–1995), собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Пермской области (1995–1998), собственным корреспондентом газеты «Трибуна» (с 1998). Печатается как поэт с 1975 г. Выпускал газету «Дети стронция» (1989–1991). Автор нескольких книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк». Член СЖ СССР (1985), Союза российских писателей (1991). Областная премия им. А. Гайдара, Гран-при на I Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» и звание «Махатма российских поэтов» (Бийск, 1989), премия журнала «Юность» (1991). Живёт в Перми.

**Белозёров Андрей.** Родился в Абакане (Республика Хакасия). Публиковался в журналах «Абакан литературный», «Тверской Бульвар, 25», «День и ночь», «Урал», «Флорида», в сборниках «Новые писатели», «Первовестник», в Интернете. Участвовал в 6 и 7 Форумах молодых писателей России. Является одним из редакторов интернет-журнала «Точка зрения». Вошёл в шорт-лист премии В. Астафьева (2008), лонг-лист премии Казакова (2009). Живёт в Абакане.

**Беседин Николай Васильевич.** Родился в г. Тисуль Кемеровской области. Окончил Ломоносовское мореходное училище и Литературный институт им. Горького. Автор 16 книг, в том числе «Избранного» в 3-х томах. Лауреат литературных премий им. Н. Заболоцкого, И. Бунина, А. Чехова и международной премии «Золотое перо». Живёт в Москве.

**Бояркин Александр Дмитриевич** (1948 г. р.) Родился на Урале. С 1966 года живёт в Красноярском крае. Стихи и рассказы начал писать ещё в школьные годы. Это увлечение привело его в журналистику. Учился в уральском университете. Работал в газетах «Комсомолец Заполярья», «Советское Причулымье», «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», «Красноярский железнодорожник» и других. Стихи публиковались в различных периодических изданиях, в журнале «Енисей», в коллективных сборниках. Автор стихотворных книг «Роса на солнце», «Качели судьбы», «Круги на воде», «Следы на снегу», «Ветка сирени». Член Союза писателей России и Союза журналистов России.

**Веселова Нина Павловна** (1950 г. р.) Родилась в Ленинграде. Журналист, поэт, прозаик. Работала в Вологде в молодёжной газете «Вологодский комсомолец». Писала статьи, сценарии, работала в документальном кино, в съёмочной группе фильма В. Шукшина «Калина красная». Основные произведения: роман «Годовые кольца», сценарии фильмов, стихи, пьесы. Член Союза российских писателей с 1997 г. Живёт в Костромской области, д. Починок.

**Власов Виктор Витальевич** (1987 г. р.) Окончил Московский институт иностранных языков (омский филиал). Работает преподавателем английского языка. Автор пяти книг. За первую, повесть «Красный лотос» о средневековой Японии, в 2007 году был удостоен областной молодёжной премии имени Ф. М. Достоевского. По программе обмена с иностранными студентами работал в Америке. Публиковался в литературно-художественном журнале «Преодоление», литературном альманахе «Складчина», в международном интернет-журнале «Русский Глобус» (ноябрь 2009, № 11), интернет-журнале «Блистающий мир», сотрудничает с редакцией газеты «Пирамида». Живёт в Омске.

**Голбург Джонсон Шейла.** Родилась в Бостоне, выросла в Ньютоне (Массачусетс), окончила Массачусетский университет по специальности «Английская литература». Стихи Шейлы печатались во многих журналах и антологиях в США, Англии и Израиле. Ей присуждались государственные и международные премии, в том числе Chester Jones Award, Writer's Digest Award и Reuben Rose Award. Автор двух книг: молодёжного романа «После того, как я сказала „нет“» («After I Said No», 2000) и «Совместные наблюдения» («Shared Sightings», 1995), сборник стихов о птицах. Живёт в Санта-Барбаре.

**Грозовский Михаил Леонидович.** Родился в Москве. Окончил физический факультет МГУ и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор двух книг документальной прозы, шести сборников стихов, составитель двух поэтических антологий. Автор более полусотни детских книжек, среди которых неоднократно переизданная книга «Мой Зоопарк». Лауреат премий журналов «Наш современник» (1993) и «Кольцо „А“» (2007), Лауреат международной премии «Круг родства» (журнал «Радуга», Киев, 2008). Живёт в Москве.

**Дидигова Раиса Абукаровна** (1956 г. р.) Родилась в с. Ванновка Тюлькубасского района Южного Казахстана. По окончании в 1979 году Пятигорского государственного педагогического института иностранных языков работала учителем немецкого языка, а затем директором школы, начальником Отдела образования Назрановского района, заместителем начальника организационного отдела администрации Президента Республики Ингушетия, заместителем главы администрации г. Назрань, где работает по настоящее время. Автор сборника стихов «Прикосновение», за который поэтесса награждена Дипломом Национального артийского комитета России с присуждением почётного звания «Лауреат шестой Артиады народов России». Живёт в Назрани.

**Клиновой Иван Владимирович** (1980 г. р.), поэт. Родился в Красноярске. Участник трёх форумов молодых литераторов в Липках. Дипломант «Илья-премии — 2001», лауреат Фонда им. В. П. Астафьева за 2004 год. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «Новая юность», «Октябрь», «День и ночь». Автор книг «Шапито», «Античность», «Осязание». Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

**Коваленко Пётр Павлович** (1923 г. р.) Родился в Ужурском районе Красноярского края. Участник Великой Отечественной войны с первых её дней, инвалид ВОВ 2 группы. 45 лет отработал на Красноярской железной дороге; ветеран труда. И то, что его природный поэтический талант пробил себе дорогу в профессиональную поэзию, находясь в деревенской глуши, вдали от крупных культурных центров, иначе как вторым чудом не назовёшь. Только это, скорее, уже не чудо — а результат многолетней, многотрудной каждодневной работы над собой. Член Союза писателей России, автор 13 поэтических сборников. Много печатался в центральной и краевой прессе. Живёт на ст. Крутояр Ужурского района.

**Крюкова Елена Николаевна** (1956 г. р.), поэт, прозаик, романист, культуролог, искусствовед. Родилась в Самаре. В 1980 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского; в 1989 году — Литературный институт им. Горького (Москва). Концертировала как пианистка и органистка. На протяжении ряда лет занимается выставками как куратор и искусствовед. Заявила о себе как писатель, публикуя на протяжении девяностых годов XX века подборки стихов и прозу в крупных литературно-художественных журналах России. Публикации последнего времени: «Литературная газета», Москва, март 2008 («Пирушка нищих в кабаке»); альманах «Мера всех вещей», Санкт-Петербург, № 4, 2008 («Русская рулетка»); журнал «Волга», № 1–2, 2009 («Яства детства»); журнал «День и ночь», № 1–2, 2009 («Смерть Джа-ламы»); альманах «Вертикаль. XXI век», Нижний Новгород (осень 2008, зима 2009) — подборки стихотворений («Яр. Хор цыган. Отчаяние» и «Босиком по снегу»); «Овидиева тетрадь» (Красноярск, 2009); альманах «Земляки», Нижний Новгород, № 7, 2009 (из цикла «Синий снег»); альманах «Нижегородцы», № 1, 2009 (два фрагмента из романа «Ярмарка»). Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Нижнем Новгороде.

**Кузнечихин Сергей Данилович** (1946 г. р.) Родился в посёлке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт. Работал инженером в Свирске Иркутской области, в Красноярске — сторожем. Печатается как поэт с 1977-го года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулёвая бочка». Постоянный автор и член редколлегии журнала «День и ночь». Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981). Живёт в Красноярске.

**Линёв Александр Фёдорович** (1938 г. р.) Родился в г. Луга Ленинградской области. В июле 1941 г. перед захватом Луги фашистами семья вместе с заводом «Красный тигель» была эвакуирована в г. Златоуст. Вернулись в разрушенную Лугу в 1947 году. После школы, в 1956 году, поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, по окончании которого уехал работать в Красноярский край. Почти 50 лет работает в Красноярском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, сейчас ведущий научный сотрудник лаборатории агрохимии и агроэкологии. Побывал в почвенных экспедициях практически во всех зонах края. Любит сухопутный и водный туризм, охоту, рыбалку. Публиковаться начал с 90-х годов в газете «Красноярский рабочий» — рассказы: «Венера», «Обручальное кольцо», «Амнезия», «Эй, Мамбо, Мамбо итальяно…», «Не забыть, не простить, не потерять». Участник литературного портала «Что хочет автор». Живёт в Красноярске.

**Малиновская Мария Юрьевна** (1994 г. р.) Родилась и живёт в Гомеле. Учащаяся лингвистической гимназии. Победительница нескольких литературных конкурсов молодых поэтов. Автор сборника «Луны печали».

**Мамедов Халид** (1982 г. р.) Родился в Махачкале. Окончил в 2008 году физический факультет Волгоградского государственного университета. Работает продавцом-консультантом. Дебютировал в журнале «Волга». Живёт в Волгограде.

**Матвеев Артур Алексеевич** (1985 г. р.) Родился в Красноярске. По образованию — историк. Публикации в сборниках «Чистая купель», «Лучшие произведения участников Всероссийского фестиваля «Очарованные словом», «Студенческий коктейль», «Геометрия поэзии: вестник поэтического слэма». Автор книги стихотворений «Иллюзия транса» в кассете «Король и свита». Живёт в Красноярске.

**Переверзева Ольга** (1969 г. р.) Родилась в г. Минске. Детство прошло в Сибири. Окончила факультет психологии и педагогики Белорусского

педагогического института. Автор статей и эссе по психологии социума в республиканской печати; автор короткой прозы и поэтических подборок в литературных изданиях «Московский литератор» и «Российский колокол» (Москва), «Неман», «Новая Немига литературная» (Беларусь); соавтор антологии «Современная русская поэзия Беларуси» (2003); автор поэтических сборников «Имя на память» (2006), «Амальгама судеб» (2010). Член Союза писателей Беларуси. Живёт в Минске.

**Пестерева Елена Сергеевна** (1980 г. р.) Родилась во Львове. Окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в настоящее время студентка Литературного института им. А. М. Горького. Пишет стихи с 1997 года. Автор одного поэтического сборника («Осока», М., «Memories», 2007). Публиковалась в периодике. Живёт в Москве.

**Полеес Елизавета.** Родилась в Могилёве. Окончила филологический факультет Белорусского университета. Работала главным редактором литературно-издательского предприятия «Полёт души». Публиковалась в периодических изданиях Беларуси и стран ближнего зарубежья, в антологии «Современная русская поэзия в Беларуси», белорусском альманахе «День поэзии». Автор нескольких сборников поэзии. Живёт в Минске.

**Потехин Леонид Сергеевич** (1925 г. р.) Родился в деревне Еловка Балахтинского района Красноярского края. Окончил школу-семилетку. Работал культмассовиком, завклубом, был литературным работником в районной газете «Социалистический труд». В 1960 году переехал в Красноярск и устроился работать на учебно-производственное предприятие ВОС. В 1980 году начал заниматься литературной деятельностью, является одним из первых членов студии «Былина». Печатался в альманахах «Енисей», «Новый Енисейский литератор», журнале «Наша жизнь», коллективном сборнике «Доброта». Живёт в Красноярске.

**Селянинов Владимир** (1935 г. р.) Родился в в п. Заозёрный (ныне — город) Рыбинского района Красноярского края. Закончил лесоинженерный факультет Сиб ЛТИ в 1958 году. До выхода на пенсию в 1995 году работал на стройках края. Писать начал в 1986 году на тему социально-психологической драмы. Публиковался в журналах, газетах. Издано две книги: «Очень хочется умереть» и «Земля трясётся», к которым сам сделал графические иллюстрации. Член Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

**Соснин Иван Александрович** (1975 г. р.) Родился в г. Тюкалинске Омской области. В три года переехал в г. Тбилиси, где жил и учился до грузинских событий 1989. Имеет несколько рабочих специальностей: столяра, сварщика, плотника. В настоящее время работает пожарным в МЧС. Воспитывает двух сыновей. Печатался в журналах «Омск» и «Пилигрим», коллективных сборниках «На первом дыхании», «Моё имя». Живёт в Омске.

**Слюсарева Наталия Сидоровна** (1947 г. р.) Родилась в Китае. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в редакциях различных журналов. Переводчица с итальянского (устный). При советской власти не публиковалась. Автор трёх изданных книг прозы, а также — нескольких неизданных книг прозы и пьес. Живёт в Москве.

**Токомбаев Шербото** (1974 г. р.) Родился в городе Фрунзе Киргизской ССР. После окончания средней школы работал в творческом объединении «Киргизтелефильм» в должности ассистента режиссёра. В 1998 году стал лауреатом премии «Весна Ала-тоо» за сборник стихов «Один день ветра». В этом же году в издательстве «Стилистика» вышел сборник произведений молодых поэтов «День ветра», в котором Кыргызстан был представлен творчеством Ш. Токомбаева. Учился на факультете психологии Кыргызско-Российского славянского университета, а также в Бишкекском гуманитарном университете, который и закончил по специальности «журналистика». С юности занимается спортом, имеет разряды по дзюдо и награды от японского посольства в Кыргызстане. В настоящее время работает медиаэкспертом в различных международных проектах, реализуемых в Центрально-азиатском регионе. После публикации ряда стихотворных сборников в периодической печати вышло несколько прозаических произведений Ш. Токомбаева. Пишет на русском языке. В настоящее время живёт в г. Бишкек.

**Тюрин Вячеслав Игоревич** (1967 г. р.) Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и в п. Лесогорск Иркутской области. В 1998 г. занял первое место в номинации «Поэзия» на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». А в 2001 г. удостоился Гран-при конкурса «Илья-Премия» по СНГ: издание книжки «Всегда поблизости» (500 экз.) с предисловием Марины Кудимовой. В 2006 г. вышла в свет вторая книжка «Розы в стране гипербол» (700 экз.). Учился на ВЛК при Литинституте им. Горького, но по болезни окончить их не смог. Печатался в журналах: «Знамя», «Сибирские огни», «День и ночь», «Сибирь», в различных газетах и альманахах. Живёт в Иркутской области.

**Чойбонов Матвей Рабданович** (1964 г. р.) Родился в Бурятии. Автор поэтических книг «Мои друзья — мои живые боги» и «Осенняя радуга», вышедших в переводе на русский язык, а также ряда других — на родном, бурятском. Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция». Дид-хамбо-лама буддийской традиционной сангхи России, заместитель главы буддистов по внешним экономическим связям, доктор буддийской философии. Член Союза писателей России. Живёт в Улан-Удэ.

# Как подписаться?

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2010 год стоит 1080 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 180 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам Ближнего и Дальнего Зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

# Где купить?

Свежие номера журнала «День и ночь» продаются в магазинах «*Книжный дворик*» по адресам:

*в Красноярске:*
ул. Железнодорожников, 19
ул. Новосибирская, 48

И в *книжных киосках* по адресам:

*в Красноярске:*
ул. Тотмина, 8а
ул. Тотмина, 35а
ул. Словцова, 12
Академгородок, стр. 1
ул. Киренского, 13

*в Емельяново:*
ул. Московская, 179.

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

______________________________

| Назначение платежа: | Сумма |
|---|---|
| | |

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

______________________________

| Назначение платежа: | Сумма |
|---|---|
| | |

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика) ______________________ (дата платежа)

Рукописи принимаются по адресу:
66 00 28, Красноярск, а/я 11 937,
редакция журнала «День и ночь».

Желателен диск с набором, фотография,
краткие биографические сведения.
e-mail: din_krsk@mail.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

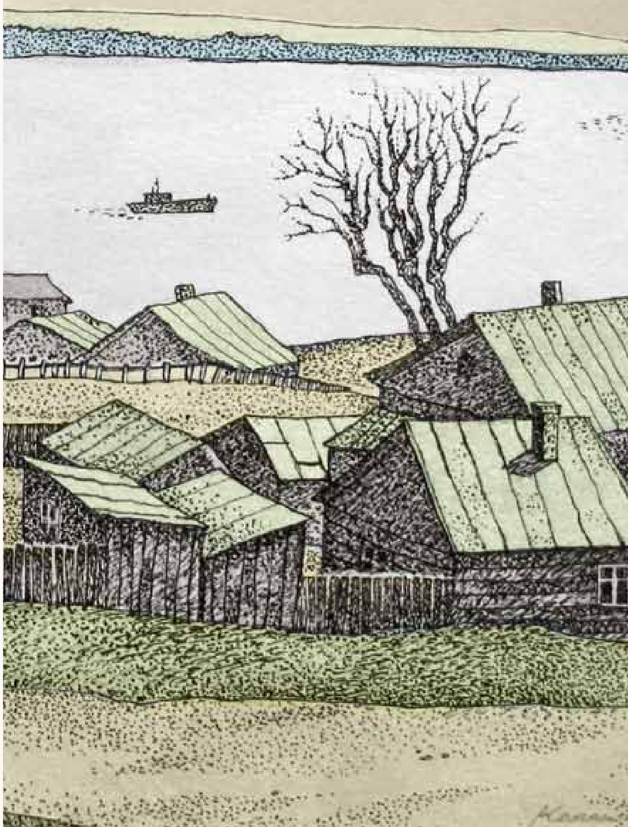
Для приобретения номера и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь в отдел маркетинга и распространения журнала «День и ночь»: т. 8 906 916 56 55
e-mail: kras_spr@mail.ru

Интернет-версия журнала
www.krasdin.ru поддерживается
ООО «КИТ»

**Издатель**
ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49
Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале
«Банка Москвы»
в г. Красноярске.
БИК
040 407 967
Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 23.04.2010
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала
в типографии ООО ИПЦ «КАСС»
Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23